

Д Н Е В Н И К И Х Х В Е К А



АНДРЕ МАЛЬРО
Антимемуары



Санкт-Петербург
Издательство «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
2005



Д Н Е В Н И К И Х Х В Е К А

Programme
Pouchkine

*Издание осуществлено в рамках
программы "Пушкин" при
поддержке Министерства
Иностранных Дел Франции
и Посольства Франции в России.*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères français et de
l'Ambassade de France en Russie.*

ANDRÉ MALRAUX

Antimémoires

АНДРЕ МАЛЬРО

Антимемуары

*Перевод с французского
В. Ю. Быстрова*



Санкт-Петербург
«ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
2005

УДК 13+82-94
ББК 71.0:84.0
М21

Редакционная коллегия серии
«Дневники XX века»

*В. М. Камнев, Б. В. Марков,
А. П. Мельников, Ю. В. Перов, В. П. Сальников,
К. А. Сергеев, Я. А. Слинин,
Ю. Н. Солонин (председатель)*

ISBN 2-07-036023-7 («Gallimard»)
ISBN 5-93615-045-3 («Владимир
Даль»)

© Éditions Gallimard, 1972
© Издание на русском языке. Из-
дательство «Владимир Даль»,
2005
© Быстров В. Ю., перевод на рус-
ский язык, статья, 2005
© Мельников А. П., оформление,
2005
© Палей П., дизайн, 2005

АНТИМЕМОУАРЫ

«Слон — самое разумное из всех животных, единственное, которое помнит о своих предыдущих жизнях; он подолгу стоит неподвижно, размышляя об этом».

Буддийский текст.

1965 год, на широте острова Крит

В 1940-м я бежал вместе с будущим капелланом партизан в Веркоре. Некоторое время спустя после побега мы оказались в деревне округа Дром, где он был священником и, сколько мог, раздавал евреям свидетельства о крещении, проставляя любую дату при условии, что они на самом деле это крещение примут, — «это всегда что-нибудь да дает...». Он никогда не был в Париже; свое обучение в семинарии он закончил в Лионе. Мы вели с ним бесконечные беседы обо всем, что придет на ум, вдыхая ароматы ночной деревни.

— Как давно Вы стали исповедовать?

— Около пятнадцати лет тому назад...

— И что же исповедь помогла Вам узнать о людях?

— Вы знаете, исповедь ничего не дает, потому что когда исповедуешь, становишься другим, на тебя нисходит благодать. Но тем не менее... люди более несчастны, чем мы думаем... И кроме того...

И он воздел свои руки лесоруба к небосводу, усыпанному звездами.

— И кроме того, в сущности, *нет взрослых людей...*

Он погиб на плато Глиер.

Размышлять о жизни — о жизни перед лицом смерти — значит, несомненно, еще больше погружаться в бездну неизвестности. Я не говорю о возможности быть убитым, возможности, которая всякому дает банальный шанс оказаться храбрецом; я говорю о смер-

ти, которая равносильна всему, что могущественнее человека, равносильна старению и даже преобразению нашей планеты, чья оцепенелая неподвижность, как и ее преобразование, даже если оно является делом рук человеческих, неизбежно внушает нам мысль о смерти. Все это словно говорит нам: «Вы никогда не узнаете, какой во всем этом был смысл». Перед лицом такого вопроса имеет ли значение то, что для меня еще остается важным? Почти все писатели, которых я знаю, любят свое детство, я же свое ненавижу. Я мало и плохо научился тому, как создавать свое Я, если создавать его — значит приспособливаться к унынию и одиночеству захолустного постоянного двора, который мы и называем «жизнью». Иногда я был способен действовать, но смысл действия — исключая те случаи, когда оно поднимается до уровня истории, — не в том, что говорят, а в том, что происходит. Сам себе я почти не интересен. Дружба, игравшая в моей жизни огромную роль, вряд ли способна вызвать чье-либо любопытство. И я соглашаюсь с капелланом с плато Глиер: если ему нравилось думать, что взрослых не существует, то, вероятно, потому, что дети уже спасены...

Зачем мне вспоминать о себе?

Затем, что проведя часть жизни в той неопределенной области духа и вымысла, которая является уделом художников, потом окунувшись с головой в область сражений и живой истории, познакомившись в двадцать лет с Азией, агония которой позволила мне лучше понять значение Запада, я много раз сталкивался с мгновениями, иногда неприметными, а иногда ослепительно яркими, когда глубочайшая тайна жизни предстает перед каждым из нас так, как она предстает перед женщиной в облике только что появившегося на свет ребенка, как она предстает перед почти каждым мужчиной, глядящим в лицо смерти. Во всем, что нас влечет к себе, во всем, что, как я видел, противится унижению, и даже в тебе, о нежность, которую спра-

шивают: «Что ты здесь делаешь, на земле?» — во всем этом жизнь, подобно богам исчезнувших религий, иногда являлась мне словно прелюдия к какой-то неведомой музыке.

Хотя Восток казался мне в годы юности похожим на древнего араба, погрузившегося на своем осле в беспробудный сон ислама, двести тысяч жителей Каира все же превратились в четыре миллиона, Багдад поменял на моторные лодки те верши* из просмоленного камыша, в которых ловили рыбу крестьяне со времен Вавилона, а мозаичные ворота Тегерана затерялись в городе, как и ворота Сен-Дени в Париже. В Америке как грибы выросли новые города, но эти города не стерли следов другой цивилизации, не стали символом преображения человека.

Что земля никогда не изменялась так за одно столетие (если исключить катастрофы) — это известно каждому. Я видел воробьев, поджидавших возле Пале-Рояля лошадей, которые волокли omnibus, и видел робкого обаятельного капитана Гленна, вернувшегося из космоса; видел татарскую Москву и видел устремленный в небо шпиль университета; видел железную дорогу, с начищенной до блеска паровозной трубой, похожей на тюльпан, маленький вокзал в Пенсильвании, в старой Америке, и видел небоскреб Панамериканской компании в новой. Сколько уже веков ни одна великая религия не сотрясала мир? Это первая цивилизация, способная завоевать всю планету, но не способная изобрести ни собственных храмов, ни собственных гробниц.

Отправиться в Азию еще недавно значило неторопливо проникать в перетекающие друг в друга пространства и время. Индия после ислама, Китай после Индии, Дальний Восток после Востока; корабли Синд-

* Старые лодки из камыша.

бада, стоящие в вечерних сумерках на якоре вдали от какого-нибудь индийского порта; а после Сингапура — первые джонки, как часовые у входа в Китайское море.

По совету врачей я вновь совершаю это медленное проникновение и вновь вижу те грандиозные потрясения, которые перевернули всю Азию, наполнив и мою пустую и обгавленную кровью жизнь; вижу еще до того, как там, за океаном, вновь встречу Токио, куда я отправил «Венеру Милосскую», неузнаваемый Киото, почти не пострадавшую, несмотря на сгоревший храм, Нару и Китай, в котором мне с тех пор так и не довелось побывать. «До самого горизонта — ледяная гладь океана, словно покрытого лаком, ни единой волны...» Море напоминает мне первую фразу из моего первого романа, а также витрину для депеш на палубе корабля, где сорок лет назад появилась телеграмма, извещавшая, что Азия возвращается в Историю: «В Кантоне объявлена всеобщая забастовка».

Что отвечает моя жизнь этим богам, которые скрываются за горизонтом, и этим городам, которые над ним поднимаются? Что отвечает она этому деловитому грохоту, этим ударам о борт корабля, этому вечному шуму моря? Что отвечает она напрасным надеждам и погибшим друзьям? Наступает пора моим современникам начать рассказывать свои скромные истории.

В 1934 году на улице Вье-Коломбье Поль Валери упомянул как-то о Жиде: «Почему, — спросил я его, — Вы так высоко ставите его „Беседу с немцем“, если в целом равнодушны к его творчеству?» — «Что Вы имеете в виду?». Я напомнил ему, о чем идет речь. «Ах да! Должно быть потому, что он успешно использует глаголы в сослагательном наклонении!...». И затем, тяжело вздохнув, он добавил уже на характерном для него аристократическом жаргоне: «Я очень люблю Жида, но как человек может допустить, чтобы какие-то юнцы были судьями его мыслей?.. И потом, да! Меня привле-

кает ясность, я не интересуюсь искренностью. Впрочем, всем на это наплевать». Так он часто завершал рассуждения об идеях, о которых, согласно формуле Уайльда, стоило говорить.

Но то, что Жид называл «юностью», не всегда ограничивалось молодыми людьми, как и христианство не всегда ограничивалось верующими. Демон любит коллективы, а еще больше собрания; власть их тоже любит. До тридцати лет я жил среди людей, одержимых искренностью. Потому что в ней они видели нечто противоположное лжи; а также потому, что после Руссо она стала привилегированным материалом для литературы, а они все были писателями. Добавьте к этому агрессивное вступление: «Лицемерный читатель, мой ближний, брат мой...». Так как речь теперь идет не о каком-либо знании о человеке: речь всегда идет о том, чтобы раскрыть некоторую тайну, о том, чтобы *признаться*. В христианстве признание всегда было платой за прощение, было дорогой к покаянию. Талант — это не прощение, но его воздействие столь же глубоко. Предполагать, что «Исповедь Ставрогина» была на самом деле исповедью Достоевского, значит превращать ужасное событие в высокую трагедию, а Достоевского — в Ставрогина, в вымышленного героя (метаморфоза, которая находит чудесное выражение в слове «герой»). Нет необходимости изменять факты: виновный спасен, но не потому, что он внушает нам какую-то ложную идею, а потому, что искусство — это не жизнь. Надменная стыдливость Руссо не уничтожает жалкой стыдливости Жан-Жака, но приносит ему обещание бессмертия. Такая метаморфоза, одна из самых глубоких, какие вообще способен сотворить человек, — это метаморфоза судьбы, которая теперь переживается как судьба покоренная.

Я восхищаюсь исповедями, которые мы называем Мемуарами, но они захватывают меня лишь наполовину. Как бы то ни было анализ личности, помимо того воздействия, которое он оказывает на нас, когда речь

идет о личности великого артиста, подпитывает одну способность нашего духа, которая весьма интересовала меня во время этого разговора с Валери: свести к минимуму наше участие в этой комедии. Речь идет о победе каждого из нас над вымышленным миром, в который мы все погружены и который не является нашей собственностью; сомнение в этой победе приводит нас в ярость, на чем частично и основан комический театр, где персонажи Лабиша выступают наследниками персонажей Мольера и исполненного возмущением оратора у Виктора Гюго, который бесстрашно говорит правду в лицо королю, — персонажа, который постоянно будет играть эту бесполезную роль в политике средиземноморских наций. Но бороться с комедией все равно что воевать с людскими слабостями, в то время как одержимость искренностью выглядит как погоня за тайной.

Известное нам сегодня место личность заняла в Мемуарах тогда, когда они стали Исповедью. «Мемуары» святого Августина ничуть не похожи на Исповедь и завершаются трактатом по метафизике. Никому не приходило в голову именовать исповедью «Мемуары» Сен-Симона: он говорит о себе лишь с целью вызвать восхищение своей личностью. В великих поступках великих людей всегда искали Человека, его же ищут и в тайных помыслах личности. (Тем более что великие поступки часто оказывались жестокими, а хроники происшествий в газетах превратили жестокость в нечто банальное.) В XX веке Мемуары бывают двух типов. С одной стороны, это свидетельство о происшедших событиях: иногда это, как в «Военных мемуарах» де Голля или в «Семи столпах мудрости», рассказ об исполнении великого замысла. С другой стороны, это наблюдение над самим собой, задуманное как исследование человека, и последним ярким представителем этого жанра является Андре Жид. Однако «Улисс» и «В поисках утраченного времени» принимают форму романа. Откровенное наблюдение над самим собой из-

менило свою природу, так как наиболее провокационные признания самого смелого из мемуаристов выглядят ребяческими перед теми монстрами, которых извлекает на свет психоанализ, даже если кто-то и оспаривает его выводы. Охота за тайнами только способствует развитию невроза, делает его более ярко выраженным. «Исповедь Ставрогина» удивляет нас меньше, чем «Человек с крысами» Фрейда, несмотря на гениальность Достоевского.

Если никто теперь не верит, что в изобразительных искусствах автопортреты и даже портреты, начиная с барельефов египетских мастеров и заканчивая полотнами кубистов, были лишь копией своего оригинала, то в том, что касается литературы, эта вера еще сохраняется. Считается, что портрет тем лучше, чем больше он схож с оригиналом, а этих сходств тем больше, чем меньше в нем условностей. Именно такое определение внушает нам реализм, который почти всегда боролся с идеализацией. Но если идеализация в Древней Греции или в эпоху Ренессанса была одним из главных направлений в европейском искусстве, то литературная идеализация, которую считают схожей, родственна идеализации Леонардо или Микеланджело лишь своими персонажами трагедии. Однако «Людовик Святой» Жуанвиля или портреты Боссюэ представляют собой, несомненно, не меньшую ценность, чем персонажи «Дневника» Гонкуров, хотя авторы и задумывали их как образцы для подражания. Достоверность превыше всего? Я сомневаюсь, что «Наполеон» Мишле, довольно скверный памфлет, более достоверен, чем его же «Жанна д'Арк», восхитительный панегирик. Мы знаем, как восприимчив был Стендаль «к мелким правдивым деталям», но почему же не к крупным? Изобразить Наполеона при Аустерлице так же важно, как и показать его страстное желание выпачкать вареньем лицо римского короля. И у победы под Маренго, возможно, были свои причины, а не измена Жозефины. Изображать великие события, затем отвергать их

из-за презрения к условностям, затем признавать лишь мелочи... Принято считать, что истина — это то, что человек скрывает в первую очередь. Мне приписывали фразу одного из моих персонажей: «Человек есть то, что он делает». Разумеется, иначе и быть не может; и так мой персонаж отвечал другому, только что сказавшему: «Что такое человек? Ничтожная кучка маленьких секретов...». Сплетни легко сообщают рельефность всему иррациональному; и с помощью психологии бессознательного мы не без удовольствия смешиваем то, что остается неведомым человеку в своей собственной душе, с тем, что он сам ото всех прячет и что чаще всего достойно лишь жалости. Но Жуанвиль и не стремился узнать все о Людовике Святом, как, впрочем, и о самом себе. Боссюэ многое знал о Великом Конде, которого он, возможно, исповедовал; но перед лицом смерти он не придавал большого значения всем этим, как тогда говорили, «слабостям». Так же, как и Горький, когда он рассказывал о Толстом.

В годы юности Горький испытывал потребность тайно наблюдать за людьми, чтобы сделать из них своих персонажей (Бальзак поступал так же). Он следил и за Толстым в лесу возле Ясной Поляны. «Старик остановился на поляне перед гладким камнем и разглядывал обнаруженную там ящерицу. „Твое сердце — это сердце воина, — сказал Толстой. — Оно как солнце. Ты счастлива...“. И, помолчав, тяжело добавил: „А я нет...“».

Мы только-только срубили маленькое деревце (этот странный обычай сопровождал обеды у Горького). Увенчанный своей маленькой татарской тубетейкой, он сразу же бросался в глаза на фоне Черного моря. И он продолжал вспоминать о старом «гении земли русской», который ходил по лесу и разговаривал со зверями, словно восьмидесятилетний Орфей.

Чувство, что становишься чуждым этой земле или вновь на нее возвращаешься, чувство, которое здесь читатель встретит не один раз, кажется, связано с

диалогом со смертью. Когда становишься жертвой симулированной казни, то такой опыт не проходит бесследно. Но *прежде всего* я обязан этим чувством странному, почти физическому воздействию, которое оказывает на меня завораживающее осознание ушедших в прошлое столетий. Это чувство становится более коварным благодаря тому, что я занимаюсь искусством, поскольку весь Воображаемый Музей говорит в одно и то же время и о смерти цивилизаций и о воскрешении ими созданного. Я верю, что всегда пишу для людей, которые прочтут меня позже. Не потому, что я возлагаю особые надежды на эту книгу, и не потому, что я одержим темой смерти или темой Истории как открытой разуму книги судеб человеческих, — нет, просто у меня есть пронзительное ощущение, что всех нас, словно облака в небе, куда-то непоправимо уносит ветер событий. Почему беседы с главами государств я записываю в первую очередь? Потому что ни один разговор с моим другом из Индии, будь он даже самым почитаемым мудрецом у индусов, не дает мне почувствовать время так, как слова Неру: «Ганди думал, что...». Если я смешиваю встречи с этими людьми с описанием их храмов и гробниц, то потому, что они так же выражают «то, что происходит». Когда я слушал генерала де Голля, во время самого обычного завтрака в его личных апартаментах в Елисейском дворце, я думал: «Сегодня, в 1960 году...». На официальных приемах я представлял, как они проходили в Версале, в Кремле, в Вене в последние годы правления Габсбургов. В скромном кабинете Ленина, где стопка словарей служит подставкой для маленького бронзового питекантропа, подаренного дарвинистом из Америки, я думал не о доисторических временах, а о том утреннем часе, когда эту дверь распахнул Ленин. О том часе, когда внизу во дворе он начал плясать на снегу, выкрикивая изумленному Троцкому: «Сегодня мы продержались на день больше, чем Парижская коммуна!». Сегодня... Глядя на пробуждение Франции, как и на

несчастливого питекантропа, я был заморожен течением веков, словно тревожными и переменчивыми бликами солнца в потоке воды... Перед вывеской перчаточника в Боне, когда я возвращался после своей первой прогулки со смертью; как и в Грама́, когда меня тащили на носилках, чтобы разыграть мой расстрел; как и в яме, куда соскользнул мой танк, — сколько раз я думал о том же, о чем думал в Индии: в 1938-м, или в 1944-м, или в 1968-м, до рождества Христова...

«Откровенность» никогда не была самоцелью. В каждой из великих религий человек *был дан*; Мемуары множатся, когда Исповедь исчезает. Шатобриан вступает в диалог со смертью, может быть, с Богом, но, разумеется, не с Христом. Когда человек становится объектом исследования, а не откровения (ибо каждый пророк, открывающий Бога, открывает и человека), возникает огромное искушение — исчерпать его до глубин; чем более толстыми становятся Мемуары или Дневники, тем больше мы узнаем о человеке. Но человеку не дано добраться до дна своей души, он не обнаруживает своего отражения в пространстве приобретенных им знаний, он находит свой собственный образ в тех вопросах, которые ставит перед собою. Человек, о котором пойдет речь в этой книге, — это существо, прислушивающееся к вопросам, которые ставит смерть перед смыслом мироздания.

Этот вопрос о смысле нигде не преследует меня так настойчиво, как в преобразившихся Египте или Индии, рядом с руинами их древних городов. Я видел немецкие города, усыпанные белыми флагами (свисавшими с окон простынями) или полностью стертые с лица земли; видел Каир, численность населения которого выросла от двухсот тысяч жителей до четырех миллионов, с его мечетями, крепостью, с некрополями и пирамидами вдалеке; видел Нюрнберг, до такой степени разрушенный, что в нем нельзя было отыскать главную площадь. Война задает глупые вопросы, мир

говорит загадками. И, возможно, в судьбе человека более важную и глубокую роль играют не ответы, а сами вопросы.

В сочинительстве романов, на войне, в подлинных или воображаемых музеях, в культуре, может быть, в Истории я обнаружил одну фундаментальную тайну — капризы памяти, которая, случайно или нет, не воскрешает жизнь целиком, во всем ее развитии. Освещенные невидимым солнцем, возникают туманности, и кажется, что еще немного — и появятся неведомые созвездия. Некоторые из них принадлежат области воображаемого, многие — воспоминаниям о прошлом, внезапно вспыхивающим или требующим кропотливой работы моего ума: самые глубокие переживания во мне не живут, они или преследуют меня, или от меня убегают. Это не имеет большого значения. Перед лицом неведомого некоторые наши мечты имеют такое же значение, как и воспоминания. Поэтому я воспроизвожу здесь и те сцены, которые давно уже стали вымыслом. Часто связанные запутанными нитями с воспоминаниями о прошлом, они, случалось, каким-то неведомым образом принадлежали тому, что еще должно было произойти, то есть будущему. Следующие страницы взяты из «Орешников Альтенбурга», из начала романа; многие из этих страниц были уничтожены гестапо, и теперь я не могу их воспроизвести. Часть, о которой идет речь, называлась «Борьба с ангелом» — разве мог я покушаться на кого-то другого? Это самоубийство — самоубийство моего отца, этот дед — мой дедушка, изменившийся, несомненно, в семейном фольклоре. Он был судовладельцем, и я общил его черты дедушке героя «Королевской дороги»,* особенно в момент его смерти, смерти старого викинга. Хотя своим патентом мастера-бочара он гордился больше, чем своей флотилией, которая к тому же почти вся погибла в море, он считал нужным при-

* Роман А. Мальро, написанный в 1930 году.

держиваться ритуалов своей юности и раскрыл себе голову одним ударом обоюдоострого топора, символически завершив, согласно традиции, фигуру на носу своего последнего корабля. Этот фламандец из Дюнкерка стал эльзасцем, потому что первая немецкая газовая атака была предпринята на Висле, и это потребовало от меня, чтобы этот персонаж в 1914-м служил в немецкой армии. Ангары, где клоуны проходят между стволами огромных елей, — это навесы, на которых сушились паруса; лес заменил собой море. Мне был совсем неизвестен Эльзас. Пять или шесть недель я служил гусаром в Страсбурге, в желтых казармах времен Наполеона III, и мои леса родились в смутном воспоминании о лесе в Сен-Одиль или в Верхнем Кёнигсберге; персонажи носят фамилию Берже, или Бергер, потому что она, в зависимости от произношения, может быть и французской, и немецкой. Но на два года она стала моей: так называли меня друзья по Сопротивлению. Я был избран командиром бригады «Эльзас-Лотарингия» и начал сражение под Данмари спустя несколько дней после того, как моя жена умерла в клинике на улице Эльзаса и Лотарингии в Бриве. Моя третья жена жила на улице Эльзаса и Лотарингии в Тулузе. Но не будем об этом: во Франции много улиц с таким названием. Вновь я женился в Риквире, возле Кольмара.

Я не был удивлен, когда узнал, что Виктор Гюго написал «Марион Делорм» прежде, чем встретил Жюльетту Дрюэ. Причина, побудившая Виктора Гюго написать «Марион», сделала его не таким бесчувственным к жизни Жюльетты Дрюэ, каким мог бы остаться обыкновенный покровитель актрис. Но можно ли объяснить такое количество предчувствий, предвидений тем, что у «дневных сновидцев» вирус мечтаний вызывает также и способность к действию, как утверждает Т. Э. Лоуренс? А когда нет никаких действий, а есть лишь пророческие стихи, вызывавшие у Клоделя ужас, стихи,

которыми Бодлер и Верлен сообщают о своей гибели? «Моя душа плывет к ужасному крушению...»

Я думаю о Пеги, могилу которого в полях Марны я посетил вместе с генералом де Голлем: «Блаженны павшие на войне за справедливость...»; о Дидро, который, вернувшись из России, писал, что «на дне котомки у него осталось не больше десяти лет», — и так и случилось, с точностью до одного месяца. Я думаю об отце Тейяре де Шарденэ, который, в марте 1945-го, на вопрос: «Когда бы Вы хотели умереть?» ответил: «В день Пасхи» — и умер в день Пасхи в 1955 году. Я думаю также об Альбере Камю, который за десять лет до своей смерти в результате несчастного случая писал: «Если днем полет птиц кажется всегда бесцельным, то к вечеру он обнаруживает определенное направление. Они явно куда-то летят. И так же, может быть, под вечер жизни...».

Существует ли этот «вечер жизни»?

Именно бригада «Эльзас-Лотарингия» взяла в бою Сен-Одиль, и именно полковник Берже отправился в подземелья Верхнего Кёнигсберга, чтобы вернуть алтарь Грюневальда... Корабль, на котором я все это написал, назывался «Камбоджа»; зубная боль, мучавшая героя «Времен презрения» во время побега, похожа на ту боль, которую причиняли мне слишком тесные ботинки, когда я также, семью годами позже, совершил побег. Я много писал о пытках, когда этим еще никто не занимался; и я сам едва их избежал. Хемингуэй, двигаясь по кривой, идущей от молодого человека, влюбленного в женщину старше его, к герою, влюбленному в женщину моложе своих лет, а затем к шестидесятилетнему полковнику, любовницей которого была юная девушка, через бездну отчаяния и попыток самоубийства постоянно предугадывал свою судьбу. А Шамфор? А Мопассан? А Бальзак? Ницше написал последнюю строчку «Веселой науки» («Здесь начинается трагедия») за несколько месяцев до того, как встретил Лу Саломэ — и Заратустру.

Я однажды видел Лу Саломэ: это была уже пожилая дама, закутанная в пальто. На вопрос мадам Даниель Галеви: «Чай или портвейн?» она ответила: «Я здесь не для того, чтобы тратить время на пустяки». Мы остались с ней наедине в углу гостиной и говорили о ее книге про Ницше, затем о самом Ницше; она отвечала мне, устремив взгляд своих волшебных глаз куда-то вдаль и выдвинув вперед изготовленную американским дантистом челюсть: «И все же мне хотелось бы вспомнить, обняла ли я его или нет на этой тропинке, ну, Вы знаете, над озером Комо...».

То, что меня интересует в любом человеке, — это его удел, его судьба; в великом человеке — средства и природа его величия; в святом — характер его святости. И еще некоторые признаки, выражающие не столько индивидуальный характер, сколько его особое отношение к миру. Ницше говорит: «Два человека были моими учителями в психологии: Стендаль и Достоевский». Достоевский — это поток самоуничужения, это великий наследник Руссо, он не мог не потрясти самого великого иррационалиста столетия. (До какой степени Ницше выглядел бы лучше, чем сейчас, если бы его дура сестра не придумала заглавие «Воля к власти» для последней книги человека, написавшего «Странник и его тень»!) Но Стендаль? Что называют его психологией, если не точный и прозрачный, как кристалл, ум?

Когда Жиду исполнилось семьдесят лет, то писали, что он был самым великим французским писателем. Но что о нем как о личности сообщают нам самые интимные его произведения, включая даже дневник? В то время отношения между психологией и литературой были нарушены. Жид рассказывал мне о визите, который нанес ему Бернар Лазар, решивший вступить в то ожесточенное сражение, каким стало вскоре дело Дрейфуса: «Он поверг меня в ужас. Это был человек, ставивший некоторые вещи выше литературы...». Чистилище Жида во многом связано с тем, что Истории для него не существовало. Она не напомнила о себе и моим

братьям (как и многим другим), не поинтересовалась, чем она была в их глазах, которые она и закрыла.

Гностики верили, что ангелы каждому умершему задают вопрос: «Откуда ты идешь?». Здесь вы найдете то, что сохранилось в моей памяти. Иногда я говорил о чем-то, чтобы начать это разыскивать. Боги отдыхают от трагедии только обращаясь к комическому; связь между «Илиадой» и «Одиссеей», между «Макбетом» и «Сном в летнюю ночь» — это связь между трагическим и областью феерического и легендарного. Наш разум придумывает своих котов в сапогах и свои экипажи, превращающиеся на рассвете в тыкву, потому что ни человека религиозного, ни атеиста не может удовлетворить видимость вещей. Я называю эту книгу «Антимемуарами», потому что она отвечает на тот вопрос, который Мемуары не ставят, и не отвечает на вопросы, которые они задают; еще и потому, что там рядом с трагическим часто присутствует нечто неопровержимое и в то же время ускользающее, словно кошка, мелькнувшая в темноте, — это «фарфелю», слово, которое я, сам того не зная, воскресил.

Юнг, психоаналитик, приезжает как миссионер к индейцам Нью-Мексико. Они спрашивают его, какое животное является тотемом его клана; он отвечает им, что в Швейцарии нет ни кланов, ни тотемов. Когда продолжительная беседа завершилась, индейцы покидают комнату, спускаясь по приставной лестнице. Они спускаются по ней так, как мы спускаемся по обычной лестнице: спиной к ступеням. Юнг же, как и все мы, спускается лицом к ступеням. Внизу вождь индейцев молча указывает на бернского медведя, вышитого на куртке у гостя: медведь — единственное животное, которое спускается, повернувшись мордой и к стволу дерева, и к лестнице.

I

1

1913 год, Эльзас

Меньше чем неделю назад мой отец вернулся из Константинополя. Звонок прозвенел слишком рано; в полумраке комнаты, где еще не были раздвинуты шторы, он хорошо слышал, как шаги направляются к двери, останавливаются; он слышал голос, огорченный тем, что приходится слово в слово повторять то, что уже сказал звонивший:

— Моя бедная Жанна... Моя бедная Жанна!..

Жанна была служанкой моего дедушки.

Мгновение тишины: обе женщины обнимали друг друга; мой отец слышал, как на рассвете затихает шум фиакра, уже зная, о чем шла речь. Жанна медленно толкнула перед собой дверь так, словно теперь она боялась зайти в любую комнату.

— Он не умер? — спросил мой отец.

— Он в госпитале, господин...

Мой отец описывал мне, как могильщик из Рейхбаха, стоя по пояс в яме, подняв голову и вдыхая запах нагретого солнцем розового песка, услышал, как один из моих дядюшек сказал ему:

— Телеграмма, Франц! Это кто-то из нашей семьи!

В поселке у нас было около двадцати кузенов, и этот могильщик был очень похож на моего умершего дедушку.

— Мне пришлось услышать много глупостей по поводу этого самоубийства, — говорил мой отец, — но к

человеку, который так решительно покончил с собой, я никогда не испытывал ничего, кроме уважения. Вопрос о том, является ли самоубийство мужественным поступком или нет, встает только перед теми, кто не убивал вообще.

Большинство своих дядюшек и двоюродных дедушек я не встречал годами; кроме того, сама жизнь разделила их на тех, кто принял немецкое господство, и тех, кто его отверг (хотя это разделение никогда не приводило к окончательному разрыву). Некоторые из них жили теперь во Франции. Все они встретились друг с другом у моего дяди Матиаса, который помогал моему дедушке руководить его заводом. Не пришел лишь мой двоюродный дедушка Вальтер. На самом ли деле он уехал на несколько месяцев за границу? Уже пятнадцать лет он был в ссоре со своим братом Дитрихом, моим родным дедом; но, будучи стойким и упрямым драчуном, он не мог пойти против традиций и сохранять злопамятство даже перед лицом смерти. Тем не менее его не было, и его отсутствие лишь усиливало то чувство враждебности, которое его всегда окружало, которое он продолжал распространять: мой дед отзывался о нем весьма недружелюбно (и даже более настойчиво, чем остальные братья), но именно его он назначил (вместе с моим отцом) своим душеприказчиком.

Мой отец не знал его. Вальтер, неспособный найти общий язык с кем бы то ни было, в своей семье не играл роли племенного сахема* и не требовал беспрекословного повиновения; к нему там не испытывали неприязни, наоборот, окружали уважением, связанным с тем почтительным отношением к власти, которое неизбежно возникает, когда она непрерывно отправляется в течение сорока лет. Будучи бездетным, он приютил у себя одного из моих кузенов и с усердием взялся за его строгое и суровое воспитание: ребенку не

* Вождь, глава клана.

исполнилось еще и двенадцати лет, а Вальтер каждое утро писал для него короткие записки, заполняя их похожими на приказы советами, и требовал дать на них ответ еще до того, как тот отправится в коллеж. В двадцать лет мой кузен, после спора по поводу одной юной особы, ушел от него. Дядя Вальтер, несмотря на отчаяние своей жены, никогда не отвечал на его письма. Кузен, которого он мечтал сделать своим наследником, так и не приобрел никакой профессии; Вальтер никогда об этом не говорил, и его братья не игнорировали его печаль и находили в ней достаточно человечности, чтобы убедить себя в собственном восхищении тем, что Вальтер не мог быть другим.

Правда, если он оказывался уж слишком невыносимым, то все его братья были готовы сказать: «В семье не без уроды, и это чудо, что он не стал еще хуже!». На всех фотографиях он стоит, его костыли скрыты под полами длинного пальто (у него были парализованы обе ноги).

На этих поминках эльзасский паштет из гусиной печени следовал за раками и форелью, малиновая настойка текла рекой, и немногого недоставало, чтобы это собрание не перешло в праздник. Человеку не хватило тысячелетий, чтобы научиться смотреть на смерть. Запах ели и смолы, врывавшийся сквозь открытые летом окна, тысячи стволов гладкого дерева — все это соединяется в прошлом с воспоминаниями и тайнами детства, прошедшего на семейной лесопилке; и все, как только вновь заговаривали о дедушке, рассыпались в ласковой почтительности, которую смерть безоговорочно позволила им распространить на буржуазную серьезность и мятежный дух, тайно увенчавший его жизнь этим необъяснимым самоубийством.

Уже в то время, когда Церковь, получив достойное вознаграждение, согласилась с отступлениями от правил поста, мой дедушка выразил яростный протест своему кюре, которому сам и покровительствовал, так

как был мэром Рейхбаха. (Неисправимый: в этой области, целиком покрытой зарослями средневекового Священного Леса, маленькие города еще являлись собственниками огромных земельных угодий, и во владении Рейхбаха было четыре тысячи гектаров, служивших основой процветания муниципалитета. Профессиональные качества моего деда никем не ставились под сомнение.) «Но, господин мэр, подобает ли простому священнику не подчиниться принятым в Риме решениям?» — «Значит, я доберусь и до Рима».

И он совершил пешее паломничество. Как глава различных благотворительных учреждений он получил аудиенцию у понтифика. Он оказался вместе с другими двадцатью верующими в одном из залов Ватикана. Он не был робким, но папа — это папа, а мой дед был христианином: все встали на колени, Его Святейшество вошел, они поцеловали его туфлю, и их отправили прочь.

Вновь переправившись через Тибр, мой дедушка, охваченный священным негодованием там, где утратившие веру люди танцевали у фонтана, где равнодушные тени падали на улицы без тротуаров, на древние колонны и на обитые велюром кондитерские, затолкал свой скарб в чемоданы и уехал первым скорым поездом.

Когда он вернулся, его друзья протестанты стали считать, что он готов к обращению.

— В моем возрасте религию не меняют!

Отныне отрезанный от Церкви, но не от Христа, он каждое воскресенье приходил на мессу, но не переступал порога храма. Он стоял в крапиве, возле того угла, где трансепт* встречается с нефом,** и воспроизводил

* Поперечный неф в базиликальных и крестообразных в плане храмах.

** Вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченная с одной или обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.

службу по памяти, внимательно вслушиваясь через витражи в звон колокольчика, возвещавшего о Вознесении. Постепенно он стал глухим и, опасаясь, что ничего не услышит, заканчивал тем, что двадцать минут стоял на коленях: летом — в крапиве, а зимой — в грязи. Недоброжелатели говорили, что он лишился рассудка, но не стоило так недооценивать его нестигаемое упорство; все видели в этом человеке с короткой белой бородкой и в скюртуке, стоявшем под зонтиком на коленях в грязи, на одном и том же месте, в один и тот же час в течение многих лет, не столько чудака и сумасброда, сколько олицетворение справедливости. Эльзас вообще восприимчив к вопросам веры, а тогда у него была особая нужда в надежных людях.

Потребовался весь его авторитет, весь его ум, с которым он успешно руководил своим заводом (в его безумие верили главным образом те, кто ему проиграл), чтобы заставить принять последствия его римской авантюры. Договор аренды между еврейской общиной и собственником дома, где она открыла свою синагогу, был разорван, собственник отказался его возобновить, и никто не желал предоставить для нее место. Мой дедушка предложил было муниципальному совету отдать под синагогу одно из общественных зданий, но столкнулся с решительным сопротивлением.

— Господа, подумайте хорошенько, ведь это же несправедливо!

Но замкнувшийся в молчании Эльзас был таким же упрямым, как и он сам. Дед был чуть ли не антисемитом, но в тот же вечер вызвал раввина и бесплатно отдал в его распоряжение одно крыло этого дома с ложными колоннами, с великолепной акустикой, позволявшей слышать все, что происходило за огромной металлической дверью времен Людовика XVI. Теперь здесь мои дядюшки и заканчивали свою вечеринку.

Такой же была и авантюра с цирком, которому совет отказал в праве разбить лагерь на территории

Рейхбаха: дедушка приютил его в деревянном ангаре, который был расположен за домом.

И мои дядюшки, перед своими рифлеными стаканами с малиновой настойкой, радостно вспоминали о той знаменитой ночи, когда они все вместе отправились отвязывать животных и когда Матиас тихонько приоткрыл великолепную дверь, расписанную красками, откуда один за другим появились дети: кто на умном ослике, кто на дрессированной лошади, кто на верблюде, а мой отец — на слоне. Не обращая внимания на крики своих новых хозяев, животные убежали в лес; пришлось поднять на ноги всю деревню, чтобы вернуть мэру его детей, с головы до ног покрывших себя позором...

После этого, когда приехал новый цирк, он запер детей и встретил артистов с таким же гостеприимством.

В этом просторном доме, где весь капернаум* Индийской компании под шум лесопилок дремал в закрытых на лето комнатах, один из цирков позабыл зеленого попугая. Мой дедушка научил его фразе из четырех слов, возможно, не без иронии: «Сделай то, что надо». После того, как один из детей был наказан, оказалось, что Казимир, попугай, начал произносить эту фразу с ошибкой; как только ребенок проходил мимо насеста, попугай хлопал крыльями: «Сделай эту гадость! Сделай эту гадость!». И ребенок, вытаращив глаза, бросился искать петрушку, яд для попугаев. Тот же съел ее, похвалил, а в конце концов вообще к ней привык и даже полюбил.

Сколько было таких летних вечеров, когда весь дом засыпал под жужжание пил, вдыхая запах теплого дерева, наблюдая за украдкой пробирающимися в свое крыло евреями, позолоченными древесной пылью и похожими на персонажей Рембрандта; за клоунами,

* От фр. *sarphanaït* — беспорядок, хаос и даже «непотребный» дом. Происходит от названия небольшого рыбацкого поселка, где жила семья Симона. В Священном Писании этот городок не упомянут.

направляющимися к ангару, чтобы привязать своих медведей; за кенгуру, прыгающим через монументальные сооружения из бревен? С тех пор, как тело дедушки было предано земле, попугай, все еще живой, свободный от обязанности находиться на насесте, словно дух мертвеца, с трудом пролетающий через темные комнаты, визжал в одиночестве: «Сделай эту га-а-а-адость...».

Мой дедушка не ошибся: наследником его упрямой суровости действительно стал брат Вальтер, отсутствовавший на похоронах. Все мои дядюшки, промышленники или коммерсанты, уважали в нем большого ученого. (Лишь мой отец, может быть, внушал им тогда такое же уважение.) После прекрасной, даже блестящей для эльзасца карьеры историка, он организовал свои «Коллоквиумы Альтенбурга», на которые никто из присутствовавших на поминках в Рейхбахе приглашен не был, и престижность этих коллоквиумов в их глазах от этого только выросла. Упрямый и, несомненно, хитрый организатор, он собрал средства, нужные для того, чтобы выкупить стоявший в нескольких километрах от Сен-Одиль монастырь Альтенбурга. Каждый год он собирал там несколько своих знаменитых коллег, полтора десятка интеллектуалов из разных стран и самых способных из своих старых учеников. На этих коллоквиумах родились некоторые тексты Макса Вебера, Стефана Георге, Сореля, Дюркгейма, Фрейда. Наконец, Вальтер когда-то был другом Ницше — и этот факт вызывал у моего отца и интерес, и почтительность.

Странный человек, сочетавший воспоминания о Ницше с анекдотами за столом: после Агадира он осмелился организовать круглый стол на тему «Отечество на службе разума»; однако все его братья (а также все племянники) помнили, что еще совсем ребенком (это было между 1850-м и 1860-м, Эльзас еще принадлежал Франции) он ответил одному любопытному, который спросил его о том, что же он будет делать поз-

же: «Я буду работать во Французской Академии». — «Какого черта ты там будешь делать?» — «Там были бы Виктор Гюго, Ламартин, Кювье, Бальзак...» — «А ты?» — «Я сидел бы там за партой». — «А какого черта ты делал бы там за партой?» — «Я? Я сказал бы им: „Примите меня сюда!“».

Мой отец утверждал, что идея альтенбургских коллоквиумов родилась благодаря этой старой — увы! — неосуществленной мечте.

На следующей неделе он получил от Вальтера письмо: тот только что вернулся в Альтенбург, чтобы руководить коллоквиумом, и ждал моего отца там.

Библиотека Альтенбурга была восхитительна. Центральная колонна отбрасывала тень на высокие средневековые своды, и длинные ряды с книжными полками исчезали в полумраке, поскольку зал освещался лишь электрическими лампами, установленными на уровне глаз. Ночь пробиралась сюда сквозь огромный витраж. Несколько готических скульптур, фотографии Толстого и Ницше, витрина, где были вывешены письма последнего к дяде Вальтеру, портрет Монтеня, маски Паскаля и Бетховена (мой отец подумал, что эти господа — наши родственники). Дядя ожидал его в глубокой нише, возле похожего на кухонный стол бюро, специально изолированного и стоящего на высокой деревянной эстраде с одной ступенькой, позволявшей ему высидеть над своим собеседником; так, запершись в своей несчастной келье, Филипп II с гордостью и презрением взирал на корабль Эскуриала.

Когда поезд прибыл, мой отец увидел Вальтера на перроне; если он не узнал его самого, то узнал его костыли. Дядя, отличавшийся от стоявших рядом двух учеников излишне прямой осанкой, разглядывал моего отца со странной неподвижностью, скрашивавшей его недуг; слишком высокий воротник и маленький черный галстук казались изысканными под легкой черной байроновской крылаткой, скрывавшей его ко-

лени; золотые очки размещались на ломаном носу Микеланджело, Микеланджело в конце долгой университетской карьеры... За высокопарными приветствиями сразу же последовало: «Встаем в восемь часов».

К удивлению моего отца, они отправились пешком. Ученики шли сзади; торжественные ряды елей закрывали небо, где ветер неудавшегося лета гнал вдаль темную стайку облаков; цоканье лошади и шум приглушенной машины, следовавшей за ними, сочетались с молчаливым поскрипыванием покрытых каучуком костылей. В четырехстах метрах перед ними, там, где сходились темные линии аллеи, появился наконец монастырь, поразивший отца своей суровой и тяжело-весной красотой. Вальтер Берже, опершись на левый костыль, протянул вперед правую руку: «Вот он». И скромно добавил: «Сарай, простой сарай. Тициан тоже торговал лесом...».

«Это сарай...», — повторил он, заранее пренебрегая любым ответом. И они наконец сели в машину.

Вальтер смотрел на едва освещенные портреты и на полки с книгами в тени так, словно ждал, что это уединенное место приведет моего отца в состояние благодати. Его лицо, освещенное снизу, было похоже на черновой набросок к одному из портретов. Он снял очки и стал похож на своего мертвого брата. Именно этого человека мой дедушка, после пятнадцатилетнего разрыва, пожелал сделать своим душеприказчиком; и журналы с заметками о деятельности моего отца на Востоке он покупал для того, чтобы послать их ему.

— Я любил Дитриха, — сказал Вальтер так, словно оказывал ему честь, но не без волнения в голосе.

В его словах, как и во взгляде, было что-то отсутствующее, словно он опасался увлечься тем, что говорил, или же то, что он собирался сказать, почти не отвлекало его от иных размышлений. Тем не менее он спросил:

— Мне говорили, он приготовил яд на тот случай, если веронал... не подействует?

— Его револьвер был под подушкой, со спущенным предохранителем.

Каждую неделю, в течение многих лет, в один и тот же час, на одном и том же месте он стоял возле церкви...

Вальтер начал было фразу, замолчал, и наконец решился:

— Не могли бы Вы просветить меня — я говорю только: просветить — относительно причин, которые могли... подтолкнуть Дитриха... к этому несчастному случаю?

— Нет, я должен был бы Вам даже сказать: наоборот. За два дня до смерти мы с ним вместе обедали; случилось так, что мы говорили о Наполеоне. Он спросил меня, немного иронично: «Если бы ты мог выбирать свою жизнь, то какую бы выбрал?» — «А Вы?». Он довольно долго размышлял, а затем сказал, тяжело вздохнув: «Ну что ж, я убежден, что бы ни случилось, если бы я должен был прожить иную жизнь, то я не хотел бы никакой другой, кроме жизни Дитриха Берже...».

— Я не хотел бы никакой другой, кроме жизни Дитриха Берже... — повторил Вальтер вполголоса. — Возможно ли, чтобы человек, еще глубоко дорожащий самим собой, уже отделял себя от жизни...

Снаружи доносилось кудахтанье глупых куриц, встревоженных дождливым вечером. Вальтер вопросительно протянул руку к моему отцу:

— И Вы считаете неуместным думать, что в течение следующего дня... могло что-то произойти...

— Самоубийство и было тем «что бы ни случилось».

— И все же, Вы ни о чем не догадываетесь? Я говорю лишь: не догадываетесь...

— Я был убежден, что тот, кто говорит о самоубийстве, никогда его не совершит.

«Обыкновенный человек, — думал мой отец безутешно, — которому мои успехи иногда приносили радость или гордость...».

Вальтер говорил шепотом, в тональности воспоминаний, и идущий снизу свет подчеркивал неподвижность его губ.

— Бывает и так, что смерть признают уже после того, как она нанесла свои удары...

— Я никогда не видел, как умирает человек, который был бы мне дорог.

— Но этот Восток... жестокий, беспокойный...

— Я приехал из Центральной Азии. Жизнь мусульман — это случайность в судьбе вселенной: они не кончают самоубийством. Я видел там много смертей, но те, кто умирал, не были моими друзьями.

Снаружи капли дождя стучали по плоским листам оконных карнизов, как карандаш по бумаге; время от времени капля потяжелее срывалась с какого-то невидимого водостока и разбивалась со звоном.

— Когда я был ребенком, — сказал Вальтер вполголоса, — я очень боялся смерти. Каждый год, приближавший меня к ней, приближал меня и к безразличию к самому себе... «Вечер жизни приносит с собой свою лампу», — сказал, я полагаю, Жубер.

Мой отец был уверен, что Вальтер кривил душой, так как чувствовал, что тот скрывает свою тревогу.

— Почему, — спросил он, — Дитрих пожелал, чтобы его похоронили по религиозному обряду? Это странно — я говорю только: странно — и едва ли соответствует самоубийству... Разве он не знал, что Церковь допускает религиозные похороны самоубийц лишь в той мере, в какой признает их безответственность...

Казалось, он завидует той решимости, с которой его брат встретил смерть, — и в то же время страшится ее.

— Безответственность, — сказал мой отец, — не была ему свойственна. Но, в конце концов, он отвергал Церковь, а не таинства.

И, поколебавшись, продолжил:

— Я думаю, что все это произошло весьма мучительно. Вы знаете, что завещание было запечатано. Фраза: «Мое последнее желание — быть похороненным по религиозному обряду» — была написана на чистом листе, оставленном на том же столике, где был обнаружен стрихнин; но вначале был написан такой текст: «Мое последнее желание — не быть похороненным по религиозному обряду». Он сразу же оградил себя от многочисленных добавлений. Несомненно, у него просто не было сил разорвать бумагу и переписать ее заново.

— Страх?

— Или закономерный итог мятежника: унижение.

— А впрочем, можем ли мы знать? В сущности, человек — это то, что он скрывает...

Вальтер расправил плечи и сложил руки так, как делают это дети, когда лепят пирожок из песка:

— Ничтожная кучка маленьких секретов...

— Человек есть то, что он делает! — ответил мой отец.

Однажды мимоходом он обронил, что то, что называют «психологией тайны», его раздражает. Для отца предположить, что самоубийство моего дедушки имело «причину», было равнозначно признанию, что эта причина, какой бы обыкновенной или даже печальной тайной она ни являлась, была не менее значительной, чем яд или револьвер, чем решение, посредством которого он *выбрал* смерть, смерть, во всем похожую на его жизнь.

— В тени тайны, — начал он более спокойным тоном, — люди слишком легко становятся одинаковыми.

— Да, я считаю, что Вы тот, кого называют «человеком действия»...

— Но не действие убедило меня, что человек, в сущности, как Вы говорите, выше своих тайн.

— Да. Я знаю: Вы преподавали. В такой цивилизации, как наша, образование и духовенство, служба разуму и служба тому, кого мы называем Богом, — это

последние разновидности благородных занятий человека.

После похорон мой отец впервые снова увидел постель. В комнате дедушки постель была перевернута людьми из госпиталя, пришедшими забрать тело, а затем опасливо заправлена Жанной. Сохранилась даже впадина, которую оставляют после себя спящие; электричество продолжало гореть, словно никто, в том числе и он сам, не осмеливался раздвинуть шторы и прогнать смерть. В приоткрытом шкафу стояла маленькая рождественская елка с множеством маленьких свечек... На ночном столике лежала пепельница с тремя недокуренными сигаретами: мой дедушка курил либо до того, как принял веронал, либо перед тем, как заснул. По краю пепельницы бежал муравей. Он продолжил свой путь, взобравшись на лежавший там же револьвер. За исключением рожка далекого автомобиля и стука колес фиакра на улице, мой отец слышал лишь равнодушное тиканье настенных часов, еще не остановленных. Этот механический и в то же время живой звук, царапающий душу, распространялся по всей земле, устанавливая над загадочной человеческой свободой регламентированный до мелочей порядок сообщества насекомых. Здесь присутствовала смерть, вместе с тревожным светом электрических ламп, позволявшим догадаться, что за шторами уже наступил день; вместе с невидимыми следами людей, унесших труп; от живых исходил постоянный шум: звук рожка, удаляющийся стук копыт лошади, крики утренних птиц, голоса людей, удушливые, странные. В этот час к Кабулу, к Самарканду брели вереницы ослов, следы копыт и удары плетей растворялись и исчезали в мусульманской тоске...

Земля — это приключение человека. И вся она, как и свершившаяся судьба его отца, могла бы быть другой... Он ощущал, как его постепенно захватывает неизвестное чувство присутствия священного, словно он был на ночных вершинах Азии, а вокруг него бесшум-

но хлопали крыльями маленькие песчаные совы... Это была гораздо более глубокая, тревожная свобода марсельского вечера, когда он разглядывал, как колышутся тени от тонкого аромата сигарет и абсента, когда Европа казалась ему такой странной, когда он смотрел на нее, словно освободившись от времени, наблюдая, как медленно ускользает в прошлое один час за другим, вместе со всей своей причудливой свитой. Теперь он чувствовал, какой странной и причудливой становится вся жизнь; и благодаря этому он вдруг оказывался свободным, таинственно чуждым этой земле и даже удивленным, что она вообще существует, словно он сам и был той улицей, по зеленой траве которой скользили его соплеменники...

Наконец, он раздвинул шторы. За классическими валютами широкой железной двери трепетала живая зеленая листва начала лета; немного ниже листва начинала уже темнеть, а завершалось все линией почти черных елей. Он разглядывал бесконечное многообразие этого обычного пейзажа, слушал медлительный шепот пробуждавшегося, словно дитя, Рейхбаха; наблюдал, как тают на небосклоне очертания созвездий, пока глаза его не устали. И казалось, что в простом присутствии людей, спешивших куда-то под ранним утренним солнцем, похожих друг на друга и в то же время разных, словно листья одного дерева, возникает тайна, излучаемая не только смертью, еще не скрывшейся из виду, тайна, которая была как тайной смерти, так и тайной жизни, тайна, которая была бы не менее горестной, если бы человек был бессмертен.

— Мне известно... это чувство, — сказал Вальтер. — И мне кажется иногда, что оно вернется ко мне, когда я буду старым...

Мой отец смотрел на этого человека семидесяти пяти лет, который говорил: «Когда я буду старым...». Вальтер, сосредоточившись на своем, поднял руку:

— Мне сообщили, что Вы недавно посвятили свой лекционный курс моему другу Фридриху Ницше, для

этих... турок? Я был в Турине (в Турине, случайно...), когда узнал, что он только что сошел там с ума. Я не видел его, я только что приехал. Овербек, предупрежденный заранее, упал духом, когда я осмелился заговорить о Базеле у себя: он должен был срочно увезти несчастного, но не имел денег даже на билеты. Как всегда! Вы... Вам знакомо лицо Ницше? — Вальтер указал на портрет сзади. — Но фотографии не передают его взгляд: он был женственно мягким, несмотря на его усы... как у пугала. Этого взгляда больше нет...

Его голова всегда оставалась неподвижной, голос — всегда отсутствующим, словно если он и говорил, то не для моего отца, а для книг и для фотографий знаменитостей, остававшихся в тени; словно ни один собеседник не был способен его понять; словно все его собеседники, понявшие то, что он намерен был сказать, были из другого времени; словно в наши дни не было никого, кто согласился бы его выслушать; словно он, усталый, говорил лишь из вежливости и долга. Во всей его позе была та же надменная скромность, олицетворяемая его маленьким возвышающимся бюро.

— Когда Овербек, потрясенный, закричал: «Фридрих!», несчастный обнял его и сразу же спросил рассеянным голосом: «Вы собирались сегодня поговорить с Фридрихом Ницше?». Овербек неловко отстранился от него: «Я? Нет, я, я — глупец...».

Рука Вальтера, все это время поднятая, изображала руку Овербека. Мой отец любил Ницше больше, чем любого другого писателя. Любил не наставления, но бесподобную великодушную мудрость, которую он у него находил. Он слушал все это с тревогой.

— Затем Фридрих заговорил о торжествах, которые готовились в его честь. Увы! Мы его увезли. К счастью, мы встретили друга Овербека, одного... дантиста, у которого был опыт обращения с безумцами. У меня не было с собой большой суммы денег, и мы были вынуждены занять места в третьем классе... Поездка была долгой: из Турина в Базель. Поезд был почти заполнен

бедняками, итальянскими рабочими. Во всех купе нам говорили, что Фридрих подвержен приступам бешенства. Наконец мы нашли три места. Я остался в коридоре, Овербек сел слева от Фридриха; Мишер, дантист, справа; рядом сидела одна крестьянка. Она была похожа на Овербека, такое же бабушкино лицо... Из ее корзинки постоянно высовывала голову курица; женщина заталкивала ее обратно. Этого было достаточно, чтобы вывести из себя (я говорю: вывести из себя)... Чем все это могло обернуться для больного? Я был готов к какому-нибудь неприятному инциденту... Поезд вошел в туннель Сен-Готар, который только что был построен. Тогда поезд шел через туннель тридцать пять минут — тридцать пять минут! — и в вагонах третьего класса не было освещения. Несмотря на стук колес поезда, я слышал, как курица бьет клювом о прутья корзины, и был наготове. Что делать, если в этой темноте разразится кризис?

За исключением плоских губ, лишь изредка едва шевелившихся, его лицо сохраняло неподвижность в этом театральном свете; но в голосе, прерываемом падающими с черепиц каплями, слышались нотки вернувшегося сострадания.

— И вдруг — Вы... не знаете, что некоторые тексты Фридриха еще не были изданы — в этой темноте возник голос, он поднимался выше и выше, заглушая стук колес. Фридрих пел — нормальным голосом, тогда как, беседуя, он чаще всего невнятно бормотал. Он пел неизвестную нам песню; это была его последняя поэма — «Венеция». Я никогда не любил музыку Ницше. Она посредственна. Но эта песня — о, Боже! — была превосходна... Он закончил раньше, чем мы выехали из туннеля. Когда мы вышли из темноты, все было как прежде. Как прежде... Все это было так... случайно... И Фридрих, чуть более беспокойный, чем труп. Это была жизнь — я говорю просто: жизнь... Произошло... очень странное событие: пение было таким же прекрасным, как сама жизнь. Я только что открыл одну вещь. Нечто

очень важное. В тюрьме, о которой говорит Паскаль, люди сумели сами получить ответ, который, осмелюсь сказать, даст им бессмертие, тем, кто этого достоин. А в этом вагоне...

Он в первый раз сделал широкий жест, не рукой, а кулаком, словно вытер школьную доску.

— А в этом вагоне, видите ли, и кое-где потом — я говорю лишь: кое-где — мне показалось, что звездное небо так же стерто человеком, как наши несчастные судьбы стерты звездами...

Он перестал смотреть на моего отца, и его внезапное красноречие, смешанное с рассеянностью, смущало еще и потому, что было весьма необычным для нашей семьи. Но Вальтер уже принял свой странный презрительный тон, который, казалось, был адресован какому-то невидимому собеседнику, стоявшему за спиной отца.

— Вершины любви — говорят: «вершины», верно? — противостоят влечению к смерти. Я не испытал этого. Но я знаю, что некоторые шедевры излечивают от головокружения, которое возникает, когда мы смотрим на мертвецов, на звездное небо, на нашу историю... Некоторые из них здесь. Нет, не эта готика; знаете ли Вы голову юноши из музея в Акрополе? Первая скульптура, где изображено человеческое лицо, простое человеческое лицо; свободное от монстров... от смерти... от богов. Это тот день, когда человек, словно Бог, вылепил человека из глины. Эта фотография здесь, у Вас за спиной. Мне приходилось ее рассматривать, долго глядя в микроскоп... Дело здесь не в тайне материала.

Снаружи доносился похожий на шуршание сожженной бумаги шум дождя, то стихавшего, то начинавшего опять стучать по карнизам; большие капли продолжали время от времени со звоном падать в лужи. Голос Вальтера стал еще более отстраненным:

— Самая большая загадка не в том, что мы на произвол судьбы выброшены в пространство между изобилием материи и щедростью звезд; загадка в том, что

в этой тюрьме мы сами создаем настолько поразительные и мощные образы, что они в состоянии отрицать наше небытие. И не только образы... В конце концов, видите ли...

Через какое-то слуховое окно вместе с лесными шорохами проникал теплый аромат древесных грибов, смешивающийся с пыльным запахом книжных рядов погрузившейся в темноту библиотеки. В душе моего отца пение Ницше, заглушавшее стук колес поезда, перемешалось с образом старика из Рейхбаха, ожидавшегося смерти в комнате с завешенными шторами, с обедом на поминках, с металлическим стуком ручек гроба, который несли на плечах...

Привилегия, о которой говорил Вальтер, состояла в том, что он был более стойким перед небом, чем перед болью! И, возможно, он был прав, когда говорил о лице мертвеца, если бы оно не было лицом любимого человека... Для Вальтера человек был лишь «ничтожной кучкой тайн», созданной, чтобы стать пищей окружавшим в полумраке его неподвижное лицо шедеврам; для моего отца все звездное небо сводилось к чувству, которое в конце болезней и страданий словно говорило существу, отчаянно желавшему смерти: «Если бы я был должен выбрать другую жизнь, я выбрал бы свою собственную...».

Пальцы Вальтера нервно теребили книгу, лежавшую у него под рукой. Мой отец вновь воочию увидел лицо, которому самоубийство сообщило лишь острые и ясные черты, разгладило морщины, отметило тревожной молодостью смерти... И он видел перед собой почти то же самое лицо, неравномерно освещенное, неподвижные стеклянные глаза, а на залитом светом столе — дрожащие руки Вальтера, такие же, как у дедушки, только более сильные, руки лесорубов Берже из Рейхбаха, жилистые и волосатые.

Мой отец, наполовину из вежливости, наполовину из любопытства, должен был помочь работе коллокви-

ума во второй половине дня и не уезжать до вечера. Утром один из его кузенов, правая рука Вальтера, толстяк с галстуком-бабочкой, веселым мячиком скакавший по коридорам монастыря, ответил моему отцу, интересовавшемуся отношениями своего дяди с Ницше:

— Думаю, что Вальтер, может быть, играл при Ницше, да и вообще в этой среде, роль полезного зануды: довольно богатый, способный позаботиться о месте, о пенсии... Он одновременно и скуп и щедр (и не только он один). Он прославился тем, что вернул его в Базель, но в таких случаях это может сделать и консьержка... Что касается гордости его библиотеки — писем, которые он получил от Ницше и которые он тебе не покажет никогда, то там, мой дорогой, одна ругань.

Когда коллоквиум начался, мой отец обнаружил, что забыл, до какой степени интеллектуальным был его народ. Потому что мышление этих людей было устремлено к внутренней согласованности, а не к испытаниям, потому что оно опиралось на библиотеку, а не на опыт; библиотека, в конце концов, более благородна и не так болтлива, как жизнь... Коллоквиум, который должен был продлиться шесть дней, был посвящен теме постоянства человека во всех цивилизациях, и из таких же пустых и безрезультатных, как и все идеологические дискуссии, споров на эту тему, из вереницы унылых монологов мой отец удержал в памяти лишь несколько ярких мгновений.

Низкорослый взлохмаченный бородач, запутавшийся в своих седых прядях, словно кошка в клубке шерсти, сказал:

— Заметьте, три великих романа о завоевании мира были написаны: один — бывшим рабом, Сервантесом, другой — бывшим каторжником, Достоевским, третий — осужденным и поставленным к позорному столбу, Даниэлем Дефо.

Однако выступление профессора Мельберга его действительно заинтересовало.

Несмотря на свой титул, Мёлльберг уже давно не преподавал ничего, кроме этнологии. Он только что вернулся после трехлетнего пребывания в Африке, где проехал от немецкого юго-востока до территории гармантов,* контролируемой турками. Мой отец мог бы помочь ему в его миссии, но они никогда не встречались. Шишковидный череп, бегающие глаза, заостренные уши — он был похож на вампира немецких романтиков, приехавшего в новом костюме из сказочного королевства. Он вызвал огромный интерес у аудитории, когда подвел итог некоторым своим работам, относящимся к доисторическим обществам:

— Выше правителей-жрецов стоял король. Его власть возрастала вместе с Луной: вначале неощутимая, она начинала проявляться, когда показывался полумесяц, постепенно вручавший королю одну привилегию за другой... Наконец, полная луна превращала его в настоящего короля, властителя жизни и смерти. Тогда, разукрашенный разными цветами или покрытый позолотой (так же, несомненно, выглядели и доколумбовы короли), лежа рядом с королевскими сокровищами на высоком ложе, он проходил ритуал священного омовения, его благословляли жрецы. Он свершал правосудие, раздавал еду народу, направлял к звездам торжественную молитву о своем королевстве. Само совершенство! Луна начинала убывать — он укрывался во дворце. Когда наконец подходило время безлунных ночей, никто не имел права с ним разговаривать. Во всем королевстве было запрещено произносить его имя. Отверженный! Днем ему нельзя было показываться. Скрытый в темноте, даже от королевы, он утрачивал королевские prerogatives. Он не издавал больше приказов. Не получал и не раздавал подарков. Лишь при этом условии продолжалось его

* Древний африканский народ, обитавший в Фазании (теперь Феццан); занимался земледелием и вел торговлю с карфагенянами.

священное заточение. Народ в целом связывал с этими событиями сбор урожая, брак, рождение детей. Детей, родившихся в безлунные ночи, убивали при рождении, — и он поднял свой сухой палец, такой же острый, как и его уши. — Бракосочетание короля и королевы (всегда его сестры, всегда!) проходило на высокой башне; сексуальные отношения короля и других его жен были связаны с движением звезд. Как жизнь короля была связана с Луной, так и жизнь его первой королевы — с Венерой, с планетой, разумеется. Теперь, внимание! Когда Венера, вечерняя звезда, становилась утренней звездой, все астрологи собирались в шалаше. Если это было время лунного затмения, то короля и королеву увозили в пещеру в горах. И там их заваливали камнями. Эти люди были не более невежественны, чем врачи, не знающие, как начинается и как заканчивается рак: они были связаны с небом так же, как мы с нашими вирусами. Почти все знатные вельможи умирали вслед за королем. Эта смерть губила их так же, как нас — закупорка сосудов. С королевским трупом обращались с величайшей заботой и нежностью, пока он, вместе с вновь рожденным полумесяцем, не воскресал в виде нового короля. И все начиналось заново.

Казалось, что сама Африка говорила в этом зале, заполненном до потолка книгами.

— И все это исчезает в исторические времена: вы знаете, что представителя короля в честь наступающего Нового года торжественно казнили на главной площади Вавилона; в это же время с настоящего короля, всемогущего, срывали одежду, подвергали его унижениям и избивали в темном углу дворца... Уже никто не считал, что этот король подобен богу или герою. Он был таким же королем, как королева у муравьев. Эта цивилизация существует под знаком абсолютной фатальности. Короля не приносят в жертву Богу-Луне: он одновременно и король и луна, как люди-пантеры Судана одновременно и люди и пантеры; почти так же,

как ребенок одновременно и ребенок и д'Артаньян. Мы все находимся в царстве космоса, царстве, предшествующем религиям. Идея творения мира, возможно, еще не возникла. Вечность убита. Боги еще не родились.

И после анализа «важнейших ментальных структур», последовательная смена которых, с его точки зрения, формировала опыт человечества, он сделал вывод:

— Говорим ли мы о связях с космосом в этих обществах или о связях с Богом при цивилизованном строе, любая ментальная структура принимается за абсолютную, неоспоримую, за особую очевидность, которая управляет всей жизнью, без которой человек не может ни мыслить, ни действовать. (Очевидность, которая не обязательно обеспечивает человеку лучшую жизнь; которая может, разумеется, даже способствовать его уничтожению!) Она относится к человеку так же, как аквариум к рыбе, которая в нем плавает. Она не исходит из разума. Она не имеет ничего общего с поиском истины. Именно она объемлет человека и властвует над ним; он же ею в целом не владеет никогда. Но, может быть, ментальные структуры исчезают безвозвратно, как динозавры; может быть, цивилизация преуспевает, лишь бросая человека в бездонный сосуд Данаид; может быть, отвага человека поддерживается лишь ценой необратимой метаморфозы; тогда не имеет значения, что человек способен на несколько столетий сохранять и передавать свои понятия и технологии, ибо человек — это чистая случайность, а мир, в сущности, соткан из забвения.

Он расправил плечи и повторил, словно эхо:

— Из забвения... Фундаментальный человек — это мечта интеллектуалов, обращенная к крестьянину; помечтайте хоть немного о фундаментальном рабочем! Вы желаете, чтобы для крестьянина мир не был соткан из забвения? Ведь тот, кто ничего не учил, не должен ничего и забывать. Мудрый крестьянин (мне известно,

что это такое) — это, конечно же, не фундаментальный человек! Не существует фундаментального человека, наращивающего в ходе столетий свои верования и знания; есть человек, который верит и знает, — и никого больше. Дорожите им!

И он указал на главную стену, туда, где раньше, несомненно, висело распятие, на фигуру, тщательно покрытую воском. Там стоял атлант, похожий на огромного и неуклюжего моряка, а еще ниже — готические скульптуры двух святых, сделанные из такого же темного дерева.

— Эти скульптуры, как вам известно, изготовлены из одного и того же дерева. Но под этой формой нет фундаментального ядра, это всего лишь деревяшки. За пределами мышления вы иногда собака, иногда тигр, иногда лев, если вам это нравится, — всегда какое-то животное. Людей объединяет вместе лишь сон, если он без сновидений, и смерть. Значение имеет лишь постоянство небытия, если устремления самых лучших из нас тщетны...

— Эти устремления по меньшей мере тверды, мой дорогой профессор, — сказал Вальтер. — Что-то вечное живет в человеке — в человеке, который мыслит... нечто, что я назвал бы божественным: это склонность ставить весь мир под сомнение...

— Сизиф тоже вечен!

Когда дискуссия закончилась, кто-то в огромном коридоре спросил Мёлльберга, когда же будет опубликована его рукопись.

— Никогда. В конечном счете, это было сражение с Африкой. Она прекрасна! Ее листва висит на низких ветвях деревьев различного вида, от Занзибара до Сахары. Согласно обычаю, победитель уносит с собой труп побежденного.

Мой отец отправился назад через поля. Они за монастырем занимали все пространство между двумя лесными массивами и были усеяны звездочками цикория такого же голубого цвета, как и вечернее небо, на-

столько прозрачное, что была видна самая его вершина, по которой двигались готовые растаять облака. Все, что возвышалось над землей, отдыхало в сияющем спокойствии, купалось в брызгах надвигающихся сумерек; листва еще блестела в воздухе, который дрожал от последних потоков свежести, рожденных травой и ежевикой. В Кабуле, в Конье, мечтал мой отец, он разговаривал бы только с Богом... Сколько раз в Афганистане он мечтал о том, с чем хотел бы встретиться в первую очередь. Запах копоти паровозов, асфальта под солнцем, вечерние кафе, отблеск серого неба на камине, в ванной комнате! Спускаясь с Памира, где потерявшиеся верблюды режут в облаках; возвращаясь через южные пустыни, где сверчки крупнее раков; продираясь через колючий кустарник, цепляющий свои антенны на одежду всадников из проходящих мимо караванов, он входил иногда в цветущие города-кладбища. Под глиняными воротами с перекошенными балками спали вечным сном всадники в лохмотьях, вытянув ноги в стремях; у порогов закутанных, словно женщины, домов, в песке на улицах без окон поблескивал череп лошади, сверкала слюда рыбьих костей. Снаружи ни листочка, а внутри ни деревяшки, ни одного обломка старой мебели: стены, небо и Бог. После нескольких месяцев в Центральной Азии, после бесконечного топота мчащихся рысью афганских лошадей, он мечтал о пестрых изгородях афиш, о неисчерпаемых музеях, увешанных картинами от пола до потолка, о лавках торговцев голландскими гобеленами. Но увидев Марсель в голубой пыли, похожей на ту, что поднималась в этот вечер над Рейном, он открыл для себя, что Европа — это прежде всего витрины магазинов...

Некоторые остались такими же, как и раньше: аптеки, «художественная бронза», мясные лавки, бакалейные, продавцы овощей и фруктов (но мясо было красным, а рыба — маленькой и бледной!). Другие вызвали в нем несколько мгновений удивления: педикюр, ремонт часов, ортопед, цветы, корсеты, венки на могилу,

парикмахерская с вывеской, которую он когда-то уже видел, — «Шиньоны для жеманниц»... Женщины на ходу смотрелись в огромное зеркало. У моего отца теперь было время их изучить; и он был удивлен их вихляющей походкой, непристойностью этих облегающих платьев, которых в Европе он еще не видел и которые ислам игнорировал. Он вспоминал трели колокольчиков, и перед его глазами представляли одалиски в шапочках и огромных шляпах, в соломенных канотье и панاماх; их спутанные ноги перемещались так, словно были изуродованы китаянками, в этих ботиночках под брюками в клетку... Ни одна мусульманка не носит шляпок. Непринужденность этих женщин вместе с их карнавальными костюмами придавала каждому мельком увиденному лицу рассеянную уверенность сумасшедшего. Однако Европа в отсутствии мусульманской вуали, в обнажении лиц находила болезненную чистоту. Эти лица выделялись не наготой, но заботой, беспокойством, смехом — одним словом, жизнью. Лица без вуали.

Была ли виновата во всем этом мода, преобразившая за шесть лет костюмы, или же приглашенная вечерней беззаботностью торопливость? В этой привычной толпе, окружавшей его вечером в Старом порту, с ее тросточками, с усатыми манекенами, со звуками танго и военными кораблями вдалеке, ему казалось, что он вернулся не только в Европу, но и в свое прошлое. Выброшенный на каком-то берегу небытия или вечности, он смотрел на этот смешанный поток, отделенный как от него, так и от тех, кто проходил мимо, со своими забытыми тревогами и утраченными легендами, по улицам первых династий Бактрии и Вавилона, в оазисах, где возвышаются Башни Молчания. Сквозь звуки музыки и запах теплого хлеба торопились домохозяйки с кошелками в руках; торговец красками раскладывал свои разноцветные дощечки, на которых задерживался последний луч солнца; сирена теплохода, казалось, обращалась к приказчику в ермолке, уносив-

шему на спине манекен в полумрак узкого магазинчика, — все это происходило на земле, в конце второго тысячелетия христианской эры...

Солнце садилось за Эльзас, освещая красные яблоки в садах. Сколько вопросов было с той же страстью задано под сводами этого монастыря! Тщетные усилия мысли, которые тревога освещает так же, как солнце эти сады, их бесконечное возрождение! Мысль об Африке, Азии так же необычна и случайна, как и мысль об этом дне солнечного и дождливого лета, как и белые люди в тот вечер в Марселе, как и народ за окном во время похорон, — волнующая и банальная тайна жизни в суетливый час на рассвете...

Он добрался до больших деревьев: ели уже были во власти ночи, с прозрачной капелькой на кончике каждой иголки; на липах еще шумели воробьи. Но самыми прекрасными были два ореховых дерева: он вспомнил о статуях в библиотеке. Эти массивные столетние деревья излучали изобилие, но усилие, с которым из их огромных стволов прорастали кривые ветви, их широко раскинувшаяся темная листва, их старость и тяжесть, которая, казалось, вот-вот вдавит их в землю и не позволит уже оттуда вырваться, — все это внушало идею и желания и бесконечной метаморфозы одновременно. За ними холмы тянулись уже до самого Рейна; такие же деревья окружали собор в Страсбурге, терявшийся вдали в счастливых сумерках, точно так же, как это было с другими соборами на иных просторах Запада. И весь этот окутанный молчанием вид, вся людская страсть и работа, воплощенная в раскинувшихся до реки виноградниках, были лишь вечерним нарядом столетиями тянувшихся к небу деревьев, двух крепких и узловатых струй, вырывавших из земли ее силу и разворачивавших ее в ветвях. Благодаря низкому солнцу их тень доходила до другой стороны долины, словно два плотных и густых луча. Мой отец размышлял о двух святых, об атланте; лес, судорожно

сжатый этими ореховыми деревьями, вместо того, чтобы держать на себе всю тяжесть мира, расцветал вечной жизнью в их сверкавшей на солнце листве и в их почти зрелых плодах, во всей зеленой торжественной массе, возвышающейся над широким кольцом молодой поросли и погибшим зимой орешником. «Цивилизации или животный мир, словно статуи или поленья...» Между статуями и поленьями располагались деревья, и их темные силуэты были рисунком самой жизни. И атлант, и лица святых, опустошенные пламенем готики, исчезали здесь, как и сам разум, как и все, что было моему отцу известно, похороненное в тени этой великодушной статуи, вылепленной силами самой земли; в тени, которую скрывающееся за холмами солнце распространяло вплоть до горизонта.

Сорок лет тому назад Европа еще не знала войны.

2

1934—1950—1965

Здесь я рассчитываю встретить лишь искусство и смерть.

Редко бывает так, что мемуары приводят нас к встрече автора с теми идеями, которые заполняют его жизнь и руководят ею. Жид объясняет нам, как обнаружил в себе педераста, а его биограф пытается объяснить нам, как тот нашел в себе художника. Итак, в моем уме — как и в уме большинства интеллектуалов — есть идеи, которые встречаются друг с другом, словно живые существа. Я намеренно использую здесь слово «встреча», потому что рефлексия будет выработана и развита позже. Однако мы сразу предчувствуем продуктивность этих идей, и это предчувствие иногда называют вдохновением. Я также встретился в Египте с такими идеями, и они годами упорядочивали мои размышления об искусстве.

Первая родилась возле Сфинкса. Он не был еще целиком очищен. Он не был так завален, как в 1934-м, но он разговаривал еще на великом языке руин, уже готовых стать местом археологических раскопок. Это было в 1955-м, когда я, находясь перед ним, написал:

«Деградация, распространяющая свои признаки до границ бесформенного, сообщает им акцент камней дьявола и священных гор; осколки его головного убора окружают крылья варварского шлема, широкое лицо так изношено, что с наступлением ночи его черты полностью стираются. Это час, когда самые древние формы оживляют то место, где разговаривали боги, изгоняют бесформенную безмерность и упорядочивают созвездия, которые, кажется, лишь ночью и появляются, чтобы вращаться вокруг.

Что же имеется общего между духом причастия, которым средневековая полутень заполняет нефы, и печатью, которой египетские ансамбли отмечают безграничность: между всеми формами, которые схватывают свою частичку неуловимого? Для всех эти форм, хотя и в различной степени, реальное есть видимость; существует и нечто иное, что не является видимостью и не обращено всегда к Богу. Гармония вечности, отстраняющая человека от того, что им управляет, сообщает этим формам их силу и выразительность: угловатый головной убор Сфинкса гармонирует с пирамидами, но эти гигантские формы поднимаются от маленькой погребальной комнаты, которую они закрывают, от бальзамированного трупа, который они призваны соединить с вечностью».

Именно тогда я стал различать два языка, которые воспринимал, не разделяя, уже тридцать лет. Язык видимости, язык толпы, который, несомненно, похож на то, что я встретил в Каире: язык мимолетного. И язык Истины, язык вечного и священного. Несомненно, Египет раскрывает неведомое в человеке, как раскрывает его и Индия, но его символ вечности не соперничает с Шивой, вновь и вновь танцующим на теле свое-

го очередного врага в окружении созвездий: этим символом является Сфинкс. Это химера, и искажения пропорций, образующие его огромный череп, лишь увеличивают его ирреальность. Однако я обнаружил, что это также справедливо и для соборов, и для гротов Индии и Китая; что искусство зависит не от эфемерного существования народов, от их домов и их мебели, но от той Истины, которую они шаг за шагом создали. Оно не зависит от могил и захоронений, оно зависит от вечного. Всякое священное искусство противоположно смерти, потому что оно не украшает цивилизацию, а выражает ее высшие ценности. Тогда я слышал слово «священное» только вместе со звуками похоронного марша. Виктория греков казалась мне утренним Сфинксом. Оставался только реализм, и я обнаружил, что, взятое в целом, даже современное искусство является сказочным животным. Я шел к этому открытию десять лет...

В то время Сфинкс возвышался над деревней и над маленьким храмом. Его лапы еще прятались в земле, и это придавало ему вид высеченной из горы скульптуры. Но руины, настоящие руины, связывавшие между собой разрушенные храмы в заброшенных тюрьмах, где к виселицам были прикреплены огромные фонари, — эти руины превращались понемногу в места археологических раскопок. Мы уже никогда не увидим Сфинкса, скрытого под камнями; не увидим солдат, сидящих на его ушах, как сидели там солдаты Бонапарта или Нельсона; не увидим мы и Афины, «которые были — увы! — не больше албанской деревни!». Мы еще долго не увидим сфинксов, зарытых по шею в нубийской пустыни и источенных песчаным ветром до такой степени, что их голова стала похожей на пень старого оливкового дерева...

В Великой Пирамиде сегодня доступна погребальная комната фараона. Говорят, что именно она вдохновила Гитлера оборудовать комнату, в которой он уеди-

нялся, чтобы подготовиться перед своими выступлениями на стадионе в Нюрнберге. Колонны нацистского монумента действительно похожи на колонны Гранитного храма, очищенного от завалов перед Сфинксом. Но дорога, ведущая к гробнице фараона, не имеет ничего общего с дорогой в Нюрнберге, где расположены эти геометрически правильные колонны. Вначале это запутанный лабиринт, расчищенный расхитителями гробниц. Расчищенный как древними искателями приключений, пробиравшимися к золоту смерти с потрескивавшими в темноте факелами, так и грабителями-мусульманами наших дней, нанятых безумными калифами... Их тропа пролегает между лежащими рядом друг с другом камнями, словно по доисторическому коридору, и проходя по нему, ждешь, что вот-вот, как в пещере Фон-де-Гом, покажутся на скалах рисунки бизонов, стертые бесчисленными тысячелетиями. Эта тропинка тянется, пока не покажется круто ведущая вверх галерея фараона, в которую нельзя попасть, двигаясь в полный рост, и которая сразу погружает нас в темноту. В Верхнем Египте, в конце более узких, чем эта, галерей были найдены скелеты расхитителей сокровищ, которые не смогли вернуться назад, стиснутые между стенами, усеянными маленькими мумифицированными крокодилами, которые лежат там словно бутылки в погребке...

Слепая судьба не перестала смешивать королевские саркофаги, словно костяшки домино. Как в Фивах, так и здесь. Во времена XXII династии мумии великих фиванских царей были, благодаря стараниям жрецов, перебинтованы и положены вместе в несколько гробниц. В конце XIX века были обнаружены «тридцать три царя, царицы, принцы и прорицатели Амона, а также десять персонажей второстепенного значения». Корабль, нагруженный мумиями фараонов, поднимался по Нилу; обезумевшие женщины голосили, словно на похоронах. Во время этих переездов многие тела были помещены в гробницы, которые не были их собствен-

ными. И среди крышек найденных саркофагов была обнаружена крышка гробницы Рамзеса...

В прошлом году я отправился побродить в тени окрестностей Версаля. Малая Венеция, где жили гондольеры Большого канала, останки зверинца с каменными животными и лабиринта со свинцовыми химерами, маленький театр Трианон, где Мария-Антуанетта играла «Севильского цирюльника» перед своими друзьями (в том числе и перед Бомарше, которого затем отправили в Бастилию). Такой маленький театр и такие огромные заповедники, служившие ему украшением. Казалось, что двери его не открывались со времен Революции. Девочка с косичками, похожими на маленькие рожки, принесла нам огромный ключ. Рабочие сумели раскрыть створки дверей. Огромное облако пыли, вызвав приступы кашля, заполнило двор, где жены наших помощников выращивали герани на окнах; и дышло, на котором, словно паруса на галерах смертников, висели полотнища паутины, свалилось прыгая на мостовую, вызвав целую бурю страстей в толпе черных с серебристыми крыльями индюков.

— Уже пятьдесят лет, как его разыскивают во Дворце Инвалидов! — вскричал хранитель. — Это же погребальная колесница Наполеона!

Очищенная, с тридцатью шестью черными попонами, она стала больше похожа на катафалк, на котором с огромной шевелюрой, развевающейся на зимнем ветру, восседал Берлиоз... И здесь, в коридоре, поднимающемся прямо в темноту, почти рядом с Пирамидами Бонапарта, я думаю о том дне, когда Наполеон разбирал мешки с первой почтой с острова Святой Елены, обнаружив там, вместо ожидаемых газет, связки любовных писем от женщин, предлагавших ему разделить с ними свою жизнь...

Вот и погребальная комната, поражающая величием пропорций, гениальной строгостью архитектуры. (Эти камни, как и камни мексиканских памятников,

кажутся обрезанными бритвой.) И при этом само место совершенно закрыто и источает опасность. Мы поднимаемся уже довольно долгое время, и воздух разрежен, словно в атомном бомбоубежище. Однако комнаты убежищ располагаются в глубине пещер, и их бесконечные своды исчезают в доисторической темноте, куда не доходит свет фар какого-то странного устройства в руках неподвижного солдата в белых перчатках. Здесь же сжимающая нас со всех сторон пирамида своей удушливой геометрией прославляет чистоту погребальной комнаты и чистоту самой смерти. Саркофаг когда-то был разрушен или похищен; его отсутствие, о котором свидетельствует разрушенная бадня, лучше, чем его наличие, гармонирует с этими не подверженными порче и разрушению стенами. В памяти возникает индийская легенда о принце, который после смерти женщины, которую он любил, много лет строил самую прекрасную гробницу в мире. Когда это сооружение было закончено, принесли гроб, и он нарушил гармонию погребальной комнаты. Тогда принц велел убрать его. Здесь также достаточно одной гробницы: это гробница самой Смерти. Наши пещеры с обтесанными кремниевыми стенами и вентиляторами напоминают нам, что человек изобрел орудия труда, инструменты. Египет же напоминает, что человек изобрел и гробницу тоже.

В комнату Гитлера спускаешься по винтовой лестнице, сделанной, как кажется, из серого мрамора. Возле чудом сохранившихся земляных насыпей, опоясывавших словно побывавший в камнедробилке Нюрнберг, в котором наши танки не обнаружили даже главных площадей, с балконов нас встречали скелеты (они были из Музея естественной истории, в котором снарядом снесло все витрины). Стадион не был разрушен. Боковые выступы, на которых горели огни во время выступлений Гитлера, трибуна и даже монументальный проход, похожий на Гранитный храм, все еще

стояли на своем месте. Кривые осколки бронзового орла с фронтона устилали землю, опустошенную богами и демонами Германии, словно сам Третий рейх угас вместе с взметавшимися ввысь пучками лучей прожекторов, пересекавших вдоль и поперек черное небо в тот час, когда зажигались огни. Послеполуденная тишина, тишина городов, которые хоронят своих покойников. Мы вступили на винтовую лестницу со смутным опасением, что она заминирована. Скоро наши карманные фонарики стали бесполезны: из глубины исходил какой-то слабый красный свет. Еле слышное пение хора доходило до нас, словно голос этого едва тлеющего огня. Казалось, что земля призрачного города, города Всадников Апокалипсиса и гитлеровских воспоминаний, желала сохранить эхо величайшего бедствия, сохранить отблески огненного кольца, опустошившего Европу вплоть до Сталинграда и сжавшегося тогда вокруг Берлина: резервуары с бензином, словно костры индусских богов, с черными клубами дыма, тянувшегося десятки километров; хутора, где на снегу в полночь отражались пожары, города, светящиеся под бомбами, словно фосфор. Мы спускались к неподвижному слабому свету, словно к священному огню, который я видел когда-то в пустынных горах Персии, где были воздвигнуты алтари магов. Казалось, мы спускаемся не в мифическое логово диктатора, а в святилище огня, который годами сопровождал его, словно жертвенное пламя — Геракла. Этот огонь поджидал его напевая, но не трескучим голосом костра, а чуть слышным шепотом раскаленной печи булочника. И это пение пронзало нас, словно пришедшее издалека благословение. Ужас, который был слишком хорошо нам известен (мы уже обнаружили лагерь смерти), остался на стадионе вместе с городами, превращенными в кучу камней, и разорванным на части бронзовым орлом. Здесь, в безлюдной темноте, в глубинах земли, для мертвой Германии звучала неизъяснимая колыбельная.

Мы спускались. За последними ступеньками, которые казались покрытыми обломками широкого красного зеркала, — куча открытых банок сардин, освещенных электрическими лампами в маленьких темно-красных абажурах; а еще дальше — толпа чернокожих американских солдат, прибывших вместе с первой воинской частью, которые, импровизируя, исполняли ритуальный танец, напевая с закрытым ртом восхитительный спиричуэлс. Песня плантаций, звучащая вечером, на закате солнца, унылое завывание, изобретенное когда-то рабом с Юга, подслушавшим его у гребцов, — оно и доносилось до нас, время от времени затихая, когда мы подходили к геометрически правильным колоннам, имитировавшим колонны Гранитного храма...

Это и был Гранитный храм, или, скорее, сам вечный Египет. Судьба Гитлера расщепила его обезумевшей молнией. «Просыпайся, Германия!» — пели юные гитлеровские солдаты в июне на наших пыльных дорогах, когда цвели георгины... Его жена-англичанка отвечала на брошенный ей упрек: «Как ты могла спать с таким гориллой!» — «Отстань от меня, идиот! Из всех моих любовников этот был самый необычный: как мы с ним играли в прятки в Берхтесгадене! Мне никогда еще не было так весело!». Каменный лев, привезенный Леклерком, с которым мы не знали что делать; он и сейчас, без всякого сомнения, отдыхает, перекошенный, в каком-нибудь из запасников Лувра. Посол Германии рассказывал, как в один из самых худших дней Геббельс, собираясь произнести речь перед генералами, отправляющимися на русский фронт, напомнил им о чуде Бранденбурга: Фридрих, уже готовый покончить с собой, допытывается, как умерла царица. «А где царица?» — спрашивает один из генералов. Геббельс возвращается в министерство, где охрана поджидает его у подъезда с факелами: «Что происходит?» — «Президент Рузвельт умер». И бывший психиатр Гит-

лера, тот, который утверждал, что когда его пытали, он разгадал тайну его жестокости, — он говорил Гротьюзону, Жиду и мне, еще перед войной: «Его преследует Гогенцоллерн. Он сказал мне: „Я начну войну. Я ее проиграю. Но что касается меня, я не стану рубить лес Доорна"». И вот конец соперника последнего императора: его бункер оказался рядом с Тиргартеном. В день его смерти продовольствие, сброшенное с парашютом, ему принес сторож зоопарка... Свастика над Варшавой, над Парижем, над Акрополем. Немецкие города с флагами из белого полотна во всех окнах, сотни километров белых флагов. Несколько блистательных лет, прошедших в красноватом отблеске Нюрнберга, в равнодушной дымке пирамид... Империя.

Когда, оставив тропу расхитителей гробниц, я вновь вижу Нил и песок, память возвращает меня к скелетам, повисшим на балконах, к одинокому и трясущемуся от страха велосипедисту на развалинах пустынного Нюрнберга, с корзиной сирени на руле...

Каир польхал в цветах. Эти краски, напоминающие о теплых странах так же, как опиум напоминает о Китае, я почти позабыл; забыл я и то, что еще не видел этих стран в это время года. Розовые акации, каскадами спадающие бугенвиллеи и три темно-красных гранатовых дерева во дворе цвета охры, как в Исфхане...

Вот и музей. Тридцать лет назад перед ним простиралась одна из тех пустынных полей, которые Англия, специалист по газонам, принесла в мир ислама. Спящая пыль как нельзя лучше соответствовала призракам, которые однажды ночью один за другим пытались продать мне непристойные фотографии; соответствовала она и старому отелю «Шефард», в который я в то время, когда мы с Корнильоном изучали развалины Сабы, вернулся, прежде чем снова отправиться на поиски на рассвете. В этом мире пуха и пыли колоссы Эхнатона, возникавшие из красных помпейских стен, производили необычайно сильное впечатление — в

стороне от этого пребывающего в беспробудной спячке народа, от его гуляк пашей и его Города Мертвых.

Я возвращался сюда десять лет тому назад; я нашел здесь запыленный музей и пустынную площадь. Сегодня здесь площадь Освобождения; новый Каир энергично воздвигает вокруг меня свои небольшие небоскребы и огромный отель «Хилтон», противопоставляя свой собственный Египет медленно парящим в высоте ястребам Гора. В глубине площади, там, где бьют фонтаны, этот же новый дух заполняет залы музея, который казался бы провинциальным, если бы в нем не были представлены некоторые из величайших шедевров человечества — во всем этом есть не только духовное, но и что-то смутное и тревожное. Во время его открытия, в 1900 году, журналисты с удивлением наблюдали, как убегают прочь его служители, бросая на ходу обрывки фраз: «Мумия Рамзеса... Ужасный колдун с головой попугая... Колышущийся от ветра светильник...». Она якобы медленно протягивала к ним свои руки...

Луч солнца, добравшийся до мумии и размягчивший сустав, высвободил руку, в которой когда-то был зажат скипетр.

Сколько раз мне приходилось бывать в музеях, отданных во власть пыли, начиная с музеев английских колоний, где чучела птиц застыли в Танце Смерти, и кончая бретонскими коллекциями, где собраны макеты кораблей, которые капитаны предлагали своим хозяевам, вроде тех, что оставил мне в наследство мой дедушка? Маленький галльский музей, название которого я позабыл, настолько простой, что кажется, что он был создан еще кельтами, — он весь покрыт цветущим боярышником, который словно фонтаном бьет из глубин земли, питаясь десятками тысяч рук, отрубленных Цезарем; музей народной культуры этрусков в Вольтерре, где все его погребальные урны сосредоточены на маленьких цветущих террасах, словно в ожи-

дании Страшного суда, о котором сам Судия позабыл (вдалеке слышны крики с рынка); сицилийские виллы, со стен которых, уверяю вас, спускаются горбуны в треуголках, чтобы присоединиться к ночным птицам. Самураи в костюмах придворных, которых во дворце Киото можно видеть только со спины, — эти манекены дрожат от малейшего шума и скрипа паркета, и эта неприметная простому глазу дрожь должна встревожить стражу Императора... Музей костюма в Тегеране, его восковые фигуры, словно мертвецы, выступающие из темноты, в то время как рядом продавец чая открывает одно за другим окна, до этого бывшие всегда закрытыми, — словно персиянка Гобино проводит в тени тайное собрание, а восковые дети в высоких колпаках ткут ковер, который им не суждено закончить... Патио старого музея в Мехико: Монетный двор, построенный древними королями, где боги ацтеков, ненужные новому музею, словно наказанные стоят, повернувшись лицом к стене, под аркадами, которые окружают вновь одичавший сад. И в самом Каире, в Критском музее с его деревянными диванами, в центре салона, доставшегося по наследству Мехмету Али, в клетке, сделанной в форме мечети, птица Иль, оципанная, словно маленький гриф, пела, когда ее поднимал вверх охранник.

Я люблю эти странные музеи, потому что они заигрывают с вечностью. Никто и близко не подходил к нашему старому Трокадеро, где иконы из Абиссинии нужно смотреть, присев на корточки, с зажженной спичкой в руках, — в нашем Трокадеро, или, точнее, в его запасниках. Я думаю, что аквариум внизу уже стоял; казалось, что скульптуры плывут в полумраке кладовой, словно печально задумавшиеся рыбы. Самые важные экспонаты (и среди них предметы цивилизации кхмеров, а также доколумбовой Америки: это было еще до миссии Дакар-Джибути) были спасены страстным поклонником всех этих фетишей, который, как говорят, таким красивым почерком написал под

мексиканскими шедеврами «Искусство Бретони», что никто не посмел (может, парламентарии из Бретони помогли?) даже притронуться к ним. Манекены, облаченные когда-то в воображаемые костюмы дикарей с гавайскими головными уборами из перьев, в костюмы китайских мандаринов, с нефритовым скипетром в деревянных руках, были собраны в одном углу. И на железной проволоке, протянутой через эту кладовую, абсурдно имитирующую кладовую дворца в Кадисе, среди бельевых прищепок, словно среди ласточек на телеграфных проводах, висит пыльное чучело сказочной птицы, чистящей свои бирюзовые и коралловые перья, а под ней единственная этикетка из золотой бумаги: «Диадема Монтесумы».

Музей в Каире сродни этим призрачным местам. Здесь пришлось сдвинуть вместе саркофаги, чтобы найти место для позолоты Тутанхамона. Все этикетки пожелтели. Все шедевры истерты, словно рисунки на базаре. А вот и нечто похожее на горбунов в треуголках, на засахаренные мексиканские скелеты и на диадему Монтесумы — саркофаги из розового картона, с еще прилипшими саванами (кондитерская, в которой разложился эллинистический Египет) в пустынных залах вперемешку с пейзажами Файума и бюстами Антиноя. О солдаты ислама, рывшие каналы для кустов шиповника, посаженных по приказу Саладина; солдаты Наполеона, разрывавшие дюны в поисках фараонов — и находившие этого Гора, выраженного Арлекином, эти огромные картонные фигуры с гипнотизирующим взглядом! Одна безумная принцесса теряет в песках алые жемчужины со своего бенгальского платья — и канал расцветает розовыми кустами...

Туристы отправляются к Тутанхамону, взглянув на крокодилов, водруженных на шкафы. Рядом с этой позолоченной, обустроенной, вызывающей гнетущее впечатление гробницей весь остальной музей — всего лишь склад царской мебели.

В настоящей его гробнице, в Фивах, вся эта утварь перемешана, золотые саркофаги вложены один в другой и находятся под наблюдением черного Анубиса, который символизирует царя в тот момент, когда он выходит из состояния смерти и вступает в «вечную ночь». Фрески сильно пожелтели из-за своей доступности и выглядят так, словно были нанесены на стены в спешке (никто не предвидел, что юный фараон умрет) рядом с выстроенными в линию знаками Солнца, совершенно не похожими на атрибуты погребальной роскоши. Легенда гласит, что археологи, обнаружившие эту гробницу, умерли загадочной или насильственной смертью, но животные, вошедшие туда вместе с людьми, оказались особо плодовитыми: на желтых фресках у вечных спутников фараона уже нет ног, так как они стерты кишасцами там крысами. Алебастровый кубок в музее, самый обыкновенный, был найден у входа в коридор, идущий к Долине царей: «Ты будешь пить напиток вечности, повернувшись лицом к Фивам, к городу, который ты избрал...». Коробка с его детскими игрушками и засохшие цветы, которые позволяют предположить, что Тутанхамон умер в марте или в апреле...

Принесенная в дар мертвым пища, надписи, составленные с такой же заботливостью, как и эти подношения. Здесь домашняя птица, лук и окаменевший виноград — это меню для пира без гостей (изображения обедов в Египте появляются лишь в эпоху Амарна), вместе с голубями и перепелками. Встречается иногда и по-японски изысканная гастрономия, но чаще — это невидимая рука, в последний раз предлагающая дары земли. Над всей этой пылью небытия возвышается внимательный и сдержанный жест — жест матерей, кладущих игрушки в могилы детей. Здесь и треугольный хлеб мертвых, и зерна, о которых говорят, что они пускают ростки, если их бросить в землю, и «мумии цветов», которые уже не отличить от их коричневой листвы. Почему эти плоские букеты так трогательны?

Не потому ли, что насмешники повсюду несут мертвым это совершенство эфемерного, а здесь эти цветы готовили для вечности?

Здесь собачий ошейник из розовой кожи, здесь «скараabei сердца», которых клали на грудь покойника, чтобы его сердце избежало обвинений со стороны божественных Судей; здесь скараabei, изготовленный в честь Аменофиса III, зарезавшего сто двух львов; здесь ложечка для обуви, украшенная золотым шакалом, несущим рыбу в зубах; пуховая подушка девочки-принцессы; голубая статуетка из тех, что носили на шее женщины, — надпись на ней сообщает: «Встань и свяжи меня с тем, на кого я смотрю, чтобы стал он моим возлюбленным». На ней дата: «1965, XI Империя». Симметрия времен уже давно пробуждает мою фантазию. Что происходило в 1965 году до нашей эры? Здесь кастаньеты и доски для игры в шашки, деревянная черепаха с кошачьей головой, проколотой булавами; здесь мумии ибиса, обезьян, пятиметровых крокодилов и рыб аха, которые кажутся изобретением Жарри; здесь мумия газели, «принадлежавшей одной принцессе из XXI династии». И надписи, каллиграфически выведенные поэтом, соперником зуава* из музея в Трокадеро: «Деревянные бутылки из тайника бальзамировщика — чудесный раздвоенный инструмент — объекты неизвестного употребления — скелет самой древней лошади, XVIII династии — саркофаг времен брата Рамзеса II, однако обнаруженные кости оказались костями горбуна — маленькая коробка, принадлежавшая Ее Величеству (какой?), когда она была еще ребенком — локон волос царицы Туи (все, что осталось от этой великой царицы)». Еще дальше — саркофаги, в которых мертвец должен был сам открывать или закрывать задвижку, раскрашенные, словно для путешествий или для отдыха; зеркала, в которые

* Солдат французских колониальных войск, сформированных из жителей Северной Африки и добровольцев-французов.

смотрелись мертвецы; и за самой обычной витриной — золотой гвоздь, который использовался, чтобы закрыть царский гроб.

У Египта восточное пристрастие к золоту, однако народ в музее предпочитает охру, цвет серого камня и бирюзы на фоне песка в пустыне, цвет персидских городов...

Здесь изображения птиц, сидящих на голове человека, — образ души. Мёлльберг (тот докладчик с острыми ушами) говорил, что Египет изобрел душу. С большей уверенностью можно сказать, что он изобрел покой. Поскольку чувство, которое я здесь нахожу, нельзя спутать с чувством смерти. И даже с заразительным спокойствием погребения, которое я узнал когда-то в Фивах. Слово «смерть» смущает меня, как удар гонга. Душа религии передается лишь в ее пережитках, а религии Древнего Востока были стерты исламом. В отношении Древнего Египта мы так же глубоко невежественны, как человек, никогда не испытывавший любви, хотя и прочитавшей о ней море книг; так же, как каждый из нас невежествен в своем отношении к смерти. Мне известны лишь эти фигуры, на которые я смотрю мимоходом... Европа превратила египтян в мертвый народ, потому что соратники Бонапарта инстинктивно сравнивали скульптуры Мемфиса с Микеланджело, Кановой или Праксителем, а я их сравниваю с их соперниками из священных гротов и, прежде всего, с нашими римскими скульптурами. Чем окажется гарантируемая «Книгой Мертвых» окончательность трупа перед лицом наших статуй-колонн? Если бы «Писцы, сидящие на корточках» имитировали жизнь, они, разумеется, были бы трупами. Мы увидели эту скульптуру, изучавшуюся уже столетие, лишь во времена Сезанна. Еще Бодлер говорил о египетской цивилизации. Даже высеченные на склоне горы и втиснутые в платя, сжимающие их словно бинты, царицы Египта, похожие на скульптуры Королев и Девственниц Шартра, сохраняют кривизну амфор.

Не существует египетского барокко, есть лишь разложение египетского стиля. Чуждый всей остальной истории искусства, здесь он проявляется в течение трех тысячелетий, фосфоресцирует во всех формах и сообщает им дух вечности. Неподвижность — это язык. Эта скульптура, несомненно, является магической, а не эстетической, и ее фигуры предназначены обеспечить сохранность брэнного тела. Но не потому, что они на него похожи, напротив, именно потому, что эти двойники не имеют с ним ничего общего. Если функция этих статуй заключается в том, чтобы обеспечить сохранность тела, то функция *стиля последних* — отделить их от видимости смерти и помочь мертвецу достичь потустороннего мира.

Я не знаю эллинистических статуй, которые «реалистично» представляли бы богов и чудовищ. Разве можно назвать «реалистичными» статуи Гарпии, где она изображается «очаровательной женщиной»? Или Анубиса, с головой шакала над тогой? Египет придумал Анубиса, потому что тот *не может* существовать в мире живых, в который александрийское искусство напрасно пыталось ввести его. Отсюда и персонаж, пожирающий головы. Здесь, под лестницей...

Он мог разговаривать с царицами древних империй, как разговаривают марионетки; но сцена, где бог с головой ястреба ведет Нефертити, жену Рамзеса, к другим богам, является одной из вершин искусства, потому что эта голова ястреба, перешедшая на корону фараона, не мыслима вне египетского стиля, как не мыслим Дон Жуан Моцарта вне музыки или Ника греков вне скульптуры.

Он ведет царицу в потусторонний мир, он даже не держит ее за руку, — стиль этого изображения и сегодня не утратил своей экспрессии. Царица в данном случае жена не столько Рамзеса, сколько бога, который сообщает ей величие царства теней. Акт творчества здесь так же одухотворяет царицу, как тосканский

гений — Венеру. Но, впрочем, не только эта стилизация воздействует на нас; лишь здесь царица приобретает вид, объединяющий ее с «Никой Самофракийской», с «Джокондой», с лицами гигантов из гротов Индии, с проникновенностью западной музыки — со всем тем в искусстве, что не объясняется полностью одним лишь искусством. Я плохо запомнил гробницу, которая находилась на уровне земли, перед Аллеей Цариц. В тот день воробьи чирикали в Рамессоме словно летним вечером в наших липовых рощах, и я думал о жужжании пчел, несущих смерть, о которых говорят погребальные тексты. Птицы свили свои гнезда в крыльях священных ястребов на барельефах. В Фивах солнце освещало богиню Молчания и колеблющимся серым пламенем освобождало из тьмы подземелья богиню Вечного возвращения. Над колоссами Мемнона, восхитительно бесформенными, кружила стая ястребов. Я позабыл гробницу, но царица, вновь появлявшаяся на каждой новой стене в ходе своего погребального путешествия с одним и тем же божественным величием, сохранилась в моей памяти — вплоть до единственной пластины, изображавшей игру в шахматы, до сцены, где она исполняет свою судьбу умершей и сопротивляется распаду и превращению в ничто, перед лицом пустоты, олицетворяемой невидимым богом...

Здесь, между прочим, есть и останки людей в стеклянных бутылках. Они выглядят гораздо менее внушительно, чем их изображения, несмотря на эмалевые глаза... Мумия Рамзеса уже никого не будет пугать своими инаугурациями. Ему, я думаю, было девяносто шесть лет. Рядом лежит юная принцесса, больше, чем остальные, привлекающая к себе внимание, потому что инъекции воска сохранили форму ее щек; ее звали Нежность.

Такие же сильные ощущения, как перед Сфинксом, я испытал, когда впервые услышал и стал различать голос видимого и голос священного. Всю глубину ис-

куства скульптуры мне раскрыли именно мумии. Почти все маленькие фигурки — деревянные египетские лодчички, статуэтки Танагры, китайские терракотовые танцовщицы — были связаны с ритуалом погребения; но их не изображали в виде скелета. Здесь (и где-то в другом мире?), почти рядом друг с другом, боги, созданные людьми, и императоры, созданные богами, прошли сквозь столетия. Что же приключилось с настоящим Рамзесом, со всеми фараонами, саркофаги которых не были найдены? Тело, в той или иной мере обескровленное, слава, в той или иной мере ушедшая, — все это нам уже давно известно. Однако нам уже несколько веков известно и то, что произведения искусства «хранятся в городе» и что их бессмертие противоположно унизительному хранению бальзамированных богов; здесь же, в этом *обреченном* музее я вижу хрупкость искусства, вижу, как сложно его сохранить. По меньшей мере за тысячу лет искусство Рамзеса во всем мире было забыто так же, как и само его имя. Затем оно появилось вновь, но уже как некий курьез, так же, как и искусство, приписываемое халдеям, как и все, что окружает Библию. Затем его курьезность стала объектом научного или исторического исследования. Наконец, то, что было двойником, затем объектом исследования, стало скульптурой и обнаружило жизнь. Для нашей цивилизации, и, может быть, для тех, что за ней последуют, и ни для какой иной. Египетский ислам восстанавливает Египет не благодаря Корану, а благодаря Лувру, Британскому музею и музею в Каире. И этот последний музей уже не в состоянии его сохранить. Завтра колоссы Эхнатона окажутся в современном музее, и в Воображаемом Музее они, несомненно, будут выглядеть не такими, какими мы их видим сейчас. Но и сейчас они выглядят не так, как их видели художники во времена господства греческого искусства. Мир искусства — это не мир бессмертия, это мир метаморфоз. Сегодня метаморфоза и есть жизнь произведения искусства.

В библиотеке, расположенной в глубине зала, соединяющего оба крыла музея, можно найти любые книги о Мексике, а также огромные фотографии доколумбовых монументов. Кажется, среди них есть и мексиканские пирамиды; кроме этого, там имеются геометрические перспективы горы Монт-Альбан, небольшие угловатые храмы Луны, вся «современная» архитектура, без лотосов, без каннелюр, объединяющих Храмы Воинов Юкатана с домашней церковью Гиза, с подиумом в Нюрнберге; одна и та же строгая и суровая архитектура, царствовавшая над мертвецами в Мексике, царствовала над ними и в Египте. Но как только сами мертвецы появляются, сходство исчезает. Вот фотографии Праздника Мертвых в Мехико, неисчерпаемая живописность скелета. Сколько народов существовало в фамилярной близости с мертвецами, позволявшей смешивать великую ночь похорон с мрачным и трогательным юмором? Фотографии поминального хлеба в форме черепа кажутся глупой шуткой здесь, в Каире, где на поминках едят треугольный хлеб... Мексиканские собаки, бегающие по кладбищу, похожи на призраков, так как здесь шакалов мумифицируют. Да и что такое сама смерть в Египте, где кажется, что бессмертие человек потерял где-то на дороге?..

Мексика, эти постоянные дворы мертвецов, неистовство костлявых музыкантов; и эта соломенная сирена, словно пришедшая из сна, с длинным телом и маленьким черепом, которую когда-то мне хотели подарить. Нет ничего более чуждого Древнему Египту: его погребальное искусство, в сущности, таковым не является; в нем нет ни трупов, ни могильной стужи. Страной, пробудившей в моей памяти голос великих Двойников и болтовню самых обыкновенных мертвецов, тогда меня окружавших, была не Мексика, где мертворожденные дети превращаются в колибри, не Мексика, где самые длинные поминки из всех, какие только известны земле; это был мир индейцев Гватемалы, может быть, по-

тому, что у смерти там нет иной формы, кроме огня, может быть, потому, что она появляется там, усыпанная цветами.

Цветы Сицилии, арабские цветы на скалах и на стенах терракотовых домов; цветы без листвы, оранжевые бутенвиллеи, прижавшиеся к стене, словно плющ; большие сиреневые деревья, георгины-мечи, красные как богемский хрусталь (конкистадоры приняли их за цветы агавы). Здесь я встречал желтые церкви в глубине разноцветных улиц, капеллы дороманского стиля, видел похороны, на которых в четвертом ряду рыдали, а в последнем смеялись; на телегах, превращенных в религиозные колесницы, стояли маленькие прекрасные девочки-индианки под дощечкой с надписью: «Virgen»* или «Fortituda».** Этот кортеж следовал за покойником, уложенным на осла, на морде которого была маска смерти (словно труп Дон Кихота проводил святых из рая через гряду вулканов). Индейцы в пестрых, все более и более разнообразных костюмах выходили из леса. Мои спутники разговаривали с ними.

— Я сказал вышивальщице: «Почему последний зверек вышит не так, как остальные?». Она ответила мне: «Нужно всегда оставлять все как было, чтобы не раздражать богов. Совершенство принадлежит им».

— Над озером возвышался один из идолов майя, и привязанная к его основанию собака наострила уши, когда мы пришли.

— Когда люди с Севера пришли сюда, Кетцалькоатль поднял своих воинов и сказал: «Я одержу победу над этой армией». На что вождь майя ответил, подняв новорожденного: «Я одержу победу вместе с этим ребенком...».

— Наш вождь отправил сражаться кетцалей, столь же прекрасных, как певчие птицы, — отвечал с улыб-

* Непорочность.

** Сила, отвага.

кой хранитель музея. — Люди с Севера убили их всех; и наши люди ушли отсюда, заявив, что не могут жить в стране, где убивают птиц.

— Индейцы — это наши младшие братья, — сказал уже без улыбки другой хранитель.

— Три моих спутника были метисами. Мы ехали в Антигуа, заповедник вице-королей, охотничий округ со старым университетом, с фонтаном с нимфами из черного базальта на Королевской площади, где гигантские деревья наблюдали за спящими путниками. Еще был город в Мексике или в Перу, без цветов, усеивавших обитаемые патио и полностью закрывавших собой заброшенные; и, прежде всего, без признаков бедствия, оставленных землетрясением. И здесь я вспоминал, что мой самолет прибыл сквозь море облаков, продырявленное вулканами. Я думал о Ното на Сицилии, стертом до уровня второго этажа и таком же желтом над его огромными лестницами и миндалевыми деревьями в цвету. Но Ното расчищен от завалов, тогда как обломки грандиозных арок заполняют паперть перед собором в Антигуа, рядом с дремлющим вулканом, возможно, погасшим. Индейцы мелкими шагами пробегали по этим улицам, где ветер уносил бутенвиллеи вместе с пылью; россыпи гвоздик и охапки ириса покрывали сухую броню рынка. В одной из комнат под землей, в святилище этого рынка, одинокий ребенок дрожал возле коротких свечей, поставленных на плиты, и трещотка продавца льда звенела как колокольчик мертвых.

За нетронутым фасадом собора стоял один его неф, разрушенный как испанские церкви времен гражданской войны, заполненный космогоническими руинами землетрясения. В середине находилась лестница крипты и сама крипта, едва ли возвышавшаяся над моей головой, со свечами, которые казались воткнутыми в землю, с невидимым распятием. Единственный индеец молился здесь, держа за руку ребенка, такого же маленького, как и тот, которого я только что видел в отбле-

сках свечей на рынке. Я едва различал распятие, а стены были испачканы белыми следами от рук, словно рисунками охотников на бизонов в пещерах. Молитва неподвижно стоявшего на коленях индейца заполняла крипту вместе с потрескивавшими свечами.

Я был обязан столкнуться с этой магической молитвой в самом сердце страны индейцев, в этих диких зарослях. Две белые как сахар церкви сверкали на светло-голубом небе, на вершине вертикально поднимающихся вверх ступеней. На площади между церквями несколько персонажей в черном кружились возле человека, исполнявшего священный ритуал: их цилиндрические шляпы, возвышавшиеся над грудой голов индейцев, направлялись к лестницам пирамид, где люди-быки и танцоры из тайного братства суетились вокруг невидимой фигуры святого, расположенной за стеклом небольшой, но украшенной огромными перьями витрины. Из соседнего монастыря раздавались звуки маримбы* и хлопки петард, взлетающих над клубами дыма зажженной смолы. Весь этот потусторонний карнавал разворачивался на верхних ступенях пирамиды, как раньше он проходил на ступенях храма майя.

Высокий свод большой церкви, фигура распятия с настоящими волосами, с эмалевыми глазами, облаченная в велюровое платье, — все это исчезало в темноте. Я лишь в Антигуа видел такие короткие свечи, поставленные прямо на землю. Это были уже не отблески света в подземелье, но настоящее освещение, словно подо мной был один из тех ночных городов, которые мерцают своими огнями, когда приземляется самолет. Воздух, шедший из открытой двери вместе с дымом смолы, заставлял эти огоньки дрожать. Я думал о мерцающих словно звезды на небосклоне светляках на болотах Аннама, о шалашах на Кубе, которые освещаются марлевой сумкой, заполненной пчелами с фосфо-

* Ударный музыкальный инструмент.

ресцирующей брюшной полостью. У входа в алтарь три ряда свечей закрывали плиты нефа рядом со стоявшими на коленях индейцами. Никогда, даже в Перу, я не видел такого единства этих огней с теми, кто стоял вокруг, не слышал биения сердец погружавшейся в ночную тьму толпы верующих в тот момент, когда мерцало пламя. Казалось, что свечи в первом ряду, стоявшие между початками кукурузы, колышутся в такт молитве; свечи в третьем ряду, среди розовых лепестков, которые бросали к алтарю, аккомпанировали заклинаниям. Но индейцы не декламировали их, они просто произносили вслух. Магическое присутствие — присутствие хрупкого и глубокого священного безумия — укрепляло одиночество каждого из этих разговоров с неведомым; оно на секунду позволяло забыть, что вся эта толпа индейцев осталась без своих деревень.

— Это весьма любопытно... — произносит голос возле меня.

Это священник сурового вида, в сутане, застегнутой до воротника. Словно сошедший с картины испанец.

— Это очень трогательно, — отвечаю я.

Он внимательно меня рассматривает. За ним около тридцати склонившихся индианок, головы детей, торчащие из-за их плеч, словно головы маленьких дьяволят. Они ничего не говорят.

— Они собрались креститься, — начал он вновь.

— Вы крестите их всех вместе, коллективно?

— Большинство из них не христиане... Здесь суеверия всегда были очень глубокими...

— Меня эти суеверия не смущают. Может быть, ими же были наполнены и средние века...

Шепот струился возле наших бедер, и я был вынужден повысить голос, чтобы священник мог меня слышать.

— Разве это не молитва с просьбой к Всевышнему?

— Те, кто молятся перед колосьями кукурузы, просят, чтобы Господь благословил их урожай. Но затем они зажигают вторую свечу. Именно они Вас и окру-

жают. Они ни о чем не просят. Огонь — это смерть, которую они любят больше всего. Они разговаривают с ней...

Оттуда раздавался горячий гул, мало похожий на шепот молитвенных песнопений, — это был диалог с мертвецами.

— Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы им никто не мешал... Что такое молитва? Это разговор или нет? И что они делают? Я говорю им, что когда они завершают разговор со своими мертвецами, не следует забывать поговорить и с Всевышним, попросить о его милосердии... Я верю, что они делают это.

— Число обращенных растет, как мне говорили?

— Нет... У меня восемь тысяч индейцев. И дело не только в обращении. Все это сказывается на наших священниках, даже на самых праведных. Надо помнить о них в Испании, найти им заместителей. Уже столетия... Индейцы говорят очень любопытную вещь, когда мы не понимаем, зачем они разговаривают с мертвыми; они говорят: священник — это не католик...

Я думал в катакомбах Азии, где еще горели огни Халдеи и Финикии: «Спустился к мертвым, воскрес на третий день...», и слышал опять: «Я говорю им, что когда они завершают разговор со своими мертвецами, не следует забывать поговорить и с Всевышним». Этот гул свидетельствовал, что Господь для них (и только ли для них?) был гораздо ближе к мертвым, чем к живым.

— Когда я приехал сюда, — говорил священник, — был такой же день, как этот: великое крещение, много индейцев... Меня сопровождал нунций.* Может быть, он знал, что это было нелегко. Я сказал ему: «Зачем я приехал сюда, что мне здесь делать?..». Он мне тихо ответил: «Закройте глаза, заткните уши — и постепенно Вы поймете...».

* Постоянный дипломатический представитель Папы Римского.

Возле входа женщины объединились, не снимая со своих плеч детей. Никто не плакал. Между священной суматохой на ступеньках храма майя — крики, звуки флейты и пение индейцев (несомненно, то же самое, что слышали испанцы Альварадо перед последним сражением) — и глухим шепотом мертвецов, благословения которых доходили из глубин невидимого нефа, не раздалось ни единого выкрика.

— Нунций, — спросил я, — думал, что Бог всю работу сделает сам, но не один?

— Как всегда...

О нем также пора уже было напомнить в Испании. Он оставил меня на верхних ступеньках, перед пеленой дыма, застилавшей площадку, где проходил священный ритуал. Он посоветовал мне «пойти посмотреть на идола»: на высоте трехсот метров я обнаружил фигуру из базальта, на которую сыпались сосновые иглы. Она была окружена камнями и охранялась пьяным индейцем. Дым смолы поднимался над деревней, над белоснежными церквями и над пятном георгинов-мечей, сверкавшим словно осколок красного стекла.

Я слышу клаксон нетерпеливых шоферов перед входом в музей Каира. И где-то в стране перьев и пончо, возле Оахаки, где в лесу таятся скелеты завоевателей в черных доспехах, или рядом с высотами Анд, где скелеты Солнечных Девственниц лежат на снегу с белым попугаем на плече, невысокие люди, встав на колени, вполголоса разговаривают с пламенем свечи, а транзисторный приемник разносит мелодии испанских танцев на пустынном индейском базаре. Я слышу гул молитвы индейцев, исчезающих среди колышущихся огоньков в ночь погребения. Кажется, они вот-вот погаснут, но их мерцание будет возобновляться, пока существуют глаза, которые на них смотрят... Изогнутые трупы в глиняных кувшинах, костлявые музыканты и сирена с черепом покойника витают над неуязвимыми мертвецами Египта.

В библиотеке музея хранится и моя речь в защиту нубийских памятников, а также большие фотографии ведущихся там работ. На память мне приходят черные закругленные скалы Ассуана, отражаемые Нилом, который похож здесь на Стикс. Они, разумеется, лишь немного изменились с того времени, когда юный Флорбер заразился там сифилисом от девушки по имени Кутчек Ханем, ослепившей его наравне с царицей Савской. Это имя значило, как я думаю: Маленькая Дама. Она гладила барана, покрытого пятнами желтой хны и носившего черный бархатный намордник... Вот фотографии работ по возведению высокой плотины (в двадцать семь раз выше пирамиды Хеопса), в результате которых появится озеро в пятьсот километров. А если уничтожить эту плотину атомной бомбой, то исчезнет и сам Египет. Желтый кран Абу-Симбела упирается в небо, словно памятник Богу-Солнцу, барельеф узников. Здесь огромные красные пилы и части храма, перенесенные на библейскую гору, над берегом Нила, где нубийцы зажигали свои огни и клали к ногам колоссов дикие мимозы. Как странно вновь читать здесь эту речь, произнесенную в 1960-м на фоне сражений в Алжире.

«Первая мировая цивилизация отстаивает свое право пользоваться мировым искусством как своим неотъемлемым наследством. Запад, в то время, когда он считал, что его начало в Афинах, безучастно смотрел, как рушится Акрополь[...].

В медленном течении Нила отражались опустошенные холмы Библии, армии Самбиса и армии Александра, конница Византии и конница Аллаха, солдаты Наполеона. Когда над ним проносится песчаный ветер, его древняя память равнодушно смешивает сверкающее облако триумфа Рамзеса с печальной пылью, падающей вслед побежденным армиям. И когда песок садится, Нил видит перед собой высеченные на склонах гор скульптуры колоссов, и их неподвижное отражение сопровождает шепот вечности. Древняя река.

Ее наводнение позволило астрологам зафиксировать самую древнюю дату в истории. Люди унесут этих колоссов далеко от ее плодотворных и разрушительных вод; они соберутся здесь со всех концов земли. Как только падает ночь, она снова и снова отражает созвездия, под которыми Изида совершала погребальные ритуалы, звезду, на которую смотрел Рамзес. Но самый скромный из рабочих, который спасет изображения Изиды и Рамзеса, скажет то, что эта река знала всегда и что она услышит в первый раз: „Есть лишь одно деяние, над которым не властно ни равнодушие созвездий, ни вечный шепот рек — это деяние, благодаря которому человек может хоть что-то вырвать из рук смерти"».

Здесь я думал о богах, превращенных в статуи, о богине Вечного возвращения, почти невидимой ночью в ее подземелье Карнака, думал о Сфинксе. Боги не умирают, потому что они теряют свою царскую власть, но не свою принадлежность царству непознаваемого, которая в них и поражает. Родились ли они в этом чуждом нам египетском мире или же он сам был порожден ими, если их оторвать от него, они, как рыба на суше, становятся лишь сказочными персонажами, становятся всего лишь изображениями. Какое значение имеют наши последовательные интерпретации Осириса и Гора? Жизнь богов лишена смысла, если она проходит не на Олимпе; Анубис, знавший тайну бальзамирования, бессмыслен, если царства мертвых больше нет. Каждый из богов принадлежал неуловимому миру Истины, которому поклонялись люди. Египет призывал Осириса к жизни своими молитвами, а мы помним его внешний вид и его легенду — все, кроме молитвы. Он возрождался не в Истине и не в неведомом, но в ярко освещенных залах мира искусства, который собирался унаследовать вековой груз с корабля фараонов, севшего на мель во владениях паши. Метаморфоза Двойников цивилизаций спускалась по печальной лестнице музея в Каире, проходя между па-

риками священников и шкурами пантер, украшенными золотыми звездами, через кладбище богов.

Через несколько лет каждый шедевр, изолированный, освещенный, будет находиться в белых залах нового музея Каира. Пройдя от иного мира до мира форм, метаморфоза завершится. Наверху, рядом с крепостью, здание из стекла или дворец эмира соберет у себя шедевры, дремлющие сегодня в викторианской пыли. Он будет соперничать с процветающими музеями Рабата и Дамаска. Через широкие стекла фигуры знаменитостей — от Хеопса до царицы Нефертити — будут смотреть на Город Мертвых, словно ислам и строил столетиями свой самый просторный некрополь ради гробниц фараона. На высушенных шкурах пантер огромные золотые звезды будут тихо светить в полумраке, и я, возможно, буду размышлять здесь о Гитлере и о его пророке; барка вечности будет скользить от барельефов к шкафам с папирусами. Пирамиды, несмотря на песчаный туман, будут видны издали, и жара будет дрожать над Нилом, как во времена поклонявшихся Солнцу.

Возле Мехико, на площади Луны, где небольшие храмы разыграют свою позабытую игру у подножия другой пирамиды, разорванные ветром облака пыли поднимутся, словно фимиам, на вертикальные лестницы церковей индейцев; канал, рядом с которым Монтесума разбил сад, где конкистадоры обнаружили «столько прекрасных цветов, странных животных и меланхолических карликов», поразит туристов пустыми перекосившимися гондолами и груженными фиолетовыми барками торговцев-ацтеков; археологическая миссия пойдет дальше изучения трупов обезьян, истребленных желтой лихорадкой. «Младшие братья» будут тихо разговаривать со своими мертвецами, которые явятся им в виде огней, а заброшенные мертвецы Египта будут смотреть, как Двойники цивилизаций спускаются по лестнице нового музея, который, воз-

можно, перепутает чучела птиц с мумиями ибисов. За ними спустится бог самой глубокой метаморфозы, он изменит империю смерти в музей. Если я буду еще жив, я увижу музей пыли и пуха. На рассвете погонщики уже не приведут в Каир своих ослов, нагруженных розовыми кустами и маленькими гирляндами цветов, еще покрытых росой. Под небом, где кружились два хищника, будут планировать другие ястребы Гора; а в Фивах древний шум похорон смешается с неистовыми хлопками крыльев, в Рамсуме, переполненном птицами.

3

1934 год, Саба — 1965 год, Аген

Как пришло мне в голову, еще тридцать лет назад, заняться поисками столицы царицы Савской?

Географические авантюры тогда сильно увлекали меня, но затем это увлечение прошло. Их слава, о которой свидетельствует столько романов, приходится на *Прекрасную эпоху**: Европа не знала больших войн уже целое столетие. XVIII век и первая половина XIX века были восприимчивы к историческим приключениям какого-нибудь Клива или Дюпле, первых исследователей, однако на путешественников в неведомое смотрели еще как на людей, занимающихся всем этим из любопытства или жажды развлечений. Гобино, поверенный в делах в Тегеране, встретил на приеме одну европейскую даму, которая прошла пешком из Константинополя в Бухару и возвращалась из Самарканда. Однако ничего удивительного от нее он не услышал, так как рассказывала она ему главным образом о том, как ей удалось сохранить свою девственность. Это были безумцы и довольно живописные —

* 20-е годы XX века.

до тех пор, пока они изображались в духе романтизма и фамильярного стремления европейцев на «край света», к заморским землям; вершиной авантюризма стало проникновение в запретный мир. Prestиж Аравии поддерживался тогда за счет Священных Городов в независимых эмиратах, которым Англия помогала сохранять самостоятельность. Наш теплоход направлялся к Адену, откуда Рембо отправился в Абиссинию; он прибыл в Джеддах, откуда Т. Э. Лоуренс уехал в аравийскую пустыню...

Что еще можно сравнить с поэмой о царице Савской? Поэму о царице Балкис? Немногие женщины вошли в Библию; она же появилась там неизвестно откуда, вместе со своим слоном, украшенным перьями страуса, вместе с сорока зелеными всадниками, со своей охраной из карликов, вместе с кораблями из голубого дерева, ларцами, обтянутыми кожей дракона, браслетами из черного дерева (усыпанными золотом, словно каплями дождя), вместе со своими тайнами, своей незначительной хромотой и своим смехом, донесшимся до нас сквозь столетия.

Ее царство принадлежит к утраченным цивилизациям. Развалины Магриба, древней Сабы, находятся в Хадрамот, на юге пустыни, к востоку от Адена. Ни один европеец не смог проникнуть сюда начиная с середины прошлого столетия; ни одна археологическая миссия не сумела исследовать эти руины; это место было известно лишь по рассказам. Их было достаточно, чтобы определить это место с самолета, если экспедиция была хорошо подготовлена; затем его можно было сфотографировать, даже не приземляясь. Когда Англия была враждебно настроена к полетам над своими территориями, приходилось отправляться сюда из Джибути. В моем распоряжении был самолет с одним двигателем, который великодушно предоставил мне Поль-Луи Вейе. Топлива должно было хватить на десять часов, вместе с дополнительными резервуарами (Магриб был в пяти часах лета от Джибути, и требова-

лось еще отыскать его; однако вернуться было легко: берег Африки служил ориентиром). Мне не приходилось быть пилотом. Мермо и Сент-Экзюпери пробовали летать; авиапочта мне отказала. Пытавшиеся добраться до Магриба по земле Ситзен и Буркхардт были убиты. Вероятно, стреляли и в нас, и дополнительные резервуары находились под крыльями, но было почти невозможно достать самолет из тех ружей, которыми располагали арабы. Мне удалось уговорить Корнильона, и он не зависел ни от какой авиапочты. Мермо и Сент-Экзюпери умерли на море; а я представил де Голля ветеранам во время похорон Корнильона...

Почему он согласился? Может быть, потому, что был моим другом, может быть, потому, что авиапочта назвала эту экспедицию «несерьезной»; наконец, может быть, и из свойственного ему романтизма.

Уже более двух тысячелетий эта земля была легендарной. Она была такой уже для Рима, для Библии и для Корана, она является легендарной и для рассказчиков из Эфиопии и Персии. Последних я слышал еще в то время, когда караваны пересекали главную площадь Исфахана (во главе его шел маленький ослик с ожерельем из голубого жемчуга на шее, звенели колокольчики, и каждый из путешественников был защищен своим собственным амулетом: хвостом лисицы или туфелькой ребенка христиан). Они рассказывали, как исчезла римская армия Элия Галла, когда она стремилась выйти к берегу, потерпев неудачу под Сабой. «Очень дурная пустыня!» — говорили они. С их слов, именно благодаря проклятию Читающих-по-Звездам из Сабы эти легионы и исчезли; действительно, они плутали по этим пустыням несколько месяцев, введенные в заблуждение советами министра из Набатии,* находясь менее чем в ста километрах от берега, который спас бы их. Они нашли лишь внутреннее море с

* Город в Ливане.

застывшей водой и берегами, покрытыми голубоватыми ракушками.

Как Ксеркс повелел высечь Эгейское море, так и их военачальник решил, что за неимением города он станет повелителем моря. Ставший по воле Бога-Солнца безумным, он мечтал, как войдет в Капитолий вместе со своей армией и тюками ракушечника — душой этого моря, которого не видел ни один римлянин. Он выстроил войска в боевом порядке на берегу. По команде конница Рима вошла в теплую воду. Каждый солдат нагнулся, сверкнув на солнце броней, наполнил свой шлем и отправился в Рим, сохраняя свое место в ряду и держа в руках шлем с моллюсками и шелестящими ракушками; отправился к смертельному солнцу. В течение двух веков арабские путешественники видели зарытую по грудь в песок, словно купавшуюся в море, армию доспехов и скелетов, протягивавших навстречу солнцу наполненные ракушками шлемы. Солнце, когда садилось, вместо моря отдавало этим мертвецам всю пустыню целиком, отбрасывая на плоский песок тени легионеров. У некоторых из них руки были раскрыты над упавшими шлемами и тени растопыренных пальцев уходили по песку в бесконечность, словно пальцы скупого...

Этот регион играет большую роль в народном воображении персов, возможно, потому, что жители Йемена пришли сюда с гор, принадлежавших шиитам. И рассказчики из Исфахана (на его площадях их уже нет...) описывали смерть Соломона, о которой ничего не сообщает даже Библия.

Спустя несколько лет Соломон сбежал из Иерусалима. Находясь под властью его печати, последний символ которой может быть прочтен только мертвыми, его демоны следовали за ним через пустыню. И в долине Сабы написавший самую большую поэму об отчаянии царь, скрестив руки под подбородком и опустив их на свой посох, он наблюдал за демонами, которые много лет подряд строили дворец царицы. Он

больше не шевелился, удерживая указательный палец на своей всемогущей печати. Как и тень наполовину засыпанных песком римских солдат, его тень каждый вечер простиралась до края пустыни, а песчаные демоны трудились без передышки, завидуя своим свободным братьям, вой которых разносился по пескам, словно смерч.

Прилетел жук, который разыскивал лес. Он увидел царский посох, сел на него и начал сверлить. Посох и царь превратились в пыль: Повелитель тишины желал умереть стоя, чтобы навсегда подчинить царице всех демонов, которыми он управлял. Освободившись, они побежали в город. Он уже был в развалинах, а королева умерла за триста лет до этого. Они разыскивали ее могилу до тех пор, пока не наткнулись на надпись:

«Я положил ее очарованное сердце на розовый куст и повесил на тополь локон ее волос».

И тот, кто любил ее, сжимает ее сердце, срывая цветок, и упивается грустью, вдыхая его аромат».

И они убежали в пустыню, обнаружив в ногах царицы, похороненной в хрустальной гробнице, бессмертную змею, неподвижную и усыпанную звездами.

Эти легендарные земли называют чудесными. Когда я разыскивал документы о Магрибе, Шарко, мой случайный наставник в Географическом обществе (где находилась и до сих пор, несомненно, находится настоящая посмертная маска Наполеона), показал мне сообщения Арно, первого европейца, который добрался до Магриба. Когда старый фармацевт египетского полка был отправлен в Джеддах и стал там владельцем бакалейной лавки в 1841 году, он услышал, как местные жители говорили о Магрибе как о легендарном городе. Он отправился в Санаа вместе с турецкой миссией и добрался до Магриба переодетым. Он нашел там пятьдесят шесть надписей, с которых он снял копию при помощи сапожной щетки, и осла-гермафродита. Дергая осла за уздечку, он отправился дальше

вдоль рыжего песчаного берега, преследуемый ужасной фантазией, которая захватывала всех, кто желал приблизиться к этим руинам. Он прятал свои копии надписей от арабов, которые могли увидеть в них указание на места, где зарыты сокровища. Он выдавал себя за продавца свечей (воска в этих горах было очень много). Однако ему пришлось защищать свои свечи от прожорливых бедуинов, которые считали их съедобными; вместо того, чтобы помочь ему выжить, этот никудышный товар в круглых пакетах присоединился к его тайным копиям. Чтобы заработать себе на жизнь, он стал кем-то вроде фокусника и от одной деревни к другой, упрямо продвигаясь в ту сторону, откуда уже можно было бы сбежать, начал показывать местным жителям своего осла-гермафродита, ставшего его спасителем... Так он должен был добраться до Ходейды, чтобы снова стать там бакалейщиком, прежде чем вернуться в Джеддах. Враждебность одного дервиша, который разгадал в нем неверного, возбудила против него толпу, и ему опять пришлось бежать, отдав предпочтение своим надписям и своему ослу перед лодкой, когда его враги в честь праздника устроили вечером небольшую иллюминацию из украденных у него свечей...

Он мучился глазной болезнью, и когда добрался до Джеддаха, где Фреснель был консулом, был уже слепым. Он отдал свои надписи Фреснелю. Тот перевел их, отправил в «Азиатский журнал» и попросил у Арно, который у него гостил, восстановить план плотины и засыпанных песком храмов Магриба. Рука слепого смогла начертить на бумаге лишь бесформенных бабочек. Тогда Арно взял Фреснеля за плечо и попросил отвести его на пляж Джеддаха; там, улегшись на влажном песке, распластавшись перед своим гидом, который терялся в догадках о том, что происходит, он снова на ощупь сооружает плотину, чертит овальный Храм Солнца, проводит указательным пальцем маленькие круги, которые изображали разбитые основания колонн. Ара-

бы смотрят на этого вполне уважаемого ими человека, строящего замки на песке как на безумца, а Фреснель в спешке переносит в свой журнал эту архитектуру, которую скоро смоем морской волной, словно все, что касается Сабы, должно принадлежать вечности.

Арно суждено было оставаться слепым десять месяцев. Он вновь поехал во Францию, отдал осла в Ботанический сад, затем служил в миссиях в Африке и в Йемене. После тысячи приключений он вернулся в Париж в 1849 году вместе со своими коллекциями. Последние взрывы революции 1848 года сделали государство таким бедным, что оно было не в состоянии что-либо купить, и, преследуемый библейским роком и своим легкомыслием, Арно завершил свои дни в Алжире, в отчаянии и в бедности; осел умер от голода в Ботаническом саду, и последние предметы из Сабы исчезли в море политических брошюр, на кладбище коробок с набережной. «Азиатский журнал» опубликовал останки всех этих мечтаний: надписи и сообщения, предназначенные для специалистов, где я прочитал: «Выходя из Магриба, я посетил и развалины древней Сабы, которые в целом представляют собой лишь кучу земли...».

Я от всей души полюбил Арно, вместе с его бородой зуава, его серьезностью, его свечами, его небрежным героизмом, его простой и очаровательной страстью к приключениям. Может быть, сам не зная того, я отправился в Сабу за его тенью? Или же за тенью его осла, которого я также полюбил, который умер где-то между белым медведем и пингвином, в ослином раю, обещанном ему Аллахом; умер, не понимая, не желая понимать, почему его перестали кормить, но продолжая хотеть держать под замком...

Корнильон и я не раз вспоминали, что «развалины древней Сабы... в целом представляют собой лишь кучу земли...», во время последнего испытания двигателя на аэродроме в Джибути. Военные летчики, обес-

покоенные, но в то же время и воодушевленные, желали нам удачи, и мы посматривали на облака и на небо с внимательностью халдейских астрологов, с недоверчивостью пастухов. Взлетели мы ранним утром. Позади нас, в заливе Таджора еле заметные волны бились о коралловые рифы и весельчаки дельфины разрезали водную гладь. Если бы не белая мечеть и не ветвистый орнамент дворца, то Аравия, этот мыс, уходящий в бесконечность тумана, была бы похожа на длинную хищную медузу. Еще подростком, разыскивая в «Международном телефонном справочнике» романтические названия городов, я почувствовал запах зерен кофе, когда прочитал: «Мока, великолепные дворцы, которые приходят в запустение...». Здесь скрывалась Саба, и финикийские корабли привозили царице «маленькие розовые кустики из Сирии с созвездиями восхитительных бутонов...».

На смену беспокойным пастухам пришли древние навигаторы. Тридцать лет назад самолет превращался в крупного слепого скарабея, лишь только он терял из виду землю. Безопасность полетов на европейских авиалиниях обеспечивалась радиосвязью, но в этих районах радиоприемников не было, и наш самолет не имел аппарата для связи с землей. Оставалось рассчитывать на компас и следить за скоростью.

Бесконечный туман сменил исламские знамена ветвистых облаков и присоединился к песчаной пыли, из которой мы и стартовали; поперечный ветер мог теперь отбросить нас на сто километров, и компас был бы бесполезен. Если самолет продолжал бы лететь вперед и прямо, то игла точно так же указывала бы на север. Прибор, измерявший отклонение, ориентировался на землю, которая была видна теперь лишь изредка через дыры в тумане. Что касается скорости, то на туристических самолетах счетчик показывал ее по отношению к ветру. В тот момент он показывал 190. Что же было на самом деле, при этом перпендикулярном ветре? 160, как при старте? 210? Наконец, на вер-

шине холма, похожего на многие другие, появилась геометрическая фигура. Еще одна иллюзия? Нет, это была крепость. В Йемене только Санаа охраняется крепостью. И менее чем через километр сразу же появилась долина Санаа, возделываемая вплоть до самой маленькой ложбинки, с городом посредине, с его наклонными стенами и с развалинами Рауды рядом, напоминавшими сброшенную шкуру змеи, — круглая каменная корзина, наполненная великолепными белыми и гранатовыми кристаллами в глубине вертикальных гор.

Теперь нам предстояло подняться с долины Харида в Долину Гробниц, откуда мы надеялись увидеть развалины. Туман рассеивался. Харид, согласно картам, должен был находиться сразу за несколькими реками. Но мы не увидели ни одного пересохшего русла и в конце концов догадались, что видневшийся внизу пункт был подземной рекой; здесь не было Хариды. Мы взяли с собой топлива на десять часов, а в пути были уже часов пять, и у нас не было никакого ориентира на земле. Но вскоре туман, из которого мы постепенно выбиралась, оказался позади. Мы все же были над Харидом! Река была подземной, но в этом почти стерильном регионе темная зеленая линия растительности шла вслед за линией воды, украшенная растущими на земле деревьями.

За Харидом начиналась огромная южная пустыня, пустыня царства Сабы. В ней еще не было длинных сыпучих дюн, как на севере Сахары; она была скалистой или плоской, всегда изможденной и обезвоженной, словно белые и желтые кости скелета земли вышли на поверхность. Тени ложились здесь крест-накрест, и, несомненно, не было недостатка в миражах. Ни одной долины, ни одной гробницы. Здесь отвергалась любая точная форма, словно шла борьба с человеческим глазом, чуждым планетарному одиночеству. Казалось, что бесчисленные реки, высохшие еще в иную геологическую эпоху, были вырезаны в песке и ветвились в нем, словно деревья без листьев или пучки

вен, вплоть до горизонта, где один за другим пробежали смерчи. Ветер разносил песок, прижимая к сухому дну его водовороты; каждая ветка реки заканчивалась дрожащим языком пламени. Весь пустынный лес пылал, — запретное царство, в глубинах которого властвовал священный скорпион, а на его панцире поочередно отражалось то злобное солнце, то созвездия вавилонского неба... Разум все же начинал привыкать. Глаз тоже: справа от нас появилось какое-то нагромождение огромных камней.

Мы различали землю все лучше и лучше, по мере того как снижались, пытаясь в накренившемся самолете справиться с кинокамерой, словно официанты с выскальзывающим из рук подносом. Это была уже не пустыня, но заброшенный оазис со следами древней цивилизации; руины примыкали к пустыне лишь справа. Эти массивные овальные ограды, засыпанные землей... Может быть, это и был храм? И как приземлиться? С одной стороны — дюны, где самолет перевернулся бы; с другой — вулканическая порода, где камни лишь немного были присыпаны песком. Возле развалин повсюду были груды камней. Мы спустились еще и продолжали снимать. Стена в виде подковы открывалась в пустоту: несомненно, город, построенный, как и Нинивия, из грубого кирпича, был, как и она, развернут к пустыне. Мы вернулись к главному массиву: овальная башня, еще ограды, кубические здания. Над темными пятнами палаток кочевников, разбросанных возле развалин, потрескивали маленькие вспышки огня. Стреляли, несомненно, в нас. За стенами прояснились следы загадочных предметов, предназначение которых нам было непонятно: эта буква Н, лежавшая на возвышавшейся над руинами башне, что она значила? Остатки обсерватории? Терраса всяческого сада? Их было очень много в Верхнем Йемене, этих садов Семирамиды, ставших скромными огородами, заросшими дурманящей травой, коноплей Старца с Горы... Жаль, что нельзя было приземлиться! Мы пролетали над вер-

шиной, чтобы сделать круг над другими руинами, не большими и не очень интересными; затем вернулись к городу. Туман и облака, словно утратившие свою форму руки сабеянских богов, проснувшихся слишком поздно, стали укрывать следы кораблекрушения, словно здесь сел на мель корабль из Вавилона, груженный разбитыми статуями.

Теперь следовало думать лишь о том, чтобы вовремя вернуться (но ветер теперь был попутным); остаться над морем без горючего было бы непростительной ошибкой. На песчаной коре пустыни начал понемногу вытягиваться огромный кривой обсидиановый кинжал, образованный вулканическими породами, черный, изогнутый, сверкающий своими гранями на солнце. Это была Долина Гробниц, которую мы пропустили, долина, где, согласно легенде, хоронили царей Сабы; их могилы из сланца вспыхивали прямоугольными взрывами, словно окна городов в лучах заходящего солнца.

Под этими сланцами, говорят, зарыты сокровища. Потом я обнаружил здесь, под тропическим солнцем, огромные залежи черных минералов. Бедуины не нашли дороги к этим погребениям. (Они хотят научиться этому в Египте!) Для них, как и для нас, эта долина Тантала остается непокоренной; она не оставила ни надписей, ни имен своих великих мертвецов, лежащих в окружении трупов воинственных поэтов доисламской эпохи:

«Однажды я оставил здесь лежать на песке мужа прекрасной женщины, вскрыв ему вены на шее, и рана была похожа на разбитые губы!

Я оставил его на съедение диким зверям, которые будут рвать его на части, будут глотать его красивые руки и великолепные плечи.

Как саранча тучей садится на влажную лужайку, так и наши стрелы опустились на их доспехи, высекая молнии, сверкавшие словно глаза лягушек в пруду, взбаламученном ветром!».

Пройдет еще немало лет, прежде чем сюда с лопатами придут исследователи и раскроют тайну солнечного победителя римских легионов, прежде чем самая большая гробница окажется гробницей царицы...

Не потревожили ли мы богов Сабы? В тот же день, когда в печати появились наши фотографии руин, армия Ибн Сауда отправилась в поход на Йемен.

Мы вернулись в Джибути вовремя; компас, слишком примитивный, чтобы помочь нам найти нужное место, не смог обнаружить залив Таджора.

Возвращение должно было дать мне опыт хоть и более банальный, но все же более глубокий, чем опыт встречи с Сабой, — опыт войны. В первый раз я намерен был встретиться с космосом «Илиады» и «Рамаяны».

Мы отправились из Триполитании в Алжир, хотя прогнозы погоды были очень плохими; тревога лишь усилилась, когда мы пролетали над Тунисом. Мы погрузились в облака; и после очень длительного полета, там, где карта предупреждала об опасности гор, появились еще покрытые снегом вертикальные гребни на фоне еще больше почерневшего неба. Это были Атласские горы.

Самолет отклонился от курса по меньшей мере на сто километров. Мы нырнули в огромное неподвижное облако, но оказалось, что изнутри оно не такое спокойное, как на первый взгляд: более густое, более подвижное и опасное. Его края надвигались на самолет так, словно он постепенно проваливался к его центру, и напряженность, медлительность движения создавали впечатление, что он готовится к битве с каким-то огромным животным, к битве, исход которой предопределен. Желтовато-коричневые потрепанные края тучи напоминали берег моря в тумане, исчезающий в серой бесконечности, берег бескрайний, оторванный от земли; темная пакля тучи заползала под самолет и выталкивала нас в небо, закрытое, перегоро-

женное той же самой свинцовой массой. Мне казалось, что я освободился от гравитации, что я повис между мирами, привязанный к туче, в то время как подо мной земля продолжала свое вращение, и нам уже не суждено было когда-либо встретиться. В темноте, окутавшей кабину, временное перемирие маленького самолета с тучами, вдруг оказавшимися во власти стихии, становилось нереальным. Зловещее затишье заполнялось голосами начинавшегося урагана. Несмотря на то, что самолет качало, что от каждого порыва ветра он, казалось, падал на землю, я словно прилип к этому слепому мотору, который тащил меня вперед. Внезапно самолет затрещал, словно оказался на огромной раскаленной сковороде.

— Град? — закричал я.

Ответ Корнильона нельзя было расслышать. Металл самолета звенел как тамбурин от ударов града по стеклам кабины: он начал проникать и в щели капота, осыпать уколами лицо и глаза. Приоткрывая на секунду глаза, я видел, как капли мгновенно сбегают вдоль стекла и появляются вновь в стальных желобках. Если бы стекло выскочило, самолетом было бы нельзя управлять. Изо всех сил я уперся правой рукой в стекло и старался удержать его в неподвижном положении. Линия полета всегда была направлена строго на юг; компас начал показывать на восток. «Налево!» — закричал я. Напрасно. «Налево!» Я сам себя едва мог услышать в этой тряске, в этих рывках, под потоками града, который заглушал мой голос и хлестал самолет кнутом. Свободной рукой я показал в левую сторону. Я видел, что Корнильон выжимает штурвал, чтобы развернуться на 90°. И мы одновременно посмотрели на компас. Самолет шел вправо: он больше не подчинялся нашим приказам. Он трясся всем своим корпусом, властный и непоколебимый в этом длительном вздрагивании. Град и черный туман, ни на что не похожий; и в центре — этот компас, который только и связывал нас с тем, что происходило на земле. Машина медлен-

но поворачивалась вправо, и под сильным шквалом она стала двигаться по спирали, пока не сделала полный оборот. Второй. Третий. В центре циклона самолет делал колесо, разворачиваясь вокруг своей оси.

Однако он казался таким же устойчивым; двигатель упорно стремился вырвать нас у циклона. Его вращавшийся винт был сильнее, чем все вместе взятые чувства моего тела: он олицетворял собой жизнь машины, как оставшийся живым глаз олицетворяет жизнь паралитика. Он шепотом рассказывал мне об огромной сказочной жизни, которая сотрясала нас так, словно мы были деревьями, и о космической ярости, лучи которой преломлялись как раз в его маленьком круге. Самолет продолжал вертеться на месте. Корнильон сжимал штурвал, он был на пределе внимания; но его лицо изменилось, глаза стали меньше, губы надулись — это было лицо ребенка; уже не в первый раз я видел, как опасность натягивает на лицо человека маску его детства. Внезапно он выжал штурвал на себя, — самолет встал на дыбы и диск компаса прижало к стеклу. Самолет, словно кашалота в океане, подняло воздушной волной. Мотор работал так же ровно, как и всегда, но мой желудок прижало к сиденью. Мертвая петля или подъем? Между двумя новыми хлесткими ударами града ко мне вернулось дыхание. Я заметил, что дрожу, и дрожали не руки (я продолжать удерживать стекло), а левое плечо. Как только я спросил, вернется ли самолет в горизонтальное положение, Корнильон выжал штурвал вперед и сбросил газ.

Я понял цель маневра: падать, воспользоваться падением, чтобы вырваться из бури, и попытаться восстановить положение вблизи от земли. Альтиметр: 1850, но я знал, что учитывая неточность альтиметров, уже 1600; его стрелка танцевала, как совсем недавно диск компаса. Если бы туман опускался до земли или если бы под нами были горы, мы бы разбились. Самолет уже перестал быть пассивной жертвой в этом сражении, мое плечо перестало дрожать; все мои чувства

были теперь собраны, я испытывал чуть ли не сексуальное наслаждение: мы, затаив дыхание, пикировали, всем нашим весом продырявливая шквалы ветра словно гнилую ткань, неслись в вечном тумане конца мира, сквозь дикий шум разрывов града.

1000

950

920

900

870

850, я чувствовал, что глаза вылезли у меня из орбит, глаза, безумно опасавшиеся приближения гор, — страх, смешанный с восторгом.

600

550

500

4... Не горизонтальная и не передо мной, как я ожидал, а вдалеке и под наклоном, равнина! Я недоумевал перед этим нереальным горизонтом в 45° (это самолет падал под таким наклоном), но уже все мое существо признало его как данность, и Корнильон попытался восстановить горизонтальное положение. Земля, теперь открытая, была далеко за пределами этого моря гнусных туч, клочков пыли и волос, уже сомкнувшихся над нами; в ста метрах под самолетом рассыпался своими последними фрагментами разрисованный графитом пейзаж, набухал черными нарывами длинных холмов вокруг бледного озера, щупальца которого расползлись по долине и с геологическим спокойствием отражали хмурое мертвенно-бледное небо.

Наполовину разбитый, самолет полз под бурей, в пятидесяти метрах от гребней гор, а затем над хмурыми виноградниками и озером (вода дрожала короткими волнами от надоедливости ветра). Моя рука наконец оторвалась от стекла, и я вспомнил, что линия жизни на ней была длинной. На этой земле, где все больше и больше огня появлялось из смешанного с ночью зимнего тумана, дороги, реки, шрамы каналов казались

сетью линий, постепенно исчезающих с ладони огромной руки. Я слышал, что эти линии стираются на руках покойников, и, словно желая увидеть эту последнюю форму жизни, прежде чем она исчезнет, долго смотрел на ладонь моей умершей матери: хотя ей не было и пятидесяти, и ее лицо и даже тыльная сторона руки оставались молодыми, ладонь ее была ладонью старой женщины, с тонкими и глубокими линиями, бесконечно пересекающимися. И она смешалась со всеми линиями земли, сжираемыми туманом и ночью. Спокойствие жизни поднималось с еще мертвенно-бледной земли к изношенному самолету, преследуемому дождем, словно эхом оставшихся позади града и урагана; казалось, что раскрывшаяся земля, поля и виноградники, дома, деревья и спящие на них птицы купаются в безмерном покое.

Именно здесь я в первый раз пережил опыт «возвращения на землю», который сыграл в моей жизни огромную роль и который я много раз пытался описать. Весь этот эпизод я поместил в книге «Годы презрения». Это опыт любого человека, который обнаруживает, что его цивилизация связана с другими; это опыт героя «Альтенбурга», возвращающегося в Афганистан; опыт Т. Э. Лоуренса (хотя сам Лоуренс говорил, что он так и не стал вновь англичанином); но если эти переживания похожи на *удивление*, то смерть остается для нас самой далекой и чужой страной. Особенно когда она связана со стихиями. Позже я воевал в авиации, я знаю, что значит не суметь первым открыть стрельбу по противнику (три секунды...), потому что он — твой самый первый враг под маской, он способен превратить сражение в убийство. Однако космические силы расшатывают весь прошлый опыт человечества. В этот раз я вернулся на землю в Боне. В аэропорту южане встретили овациями наше «представление»: они приняли нас за других. На обочине дороги стояла дверь без ограды, как в фильмах Шарло, с

надписью большими буквами времен Второй империи: «Руины Гиппона». В городе я прошел мимо огромной красной руки (так тогда выглядели вывески на лавках перчаточников). Земля была населена руками, и, возможно, они были способны существовать отдельно, без людей. Я не мог узнать эти лавочки, эту витрину лавки скорняка, с маленькой собачкой, которая прогуливалась среди безжизненных шкур, садилась, снова вставала: живое существо, с длинными волосами, с неловкими движениями, которое не было человеком. Животное. Я забыл о животных. Эта собачка спокойно прогуливалась рядом со смертью, которую я еще нес в себе вместе с ее вновь и вновь накатывающим грохотом: я с трудом трезвел от опьянения небытием.

Люди существовали всегда. Они продолжали жить и в то время, когда я спускался в царство тьмы. Среди них были те, кому нравилось быть вместе, в атмосфере наполовину дружеской, наполовину прохладной, но были, несомненно, и такие, кто терпеливо или с горячностью пытался извлечь из собеседника чуть больше внимания; усталые ноги на земле, переплетенные пальцы под столом. Жизнь. Театр земли начинал разыгрывать великую драму ночной нежности; женщины толпились вокруг витрин с праздничными духами...

Не вернусь ли я однажды, в такой же час, к этому вечеру, чтобы увидеть, как человеческая жизнь струится, словно пар, и оседает каплями на холодном стекле, когда я и на самом деле буду убит?

Вот и Аден. Издалека это еще и скала Рембо (неизвестно, принадлежит ли она Данте или Гюставу Дорэ). Но у нее тот необычный вид, который принимают в эпоху атомных субмарин эти имперские скалы бывшей царицы морей. Громкоговорители с берега общаются: «Ввиду положения в Адене, пассажиры, желающие сойти на берег, сгружаются под собственную ответственность». Англичане хотят сделать Аден сто-

лицей федерации султанатов Южной Аравии, которой они предоставят независимость в 1968 году. Арабы, враждующие с султанами и поддерживаемые с территории Йемена египтянами, хотят прогнать англичан немедленно.

Лодка консульства Франции уже поджидает нас.

Как и повсюду на Востоке, здесь вырос новый город; асфальтированные дороги, построенные Британской Империей, южно-американские дома, покрашенные как в Индии: мутно-зеленый, бледно-розовый, пепельно-голубой. В центре города сад, странный для этой суши, разрушающей дома как шербет: цветут огнецветы и лавровые розы (надпись запрещает выносить растения). В центре сада — маленький музей.

Это традиционный для английских колоний музей, с грудой хлама, с чучелами птиц, рассматривающих своими круглыми глазами коллекцию кристаллов; с несколькими костюмами, с семенами злаков и с археологическими находками. Последние лучше рассматривать, ползая на четвереньках, как в нашем старом музее Трокадеро. Барельефы, высеченные на каменных тарелках, разложены словно книги, так что видно лишь донышко. Но на уровне коленей расставлено немало алебастровых фигур. Это, после Константинополя, после Филадельфии, самая значительная коллекция скульптуры из Сабы.

Бедуины приносят их сюда одну за другой; богатый арабский торговец собрал огромное количество и завещал музею. Саба, или Магриб, как бы его не называли, всегда была в руках мятежников. Они сопротивлялись эмирам, йеменцам, египтянам, а также, что было гораздо сложнее, нефтяникам, экспедиция которых совсем недавно закончилась неудачно. Англичанам? Они, несомненно, знали, что тем нужно, и были лишь их местными агентами. Но археология в этих странах не являлась главной заботой их спецслужб. Независимое научное исследование Адена однажды рассеет «тайну Сабы», по иронии судьбы не тронутую в этих

залах, часто навещаемых тенью фармацевта Арно и его осла...

«И люди Дабара перенесли сооружения, воздвигнутые ими под защитой богов, властителей, царей и простых людей из Сабы; если кто-то изуродует их, разобьет и унесет хотя бы одно изображение или идола, то погибнет весь его народ!»

Если бы я был ящерицей, мне понравилась бы эта надпись. Но мне больше по душе те, что относятся к волнующим воображение богам: лунному богу Сину, мужскому, в других мифологиях он оказывается женщиной — Дат-Бадан; Солнечной Богине и Узза, мужскому богу Венеры, упоминаемому во многих надписях, но еще неизвестному. В этом бедном музее, где храбрые маленькие цветы завоеваны водой из приписываемых царице Балкис циклопических бассейнов, словно встроенных в горло ада, в голову приходят самые разные фантазии о сексуальной жизни народа, который представлял Венеру мужчиной, видел в Солнце женский символ плодородия, а в Луне — мягкого, примиряющего отца. Могло ли в пустыне родиться такое благословение ночи? Другие народы пустыни в те же эпохи делали Луну жестоким богом. Какую трогательную и чистую сексуальность имел в противоположность другим этот исчезнувший народ, которым, как свидетельствуют не подтвержденные историческими фактами легенды, всегда управляли царицы?

В Константинополе, за пределами музейной коллекции, имеется целая серия восхитительных подделок, которые, вместо того чтобы имитировать аутентичные шедевры, изобретают свое собственное искусство. Статуэтки же, найденные бедуинами, были настоящими. Архитектурные статуэтки, как и некоторые шумерские и мексиканские статуи, где персонаж одновременно является и поклоняющимся богу, и богом, и храмом; а также цари, чем-то неуловимо «похожие» друг на друга, стоящие в строгой последовательно-

сти, — нет ли на них следов парфянского влияния? Во втором зале изображение усатого короля на черном бархате, драпированном подручными средствами. Сколько столетий разделяют эту дикую архитектуру и эти неясные лица римлян, парфян или жителей Памира, лица, которые, как сообщают этикетки под ними, отличаются похвальной «тонкостью»? И имеет ли это значение? Это последние посланники царицы, благовониями которой переполнена Библия, царицы, от которой остался лишь звонкий смех, эхом пронесшийся по пустыне: «Смейся, прекрасный отшельник!».

В ее крипте рылись расхитители гробниц, и неизвестно, осталось ли от ее проданной мумии что-то, кроме выпавшего глаза, скелета и камней, как от мумии фараона из музея в Каире, обнаруженной под лестницей гробницы, среди мумий аллигаторов и кошек с длинными ушами? Найдём ли мы тонкую маску, которая скрывала ее лицо, неловко выкованную металлическую полость в дюйм глубиной, способную сохранять тепло ее век? Или это была золотая трапеция, похожая на маску в старом музее Афин, с пыльной этикеткой, явно узурпированной: «Маска Агамемнона»...

Среди любопытных экспонатов выставлена без особого пояснения золотая монета в сто франков с изображением Наполеона. Я думаю о его маске в Географическом обществе, лежащей в полумраке за спиной Шарко, который рассказывал мне об Арно. Сам Арно пишет, что когда он дошел до Магриба, то тогда же до него добрался и другой белый человек: арабы вспоминают о бледном цвете его лица и странной походке. Принятый ими за Махди, за пророка, которого они ждут, он провел вечер у шейха и раздал тем, кто его окружал, одиннадцать больших золотых монет. После вечерней молитвы ему принесли письмо, хотя он никого там не знал. Он его прочитал. «Умер мой брат», — сказал он, поднялся и уехал. На следующий день на огромных стопах единственной на развалинах статуи

нашли одиннадцать «призраков золотой монеты», а вскоре узнали, что неизвестный путешественник был убит людьми из соседнего племени.

Арно досталась одна из этих монет: это был золотой достоинством в сто франков с изображением Наполеона. Десять остальных всегда находились на базаре Магриба, хотя часто и переходили из рук в руки; шейх запретил носить в Санаа золото этого путешественника, который, казалось им, владел наукой Соломона. Арно хотел увидеть еще и то, что они называли «призраком монеты», и ему принесли сургучную печать. Следовательно, эту печать, которую арабы никогда не видели, и принес с собой путешественник. Зачем же он выдумал эту историю с призраками, после того как раздал монеты?

В наши дни Саба, все еще нетронутая, была принесена в дар этому искателю приключений, на мгновение появившемуся и тотчас же исчезнувшему, убитому; потому что там, где лежат его кости (так как он, конечно же, был из числа тех искателей приключений, одержимых единственной страстью к удаче и рассчитывавших лишь на случайность, которые остались без могилы), там, рядом с террасами без цветов, рядом с обсерваториями в пыли, рядом с кладовыми благовоний и руинами, которые вздрагивают от молчаливого прикосновения птиц, — там продолжает жить его смелая и легкомысленная душа; потому что мы оба прикоснулись к последней тайне, которая сделает нас братьями в бесконечной тоске смерти.

Весьма учтивый хранитель показывает мне через окно бассейны, приписываемые царице Балкис. Он рассказывает мне о царе Акраме, который бежал вместе со своим народом, увидев, как крыса раскачивает своими маленькими лапками плотину Магриба, которую не сдвинули бы с места и двадцать воинов; плотину, разрушение которой неизбежно отдало бы во власть песка все богатство и само существование Савского царства...

Будет Магриб закрытым городом или открытым, останется он в развалинах или будет восстановлен из глиняных кирпичей, как Нинивия, — вновь я его не увижу никогда. Здесь его статуи, его надписи, может быть, даже цветы. Мирровое дерево перед входом в музей стоит рядом с пальмой в цинковой кадке, которая во время отправления нашего самолета была единственным деревом в Джибути, — теперь это город... Здесь же прогуливаются стада коз и их пастухи, черные рядом с белизной солончака, и последний отблеск солнца отражается на их железных копьях. Здесь и негус в королевском гуэби.* Он сидит на диване из Галереи Лафайет, перед своими вельможами в тогах. Переводчик называет Корнильона-Молинье «г-н де ла Молинье», потому что негус за два дня до этого получил несколько «юнкерсов». Через открытые окна доносится рычание львов Джады. Клетки со львами уже несколько столетий стоят на большой аллее дворца негуса, который ведет свою родословную от легендарных предков цариц Сабы... Здесь и пустыня, туман цвета песка, как на развалинах, и мертвый Соломон, окруженный своими капризными демонами, повелителями смерчей, и громкий крик царицы, играющей на арфе под созвездиями с именами насекомых... Поэзия мертвых мечтаний. Есть мечты, похороненные в пыли (добрый дикарь, например); рай, непобедимый как справедливость или вечный как свобода; «золотой век» и мир страстных мечтаний, пепел которых становится поэзией, как прах богов — мифологией: рыцарство, «Тысяча и одна ночь»... Все эти утратившие свое значение миры смешиваются, руины Магриба — с развалинами стадиона в Нюрнберге, с двумя каменными выступами, на которых горели огни, и стоявший между ними Гитлер призывал Германию погрузиться во мрак; большие огни древних святилищ магов в горах Персии; погребальная комната Хеопса в пирамиде,

* Одежда эфиопского царя, негуса.

и смерть, спрятавшаяся наверху, в звездных степях, смерть, показавшая мне сплетение кровеносных сосудов земли, похожих на линии на руке моей мертвой матери. Я с ласковой иронией смотрю на эту изношенную мечту, ради которой я больше всего рисковал своей жизнью, и этот маленький музей скрывает ее так же, как кусты шиповника в саду священника, в Дамаске, скрывали раньше плиту из оникса, под которой покоилась слава Саладина. Перед дверью проносится тень ястреба с широкими крыльями, словно тень молчаливого и далекого покровителя.

Хранитель музея желает, чтобы мы выразили свое восхищение коллекцией бабочек. Не прилетели ли они из Сабы, чтобы навсегда остаться приколотыми к этим мягким пробковым постелям? Я люблю представлять, как Балкис приветствовала Соломона восточным реверансом, с бабочкой на носу. Я думаю о старой царице Касаманса, сидящей перед своим священным деревом, под шелковыми кисточками капка,* под точно таким же солнцем. Сейчас полдень. Мы должны уезжать. Музей собирается заснуть у основания гигантских бассейнов, под прекрасными деревьями без запаха и без обезьян.

Где-то в городе только что раздался взрыв гранаты. Сирены. Фантастические выкрики теряются в древней тишине. Нас увозит машина, открытый французский фургон. Пробки и машины «скорой помощи» там, где разорвалась граната. Улица, на которую мы сворачиваем, чтобы обогнуть оцепление, окружена стеной. Есть и другой путь. В домах радио Каира, транслируемое через радиоприемники с максимальной громкостью, кричит, что англичане пытаются сражающихся за независимость. Мы возвращаемся на британскую главную дорогу. Она называется Мааллах, но охотнее говорят: «километр от преступления». Английское радио говорит о Йемене.

* Головной убор.

Четыре года тому назад имам Йемена, недавний союзник Объединенной Арабской Республики, разорвал отношения с Сирией из-за большой поэмы с выпадами против Насера...

«Смейся, прекрасный отшельник!»

II

1

1923—1945

Тогда, в 1923 году, я ждал, что Цейлон произведет на меня более яркое впечатление, чем Северная Африка. Продавцы бижутерии взяли теплоход на бордаж, с криками пиратов и игрушечными корзинками для маленьких девочек, откуда они, с торжественным видом хранителей священных драгоценностей, вытаскивали свои сапфировые звезды. Сойдя на землю, я обнаружил дома, полностью покрытые зеленью с той стороны, откуда дуют муссоны, просторные сады почти без единого цветка, сверкающие после дождя пальмы; затем, когда на землю опустился вечер, я набрел на квартал браминов, на Индию, втиснувшуюся на узкую площадь, с похожими на Гомера стариками, сидящими перед башней, усеянной голубыми изображениями; а ночью наткнулся на скульптуру, сделанную из носовых частей нескольких арабских кораблей, под очень тусклым освещением факелов, качающихся, словно подвешенные лампы, — это были забытые корабли Синдбада.

Юг Индии мне придется узнать гораздо позже. В 1929 году я видел, за исключением Бенареса, лишь мусульманскую Индию. Я прибыл в Афганистан (о чем можно прочитать в «Орешнике Альтенбурга») через Ташкент, уже советский, и из окон русского аэродрома казалось, что Термез, куда приходили караваны из Самарканда и Бухары, с тюрбанами, похожими на

тыквы, и цветастыми платьями, с людьми, сидевшими на корточках в тени остролистых деревьев, навсегда оставлен мечтательным Востоком. Длинная взлетная полоса исчезала там, где заканчивался рассвет, и жара казалась смертельной. Чтобы укрыться от нее, усатый пилот спустился в колодец; оттуда он появился совсем без одежды и побежал к качавшемуся на качелях, также совершенно голому товарищу, который был и моим другом тоже (Борис Пильняк! Ха-ха-ха!). Качели заменяли собой ветерок, и нужно было быть в форме, чтобы перебраться через Памир: ни один десяток пилотов уже угробил себя там (за неимением качелей, разумеется).

Кабул, еще почти полностью закрытый для иностранцев, был открыт для жителей Индии, которые, приехав из Лахора или Пешавара, создали там свой пригород, построили дома из гофрированного железа. Я поинтересовался, не была ли и Лхаса такой же безобразной. Но после Газни, нагромождения глиняных стен, начинались лавандовые степи, тонкая голубизна которых ранним утром прекрасно сочеталась с голубизной неба над горными отрогами Памира... Афганистан 1929 года в моих воспоминаниях — это гражданская война, сваренный в кипятке узурпатор (несчастный Абибуллах, сваренный вместе с головой министра сельского хозяйства!), просторные голубые поля; висящие на известняковых стенах базаров кривые черные туфли, словно запятые, и музыкальные инструменты Аладдина, звучания которых никто никогда не слышал. Жестокий ислам был единственным каркасом, который удерживал этот сомнамбулический народ в стоячем положении, среди его развалин, между наготой его гор и торжественным мерцанием белого неба.

Из Москвы я летел сюда самолетом, но до Индии мне пришлось добираться по суше. Как назывался тот земляной город, где я жил в королевском караван-сараяе, с чудесным бассейном, наполненным отврати-

тельной водой? Я помню лишь ночь в Центральной Азии, шум кавалерии и грузовиков Аффридиса, который, как во времена Киплинга, напал с гор на какой-нибудь город или в Афганистане, или в Индии; и караван археологов, только что обнаруживший несколько сотен греко-буддийских статуй из мрамора. Они продемонстрировали мне изобретательность холостяков при переездах: роса разглаживает мятый костюм. Но доставив свои находки на верблюдах из Хадды, они распаковали их где-то перед Хайберским перевалом, рассчитывая переложить коконы лаванды в европейскую тару; и, может быть, ради удовольствия еще раз посмотреть на свои статуи. На рассвете все та же роса, победительница мрамора, бывшего уже шестнадцать веков под защитой песка, превратила по-гречески задумчивых бодхисатв в маленькие кучки гипса, на которые проходящие мимо верблюды взирали как на сожженные души. За перевалом — асфальтированные тропы Британской империи, светлые, как дороги Рима. Т. Э. Лоуренс провел месяцы в одной из этих крепостей.

Дорога из Хайбера была тогда символом английской воли. «И я сделал это, чтобы показать, что может сделать англичанин», — написал Скотт, погибший на Южном полюсе. Те, кто «сделали» эту дорогу, не погибли, но они на самом деле написали имя своей страны, то есть Англии, на горах Памира. Это было место сражений с воинами Аффридиса или с кафирами, которые из ущелий обрушивали на английские колонии обломки Гималаев; место, где единственный уцелевший в резне младший офицер ответил голосом спартанца (и со спартанским юмором) на вопрос: «Где колонна?» — «Колонна — это я». Я думаю о вас, мои английские друзья, убитые в сражении за Лондон, когда слышу голос Черчилля в ночи... В 1929 году Англия казалась неуязвимой, и как раз о ней-то я и не думал.

Пешавар был столицей пограничных провинций: в суровых исламских горах появилась пышная архитек-

тура Моголов, которая если не лежит в руинах, то производит одновременно и эпическое и сладостное впечатление. Затем Лахор, могила Джахан-Гира и два двора: первый, мраморный, был предназначен для махараджи, а во втором, с глиняными стенами, неподвижными рядами сидели в ожидании грифы, прилетевшие с Башни Молчания...

Где я впервые увидел руины растительности: возле Лахора, в Кашмире или рядом с Шахьямаром? За древними садами, за павильонами из черного мрамора с птичьими гнездами, самый обыкновенный фруктовый сад расплзался по красной бронзе полей арамантов. И внезапно между яблонями открывался коридор длиной в километр: во времена Моголов там проходила императорская аллея, и деревья больше не росли на утоптанной ранее дороге. Хотя никаких руин не было видно, эти исчезнувшие аллеи пробуждали мысль о нерушимом союзе земли и смерти, о Версальском дворце, который сохранял лишь существование пустоты. Этот призрак парка смутно соединяется в моих воспоминаниях с обсерваторией Джайпура, самым бредовым местом из всех, что я видел. Здесь мне не приходила в голову мысль об астрологии, потому что этот гигантский детский конструктор, брошенный джиннами, создавал вполне современное впечатление: он был похож на макет дворца для фильма Мелье, а не на простые, но нетленные пирамиды; не приходила в голову и мысль об астрономии, потому что с нашей точки зрения инструменты астронома не могут быть каменными. Но эти ступени лестницы, поднятой к звездам, сразу внушали представление о неуловимом небесном своде, как пустоты Шахьямара вызывали образ заброшенного парка. И эти длинные треугольные площадки были сориентированы на самый фантастичный город мусульманской Индии. Не только потому, что Дворец Ветра, сооруженный из розового камня, выглядит для нас так же странно, как и собор для человека с Востока; не только потому, что целая улица (точнее, фасады,

скрывавшие самые обычные дома), словно в дни наших ярмарок, была разукрашена сценами из «Тысячи и одной ночи»; но и потому, что неожиданно там можно было увидеть, как группа меланхоличных обезьян, которые и выглядят настоящими жителями этого города без людей, медленно переходит улицу. Был полдень, и тени также были намерены перейти с одного тротуара на другой... Дорога вела к Амберу, который уже двести лет был без воды. Храмы, дворец из красного мрамора, дома без крыши, в которых росли кусты диких цветов, — все это обращало в небытие щедрость растительной жизни, изобилие архитектурных масок, подметаемых пальмовыми ветвями, вместе с обезьянами, сидевшими на краях окон, и павлинами, в тишине тяжело опускавшимися на землю. Другие мертвые города, другие Красные крепости, и на дорогах такие же изможденные и такие же ласковые животные; затем Тадж-Махал, где большие кипарисы еще не погибли и короткохвостые белки с двумя полосками на спине снуют повсюду... Наконец, Бенарес, отели, закрытые в это время года, *рест-хауз*, в котором старые женщины всю ночь протягивали *пáнку*,* как перед восстанием сипаев; улицы между высокими стенами из серого камня, храм с эротическими скульптурами, в котором эротизм был ритуальным; храм Ханумана, где группа обезьян занималось чем-то непонятным вокруг жертвенного камня, с которого еще струилась кровь, и поэтому обезьяны опасливо сторонились лежавших рядом корнеплодов. Тибетские рынки в тумане, липкие облака которого задерживались возле огней, поддерживаемых перед идолами. Мир, к которому вели эти лестницы, был в моих воспоминаниях миром стен, так же покрытых лишайником, как и стены руин, оставшихся возле леса. У подножия этих стен постоянно горели маленькие огоньки, чтобы священные животные могли пройти по своим тропам через туман; и всегда в ра-

* Большое опахало, подвешенное к потолку.

ме низкой двери торс брамина, сверкающий под гирляндами плюмерий, кровь, фаллос, туман и полумрак. Внизу — Ганг под облаками муссона, рассеянные, никогда не гаснущие костры в тумане; и аскет, который танцевал, вскрикивал: «Брама!» — и смеялся над иллюзией мира.

Я побывал там, когда в конце 1958 года генерал де Голь, еще премьер-министр, решил восстановить с некоторыми азиатскими странами, в том числе и с Индией, дипломатические и прочие отношения, которые уже двадцать лет постоянно ухудшались.

Чувства, связывающие меня с генералом де Голлем, уже тогда были давними и прочными, хотя традиционный рассказ о нашей первой встрече еще не был мной придуман: генерал, конечно же, не сказал мне в Эльзасе той фразы, которую Наполеон сказал Гете, так как полковник Берже в Эльзасе еще не был представлен де Голлю. Он встретил меня в первый раз в министерстве обороны, после моего выступления на конгрессе Движения национального освобождения.

В 1944 году коммунисты решили прибрать к рукам все организации Сопротивления. Это движение объединяло тех, кто не был под их контролем. Предполагаемая операция была проста. По крайней мере треть руководящего комитета тайно принадлежала Партии. Они выступали за единство Сопротивления и за его слияние с Национальным фронтом, в руководстве которого подавляющее большинство было за коммунистами. Таким образом, и руководящий комитет объединенного Сопротивления перешел бы в их руки. Это оказалось бы неизбежным следствием. Генерал де Голь их устраивал, потому что он решил использовать любую возможность, чтобы поднять Францию: ни одна забастовка с начала Освобождения не проводилась без его участия. Он устраивал их, они рассчитывали, что время и черный рынок подточат его славу. Они хотели вооружить «против внутренних врагов»

патриотическую милицию, которую их противники называли сокращенно «мил-пат» (mil-pat), т. е. сококоножки (les mille-pattes). Генерал стремился к слиянию всех сражающихся против вермахта групп с регулярной армией: армия или полиция — национальная оборона могла быть делом только государства. Он один сопротивлялся вооружению отрядов милиции, а эти отряды не входили в армии. Коммунисты были намерены противопоставить ему прежде всего единство «внутреннего» Сопротивления. И мы все чувствовали, что их подлинные цели были связаны с чем-то более темным и глубоким, чем область политики.

Движение национального освобождения избрало меня в свой руководящий комитет. Поэтому в январе 1945-го я присутствовал на его конгрессе. Руководителей организаций, командиров объединяли антикапиталистические настроения, безразличие к деньгам, ненависть к режиму Виши и презрительное отношение к деятелям III Республики. Диалог между Камю и Эррио был весьма показателен: «Мы желаем, — писала „Борьба“, руководимая тогда Паскалем Пья, — чтобы нашими руководителями были люди, над которыми мы не могли бы больше смеяться». Передовица «Борьбы» не была подписана. На первый выпад Камю ответил: «Эта газета делается единой командой, и за каждую передовицу отвечают все; это значит, что эта статья — моя»; после чего Эррио озаглавил статью «Ответ человеку из команды», и мы подумали, что Францию лучше было бы представлять людям, которые не пожимают в недоумении плечами. С какой радостью люди встречали генерала де Голля, замененного каким-то Эррио! Но не бойцы Сопротивления. Несмотря на режим Виши, реакционеры не испытывали нехватки ни в концентрационных лагерях, ни в гробах; все организованное Сопротивление причисляло себя к левым. Враждебность к коммунизму со стороны противников капитализма была в первую очередь враждебностью к

сталинизму. Они предпочитали капитализм, в той или иной мере социализированный, государственной полиции, которая становилась четвертой властью, а при случае — и первой. Это была также враждебность к обману и лжи, эффективным в закрытых странах, но бесполезным и напрасным в Западной Европе: коммунистическое Сопротивление 1959 года, обращение коммунистов в 1940-м, парижская передышка, позволившая голлистам спасти немцев; семьдесят пять тысяч расстрелянных, тогда как насчитывали двадцать пять тысяч, и т. д. Согласие коммунистической партии с советско-германским пактом не было забыто, и многие думали, что она с еще большей легкостью подчинилась бы в крайнем случае и Красной Армии. В 1939 году во Франции было немного членов различных политических партий; большинство бойцов Сопротивления не принадлежали ни к одной из них. Это были главным образом патриоты, борцы за свободу, и поэтому Сопротивление не нашло своей собственной политической формы. В глазах этих людей сталинизм был противоположностью всему тому, за что они сражались. Ораторы, с которыми я вступил в спор на конгрессе, почти все отрицали свою принадлежность к той партии, в которой на следующий год оказались. Шестью месяцами ранее, в одном бистро в провинции, я встречался за завтраком с четырьмя делегатами, некоммунистами, представителями движений, которые вскоре собирались создать вооруженные силы Франции на основе внутренних резервов. Их работа без особых внешних препятствий затормозилась, и мы говорили о будущей самостоятельности Сопротивления, а затем расстались. Я шел рядом с делегатом из Парижа по дождливым улицам возле Провинциального вокзала. Мы какое-то время вместе воевали. Он говорил, не глядя в мою сторону: «Я прочитал Ваши книги. Вы должны знать, что на общенациональном уровне движение Сопротивления полностью подорвано коммунистической партией... (он положил руку мне на пле-

чо, посмотрел на меня и остановился) ...к которой я принадлежу уже семнадцать лет».

И он пошел дальше. Я вспоминаю этот спокойный дождь, стучавший по шиферу крыш, и его руку на моем плече... А также огромный зал Общества взаимопомощи, где мы произнесли столько речей во времена Всемирного антифашистского комитета и где я собирался на этот раз обратиться к бойцам Сопротивления; но политическая игра уже началась. Эта женщина освободила своего мужа, с автоматом в руках; этот юноша был участником диверсионной группы, атаковавшей фургон гестапо перед Дворцом правосудия; другой два раза бежал, как и я, но из ячейки. И казалось, что эти «делегации ночи», как только придет рассвет, останутся лишь с мандатами сновидения...

Хотя большинство участников конгресса пережили ужасы войны, их прежние подвиги не освобождали их от чувства неполноценности жирондиста перед монтаньяром, либерала перед экстремистом, меньшевика перед любым, кто объявлял себя большевиком. В то время как сочувствующие коммунистам делали шаги навстречу соединению с Партией, начинавшей говорить о де Голле как о Керенском, некоммунисты действовали неуверенно, потому что не понимали, что в эти месяцы движение, родившееся как наследник Сопротивления, должно стать голлистским, если откажется быть коммунистическим: потому что лишь генерал стремился на самом деле противопоставить коммунистическому государству Государство и независимую Францию. Они его почти не знали; он ничего не сделал, чтобы привлечь их на свою сторону и даже чтобы добиться известности; он обладал скорее авторитетом, чем популярностью, и считал, что они уже, возможно, в руках коммунистов. Моя речь была адресована ко всем бойцам Сопротивления, и все знали, что на следующий день я снова отправлялся на фронт.

Сопrotивление было мобилизацией национальной энергии французов; прежде всего, это движение должно было возродиться без опасений, что окажется всего лишь товариществом старых бойцов. Мы были Францией в рубище: наша значимость заключалась не в действиях наших сетей, но в том, что мы были *свидетелями*. Угольные шахты на Севере и Па-де-Кале были национализированы 15 декабря, Рено — 16 января. Эти меры исходили не от правых. Решающей мерой была бы, как понимал каждый, национализация кредита; если бы правительство пошло на нее, то пришлось бы оставить добросовестного управляющего, и нам следовало бы решать национальную, а не электоральную задачу. Было сказано о препятствиях, с которыми могли бы столкнуться возвращающиеся заключенные. О том, что Движение восстановит все свои секции, от Рейна до Парижа, чтобы использовать их для государственной службы. О том, что Национальный фронт присоединится к нам, если пожелает, *ради совместных действий*. А потом посмотрим. «Начинается новое Сопrotивление...»

После десяти или пятнадцати выступлений, после визитов «братских» коммунистических или прокоммунистических делегаций, слияние было отвергнуто двумястами пятьюдесятью голосами против ста девятнадцати. Коммунистическая партия не получила в свои руки Сопrotивление как оружие против генерала де Голля. Однако во время своего возвращения на фронт через покрытую снегом Шампань я размышлял о моих друзьях-коммунистах из Испании, об эпопее советского созидания, несмотря на ГПУ; о Красной Армии, о фермерах-коммунистах из Корреза, всегда готовых, несмотря на милицию, приютить нас ради этой Партии, которая, казалось, уже не верила, что победа может быть завоевана и не обманом. Я думал о руке на моем плече, там, на привокзальной улице, где крыши блестели под дождем.

Иногда я приезжал в Париж, потому что некоторые вопросы были еще в ведении военного министерства. Я обнаружил там Корнильона, который стал генералом и участником Движения освобождения. Он собирался принять командование авиацией, штурмовавшей бастион Ройан, один из последних опорных пунктов немцев во Франции. Пока же он писал юмористическую книжку, вместе с доктором Лишвицем, с которым я познакомился в I ДФЛ* и который стал врачом генерала де Голля. С неисчерпаемым чувством юмора он читал оттуда главы Гастону Палевскому (после конфликта в Лондоне этот прирожденный посол отправился в Абиссинию завоевывать Гондар, прежде чем стать главой кабинета де Голля), капитану Ги и некоторым другим. Так я познакомился с замечательным «окружением».

Несколько дней после конгресса Движения национального освобождения мы говорили о выборах; о выборах говорят всегда. Я не испытывал никакого желания стать депутатом. Но у меня был свой конек: реформировать систему образования, используя аудио-визуальные средства. Тогда были лишь радио и кино; телевидение только предвиделось. Речь шла о том, чтобы распространять лекционный курс лучших преподавателей, избираемых по педагогическим качествам, чтобы не только научить читать, но и открыть ученикам историю Франции. Учитель уже не преподавал бы, но помогал детям в обучении.

— В целом, — говорил Палевский, — Вы хотите зарегистрировать курс Алена и распространять его во всех лицах?

— И заменить курс о Гаронне фильмом о Гаронне.

* Движение Сопротивления.

— Но это превосходно! Только я опасаясь, что Вы еще не знаете министра национального образования...

Мы говорили также и об Индокитае. Начиная с 1935 года я говорил, писал, заявлял, что колониальные власти не выживут в европейской войне. Я не верил Бао-Даю, но еще меньше колонистам. Мне было известно, с каким раболепием как в Хо Шин Шине, так и в других местах посредники липли к колонизаторам. Но еще задолго до того как пришла японская армия, я видел, как зарождаются военизированные организации в горах Аннама.

— Тогда, — говорили мне, — что же Вы предлагаете?

— Если вы стремитесь сохранить Индокитай, то я ничего не предлагаю, так как мы его не сохраним. Все, что мы можем спасти, — это что-то вроде культурной империи, сферы ценностей. Но следует прервать «экономическое присутствие», о котором главная газета в Сайгоне ежедневно писала: «Защита французских интересов в Индокитае». И самим сделать революцию, которая и неизбежна и законна: вначале аннулировать грабительские соглашения, почти все китайские, от которых разваливается сельское хозяйство этой крестьянской страны. Затем разделить земли, затем помочь революционерам-аннамитам, которые, несомненно, в этом нуждаются. Ни военные, ни миссионеры, ни учителя не связаны с колонистами. Там не останется много французов, но, может быть, останется Франция... Я опасаясь финансового колониализма. Я опасаясь нашей мелкой буржуазии в Индокитае, которая говорит: «Здесь исчезает рабская ментальность!», как если бы она пережила Аустерлиц или даже Ланг-Сон. Это верно, что Азия нуждается в европейских специалистах; но из этого не следует, что они должны стать ее хозяевами. Достаточно того, что она им платит. Я сомневаюсь, что империи долго проживут после победы двух держав, которые провозглашают себя антиимпериалистическими.

— «Я стал премьер-министром Ее Величества не для того, чтобы ликвидировать Британскую империю», — сказал Корнильон, процитировав Черчилля.

— Но он уже не премьер-министр. И Вам известна позиция лейбористов по Индии.

— Тем не менее, — сказал Палевский, — Вы же не сможете совершить свое свержение вместе с нашей администрацией?

— Это во Франции следует создать либеральную администрацию. Я же смотрю дальше. Чтобы сделать Индокитай дружеской страной, следует помогать Хо Ши Мину. Это было бы трудно, но не труднее, чем Англии помочь Неру.

— Мы все не такие пессимисты, как Вы...

Все это приводило нас к пропаганде. Информация была в руках Жака Сустеля, который хотел заменить министра.

— Если не считать некоторых мелочей, — говорил я, — то средства информации, которыми вы располагаете, почти не изменились со времен Наполеона. Я думаю, что существует один гораздо более точный и эффективный инструмент: опросы общественного мнения.

— Разве министерство внутренних дел ими не пользуется?

— Министерство внутренних дел «справляется». Но оно не располагает критерием выборки, без которого никакая точность невозможна...

Методы Гэллопа тогда были известны только специалистам. Я бегло их изложил.

— Вы в это верите?

— При условии, что будут использоваться только те информаторы, который безразличны к политике, я считаю возможным узнать, например, последствия голосования женщин или ответ на референдум, который вы готовите... Здесь возможны зондажи, как в медицине: не такие строгие, как ее диагноз, но более строгие, чем все, что к ней не относится... И потом, есть инфор-

мация страны, то есть пропаганда. Так, границы американской публичности будут быстро достигнуты; что касается тоталитарной пропаганды, я считаю ее неотделимой от одной единственной партии. Я сомневаюсь, что генерал де Голль готов создать такую партию. Он не примет ни государства на службе партии, ни партии как главного инструмента деятельности государства. Ему нужна армия, а не милиция; сыскная полиция, а не партийная... Как это не удивительно, но первая цель вашей пропаганды была бы в том, чтобы внушить, что никто ничего не знает. Но я считаю, что можно мобилизовать энергию, если противопоставить мифам не другие мифы, но действие. Сила генерала в том, что он сделал, в том, что он делает. Какие реальные силы имеются? Вы и партии, в той мере, в какой Соппротивление их дезинфицировало. Радикальные партии развалятся.

— А радикалы-марксисты?

— Это сильная карта: страна хранит ее для партии генерала. Если коммунисты — ваши единственные противники, то не из-за Маркса, а из-за Ленина. Пусть каждый из ваших министров говорит стране: «Вот моя самая важная задача. Я должен с нею считаться, и я вновь обращусь к вам, когда с нею будет покончено». Разве не так?

— Может быть, это один из ключей к тайне фашизма...

— В конце концов, — ответил Корнильон, на этот раз с иронией процитировав Наполеона, — «Война — это простое искусство, и довольно странное...».

Я жил в Булони, в большом голландском доме, где позже маленький дофин Ренар ослеп от разрыва гранаты ОАС.* Без сомнения, было уже девять вечера, так как летние сумерки переходили в ночь над сторожевой башней, построенной немцами в углу сада. Зазвонил телефон.

* Секретная вооруженная организация.

— У меня есть для Вас важное сообщение, — сказал один из моих обычных собеседников. — Не могли бы мы встретиться через час или два?

— Конечно.

— Я подойду к одиннадцати.

В одиннадцать часов военная машина звонившего мне человека остановилась перед домом. Я спустился открыть дверь. Мы были одни. Он не переступил порога еще плохо освещенной мастерской.

— Генерал де Голь от имени Франции спрашивает, желаете ли Вы ему помочь.

Фраза была странной. Однако в Лондоне одна из первых речей генерала перед офицерами начиналась почти также: «Господа, вам известно, в чем состоит ваш долг». Таким же тоном она была произнесена и сегодня.

— Вопрос не вполне ясен, — ответил я.

— Завтра, в час дня, я Вам все скажу.

Он пожал мне руку. Машина развернулась, объехала сторожевую башню и исчезла, двигаясь по направлению к Сене.

Я был удивлен. Хотя не слишком: у меня есть склонность считать себя полезным. Но после моего первого побега, в ноябре 1940-го, я написал генералу де Голлю: в ФФЛ,* несомненно, не было летчиков, которые могли бы обучать других. Ответа не последовало. Поскольку шли разговоры, что он отверг Пьера Ко, то я предположил, что из-за войны в Испании мое предложение не показалось ему приемлемым; я не был огорчен, так как позже наши маки (еще до создания бригады «Эльзас-Лотарингия») всегда получали помощь от генерала Кёнига, — а следовательно, и мою. Я был вызван в министерство обороны. В приемной я встретил радушного посетителя, наделенного тонким умом и гражданскими чувствами. Он заинтриговал меня, так как, несмотря на его костюм, я угадал в нем офицера. Вскоре за ним пришли: это был генерал Жуо.

* Авиационные части Сопrotивления.

Бюро в стиле Великой империи, ранее принадлежавшее графу Дарю, теперь предназначалось для Палевского. С другой стороны монументальной лестницы находилось бюро для ожидающих, за которым расположились адъютанты во главе с адъютантом генерала де Голля. «Все еще так плохо организовано...», — сказал мне один из офицеров, бывший моим другом. Во всем этом было нечто торжественное и молчаливое, что пробудило во мне фантазии о местах, где ожидали римских вождей. Звонок вызова прозвенел почти ровно в час. Меня провели в комнату, в которой огромные карты Генерального штаба создавали впечатление рабочей атмосферы. Генерал знаком посадил меня справа от своего бюро.

Я сохранил точное воспоминание о его лице: в 1945-м Раванель, тогда командир диверсионных групп, показывал мне его фотографию с парашютом. По поясу; мы даже не знали, что генерал де Голль был очень большого роста. Я подумал об изумленных депутатах III Республики, впервые увидевших Людовика XVI; до 1943 года мы не знали человека, с именем которого шли в бой.

Я узнал не его, я узнал то, что в нем было похоже на его фотографии. На самом деле его рот был немного меньше, а усы — чуть темнее. И кино, хотя оно и передавало многое, лишь один единственный раз смогло передать его быстрый и тяжелый взгляд: гораздо позже, когда, беседуя с Мишелем Друа, он смотрел в кинокамеру, то казалось, что он смотрит на каждого из зрителей.

— Вначале о прошлом, — сказал мне он.

Удивительное вступление.

— Это довольно просто, — ответил я. — Я шел в бой, скажем, за социальную справедливость. Может быть, точнее: чтобы дать людям шанс... Я был председателем Всемирного антифашистского комитета вместе с Роменом Ролланом, и я вместе с Жидом отправился к Гитлеру, чтобы передать ему (он нас не принял)

протест против процесса над Димитровым и другими так называемыми поджигателями Рейхстага. Затем была война в Испании, и я поехал сражаться в Испанию. Не в Интернациональных бригадах, которые еще не существовали, которым мы дали время возникнуть: коммунистическая партия размышляла... Затем была война, настоящая. Наконец наступило поражение, и, как многие другие, я слился с Францией в единое целое. Когда я вернулся в Париж, Альбер Камю спросил меня: не придется ли нам однажды выбирать между Россией и Америкой? Для меня это выбор не между Россией и Америкой, а между Россией и Францией. Когда ослабевшая Франция оказывается лицом к лицу с могущественной Россией, я не верю ни слову из тех, что были сказаны, когда могущественная Франция была лицом к лицу с ослабевшим Советским Союзом. Слабая Россия желает видеть народные фронты, сильная — народные демократии. Сталин говорил еще до меня: «В начале революции мы надеялись, что нас спасет европейская революция, а теперь европейская революция ждет помощи от Красной Армии...». Я не верю во французскую революцию, начатую Красной Армией и поддерживаемую ГПУ, — и тем более в то, что вернется 1938 год. В Истории первое главное событие последних двадцати лет — это приоритет нации. Это отличается от национализма: самобытность, а не превосходство. Маркс, Виктор Гюго, Мишле (Мишле, который писал: «Франция — это одна личность!») верили в Соединенные Штаты Европы. Здесь Маркс оказался пророком, как и Ницше, который писал: «XX век будет веком национальных войн». А в Москве Вы слышали «Интернационал», мой генерал?

— Об этом там не говорят: она немного изменилась.

— Я был там, когда русский гимн был объявлен официальным гимном. Уже несколько недель в «Правде», впервые за много лет, можно прочесть слова: «наша советская родина». И всем это понятно. И я понял, что все идет к тому, что коммунизм наконец ока-

жется обнаруженным Россией средством утвердить свое положение и свою славу: таким, как православие или панславизм...

Он внимательно смотрел на меня, не выражая ни согласия, ни несогласия.

— Потому что — даже если не принимать в расчет Ленина, Сталина, Троцкого, что было бы трудно сделать, — коммунизм сегодня лучше всех понимает дело революции, как в свое время его понимала Французская революция...

— Что Вы имеете в виду: «дело революции»?

— Ту временную форму, которую принимает требование справедливости, от жакерий до революций. В нашем столетии речь идет о социальной справедливости, что, несомненно, является следствием слабости великих религий; американцы — верующие, но американская цивилизация не является религиозной. Национальный фронт является прокоммунистическим и скоро будет коммунистическим; мои товарищи являются пролейбористами и ждут, что появится лейборизм, которого пока нет, появится или благодаря им самим, или благодаря социалистической партии, или благодаря Вам.

— Что же они хотят *делать*?

— То же, что и в 1848-м, что и в 1871-м: разыграть героическую пьесу, которая называется Революцией. Благородно, на самом деле, для тех, кто не вышел на мостовые, когда пришла армия. Пародируя... Клаузевица, наверное, я скажу, что им кажется, будто политика продолжает войну иными средствами. К несчастью, это не так. Политика для меня (как мне кажется, и для Вас, и даже для коммунистов) предполагает созидание, а затем действие государства. Без государства всякая политика — это дело будущего, она оказывается в той или иной мере этикой. Об этом, кажется, организации Сопротивления даже не подозревают. Если речь не идет больше о революции, то о чем идет речь? Для политиков вчерашнего или завтрашне-

го дня — о вступлении в партию или о создании новой. Сочувствующие коммунистам бойцы Сопротивления идут в коммунистическую партию или в те, что выдают себя за коммунистические. Другие идут куда придется, так как партии, как я говорил г-ну Палевскому, нуждаются в дезинфекции. Но если есть подпольщики-радикалы, то нет радикалов-подпольщиков. У партии должны быть цели. У Сопротивления была одна: способствовать освобождению Франции. Бойцы Сопротивления были в целом либеральными патриотами. Либерализм — это не политическая реальность, это чувство, которое может быть свойственно некоторым партиям, но на котором нельзя основать свою собственную. На конгрессе Движения национального освобождения я обнаружил, что настоящая драма Сопротивления именно в этом. Его члены не против коммунизма. Половина из них предпочитает его как экономическое учение. Они против коммунистов; может быть, если точнее выразиться, они против того, что во французском коммунизме идет от русских. Они не верят, что энергия, которой они восхищаются в русской компартии, и доносы, интриги, репрессии, даже судебные процессы — все, в чем ее обвиняют, составляет единое целое. Тайная мечта доброй половины Франции и большинства ее интеллектуалов — это гильотина без отрубленных голов. То, что их очаровывает в коммунизме, — это энергия на службе социальной справедливости; то, что их отделяет от коммунистов, — это средства этой энергии. Либерализм не умер. Во Франции не так много членов партий, и то, что я узнал в Движении освобождения, в провинции и в новостях, — это атмосфера триумфа Народного фронта. Но Народный фронт не создал ни своей революции, ни своей партии (ни, тем более, своих врагов). То, что я, в связи с Испанией, назвал «лирической иллюзией», не ведет к созданию настоящей политической партии. От таких радикалов, как коммунисты, идет нечто противоположное: когда они вступа-

ют в Народный фронт, то надеются его себе подчинить.

— Вы так считаете?

Тон был, кажется, ироничным.

— Я считаю, что не только либерализм, но еще и парламентские игры будут осуждаться во всех странах, где партии в качестве партнера будут иметь мощную коммунистическую партию. Парламентское правление предполагает определенные правила игры, как это демонстрирует британское правление, самое эффективное. Коммунисты используют эту игру в своих собственных целях, но сами в нее не играют. И достаточно, чтобы только один партнер не уследил за правилами, как игра меняет свою природу. Если социалистическая партия, радикальная партия — это партии, тогда коммунисты — это нечто иное... Кроме того, традиционные правые связаны с Виши, так что мы увидим, как левые станут ориентироваться по перегибам коммунистов, без признания правых. И тем не менее не только Соппротивление, вся Франция не верит в возвращение парламентаризма недавних лет. Потому что она предчувствует самую жестокую метаморфозу, какая только была известна Западу со времен Римской империи. Она не желает встретить ее под руководством г-на Эррио. И потом, конец III Республики связан с поражением. Она не была такой беззащитной, как во времена войны четырнадцатого года...

Он поднял вверх указательный палец, жест, который означал: будьте осторожны!

— Не Республика заработала войну четырнадцатого года, а Франция. После объявления войны, после Марны, начиная с Клемансо соперничество партий было сведено к минимуму.

— А Клемансо, это разве не республиканская Франция?

— Я восстановил республику. Но нужно, чтобы она смогла восстановить Францию. Дело нации сильно отличается от национализма, я это признаю. Коммунист-

ты понимают его по-своему. Именно поэтому они дорожат историей своей милиции. Они чувствуют, что государство, которое не уверено, что сможет защитить нацию, обречено. Ни две французские империи, ни немецкая империя, ни русская не выжили после поражения. В этом глубокая легитимность государства. Вы вправе утверждать, что коммунизм позволил России воссоздать свою армию...

— И вновь найти свою душу.

Я заметил, что прервал его на полуслове, так как он иногда вставлял между фразами довольно длинные паузы, но затем продолжал свою мысль:

— ...и Азия найдет, как Вы говорите, свою душу, лишь восстановив свои нации. Возможно, французская монархия умерла в Росбахе... Пожалуйста, продолжайте.

— Черчилль писал, что Клемансо показался ему одним из людей Революции...

Он ненадолго прикрыл глаза, с таким выражением лица, словно владел какой-то забавной тайной, — выражением, которое я часто замечал у него, когда дело касалось Истории:

— Они много говорили и довольно неплохо. В этом их заслуга. Они создали мобилизованную нацию против наемных армий. Все затрещало по швам, когда другие нации также вступили в игру... Но это было направлено уже против Наполеона.

— Вы считаете, что Мирабо спас монархию?

— Он вовремя умер. Я считаю, что он был бы сильно разочарован — и разочаровал бы многих других...

На фоне римской галереи обезглавленных, индивидуалист, готовый предать революцию ради королевы и динариев короля, умерший медленно и благородно, после того как отправил прочь двух девушек, оказавшихся в его постели, казался великим искателем приключений. Ему не хватало того темного поклонения, которым отечество или народ щедро вознаграждали всех остальных до 9 Термидора. Я читал, что генерал

де Голль писал о Гоше, возможно, потому, что думал, что Гош также умер от яда: «Гош — это прекрасный человек. Куда бы его не поставили, он оказывался достоин своей должности... И затем Вандея*: убедить людей собраться за столом и говорить, прежде чем все они оказались убиты... Но когда его отравили, он был безнадежно больным...».

Я посмотрел на него вопросительно. Он иронично улыбнулся:

— ...диктатура...

— Во время своего освобождения из Консьержери, — сказал я, — он должен был прижаться к стене коридора, чтобы пропустить нового заключенного: это был Сен-Жюст.

— О, да! Встречаются всегда одни и те же люди...

«Сен-Жюст в коридоре, Жозефина в комнате», — подумал я.

Он поднял вверх указательный палец, как несколькими минутами раньше:

— Не ошибайтесь: Франция не желает больше революции. Время ушло.

Я был поражен его нейтральным тоном — словно он говорил о Римской империи. Наши интеллектуалы страстно переживали политическую мифологию, и их армии коммунизма и фашизма еще сталкивались друг с другом. Я впервые почувствовал, что высшие ценности многих других людей, большинство из которых не были его врагами, являются для него ничтожными. Недавно он рассеянно ответил на доклад министра продовольствия о черном рынке, преследовавшем Париж: «Было бы хорошо, если бы французы занялись на самом деле чем-то другим, а не своими сказками о копченых селедках...». Это была не Мария-Антуанетта, говорившая о булочках. «Время ушло» — это было сказа-

* Департамент в западной части Франции, давший имя событиям во время гражданской войны, охватившей названный и еще три департамента в марте—декабре 1793 г. Лазарь Гош — полководец той поры.

но таким тоном, каким мистик говорит о страстях. Но мистики почти не верят в Историю...

— Еще есть, сказал я, — полоса в «Борьбе»: «От Сопротивления — к Революции».

— Какой тираж у «Борьбы»? Я сообщил, что за год были национализированы вся энергетика и кредит. Не для левых, для Франции. Правым не приходится поддерживать государство, и у левых развязаны руки. То, что г-н Палевский сообщил мне по поводу Вашей беседы на тему пропаганды, меня заинтересовало. Где же интеллектуалы? Я не имею в виду пропаганду, но... в целом.

— Есть те, кого Сопротивление привело к историческому романтизму, и в эту эпоху их должно быть много. Есть и те, кого она привела или кто пришел сам к романтизму революционному, который сводится к тому, что путают политическую деятельность с театром. Я не говорю о тех, кто готов сражаться, чтобы создавать советы: я говорю не об актерах, а о зрителях. Начиная с XVIII века во Франции есть школа «чувствительных душ», в которой, между прочим, женщины-писательницы играют постоянно одну и ту же роль.

— Однако, это не роль медсестры.

— Литература заполнена «чувствительными душами», и «добрые дикари» там вместо пролетариев. Но трудно понять, как Дидро мог поверить, что Екатерина II похожа на Свободу...

— Вольтер написал эпиграммы на сражение при Россбахе... Но напрасно.

— Что касается серьезных интеллектуалов, то у них трудное положение. Французская политика охотно обращается за помощью к писателям, от Вольтера до Виктора Гюго. Они сыграли большую роль в деле Дрейфуса. Они верили, что им поручат эту роль во времена Народного фронта. Но он не столько обращался к ним, сколько использовал в своих интересах. Это использование со стороны коммунистов было с большой ловкостью подготовлено Вилли Мюнценбергом, потом умершим. Но начиная с 1936 года, что сделали эти интеллектуалы, не пе-

реставировавшие взывать к действию, к которому не призывал даже Монтескье? Одни петиции. И потом, есть и профессиональные философы. Для них Ленин или Сталин — это только ученики Маркса. Они напоминают мне раввина из Исфахана, который когда-то меня спросил: «Вы ездили в Россию. Это правда, что у коммунистов тоже есть книга?». Они за действием ищут теорию. Особенную теорию: теорию Маркса, но не Ришелье. Для них *Ришелье никогда не был политиком*. Я говорил г-ну Палевскому, что сегодня *они нас не понимают*. Они едва ли осознают то противоречие, в котором живут, потому что действие никогда не подвергается испытанию. Но смутно они это чувствуют, что было видно на конгрессе Движения национального освобождения. И потом, настоящее Соппротивление потеряло две трети своих бойцов.

— Я знаю, — сказал он с грустью, — я...

У меня было ощущение, что он собирался добавить: «Я знаю, что Вы потеряли там также и свою семью», — но фраза осталась незаконченной и он поднялся.

— Что Вас поразило в Париже?

— Ложь.

Адъютант приоткрыл дверь, и генерал проводил меня до нее:

— Благодарю Вас, — сказал он мне.

Я спустился по монументальной лестнице, мечтательно принял стоявшие у дверей рыцарские доспехи за привратников и вышел на улицу. Чем он меня удивил? Выпуски «новостей» сделали привычным звучание и даже ритм его слов, которые были похожи на то, что я слышал. Но в кино он только говорил, здесь же я встретил человека, который только спрашивал, и его сила раскрывалась передо мной прежде всего в его молчании.

Но это не был допрос. Ему нравилась изысканность разума. И я чувствовал внутреннюю *дистанцию*, которую позже встретил лишь у Мао Цзэдуна. Он еще продолжал носить военную форму. Но отдаление генера-

лов Делаттра и Леклерка было связано не с ними лично, а с их звездами. Глядя на этого человека в военной форме, я часто спрашивал себя, кем бы он стал в гражданской одежде? Вскоре Делаттр стал послом и сделал дипломатическую карьеру. В гражданском костюме генерал де Голь оставался генералом де Голлем.

Его молчание таило в себе вопросы. Я сравнил бы его с Жидом, но молчанию Жида было свойственно китайское любопытство. «Мой генерал, — задал он вопрос в Алжире своим голосом почтительного инквизитора, — позвольте спросить: когда Вы решились *ослушаться?*» Генерал ответил неясным жестом, вероятно, подумав о знаменитой английской фразе, относящейся к адмиралу Желико: «У него есть все качества Нельсона, за исключением одного — способности *ослушаться*». Жид рассказывал мне о «церемонном благородстве» его приемов; во время обеда он и был настоящий. У меня остались воспоминания не о церемониях, а об этой странной дистанции, появлявшейся не только между ним и его собеседником, но и между тем, что он говорил, и каким был на самом деле. Я уже встречал это напряженное присутствие, которое невыразимо словами. Встречал не у политиков, не у военных и не у художников; встречал у глубоко верующих людей, у которых обычные любезные слова казались не связанными с их внутренним миром. Поэтому я подумал о мистиках, когда он говорил о революции.

Он устанавливал со своим собеседником настолько сильный контакт, что разрыв отношений казался необъяснимым. Контакт, возникавший с самого начала из-за того, что он создавал впечатление сильной и целостной личности — чувство, противоположное тому, что вынуждает нас говорить: нельзя судить о человеке после одной-единственной беседы с ним. Во всем, что он мне говорил, была весомость, придававшая историческую ответственность самым простым утверждениям. (Таким же был ответ Сталина на вопрос Херста в 1935-м: «Как может вспыхнуть война между Германией и Советским

Союзом, у которых нет общей границы?» — «Будет».) Несмотря на его вежливость, казалось, что все всегда перед ним отчитываются. Мы с ним даже не коснулись модернизации образования, не уточнили ту область, в которой я мог бы в случае необходимости быть ему полезен. Я увидел перед собой генерала, который имел вкус к новым идеям и в разговоре незаметно подталкивал собеседника к тому, чтобы он их изложил; увидел человека, перед которым каждый чувствовал ответственность, потому что он отвечал за судьбу всей Франции; увидел, наконец, преследующую свою судьбу личность (судьбу, которую он должен был достигнуть и исполнить). Как у верующего: личность, дух, трансценденция. Та трансценденция, которую имели в виду основатели воинственных орденов. Прежде чем перейти улицу, я рассеянно поднял глаза: улица Святого Доминика.

Я попытался внести ясность в свои сложные впечатления: он был равен мифу о самом себе, но почему? Валери был равен самому себе, потому что разговаривал с такой же строгостью и пронизательностью, как его Господин Тест, на том же жаргоне и, кроме того, с той же фантазией. Эйнштейн был достоин Эйнштейна своей простотой оборванного и растрепанного францисканца, ничего, между прочим, о францисканцах не зная. Великие художники похожи друг на друга только тогда, когда говорят о живописи. Единственный человек, которого тогда генерал де Голь мне напоминал, и не сходством, а, скорее, противоположностью, подобно тому, как Энгр напоминает Делакруа, — это был Троцкий.

Через несколько дней я был назначен техническим консультантом в его кабинет. Это произошло тогда, когда началось изучение плана модернизации национального образования; когда Штойцель получил первый миллион, позволивший ему организовать серию опросов общественного мнения. Боги помогли нам: последний опрос, относящийся к конституционному референдуму (они тогда были еще тайными), оказался точным в девятистах девяноста семи случаях из тыся-

чи. Между апрелем и августом Рузвельт, Муссолини и Гитлер оказались мертвы, Черчилль ушел в отставку, Германия капитулировала, а над Хиросимой взорвалась атомная бомба. Выборы в Ассамблею 21 октября дали коммунистам и социалистам триста два депутатских места. Генерал де Голль, единогласно избранный главой правительства, назначил своих министров, и я стал министром информации. Первая инструкция: прежде всего, мешать каждой партии тянуть одеяло на себя. Торез соблюдал главное правило игры: поставить коммунистическую партию на службу делу восстановления Франции. Но в то же самое время Партия создавала и создавала новые ячейки; доклады Марселя Поля были необычайно лживыми. И в этом трехпартийном правительстве лживые доклады коммунистов повлекли за собой такую же ложь социалистов и марксистской радикальной партии. Генерал после заседаний правительства еще пытался уличить во лжи того или иного министра. Но позицию арбитра, которой он придерживался в большей части действий правительства, было невозможно постоянно занимать в борьбе фракций, и я сомневался, будет ли он долго поддерживать этот конкурс на лучший обман. Казалось, он вновь открывает для себя ту истину, которую знал всегда, но которую война, Сопротивление и, может быть, его близкое знакомство с английской демократией отодвинули на второй план: то, что наша демократия — это партийная борьба и что Франции в этой борьбе отводится второстепенная роль. Он был озадачен, когда предложил Эррио, а затем Блюму войти в правительство в качестве государственных министров, дабы внести свой вклад в восстановление Франции, и услышал в ответ, что они предпочитают посвятить себя делам своей партии. Он считал, что эти дела по меньшей мере не противоречат работе правительства.

Вначале, когда он получил удар от Эррио, его горечь вмещала в себя уверенность, что парламентские игры будут возобновлены. Думал ли он, что Франция

вскоре вновь призовет его? Мы все думали об этом. За несколько дней до отказа Леона Блюма, он и я были приглашены на виллу де Голля в Нойи. После ужина мы втроем оказались за маленьким столиком, и генерал сказал Блюму наполовину в шутку, наполовину всерьез: «Так убедите его!». Речь шла о том, насколько можно было доверять объединению коммунистов в правительстве.

— Чего же Вы хотите, — сказал я, — если коммунисты не принимают нас ни за правительство Керенского, ни за правительство Пилсудского. Речь может идти только о том, кто первый выстрелит: это уже не государство, это американская дуэль. Вспомните о Народном фронте...

— Но Народный фронт продержался.

Леон Блюм повернулся к нам своим вытянутым тонким лицом и, сложив ладони, твердо повторил дрожащим и немного разочарованным голосом, который контрастировал с глубоким голосом генерала:

— Он продержался.

— Да, — ответил генерал безутешно.

Он вероятно подумал: а что потом? Для Леона Блюма, несмотря на все его немалое мужество, политика предполагала поиск компромисса. Соглашения во дворце Матиньона были подвигом. Речь шла не об искусстве внешних компромиссов, необходимых для совместных действий, которым генерал неплохо владел. Речь шла о более глубоких компромиссах, о чем-то вроде обращения противника в свою веру. (Люди весьма восприимчивы к тем искусствам, к которым у них особый дар...) Я считаю, что Леон Блюм видел в компромиссе ту ценность, которую генерал де Голль придавал твердости и непреклонности.

— Он продержался, — сказал я, — потому что Советский Союз был слаб. Сегодня же вместе с Красной Армией и Сталиным...

— Возможно, Америка не была бы удручена, увидев русских в Париже...

— Если бы они называли себя Французской коммунистической партией и если бы не было государственного переворота, то зашевелились бы Штаты? Но я хотел сказать следующее: в свой революционный период Народный фронт провел настоящие реформы и...

— Например, — сказал Леон Блюм улыбаясь, — он пытался перевооружить Францию...

— Это правда. Но завершив революционный период, мы обнаружили традиционный парламент. И от наступающей трехпартийности нас отделяют только действия генерала де Голля. Да и не закончились ли объявлением войны ваши военные усилия? Правительства желали примирить сторонников Гитлера и его врагов, сторонников в броневиках и их противников. Тогда посадили полусолдата в полутанк, чтобы бросить его в полусражение.

— Вы знаете, — ответил он улыбаясь еще больше, — я не считаю, что парламентаризм — это наилучшее из всех возможных средство демократического правления...

Я знал его и, несомненно, то, что он написал по этому поводу, способствовало его сближению с генералом де Голлем.

— В сущности, — начал он вновь, — Вы считаете, что компромисс принадлежит политике XIX столетия... Может быть, и так. А может быть, и сама жизнь является компромиссом... Только... Сталин не сажал полусолдат в полутанки, он положил многих людей в гроб. Когда я был в правительстве, я часто спрашивал себя, не является ли компромисс платой за свободу...

— Главная проблема Освобождения, несомненно, в том, чтобы примирить реальный авторитет государства с реальными свободами граждан. Это легко сказать, но трудно сделать...

— В какой-то мере англо-саксы добились этого.

— Но коммунистическая партия не котируется ни в Англии, ни в США...

Госпожа де Голь принесла кофе. Я помогал ей. Генерал ничего не говорил. Чуть позже они вдвоем с Блюмом уединились в другом конце салона, под озадаченными взглядами своих жен. Генерал знал, благодаря статьям в «Народной газете», что все, о чем его собеседник эпизодически говорил, было основано на вере (на вере, а не на идее), что не может быть Франции без демократии, не может быть политической демократии без демократии социальной, а социальной демократии без демократии интернациональной. Леон Блюм считал социализм крайней формой демократии; отсюда вытекал компромисс между его обращением к коллективизму и его сильной восприимчивостью к индивидуальным свободам. У него была такая же глубокая вера в человека, как и у коммунистов, и он оправдывал ее, между прочим, переиначивая Спинозу: «Любое действие, причиной которого являемся мы сами, в той мере, в какой мы имеем представление о человеке, я отношу к религии». Казалось, что он подчиняет зрелость юности. И он обманывался только насчет того, что выходило из-под контроля... Он также был человеком призвания — и, очевидно, еще с того времени, как оказался в тюрьме. Но его призвание сближало его с людьми, которых он знал; призвание де Голя — с людьми, которые были ему незнакомы. Первый полагался лишь на труд команды; второй — на работу своего штаба. Несмотря на обходительность, всегда сопровождавшую его гостеприимство, генерал, казалось, всегда был надежно укрыт броней. Почувствовал ли Блюм абсурдность процесса в Риоме? Он, несомненно, был поглощен реформами, которые навязал ему его собеседник, был поглощен тем, что он *делал*; он полагался также на ясность анализа, на которую ориентировала его социалистическая вера. Я полагаю, что их диалог был основан на взаимопонимании, на общей потребности представлять политику как средство для Истории. Но игра была уже завершена. За несколько дней до выборов генерал предложил Леону Блюму за-

менить его, если ему самому придется уйти. «Я не могу этого сделать, — ответил тот, — из-за своего здоровья; но, прежде всего, я и не хочу этого, потому что принесу вместе с собой слишком много ненависти...»

Генерал знал, что французы приняли поражение. Он знал, что они согласились с Петеном. И я считаю, что он знал начиная с первых шагов Освобождения, что он олицетворял собой алиби для миллионов людей. В Соппротивлении Франция узнавала, какой она хотела бы быть, видела нечто большее, чем она была на самом деле. И настоящий диалог генерала с Францией начался тогда, когда он обращался к республике, к народу или к нации. «Государственный деятель всегда с одной стороны, а мир — с другой», — говорил Наполеон. «Один на один с Францией», — думал, несомненно, генерал де Голль. У великих отшельников часто есть глубокая связь с массой живых и мертвых, за которых они сражаются. Но нация простила бы ему то, что должна была простить, если бы он подтвердил ее алиби и исчез (оказавшись политическим лидером, «похожим на других»). Так Англия с доброй памятью отстранила Черчилля, так Франция позволила конгрессу отправить в отставку Клемансо. Однако тот, кто был отстранен по воле единственной партии, мог подняться над партиями и вернуться от имени нации. Первый референдум стал зародышем выборов Президента республики путем всеобщего голосования и поставил народ верховным арбитром над Президентом и Ассамблеей, что Блюм страстно оспаривал. Может быть, и отставка де Голля, помимо всего прочего, была результатом тайного референдума.

После заседания совета министров я, как обычно, остался с ним наедине, чтобы составить коммюнике. Однажды, когда мы спускались по лестнице из ложного мрамора в отеле дворца Матиньон, он спросил меня:

— Что Вы теперь намерены делать в министерстве информации?

— Министерства, мой генерал, больше нет. С ним будет покончено через шесть недель.

— Тогда я уже уйду.

Именно тогда, без какой-либо определенной причины, я догадался, что генерал де Голль *никогда* не обращался ко мне лично. Подтверждение своей догадке я получил через несколько лет. Мы оказались втянуты в одну любопытную интригу, которую он, несомненно, предчувствовал еще задолго до меня. Я думаю, что когда мне передали его обращение ко мне, тогда же он получил и мое, которого раньше не видел.* Это и объясняло странный характер нашей первой беседы...

3

1958—1965

Мне пришлось снова увидеть его в Марли, в Коломби, на улице Сольферино во времена республиканской партии, а затем в ожидании того, что мы назвали «переходом через пустыню». Говорят, что он всегда знал, что вернется к власти. Был ли он сам в этом уве-

* Что касается авиации Освободительных сил Франции, то через двадцать лет от г-на Бенедита, директора Международной гильдии студий грамзаписи, я получил письмо, где оказался следующий параграф: «Мы не раз встречались в бюро Центра, в Марселе, и даже обедали вечером с Виктором Сержем, гостившим у меня в то время. Узнав о том, что у Варьена Фрея была возможность поддерживать связь с Англией, мы вручили ему письмо, предназначенное для генерала де Голля; Фрей передал это письмо моей жене, бывшей его секретарем, но она, к несчастью, была задержана полицией во время демонстрации, проходившей на Канебьере, в том месте, где были убиты Александр, король Югославии, и Барту. В полицейской машине моя жена съела Ваше письмо, опасаясь, что оно будет обнаружено в результате вероятного обыска. Я не помню, как именно в конце концов был установлен контакт между Вами и генералом де Голлем после того, как Ваше письмо, к несчастью, было уничтожено, но я думаю, что был найден какой-то иной способ...».

рен? Я оказался, еще до Дьен Бьен Фу, вместе с несколькими друзьями в маленьком домике в Валé, рядом с туристами, рассматривавшими Монблан в огромную подзорную трубу; Элизабет де Мерибель спросила меня: «Как вернется генерал?» — «После заговора в армии Индокитая, которая будет верить, что служит ему, и кусать себе локти». Это оказалась не армия Индокитая; и когда мое пророчество почти с точностью исполнилось, я находился в Венеции, совершенно уверенный, что ничего не случится.

— Он рыбачил с удочкой в лагуне, — рассказывал Бидо тоном Макиавелли, намекая на фразу (Дельбека?), которую приписывали мне: «Не нужно выходить на берег Рубикона, чтобы забросить удочку».

О всей тяжести положения я узнал лишь по возвращении домой.

На одном из последних заседаний совета министров г-н Плевен сказал: «От нас осталась одна лишь тень... Не будем разбрасываться словами. Министр по делам Алжира не может пересечь Средиземное море. У министра обороны больше нет армии. У министра внутренних дел больше нет полиции». Большинство ветеранов Индокитая и старые танки принадлежали парижской полиции, которая объявила в марте забастовку.

Оставались подразделения милиции. Президент Пфлимлен сопротивлялся. Он видел в этом угрозу гражданской войны, еще более серьезную, чем в обращении к генералу де Голлю. Министры, впрочем, говорили о создании Комитета защиты республики, а не о вооружении отрядов милиции, которые уже стали коммунистическими. Или же милиции вообще не было. «Мобилизация масс, — говорили профсоюзы, — может быть основана на повышении зарплаты, а не на парламентской системе. Рабочие, которые помнят, что в 1944 году их права были восстановлены, в том числе и в Алжире, предпочитают видеть де Голля, а не полковников». Когда коммунисты говорили о мобилиза-

ции, профсоюзные активисты присоединялись к их ячейкам, но на следующее утро выходили из них, обнаружив, что там заняты лишь игрой в белот.* В воскресенье тридцать пять тысяч машин следовало друг за другом по Западной автостраде (на три тысячи больше, чем в предыдущем году).

Революция в Алжире была не менее беспорядочной. В Париже плохо понимали, что означает слово «интеграция». Сустьел говорил, что это нечто противоположное дезинтеграции. Неужели? Миф о Франции от Дюнкерка до Таманрассе был рожден в одной анкете психологической службы армии, тогда еще находившейся в зените своей славы. Для военных активистов, для офицеров САС** и даже для многих десантников он нес с собой идею братства и братания. Для того, чтобы психологическая служба могла организовать этот опрос, пришлось, вероятно, перевозить мусульман на военных грузовиках; но она не предусмотрела той ночи 4 августа и была неспособна повторить вновь этот опрос. «День чуда», 16 мая, удивил тех, кто его готовил, и того, кто писал: «Эта надежда подобна той, что мы узнали в Париже на следующий день после Освобождения!». Он удивил мусульман, находившихся в плену у французов, и французов, бывших в плену у мусульман. Он смутил коммунистов, которые решили, что лучше не верить этим слухам; и даже Фронт национального освобождения, так как во время братания в Алжире не произошло ни одного покушения. Командиры десантников заявляли: мы распространим наше движение на десять миллионов французов в Алжире, европейцев и мусульман. Но восторг сошел на «нет», а условия жизни мусульман не изменились. Комитеты общественного спасения приняли решение увеличить мизерную зарплату сельскохозяйственных рабочих; колонисты заставляли их работать

* Карточная игра.

** Голистская партия, Служба Гражданского Действия.

с пяти часов утра до полудня, выплачивая половину новой зарплаты (меньше, чем до увеличения). Гнев охватил армию, которая ждала, что алжирское движение приведет к французской технической революции, к консулату Сен-Жюста и Мао Цзэдуна; которая, без всякого сомнения, была едина в своем желании политических действий, в ненависти к режиму, который не может ни вести войну, ни заключить мир. Гражданские движения ставили под сомнение факт братания. В их националистических, но направленных против метрополии организациях французский Алжир при случае называли «алжирской Францией». Опытные реакционеры высказывались за интеграцию с тех пор, как они сохранили право голоса, приобретенное мусульманами: их девять миллионов голосов весили бы больше, чем миллион голосов французов алжирского происхождения, но меньше, чем двадцать миллионов голосов французов. На Корсике помощник мэра Бастии от партии социалистов, временно его замещавший, покинул занятую десантниками мэрию, распевая «Марсельезу»; сопровождавшие его десантники напевали ту же мелодию, а хор толпы на площади подхватил ее, не понимая, подпевает ли он помощнику мэра, десантникам или сразу всем...

1 июня посланник Комитетов общественного спасения, который надеялся, что застанет Париж на осажденном положении, обнаружил, ошеломленный, на площади Инвалидов игроков в петанк.* Один из самых знаменитых американских репортеров уверял меня, что генерал Массу лишь под пыткой дал приказ о применении пыток. Всю эту суматоху сдерживал лишь тот факт, что противоречивое и исполненное решимости движение располагало самолетами и бойцами, тогда как у правительства не было ни армии, ни полиции. Салан, делегат от Пфлимлена, кричал: «Да здравствует де Голль!», — и от генерала ждали, что он не только

* Игра в шары в Южной Франции.

остановит десантников, но и предупредит гражданскую войну, которая назревала, как в свое время в Испании, как Октябрьская революция, только с открытыми кинотеатрами и прогуливающимися зеваками.

Через два дня после моего возвращения он вызвал меня в отель «Лаперуза».

В пять часов, возможно, потому, что он назначил нашу беседу на время отдыха, он приказал принести виски и чай. Номер в отеле резервировали для него, когда он приезжал в Париж: обстановка эпохи Людовика XVI и спокойствие, которое генерал де Голь всегда распространял вокруг себя. Чай принес в эту атмосферу шум голосов, доносившийся из зала и с лестницы, словно знак заполнявшего страну хаоса.

— Главный вопрос, — сказал он мне вкратце, — в том, чтобы знать, желают ли французы восстановить Францию или они хотят остаться в этой яме. Я не создам Францию без них. И мы должны обеспечить преемственность всех институтов, пока я не обращусь к народу с предложением избрать другие. В первую очередь он не желает видеть этих полковников. Речь идет о том, чтобы восстановить государство, о том, чтобы стабилизировать валюту, о том, чтобы покончить с колониализмом.

Я вновь узнавал эту привязанность к триадам, которая свойственна ему так же, как другим — привязанность к дилеммам.

— Создать государство, которое было бы единым, значит создать Конституцию, которая была бы единой. Следовательно, всеобщие выборы — источник любой власти; исполнительная и законодательная власти на самом деле разделены; правительство отвечает перед парламентом. Стабилизировать валюту будет нелегко; но это будет не так трудно, как об этом говорят, если государство будет способно идти к этому последовательно и твердо, то есть если это государство будет единым. Колониальный вопрос... Я должен заявить

всем, кто образует империю: с колониями покончено. Давайте создавать Содружество. Установим общую оборону, общую внешнюю политику, общую экономическую политику. В остальном мы им поможем. Конечно, бедные страны будут стремиться присоединиться к богатым, которые будут в менее тяжелом положении. Посмотрим, создадут ли они государства. Если они на это способны. И если они будут на это согласны. Те, которые не согласны, смогут из этого Содружества выйти. Мы не станем сопротивляться. И создадим Французское содружество с остальными.

Эта схема была близка ему начиная с речи в Браззавиле, в 1942 году. Но теперь все не сводилось к одной лишь надежде. В то время как бедняки, колоннами проходившие от Бастилии к Дворцу нации, издевались над Народным фронтом, который не смог выдержать тяжесть экспедиции на Суэцкий канал и войны в Алжире, но который принес с собой больше социальной справедливости, чем кто бы то ни было во времена IV Республики; Франция собиралась заявить всем своим древним колониям: «Если вы на самом деле хотите независимости, берите ее!».

Он не говорил об Алжире, но казалось, что он намерен занять здесь особую позицию. Нужно было, чтобы сначала французская армия стала армией Франции, которая предоставляет свободу двадцати семи странам, а не армией колониальной империи. Он собирался отправиться в Алжир после заявления о назначении правительства. Дорога из Алжира опять шла через Браззавиль.

Но куда вела эта дорога? Карикатура может быть похожей; однако я видел, как враги генерала, включая Рузвельта, рисовали карикатуры, не имевшие никакого сходства с оригиналом. Сегодняшние противники выводили его реакционером; они забыли о социальных реформах, которыми ему была обязана Франция, единственных капитальных реформах со времен Народного фронта. Они выводили его командиром десан-

тников; но правительство, которое он собирался создать, не вызвало бы восторга в Алжире; и он мог бы стать председателем Комитетов общественного спасения в той же мере, в какой был главой движения Сопротивления и партизанских организаций. Он возвращался во власть перед лицом больших беспорядков? Но не таких больших, как в 1944-м. Его противники считали, что он собирался использовать власть в соответствии со своими предпочтениями и дожидаться восстановления Франции, конца алжирского конфликта. Я интересовался, собирается ли он этого дожидаться. В первую очередь, он хотел все контролировать сам и, может быть, подвергнуть испытаниям свои полномочия.

Он почти не говорил о социальных проблемах. То, что он не торопился их ставить, очевидно, связывая их решение с жестким решением проблем валюты, империи и, в первую очередь, государства, казалось мне весьма значительным фактом. Он боролся со всем показным, но не в этой области. И, может быть, он не сердился, когда видел коммунистов и всю их политическую возню, потому что заблуждался относительно того, что принимал за важнейшие проблемы страны, заблуждался в своих самых глубоких чувствах. Он должен был сказать мне через несколько дней: «Не забывайте, что мы избежали революции». Я вновь увидел его до такой степени монолитным лишь на баррикадах Алжира. Он вернулся после отставки, которая для всякого человека является предметом размышлений о прошлом, вернулся тогда, когда его воспоминания стали уже эпопеей: за неделю до этого он корректировал свои «Мемуары». Огромное одиночество, которое он всегда нес в себе, он хранил для переговоров, а также для Франции, судьба которой преследовала его уже много лет. Ничто не изменилось в его невозмутимом диалоге с этим призраком. В те дни, когда одни, яростнее всего призывавшие его, становились фашистами, а другие, сильнее всех нападавшие на него, становились

коммунистами; когда Франция казалась брошенной на растерзание тоталитарным партиям, он думал лишь о восстановлении государства. Однако, прежде чем его покинуть, я заговорил с ним о молодежи. «Если бы я мог, прежде чем умру, — сказал он мне, — вновь увидеть французскую молодежь, это было бы...» Его тон мог означать: «...также важно, как и Освобождение». Но он оставил фразу незаконченной, как и свой жест. Простившись, я вспомнил об одном зимнем дне на опушке леса в Коломби. Насколько простирался взгляд, кроме кладбища, где была обнаружена могила его дочери, не было видно ни одной деревни. Он точно так же, как только что в гостиничном номере «Лаперузы», указал рукой в сторону темных холмов равнины Лангра и Аргона: «Перед вторжением здесь везде жили люди...»

В машине, возвращавшей меня домой, я думал о нашей первой встрече.

Его ставшие седыми усы были едва видны, а рот продлевали теперь две глубокие морщины, соединявшиеся с подбородком. «Заметили ли Вы, — сказал мне Бальтус, — что теперь в анфас он похож на собственный портрет Пуссена?» Так оно и было. Возможно, История несет свою маску вместе с собой. Мое лицо с течением лет приобрело оттенок очевидного благодушия, но он оставался серьезным. Казалось, его лицо не выражает глубоких чувств, даже наоборот, скрывает их. Оно чаще всего выражало вежливость, иногда — юмор. Тогда его глаза одновременно и уменьшались и загорались, и тяжелый взгляд на секунду сменялся взглядом слона Бабара.

Сегодня знать человека — значит понимать, что в нем есть иррационального, что он сам в себе не контролирует, что он стер бы в том образе самого себя, который сам и создает. В этом смысле я не знал генерала де Голля. «Знать людей, чтобы воздействовать на них...» Несчастные хитрецы! На людей воздействуют

не знанием, а напротив, доверием и любовью. Длительное общение с генералом сделало для меня привычными некоторые из свойств его характера, а также его отношение к тому символическому персонажу, которого он в своих «Мемуарах» называл де Голлем; точнее, к тому, кого он описал в своих воспоминаниях, где Шарль так никогда и не появился.

Может быть, дистанция, которая меня заинтриговала, когда я встретил его в первый раз, была связана с той чертой его характера, которую Стендаль заметил в Наполеоне: «Он управлял разговором... лишь изредка задавая вопрос, высказывая ошеломительное предположение...». Но когда Император бросал играть свою роль (а иногда даже и когда продолжал ее играть), появлялся вспыльчивый Наполеон или комедиант, муж Жозефины, любитель розыгрышей. Весь двор знал этого персонажа. Для соратников генерала де Голя частным человеком был не тот, кто говорил о частных делах, а тот, кто не говорил о делах государства. Он сам не принимал ни импульсивности, ни беспомощности; он охотно допускал во время приемов или в тех случаях, которые сам избирал, какую-либо беседу на посторонние темы; он вел ее весьма грациозно, но все это делалось из вежливости, и эта вежливость принадлежала его персонажу. Наполеон внушал ужас своим собеседникам; собеседники генерала признавали его держащимся на дистанции и «очаровательным» (то есть в данном случае — внимательным), потому что этот человек, даже если бы он говорил об их детях, все равно оставался де Голлем. И в биографиях тех, кто творил историю нашей страны, довольно редко не встречаются посторонние женщины... Все это как нельзя лучше соответствовало гроссмейстеру ордена тамплиеров, который когда-то встретил меня в военном министерстве, так как эта благосклонность идет от духовенства, а не наоборот. Для всех, за исключением, несомненно, своей семьи, он казался любезным отражением своего легендарного персонажа.

Когда-то было замечено, что люди отличаются друга от друга своими воспоминаниями так же, как и своим характером. Меняется их глубина, меняются сети памяти, меняется их добыча... Но самое глубокое воспоминание не обязательно выражается в разговоре, и кажется, что тот человек, память о котором наполнена славой, прошлое которого, начиная уже с восемнадцати лет, принадлежит Истории, вступает в тайный диалог с будущим, а не с прошлым. Я собирался с ним говорить о себе самом только два раза — и каждый раз по случаю смерти. Я был не намерен разговаривать с ним и о других: немного о Черчилле и о Сталине («Это был азиатский деспот, который и хотел быть им»), совсем чуть-чуть о Рузвельте («патриций-демократ»). Портреты из бесед с ним, как и портреты из его «Мемуаров», напоминали собой скульптуры. Он оценивал людей Истории в зависимости от их дел, а, может быть, судил и обо всех людях в зависимости от того, что они делали и на что он признавал их способными. Сфера переговоров, на которых я присутствовал и ради которых он отстранялся от текущих дел, была сферой идей или сферой Истории. Жизнь билась рядом, словно бушующее море, добавляя туда лишь горечь опыта. Его внутренний монолог никогда не прорывался наружу; область его цитат, сравнений (которые имеют огромное значение при цитировании!) охватывала историю, иногда литературу, изредка религию. Ему приписывали следующую фразу, произнесенную якобы во время приема у понтифика: «Теперь, Ваше Святейшество, не поговорить ли нам о Франции?». Однако необычная тональность портрета Сталина в «Военных мемуарах» связана с воспоминаниями о диктаторе, который ему сказал: «В конце концов, есть только смерть, которая всегда выигрывает...».

Он писал, что персонаж без имени из этих «Мемуаров» был рожден в овациях, которыми приветствовали его возвращение, и ему казалось, что они обра-

щены не к нему. Но эта книга не является книгой мемуаров ни в смысле «Исповеди», ни в смысле Сен-Симона. То, что автор отбросил там от своей личности (и прежде всего Шарля), не менее значительно, чем то, что он оставил. Как в «Записках» или в «Анабазисе», где Цезарь и Ксенофон говорят о себе в третьем лице, его произведение — это рассказ об историческом действии, о том, кто его совершает. Его герой — это безымянный герой «Лезвия шпаги». Все удивлялись пророческому характеру этой книги, которая предсказывает скорее появление персонажа, чем события, — портрет героя Плутарха, созданный в воображении теми же ценностями, которые творят в Истории судьбу этого героя и делают его похожим на портрет. Такое раздвоение касается, несомненно, многих исторических деятелей и великих художников: Наполеон — это не Бонапарт, Тициан — это не граф Тициано Вецеллио, а Гюго, когда он думал о том, кого вначале назвал Олимпио, называл его, конечно же, Виктором Гюго. Статуи из будущего повелевают теми, кто достоин этих статуй, хотя они этого или нет. Как Шарля лепит сама жизнь, а де Голля — судьба, так и Виктора направляет жизнь, а Гюго — его гений. Но его произведение, будь оно плодом судьбы или гения, предназначено для чего-то, что существовало еще раньше и что, как и сама жизнь, встретилось с ним лишь по воле случая; шедевр — это залог гениальности, но гениальность не может быть залогом шедевра. Несомненно, большинство людей раздвоены, но каждый существует лишь сам для себя. Эта раздвоенность выражается в создании персонажа гораздо реже, чем кажется: она свойственна высоким религиозным натурам и принимает поразительный характер у кинозвезд, не только лишенных своей личности, но еще и лица, которое экран искажает. Кроме того, эти мимолетные Венеры перевоплощаются лишь в те роли, которые им предлагают. И совсем не роль создает исторического деятеля, а его предназначение.

Любое предназначение вызывает ненависть, анти-милитаризм или антиклерикализм, которых не вызывает профессия. Мошенник не вызывает те же чувства, что и трусливый офицер, продающий реликвии священник или подкупленный судья, потому что эти люди в форме, изменившие своему призванию, оказываются узурпаторами. Каждый знает, что борьба, ее исход связаны с характером человека; не так хорошо известно, что борьба предполагает особую организацию действий, которую призванный избирает в тот миг, как избирает борьбу.

И генерал де Голль, бывший офицером совсем немного, планировал свои действия, основываясь на разуме воина в том смысле, в каком можно говорить о разуме священника или разуме судьи. Однако французам, с их склонностью к выдумке и к сатире, с их д'Артаньяном и Крокеболом, этот разум воина был не очень хорошо знаком. Думать, что Александр, Цезарь, Фридрих II, Наполеон только и умели, что «корчить рожи да размахивать мечом» (выражение Анатоля Франса), было слишком легко. Благодаря Куртелину и несмотря на сражение под Верденом, слово «армия» до середины этого столетия означало прежде всего казарму. Дипломированный и образованный человек, профессор Военной школы, де Голль был хорошо знаком с Германией, с традициями Фридриха и прусского Генерального штаба, а также с Англией, с ее генералами-скрипачами и губернаторами Иерусалима, такими, как Сторрз. Из всей сложности такого инструмента, как армия, французы усвоили лишь дисциплину. Но это мало что давало: Наполеону, чтобы привести свою армию в Италию, нужно было сначала ее восстановить. Как и Петену для Вердена. И если в России или в Китае военная профессия быстро приняла форму национального призвания, то ни Иностраннный легион, ни полки наемников в нашем столетии не были национальными частями.

Я думаю, что его разум воина оказал на него одновременно и глубокое и ограничивающее воздействие:

потому что армия, когда он там появился, ожидала сражений, и потому что этот разум, кажется, подталкивал его к методам управления, превосходящим гражданские методы. Организовать действие — это первая задача государственного деятеля, такого, как Александр или Цезарь.

Самые эффективные методы в этой области были методами армии и Церкви, которые были приняты на вооружение тоталитарными партиями и даже (в меньшей степени) великими социалистическими и капиталистическими обществами. Но Наполеон не управлял Францией при помощи своих маршалов, он создал самую сильную гражданскую администрацию, какая только была известна нашей стране. Генерал де Голль как в 1958-м, так и в 1944-м, желал создать аппарат, который служил бы Франции в мирное время, но такой, который современная армия использовала на войне.

Его военное образование оставило в наследство его мышлению несколько характерных признаков. Прежде всего, он имел замысел создать правительство как боевой инструмент для развития Франции. И если он никогда не использовал для этих целей казарму или армию, то он сохранил комиссаров Временного правительства, а затем министров в качестве своего Главного штаба — и, прежде всего, несколько позже, своего непосредственного помощника, которого называли директором его кабинета или премьер-министром, в качестве главы Генерального штаба.

Другой характерный признак: убеждение, что решение нельзя откладывать. Потому что скорость является частью самого решения, потому что нельзя гнаться сразу за двумя зайцами, но прежде всего потому, что историческое решение неотделимо от того момента, когда оно принято. Отсюда и его диалог с генералом Жуо:

— Если бы ты подождал, — сказал тот, — у нас, вероятно, было бы больше шансов.

— Да. Но не у Франции. Будущее длится долго...

Эта склонность к внезапному решению не противоречила тем предсказаниям, которые, как он ожидал, исполнятся лишь в будущем: обращение 18 июня, утверждение, что Красная Армия набирает силу в сражениях; позже, когда он сразу же друг за другом принял незамедлительные решения: одно — о поддержке позиции США против отправки советских ракет на Кубу и другое — против США по вопросу о Юго-Восточной Азии.

Он всегда пытался заручиться поддержкой времени или, скорее, встать на его сторону, насколько это возможно; время могло способствовать успеху его планов — как военных, так и сельскохозяйственных. От ближайшей Республики он ожидал, что она предоставит ему последовательность в действиях, которой до сих пор так не хватало его плану. Для его разума офицера длительность, даже та, которой требует военная индустрия, являлась стороной готовности; для него слово было средством выражения приказа, средством действия. Генерал де Голль упорядочивал действие в соответствии с «великим планом», который менялся, так как генерал был ограничен в возможностях и сам также менялся. Он был намерен выполнять его всеми средствами, которыми располагал. Он осознавал то воздействие, которое мог оказывать как во Франции, так и за границей его символический персонаж; но он сильно заботился и о праве говорить французам о том, что следует *сделать ради Франции*. В его речах, на его пресс-конференциях не было ничего харизматического. Его сила всегда была в авторитете, а не в заразительном влиянии. «Мы и враг» — думает военачальник; «мы и судьба мира» — думает человек Истории. Истории генерал де Голль был обязан своим разумом, военному искусству — большинством своих методов. Несомненно, он охотно принял бы на свой счет знаменитое «О чем идет речь?» маршала Фоша. На заседаниях совета министров, партийных форумах и на аудиенциях я был удивлен его манерой резюмировать

все те идеи, которые только что ему были представлены. Я быстро обратил внимание, что он их фильтровал. Казалось, что он перечисляет заголовки разделов доклада, тогда как он перечислял обобщения, которые только что сделал, и давал инструкции в зависимости от того, насколько изменился его план. Обсуждению подлежали лишь самые главные вопросы. Традиционный обмен мнениями о делах государства был ему чужд. Он выслушивал своего собеседника не прерывая. В крайнем случае он просил сделать разъяснения и, если это требовалось, давал свои указания. С теми, кто слушал доклад, он разговаривал доверительным, но не конфиденциальным тоном: «Итак! Я хочу Вам сказать, что я об этом думаю». Речь шла о серьезном вопросе, достойном главы государства. О том, как собеседник выпутывался из затруднений в Вашингтоне, в Лондоне или в Москве; а завтра — в Алжире или на атомных стройках.

Я думаю, что надежда сообщила его решению 18 июня трагический акцент. Боевая тревога царила в отеле, внимающем дыханию судьбы. Возможно, Франция раньше представлялась генералу сказочной принцессой; я все же был убежден, что он был связан не столько с Францией Аустерлица, сколько с Францией 1940-го, с сомнамбулической Францией, в которой он завтра был намерен собрать Ассамблею. За дверью я ожидал встретить восторг. Но прощаясь с ним, я вспомнил одну арабскую пословицу, которую он мне ранее приводил: «Если твой враг оскорбил тебя, сядь перед дверью и жди: ты увидишь, как мимо проносят труп твоего врага».

Ночные заседания Ассамблеи всегда носили ирреальный характер, так как казалось, что они проходили в ярко освещенном аквариуме с затуманенными, как в снежный день, стеклами, где на фоне гобелена «Афинская школа» пирамидой возвышались три трибуны — президента, оратора и стенографов — с барельефами

времен Империи, напоминающими огромные камни. Гранатового цвета зал был переполнен. Трибуны зрителей тоже. Накануне Бидо сказал депутатам: «Между Сеной и вами — лишь он один. Это последний зонтик от саранчи!..». Однако угроза не сменилась спокойствием, тревога тоже. Исторические заседания III Республики, описанные Барресом, депутаты, волнами движущиеся к трибуне, стычки между Клемансо и Жоресом, заявление о победе 1918-го!.. Сидящие на своих скамьях депутаты, публика, зажата между колоннами, — все это казалось мне застывшим во времени, как если бы столетие идущий фильм о Национальной ассамблее остановился на фиксированном кадре. «Министерское заявление» второй половины дня смешалось с дополнениями, разъяснениями по голосованию, с тем же самым светом аквариума, с той же ирреальностью, исходившей от того, о чем никто не хотел говорить. Генерал сказал: «Идет стремительная деградация государства. Единство нации находится под прямой угрозой. Алжир погружен в бурю испытаний и волнений. Корсика заражена опасной лихорадкой. В метрополии оппозиционные движения час от часу усиливают свою активность и разжигают страсти. Армия, долго подвергавшаяся кровавым испытаниям и достойно их прошедшая, оскорблена недостатком полномочий. Наша позиция на международной арене привела к тому, что во всех наших союзах пробита брешь. Таково положение нашей страны. В то время, когда перед Францией открылось столько возможностей, она оказалась под угрозой распада и, возможно, гражданской войны». Аргументы его противников имели тот же смысл, что и доклад генерала. Меня окружало не безразличие, а напряженное и бесцельное внимание, ожидание непредвиденного. Жак Дюкло защищал демократию, что было не очень серьезно, а Мендес-Франс защищал принципы, которыми руководствовался в своей жизни. Все утверждали, что представляют собой народ, государство, Францию, и

все тем не менее знали, что народ их защищать не будет. Они опасались, что у полковников будет меньше сил, чем у де Голля (им, как и мне, был известен лозунг: «Да здравствует де Голль!»); но полковники были сильнее, чем Ассамблея. И как серьезно расценивать появление фашиста в правительстве, в котором его бывшие председатели Ги Молле, Пфлимлен и Пинэ были министрами? Фашизм — это партия, массы, вождь. В Алжире еще не было партий, в Париже их было слишком много. История ломала себе крылья на этом смертельном вираже над Ассамблеей, где исчезали последние улыбки, где пренебрежительная парламентская ирония стиралась с взволнованных и растерянных лиц. Изнуренная публика взирала, как сбываются предзнаменования. Когда, в конце своего последнего выступления, генерал сказал, что если бы доверие Ассамблеи позволило ему добиться путем всеобщего голосования права на изменение наших институтов власти, то «человек, который с вами сейчас говорит, всю свою оставшуюся жизнь был бы заложником своей чести», аплодисменты отметили конец пьесы, и Миттеран и Пинэ говорили уже за опустившимся занавесом.

Все это коммунисты позже назовут «операцией обольщения после операции бунта», забыв, что генерал де Голль не единственный обольститель из числа тех, кто побеждает. Заседание закончилось, театр (палата общин собиралась в одной зале, но Национальная ассамблея занимала амфитеатр) бесшумно опустел. Выходя, я обогнал бедную женщину в домашних тапочках, размахивавшую шваброй, и поверил, что встретил ту, кого во времена расцвета называли Республикой.

Реакцию активистов Алжира на правительство, где Ги Молле был государственным министром, а Жак Сустель отсутствовал, можно было легко предвидеть. Ги Молле и Пьер Пфлимлен, при поддержке других парламентских министров, укрепляли исчезающую связь с

ассамблеями; они, небритые, явились к девяти утра на последнее заседание, проводимое в отеле «Лаперуза». Ночью генерал, в соответствии с традицией, представил свое правительство президенту республики. Свет в Елисейском дворце сообщал всему происходящему ту же самую ирреальность, которую я видел в Палате. В то время как президент Коти, красноречивый и жизнерадостный, любезничал с госпожой Сидой Карой, немного перепуганной, шекспировская молния поразила одно из огромных деревьев в парке, и в полумраке на мгновение явился генерал де Голль в окружении окаменевших министров.

Стабилизация показалась легкой, как война для Наполеона. Конституция, напротив, была предметом обсуждения на многочисленных советах, часто собиравшихся по ночам. «Это Вас забавляет?» — спросил меня однажды генерал. «Да, довольно сильно...» Я не считал, что XX век (и тем более Франция) вращается вокруг Конституции, окруженной римским почтением, как Конституция США; я считал, что Конституция, в которой референдум был средством управления, должна была служить народу, а не народ — Конституции. Обсуждения, касающиеся «социальных» статей, начинались с диалога между Ги Молле и Антуаном Пинэ, который очень скоро становился напряженным. Все это происходило так же, как и ночное заседание Палаты, похожее на остановившиеся часы; как появление министров в мгновенной вспышке молнии. Но я внимательно следил за игрой этих враждебных сил, так непохожих на силы, опьяненные революцией; следил и за тем, как генерал де Голль их объединял. Именно это меня и «забавляло». Может быть, забавляло и его, в стороне от той одержимости, с какой он из этих обломков деревьев сооружал платформу, на которую надеялся поместить Францию. С моего места в совете министров был виден розарий, заполненный июньскими розами, похожими на траурные. (В 1945-м я видел отсюда только дождь и снег.) 4 сентября на площади

Республики он объявил о новой Конституции. Воздушные шары взлетали над толпой, разносчики бандеролей взволнованно выкрикивали, что фашизм не пройдет. И через несколько дней г-н Ле Трокер, председатель Ассамблеи, заявил вьетнамской делегации, что генерал де Голль не получил бы и четверти голосов в результате референдума.

4

1958—1965

Референдум предполагал, что наши заморские департаменты входят в Содружество или получают независимость. Префекты были настроены пессимистически. Эмэ Сезер, депутат от Мартиники и мэр Форде-Франс, еще колебался. Генерал де Голль, который тогда еще не мог покинуть Францию, попросил меня быть его представителем.

— Зачем ехать в Гвиану, — спросил я его, — если префект утверждает, что она потеряна?

— Это последняя французская территория в Америке... И потом, туда следует ехать, потому что это душераздирающее зрелище.

Я в первый раз слышал, как он использовал такое выражение, и вскоре мне пришлось понять почему.

Вначале была Гваделупа. Утром я прибыл в префектуру Пойнт-а-Питр. Это был дом с галереями, окружавшими небольшой сад банановых деревьев, с наполовину спущенными жалюзи на дверях, с вентиляторами на потолке; мир Гори, старых Берегов — Золотого и Слоновой Кости, словно ветер перенес сюда старые колониальные дома вместе с рабами. Я привез с собой нескольких сотрудников, среди которых был суперпрефект Тремо, который вскоре должен был стать ге-

неральным секретарем заморских департаментов. Это был либеральный чиновник, интеллектуал; его жена была убита бомбой в посылке, когда он был префектом Страсбурга. Мы выслушали соблезновения и отправились возложить венки к памятникам. Затем присутствовали на заседании муниципального совета и встретились с противниками правительства. То, что они ожидали от метрополии, часто выглядело безрассудством, но когда я прошел по бедным кварталам города — такого же, как и многие другие, — я констатировал, что они имели право на некоторое безрассудство. Низы разглагольствовали, возмущались и ничего не делали; верхи обещали и... также ничего не делали. Самый серьезный из моих собеседников был лидером докеров, их профсоюза, вероятно, коммунистического. Префект, несомненно, хороший чиновник и, разумеется, хороший человек, напрасно просил о мерах воздействия. Восстановить здесь порядок было бы трудно, но время для этого уже пришло. Нигде в другом месте Франция не найдет такой самоотверженности. Что касается референдума, то жители Антильских островов хотели голосовать «нет», чтобы выразить свое недовольство, и «да», чтобы остаться с Францией. То же самое говорили о независимости и в Лозере.

Вечером население собралось на площади на митинг. Окна были украшены платками, на деревьях гроздьями сидели дети. За музыкальным киоском лошади вращали деревянную карусель, сделанную еще сто лет назад. То, что называют политикой, не играло здесь никакой роли (ни один из избранных от Антильских островов депутатов не был голлистом). Значение имели лишь обращение Франции и доверие, которое внушал де Голль. Я в первый раз говорил перед черной толпой и чувствовал, что ее тревожная неподвижность соответствует ритму моей речи, как танец — музыке.

Ночевать нам пришлось в старом дворце губернатора, на другой стороне острова. Когда кортеж (мото-

циклисты, префект и т. д.) отправился в путь, на остров опустилась ночь. Мы ехали через слепые деревни, лишь черные пальмы поблескивали в темноте и кривая турецкая сабля луны отражалась на таких же кривых листьях банановых деревьев. Наши речи начали передавать по радио. От деревни к деревне стали зажигаться окна, и из открытых дверей к нам на дорогу вылетали отдельные фразы, прерываемые в некоторых местах аплодисментами. Это были мои собственные слова, и я с удивлением прислушивался к ним, потому что казалось, что они движутся вместе с нами, а еще потому, что мы не узнаем собственный голос, звучащий в радиоприемнике: «...человек, сохранивший честь в этом ужасном кошмаре, охватившем страну...».

Мой голос проносился над хижинами и маленькими лавочками.

Над невнятными фразами.

Над рядами чернокожих и индейцев.

В одной деревне я слышал уже не отдельные фразы, а большие куски своей речи, так как радио было включено почти во всех домах: «Перед лицом одной из самых грозных катастроф в нашей истории, в ту ночь, когда бесконечные потоки крестьянских телег заполнили наши дороги, в ту ночь, когда повсюду полыхали пожары, лишь один голос поднялся над этим гулом, один, вопреки всем...».

Лес, пальмы, тишина. Запах ночных цветов.

Поселок. Призраки с белыми глазницами махали руками в свете наших фар. Полиция расставила рядами грузовики, перегородившие дорогу, чтобы пропустить небольшой домик, стоявший на платформе, которую тащили лошади.

«Франция пребывала в огромной опасности, французский союз был готов развалиться на куски. Генерал де Голль ликвидировал гражданскую войну, принял Конституцию, которая дала жизнь Французскому содружеству, вернул доверие к власти, обеспечив стабиль-

льность правления. Менее чем за четыре месяца он вернул французам надежду, за несколько недель он вернул им гордость...»

Деревянный домик проехал, и дорога стала свободной.

«Не отказываясь от такой фундаментальной ценности, как свобода. И даже от такой ценности...»

Петибург, Гойав, Капестер, Бананье, Труа-Ривьер...

Опять лес. Величественный шум невидимых водопадов.

Преследуемые звуками радио, мы пересекли последние деревни под крики «ура». И добрались, наконец, до дома губернатора островов; фары автомобиля осветили каскады бугенвиллей, и трещотку ночных сверчков заглушила самая меланхоличная из песен креолов:

Прощайте, платки, прощайте, шелка,
Прощай, ожерелье, прощай,
Не коснется теперь его Дуду рука.
Он уехал — увы! — навсегда...

Это было произведение одного губернатора времен Людовика XV, брошенного мулаткой, в уста которой он вложил свою печаль. Очаровательные певицы, встречавшие нас в просторных коридорах, продолжали грустную песню:

Добрый день, господин губернатор...

В столовой, в центре подковы белого стола, накрытого на тридцать человек, нас в одиночестве ожидал епископ, облаченный в черные и фиолетовые одеяния. За его спиной через распахнутые стеклянные двери виднелось трепещущее при свете луны Карибское море.

Мартиника была не менее удивительной. Чтобы добраться до Сен-Пьера, его старой столицы, нужно перебраться через гору, на склоне которой тропические лианы сменяются елями; затем идет город, кажущийся

заколдованным. Одни крыши; все брошено, но ни одного разрушенного дома. Пустынные улицы, без дверей и окон, тянутся до подножия горы Пеле. Нет ни пепла, ни следов лавы; но словно пораженные проказой каменные лестницы тянутся к рассеянным облакам. По улице, когда-то бывшей главной, к призрачному музею меня вывел столь же призрачный хранитель. Здесь господствовала лава, упрятавшая в гигантские раковины скромные и нелепые экспонаты. В голову приходили мысли о Помпее, где вместо древней лампы стояла мельница для черного перца, а вместо римской улицы тянулся обыкновенный тупик, вроде тех, на которых вокруг пригородных заводов выстраиваются хибары и возникают пустыри. Эти разъеденные лавой экспонаты, похожие на выброшенные на морской берег обломки деревьев, казались игрушками в руках духов вулкана; над ними, словно царица в их заколдованном дворце, возвышалась одна песчаная роза.

На почтовых открытках был изображен музей Таше из Ля Пажери. Еще один дом на островах — и разрушенный. Я видел, как старые гадалки шептались с «девушками». Не здесь ли юная Роза, которую еще не звали Жозефиной, протянула свою руку хиромантке? «Больше, чем королева...» — эти слова, принесенные ветром с океана, исчезли в пустоте.

В каждой деревне мне приносили цветы, которые я намеревался положить к подножью скульптуры Республики. Нередко бюста Республики не было, но вместо него был гипсовый Шельхер. Здесь этот старый враг рабства также был символом свободы...

В Фор-де-Франс я должен был выступить после Эмэ Сезера. Он встретил меня возле мэрии и сказал: «В Вашем лице я приветствую великую нацию французов, с которой мы крепко связаны». Площадь была великолепна: она была украшена и заполнена людьми, словно в большой праздник. Светлые одежды наполняли миром и спокойствием опускавшийся на море вечер. Все

стояли неподвижно. Сезер заканчивал свое представление:

— Будьте посланцем возвращенной надежды!

Я начал с того, что зачитал послание генерала де Голля:

— Передаю вам свои приветствия. Андре Мальро расскажет вам, что я храню самые прекрасные воспоминания о том великолепном приеме, который вы оказали мне в 1956 году. Вся Франция помнит о славных победах, одержанных вами в двух мировых войнах.

Моя речь была построена так же, как и речь в Гваделупе. И мне даже удалось установить такой же контакт с жителями, даже более глубокий, так как теперь я знал, теперь я думал о деревнях, которые нас слушали («Не забывайте, — сказал мне один из организаторов, — что здесь идет прямая трансляция и что существует обычай исполнять „Марсельезу“ в конце»), да и сама площадь была такой огромной, что в сумерках я плохо различал ее границы. По все более и более высокому тону толпа, не издававшая ни звука, понимала, что речь приближается к концу.

— Метрополия, которая когда-то предпочла Антильские острова Канаде; которая видела, как жители островов погибали в сражении у Страсбурга, не оставит вас. И я, как и генерал де Голль, считаю, что сегодня нельзя отрицать, что Мартиника так же желает остаться вместе с Францией, как желаю этого и я сам. В этот день, который уже близится к концу, мы становимся свидетелями, как вы, мои вчерашние соратники, превращаетесь в моих соратников навеки! Пройдя через Первую мировую войну, создав Антильский батальон, который сражался вместе с моими товарищами возле реки Дордони, вы ответите «да», как ответили бы те, кто пал там смертью храбрых!

Свет прожекторов над утонувшей в вечернем полумраке толпой выхватывал из темноты высокие деревья и стены, на которых везде были прикреплены плакаты: «НЕТ».

— Вспомните о тех, кто уехал с острова в 1940-м; моряки нашего флота и вы, воевавшие в Тихоокеанском батальоне, которому так досталось, вспомните о том времени, когда мы вместе одержали во второй раз победу над рейхом. И вы ответите «да», как ответили бы погибшие на этой войне! Мужчины и женщины, вы ответите «да», как отвечали два года назад человеку, который сказал, что ваш незабываемый прием стер в его памяти столько темных страниц!

В ночи, уже полностью вступившей в свои права, поднялся шум, каким на стадионах приветствуют победителей.

— В день годовщины Республики, когда по радио начинают передавать «Марсельезу», французы слушают ее стоя. Мы хотим петь ее вместе. Тогда вы услышите нас, французов Эльзаса и Руана, стоя в ваших деревнях, где погибли ваши герои! В ваших домах на Мартинике, на равнинах и на холмах!

Перед трибуной стояло около тридцати рядов стульев, и я почувствовал, что вся аудитория сразу же поднялась на ноги. Стоявшие сзади один за другим начали петь «Марсельезу», словно «Интернационал», который я прежде слышал в Москве, когда море красных флагов медленно заполняло пространство, обогнув храм Василия Блаженного. Но «Интернационал» постепенно переходил в монотонный речитатив, тогда как «Марсельеза», казалось, дрожала от едва сдерживаемого порыва:

Вы слышите, уже в долинах...

До тех пор, пока не грянуло:

К оружию, граждане!

Это был крик темной жажды свободы, крик бойцов Туссена Лювертюра и вечной жакерии, смешанный с революционной надеждой, с почти физическим ощу-

щением братства. Я слышал его лишь однажды, почти пятнадцать лет тому назад, и в тюрьме. Сезер и я спустились с эстрады в ночную толпу, растворились в ее водовороте, еще ослепленные прожекторами, которые скрещивали свои лучи над трибуной, над деревьями и на плакатах с надписью: «НЕТ».

Все вновь началось с торжественного первого куплета: «Вперед, сыны Отчизны милой!». Никто не уходил с площади, все скандировали воинственную песню, сопровождаемую неторопливым топотом и глухими ударами барабана, которые связывали ее с землей так же, как песня гребцов связывает их с рекой.

С кровавым знаменем идет!

Я еще никогда не слышал хор в двадцать тысяч человек, как и этот топот, казалось, призывавший в свидетели землю; европейские танцы лишь скользят по земле, они ее не трамбуют. Сезер и я бок о бок продвигались по аллее, пересекавшей площадь, и она пустела за нашей спиной, так как одна часть толпы пыталась пересечь ее поперек, чтобы еще раз нас увидеть, тогда как другая следовала за нами. Об этом ночном брожении под прожекторами можно было догадаться по пению «Марсельезы», по кружащим потокам голосов. Когда мы добрались до тянувшейся вдоль площади улицы, освещенной фонарями, пение на несколько секунд было перекрыто непрерывными криками: «Да здравствует де Голь! Да здравствует Сезер! Да здравствует де Голь! Да здравствует Сезер!», которые невидимой волной доходили до центра города. Окна были полностью закрыты платками; перед нами отступало, пятилось бескрайнее людское море, которое скандировало, выкрикивало, хлопало в ладоши; в которое мы погружались и которое исчезало за нашей спиной с ритмичным шумом толпы. «Они празднуют большое *виде*», — сказал мне Сезер. «Виде» назывался праздник, который знаменовал окончание Карнавала

сожжением чучела, праздник, когда весь остров танцевал вокруг нескольких людей, переодетых в демонов. Может быть... Меня окружало тысячелетнее празднество, в котором человечество освобождалось от самого себя; ритуал людей-львов, которых кто-то когда-то видел в Африке, людей, которые, согласно легендам жителей Чада, могли внушать страх десяткам тысяч зрителей на безграничной площади Фор-Лами. Сезер, дружелюбно приветствовавший всех встречных, хорошо знал, что если мы начали это неистовство, то это еще не значит, что мы были его героями. Оно было адресовано сверхъестественному персонажу, который был для генерала де Голля тем же, чем Республика является для своего президента, — защитнику человеческой жизни перед миром неведомого, посреднику между сегодняшней нищетой и будущим счастьем и, прежде всего, между одиночеством и братством. В Европе я встречал достаточно безумия, чтобы не удивляться ему в других местах; но в Европе я не встречался с переходом от политической восторженности к такому сверхъестественному опьянению, к этой ритмичной ярости, которую оно внушало на площади, топавшей ногами по земле. Это был танец, одержимость, а не европейская спортивная игра или же ритуальный балет Азии. «Да здравствует Сезер! Да здравствует де Голь!» Мы с большим трудом добрались до префектуры. И пока фужеры с шампанским чередовались с европейскими любезностями, тройной рокот надежды заполнял остров, сбивая с толку проходивших мимо мореплавателей, — он звучал как голос древних богов.

В Гвиану мы отправлялись с самым хорошим настроением. Самолет сделал дугу вдоль карибского берега и затем полетел над лесом, который тянулся вглубь континента до Амазонки. Он прошел над островом Дьявола и развернулся над аэродромом. Когда-то я читал репортажи о Кайенне и о каторжной тюрьме, которой уже не было. Я ожидал найти здесь пыльный и заброшенный ад, но увидел новые колониальные до-

ма, гораздо менее скромные, чем хижины Мартиники, а также прекрасную дорогу песочного цвета. Перед деревянным зданием аэропорта меня поджидали девочки в фольклорных костюмах, сжимавшие букеты цветов, словно индианки, и так же, как они, усеянные родинками. У них за спиной, в украшенной цветами колеснице сидели местные красавицы, а ее балдахин являлся или триумфальной аркой, или ручкой огромной корзины.

Префект встретил меня в чрезвычайно роскошном «кадиллаке». До сих пор чиновники (как министры в Париже) пользовались только «ситроенами». Мы обсудили с ним, как построить речь, которую я должен был произнести через несколько часов. Или, точнее, это я говорил об организации, о микрофонах, об обеспечении порядка, о политической ситуации; он же рассказывал мне о церемониях. Может быть, во время выступления «некоторые будут шуметь». Самое лучшее — не обращать на них внимания. Сразу после выступления он собирался организовать грандиозный праздник: вся колония была приглашена в префектуру. «Я, господин министр, очень ценю, что Вы решили сначала встретиться с религиозными властями. Я приготовил маленький коктейль в укромном салоне. Епископ — увы! — еще во Франции, а первый пастор, который к тому же служит и в моей администрации, находится с миссией в Сен-Лорен-дю-Марони; но это, разумеется, не так важно. По крайней мере некоторые духовные лица будут присутствовать, как и почетные члены Ложи. Тем не менее я пригласил и раввина». С буфетом были серьезные проблемы. Изумленный и растерянный, я разглядывал стоявшие на ровных как стол полях красивые колониальные дома, какие я хотел бы увидеть на Антильских островах, среди хижин и руин; передо мной стоял музыкальный киоск, а рядом — статуя Республики времен Прекрасной эпохи; вывеска гласила: «Бакалея, скупка золота». И перпендикулярные улицы, заполненные джазом и пьяницами. Мы пересек-

ли площадь Феликса Эбу, где находилась единственная настоящая достопримечательность Кайенны и где мне предстояло выступать. Двухсотлетние пальмы, посаженные еще иезуитами, были одними из самых красивых в мире. Это была не совсем площадь, так как дома, ее ограничивающие, были едва видны: это была гигантская колоннада королевских пальм, в стране, где самые обычные косматые кокосовые деревья сгибаются под ветром. Шарфы и платки пастельных тонов, как и на Мартинике, начинали свой балет в сумерках.

Префектура — монастырь, в котором двери заменили наполовину спущенными жалюзи, — находилась на другой площади. Руководители оппозиции попросили о встрече со мной. Я передал им, что мог бы встретиться с ними перед своим выступлением, если они придут в префектуру.

Мои сотрудники уже на аэродроме навели необходимые справки и сообщили мне, что лишь один из оппозиционных вождей заслуживает внимания: это был метис Катайи, собиравшийся участвовать в ближайших выборах, истеричный и властный оратор, участник Сопrotивления.

Он не надеялся ни увидаться со мной наедине, ни услышать, согласно обычаю: «Дорогой товарищ». Он считал префектуру вражеским дворцом, а префекта — воплощением Зла. Не то, чтобы он казался наивным человеком, скорее гонимым пророком, готовым нападать или убегать, таким, каких много появляется в начале революций (Лумумба, но тогда еще не говорили о Лумумбе).

— Вы основали клинику для одиноких матерей, не так ли?

— Они все одиноки. Я принимаю самых безнадежных.

— Вы были врачом?

— Нет, я был больным. Но они собираются закрыть его, мой госпиталь!

— Я не верю.

— Они скажут, что мои врачи не все имеют лицензию... Они придумают истории о выкидышах... В некоторых случаях им и не придется их придумывать... Поймите меня правильно!

— Я верю, что Ваша больница не будет закрыта!

— Вы не знаете их!

— Я их знаю. Но Ваша больница закрыта не будет.

— Вы верите, именно Вы, что он, Великий Шарль, знает, что здесь происходит?

— Он будет знать по крайней мере то, что Вы мне рассказали. Именно для этого я Вас и слушаю.

Он посмотрел на меня, встал и начал ходить, заложив руки за спину:

— Я просил о встрече с Вами, потому что думал, что Вы меня не примете. Но в это мгновение я задаю себе вопрос, знаете ли Вы ее так, как я, нашу администрацию. Я имею в виду не детали, конечно же...

— Смените ее!

— Кем?

— Говорят, что Вы собираетесь участвовать в ближайших выборах в Законодательное собрание. В таких странах, как эта, депутат может многое.

— И Вы советуете мне участвовать в выборах?

— Конечно, Вы считаете, что есть единая нация Гвианы, и только она и должна развиваться. Тогда следует голосовать «нет», и я думаю, что в одиночестве ей не понадобится слишком много времени, чтобы скатиться до ужасной нищеты; но Вы можете успокоиться: она не останется в одиночестве, до нее найдутся охотники. Если же Вы считаете, что Гвиана должна быть французской, как и Антильские острова, то она будет развиваться с помощью Франции. Тогда следует голосовать «да» и действовать самим. Сезер — это не правительство...

— Вы видели мои лозунги с надписями: «Франция — да, префект — нет»?

— Я не знаю вашего префекта, но точно так же думают сорок процентов французов... В этом было бы

больше здравого смысла, чем в лозунге: «Долой Францию», который подписан: «Участник Сопротивления».

— Почему?

— Потому что первый лозунг — это действительно то, о чем Вы думаете. Второй — нет.

Привратник уже два или три раза просовывал в дверь свой нос. Катайи протянул мне руку.

— Мне нужно подумать. И все же со мной впервые разговаривали, как во Франции.

Он ушел. Слова «интернационал», «пролетариат» не входили в его словарь. Но какие бы ярлыки на него не вешали, он был, сам того не ведая, из братства коммунаров. Тремо, появившись в дверях, сообщил мне, что дела складываются не очень хорошо. Я принял еще несколько незначительных посетителей, и мы отправились на площадь Феликса Эбу.

Трибуны были воздвигнуты на южной стороне; прибыв на место, мы добрались до них только через несколько минут. Нам улыбались девушки в платках и ярких платьях, однако если на Антильских островах я на своем пути встречал: «Да здравствует де Голь!», то здесь натыкался лишь на молчание. Было что-то фантастическое в наших мотоциклистах и длинной машине, которая бесшумно скользила через разноцветную толпу, вновь прятавшуюся в ночном мраке.

Трибуны — ряды сидений для почетных лиц — окружали оратора, стоявшего на вышке. Прожектора, установленные сзади, были направлены на публику и освещали пространство на пятьдесят метров вокруг. Затем их лучи, как и свет наших фар несколькими мгновениями раньше, таяли в темноте. (Нас, как я предполагаю, освещали прожектора с противоположной стороны.) Кто-то с трибуны представил меня, бросив несколько слов в рассеянный гул. Я заметил здесь и там узкие плакаты: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФРАНЦИЯ!», которые держали в руках маленькие девочки, встречавшие меня с букетами в руках в аэропорту. Эти па-

терналистские декорации плохо сочетались с встревоженной и напряженной толпой.

Я направился к вышке.

Мои доводы были такими же, как и на Антильских островах. После первой части речи аплодировали лишь маленькие группы, но эти аплодисменты исчезали в общем молчании. Я подумал, что они были специально организованы. Все происходило ночью, но вместе с тем было светло. Вторая часть была встречена уже более громкими хлопками, хотя они все равно тонули в напряженности, но уже не молчания, а скорее болтовни. Громкоговорители не работали, за исключением тех, под которыми пытались собраться несколько сотен слушателей, затерявшихся среди десятитысячной толпы. Я начал повышать голос, сначала неторопливо, так, как я делал это, когда были микрофоны, но я находился выше толпы, и в трехстах метрах мою речь никто не слышал. Тогда при свете, над головами, над плакатами «ДА» начали подниматься лозунги «НЕТ»; и медленно были развернуты два полотнища длиной в двадцать метров, по краям прикрепленные к длинным шестам: «ДОЛОЙ!», испуганная толпа расступилась: «ФАШИЗМ».

Затем: «ДОЛОЙ ДЕ ГОЛЛЯ!».

Затем: «ДОЛОЙ ФРАНЦИЮ!».

У меня еще были силы выкрикнуть:

— Если вам нужна независимость, берите ее 28-го! Но кто же, если не де Голль, дал вам право ее взять?

Аплодисменты заглушили мой голос, и толпа отодвинулась от тех, кто держал в руках лозунги. И опять начался праздник. Справа вдалеке раздались крики: демонстранты попытались прорвать ряды службы безопасности и осадить трибуны. Затем я услышал несколько криков вблизи от меня, и вокруг моей вышки образовалась пустота. Какой-то сверкающий предмет просвистел над моим левым ухом, ударился о стену и упал к моим ногам. Я подобрал его, поднял над головой и продолжил речь. Такого оружия я не видел никогда:

деревяшка длиной сантиметров сорок, в которую перпендикулярно был вбит огромный гвоздь. За этой гранатой последовали еще несколько. Нападавшим, если бы они подошли ближе, было бы очень легко нанести точный удар. Продолжая речь, я смотрел, что делает служба безопасности: между нападавшими и мной стояли лишь девочки, которые принесли мне букеты цветов; справа находились бойскауты. Они подходили ближе, а вслед за ними двигалась черная жестикулирующая и трепещущая масса, казалось, боящаяся света. Люди, державшие в руках лозунги, не шевелились. Метатели гранат с гвоздями тоже. Их, без всякого сомнения, было больше. Один из моих сотрудников подошел ко мне: «Префект советует Вам уйти. Не до шуток!». Еще несколько гранат долетело до меня. В шуме голосов, сменившем молчание, никто меня не слышал, но толпа уже и не слушала, она наблюдала. «У Кайи, — сказал мой сотрудник, — есть один мощный микрофон, он предлагает его Вам». — «Нет, не надо...» Микрофон ничего бы не изменил: любое распространение звука было практически невозможно. Какая-то часть этого моря нападавших, волнами надвигавшегося и отступавшего назад, но угрожавшего окончательно разбушеваться, несомненно, состояла из людей Кайи (у него просто не было времени уничтожить свои лозунги). Я не собирался воспользоваться его защитой. Жестикулирующая масса все больше и больше надкусывала круг света, тогда как лозунги «ДОЛОЙ ФРАНЦИЮ!» оставались неподвижными, словно посторонняя реклама на стадионе во время матча. Эта масса не была скоплением политических бойцов, активистов, сражающихся бок о бок; это была масса людей, опьяненных смертью. Я вспомнил о самом первом романе, который я прочитал, — «Жорж» Александра Дюма. Восставшие рабы Иль-де-Франс собираются сразиться с королевскими войсками, тогда плантаторы скатывают на них по улицам бочонки с рисовой водкой — и все кончается праздником и массовой резней.

Вопли сменили собой дружное скандирование. Здесь готовился тот же *vigie*, что и на Мартинике, и это был такой карнавал, где пахло смертью. Один чернокожий схватил за талию маленькую девочку, отважно державшую лозунг «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФРАНЦИЯ!», и толкнул ее в темноту за своей спиной. Три другие девочки последовали за ней. И в круг света вступил ослепленный, колеблющийся, растерянный кортеж. Впереди четверо тащили на руках носилки с раненым в крови (закрытым простыней), безвольно свесившим руки и ноги; за ними, опьяненная кровью и яростью, с гальваническими подергиваниями двигалась сотня одержимых, вооруженных досками с гвоздями. Они направлялись ко мне, пока я продолжал свою речь, но затем отклонились в сторону трибуны, где оказалось большое количество женщин. Казалось, они хотят положить там это бездыханное тело, как «Пьету», как священный дар, но внезапно их диагональный поток вернулся в прежнее русло. Люди, у которых в руках были носилки, опустили тело. Отряд морских пехотинцев, которым Тремо отдал распоряжения, занял позицию перед трибуной, опустив карабины.

В самом центре этого глухого рокота воцарилась сверхъестественная тишина, но те, кто находился на земле, ничего не видели. Теперь перед трибуной через каждые два метра стояли неподвижные моряки (я знал, что Тремо приказал им стрелять только в самом крайнем случае); все женщины вскочили на ноги; образовалась пустота, в середине которой вздрагивал лишь оставленный раненый; и неистовая сотня, отступая шаг за шагом как испуганный зверь, угрожающее жестикулируя, отошла к границе темноты, где толпа поглотила ее. Ни лозунги «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФРАНЦИЯ!», ни плакаты «ДОЛОЙ ДЕ ГОЛЛЯ!» не шевелились. Казалось, все уходит в вечность, подобно тому как кортеж одержимых отступал в ночь.

Когда речь была уже закончена, я поднялся на вышку еще раз и прокричал уже осипшим голосом, что на

следующее утро я буду у памятника погибшим, а затем буду выступать у ратуши. (Те, кто услышал это, передали остальным.) Клаксон «скорой помощи» звучал как зловещее сопровождение моих слов. Санитары, уже со своими носилками, подошли к раненому. Все моряки присоединились к своим товарищам и охраняли трибуны. Лозунги опустили, плакаты свернули. Толпа расходилась. Стволы королевских пальм поднимались к усыпанному звездами небу, словно колонны Бальбека.

В префектуре нас поджидали священники невысокого ранга. Жаль, что не было остальных! Подождем, что будет в следующий раз, господин префект. Эти оказались самыми смелыми. Но мне было бы трудно разговаривать сразу и с миссионерами и с Его Превосходительством. Поэтому им я ничего не сказал, я обратился лишь к Тремо: «Не угодно ли Вам взять всех моих сотрудников, за исключением одного, и сразу же начать опрос?» — «Я уже позвал начальника полиции. Есть несколько раненых. И это еще не конец».

Тем не менее из открытых окон уже не доносилось никакого шума. Префект объяснил мне содержание протоколов, в которых я ничего не понимал. Кайенна была значительно меньше, чем Нью-Йорк, и мне казалось, что будет несложно познакомиться со всеми приглашенными, с которыми в тот момент было желательно побеседовать. Но ни тут то было. Мы собрались втроем — жена префекта в просторном кресле, префект и я за его спиной — и судья с цепью на шее объявлял нам со свойственной высшему свету изысканностью:

— Капитан Дюран, госпожа Дюран, член муниципального совета господин Дюпон, госпожа Дюпон.

— Где Вы его нашли?

— О, господин министр, очевидно, в тюрьме: это сосланный. Между прочим, обычная любовная история...

Через час мне рассказали, что он зарезал свою жену. Но, как сказал префект, какой стиль! Судья продолжал:

— Секретарь суда госпожа Массон, депутат!

Один нюанс. Гордилась ли она тем, что является депутатом, или придерживалась обета безбрачия? Я пожалел о том, что нет Его Преосвященства, — как бы представили его?..

— Председатель ИФАТ!

А это что такое? Судя по тону, незначительная организация.

— Генеральный секретарь БАФОГ! Супрефект Сен-Лорен из Марони!

Славный титул, тот, о котором только что было объявлено. Эта «простая любовная история» нравилась мне все больше и больше. В его стиле чувствовалось, возможно, не раскаяние, а стремление приказывать. Старый русский князь, немного душегуб?.. А говорят, что это я сочинитель! Что было бы, если бы я попросил префекта пригласить завтра на обед дюжину ссыльных? Один из них, как мне сказали, был знаменитым коллекционером бабочек... И вдруг я понял наконец то, что от меня постоянно ускользало: меня осенило это кресло, так как жена президента республики, очевидно, не может сидеть, когда представляют приглашенных (мы стремились подражать приемам в Елисейском дворце)... Крики, которые вновь были слышны за окном, раненые — и эта «простая любовная история», достойная того, чтобы я отослал ее Прусту. Гвиана, несомненно, была потеряна.

Высшее общество Кайенны было неисчерпаемо. Мы прошли наконец в салон. Прохладный буфет и люди, которых я спрашивал о Гвиане и которые в ответ говорили мне, что должен сделать де Голь. Он тоже видел этих ламантинов? Не приходило ли ему в голову, что это sireны древности? Ювелир с главной улицы продавал золотые самородки, «из которых можно сделать очень красивые кулоны». Какой-то шум еще доносился из открытых окон, но я не слышал ни одного выстрела. Сотрудник, оставшийся со мной, подошел ко мне и сказал: «Было уже немало стычек, и

Тремо считает, что в эту ночь необходимо что-то предпринять». — «Приходите вместе с ним ко мне в комнату». Я пожал руки некоторым гостям, простился с префектом и в своей комнате обнаружил всех своих сотрудников.

— К счастью, — сказал мне Тремо, — полиция настроена серьезно. Я думаю, что мы должны взять под защиту главу службы безопасности, который решился нам помогать. Перед нами разыгрывают в одно и то же время и комедию и гангстерский фильм. С одной стороны, префект, радикал, каких и во Франции не найти...

— Их оттуда экспортируют!

— Его предупреждение, что девяносто процентов населения будет голосовать против нас и того, что мы делаем, — это не что иное, как провокация. У него тем не менее есть свой кандидат на ближайшие выборы. Он плохо относится к депутату, который в той или иной мере — голлист, и на ножах с Китаем, который пользуется славой сумасшедшего, но который все же существует. Префект поэтому и не организовал никакой защиты. Почему он уверял всех в Париже, что Гвиана потеряна? Чтобы показать, что депутат ничего не может сделать? Чтобы добиться принятия мер против Китая? Может быть, по глупости! Бойскауты, девочки — все это подходит для встреч в аэропорту. Американский автомобиль был заказан специально для нас.

— «Показательное выступление с цветами!».

— Остальные считали, что ничего не могут им противопоставить. Морские пехотинцы не были включены в программу. Они действовали как один человек: они вышли из себя, когда увидели, как схватили девочек. Мне тоже потребовалось идти их разыскивать, так как местные власти и пальцем не пошевелили. Люди с плакатами — это были люди Китая, которые в настоящий момент находятся под моим контролем. Он не учел, что звуковая установка не подействовала бы.

Префект должен был бы проверить все утром и принять необходимые меры; Катайи и хотел доказать, что префект ни на что не способен. Будут ли они голосовать против Франции, еще посмотрим. Это им быстро надоест.

— Я тоже в этом уверен.

— С нормальной звуковой установкой Вы получили бы один галдеж и восторженную «Марсельезу» в конце. Теперь же все становится сложнее: люди с плакатами были скорее людьми Катайи, чем тайными коммунистами. Но не те, которые бросали гранаты с гвоздями.

— Знали ли Вы о таком оружии?

— Никогда не видел. Но это было серьезно. Для этого, еще до выступления, в те места на площади, где оказались демонстранты, известные своей жестокостью, кто-то принес бочонки с ромом. Кто-то их раскупорил и уехал.

— Кто?

— Я не знаю. Да и завтра не узнаю этого. Но дело здесь не только в политике, хотя раненых было довольно много. В полиции мне сказали, что коммунисты прислали людей из британской Гвианы и англичане закрыли на это глаза. Я добился, чтобы их арестовали, и это было вполне законно, потому что они пришли сюда тайно. Это было и легко сделать, потому что все они были совершенно пьяными. Они были такими же коммунистами, как и Катайи, и англичане каким-то образом замешаны в этом деле. Это известные контрабандисты. Следовательно, комедия усложняется соперничеством между бандитами, которое, безусловно, связано с политической борьбой. Что касается беспорядков, то я готов утверждать следующее: листовки против Франции были отпечатаны в типографии префектуры; первая спичка, от которой зажглась толпа (остальные уже не имели большого значения), — это была дочка директора лицея, а виновником был один из учителей.

— Вы уверены, что листовки были отпечатаны в типографии префектуры?

— Абсолютно.

— Имею я право сместить на время префекта, не так ли?

— Он этого и ждет. Вы же представляете правительство.

— Выйдя от меня, Вы скажете ему, что он должен уйти в отставку, вплоть до решения министра внутренних дел. Я буду в Париже послезавтра утром. Этой ночью Вы его замените. Сколько «возмутителей спокойствия» Вы хотите арестовать?

— Всех, за исключением двух или трех.

— Bravo! И как можно быстрее, в том числе и таких опасных болванов, как этот учитель. Людям нужно всего лишь понять, что шутки кончились. Что касается пьяных, то те, кто привозят бочки, нам не менее интересны, чем тем, кто пьет. Какие настроения в городе?

— Они озлоблены против всего мира. Они пришли, чтобы выслушать Вас, а им помешали это сделать.

— Моя слава должна остановиться у ворот Кайенны!..

— Нет, ведь на памятнике губернатору Эбу есть и Ваша подпись.

— Это преимущество еще не потеряно. Поэтому о префекте не говорим больше до референдума. Оставим это место вакантным. Кто его заменит, по крайней мере, до прибытия преемника? Вы, разумеется, будете все держать под контролем, некоторое время. Что представляет собой генеральный секретарь?

— С ним все в порядке. Это сын Андре Филипа.

— Хорошо. Но надо заручиться его согласием, потому что он будет рисковать своей шкурой. Он будет сопровождать меня к памятнику погибшим и у ратуши.

— Если что, я буду префектом.

— Спасибо. Лучше довериться местным властям, уж Вы-то знаете. Или эта ночь расставит все по своим местам и волнения стихнут, если мы примем все необ-

ходимые меры (Вы знаете это лучше, чем я...). Или все это серьезно (во что я не верю) — и тогда нас никто не сможет защитить во время «Марсельезы» перед памятником погибшим. Или хороший результат опроса, или последняя хорошая ночь.

Они вернулись к работе. Окно было распахнуто, постель закрыта сеткой от moskitov. Все еще многолюдная толпа передвигалась без шума, словно чернокожие были немыми. Крики, все более и более редкие и все более и более удаляющиеся, терялись в неистовстве джаза. Королевские пальмы, укрывавшие миссионеров и каторжников, поднимались над домами. Эта ночь была самой нелепой в моей жизни. В двадцати километрах начиналась территория, где властелином был лес, такой же живой, как горы или океан, с цветастыми попугаями и хищными рыбами в реках; он тянулся до подножия плоскогорья. Президент Кубичек рассказывал мне в Бразилии: «Когда мы прокладывали две большие дороги через лес, то иногда находили на деревьях гнезда людей, которые не менялись с каменного века...». И гораздо ближе, в Марони и на прекрасной площади Феликса Эбу, росли ужасные пальмы хамеропс, с которых спускались пауки-птицееды, и заснувшие ссыльные погибали от их укуса.

Я пытался заснуть. На ночном столике лежал альбом. Его открывала фотография решетки ворот каторжной тюрьмы. Я представил стены Бастилии и нашел похожий орнамент на фотографии дома нотариуса, с высоким фонарем на крыше, откуда спускались бугенвиллеи. Затем заброшенная церковь, фрески которой, заросшие сорняками и ежевикой, были нарисованы заключенными, и поэтому апостолы на них носили одежду каторжника. В камерах, где теперь насекомые откладывают личинки, рядом с надписями — кандалы для ног, железные кольца, к которым крепили ремни, чтобы привязывать заключенных. «Железная дорога» в зарослях, по которой люди тащили вагоны с грузом; могилы (охранников), такие странные в этой бездей-

ствующей преисподней; и в центре этого изобилия колючек и сорняков — маленькая утрамбованная площадка, на которой ничего не растет, но которая окружена бугенвиллеями, такими же фиолетовыми, как и на решетке у входа. Это было место для гильотины.

Недалеко от гаража префектуры звучит мелодия, звучит флейта индейцев (отголосок другого мира). Каторга исчезла, как исчезла ярость незавершенного мятежа, о котором мне напомнила усеянная гвоздями деревяшка, оставленная на столе. Осталась лишь нечеловеческая мелодия, молчаливая ночная прогулка по площади и последние гости, которые выходили с приема у графа Хоффмана, а провожал их изысканный душегуб...

Утро начиналось хорошо. Единственное, что сделал префект в Кайенне, — это униформа. Генеральный секретарь был выше префекта на двадцать сантиметров, а форма была только одна. Фуражка с позолотой выглядела на его макушке как шляпка маленького гриба. Но он мог держать ее в руке, что было недопустимо в случае с брюками, доходившими до ботинок лишь благодаря изобретательно удлинненным подтяжкам. Оставался мундир, совершенно необходимый, так как на нем были нашивки. Под предлогом жары можно было расстегнуть воротник, однако рукава были короче на добрых десять сантиметров, и в целом возникало впечатление, что перед нами моряк с помпонами из мультфильма, а не высокопоставленный чиновник республики. Он был похож скорее на префекторскую карету, чем на самого префекта. Генеральный секретарь воспринял всю эту «мультипликацию» с хорошим чувством юмора. Мы отправились к памятнику. Вчерашняя красивая машина уже исчезла.

Едва мы вышли, как я почувствовал, насколько эта наша дневная авантюра была связана с ночью. Люди смотрели на нас с симпатией, но ведь это были мелкие буржуа, а не те, кто бросал в меня гранаты с гвоздями.

Памятник погибшим находился на тесной площади, и стрелять в меня можно было лишь с десяти метров, то есть с расстояния в пределах видимости. Толпа, впрочем, была редкой и вела себя более осторожно. Во время поминального звона колоколов я наблюдал, как перед статуей рядом с моей тенью вытягивалась еще одна, со слишком уж короткими рукавами...

Когда церемония закончилась, мы пошли к ратуше. Здесь толпа уже заполняла улицу, и были установлены громкоговорители. Муниципальный совет был в полном составе, мне предложили бокал вина. Мэр произнес теплую речь, закончив ее криком: «Да здравствует Франция!». Я говорил с балкона (на этот раз слушали очень внимательно), согласно традициям 1848 года. Я вновь обратился к злободневным темам, которые частично совпадали с темами Мартиники, но на сей раз сорвавшим аплодисменты, словно дневное население желало отказаться от ночной манифестации. Я рассказал, не повышая голоса, о своей беседе с генералом де Голлем:

— Он сказал мне, для вас: «Нужно поехать в Гвиану, потому что Франция должна помочь Гвиане». А еще он сказал мне, уже для меня одного: «Нужно поехать туда, потому что это душераздирающее зрелище».

Гул одобрения наполнил улицу, как и овации на Мартинике. Мэр спустился вместе со мной, и мы прошли, поддерживая друг друга, к префектуре. Новый префект и Катайи следовали за нами. За нашими спинами, как и в Фор-де-Франс, начинался *vide*; тысячи людей, в том числе и женщины, подняв одну руку вверх, другую опустив вниз, танцевали, импровизируя, фарандолу. Когда мы добрались до места (всего лишь за несколько минут), возглас «ДА!» настиг префектуру, и генеральный секретарь наконец облачился в свою собственную одежду.

В ней же он провожал нас и в аэропорту. Опять молоденькие девушки, опять телеги с цветами, с триумфальной аркой в виде ручки корзины. «Прощайте,

платки, прощайте, шелка...» Несколько кокосовых деревьев, зловещие птицы и пыль, вихрем вращавшаяся вокруг аэропорта, который, как ни удивительно, еще принимал самолеты...

В порту Мартиники наши друзья, получившие ночные, а не утренние новости, ожидали нас с беспокойством. Напрасно: восемьдесят процентов жителей Гвианы и Антильских островов проголосовали «за», Кайи стал депутатом, а генеральный секретарь — префектом. У меня не было времени повидать продавца золотых самородков, не видел я и улицы, где стоял его магазинчик. Может быть, это и была та бакалея, на вывеску которой я смотрел, когда приехал в Гвиану?

5

1958—1965

После такой живописной и полной впечатлений поездки генерал де Голь поручил мне съездить в некоторые азиатские страны, отношения с которыми у Франции строились лишь на договорах; и, в первую очередь, к Неру.

Я знал положение дел в Индии, так как только что встречался с Джайяпракашем Нарайяном, лидером социалистов Бомбея. И самый лучший знаток Индии во Франции, мой друг и писатель Раджа Рао, недавно приезжал в Париж. Наш посол был не таким пессимистом, как префекты с Антильских островов.

В два часа ночи он ожидал меня в аэропорту вместе с государственным секретарем внешнеполитического ведомства, одетой в сари, казавшемся белым в свете прожекторов. Ее звали Лакшми. На Западе государственный секретарь может носить имя Мария, в честь Девы Марии, но богини иных религий навевают иные сны. Граф Остророг, потомок монгольских завоевателей и, если верить сплетням парижских набережных,

внебрачный сын Пьера Лоти, был достоин тех чувств, которые в Индии слово «посол» вызывает у поэтов. Тонкие узловатые пальцы, которыми он мял как пластилин ласковую и участливую Индию, поднесли кинокамеру к физиономии благовоспитанного пирата. Этот потомок властелинов степей, идадьго, римских и даже французских кардиналов был послом средиземноморской цивилизации с тысячелетней историей в весьма юной Индии; оставалось лишь мечтать, когда же станет известно, что такое Индия на самом деле. На одном из обедов в Капитолии (так тогда назывался древний дворец прежних царей, ставший Домом правительства) во время речи строгого премьер-министра Остророг поглаживал свои знаменитые итальянские сапоги, словно ножки танцовщицы...

Мы добрались до Капитолия (я был гостем всей Индии), и из всей его темной громады ночью мне удалось рассмотреть лишь длинные коридоры, огромный портрет Ганди в набедренной повязке и, в моих апартаментах, главу службы протокола в окружении слуг времен прежних царей (по одному на каждую дверь). С этими уволенными Али-Бабой персонажами мы общались в расположении нашей миссии только жестами. Министр, отвечавший за культуру, должен был встретиться со мной в восемь часов.

Еще до того, как я проснулся, принесли газеты. Начиналась афроазиатская неделя!.. Министерский прием был таким же, как и всегда: осторожным и деликатным. Ожидалась моя беседа с Неру.

Я и раньше видел Капитолий и Нью-Дели. Но у меня не сохранилось никаких воспоминаний; в 1929-м Индия интересовала меня больше, чем Англия. Однако уход Англии сообщил этой архитектуре дух, которого раньше не было. Ганди и Клемансо приписывают одну и ту же фразу: «Здесь будут прекрасные руины!». Но руин еще не было; это был всего лишь захваченный дворец, похожий на Кремль. Нью-Дели — это не го-

род, это «административная столица», но его просторные улицы цвета красного песка со стражниками-сикхами, имевшими право носить здесь оружие, выходили не к зданиям администрации, а к парламенту, можно сказать, что они выходили к исчезнувшей Империи.

Дворец, министры, приемные. Вся Британская империя несет на себе следы английского величия, везде тот же акцент, который викторианская готика придает Темзе. Здесь же, как и на Хайберском перевале, величие было римским: мечта Цезаря в Александрии — мощный массив, расположенный в просторном эллинистическом театре, смешанная с другой мечтой — мечтой о союзе англичан и индусов, который соперничал с союзом индусов и мусульман. Капитолий был явным соперником Большой мечети Дели, одним из самых грандиозных сооружений в мире ислама; соперником Фатепура Сикри, Красной крепости, всей архитектуры Моголов, всей этой персидской Америки. Ислам был здесь всегда. А Англия? Больше, чем кажется? Но эти имперские красные улицы, по которым я добирался до парламента, ожили не благодаря ее присутствию; наоборот, именно благодаря ее решению они были заброшены. В этой стране, построившей столько знаменитых гробниц, единственный шедевр, соперничающий с шедеврами последователей Александра, несмотря на посредственность своей архитектуры, становится достойным восхищения с тех пор, как превратился в гробницу Империи.

Я нанес ответный визит Неру, посетив его кабинет в парламенте. Для этого нужно было перейти из величия Капитолия в коридоры префектуры, где располагались приемные для скромных просителей. Но здесь, как и в Капитолии, стены украшали многочисленные портреты Ганди.

Тогда Ганди — своими деяниями, своими изображениями, своими назиданиями — заполнял всю Индию. Для Европы он был уже лишь освободителем с чисты-

ми руками. Его изображали с такой живописностью, с какой изображают только святых: упрямый привратник с широкой беззубой улыбкой, обернутый в скромную простонародную матерю (одеяние, которое символизировало свободу). Хотя Индия уже склонялась к тому, чтобы рассматривать его как последнего аватара* Вишну, многие важнейшие черты его биографии еще оставались точными и правдивыми: наставления 1920-го под широким баньяном, затем бродяжничество по берегам Сабармати, резня Амирицара; поднятые вверх пальцы левой руки, указывающие толпе, что должна сделать Индия; необычный костер из предметов европейской одежды, в котором пылали шляпы, воротнички, подтяжки, брошенные теми, кто теперь носил только дхоти,** — предтеча тех погребальных костров, перед которыми читали потом «Бхагаватгиту»; и гражданское неповиновение, отказ от сотрудничества с властями в день смерти Тилака. И прежде всего, Поход за Солью.

2 марта 1950-го Ганди сообщил заместителю царя, что гражданское непослушание начнется через девять дней. 12 марта он уехал к морю, сопровождаемый семьюдесятью учениками. Крестьяне украшали кроны деревьев на дорогах, вставали на колени на пути его паломничества. Триста деревенских старост отказались от своих должностей. Семьдесят сопровождающих превратились в десятки тысяч, и перед их лицом Ганди собрал соль, выброшенную на берег волнами, нарушавшими закон о соляном налоге. Тропическая жара дала необходимую людям и домашним животным соль, но каждый знал, что Ганди, больной, не пользовался ею уже шесть лет. Он сразу же стал известен всей Индии.

* Воплощение, нисхождение бога.

** Традиционная мужская одежда у народов Южной и Юго-Восточной Азии в виде полосы ткани (2—5 м), драпирующей бедра так, что конец ее пропускается между ног.

Везде вдоль берега рыбаки собирали соль, к ним присоединялись крестьяне и полиция, начавшая массовые аресты. Мятежники подчинялись ей, но свою соль не бросали. В Бомбее шестьдесят тысяч человек собрались перед зданием конгресса; в галерее обсуждали испачканный песок. Соль, которую собрал Ганди, была продана за тысячу шестьсот рупий. Когда Неру был осужден на шесть месяцев тюрьмы, Индия ответила на его тюремное заключение *харталами*.^{*} В Патне толпа легла на землю перед правительственной кавалерией, которая не смогла проехать. В Карачи пятьдесят тысяч индусов охраняло тех, кто собирал соль, и полиция не смогла их арестовать. Тем не менее число заключенных достигло ста пятидесяти тысяч. В ночь с 4-го на 5 мая был арестован и Ганди — в деревне, среди учеников.

В Дарасене, к северу от Бомбея, индусы пришли к правительственному солеваренному заводу, охраняемому четырьмястами полицейскими. По мере того, как они приближались к заводу, была открыта стрельба, и многие были убиты; их молча сменяли другие и падали в свою очередь замертво. Санитары уносили окровавленные тела. Завод продолжал работать, хотя требовалось открыть временный госпиталь. Вся Индия осознала свое рабское положение. Вскоре Черчиллю пришлось говорить об «этом мятежном полуголом факире во дворце царского наместника». Теперь наместник уехал, и легенда о Ганди, оставившая благородный Запад безучастным, здесь стала легендой о борце. Вначале она была устной. Когда он сообщил, что откажется от пищи, если не будут признаны права неприкасаемых, то речь шла о «посте», а не о голодной смерти. Это самоистязание, посягавшее на самое сильное в Индии табу, было таким же иррациональным, как и он сам, и индусы наблюдали за ним, как за медленным

^{*} Знак протеста в Индии, выражающийся в прекращении всякой деловой активности.

распятием. В Индии, где девяносто пять процентов жителей не имело радио, каждый знал, когда Ганди начала грозить голодная смерть. И каждый знал, что его конечной целью было очищение Индии, а ее независимость была лишь одним из главных следствий. Он желал, чтобы его наставления дошли до самых несчастных и униженных, даже когда говорил: «*Сварадж* придет не вместе с победой нескольких людей, а когда все станут способны сопротивляться несправедливости». И все читали молитвы, когда узнали, что последний лоскуток упал с покрывала в конце концов убитого Ганди и что все закончилось темно-красными углями и бледным пеплом. Однако присутствие Ганди чувствовалось и в парламенте, и в Капитолии. Виноба Бхаве, единственным оружием которого были наставления, получил два миллиона гектаров земли (не самой лучшей, конечно...) для крестьян. В мире, где еще не исчезли тени Гитлера и Сталина, Индия продемонстрировала свое освобождение от Англии без единой жертвы со стороны англичан. Слово «демократия», несмотря на нищету, приобрело здесь почти религиозный смысл. Бандунг* продемонстрировал власть Неру, как продемонстрировал и его слабость, порожденную молчанием Неру перед действиями русских в Будапеште. Но политика Индии в той же мере вырабатывалась в конгрессе или в парламенте, как и политика гитлеровской Германии в рейхстаге: политика Индии унаследована от маленького человека в набедренной повязке, который догадался в ответ на введенный англичанами налог увести к Индийскому океану миллионы индусов, искавших там соль, а нашедших свободу.

Нас — атташе нашего посольства и меня — привели в небольшой кабинет: стола там не было, лишь неско-

* Город в Индонезии, где в апреле 1955 года состоялась конференция, объединившая 29 стран Азии и Африки. Эта конференция положила начало Движению Неприсоединения.

лько стульев и картина, на которой изображен Ганди в натуральную величину. Любопытный атташе посольства, но уже в Индии... Седые длинные волосы, седые, опущенные вниз усы. Точные, взвешенные жесты. Из какого ашрама он прибыл — из ашрама* Менона или Ауробиндо? Он взглянул на картину:

— Вы везде видите Ганди, повсюду только он. Я приехал в Индию из-за него. От него уже ничего не осталось.

— За исключением независимости.

— Да... Нет... Неру ни в коей мере не узурпатор, но он политик; если махатма** не был президентом, то это не случайно. Он был из совершенно иного мира; Неру это знает.

— Что поделаешь? Он — глава Индии, а не святой.

— Конечно. Но есть одна вещь, которую необходимо понять, которую именно Вы должны понять. Весь мир об этом знает — в конце концов, все древние об этом всегда знали, — но никто не говорит. Время уходит, и, может быть, через двадцать лет уже никто не скажет: «Все, что представлял собой гандизм, все, за что мы сражались, и, как следствие, получили независимость Индии, уже исчезло».

— Вы имеете в виду ненасильственное сопротивление?

— Да-да, конечно, но не только. Оно возникло как движение против англичан; оно почти не распространилось на Пакистан. Но все это не завершилось Пакистаном... Не сегодня, так завтра ждите подобного и в Китае. И потом, ненасилие... Известно, чем оно, в сущности, было. Незадолго до его смерти наш генеральный консул пришел с ним проститься: «Теперь, махатма, Вы, должно быть, удовлетворены?» — «Вы ошибаетесь. Меня интересовала лишь одна вещь — борьба.

* Духовная или религиозная община, члены которой отрекаются от всего мирского.

** Духовный учитель.

Она закончилась, и то, что мы делали, также завершено...». Я знаю, я хорошо знаю: миллион слепых, семьдесят миллионов неприкасаемых и все тому подобное; тем не менее этот народ несет в себе высшую духовность этого мира. Его борьба была борьбой за духовность. Она охватывала всю Индию в целом. Но на этом великом пути каждый стремится к мистическому единению, это так же банально, как в Америке — стремиться к деньгам. Люди ищут обновления в своих молитвах. Все, что Вы увидите в этом здании, — все это политика, а, следовательно, Европа; все остальное прервалось вместе с Ганди. Почему можно было и нападать на него и в такой же степени им восхищаться? Потому что его мышление не было политическим. Он принял политические формы. У него были политические последствия. Но он был последним из великих гуру. Я вышел из ашрама и знаю, что любой контакт с абсолютом осуществляется через медитации о бренном и непостоянном. Вы находитесь в стране бренного и непостоянного. Вы знаете притчу, где аскет смотрит на цепочки бегущих муравьев как на шествие богов или как на ход тысячелетий... Вы везде видите фотографии или картины маленького человечка, такого же беззубого, как уличная собака, с ногами как у цапли. Вы верите, что он настоящий, потому что Европа верит в Историю, то есть в непрерывность. Индия, в конце концов, политическая Индия лишь делает вид, что тоже в это верит. Но это не настоящее. Мир соткан из преходящих мгновений...

Дверь приоткрыли.

— Однажды, — не обращая внимания сказал длиноволосый атташе посольства, — он выступал перед толпой в несколько сот тысяч человек, говорил своим ровным баритоном, через один микрофон. В поле между большими цветущими деревьями, я думаю, плюмериями... И цветы начали вянуть. Из-за толпы? Кто знает?

В этой истории многое заимствовано из жизнеописаний Будды, от свойственного тому отношения к при-

роде, столь слабо выраженного в Евангелии; нечто подобное мы найдем скорее в апокрифах, с их рассказами о быке и осле, и у Святого Франциска: вещие птицы, сойки, кружащие в небе в тот момент, когда Будда входит в нирвану; газели, слушающие его наставления. Возможно, дыхание огромной толпы привело к тому, что цветы завяли. История не совсем вымышленная, так как я ее услышал не так давно от Раджи Рао, который присутствовал на этом выступлении и который с писательским талантом передал сверхъестественную атмосферу, царившую на поляне, где цветы безмолвно ложились, словно белые животные, перед посланником богов.

— Я смотрел, как падает этот снег, и думал, что это время уже не вернется. Сегодня, несмотря на все его портреты и фотографии, я знаю, что время Ганди закончилось навсегда. Мы не...

Большая дверь открылась полностью. Нас проводили в другой кабинет, больше, чем первый, украшенный другим портретом Ганди. Пресса и около пятидесяти фотографов дожидались секретаря, который должен был прийти за мной. Внезапно все они повернули головы в одну сторону: открылась другая дверь, но не секретаря, а Неру.

Он знал, что печать Дели упрекала его за то, что он собирается принять меня. На то были веские причины: Индокитай, Алжир. Были и причины по-детски несерьезные: многие журналисты, сотрудничавшие с некоторыми еженедельниками Лондона, прозорливо приняли генерала де Голля за наследника Гитлера. Наконец, и еще одна причина, которую я игнорировал, а он нет: бóльшая часть этой прессы была против него и того, что он делал. Журналисты расступились перед ним, прошептав его имя так, как это делала толпа перед телом убитого Ганди. Он обнял меня (телевидение зарегистрировало это) и заговорил со мной так, словно мы не виделись месяц, тогда как на самом деле мы не встречались уже больше двадцати лет: «Я счастлив

снова увидеть Вас; в последний раз это было после Вашего ранения в Испании: Вы вышли из больницы, а я — из тюрьмы...». Я был восхищен, как талантливо он обезоружил это стадо; я был восхищен и его человечностью, для которой одного таланта было бы недостаточно. Он взял меня под руку, и мы прошли в его кабинет.

Я помню только стол, из очень дорогого дерева, с гладкой поверхностью, которая, после последних вспышек телекамер, отражала лишь букет роз между нами (который всегда стоял здесь) и его лицо. Когда читатель увидит эти строчки, лицо Неру, может быть, уже не будет таким привычным, как в те дни: История сохраняет лишь маску. Это было лицо римлянина, с тяжелой нижней губой, сообщавшей его улыбке ту «жертвенную» обольстительность, которая отмечает человека Истории. В этом его призвании никто не ошибался, в том числе и он сам. Но за маской фотографий скрывалась улыбка, вместе с мечтательным выражением лица, которое создавало впечатление, что у него голубые глаза (на самом деле они были карими), прекрасно сочетающиеся с его сединой.

Я узнавал в нем темперамент главы отряда маки, которым его пилотка 40-х годов не показалась бы странной. Теперь он демонстрировал доброжелательную и немного усталую иронию по отношению к миру, скрывавшую его замкнутость, но не прятавшую ее. (Его мать подвергалась оскорблениям, когда носила продукты заключенным, а он отказывался от всех посещений в течение семи месяцев в тюрьме Дера Дун. «Он — само мужество», — говорил Ганди.) Возраст почти не состарил его лицо, которое, казалось, было дано ему кем-то другим (это случается со многими людьми, которые были похожи на свою мать, но становятся похожими на отца, когда стареют). И в его голосе, в его позе, под обликом патриция-интеллектуала возникал образ человека спокойного и любезного, который в юности, несомненно, был джентльменом.

Он прочитал письмо генерала де Голля, бывшее верительной грамотой, положил его на стол и обратился ко мне, широко улыбаясь:

— Итак, теперь Вы министр...

Эта фраза не значила: «Вы являетесь представителем французского правительства». В какой-то степени бальзаковская, но, прежде всего, характерная для Индии, она означала: «Вот Ваше последнее перевоплощение...».

— Малларме, — ответил я ему, — рассказывал: однажды ночью он слышал, как кошки разговаривали через водосточную трубу. Любопытная черная кошка спрашивала у его кота, храброго Раминогробы: «А ты, что ты делаешь?» — «В этот момент я притворяюсь, что я кот Малларме...».

Неру улыбнулся еще шире и согласился со мной. Его жесты, ранее довольно широкие и разнообразные, теперь почти полностью сводились к движению согнутых пальцев к своему телу. И в этой прохладной жестикуляции, сообщавшей его власти такое обаяние, которого я нигде больше не встречал, я видел единственное настоящее различие между прежним Неру и моим собеседником. Ибо власть — это возраст, и она почти не меняется. Я изложил ему, довольно бегло, как я представляю выставку индийского искусства, которую мы хотели открыть в Париже. Он дал мне свое согласие и спросил, что мы предложим взамен. Я предложил римскую скульптуру или выставку об истории Революции.

— Для нас, — ответил он, — Франция — это Революция... Когда Вивекананда узнал о ней, он пришел к своим друзьям, и они кричали: «Да здравствует Республика!» Знаете ли Вы, что «Отверженные» — одна из самых знаменитых иностранных книг в Индии?

К тому времени я уже встречал подобное «присутствие» Франции. Позже мне неоднократно приходилось с ним сталкиваться. Его не стерла Советская Россия. В слабо развитых странах машина дает больше

квалифицированных рабочих, чем пролетариата. И везде, где революцию совершал не пролетариат, а народ, уроки Французской революции, восторженной борьбы за справедливость, провозглашаемой от Сен-Жюста, от Мишле и, прежде всего, от Виктора Гюго до Жореса, сохраняют свою привлекательность, по меньшей мере равную привлекательности марксизма. В Африке, в Латинской Америке, даже когда методы революции являются русскими, ее язык — все еще французский. Я видел кипы «Отверженных» между Бакуниным и теоретическими сочинениями Толстого в Барселоне во время гражданской войны.

— Римская скульптура? — повторил он. — Нашей собственной скульптурой эпохи высокой классики здесь почти никто не восхищается. Она производит магическое воздействие на толпу, как и фетиши на обочине дороги... Члены парламента уважают Эллору, но не ходят туда...

— Отношение парламентариев к искусству всегда отличается сложностью; в конце концов, ваши, по крайней мере, знают «Бхагаватгиту».

— Как английские депутаты знают Библию...

Он творил Индию, окруженный кольцом Сатурна, созданным враждебными политиками. Когда я удивился, какое курьезное представление создала пресса Дели о французском правительстве, он ответил мне жестом надежды и смирения, ироничным обращением к Аллаху: «О! И об индийском тоже...». Я убедил его, что положение генерала де Голля в этом отношении является почти таким же, как и его собственное. Он был заинтригован; я сомневаюсь, что он отдавал себе в этом отчет.

Память о тоталитарных партиях — или их наличие — обладала здесь такой же властью, как и во Франции; Неру был больше похож на Сталина, чем на Рузвельта. Но для него, хотя он это и отрицал, генерал де Голль был, конечно же, больше похож на Муссолини, чем на Черчилля. Тем не менее, будучи слишком

умным и слишком информированным, чтобы полагать, что де Голль станет вождем фашистов или «что он будет отправлен в отставку партией Сустеля», он внимательно следил за событиями во Франции. Он не вмешивался в то, что происходило в Индокитае или в Алжире, потому что сам проповедовал, что национальная независимость должна быть завоевана без иностранной помощи. Он не принимал всерьез IV Республики: председатель Совета с опаской принял его в лесном ресторане в связи с тем, что была весна. Но он предвидел близкий упадок Англии, которую долго знал как первую державу в мире; он наблюдал за упадком Европы, не забывая, что раньше видел, как возрождаются Германия и Россия. С другой стороны, с вниманием относясь к Африке, он затруднялся примирить создание Французского содружества с войной в Алжире. Слово «Алжир» просочилось в наш разговор, и я по слегка разочарованным жестам заметил, что он упрекал себя за то, что я, его гость, вообще произнес это. Я всего лишь сказал:

— Именно генерал де Голль добьется мира в Алжире.

Он посмотрел на меня то ли с недоумением, то ли с недоверием.

Я подумал о том, что называли тогда «миром храбрецов», и о братаниях, о которых сегодня я даже не знаю, в какой мере они были искренними или фальшивыми. Но для меня, как и для него, ни сохранение Содружества, ни независимость наших прежних колоний в Африке не позволили бы войне в Алжире продолжаться бесконечно.

— Какую роль, по Вашему мнению, играют коммунисты? — спросил он.

— В Париже — огромную, в Алжире — незначительную. Но неужели Вы верите, что у коммунистов еще есть политика?

Он бросил на меня вопросительный взгляд.

— Я хочу сказать следующее: раньше Великобритания по-своему представляла планетарную политику.

Чего не скажешь о Соединенных Штатах. Они стали самой могущественной страной мира, сами того не желая. Этого не было ни при Александре, ни при Цезаре, ни при Тимуре, ни при Наполеоне: их гегемония была следствием завоеваний. Возможно, это случилось потому, что Соединенные Штаты хорошо умеют воевать и плохо живут в мирное время.

Я представил огромный автомобиль Фостера Даллеса, министра иностранных дел Соединенных Штатов, вновь и вновь пересекавший ворота отеля «Матиньон», и у меня возникло чувство, что я вижу, как в ворота какого-то города на Востоке входит проконсул, посланник Рима... На следующий день генерал де Голь сказал мне: «Или останется Запад и останется общая политика по отношению к остальному миру, или... Но Запада тогда уже не будет». Соединенные Штаты не были для него Западом.

— Сегодняшняя планетарная политика американцев, — начал я вновь, — это антикоммунизм, следовательно, она определяется политикой русских. Даже ее самая грандиозная операция — это план Маршалла. Планетарная политика русских нам, напротив, хорошо известна: она состоит в том, чтобы заставить служить Советскому Союзу силы, от рождения служившие Интернационалу. Но после смерти Сталина эта политика, кажется, уже почти не сохраняется. По крайней мере, об этом нам говорят Алжир, Африка и даже Бандунг. Сегодня в первую очередь интеллектуалы ставят политические проблемы, ориентируясь на коммунизм.

— Где же они, с Вашей точки зрения?

— Во Франции коммунизм — это коммунистическая партия, та, которую Вы знаете в одно и то же время и хорошо и плохо. Большинство интеллектуалов разрывается скорее между социальной справедливостью и нацией, чем между коммунизмом и капитализмом. Когда я был в Соппротивлении, я обручился с Францией, и не я один. В Соединенных Штатах, кажется, все обстоит совсем иначе. Для моих американ-

ских друзей после процесса Хисса, после дела Оппенгеймера коммунизм стал *заговором*: коммунисты оказались секретными агентами русских, сражавшимися за интересы пролетариата; но пролетариат, то есть профсоюзы, не был коммунистическим. Каждый считает, что коммунисты — это другие, это не он сам... Но любой человек движется к Богу через своих собственных богов, как говорят в Индии.

Шутка? Он продолжал:

— Мои слова удивили Вас? Но после того как я впервые побывал в Европе, меня удивляет Ваше удивление. Вместо того, чтобы идти к Богу через других богов, Запад поступает иначе, восхищаясь одновременно Платоном, Спинозой, Гегелем, Спенсером, не говоря уже о тех, кто восхищается сразу и Ницше, и Марксом, и Иисусом.

Его притягивал к себе коммунизм. Как и генерала де Голя, последний интересовал его больше, чем капитал. «Здесь коммунисты занимаются главным образом полемикой», — сказал он. И добавил: «Один из наших штатов, Кераяя, в руках у коммунистов; члены Центрального комитета были, между прочим, брахманами...». Я знал, что он не разделял антикоммунистические взгляды Ганди, который говорил: «В России правит диктатор, который мечтает о мире и верит, что сможет достичь его через море крови». Но он также говорил: «Интеллектуалы ужасаются моим идеям и моим методам». Неру восхищался русской революцией, освободительной борьбой против царизма, близкого к капитализму. Не чувствуя угрозы ни со стороны коммунистической партии, ни со стороны Красной Армии, он думал о России как о чем-то далеком; не веря в вооруженное столкновение между Советским Союзом и США, он, возможно, не без удовольствия взирал на холодную войну между ними, доносившую до Индии последствия соперничества между двумя великими противниками. Для меня история столетия была уже сорок лет историей подъема коммунисти-

ческого движения и усиления влияния Америки в Европе. Для него эта история была историей краха колониальной системы и, прежде всего, освобождения Азии. Его государственный социализм не был связан ни с Советами, ни тем более с капитализмом, «который не перестал прибегать к насилию, с его особыми методами». Западные страны (и, возможно, Россия) осуждали Индию в зависимости от успехов в холодной войне и говорили о третьем мире и о нейтралитете. Но для Неру это был его мир, который шел к самоопределению в зависимости от двух других: мир стран, добившихся освобождения и в то же время отсталых, стран, которые должны были в первую очередь сменить тип своей цивилизации. Ориентируясь на Запад? «В какой-то степени; но наука и техника создали за двести лет цивилизацию, сильно отличающуюся от той, которая была во времена Французской революции и американской войны за независимость; Индия, знакомая с наукой и машинами лишь сто лет, вряд ли будет на нее похожа, но, возможно, она будет ближе к Европе...» Для Запада Советский Союз символизировал революцию прошлого и иногда будущего; для Неру он символизировал прежде всего систему планирования. «Ничто, после учения о ненасилии, не поразило меня так, как планирование в Центральной Азии. И, возможно, европейцы не отдают себе отчета, что в Азии сегодня индустриализация является таким же могущественным мифом, каким когда-то была независимость...»

При случае можно было бы использовать методы русских и капиталы американцев; без особых иллюзий, так как если иностранная помощь и была необходима для развития Индии, то само это развитие мог обеспечить только труд самих индусов, «опасающихся увидеть рождение нового колониализма, на этот раз психологического; и, между прочим, я не считаю, что каждый индус будет стремиться во что бы то ни стало обладать холодильником и автомобилем». Какие холо-

дильники? Голод держал Индию за горло своей костлявой рукой. Не являлось ли коммунистическое планирование более эффективным средством против голода, чем капиталистический либерализм?

Я понимаю, почему его слова потрясли те страны, которые мы называем третьим миром. В этом мире он, как и Ганди, говорил нечто самоочевидное. Он между прочим намекнул и на Конференцию круглого стола, где Ганди, в окружении позолоченных знаменитостей, похожих на нимф с потолка, зябко кутался в свое покрывало, «в то время как Ага Хан играл роль защитника независимости, а социалисты из салонов Англии и Индии называли Ганди сверхреакционером». Рядом с этим призраком Сталин выглядел колоссом, хотя и казался чужим. Хрущев и Булганин явились в Капитолий как главы государства, наряду с прочими. Английское образование Неру не было марксистским, а его индийское образование подталкивало его скорее к борьбе против каст, а не против классов; скорее к борьбе за права неприкасаемых, которые, несмотря на Конституцию, умирали на газонах возле Капитолия, чем к борьбе за интересы пролетариата.

Но сохранение реальной независимости и индустриализация Индии могли быть основаны лишь на могуществе государства. И Неру осознавал неустойчивость плодов своего труда. Он всякую революцию рассматривал как неразрывно связанную с нравственностью, со стремлением к справедливости; на Западе это стремление было стремлением индивидов, основанным на разуме и равенстве перед законом, которому они придавали высшую ценность. В Индии все было по-другому. Индивидуализм и даже сам индивид играли здесь второстепенную роль. Фундаментальной реальностью здесь была каста. Индус не был индивидом, принадлежащим к касте в том смысле, в каком мы говорим о европейце, что это индивид, принадлежащий к какой-либо нации; индус — член своей касты уже от рождения, подобно тому, как настоящий христианин

крещен еще до того, как стал индивидом. Этика инду-сов прежде не изменялась глубоко ни мирянами, ни даже брахманами; она была всегда этикой аскетизма, потому что аскет находится за кастовыми границами и служит богам. Если не принимать во внимание эту этику отречения, то фундаментальным правилом нравственности для Индии является долг пред кастой, неотделимый от религии (Индия не знает светской этики). Ганди, политический лидер Индии с точки зрения Запада, для инду-сов и, несомненно, для себя самого был традиционным Великим Отшельником.

Борьба за освобождение не изменила природу индийского общества. Коммунисты упрекали Партию конгресса за то, что она была буржуазной. Да и как она могла быть пролетарской? Ее цель — независимость — была национальной, а не социальной. Она боролась за всех. Но когда эта цель была достигнута, социальная справедливость оказалась главной проблемой. Кастовое сознание было в Индии сильнее, чем классовое. Политический аппарат не представлял собой такой замкнутой организации, как коммунистическая партия; депутаты лишь частично освобождались от своей касты. Идеальный парламентарий был лишь идеальным отражением британского парламента и найти его можно было только в наследии, оставленном Англией; агностик Неру тщетно искал свой собственный, индийский образ парламентария. Чтобы создать современную Индию, он был вынужден опираться непосредственно на народ, привлекая самого скромного инду-са к решению своих эпических задач (он говорил лишь о грандиозном предприятии). «Нужно, чтобы Индия была мобилизована, но за счет своих собственных усилий, а не по приказу правительства...» Индия тысячами веками видела в социальной несправедливости сторону космического порядка, а вселенский порядок неизбежно был справедливым. Не следовало ли Ганди, решившему упразднить неприкасаемых, упразднить и сами касты? Его борьбы против принципа неприкасае-

мости было достаточно, чтобы он был убит, убит не коммунистом, а одним из тех традиционалистов, которые продолжали хранить у себя фотографию его убийцы, которые играли весьма серьезную роль в армии, и министр обороны был вынужден с ними считаться. Да здравствует вечный порядок, вместе с танковыми дивизиями и авиацией кшатриев,* администрацией браминов и трупом Неру после трупа Ганди!

Это была серьезная проблема, которую даже его противники-социалисты называли «второй драмой Индии».

— Я никогда не мечтал о конгрессе, депутаты которого были бы аскетами. Но, в конце концов, — добавил он с грустью, — чем является наш политический аппарат в сравнении с аппаратом какой-либо тоталитарной партии или с аппаратом английской демократии? Следовательно, я должен усилить государство. Великие исторические фигуры нашего времени всегда рождались в борьбе; чаще всего после того, как принимали власть от победившей партии. Даже Ганди остается связан с борьбой за освобождение Индии.

Когда эта борьба была борьбой за независимость или за революцию, какой бы ни оказалась эта независимость или эта революция, она не несла с собой метаморфозы. Я понимал, что Троцкий говорил мне о Термидоре. Но здесь, в самом обычном кабинете, окруженном славой и голодом, я сознавал, что таинственная сила, превращавшая одетых в кожанки комиссаров в маршалов с золотыми петлицами, далеко превосходила жалкие представления победителей о своей выгоде и увлекала за собой оказавшихся на ее пути завоевателей, подобно тому, как течение Ганга уносит прочь обломки деревьев. Ленин и в последние годы своей жизни носил ту кепку, которую демонстрировали его фотографии в советских посольствах, но все же писал: «Не было такой революции, которая не приво-

* Каста воинов.

дила бы к укреплению власти государства». И фуражка Сталина уже была фуражкой маршала. Термидор революционеры понимали в буржуазном смысле этого слова и определяли его как *возвращение*. Ни одно из встретившихся на пути правительства Индии препятствий не вернуло бы к власти англичан. Перманентной революции и приближению к временам равенства противостояло не прошлое, а будущее, те его ростки, которые независимость и революция принесли с собой.

— Я вынужден поддерживать те чувства, которые мы пробуждаем, чтобы создать единое государство в стране, национальное сознание которой прежде всего является религиозным; в стране, где само слово «государство», применяемое к империи Моголов или к власти британских наместников, всегда обозначало администрацию... Я уже писал раньше: «Созданная для борьбы за независимость, наша организация становится партией для парламентских выборов...».

Несчастливые выборы! Под этими дружескими и трезвыми рассуждениями я угадывал фатальность, с которой столкнулись Ленин, Мао и Муссолини и которая была связана не только с властью одной партии: государство, которое обеспечило бы сохранение и судьбу Индии, государство, к завоеванию которого стремились и Александр, и, разумеется, Цезарь, и Карл Великий, и Наполеон...

— Не забывайте, — говорил он, — что Европа постоянно называет «ненасилием» то, что мы называем «сопротивлением ненасилием». Когда Индия, до времен ислама, была единым государством? Не под властью же Гуптов,* я полагаю?

— И в какой мере, — добавил он с грустью, — государство может опираться на ненасильственные действия? Но то, что мы хотели бы создать, является ли это государством?

* Династия в Северной Индии.

Он испытывал боль за Индию. Он знал о ее нищете. Но он хотел бы, чтобы у нее была уникальная судьба, которую он связывал со становлением мирового сознания. И, разумеется, именно потому, что он знал, как я люблю эту Индию, он и не забывал наших прежних встреч.

— Генерал де Голль, — сказал я, — считает, что государство, которое не основывает свою легитимность на *защите* нации, обречено рано или поздно исчезнуть.

— Да... Если они пожелают бомбить Индию, что ж, они будут ее бомбить... Можно уничтожить армию, правительство, может быть, режим; но нельзя уничтожить народ.

Кто были эти «они»? Западные страны? Тем не менее он добавил:

— Каждый раз, когда Китай снова становится Китаем, он становится империалистическим...

Во многих своих выступлениях он напоминал, что народы Индии никогда не претендовали на превосходство над другими народами, но всегда помнили о своем отличии от них. Отличие, которому он посвятил свою жизнь, высшая ценность, которую Индия несла в мир, — это ненасильственное действие, сделавшее освобождение Индии соперником революционных движений. Он лучше, чем я, понимал, зачем Ганди перевел «Бхагаватгиту»; он лучше, чем я, знал, почему он сам называл Будду «величайшим сыном Индии». Несмотря на разделение Индостана и Пакистана, несмотря на Кашмир, ненасилие сохраняло свою притягательность. Здесь слово «демократия» еще не вызывало улыбки. Европа путала страстную идеологию, унаследованную от Ганди, с пассивностью, но Неру всегда помнил о том, о чем сам прежде писал: «Говорят, что ненасильственное действие — это химера; здесь оно является единственным *реальным* средством политического действия. Даже в политике у любого дурного действия есть дурные следствия. Это, как я считаю, та-

кой же ясный закон природы, как и любой закон физики или химии».

Я вспомнил о Рамакришне: «Бог не может появиться там, где есть ненависть, стыд или страх...». Но вспомнил также и слова Ганди: «Лучше сражаться, чем дрожать от страха».

Так же, как Сталин утверждал, что создает Советский Союз, так как Ленин совершил революцию, так и Неру был вынужден делать вид, что создает Индию, потому что Ганди завоевал независимость. Все в этом федеральном государстве, и в первую очередь его единство, было основано на проповеди. Оно опиралось не столько на британский рационализм, к которому Неру охотно обращался, сколько на выражение самых глубоких чаяний Индии. С этим была связана его эффективность, которая поражала Запад. Когда я в первый раз встретил Неру в Париже, в 1955-м, я спросил его: «Какую связь Вы видите между ненасилием и перевоплощением душ?». Он задумался; еще в тюрьме он приобрел медлительность и серьезность разума, заметно отличающуюся от видимой жизнерадостности и улычивости главы государства. Он хорошо знал, что ахимса, ненасилие индусов, нельзя смешивать с методом достижения независимости, не рискуя получить дурное перевоплощение; он видел в ненасилии могущественный миф, а не теорию. Он вспомнил о нашей беседе:

— Говорят, что Толстой задавал тот же вопрос Ганди.

— И что ответил Ганди? То же, что и Вы ответили мне?

— А что я Вам ответил?

— Почти то же самое: «Перевоплощение должно быть черноземом...».

Борьба против нищеты и полное равнодушие к жизни; отказ от выбора между нациями коммунистическими и капиталистическими, отказ оправдывать средства целью шел не от либерализма XIX столетия, а от

тысячелетней истории индийской мысли. Не играл ли Ганди роль гуру для Неру? Бандунг принес Индии скорее нравственную, чем политическую власть.

— Не поразила ли Вас, — спросил он, наполовину улыбаясь, наполовину оставаясь серьезным, — такая фраза из «Бхагаватгиты»: «Тот, кто на самом деле делает то, что должен делать, получит то, чего ждет».

Я был чрезвычайно заинтересован, так как его ирония была искусственной. Любой глава государства или правительства должен рано или поздно начать считаться с государственными интересами, и он маскирует либо ценности своего собеседника, либо самые древние ценности своего народа, которые часто являются и его собственными... Я слышал, как русские коммунисты обращаются к ценностям православия, а китайские коммунисты — к ценностям конфуцианства; они почти не меняли их названия. И я слышал, что весь мир использует словарь демократии. Но здесь этика действительно была основой всего.

— Что было самым трудным, — спросил я, — с тех пор, как вы получили независимость?

И он ответил мне сразу же, хотя до сих пор он часто говорил об Индии, словно испытывал перед ней робость:

— Создать справедливое государство справедливыми средствами, как мне кажется...

И через мгновение:

— И, может быть, еще создать светское государство в религиозной стране. Когда ее религия основана главным образом на богооткровенной книге.

Я находился в одно и то же время и перед Индией вечности и перед Индией, похожей на то, чем была в нашей памяти Франция времен Революции или США времен Вашингтона: Индией конца назидательной эпохи Истории. «Люди проживут свой век согласно велениям своего сердца...» История проходила перед моими глазами и уносила с собой то, что уже не вернется никогда. В этот час на другой стороне Земли ин-

теллеktуалы Запада заносили Индию в свои маленькие марксистские или демократические ящички. И Неру испытывал на себе одну из самых глубоких метаморфоз мира, в хрупкой федеральной стране, рядом с которой Пакистан закладывал кирпичи в фундамент своего государства; в столице, где неприкасаемые сидели на английских газонах и автомобили ночью объезжали худосочных священных коров, дремавших на асфальте триумфальных дорог. Я представил Сталина, который услышал бы: «Создать справедливое государство справедливыми средствами», а также его маленьких и больших последователей; и Гитлера. И прежде всего Мао Цзэдуна, азиата, как и Неру, освободителя, как и Неру, который считал, что нищета крестьян Индии — это единственная реальность; что можно раздавить касты так же, как он раздавил ростовщика и китайского собственника; что десятиmillionная армия коммунистов с радостью превратила бы в народные коммуну царства принца Гаутамы и последних махараджей и что флотилия деревянных богов спустилась бы однажды вниз по Гангу вместе с прахом из Бенареса.

— С какой точки зрения, — вернулся к своим рассуждениям Неру, — можно оценить то, что сделать труднее всего? Для Ганди самым трудным было победить бесчувственность образованных людей. Руководители борьбы за освобождение были людьми особого призвания... И теперь необходимо, чтобы Индия боролась сама с собой. Но каждый год ненамного лучше, чем предыдущий... И сколько лет должно пройти? Я уже не увижу Кайласы...

Это гора священных текстов, индийский Синай; это также одна из самых красивых гор в Гималаях. Еще в юности он полюбил высокий Кашмир и мечтал об экспедиции. В тюрьме он скрупулезно к ней готовился: земля с лугов предназначалась для самого красивого озера Тибета и самой красивой горы Кашмира. Затем государственные заботы отвлекли его от этой мечты, и

он писал: «Возможно, шаги Индии будут такими тяжелыми, что я завершу свой век, так и не увидев озера и горы моих желаний...».

Он рассеянно взглянул на обложку детского журнала, который я разглядывал в Капитолии, где пресса сопровождала breakfast.* Я нашел там интервью с ним, в котором он говорил: «Иногда я забываю, что когда-то, давным-давно, я был ребенком...». Он поднял взгляд:

— И вы попали в тюрьму во время войны, не так ли? Мы не можем теперь встретить того, кто не был бы в тюрьме...

Он провел там тринадцать лет. Я помнил отрывки из его «Мемуаров» (написанных, между прочим, во время заключения), где он сообщал о своем открытии, что облака бывают разного цвета, о радости, когда впервые за семь месяцев услышал лай собаки; о своем пристрастии к книгам о путешествиях, к атласам, где во время сильной жары можно было увидеть ледники.

— Я помню, — говорил я ему, — о белке, которая прибежала, садилась к Вам на колени и убегала, как только встречала Ваш взгляд. В Дера Дун?

— В Лукнау... Там были еще такие маленькие бельчата, которые падали с ветвей. Матери быстро спускались, скатывали их в шар и уносили.

Я не знал, что белку можно свернуть в шар, но у белок в Индии не было таких огромных хвостов, как у наших.

— Ганди, — повторил он, — говорил, что без чувства юмора он не выжил бы...

Я знал, что Неру не раз оставлял официальный кортеж и исчезал в толпе, оставляя чиновникам право выбирать объяснения. Тональность его голоса исключала игру: он хотел сказать то, что говорил, как и некоторые другие люди Истории, которых я встречал, и как большинство художников. Он вернулся к воспоминаниям о тюрьме:

* Завтрак (англ.).

— Знаете ли Вы, что после стольких лет заключения для меня значит слово «тюрьма»? Сооружение с похожими друг на друга окнами, борьба, продолжающаяся за его стенами; травинка возле ограды, украшающая утоптанную землю: у нее такой удивленный вид... А для Вас?

— Приговоренные к казни, которых выводили под огромные арки, где люди из гестапо играли в чехарду...

И вот мы, бывшие заключенные, разговариваем друг с другом. В своих воспоминаниях (он не переставал улыбаться во время этой части нашей беседы) я вижу большие желтые здания, отбрасывающие длинные тени на пустынные улицы. Английские тюрьмы, «административные», откуда можно было выйти только для того, чтобы взглянуть на умирающего отца, и куда специальные поезда доставляли к Ганди и к Неру вождей борьбы за независимость, таких же узников, как и они. Небытие, отделенное от жизни, но ограниченное во времени. Никаких пыток. И в этой геометрии камня и остановившихся часов — пробегающее мимо животное, медленно растущая ветка над стеной... Мои воспоминания заинтересовали его: наши тюрьмы были похожи друг на друга нашей изоляцией от борьбы, которая продолжалась и без нас! Посол в приемной начинал чувствовать себя опозоренным из-за того, что его даже не назначили на пост, но не без удовольствия наблюдал, как привратник понапрасну то и дело заглядывал в кабинет.

— Завтра, — сказал Неру, — мы узнаем из газет, о чем мы друг с другом говорили...

— Вы знаете, что бракосочетанию у католиков предшествует (накануне) исповедь жениха и невесты. Моя мать пошла исповедоваться и вернулась через несколько минут. Мой отец пошел следом. Пять минут, десять, пятнадцать! Перечисление каких злодеяний может потребовать так много времени? Когда мой отец вернулся и они вышли из церкви, она осмелилась задать робкий вопрос. «Исповедь, о нет! — сказал мой

отец. — Но священник оказался бывшим капелланом моего эскадрона, и мы с ним поболтали...»

— Но газеты, — ответил Неру еще больше улыбаясь, — даже если и поверят, что «мы болтали», все равно перечислят наши злодеяния...

Он поднялся и сказал мне: «До вечера». Посол передал мне приглашение на официальный ужин.

Ужины в Капитолии были такой же тенью Империи, как и Нью-Дели в целом. Казалось, что аллеи геометрической керамики выстраивают по стойке «смирно» цветы на клумбах в садах. Неру, в сером дымчатом костюме, увенчанном белой пилоткой, принимал сотню гостей в огромном салоне, под бесхитростным потолком, расписанным сюжетами из персидских сказок.

— Не желаете ли Вы, — сказал он мне, — осмотреть наши священные гроты? Мне хотелось бы узнать Ваше мнение о работе нашей археологической службы...

Хотел доставить мне удовольствие? Быстрыми мелкими шагами он прошел между пестрыми группами приглашенных, и я вспомнил о его выступлении перед огромной толпой в Красной крепости в день провозглашения независимости: «Уже давно мы не встречались с вами на закате, и вот теперь этот час настал!».

Я размышлял о нашем послеполуденном разговоре, о травинке, с удивлением рассматривающей наш земной мир, о почти полностью прирученных животных. Для него, как и для меня, тюрьма была стеной, отделявшей ото всего происходящего в мире, и для него за этой стеной в течение тринадцати лет свершалась судьба Индии. В этот вечер он находился в самом центре событий, словно на сцене театра. Он был окружен почетом и уважением, не таким, каким пользуются парламентские вожди, а таким, какой воздают диктаторам, хотя и по иным причинам. Я знал, что он не раз задавал себе вопрос, сумел бы он сохранить свою при-

верженность учению о ненасилии, если бы увидел, как его мать избивают в полиции; я знал, что его отец провел одну ночь на голом цементе, чтобы испытать, как люди в тюрьме спят; я знал, что его умирающая жена сказала: «Никогда не давай слова прекратить свою борьбу». Я вспомнил о письме его отца, которое, совершив кругосветное путешествие, дошло до него через пять лет после того, как отец умер. Но все эти обстоятельства его личной жизни говорили о нем гораздо меньше, чем то косвенное воздействие, которое он оказывал на весь мир; чем прямое влияние всего, что он делал, на его страну. Хотя еще во время выступления в Красной крепости я вспомнил о его защите на процессе Горакхпура (3 ноября 1940-го, в день моего первого побега): «Вы не меня пытаетесь судить и обвинить, а сотни миллионов людей, весь мой народ, — и это непростая задача, даже для гордой Империи...». Я вновь испытывал чувство, еще более глубокое, чем в парламенте: Ганди, Неру были гуру для своей нации.

Дипломатический корпус, дожидавшийся ужина, не пробуждал в памяти величественных картин Истории. Сама Индия их отвергала, так как их романтический характер был ей не свойствен. В мире «Бхагаватгиты» не существует коронации Наполеона, не существует орудий крейсера «Авроры», разыскивающих огромными пальцами прожекторов свою цель — Зимний дворец. Жизнь Неру не укладывалась в альбом. Вся жизнь Ганди, начиная с Похода за Солью и кончая убийством, была связана с легендой. И она становилась все более и более далекой, уходила в туман медлительности, мечтательности и безграничности Индии. Ее бесконечность выражала себя не в толпах Октябрьской революции, а в звездах на ночном небе. Я везде видел портреты Ганди, Неру переходил от одной группы к другой, но от всего того, что они *сделали*, сохранилась лишь глубокомысленная и запутанная легенда. Пятьсот миллионов людей жили по чуждым им иноземным законам; в течение жизни одного поколения нрав-

ственный подвиг нескольких людей предоставил им свободу, и не благодаря бесконечным сражениям, а посредством вереницы символических жестов, уже утративших свой смысл за время независимости; тем не менее данные этим массам ответственность и стойкость ума окружали Неру так, как ограда огромного кладбища окружает могилы победителей. Впрочем, разговоры среди дипломатов демонстрировали, что не все еще было закончено. Когда я спросил Неру, что же он «расценивает как самое трудное», он ответил мне очень быстро, как будто хотел отодвинуть в сторону другой ответ, который, несомненно, звучал бы так: Пакистан. Не потому, что он опасался пакистанского нападения, как предполагали европейские газеты; но потому, что само движение ненасилия было поставлено под сомнение этим разделом, оно находилось в гораздо большей опасности, чем в борьбе с Англией. Ганди когда-то утверждал: «Я сражаюсь с тремя противниками: англичанами, индусами и с самим собой». Он ожидал окончательной победы только вместе с очищением Индии. Эта бесконечная проповедь, это смертельно опасное преследование от одной деревни к другой, несметное число сожженных домов индусов, несметное число разграбленных домов мусульман; сикхи, поджидавшие прибытия поездов с беженцами-мусульманами на вокзале Армицара с саблями на коленях; мусульмане, поджидавшие беженцев-индусов на вокзалах Бенгалии; бесконечная Нагорная проповедь, обращенная к убитым, дожидающимся костра кремации. Несколько часов назад Неру сказал мне, прежде чем рассказать о своих «лучших годах»: «Теперь необходимо, чтобы Индия боролась сама с собой...». Последователь старого смеющегося пророка создавал Индию, опираясь на демонов крови так же легко и непринужденно, как теперь опирался на красный камин. После того, что Ганди называл «Пляской Смерти» Индии, попытка на ощупь создать нацию из четырехсот миллионов людей, основываясь на вере в неизбежную победу все-

прощения была величайшей авантюрой в истории человечества.

Мы подошли к столу, стоявшему между двумя рядами уланов из Бенгалии, и прошли в обеденный зал, где еще висели огромные портреты британских королей, закрывавшие полностью стены. Ряды слуг в белых доломанах и красных тюрбанах тянулись до дверей в глубине зала и исчезали за склоненными у входа копьями. Когда я вошел в лифт, чтобы спуститься вниз из моих апартаментов, молодой лифтер попросил у меня автограф в альбом. Я широким жестом гроссмейстера вытащил авторучку и застыл в изумлении перед дюжиной подписей королей. Неужели их было здесь так много? Эта глава из Пруста продолжается в одной из повестей Вольтера.

Когда еще я испытывал такое чувство присутствия на спектакле, где и актеры и зрители должны были исчезнуть на рассвете? Это была атмосфера временных правительств, атмосфера капризов судьбы. Любой захват знаменитого дворца вносит в революцию элементы буржуазности, и правительство Индии не было исключением. Даже если бы рассвет наступал медленно, он все равно однажды пришел бы с людьми, посыпавшими себя белой золой; пришел бы с ордами неприкасаемых, размахивающих своими факелами, или с вечным исламом, считавшим, что «бесчестье приходит в дом вместе с плугом земледельца». Неру банально отвечал на такую же банальную речь министра иностранных дел из Скандинавии, и я вновь задал себе вопрос: когда еще я испытывал это чувство, что присутствую на обреченном на провал спектакле, чувство, что «все это я уже видел»? Это было в отеле «Бурнэ», ставшим министерством по делам Содружества, в отеле, где кариатиды Бонапарта поддерживали фронтон. Великие вожди Центральной Африки, прибывшие для вручения им знамен Содружества, ступенька за ступенькой взбирались к подъезду. Толпа парламентариев расступалась перед их мрачными костюмами и перед

поэтами, которые, пятась, воспевали славу своего народа...

После ужина Неру увел меня (вместе с еще несколькими самыми важными гостями) по винтовой лестнице в маленький подземный театр, где друг за другом следовали классические танцы, а оркестр исполнял «музыку, которую следовало играть только ночью». Когда все уселись, он наклонился ко мне: «Для Вас тюрьма была несчастьем, для нас — это была заветная цель. Ганди, когда один из наших был арестован, отправил ему телеграфом свои поздравления. В то время он говорил: „Свободу нередко следует искать среди тюремных стен, иногда на эшафоте, но никогда в советах, судах или школах“».

Представление закончилось, он оставил нас всех в Капитолии и вернулся к себе.

6

1944—1965

«Свободу следует искать среди тюремных стен», — говорили Ганди и Неру. Мои стены не были стенами тюрьмы, а если и были, то недолго. Был лагерь в 1940-м, из которого я легко сбежал, несмотря на слишком тесные ботинки: просторный луг, превращенный в «зону», розовые огни рассвета, телеги на дороге за колючей проволокой, окровавленные консервные банки, лачуги времен Вавилона, построенные из приземистых столбов, дренажных трубок и прутьев, в которых солдаты, съжившиеся, словно перуанские мумии, писали письма, никуда не отправлявшиеся.

Еще раз, более серьезно, — в 1944-м. Мои товарищи, арестованные немецкой полицией, чаще всего гестапо, шли к смерти через испытания, которые теперь

хорошо всем известны; я же был взят в плен в военной форме, окруженный танками дивизии «Рейх».

Мои тюрьмы начинались с чистого поля. Я пришел в себя на лежащих в траве носилках, которые затем схватили два немецких солдата. Возле моих ног носилки были залиты кровью. Поверх брюк были наложены временные повязки. Тело английского офицера исчезло. В машине находились неподвижные тела двух моих товарищей. Один из немцев срывал с нее флаг. Мои носильщики отправились к Грама́. Мне показалось, что до города очень далеко. Возле носилок находился младший офицер.

Я ездил улаживать конфликт между двумя подразделениями маки — отрядом «Бак-мастер» и французскими партизанами. На обратном пути — всего лишь двадцать минут назад — мы, подъезжая к Грама, задремали; флаг с крестом Лотарингии бился на горячем ветру. Перестрелка, которую мы едва слышали, звон разбитого стекла сзади, — и машина после резкого поворота падает в кювет. Шофер в последний миг перед смертью — пуля в голову — изо всех сил нажал ногой на тормоз. Телохраниль рухнул на свой автомат. Английский офицер бросился вправо, на дорогу, и упал, прижимая обе руки, красные от крови, к животу. Я спрыгнул влево и побежал, с трудом передвигая затекшие за три часа пути ноги. Пулемет бьет точнее и точнее; от следующей очереди я скрываюсь за машиной. Пуля пробила крепление моей правой гетры, раскрывшейся венчиком и державшейся теперь только у стопы. Я был вынужден остановиться, чтобы ее сорвать. Теперь пуля попала в правую ногу. Боль была несильной. Только кровь и доказывала, что я ранен. Затем страшная боль скручивает уже левую ногу.

У тех двоих, что тащили меня словно куль, был совсем не злобный вид. Но будут еще и другие. Все это было совершенно нелепо. Как немцы могли захватить Грама?

Все должно было закончиться здесь. Один Бог знает как, но после этой дороги все закончится, и лучезарное небо над ней останется в вечности, как и эти крестьяне, провожающие меня взглядом, скрестив руки на рукоятках лопат, эти крестьянки, осенявшие меня, словно покойника, крестным знамением. Мне не придется увидеть нашей победы. Так какой же смысл был во всей этой жизни, да и был ли он вообще? Но меня вдохновляло трагическое любопытство: хотелось узнать, что меня ожидает.

Уже с самых первых домов улицы были заполнены танками. Французы смотрели на меня с тревогой, немцы — с удивлением. Мои носильщики вошли в комнату в каком-то гараже. Младший офицер расспросил того, кто меня сопровождал, затем сказал:

— Ваши документы!

Они находились в кармане моего кителя, и я достал их без особого труда. Протянув ему бумажник, я сказал:

— Они фальшивые!

Он не взял мой бумажник, но перевел то, что я сказал. Оба офицера смотрели на меня, как баран на новые ворота. Носильщики снова двинулись в путь. На этот раз мы вошли в небольшой амбар. Носилки были установлены на согнувшиеся под тяжестью моего тела ножки. Немцы вышли. Ключ повернулся в замке. Перед узким окном прохаживался часовой. Я попробовал сесть на носилках. Боль в левой ноге была почти нестерпимой. Я чувствовал себя совершенно оглушенным. Я, безусловно, потерял много крови, так как она продолжала течь, несмотря на жгуты из носовых платков, стягивавшие бедренные артерии.

Силуэт часового вытянулся «на караул». Поворот ключа. Вошел офицер, похожий на Бастера Китона.

— Как жаль мне Вашу бедную семью. Вы ведь католик, не правда ли?

— Да.

Вряд ли было подходящее время для изложения основ агностицизма.

— Я католический священник.

Он посмотрел на окровавленные платки.

— Как жаль мне Вашу бедную семью!

— Страдания Христа, должно быть, были не очень приятными для его семьи, отец мой. Правда, я — не Христос.

Он посмотрел на меня, ошарашенный еще больше, чем я. Но у него это было от глупости.

— У Вас есть дети? — спросил он.

— К несчастью. Меня собираются судить или нет?

— Я не знаю. Но если Вы нуждаетесь в священнике, можете позвать меня.

Он открыл дверь, совершенно черную на фоне все еще ослепительного неба, и как будто простился со мной:

— А все-таки мне действительно жаль Вашу несчастную семью...

Станный священник. Или его религия странная. Если бы он притворялся священником, то, по крайней мере, задавал бы вопросы...

Унтер-офицер знаком показал мне, чтобы я выходил; двор был заполнен солдатами. Он поставил меня лицом к стене, а руки заставил положить на камень выше моей головы. Я услышал команду: «Achtung» — и повернулся: передо мной была команда солдат, построенная для расстрела.

— Оружие — на плечо!

— На караул!

«На караул» оружие берут перед расстрелом. В памяти всплыл недавний сон: я был в каюте теплохода, в которой исчез иллюминатор; вода потоком хлынула в каюту; перед лицом непоправимого конца, увидев всю свою жизнь такой, какой она была, я разразился смехом и не мог остановиться (вскоре мой брат Ролан погиб, утонув во время кораблекрушения «Кап-Аркона»). Я много раз бывал в двух шагах от насильственной смерти.

— Целься!

Я видел, как головы солдат склонились к прицелам.
— Отставить!

Солдаты опустили винтовки и разошлись вразвалку, разочарованно посмеиваясь.

В конце концов, почему они не стреляли хотя бы *над* головой? В этом не было никакого риска: я стоял перед стеной. Почему на самом деле я не поверил в свою смерть? На дороге возле Грама я чувствовал ее угрозу гораздо сильнее. Я не испытывал ни хорошо знакомого мне чувства, что вот сейчас в меня будут стрелять, ни чувства неминуемого расставания с жизнью. Когда-то я ответил Сент-Экзюпери, спросившему меня, что я думаю о мужестве, что оно представляется мне любопытным и даже банальным следствием чувства своей неуязвимости. И Сент-Экзюпери с некоторым удивлением со мной согласился. Комедия, в которой я только что участвовал, не поколебала во мне этого ощущения. Значит, эта аура, эта церемония не имели отношения к смерти? Может быть, в смерть веришь лишь тогда, когда рядом падает сраженный пулей товарищ? Я вернулся в свой амбар, к которому уже начинал привыкать. Снова лег. Вошел офицер, и двое солдат подхватили носилки. Мы двинулись в путь. Младший лейтенант был уже немолод: ему было за сорок, прямой, высокий, рыжеволосый, с шероховатым, гладко выбритым лицом. Он пошел впереди носилок, и теперь я видел лишь его спину.

Мы направлялись в лазарет. Медсестра посмотрела на меня со злобой. Врач и санитары, видевшие и не такое, перевязали меня. Носилки отправились дальше. Мы спустились в какой-то подвал. Я знал, для чего используются подвалы. «День будет тяжелым», — как говорил Дамьен. Но нет: мы опять поднялись наверх, прошли около километра, а ведь Грама был небольшим городком. Повсюду были танки. Жители, завидев носилки, убегали прочь. Мы добрались до одиноко стоявшей фермы, спустились в погреб. Борона, грабли, деревянные вилы. В 1941 году я не раз видел такие по-

греба, непонятно когда сооруженные, но как теперь эти инструменты (особенно борона) были похожи на орудия пыток! Кортёж снова отправился в путь, еще пару раз остановившись в подобных местах. У меня было впечатление, что мы разыскиваем подходящие декорации для пыток. Солдаты, вероятно, вернулись в казармы, так как я их уже больше не видел. Одинокий город, населенный заснувшими танками, домами, где вместо мебели стоят вилы и бороны, к которым привязаны трупы. Через пять минут мои носильщики остановились.

— Kommandantur, — сказал младший лейтенант.

Это был «Отель де Франс». У маки здесь был почтовый ящик... Немцы только что приказали освободить помещение конторы отеля. Хозяйка гостиницы сидела возле кассы. Седые волосы, лицо с правильными чертами, жесткий стоячий воротничок — вылитая начальница пансионата. Я видел ее пару раз.

— Вы знаете его? — спросил немец на всякий случай.

— Я? Нет, — ответила она рассеянно, почти не глядя на меня.

— А Вы? — спросил он меня.

— Увы, маки не останавливаются в отелях!

Контора гостиницы сообщалась с небольшим залом, отделенным наполовину спущенными жалюзи. Младший лейтенант сел за стол. Носилки опустили на черные и белые плитки пола, не выдвигая ножек. Вошел солдат с блокнотом в руках, посмотрел на меня скорее с любопытством, чем с враждебностью, и уселся слева от офицера. Улица была узенькой, там уже зажгли электричество. У писаря лоб и подбородок выступали вперед, отчего голова внешне напоминала стручек фасоли; тот, кто вел допрос, был похож на воробья: короткий носик, маленький круглый рот. От немца в нем были только рыжие волосы, остриженные выше оттопыренных ушей. Оба устроились в креслах поудобнее.

— Ваши документы?

Я встал, сделал шаг вперед и протянул свой бумажник. После этого снова лег: мне становилось дурно. Но разум оставался ясным, так как игра только начиналась.

— Я уже говорил Вашему коллеге, что эти документы фальшивые.

«Старый воробей» внимательно их рассматривал. Удостоверение личности, водительские права и прочая чепуха на имя Берже. Тысяча франков купюрами. Фотографии жены и сына. Все это он сложил кучкой рядом с бумажником.

— Вы говорите по-немецки?

— Нет.

— Ваша фамилия, имя, звание?

— Подполковник Мальро, Андре, именуемый полковником Берже. Я глава вооруженных сил этого района.

Он озадаченно смотрел на мой офицерский китель без нашивок. Каких еще показаний он ждал? Я был схвачен в машине, на которой был трехцветный флаг с крестом Лотарингии.

— Какой организации?

— Де Голя.

— У Вас есть пленные... Не так ли?

Его немецкий был с северным акцентом, жестким, совсем не тевтонским. Его вопросы были строгими, но не враждебными.

— В той части, которой я команду, около сотни.

Что за странная игра судьбы! Существовал обычай, не знаю с чем связанный, судить тех, кого взяли в плен маки, военными советами. В одном из отрядов я присутствовал на таком суде, с руководителями партизан в роли судей, с вполне сносной обвинительной речью (ненависть всегда похожа на ненависть) и с какой-то пародией на защиту, произносимой секретарем суда, который, играя роль адвоката, очевидно, утолял таким образом свое давнишнее желание. Все это происходи-

ло в низком и прохладном зале, в одном из замков Ло; за окном стояла жара, блеяли козы, лужайка была усеяна желтыми цветами... Для того, чтобы председательствовать на этом суде, я и облачился в форму, которая теперь была на мне. Мы уже освободили примерно двадцатку эльзасцев, которых было немало как в войсках, сражавшихся против нас, так и среди наших партизан в бригаде «Эльзас-Лотарингия». Один из наших лейтенантов, школьный учитель из Кольмара, предложил поручить ему защиту немцев, сказал сначала на французском, а потом на немецком: «Никто из этих людей не служил ни в СС, ни в гестапо. Это солдаты, и их нельзя казнить только за то, что они были призваны в армию и выполняли полученные ими приказы». В зале было много партизан, и я чувствовал, что наши эльзасцы встревожены. Было решено передать пленников первой попавшейся части союзников, которую мы встретим.

— Как с ними обращаются?

— Они все время играют в пятнашки и питаются так же, как и наши. Для них война окончена.

«Старый воробей» подумал было, что я над ним смеюсь, но потом понял, что это не так.

— Они ожидали увидеть дикарей в отрепье, а попали в руки к солдатам в военной форме.

— К парашютистам?

— Нет, к французским партизанам.

— Где они?

— Кто, пленные?

— Это одно и то же!

— Но партизан там все же больше, чем пленников.

— Где они?

— Об этом я, к счастью, ничего не знаю. Давайте объяснимся. Они были в лесах в районе Сиорака. По крайней мере уже два часа моим людям известно, что я у вас в руках. Полтора часа назад мой заместитель принял командование, а он — выпускник академии Ге-

нерального штаба. Сейчас в лагере уже не осталось ни одного нашего солдата и ни одного вашего.

Он задумался.

— А кто Вы по гражданской профессии?

— Профессор и писатель. Я читал лекции в ваших университетах: в Марбурге, в Лейпциге, в Берлине.

Профессор, это было серьезно.

— Тогда Вы должны знать немецкий язык. Но это не имеет значения.

— Мою первую книгу, «Завоеватель», перевел Макс Клаус.

Утверждали (напрасно), что Макс Клаус, ставший нацистом, был чуть ли не заместителем министра у Геббельса. Мой собеседник становился все более и более озадаченным. Он начал играть со мной в «кошки-мышки». Минут через десять я сказал:

— Господин лейтенант, я думаю, что мы напрасно тратим время. Обычно Вы допрашиваете пленных, которые заявляют, что невиновны, и, может быть, они и на самом деле невиновны, но Вам нужно заставить их признаться. Мне же не в чем признаваться: я — Ваш противник со дня перемирия.

— Но ведь это маршал Петен подписал перемирие!

— Да, действительно, это был не я. Но я — партизан. Следовательно, Вы можете меня расстрелять, но сначала взвесьте последствия. Кроме того, мой заместитель командовал легионом в Марокко, я командовал... в другом месте, и кустарной партизанщиной мы не занимаемся. У нас нет уязвимых мест. Мы вступаем в бой лишь на открытых дорогах, просматриваемых с четырех сторон. Немецкие войска ни разу не захватили в плен ни одного из моих солдат. Я оказался здесь, потому что вы совершили блестящий маневр, а я как идиот бросился под огонь ваших пулеметов. Но захватив меня, вы привели наши силы в состояние боевой тревоги: на сто километров к северу все командные пункты эвакуированы. Если Вы хотите узнать, какую территорию контролируют наши войска или как обра-

щаются с вашими пленным, Вам лучше обратиться к милиции Петена. Вы можете пытаться моих солдат, если Вам удастся взять их в плен, но Вы ничего не добьетесь, потому что они ничего не знают: вся наша организация построена на том принципе, что человек не может знать того, что может рассказать под пыткой.

— В вермахте не пытаются.

— Но самое главное: у таких частей, как Ваша, если вся дивизия сгруппирована, то, значит, есть дела и поважнее.

Он спросил меня, где располагались наши прежние командные пункты, и я перечислил ему замки, брошенные коллаборационистами, а также те лесные поляны, где можно было найти подземные ходы или следы костров. Ни слова о чащах карликовых дубов, которые немцы считали неиспользуемыми. Что касается имен руководителей других отрядов маки, то гестапо и отрядам милиции Петена, как и мне, были известны их боевые клички и неизвестны настоящие имена (по меньшей мере, некоторые...). Вероятно, «старый воробей» получил приказ обращаться со мной, как с военнопленным. Но я понимал, что все это лишь начало. Мы заговорили о маки. Я преувеличивал наши возможности. Этот допрос был больше похож на беседу.

Оба немца ушли, вероятно, обедать. Остался лишь часовой по ту сторону наполовину спущенных жалюзи: я видел лишь его ноги. Иногда он с кем-то болтал (через небольшой холл то и дело проходили немцы). Мне хотелось поразмыслить о случившемся, но моих сил хватило лишь на допрос: я был слишком изнурен.

Пробило девять часов вечера. (Над конторкой висели большие темные настенные часы.) Пришли два других немца с бумагами, очевидно, это было краткое содержание моего допроса. Они задали несколько вопросов, которые мне уже задавали раньше и на которые я уже отвечал. Проверка? Это не имеет значения. Оба немца ушли.

Прошло еще сорок пять минут, прежде чем снаружи послышался стук каблуков. Короткие шторы, обычно откидываемые на ходу, медленно раздвинулись. Вошел полковник и уселся за конторкой. Писаря не было. Он был похож на своих предшественников. Может быть, мне это и показалось, так как я не привык смотреть на людей снизу вверх. Но его волосы были седыми.

— На что Вы надеетесь? — спросил он меня.

— Вы о наших военных действиях или... о моей судьбе?

— О ваших действиях.

— Остановить вас, само собой разумеется.

Он наклонил голову, словно одобрял мои слова или желал сказать: «Именно это я и предполагал».

— Почему вы производите разрушения, которые мы в состоянии быстро восстановить?

— Таков наш план.

(Иногда это происходило еще и потому, что мы не в силах были сделать что-нибудь получше.)

— Вы не участвовали в предыдущей войне?

— Я был слишком молод. Удостоверение у меня фальшивое, но дата рождения указана точно: 1901 год.

— А в этой войне Вы участвовали?

— Да.

— В каких войсках?

— В танковых.

(Но какие это были танки! Однако его это не касалось. Вчера я с завистью смотрел на их танки.) Он рассеянно рассматривал мои документы, словно для того, чтобы хоть чем-то заняться.

— В ваших партизанских отрядах есть противотанковое оружие?

— Да.

Гестапо не могло не знать, что Лондон уже больше месяца сбрасывал нам базуки на парашютах. Значит, он тоже это знал, вернее, боялся этого, так как в лесу танки могут быть прикрыты только пехотой. Немец-

кие бронетанковые дивизии располагали мотопехотой, но если она оставалась в грузовиках, то не могла защищать танки от базук; а если она прикрывала танки с обеих сторон дороги, танки могли двигаться лишь со скоростью пешехода. Мой собеседник, казалось, не был ни удивлен, ни даже слишком заинтересован. Скорее, просто испытывал любопытство. Может быть, он просто хотел посмотреть на офицера этих таинственных маки, которые их окружали? Или он снова увидел перед собой французскую армию, «свинные головы» Вердена?

Он опять сложил документы стопкой возле бумажника, поднялся и обошел вокруг конторки. Продоходя передо мной, он взял с конторки мой пустой бумажник и протянул его мне. При первом прикосновении к нему я почувствовал, что он уже не пуст. Полковник вышел. Часовой за шторками щелкнул каблуками. В одно из отделений бумажника немец вложил фотографию моих жены и сына.

После него уже никто не приходил. Перерыв на ночь? Гостиница засыпала. Настольная лампа на конторке горела постоянно. Я думал, что не усну. Но ошибался. Сон навалился на меня, как когда-то в Испании после воздушного боя: поужинаешь и валишься спать, словно мертвецки пьян.

Рассвет. День. На этажах начали хлопать двери, а где-то внизу стучали ставни. Шум воды. «Воробей» со стрижкой «ежиком» вошел и молча сел за конторкой. Топот многочисленных сапог по лестнице, гостиничный шум, шум общежития, вокзальный шум. Почему немецкий язык, и без того крикливый, всегда звучит гневно?

Голоса перебивают друг друга:

— Мадам! У Вас есть масло?

— Нет!

— У Вас есть шоколад?

— Нет!

— Мадам! У Вас есть хлеб?

— По карточкам!

Больше никто ничего не просил. Наверно, хозяйка ушла из-за кассы. Прошло время. Топот сапог поднимается вверх по лестнице, позвякивают котелки. Потом с верхних этажей послышался странный шум, он приближался, нарастал (так шумят дети, когда видят рождественскую елку). Жалюзи раздвинулись, оказался поднос, на котором дымилась большая чашка кофе с молоком, лежали толстые ломти белого хлеба с маслом. Вслед за подносом появилась хозяйка. Серые волосы были тщательно причесаны. Она была в черном платье, точно собралась к мессе, но в белом переднике, потому что шла из кухни. Взглянув на плитки пола, запачканные кровью (ночью мои раны открылись), она подошла ко мне и опустилась на колени: медленно, сначала на одно колено, потом на другое. Нелегко пожилой женщине опускаться на колени с подносом в руках. Она поставила его мне на грудь, встала с колен, подошла к шторкам, обернулась (на белом переднике, там, где колени, темнели два больших кровавых пятна) и тоном, каким, наверное, лет сорок тому назад частенько говорила: «Вы окажете мне любезность, если не будете отбирать хлеб с маслом у своих братьев», но с какой-то неуловимой торжественностью сказала:

— Это для раненого французского офицера, — и вышла под топот расступившихся перед ней сапог.

«Воробей» глядел на меня, «разинув клюв». Отнять хлеб с маслом у раненого было бы смешно, но все это выглядело так аппетитно!

— Поделится! — сказал я ему.

Он встал и вышел. Вернулся со стаканом. Взял один ломоть хлеба, положил на конторку. Взял чашку, чтобы налить себе кофе с молоком. Обжегся. Поставил чашку обратно на поднос. Теперь по белым плиткам пола к конторке тянулись большие кровавые следы рядом с маленькими.

Около восьми часов мы тронулись в путь. Хозяйка вернулась.

— Благодарю Вас, мадам. Вы были, как всегда, очень любезны; Вы были похожи на саму Францию.

Она перестала писать. Лицо ее оставалось неподвижным, и она провожала меня взглядом, пока двери гостиницы не закрылись.

Меня отнесли в санчасть, где сменили повязки. Теперь я мог вставать, может быть, даже сделать несколько шагов. Но это не понадобилось. Меня посадили в бронированный автофургон, вероятно, санитарный. Сзади — двойные двери, запертые снаружи. Четыре койки. Я был один. Лег. В маленькое окошко с решетками, вырезанное в дверях, я видел вереницу грузовиков, удалявшийся пейзаж. Нападут ли на нас маки? Я сомневался в этом: в этом районе, довольно гористом, не было лесов. До самой Гаронны, насколько я знал, не было крупных партизанских частей. Бронетанковая дивизия явно проводила карательную операцию: над круто петлявшей дорогой горели наши деревни, тянулись длинные клубы дыма...

Когда колонна остановилась, мне разрешили выйти.

В Фижаке (где жил Роже Мартэн дю Гар...) какой-то крестьянин принес мне палку и тут же исчез.

Каждый взгляд, брошенный на меня французом, подтверждал, что я обречен.

Я в это не верил, во всяком случае пока. Я предполагал, что меня будут снова допрашивать или судить. Но что-то непременно должно было произойти.

В Виллефранш-де-Перге — я узнал ее испанскую церковь, послужившую декорацией для нескольких сцен в моем романе «Надежда», — колонна остановилась на ночлег. Меня поместили в монастыре. Как только я лег, настоятельница принесла мне кофе. Ей было не больше сорока, и она была красавица. Проходя мимо сторожившего меня солдата, она улыбнулась ему неприступной улыбкой.

Я не раз задумывался над тем, какое значение имеет Евангелие перед лицом смерти.

— Матушка, не могли бы Вы дать мне Евангелие от Иоанна?

— О, разумеется!

Она принесла мне Библию и ушла. Я собирался было найти текст Иоанна, но книга сама открылась на нужном месте: там лежала закладка, вероятно, положенная настоятельницей. Меня много раз могли убить: в Азии, в Испании, у нас, — но мысль, что я мог бы спокойно сидеть дома, вместо того, чтобы дожидаться военного трибунала или расстрела на краю рва, казалась мне нелепой. Даже в эту ночь моя кончина представлялась мне чем-то вполне обыкновенным. Меня интересовало другое — сама смерть.

Но со святым Иоанном я познакомился отнюдь не перед лицом смерти. Я «встречался» с ним в Эфесе, но прежде всего в мире византийском и славянском, где гроб его почитался наравне с гробом Христа. Моя память сохранила от Иоанна, в его передаче, довольно сложный образ Иисуса — убедительный и близкий, как образ святого Франциска Ассизского; но в рамках того текста, где Иоанн говорит о себе только одно: «тот, кого любил Иисус». Я вспоминал торговцев голубями, изгнанных из храма, и некоторые фразы, превращавшие Евангелие в псалом: «...ибо еще не настал час Его...», «Может ли бес отверзать очи слепым?», и грустные ночные слова: «Отче, избавь меня от часа сего!», и слова, обращенные к Иуде: «Что делаешь делай скорее...». Я вспоминал рассказ о женщине, обвиненной в прелюбодеянии, который так часто рассказывают в осуждение, а между тем Христос не обращает свои слова ни к обвинителям, ни к женщине, а говорит: «Кто из вас без греха...» — и продолжает чертить что-то перстом на земле. Я снова нашел строки: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына

Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Я не поверил в шутовской взвод палачей в Грама, но, наверное, вскоре я повстречаюсь с другим, который уже не будет шутовским. Там, на дороге, я мог бы получить пулю в лоб, как и шофер, но меня ранило в ноги. Я ясно ощущал, что любая вера растворяет жизнь в вечности, а я был отрезан от вечности. Моя жизнь была одной из тех человеческих историй, которые Шекспир оправдывает, называя их «снами», но которые на самом деле вовсе не сны. Судьба, обрывающаяся под дулами дюжины ружей, лишь одна из множества судеб, столь же быстротечных, как и весь этот мир. Какую-то частичку моего «я», не имеющую особого значения, безумно занимало, что же случится со мной. Так человек всем существом испытывает желание выбраться из воды, когда тонет, но в то же время ему немного и любопытно, что же произойдет. Тем не менее я не ждал, что в минуты таких потрясений передо мной раскроется смысл мироздания. Гениальность христианства — в утверждении, что самый таинственный путь — это путь любви. Любви, которая не замыкается в человеческом чувстве, но возносит его в сферу мировой души, ставит его выше смерти и выше справедливости: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить, но чтобы его спасти». Один перед лицом смерти, я встретил ту тысячелетнюю поддержку, которая уже осенила столько отчаявшихся, подобно тому, как Страшный суд отверзнет столько гробниц: «Пребудь с нами, Господи, в нашей смертной муке...». Но обладать верой означает верить; я же восхищался христианским порывом, объявившим землю, в которую вскоре, без сомнения, мне предстояло лечь, но сам не верил. Память об Иоанне скорее помогает противостоять горю, чем смерти. В каком-то восточном тексте прочитал я такие слова: «Смысл жизни столь же недоступен человеку, сколь движение царских колесниц — скорпионам, которые гибнут под их колесами». Все происходило так,

словно высшей ценностью для меня была Истина, и тем не менее зачем мне нужна была Истина этой ночью?

Мое прошлое, вся моя биография не имела сейчас никакого значения. Я не думал о своем детстве. Не думал о своих близких. Я думал о безбожных крестьянках, которые осеняли мои раны крестным знамением; думал о палке, которую принес мне испуганный крестьянин; о чашке горячего кофе в «Отель де Франс» и о кофе настоятельницы. В моей памяти не оставалось ничего, кроме чувства братства. В тиши монастыря, где, наверное, молились за меня и куда долетал смутный отдаленный гул маневрировавшего вдалеке танка, — единственным, что жило во мне так же глубоко, как и осознание приближающейся смерти, было воспоминание об исполненной ласки и отчаяния жесте, каким мертвецу закрывают глаза.

В Альби (мы по-прежнему двигались на юг, и по-прежнему кругом горели деревни) я лежал на диване в большом зале; скорее всего, это была мэрия. Часовой — уже не из танкистов, а из солдат, расквартированных в городе, — сел возле меня и вытащил из кармана две фотографии: маршала Петена и, к моему великому удивлению, генерала де Голля. Ткнул пальцем в Петена: «Очень хорошо!». Неодобрительно в де Голля: «Бандит!». И взглянул на меня. Я ждал, что будет дальше. Он поднял вверх палец, призывая к вниманию, сказал: «Завтра» — и опустил на де Голля: «Может быть, очень хорошо?», потом на Петена: «Может быть, бандит?», сделал жест, означавший: «Кто знает?», — пожал плечами и вернулся на свой пост.

В Ревеле, кроме нижнего этажа пустующей виллы, я получил в свое распоряжение еще крохотный садик. Я мог немного ходить, опираясь на палку. За ужином (мне выдавали солдатский паек, как, впрочем, и офицерам) рядом с тарелкой у меня лежала сигарета и *огна* спичка.

На другой день за мной пришел офицер с двумя солдатами. Я сел в машину на заднее сиденье, рядом с офицером. При выезде из городка он завязал мне глаза. Я не почувствовал в этом никакой опасности: повязка даже как будто защищала меня. Когда офицер снял ее, мы въезжали в парк какого-то довольно невзрачного замка. У подъезда — десятка полтора офицерских машин. Военный трибунал.

Инсценировка казни была неубедительной, другое дело — скопление автомобилей. Идиотский замок (последний в моей жизни?) приобретал ту силу, какую приобретает все, чего касается судьба. За несколько дней до самоубийства мой отец сказал мне, что смерть вызывает у него сильное любопытство. Я испытывал то же чувство, но не к смерти, а к военному трибуналу: возможно, потому, что только он и отделял меня от нее. Я ускорил шаг, удивленные стражи заспешили следом. Открытые стеклянные двери террасы вели в холл, а оттуда в просторный салон, где десятка два офицеров танцевали с «серыми мышами».

Не было военного трибунала, был обыкновенный бал...

Второй этаж. Длинный коридор, двойные двери. Офицер вошел, щелкнул каблуками, вытянул руку в нацистском приветствии и вышел. Дверь снова закрылась. Я стоял в просторной комнате, три больших распахнутых окна выходили в парк и на маленький пруд. За письменным столом в стиле Людовика XV, сверкавшим позолоченной бронзой, — генерал. Железный крест с дубовыми листьями. Он стоял спиной к окну, и в полумраке я плохо различал черты его лица: черные очки, седые волосы поблескивали на солнце. Он подошел к небольшому столу, окруженному стульями, сел и знаком предложил мне сделать то же самое. На столе лежал серебряный портсигар. Он протянул его мне.

— Спасибо, я бросил курить.

Он закурил сигарету. Пламя внезапно высветило странную маску, но она тут же снова погрузилась в темноту.

— Я хотел бы узнать у Вас, почему Вы не признаете перемирия. Маршал Петен — замечательный солдат, победитель под Верденом, как вы считаете. Франция взяла на себя обязательства. И ведь не мы объявляли вам войну.

— Нация не обязана умирать по доверенности. Позвольте мне сделать такое предположение: маршал фон Гинденбург является президентом Германской республики, вспыхивает мировая война, Германия разбита, как это произошло с нами; маршал подписывает капитуляцию. Фюрер, который, естественно, в этом случае не является канцлером, обращается из Рима к немецким солдатам с призывом продолжать борьбу. Какие же из этих обязательств взяла на себя Германия? И с кем будете лично Вы?

— Почему де Голь в Лондоне?

— Руководители государства находятся в Лондоне, кроме одного, который пребывает в Виши. Генерал де Голь — не командующий Французского легиона на службе у союзников.

— Какой смысл в том, что вы делаете? Вам хорошо известно, что за каждого убитого солдата мы расстреливаем трех заложников.

— Каждый расстрелянный отправляет трех бойцов в отряды маки. Но, на мой взгляд, дело не в этом. Поскольку Вас это интересует, я могу изложить свои соображения. В маки уходят...

— Прежде всего, люди, которые уклоняются от трудовой повинности.

— Действительно, это люди, которые не хотят служить Германии. Но Вы прекрасно знаете, что всякая борьба должна быть чем-то одухотворена. Вам непонятно, что вдохновляет нас. Вы считаете, что мы сражаемся за победу.

Он поднял голову. Очки закрывали его глаза, но он, наверняка, был удивлен.

— Добровольных бойцов французских освободительных сил, добровольных бойцов Сопротивления

всего лишь горстка по сравнению с вермахтом. Именно поэтому они и существуют. Франция пережила в 1940 году разгром, один из самых страшных за всю свою историю. Те, кто сражается против вас, свидетельствуют, что Франция выжила. Неважно, победители они или побежденные, расстреливают их или пытаются.

— Вермахт никого не пытается. Но я, пожалуй, Вас понял. И в какой-то мере мне Вас жаль. Вы, голлисты, — нечто вроде французских эсэсовцев. Вам придется хуже, чем остальным. Если мы проиграем войну, у вас снова будет правительство из евреев и масонов, которые будут служить Англии. И в конце концов его сожрут коммунисты.

— Что произойдет, если вы проиграете войну, не в силах предвидеть ни вы, ни я. В 1920 году весь мир считал, что главным результатом войны 1914 года являлось крушение германской военной мощи. Теперь мы знаем, что главным результатом явилась русская революция. На этот раз таким результатом может явиться конец Европы как владычицы мира. В течение двадцати, может быть, пятидесяти лет все будет идти плохо для Франции, для Германии. А затем появятся новая Франция, новая Германия — и, возможно, снова будет война...

Он встал. Я решил, что он подойдет к письменному столу. Но он принялся бесцельно шагать по комнате, разглядывая ковер. Возле среднего окна его лицо попало в полосу света. Я понял, что меня поразило, когда пламя спички осветило его лицо: под черными пятнами очков слишком высокие скулы придавали маске сходство с черепом мертвеца.

— Вы и в самом деле верите в то, что только что говорили о Германии?

— В конечном счете мы снова станем вашими врагами. Но какой бы ни была судьба наших армий, какие бы ни появились у нас режимы, я, пожалуй, не знаю почти ни одного французского интеллектуала, кото-

рый готов вычеркнуть из своей памяти Гёльдерлина и Ницше, Баха и даже Вагнера...

— Вы знаете Советскую Россию?

— Да. Германия неотделима от Европы.

— Простите?

— Нельзя вырвать Германию из Европы, из мира.

— Но они попытаются это сделать... Варвары с Востока, и торговцы автомобилями и консервами, никогда не умевшие воевать, и Англия во главе с этим шекспировским пьяницей!..

Он повернулся ко мне. Дымчатые стекла скрывали взгляд. Некоторые немецкие генералы готовили покушение на Гитлера. Я этого не знал, а он, возможно, и знал.

Он позвонил.

В комнату ворвались звуки оркестра, серпантином закружились вокруг озадаченной Смерти в мундире немецкого генерала. В окне — небольшой пруд для катания на лодках, заброшенные кабины на берегу. Вошел сопровождавший меня офицер и знаком предложил следовать за ним.

Я снова вернулся в Ревель, к своей клумбе с гвоздиками, к своей сигарете и спичке. На следующий день за мной прибыл другой бронированный автомобиль. Рядом со мной, на заднем сиденье, сидел солдат с автоматом. Теперь мы направились уже не на юг, а на восток. Через несколько часов въехали в Тулузу. Смеркалось. Площадь Вильсона, кафе «Лафайет», где я провел так много времени во время войны в Испании. Однажды в маленьком скверике я вертел в руках револьвер (я держал его дулом вниз в кармане пальто). Раздался случайный выстрел. Никто даже не обратил внимания на звук выстрела, а я отделался рыжеватой дырой в пальто. Помню, как я присвистнул от радости, увидев в витринах книжных магазинов «Семью Тибо» с ленточкой, оповещавшей о Нобелевской премии...

Меня впихнули в один из домов на площади. Антре-соли. Комната — гостиная в буржуазном доме, с полукруглым окном.

Решетки изнутри. За окном, на площади вокруг скверика прогуливались парочки, присаживались за столики на террасах кафе — обычная вечерняя жизнь, если бы не немецкие мундиры. Моя золовка (брат был арестован больше месяца назад) жила на улице «Эльзас-Лотарингия», в ста метрах от площади... Немец, майор, заказал для меня яичницу с ветчиной и бутылку бордо. Уж не считали ли они меня важной птицей? Режим Виши был тут ни при чем, поскольку французы ни разу меня не допрашивали. Я вспомнил совет: никогда не допивать бутылку до дна, потому что гестаповцы любят избивать заключенных бутылками, а пустые бутылки бьют сильнее всего. Но до этого еще не доходило. Беседу едва ли можно было назвать допросом, повторялось привычное: «Маршал Петен заключил перемирие» и «Вермахт пленных не пытается». Мы заговорили о Вердене, майор сказал: «Я был тогда в плену у французов». Бронемашина провезла нас по широким улицам, обогнула большой памятник погибшим бойцам, остановилась перед роскошным отелем. В пустом холле был только письменный стол, за ним работали два унтер-офицера. Майор вручил им мои документы, которые последовательно переходили от одних моих тюремщиков к другим. Унтер-офицер сказал: «Тридцать четыре» (номер комнаты?). Второй унтер-офицер и майор встали по бокам; в отеле был лифт, но мы пошли пешком по лестнице, которую покрывал толстый ковер, закрепленный сверкающими медными прутьями. Я поднимался не без труда, оба немца приноравливались к моему шагу. В коридоре — часовые; единственное оружие у них — револьвер в кобуре. Третий этаж. Номер тридцать четыре. Часовой открыл дверь, закрыл ее за мной, и ковер в коридоре заглушил шаги трех удалявшихся немцев.

Это была большая ванная комната, переоборудованная в спальню. В одном углу — кровать с белыми простынями и покрывалом. В другом — шкаф. Никакого звонка. Никакой ручки на двери. Я застучал в нее кулаком. Явился часовой, посмотрел на меня злыми глазами.

— Где туалет?

Он проводил меня. Не меньше десятка писсуаров (вертикальные, керамические, как в кафе). Часовой стоял у меня за спиной. Вернулись. Он принялся ругаться. Наверное, орал, что нельзя стучать в дверь. Долго он будет драть глотку? Я посмотрел на него и закричал так же громко, как он:

— Возможно, меня привезли сюда, чтобы расстрелять, но уж никак не для того, чтобы Вы на меня орали. Довольно!

Он изумился так, словно я у него на глазах превратился в кролика, замолчал и запер за мной дверь с угрожающей аккуратностью.

Обставили тюрьму, будто санаторий, а охранник все равно орет, как осел. Я открыл стенной шкаф. На одной из полок какие-то обломки, несколько карандашей и линейка, аккуратно заостренная с одного конца. Охранник отпирал мою дверь не ключом, а специальной отмычкой. Я обследовал замбк. Язычок входил в паз, но дверь оказалась запертой лишь потому, что была вывинчена дверная ручка вместе с железной защелкой, которая выдвигалась от поворота ручки. В квадратную дырку, куда охранник вставлял свою отмычку, как сквозь замочную скважину, просачивался свет из коридора.

Заостренный конец линейки из шкафа подходил к дыре. Дверь можно было открыть, чтоб я аккуратно и сделал. Охранник стоял в коридоре, чуть подальше, спиной ко мне. Я бесшумно запер дверь, положил линейку на место, в шкаф.

Я еще не мог бегать, ходить на цыпочках — тоже, но я мог бы снять ботинки. Побег всегда сопряжен с

риском, который и сбивает с толку противника; на этот раз риск был не больше обычного. Но странно, что линейка вообще оказалась в шкафу. Может быть, ее выстругал мой предшественник, но его вызвали прежде, чем он успел ею воспользоваться? Заключенному не оставляют ножей. Он может (так говорят...) сделать себе самодельное оружие, но эта линейка была уж слишком аккуратно подогнана. Разве шкафы не обыскивают? «Убит при попытке к бегству...» И что это за тюрьма, где заключенных только регистрируют?

Я предположил, что майор был представителем оккупационных властей, которым меня передала бронетанковая дивизия. Эти власти сочли самым подходящим поместить меня в семейный пансионат, довольно странный, но совсем не похожий на помещение, где осужденные ожидают расстрела. В комнате не было окон... Если меня решили не расстреливать или, по крайней мере, расстрелять не сразу, то, очевидно, меня отправят для дознания в Париж. Следовало разобраться, можно ли как-то использовать эту линейку, а также насколько день в этом «приличном» доме похож на ночь. Я стал раздеваться. Дверь открылась. Солдат, который сопровождал майора, на этот раз появился в сопровождении унтер-офицера. Я снова оделся. Внизу унтер-офицер взял мои документы. Опять бронемашина.

Удаленный квартал, вышка, очень длинная стена; машина, взвизгнув тормозами, повернула налево и въехала под арку. Тюрьма. Традиционная регистрация. У меня отобрали лишь часы и выдали квитанцию! Заперли в зале, где уже находилось десятка два заключенных, которых привели сегодня. Каждый с недоверием относился к остальным, но жажда информации царствовала здесь в полной мере. Когда-то в лагере в Сансе я уже слышал нечто подобное: «Петен убит Вейганом на заседании кабинета министров». — «Неправда! Петен и Вейган — оба арестованы Манделем!». В

эту ночь я услышал: «Фронт в Нормандии прорван. Шартр занят парашютистами».

На другой день около десяти утра нас стали распределять по камерам. Здесь уже не было ковров, зато были широкие тюремные коридоры и двери с окошками. Я ожидал, что попаду в камеру, но меня втокнули в комнату. Два больших зарешеченных окна, закрытых снаружи щитами, которые пропускали лишь вертикальный свет. Десяток заключенных в гражданской одежде смотрели на меня, не поднимаясь со своих тюфяков, за исключением одного, рыжеволосого, который, улыбаясь во весь рот, с жаром пожал мне руку.

— Я здесь староста. От имени всех: добро пожаловать. Меня зовут Андре.

— Меня тоже. Спасибо.

— Когда Вас схватили?

— На прошлой неделе.

Он посмотрел на мою форму без нашивок.

— Вы командир маки?

— Да.

— Вам повезло: они Вас не избивали!

— Пока что нет. Может быть, из-за моей формы. Да к тому же ведь и у нас немало пленников.

— Кроме шуток?

Со всех тюфяков поднимались заключенные и медленно, как в театре, собирались вокруг нас.

— Как там с высадкой? У нас самый новенький и тот уже три недели как с воли. Есть, правда, «телефон», но какой только чепухи по нему не услышишь!

— Вы переговариваетесь?

— Еще бы! Скоро увидишь. Но только пусть фрицы разнесут суп.

Вот и суп. Отвратительная жижа, без преувеличения. Кусок хлеба принес бы больше пользы.

Грохот жестяных бидонов в коридоре затих. Андре подошел к окну и сказал довольно громко, но не переходя на крик: «Алло, алло, алло». Общее молчание. Соседняя камера отозвалась: «Алло». Андре отошел в

угол, сел на пол, трижды ударил рукой по внутренней перегородке. Такой же стук раздался и с той стороны. Заключенные встали между ним и глазком двери. Все тем же голосом он произнес:

— Все в порядке?

Двое наших товарищей, приложив ухо к стене, передавали ответы:

— Да. А у вас?

— Да. Получили полковника от де Голля. Арестован 23 июля. Говорит, что Каен и Сен-Ло взяты и что союзная авиация выбросила дневные десанты. Больше он ничего не знает.

— Сведения верные?

— Да.

(«Не удивляйся, — сказал мне Андре, — тут все во всем уверены!»)

— Есть. Передаем дальше.

Тот же маневр у левой стены. Позади меня — коридор, передо мной — окна. Освободившийся тюфяк — рядом с Андре, что позволило нам после «телефона» поговорить вполголоса. Остальные спали. Они уже рассказали друг другу о себе все.

— Ты думаешь, здесь нет стукачей?

— Поменьше говори о себе, вот и все.

Я понял. Стукачи здесь могли донести разве что о маловероятной подготовке к побегу или об открытом хвастовстве. Сен-Мишель был пересыльной тюрьмой. Староста сидел здесь три месяца. Каждый месяц в Германию отправлялась одна партия. Отсюда тревожная вокзальная атмосфера, атмосфера одновременно игорного дома и крепости, а не концлагеря. Нас не принуждали ни к какой работе. Охранниками были рядовые пехотинцы, безразличные ко всему, несмотря на постоянную потребность на нас орать. Они «не следили за нами», как сказал Андре. Они не могли не знать о наших переговорах: каждая камера транслировала слухи, как радиоприемник — волны. Даже в тюрьме Френ подобные передачи не прекращались ни на день.

Но для них это не имело никакого значения: лишь бы все заключенные были на месте, лишь бы тюрьма была укомплектована. Отправка в Германию означала для нас лишь то, что освобождение наступит много позже — вот и все. Но в шесть часов в коридоре раздавались шаги двух солдат и чиновника. Чаще всего они открывали одну-две двери и забирали одного-двух заключенных.

Их уводили в гестапо.

Когда в церквях колокола били шесть часов, весь коридор оказывался во власти тишины.

Некоторые из этих узников возвращались обратно. Один вернулся и в нашу камеру. О пытках в ванне он рассказывал с черным юмором заключенного:

— Не то чтобы было особенно больно, но вся беда, что каждый раз все начинается с начала, и в конце концов уже перестаешь что-либо понимать. А они орут и дубасят тебя, и тут, если не будешь очень внимательным, можешь ненароком им что-то ответить. Нужно быть очень внимательным, в четвертый раз это тяжело. И сама ванна омерзительна — блевотина и все такое. Я думал, что они меня утопят, как крысу!

Он судорожно рассмеялся, хлопая себя по ляжкам:

— Как крысу! Кстати о крысах, там была одна «мышь» в военной форме, посадили ее стучать (она на машинке печатает). И знаете, что она мне сказала, эта дрянь, на третьем заходе: «Ах, кончайте, хватит уже, мне страшно!». Она, корова, считала, что я притворяюсь! Как вам это нравится? Если мы выберемся отсюда, пусть лучше мне под руку не попадается...

Подобные истории составляли фольклор тюрьмы Сен-Мишель. Еще до моего прибытия офицер сделал обход тюрьмы, спрашивая у каждого заключенного фамилию (очевидно, для проверки). Все заключенные стояли, за исключением того, кто вернулся после пыток: он был не в состоянии подняться. Когда подошла его очередь, он назвал себя. Офицер заглянул в список, сказал: «Тер-ро-рист». Сосед, которого с того дня заключен-

ные величали «Профессором» (отправлен в Германию), сделал шаг вперед, с ученым видом поднял палец и почтительно произнес: «Не тер-ро-рист, а *ту-рист*» — и вернулся на место. Офицер продолжал проверку; прежде чем выйти, он обвел всех взглядом и крикнул с презрительным негодованием: «Все вы — туристы!».

Дверь с грохотом захлопнулась, и началось веселье...

Главное теперь заключалось в том, чтобы не попасть в очередную партию. Те, кто был назначен к отправке, вернулись в свои камеры «с вещами». Узники никак не могли повлиять на то, что их ожидало. Они старались лишь не привлекать к себе внимания, так как тогда можно было попасть в списки для отправки. Поэтому Андре и сказал мне: «Поменьше говори о себе». Тем не менее каждый, за исключением нескольких типов, арестованных за махинации на черном рынке, рассказывал о своем аресте. Привычный, важнейший и неизбежный сюжет, благодаря которому я узнал, что отель возле памятника жертвам войны, где я провел несколько часов перед отправкой в тюрьму, был штаб-квартирой гестапо в Тулузе. Ваннные комнаты там предназначались для допросов. Но обычно в комнатах кроватей не было. Горластый охранник, которого я послал к дьяволу и которого это обстоятельство так изумило, был наверняка одним из палачей. Мрачный юмор, вроде того, как я обнаружил бал в замке. И еще было чувство, что я испытывал судьбу, особенно острое оттого, что вся жизнь в этой тюрьме, после того как отправка последней партии была отложена, сводилась к беспомощному ожиданию, что преподнесет судьба — отправки в Германию или гестапо. Дни шли за днями, безликие, как во всех тюрьмах; некоторое разнообразие вносила порой раздача посылок от Красного Креста или от маршала Петена, и каждый вечер, в шесть часов, по коридору стучали сапоги — пытка. Так продолжалось до утра одного дня, когда стены содрогнулись от глухого отдаленного гула. Потом наступила тишина. Несколько заключенных при-

льнули ухом к стене: камень лучше, чем воздух, передает звуки, которые идут от земли. Прошел час. Два. И опять привычные невеселые шутки, мечты — тюремное небытие.

Второе сотрясение, немного слабее первого. Это не был грохот артиллерии. Диверсия, предпринятая партизанами? Но грохот взорванного моста похож на взрыв авиационной бомбы. Бомбардировка союзников, на которую не ответила зенитная артиллерия? Ничего похожего на то, что мы слышали в 1940 году: то был переданный землей отзвук долгих, словно прикованных к одному месту боев, подобный гулу Вердена, которого никто из нас не слышал.

Это необъяснимое сотрясение, не имевшее ничего общего с нашими собственными взрывами шашек динамита, было наступлением союзников, хотя второй грохот показался нам более отдаленным. Ни одного крика на улицах. Ни одного выстрела из винтовки. То, что происходило, происходило очень далеко. Жизнь тюрьмы не изменилась.

Но вскоре ей суждено было измениться.

В два часа обход остановился у дверей соседних камер. Потом открылась наша дверь. Немец в гражданской одежде сказал:

— Мальро, в шесть часов.

Это был вызов на допрос в гестапо.

Только тут я понял, что все это время надеялся, что обо мне позабыли.

Я попытался вытянуть из моих товарищей все известные им подробности. Атмосфера братства, возникшая вокруг меня с той минуты, как захлопнулась дверь камеры, была атмосферой бдения во время похорон. Это чувство разделяли даже спекулянты с черного рынка. Большинство моих товарищей называло «гестапо» военную полицию, которая их допрашивала. Но заключенный, вернувшийся после пытки в ванне, хорошо знал, что такое гестапо. Немцы допрашивали его,

чтобы вырвать сведения о том, где находятся радиопередатчики его группы. Его подвергли пыткам дважды, с перерывом в трое суток. А передатчики в том случае, если член подпольной группы бывал арестован, сразу переносили в другое место. На первом допросе он ничего не сказал, на втором назвал адрес квартиры, где к тому времени уже никого не было.

Я пытался выяснить — увы, тщетно! — на какой территории предстояло мне вести бой. «Что ребята рассказывают, тебе не поможет, — сказал Андре, — каждый раз все по-другому...» Будет ли речь на допросе идти о маки? Но я схвачен слишком давно. Очная ставка? Захотят использовать меня как приманку? Это было предусмотрено. Маки Монтиньяка располагались в гротах, куда немцы не сунутся. Было условлено, что если кто-либо из нас, подходя к пещерам, будет почесывать нос, значит, за ним идут немцы; тогда наши, прежде чем скрыться, выстрелят ему в голову, чтобы немцы снова не подвергли его пыткам. А у меня в отряде было двое товарищей по Испании.

Но гестапо, вероятно, на самом деле имело доступ к моему досье. Осведомленное лучше, чем пресса, оно, следовательно, знало, что я никогда не был членом коммунистической партии и не был бойцом Интернациональных бригад; но оно знало и то, что я был одним из председателей Всемирного антифашистского комитета, а также Лиги борьбы с антисемитизмом; и что я командовал иностранной авиацией на службе Испанской республики в то время, когда коммунистические партии еще не знали, что они станут делать. У гестапо был добрый десяток причин меня расстрелять. Зачем меня допрашивать? Никто с легким сердцем не думает о предстоящих пытках. Я думал о том, что сам много писал о пытках, и теперь это оборачивалось чем-то вроде предвидения.

Шесть часов. Заключение собрались возле дверей. Когда дверь открылась, они встали по обе стороны и каждый протянул мне руку.

Тот же штатский, что и утром. Двое охранников. Мы спустились вниз. Я думал, мы вернемся в отель, но мы повернули в сторону, противоположную улице. Двор был окружен арками. Немцы-охранники играли в чехарду. Один из них прыгнул неудачно, упал и выругался на ходу. Мы остановились перед маленькой дверью, похожей на дверь канцелярии в наших казармах. Прежде чем мои стражи успели постучать, дверь распахнулась, пропуская двух солдат, которые несли какого-то несчастного, с виду еврея. Лицо у него распухло, из уголка рта вытекала струйка крови; он взмахивал своими короткими руками, точно продолжая защищаться от ударов.

Мы вошли в дежурное помещение. Невообразимый шум: какой-то солдат колотил молотком по листу жести, который он держал левой рукой за цепочку. Грохот заглушал вопли избиваемых.

Узница с беспомощным видом пыталась влить ложку чая в зажатый рот заключенного, который, по всей видимости, был без сознания; все лицо у него было разбито. Она все время проливала чай, будто нарочно выплескивая его из ложки, и все начиналось сначала. Мне завели руки за спину, надели наручники. Мы прошли в следующую комнату. Справа и слева — открытые двери, и за каждой из них по человеку; руки у них были привязаны к ступням, и гестаповцы избивали их сапогами и какими-то дубинками. Несмотря на грохот молотка, мне казалось, что я слышу глухой стук ударов по обнаженному телу. Я старался смотреть прямо перед собой, может быть, не столько из страха, сколько от стыда. Блондин с вьющимися волосами, сидевший за письменным столом, остановил на мне невыразительный взгляд. Я ожидал, что сначала он спросит, кто я такой.

— Не советую городить чепуху: Голицына теперь работает на нас!

О чем шла речь? То, что он пошел по ложному пути, могло быть добрым знаком. Главное — сохранить яс-

ность мысли, несмотря на всю эту гнетущую атмосферу, на шум и на ощущение, будто я безрукий.

— Вы провели полтора года в Советской России?

— За последние десять лет я провел за пределами Франции не больше трех месяцев. Это легко проверить в паспортной службе.

— Вы провели год у нас?

Ему, как и мне, приходилось кричать.

— Ни разу больше двух недель. Даты и места моих лекций в ваших университетах я сообщил военной полиции, которая меня допрашивала.

Словно в припадке (несомненно, притворном), он заорал, поднявшись со стула:

— Выходит, Вы невиновны?

— В чем? Я с самого начала заявил, без всякого давления, что команду военными силами этих департаментов.

Он снова сел, со всего размаху швырнул в меня пресс-папье, промахнулся, но не стал повторять. Тут было что-то для него неожиданное. Он разглядывал мою форму без знаков различия и орденов, с одной гетрой.

— Вы говорите: последние десять лет?

— Да.

— И Вам тридцать три года.

— Сорок два.

Накануне в нашу камеру приходил парикмахер. Запущенная борода скрывает возраст, но я вчера побрился, и было ясно, что мне больше тридцати трех.

Он позвонил. Солдат перестал колотить по листу жести. Крики, перешедшие в жалобные вопли, затихли. Демонстрация продолжалась достаточно долго? И все же я чувствовал себя в большей опасности, чем под пулеметами на дороге возле Грама или под дулами винтовок во время инсценированного расстрела. Немец опять говорил нормальным голосом, почти свободным от акцента.

— Вы хотите сказать, что Вы не сын покойных Фернана Мальро и Берты Лами?

— Нет, я их сын.

— От какой болезни умер Ваш отец?

— Он покончил с собой.

Немец перелистывал мое дело.

— Когда?

— В тысяча девятьсот тридцатом или тридцать первом. Но тут никакой ошибки быть не может: в нашей семье не было другого Фернана.

Он посмотрел на меня со злостью, словно говоря: «Тогда объясните мне, что происходит!». Я подумал, что сейчас я мог бы развести руками и это означало бы: «Я понимаю в этом не больше Вашего». Но руки у меня были за спиной, а на них — наручники. И все же я как будто догадывался о том, что происходит.

Тридцать три года — это был возраст моего брата Ролана. Он действительно провел год в Германии, еще до Гитлера, и полтора года в Советском Союзе. Так называемая княжна Голицына была его любовницей. Париж переслал сюда его досье, а не мое. Ролан находился в их руках. И если они до сих пор не нашли моего досье, то виноват я сам: я всегда забываю, что меня зовут не Андре. Нет, никто никогда меня по-другому не называл. Но по документам я числюсь Жоржем. Значит, бронетанковая дивизия, вероятнее всего, не передала протоколов моих допросов; она лишь запросила личное дело Мальро, Андре, какового в отделе актов гражданского состояния не оказалось, поскольку его не существует. Из всех досье, заведенных на Мальро (в одном лишь районе Дюнкерка у меня пятьдесят два кузена, из которых около тридцати носят мою фамилию), они выбрали самое подозрительное. Но, видимо, в этом досье находилось нечто такое, благодаря чему допрос начали не с избиения и следовательно не обращался ко мне на «ты».

— Вы утверждали, что с нашими пленными у вас хорошо обращались?

Значит, бронетанковая дивизия переслала сюда протоколы допросов в более полном виде, чем я предполагал.

— У вас было достаточно времени проверить это с помощью осведомителей вишистской милиции.

— Незачем, мы своих пленных у вас отбили.

Вот в этом я сомневался.

— Вы и есть Берже, не так ли?

— Да.

— Значит, Вы признаете себя виновным?

— С Вашей точки зрения, это бесспорно.

Позади меня немец в штатском вел протокол. Следователь продолжал листать досье.

— Ну что ж, начнем все сначала!..

Потом, как пес, сделавший стойку, он взглянул на меня и закричал таким тоном, словно вся эта бессмыслица вызывала у него негодование:

— Да скажите же мне, какой дьявол втянул Вас в это дело?

Секунда колебания.

— Мои убеждения.

Он ответил, точно харкнул:

— Ваши убеждения! Вот мы на них и поглядим!

Он встал из-за стола, прошел в соседнюю комнату. Что бы ни случилось, я, как и многие другие до меня, держался, насколько мог, мужественно.

По крайней мере пять минут. Все должно было или начаться или закончиться.

Звонок.

Человек в штатском прошел вслед за своим коллегой в соседнюю комнату, тут же вернулся, велел охранникам увести меня и снова ушел.

Мы проследовали по той же дороге, по которой меня сюда привели. В подворотнях по-прежнему играли охранники.

Я попытался «увидеть» комнату, в которой меня допрашивали и которую, как мне казалось, я не разглядел. На стене, над ящиками с картотекой, висела реклама «Перно Понтарлье» (когда-то такие плакаты были расклеены во всех кафе). Ползали насекомые.

Связанный человек, которого палач в комнате справа поднимал ударами сапог, был светловолос и весь в крови. Черты лица моего следователя с вьющимися волосами: близко посаженные глаза, маленький нос, небольшой рот — вписывались в круг, гораздо меньший диаметром, чем все лицо.

Лестница. Камера. Рукопожатия. Всеобщее изумление.

— Партия отложена, — сказал я, — у них оказалось не то досье.

Стенной «телефон». Поздравления из соседних камер. Передали, что наши взяли Нант и Орлеан и что немецкие части в Коррезе сдались. Если это правда, значит, они сдались моему преемнику, что многое объясняло... Мои товарищи по камере жаждали информации о том, что они называли «бомбардировкой». Они слышали гул, уже не такой отдаленный, как первые два раза. Ночью мы слышали этот гул еще трижды, возможно, из-за ночной тишины.

На следующее утро взрывы были такие близкие и такие мощные, что мы решили, что это бомбардировка Тулузы. Но гула самолетов слышно не было. Андре просверлил дырку в нижней части одного из щитов, закрывавших наши окна: мы увидели лишь клочок неба в полосах дыма. Дальнобойные орудия? Но где проходил фронт? Некоторые взрывы были явно не от снарядов. «Алло, алло! Фрицы взрывают свои сооружения!» Какие именно? Немецкие склады или французские здания — немцы взрывали их по собственному плану, независимо от продвижения союзников, вот почему взрывы то приближались, то удалялись. Слушать, ждать, строить догадки — только этим и жила тюрьма...

Вероятно, все-таки происходило то, на что надеялось большинство из нас с первых часов ареста: фронт был прорван, и южная группа оккупационных войск откатывалась к Парижу.

Двери хлопали одна за другой. Охранник кричал на бегу: «Всем вниз с вещами!» — и бежал к следующей

двери. «С вещами», как правило, означало отправку в Германию. Ко времени моего ареста большинство главных коммуникаций было уже перерезано. Перевозить нас в грузовиках через партизанские районы Центрального массива? Нас отвели в большой зал, тот самый, где я провел первую ночь. Всех ли заключенных собрали сюда? Нас было больше пятисот: измученные лица каторжан, жалкие пожитки в руках. Почти все сидели на полу. Вечное кочевье побежденных. Слухи возникали и исчезали с быстротой калейдоскопа. После трех часов ожидания нас развели по камерам.

Неужели отправляться в Германию было уже поздно? Теперь им оставалось либо бросить нас, либо расстрелять. Чтобы расстрелять тысячу человек, много пулеметов не потребуется.

Суп не принесли. Несколько заключенных яростно забарабанили в двери. Охранники выстрелили наудачу вдоль коридора. Тишина.

Всю ночь передвигались войска. Фасадом тюрьма выходила на одну из главных улиц. Утром опять не принесли суп. Но около десяти часов шум грузовиков сменился торопливым грохотом танков. Либо к северу от Тулузы шли бои (но мы не слышали ни канонады, ни рева бомбардировщиков), либо немцы уходили из города.

И вдруг мы застыли, с изумлением уставившись друг на друга: во дворе тюрьмы женские голоса распевали «Марсельезу». То было не торжественное пение узниц, которых отправляют в лагеря смерти; то был неистовый крик, с каким женщины Парижа когда-то шли, наверное, на Версаль. Никаких сомнений, немцы ушли. Удалось ли женщинам отыскать ключи? По коридору с криком: «Выходи! Выходи!» — бежали люди. На первом этаже раздался звук могучего деревянного гонга, перешедший в дробь тамтама. Мы поняли. Единственной мебелью в каждой камере был стол. Стол, оставшийся в наследство от старых тюрем, может

быть, еще со времен Второй империи, громоздкий и тяжелый. Мы всей камерой схватили наш стол, поставили его перед дверью, отступили к самым окнам. Андре скомандовал: «Раз, два, три!». Мощный удар колокола сотряс камеру. Дверь, казалось, напряглась, как древко лука, хотя наши усилия были и не совсем согласованными. Посыпалась штукатурка; Андре поднял кусок, начертил на двери крест на уровне нашего роста, сказал: «Всем целиться сюда!». С первого этажа доносился грохот таранов. Мы отошли к самым окнам. «Раз, два, три!» Дверь прогнулась: казалось, она вот-вот разлетится в щепы. Мы отступили. Мы были очень истощены, но возбуждены до истерии. Тараны гремели со всех сторон, мы слышали треск дерева. Много недель мы жили звуками тревоги. Переговоры через стену, шаги идущих на пытку — этот дом тишины, подтачиваемой осторожными звуками, словно балка червями, и мы — обращенные в слух. И теперь мы по-прежнему жили и чувствовали ушами, все еще запертые посреди извержения криков и гулко-го грохота таранов, мы по-прежнему жили вслушиваясь. Вся тюрьма гудела. Перекрывая тамтамы смерти (каждую минуту могли вернуться немцы), «Марсельеза» вновь обретала свой пророческий клич: «день славы» — это было наше освобождение; «тирания» — мы хорошо знали, что это такое; «слышите, в наших полях» — грохочут союзные танки, которые, быть может, подходят все ближе. «К оружию!» — и в ответ бьют в двери тараны. Кое-где в камерах раздались было жидкие всплески «Марсельезы», но быстро захлебнулись: дверь на ритм песни не вышибешь. Но тараны — их удары становились быстрее, их число стремительно росло, — как гигантские подземные барабаны сопровождали волну затухавших криков. С пятого удара дверь разлетелась в щепки.

Сначала пришлось вытаскивать застрявший в проеме стол. По правой стороне коридора из многих камер выскакивали заключенные, перепрыгивая через вы-

шибленные или разбитые двери; слева, со стороны лестницы, выплескивалась, потрясая поднятыми вверх кулаками и отвечая песней на кузнечный грохот таранов, ревушая толпа без возраста, толпа народных восстаний, приукрашенная картинками из дамских журналов, так как женщины, влившиеся в ряды оборванцев-заключенных, оставались элегантными или старались быть такими. Впереди, размахивая связкой ключей, бежал какой-то тип: он принялся отпирать еще не выбитые двери камер. Пели теперь только где-то над нами, но повсюду свобода колотила в свой неистовый гонг. Мы спустились, пробиваясь против течения, вырвались во двор и тут услышали стоны раненых; ворота тюрьмы с ужасающим грохотом с размаху захлопнулись, заглушая гул удалявшихся танков и пулеметные очереди. Около десятка заключенных вбежало обратно во двор, окровавленные, держась за животы и падая без чувств. Наверху — отдаленная «Марсельеза» и тараны; внизу — нереальная тишина. Снаружи — крики. Все, кроме раненых, упавших во дворе, собрались в большом зале: триста или четыреста человек.

— Берже — командиром! Берже! Берже!

Кричали, вероятно, заключенные из соседних с нашей камер; всем хотелось избавиться от этой бесформенной свободы, хотелось действовать сообща, но мы были безоружны, а за воротами — немецкие танки. Я был единственным заключенным в военной форме, и это придавало мне своеобразный авторитет.

— Иди! — сказал Андре. — Пошевеливайся!

Я взобрался на ящик:

— Стройся!

И вот уже передо мной стройные ряды.

— Врачи, ко мне.

Четверо.

— Санитары есть?

Подошел один. Возьмем еще нескольких заключенных.

— Первые десять поступают под начало врача и занимаются ранеными — теми, кто уже ранен, и теми, кто будет ранен!

— А что мне с ними делать? — спрашивает врач.

— Что хотите. Быстро!

Следующие восемь!

Они стояли рядом, но я продолжал выкрикивать распоряжения. По четырем углам тюремной стены были расположены сторожевые вышки.

— По двое на каждую вышку. Один остается на посту, другой возвращается сюда с отчетом и будет связным.

Андре распределил людей по вышкам. Его самого я послал на вышку, выходящую на дорогу.

Никаких звуков, только крики раненых. Если бы немецкие части еще были здесь, они попытались бы выломать ворота; если бы здесь был хотя бы один танк, он бы их уже выломал. Значит, по меньшей мере в ближайшие минуты ничего не произойдет. Из глубины двора подходили новые заключенные, другие уходили.

— Офицеры и партизанские командиры!

Трое.

— Те, кто хоть немного знает Сен-Мишель!

Несколько недель назад заключенных использовали здесь на разных работах. Таких было человек двадцать.

— Те, кто знает, где немцы хранили оружие!

Двое усатых мужчин.

— Там, наверное, ничего уже нет, но пойдите посмотрите!

— Те, кто знает, где находятся лестницы!

Никого.

— Те, кто знает, где были лопаты или молотки!

Пятеро. Не так уж плохо.

— Пойдите проверьте!

Я подозвал одного раненного в руку и его приятеля, который накладывал ему повязку.

— Расскажите, что произошло.

— Мы кинулись сломя голову; там были танки, по нам ударили из пулемета.

— А потом?

— Кто смог, вернулся.

— А танки?

— Не знаю...

Ну что же, покричим опять.

— Все раненые, ко мне!

Вот они. Второй врач сейчас ими займется.

— Танки, которые в вас стреляли, остались на своих позициях или ушли?

Большинство не знало. Четверо или пятеро сказали, что танки ушли. Один, что они остались. Я вспомнил, что грохот гусениц как будто удалялся.

Подозвал одну из женщин, которая, казалась, сохраняла спокойствие.

— Как Вам удалось сюда войти?

— Когда первые фрицы ушли, многие женщины начали наблюдать за тюрьмой, потому что у них здесь мужья. Когда увидели, что и охранники уходят из Сен-Мишеля, несколько женщин решились сюда войти — прикинуться дурочками или найти какой-нибудь предлог. Ворота даже не были заперты. Кругом никого. Тогда они крикнули нам, и мы все вошли.

— И никаких танков, как я понимаю, не было?

— Не было. Потому-то первые и вышли за ворота, ничего не подозревая.

Вернулся один из усатых мужчин.

— Оружия не нашли, нашли гранаты.

— Сколько?

— С полсотни.

— Взорвите где-нибудь одну для проверки. Возьмите четырех человек и поднесите остальные к воротам, разложите их по обе стороны арки.

Вернулся Андре:

— Париж освобожден! Со своей вышки я разговаривал с соседом: он все видел. По его мнению, фрицы в тюрьму не вернуться, об этом и говорить нечего. Но

эвакуацию Тулузы они еще не закончили, а мы находимся на одной из дорог, по которой идет эвакуация. Танкисты, покидавшие город, узнали здание тюрьмы, легко догадались, в чем дело, и стали стрелять по толпе.

— Пошли еще двух связных.

Подошел связной с другой вышки, у дороги, и подтвердил информацию Андре.

Я выкрикнул еще несколько распоряжений, подошел к воротам тюрьмы, приказал их открыть. Дорога была пустынна. От трех раздавленных танками тел осталась лишь кровавая жижа.

— Во дворе есть песок, — сказал я одному из сопровождавших меня офицеров. — Прикажите засыпать кровь. Старайтесь ничем не привлечь внимания немцев. Если с вышки будет сигнал, идите во двор не торопясь, как будто возвращаетесь после работ.

Перед воротами — бедные дома и маленькие лавочки, где еще недавно покупали провизию для заключенных; за ними — сады.

Я послал десятка два из толпившихся вокруг людей открыть все двери.

— Потом уходите задáми, оставляя за собой все двери и калитки открытыми!

Они перебежали через дорогу. С ними побежали те, кто засыпал кровь песком. Все заключенные разбились на группы по двадцать человек. Свисток с вышки. Но мы и так уже слышали: танки. Закрыли ворота, задвинули огромные засовы.

Либо немецкие танки не обратят внимания на тюрьму, и тогда, после того как танки пройдут, заключенные группами выйдут за ворота. Либо же танки будут таранить ворота. Но арка ворот слишком узка, чтобы въехать с ходу; танкам придется маневрировать, а развернуться им негде, даже если они врежутся в одну-две соседние лавки. В нашем распоряжении будет несколько минут. Въехав под арку, танки станут уязвимы для гранат, тогда как нас защитит прямой угол стены. Если они прорвутся во двор, они нас всех уничтожат.

Но сначала им нужно прорваться. Стоит нашим гранатам поджечь первый танк — и проход будет закрыт; танки, идущие следом, вряд ли станут терять время на осаду. Два унтер-офицера противотанковых частей и двое храбрецов, умевших обращаться с гранатами, присоединились ко мне. Немецкие гранаты с рукоятками, которые один из усатых мужчин сложил по обе стороны черной дыры ворот, были удобнее наших. Уже ничего не было слышно, кроме приближавшегося грохота танка (танка довольно легкого). И опять, в который раз, жить в этой тюрьме означало слышать. Танк не может маневрировать, не замедляя хода, а он его не замедлял. Возможно, мы были спасены. На вышках наши дозорные присели на корточки. Цепочкой, как разъяренные муравьи, пули прошли верхнюю часть ворот. И танк уже миновал тюрьму.

То же самое и с двумя следующими танками. Они посылали прощальную очередь, смеха ради. Но все это — то ли из-за безразличия к нам, то ли по приказу. Еще девять танков прошло сначала перед тюрьмой, затем перед домами... Последний из них унес с собою и шум.

Я бросился к левой вышке. Танк подъезжал к повороту дороги. Гусеницы перемешали песок и кровь, перед тюрьмой больше не было пятен. «Откройте ворота!» Первые узники вышли неторопливо, точно просто прогуливались, но иступленное буйство свободы выплеснуло остальных из ворот, словно толпу школьников из школы при пожаре. Если пройдут танки, бойня возобновится.

Но танков больше не должно было быть.

III

1

1958—1965

Прежде чем отправиться к священным гротам, я хотел еще раз увидеть Бенарес и посмотреть на великие храмы Юга. Но чтобы добраться до священного города Шивы, я должен был проехать через Сарнатх, где Будда в парке читал проповедь газелям. По краям шоссе, похожего на те царские дороги, на которых двадцать три века назад Ашока провозгласил: «Я посадил эти деревья, чтобы защитить от солнца людей и зверей», я видел заброшенные храмы, хижины из камышей, оседающие под крышей из щепок и дощечек, а также крестьян, сидевших в тени баньяновых деревьев, с гирляндами священных цветов на шее. Верблюды, казалось, сожалеющие об исламе, медленно проходили перед святилищем Шивы.

Начиная с 1929 года мне часто приходилось сталкиваться с буддизмом, от Цейлона до Японии. Коломбо — это одно из самых спокойных мест в мире. Его беспечное население бродит под ярко-красными огнецветами, под фиолетовыми бугенвиллеями, по аллеям, где преобладают розовые акации. По асфальтовым дорогам, где редко можно увидеть автомобиль, вечером движутся процессии в сари, а их цвета — это пастельные цвета английских девушек, похороненных на соседних кладбищах. Возле викторианских монументов, пышных и в то же время строгих, похожих на плененных орхидеями броненосцев, играет сингальский му-

зыконт, разглядывая, как под колючками медленно ржавеет то, что когда-то было Британской империей...

В Бирме (но вспоминается почему-то дорога на Мандали) я насчитал тысячи гладиолусов, склоненных, словно пшеница под ветром, молитвой женщин, приветствовавших Будду. В Японии я видел храм Нара, когда его стены еще были покрыты самыми знаменитыми в Азии фресками (Будда гранатового цвета, принцы с тиграми и с лотосами в руках), а теперь нашел их, белые как глаза слепого, разбросанными вокруг его обугленных колонн. Это все еще была Индия.

Приезжая сюда из Аравии, как сегодня, или, как совсем недавно, из Индии, я не могу вступить на землю Цейлона, не почувствовав, как меня наполняет счастье. Нищета крестьян здесь просто поражает. Но любое их скопление порождает то же чувство покоя, какое в храмах вызывают цветы. Ядовитым скорпионам здесь лишь обламывают жало, но не убивают. Звери здесь окружены любовью, такой же, как у францисканцев. В сравнении с крестьянами все остальные группы людей ведут себя настороженно. Тем не менее за «Фиоретти»* есть своя Нагорная проповедь и своя Голгофа; за этими похожими на цветы людьми есть Будда во всех храмах, погруженный в транс с закрытыми глазами; есть свои священные тексты, есть горестное «Вырваться из колеса...», есть запутанная связь жизни и смерти. Сострадание не является основным мотивом буддийских проповедей; тем не менее я не забуду взгляда здешних женщин, такого же кроткого, как у газелей. Но это не та метаморфоза, которая в сказках превращает девушек в веселых животных и в источники живительной воды, спасающие меня от ночной жажды; это более глубокая метаморфоза, к которой лишь прикоснулся Франциск Ассизский; это превращение мировой драмы во вселенскую нежность. Таинственная сила, извлекающая эту вселен-

* «Цветочки» св. Франциска Ассизского.

скую нежность из мрака, где принц Сиддхартха обнаружил старость, болезнь, смерть... Это настолько ласковые и кроткие призраки, что им даже нет необходимости улыбаться...

«Тогда, на краю Непала, в Капилавасту родился принц Сиддхартха...» Такой образ Индии, избежавший дыхания Истории и перемешавший столько фантазий, для меня — словно ожерелье из влажных тубероз, которые дороже царских драгоценностей. Эти тиары, эти ожерелья, я никогда их не видел; эти туберозы с ароматом райских болот я видел лишь на шее посетителей: такие цветы были в гирлянде у одной знатной гостьи. Но тиары Аджанты, греко-буддийские торсы вызывают в моем разуме представление о великой легендарной жизни. И в Сарнатхе все напоминает о торжественной фразе, написанной на воротах великих религий: «В начале было Слово», согласно святому Иоанну; «Жизнь есть страдание», согласно ученикам Будды. В Сарнатхе принц Сиддхартха уже Шакья-Муни. В то мгновение, когда он приступает к медитациям, царь-Кобра, развернувший свой капюшон, чтобы защитить его от солнца, говорит ему: «Над твоей головой кружится стая соек, она движется слева направо...». Это предзнаменование Просветления. Тогда появляется демон (сказки всегда смешиваются с великими мифами) с огненными стрелами, во главе легиона мелких демонов с серой кожей, покрытой пятнами красного цвета. «И в час, когда наступил рассвет, когда раздался звук барабана, когда на небе было полнолуние, он достиг Просветления». Ему был известен лишь путь Истины до тех пор, пока не пришла смерть. «Положите меня между двумя этими деревьями, головой на север...» Деревья покрываются цветами, которые, падая, закрывают тело. И костер кремации загорается сам по себе.

Языки пламени этого костра, пробившиеся сквозь толщу веков, — именно их я и видел в Бенаресе. Сады на тех дорогах, где принц впервые повстречался с ре-

альной жизнью; женщины, спящие на подстилках из цветов с мясистыми листьями; гений места над городскими воротами, «дом невернувшегося аскета на бездорожье», приветливые деревья, вещие птицы; павлины, в приветствии распускающие хвост; принц, ставший аскетом, и лошадь, «содрогающаяся от рыданий», одна вернувшаяся во дворец, — все это и есть Индия. Усыпанное цветами платье земли было платьем преступников, которых ведут на казнь, платьем, которое надевали всадники раджпуты,* когда шли на верную смерть. Учение об Освобождении — одна из вершин индийской мысли, и поколения будд станут воплощениями Будды, соединившегося с высшей Мудростью.

Но Парк Газелей теперь уже не более, чем экспозиция развалин, аккуратно подметенных, которая отныне принадлежит археологии так же, как Сфинкс, как все, что наше столетие спасло из прошлых эпох; кроме того, здесь разбит самый обычный сад, с газонами для развлечений царских наместников. Вдалеке прогуливаются рыжеватые звери. Дорога не позволяет подойти к ним поближе. И я никогда не увижу газелей Сарнатха...

Добродушие францисканских бонз в этой стране брахманов; густые сверкающие букеты свежести и влаги в пекле полудня... Но перед этим бедным храмом в архитектурном стиле эсперанто, на фоне забавных японских фресок хрупкий прелат, благословивший меня на пали,** был похож на аскетов, благословлявших принца Сиддхартху.

Будда гораздо лучше был представлен в Бенаресе, несмотря на то, что этот город, когда он две с половиной тысячи лет тому назад пришел сюда, был посвящен Шиве. После 1929 года мечеть Аурангзеба потеряла два своих минарета, которые, словно две руки, угрожающе поднимались над городом. Но Ганг про-

* Военно-феодалное сословие в средневековой Индии.

** Один из языков Индии.

должал оставаться Великой Рекой, используемой для погребений и часто посещаемой. Рядом с храмами, наполовину скрытыми в воде, плескались лодки; в них, как и раньше, сидели дети. Обезьяны все еще бегали по карнизам. Женщины бросали с лодок в реку монетки, желтые и белые цветы. Коровы заглядывали в окна дворцов, откуда взлетали бумажные змеи. Город оставался окрашенным в цвет конопли и глины, несмотря на белое пятно больницы и огромные вывески. Те же самые вавилонские лестницы поднимались к храмам, все так же окутанным облаками: был сезон муссона.

Бенарес в этот час — это, прежде всего, Ганг. За нашей лодкой, плывшей между огнями, между постоянно поддерживаемыми кострами и кучами бревен для кремации, следил ястреб. Пока мы, словно сквозь город, продирались через заросли цветущей конопли, молчаливый голос внутри меня цитировал: «Вот священные воды Ганга, что освящают разверстые уста мертвецов...». Великая молитва Индии, которую Запад, вероятно, знал в то время, когда первые удары колокола пробуждали верующих на рассвете в эпоху Меровингов*; эта молитва исходила теперь от людей, которые уже много лет приветствовали одну и ту же реку и одно и то же солнце одними и теми же песнями — и одними и теми же кремациями, небрежно сжигавшими то, что на Западе называют «жизнью».

Так же, как мы сбрасываем одежду,
Так же, как сбрасываем то, что надето на тело,
Так мы отбрасываем и сами тела...

Голос верующих, которые только что прошли очищение, был за пределами храмов, дворцов и городов таким же пронзительным. Таким же пронзительным, как и на заполненных кострами изогнутых берегах, заполненных кострами, одной широкой и медлительной реки в Африке...

* Династия правителей Франкского государства в V веке.

В 1914 году учеников моего класса привели на поля Марны через несколько дней после сражения. В полдень нам дали по ломтю хлеба, который мы в ужасе выронили из рук, потому что ветер сразу же покрыл его тонким слоем пепла мертвецов, сваленных в кучу и сожженных неподалеку. Здесь же хозяйка дома, открыв окно, оказывалась в клубах дыма сжигаемых трупов, а проходившая мимо толпа смотрела на эти костры так же спокойно, как первые жители Бенареса смотрели на перелетных птиц. «Одежда, которую мы сбрасываем...» Старший сын зажигал костер для умершего отца, родственники болтали в дыму, тощие собаки, опустив нос к земле, проходили мимо терпеливых грифов, мимо больших костров богачей, мимо маленьких костров бедняков, детей и аскетов, которых было так же много, как и прежде. Берег реки был таким крутым, что казалось, будто покойники спускаются стоя. Священный город с усталой покорностью предавался жизни, шедшей своим чередом. Эти костры, эта толпа, медленно поднимавшаяся на берег реки и распевавшая псалмы в честь верховного бога, гораздо больше, чем кресты наших кладбищ, напоминала о поднимавшихся по священному пути Вердена, по дорогам Сталинграда огненных рядах разорвавшихся бомб. В Европе отказ от судьбы — это война.

Здесь же — это разрыв с жизнью, выраженный аскетом и костром. Поэтому Будда, с его призывом «Вырваться из колеса!», появляется здесь. Соперники Бенареса — это города с другой жизнью, тогда как он — это город с другой смертью. Столица переселения душ? Но то, что переселяется, переселяется из одной души в другую, из одного тела в другое. Традиция, суровая и непрерывная, точно выражена уже в «Милиндапанхе», которая передает беседы буддиста Нагасены с царем Менандром во дворце Гандхара, куда орлы прилетали с Памира, а чайки — с океана; и «где в избытке можно было найти все, что только можно есть и пить, самые изысканные яства».

«Человек с факелом поднимается на верхний этаж своего дома и ужинает там. Факел поджигает солому на крыше, загорается дом, загорается вся деревня. Жители деревни хватают этого человека: „Зачем ты сжег деревню?“ — „Это не я ее сжег. Одно дело огонь, при свете которого я ел, другое дело — огонь, уничтоживший деревню“. — „Но огонь, который сжег деревню, вспыхнул благодаря первому огню“».

Разумеется, тот, кто рождается вновь, это не тот, кто умирает, но этот последний продолжает свое существование в нем, — следовательно, нельзя сказать, что он освободился от прежних грехов.

Разумеется, любая цивилизация явно или неявно придает огромное значение своим представлениям о смерти. Истину смерти нельзя проверить на опыте, она может быть лишь объектом откровения. Но это откровение — это связь Индии и мира в целом.

«Огонь факела всегда один и тот же, но он постоянно меняется, пожирая сам себя... — говорят буддисты и приверженцы брахманизма. — Всегда отличающиеся друг от друга потоки всегда похожего на себя Ганга...» Джайны* рассыпают в некоторых местах сахарную пудру, чтобы накормить муравьев, и легенда рассказывает нам о встретившемся Индре ребенке-брахмане (который и был Вишну), хохотавшем над процессией муравьев. «Почему ты смеешься?» — спросил он, озадаченный внешностью ребенка. «Каждый из этих муравьев был когда-то Индрой, и потребуются двадцать восемь царств Индры, чтобы прошел один день и одна ночь Брахмана...» Речь, очевидно, идет о религиозном времени, похожем на вечность христиан; но оно противоположно вечности, как переселение душ противоположно воскресению. Один космический цикл насчитывает более четырех миллионов лет, один день Брахмана — четыре миллиарда, а один

* Представители джайнизма — религиозно-философского учения, распространенного в Индии.

цикл Брахмана — больше трехсот тысяч миллиардов (каким бы ни было число, индуизм всегда готов его умножить во много раз). Однако это время *оживляется* рождением, жизнью и смертью его циклов, оно вступает в бесконечную диалектическую игру сущностей мироздания, которое рождается вновь не совсем таким, каким является сейчас, несмотря на неизбежное возвращение к своему вечному источнику. Космические циклы вызывают у нас представление о световых годах, но наша жизнь не измеряется световыми годами, тогда как жизнь индуса измеряется космическими циклами. Не Шива, а именно Вишну, бог Жизни, говорит: «Излюбленные средства моей майи* — это столетия существования мира. Мое имя — Смерть-Вселенной». Преподаватели санскрита в университете (священные деревья, залы в стиле английской готики, профессора в желтых одеяниях) говорили мне, что историю аскета Нарады, которую я когда-то записал, у них изучают по «Матсья Пуране»,** но эту же историю рассказывают детям и кормилицы...

В пустынном лесу Нарада медитировал, сосредоточив свой взгляд на сверкающем на солнце маленьком листочке. Лист задрожал, затем все огромное дерево начало дрожать, словно от порыва муссона, и, не просыпаясь, затрепетали застывшие павлины: это был Вишну.

— Выбери любое желание, — прошептал шорох листьев.

— Разве может быть у меня другое желание, кроме того, чтобы узнать тайну твоей майи?

— Хорошо, но пойди разыщи для меня воды.

Дерево сторало от жары.

Аскет добрался до первого попавшегося хутора, обратился за помощью. Животные спали. Открыла молодая девушка. «Ее голос звенел как мешочек с золотом

* Сила космической иллюзии.

** Одна из пуран — религиозно-философских книг Индии.

на шее у странника»; тем не менее специалисты толкуют эту фразу как встречу с чем-то близким, возвращенным после долгого ожидания. Ему показалось, что он был здесь всегда. Он позабыл про воду. Он женился на этой девушке, и каждый поступил бы на его месте точно так же.

Он сроднился с этой землей, с палящим солнцем, с утоптанными тропами, по которым ходят коровы; с теплым рисовым полем, с колодцем, из которого воду доставали с помощью длинного шеста; с закатом над крышами из пальмовых ветвей, с розовыми огоньками светяков по ночам. Он узнал поселок, рядом с которым проходила бесконечная дорога; поселок, где жили акробаты, ростовщик, где стоял маленький храм для детей. Он открыл для себя ласку зверей и помощь растений, он узнал, как мягко опускается вечер на усталое тело; он постиг глубину покоя после сбора урожая, он понял, что времена года возвращаются назад так же, как буйвол с водопоя в конце дня. Он познал годы нужды и улыбку исхудавших детей. Когда тесть умер, он стал главой дома.

Однажды ночью, через двенадцать лет, очередное наводнение погубило скот и унесло его дом. Поддерживая свою жену, которая вела за руки двух детей, он бежит в потоке перевозанной грязи, неся на руках третьего. Ребенок, которого он нес, соскальзывает с его плеча. Чтобы схватить его, он отпускает двух остальных и жену, — их уносит. В ту же ночь, переполненную непрекращающимся грохотом, на него падает вырванное с корнем дерево. Мощный поток швыряет его на скалу; когда он приходит в себя, его окружает лишь ил, в котором застряли обломки деревьев с сидящими на них обезьянами...

Ветер уносит с собой его плач:

— Мои дети, мои дети...

— Дитя мое, — отвечает ему эхо торжественным голосом ветра, — где же вода? Я жду уже больше получаса...

Вишну все еще ждет его в лесу, перед огромным трепещущим деревом.

Эта же легенда есть и в христианстве, где она приобрела иную форму. В одном монастыре, затерявшемся в средневековом лесу, монах спрашивает, что же делают на небе избранные: «Ничего: они созерцают Господа». — «Всю вечность? Это, наверное, слишком долго...». Господь не отвечает. Монах снова возвращается к своей работе: он корчует лес. У него над головой садится чудесная птица. Она сразу же улетает, но недалеко. Она садится на соседнее дерево, потому что плохо умеет летать. Монах бежит за ней. Птица опять взлетает, и монах, увидев, насколько она прекрасна и загадочна, бежит за ней снова и снова. Эта охота продолжается до вечера. Птица исчезает, и монах спешит теперь вернуться в монастырь прежде, чем наступит ночь. Он едва узнает его: здания стали гораздо больше, многие братья умерли, настоятель стал стариком. «Если тебе хватило всего лишь птицы, чтобы двадцать лет пронеслись перед тобой, словно несколько часов, то чему равна вечность для избранных?»

В этом назидательном рассказе мы угадываем идею иного мира, представление о времени Бога, о христианской вечности. Но то иллюзорное время, которое открыл для себя монах, так же чудесно, как и сама птица. Оно не ставит под сомнение жизнь людей. Монах, как и аскет, поддался очарованию; однако очарование, овладевшее аскетом, ставит жизнь под сомнение, потому что его земное существование, даже в его собственных глазах, имеет ту же природу, как и его существование в плену у майи. От текста «Пураны» до сказок кормилиц возвращение к «реальности» связывается с циклом существования проявленного мира, а сам Вишну связан лишь с высшим циклом... Второе существование Нарады не принимается в расчет, хотя оно и не является вымышленным: оно столь же реально, как и первое. Майя, конечно же, не ограничивает

свое господство царством времени, но все, что подчинено времени, есть майя.

Майя — непобедимая сила, властвующая над царством мертвых; сила, которая не только руководит этим карнавалом смерти, этими соломенными зонтами, вывешиваемыми на стены дворцов, словно щиты, но и сама затевает всю эту торжественную кутерьму с костюмами и ритуальными омовениями. Несмотря на все свои полторы тысячи храмов, священный город не оставил в моей памяти ни одной статуи. Высшее проявление майи — это тело, сжигаемое в век заката Европы перед глазами аскета, которого это колеблющееся пламя направляет к высшей Истине. «Ригведа» об этом рассказывает так:

О огонь, возьми неторопливо это тело в свои руки:
Сделай его светлым и совершенным,
Унеси его туда, где предки не знают больше
ни печали, ни смерти...

И это высшее проявление майи было для меня в тот день в Индии единственным, что избегало дыхания смерти: высшая Истина, вечный Дух — индуизм.

Два самых мощных выражения метаморфозы индийской религиозной души — это агония и сумерки; отсюда тот акцент, который приобретает здесь ночь. Узкими темными улочками я возвращался в непроницаемое молчание. Лестницы утратили свою вавилонскую символику. Двери домов исчезали в темноте, были видны лишь ступеньки. На погруженных в ночную тьму улицах рядами дремали птицы. Вдалеке кто-то пел стихи «Гиты» о том, что есть божественное:

Я — начало и конец всех существ.
Я — душа всех живых созданий,
Я — любовь, связующая поколения;
Из всех великих рек Я — Ганг,
Я — ветер очищения,
Я — нетленное время, красота и слава...

Голос становился выше:

...Я — сама Смерть...

У входов в храмы, в нишах, вырезанных в стенах для идолов, и на позолоченных нимбах на головах каменных изваяний аскетов мерцал красный отблеск. Бедный торговец маленькими фигурками богов закрывал свою лавочку. Такими же были улицы Капилавасту, когда принц Сиддхартха покинул дворец. Толпы прокаженных оставили эти места, и они опустели, как вольтеры без птиц. Но костры продолжали гореть, прибившиеся к берегу трупы продолжали отталкивать длинным шестом и приглушенная болтовня точно так же была созвучна чуть слышному потрескиванию пламени. Лестница сменила свое направление и теперь проходила под воротами. Прямо подо мной, вокруг трещавшего в огне тела, кружком сидели неподвижные мужчины, а падающая на землю тень была похожа на колесо Закона. Все еще можно было услышать пение:

...Я — Смерть всего, и Я — рождение всего,
Я — речь и память, доверие и милосердие,
Я — молчание тайных вещей...

Я вспомнил о кольце мертвого орешника, там, в Эльзасе, возле узловатого ствола: оно было похоже на это кольцо живых вокруг мертвого тела, которое, казалось, не желает сгорать. «Из всех великих рек Я — Ганг...» Невидимые потоки уносили голубые и красные отблески костра в ночь.

За сотни километров пути я не встретил здесь никакого иного искусства, кроме маленьких фигурок богов, выплавленных из олова или вырезанных из дерева, которые вызывают недоумение, когда их находят на башнях современных храмов. Эти башни, поразительно разноцветные, царствуют скорее над усатым Рамаяной миллионов людей, чем над Абсолютом священ-

ных гротов. Но вокруг этой божественной суеты — множество деревьев, непринужденность животных, нагота детей, которые смеются с такой грустью; серьезные старики и праздники сари под палящим светом поднимающегося солнца. По всей Индии, не верящей в жизнь, именно жизнь и была священна, жизнь во всем ее отчаянном благородстве; а то, что не было жизнью, представляло собой лишь божественный цирк. Но он необъяснимой гармонией сочетался с очищавшим всю страну муссоном, с сексуальными символами, которые викторианская Англия считала бесстыдными и о которых нам известно, что они родственны образам невежества и темноты. Точно так же и застывшие в камне боги первого храма, увиденного мною некогда, сочетались с ароматом благоухающих трав, которым поднявшийся после тропического дождя пар заполнял воздух...

«Суеверия глубже, чем религия», — сказал Поль Валери. Его шутка становится еще остроумнее, если суеверия смешать с магией. Разумеется, магия присутствовала везде, в том числе, вероятно, и в нашем средневековье; разве нет ее в Лурде или в Фатиме? Этот сорняк цеплялся за все святилища на краю дороги, как волшебный выюнок горьких тыкв цепляется за стволы деревьев. И эти глиняные лошадки возле священных прудов, с цветком ибискуса между ушами, были бедными, но верными родственниками божественных коней, вставших на дыбы возле колонн храма Мадуры. Неру говорил мне: «Даже неграмотные женщины знают наш национальный эпос и рассказывают детям истории из него». Вылепленный из глины Рамаяна свидетельствует, что Золотая легенда распространена по всей Индии, и я знаю, что детей укачивают, напевая им колыбельные, вдохновленные «Бхагаватгитой»: «Дитя, когда ты спишь, когда мечтаешь и даже когда бодрствуешь, ты живешь; взгляни на этот бренный мир...». Я вспоминал о самой простой молитве, такой же, как наша «Аве Мария»: «Приведи меня ото

лжи к истине, от ночи к свету, от смерти к бессмертию...».

Храм Мадуры намного больше, чем обычный собор. Его башни с голубым блеском на фоне голубого неба возвышаются над городом, его громада возникает на пересечении улиц так же, как безграничность моря на подходах к порту. Кажется, что набожные крестьяне вновь воздвигли здесь башни Вавилона, покрытые божественной растительностью, как когда-то они воздвигли башни Шартра. У входа в этот варварский Ангор* брахман с обнаженным торсом осыпал мой лоб алым порошком, и я окунулся в теплую влагу, войдя в нартекс,** заполненный букетами цветов, таких же, как цветы на наших кладбищах в день поминовения: куркума, базилик, сандал, камфора, которую зажигают перед алтарем и ее аромат смешивается с благоуханием цветов; хризантемы (здесь, в это время года!), гирлянды плюмерий, которые я видел на шее Хрущева и запах которых всю жизнь будет напоминать мне об Индии; и большая проказой красавица, протягивавшая мне одну из этих гирлянд с горькой улыбкой... Когда я оборачивался, то через раскрытые ворота видел, как высокие тележки с крышами из сухих пальмовых ветвей, с дрожащими на свету дышлами выстраивались в ряд, словно готовились к великому переселению.

Мадура — это небо, отраженное в трех водоемах, в ритуальных бассейнах с зелеными гребешками волн; три белых цветка перед невидимым божеством, черная Кали, прикрытая окровавленной простыней; запах разложения, перебивающий аромат тубероз; черный маслянистый блеск галерей, отполированных людским потом и следами животных; неторопливо прогуливающиеся люди, разделенные на тех, кто изнывает от жары под открытым небом, и тех, кто прячется в глу-

* Архитектурный комплекс в Индии.

** Входное помещение с западной стороны христианских храмов.

бине темноты (здесь я впервые понял, что наши соборы заполнены *неподвижными* христианами). Я шел через бесконечные галереи этого храма и внезапно оказался возле его девяти башен, изрешеченных гнездами ласточек. Над ними торжественно кружили орлы. Эта строгая и правильная архитектура, выверенная по планам геомантии,* казалась воплощением эпического хаоса: статуи на башнях и в пещерах галерей имели здесь такую же ценность, как гуляющие мимо них люди. Гибкие обезьяны сопровождали нас некоторое время, а затем внезапно покинули. Когда я проходил перед кровавой Дургой,** с ее плеча спустилась черная кошка и медленно отправилась в тень, под защиту кавалерии вставших на дыбы божественных лошадей, с таким видом, словно она владела тайной вселенной...

Сумерки воспевали все, что пребывало в полумраке, тогда как боги, слившиеся с башнями, казалось, принадлежат той религии отчаяния, которая распространялась от деревни к деревне. На чем бы ни задерживался взгляд, на башне, поднимавшейся над неподвижными кокосовыми пальмами, каким-то сверхъестественным способом всегда появлялись Кришна со своей коровой, Рама со своей обезьяной и Пандаvas со своими слонами. А также священные слоны, обладавшие крыльями и разговаривавшие с облаками; Индра перед деревом, которое исполняло все желания; наги, которые живут на дне моря, во дворцах из светящихся кораллов; и принцессы-змеи, «знаменитые своим танцем, своим умом и своей красотой», от которых ведут свой род некоторые династии юга. В духовном мире Индии, в силу его наивности, змея иногда играет эпическую роль, такую же, как и все гигантское; но именно она поддерживает Будду в состоянии Просветления и раскрывает свой сулящий смерть капюшон, чтобы защитить его. Из всех священных текстов больше всего

* Гадание по линиям земли.

** Великая Мать демонов.

насыщен символикой ночи тот, где изображен сводный брат Кришны, столкнувшийся с колоссальными потрясениями: «...и змеи пели ему гимны...». Неру был прав, когда говорил об историях из эпоса. Музыкальная мечта легенды заполняла собой властную нереальность жизни. Кришна, Рама были не только более реальными существами, чем Акбар, они были такими же реальными, как Ганди, благодаря этой религии, где существовали изображения богов и героев, а изображений царей почти не было. Наш романский мир также представляет собой лишь отражение божественной легенды. Маленькие слоны из глины, продававшиеся у входа в храм, изображали Ганешу из Мадур, бога мудрости с головой слона, наступающего ногой на крысу; но молодая продавщица напевала: «И когда Ганеша наступил на крысу, засмеялась луна меж облаками...». Еще несколько миллионов лет Ганеша будет наступать на свою крысу, а луна будет смеяться, когда вновь беззвездной ночью появится из океана. Вишну с головой вепря, уносящий богиню Земли, говорит ей своим вечным голосом, печальным в предвкушении бесконечного цикла перерождений: «Всякий раз, как я несу тебя так...».

Одни лишь брахманы приближаются к алтарю, где в тени мерцает Богиня-с-глазами-рыбы, в честь которой он воздвигнут; покрытая рубинами, словно чешуей, с рассыпавшимися веером волосами яка, с алмазными рыбьими глазами, гораздо более близкая к деревенскому идолу, усеянному бижутерией, чем к глубинам этого сверхъестественного базара.

Из полумрака тени медленно появляется процессия. Мужчины и женщины наряжены и в своих костюмах чувствуют себя неловко. Но самая первая пара выглядит так же благородно, как танцоры из эпоса, и сари, вероятно, самая красивая одежда в мире. Процессия приближается ко мне, поднимая руки со сплетенными пальцами, — трогательное приветствие, которое мало известно в искусстве Индии и хорошо известно буддийскому искусству: передо мной был эскорт. «Это

свадьба», — сказал мне Раджа Рао. Я подошел к жениху; не зная ни слова на языке тамилгов, я пожелал ему счастья на санскрите (востоковедение на высоте: «good luck»). После этого они оба пали ниц. Пораженный, я хотел было поднять женщину; мой спутник-индус остановил меня, и мы, после обмена любезностями, отправились дальше, к карусели богов, благоденствующих в тени. «Они приняли Вас за Вишну, — сказал мне Раджа Рао, — и они, между прочим, имели на это право». Позже он уточнил, что имел в виду. Родители, обручившие юношу и девушку, сэкономили несколько лет, чтобы в день свадьбы привести их к Великому Храму, который должен был принести им счастье. Они встретили там визиря из далекой страны, страны, которая еще никогда не посылала визиря в Мадур, — необычная встреча. Он направился к ним — это было еще более странно. Направился, чтобы пожелать им счастья (визирю не желают счастья крестьянам). Пожелать счастья на санскрите (свадебная пара не знала санскрита, но один брахман сказал им об этом и т. д.) — абсолютно нереально. Следовательно, это был не визирь. Эти пожелания счастья были посланы богами — следовало пасть ниц.

В конце концов, разве на самом деле я был визирем? Все нереальное было заразительным. Прежде всего потому, что его воздействие не было художественным. Неистовство крылатых коней и богов принадлежало нереальности праздника. Бумажные фантастические животные, изготовленные для прежних процессий, а ныне скомканные, валялись повсюду. В Европе считают, что то, что не подражает реальности, выражает вымысел. Эти фигурки подражали вымыслу не больше, чем фигуры на королевских воротах Шартра подражали королям Франции. Под башнями, беспорядочно покрытыми изображениями сцен Страсти и Золотой легенды, целый храм захвачен статуями: поднимающиеся на дыбы лошади, животные и божественные персонажи веками продолжают тут свой неистовый

очистительный танец. Верующие — это мир, подчиненный майе людей; храм — это мир, подчиненный майе богов. Йога стремится эти два мира соединить.

Я думал, что такие же храмы воздвигнуты и над Бенаресом: нигде так удачно не смешиваются фигуры животных, людей и богов, застывшие в танце. Это танец вселенной, а душа храма — танец Шивы. Но нам слово «танец» внушает нечто противоположное тому, что оно означает в Индии, не знающей, что такое бал. Танец богов — это празднество движения, а священная музыка — это празднество речи. Изначально Шива выражал через танец свою победу над врагами, которых он только что уничтожил; но он танцует также и танец Смерти, танец, который индусы видят в языках пламени костров, который вновь и вновь возобновляется в сумерках; который будет продолжаться, пока будет существовать человечество. Исчезнет мир, тысячелетние костры Ганга погаснут, наступит космическая ночь, но и тогда многорукий Шива торжественно исполнит свой танец возвращения к истокам вечности. Именно благодаря этому образу индусы испытывают причастность своего разума, поднимающегося над последовательностью воплощенных душ, к Вечности, которая поднимается над богами и веками мироздания:

Если Шива любит костры,
Я сделаю костром свое сердце.
— Да исполнит он там свой вечный танец...

Здесь я, как и в Бенаресе, возвращался ночью. Толпа была не так воодушевлена религиозными чувствами, как после обеда; она была менее деятельной, скорее усталой, как и улегшиеся на землю коровы, на телегах которых устроились на ночь горлицы. В свете ламп, без бассейнов и без башен, храм стал более фантастичным и не таким неприкосновенным. Перед статуей преклоненного Шивы группа паломников высоким голосом распевала молитвы:

Вот я здесь, перед тобой, на земле,
Мой бог, который и есть я сам...

Это было также и отождествление (в противоположном смысле этого слова) божественного с человеком и с миром, которое и выражала послеполуденная молитва. Казалось, ее значение передается (ночная иллюзия?) гипнозом. Но брахманы отстранили всех этих сомнамбул: это был час союза Шивы и Парвати. Приглушенный шум исчез в визге длинных средневековых труб; затем, словно музыка погружалась в поток времени, торопливые удары барабана начали передавать ритм космических событий и вступила тростниковая флейта. Брахманы несли Шиву под серебряным и черным паланкинами, распутивая спящих животных. Процессия остановилась перед статуей Парвати. Огромные летучие мыши летали зигзагами и кричали, как крысы. Освещенные факелами каменные лингамы* располагались друг за другом в темноте. Камыш начал было свою жалобную ностальгическую песню, которую когда-то пел на стенах Вавилона, но замолчал. Союз Шивы и Парвати взывал к молчанию и к звездам. На темные башни медленно опускалась ведическая ночь.

Вскоре я был намерен посмотреть, как она спускается и на Эллору. Казалось, что я совершаю паломничество по местам Шивы: Бенарес, Мадур, Эллора, затем Элефанта... Здесь, как и в Египте, как и в Ангкоре, развалины удалось очистить от растительности, помогавшей когда-то могущественным богам Разрушения. Но эти гроты сочетают в себе воздействие горы и гробницы. Храмы Кайласы не были построены: они представляют собой искусственные углубления в горе. Теперь они засыпаны обвалом, и в глубине расщелины мы видим лишь скопление соборов, заваленных до верхнего этажа, без башен, а их своды, окруженные

* Мужской половой орган.

нервирами,* вызывают мысль о грудной клетке какого-то животного из легенд; откуда же тогда у меня осталось неотвязное воспоминание именно о соборе? Оно вызвано ощущением бесконечности пространства. Этажи, заваленные в расщелине со стороны Кайласы, с другой стороны возвышаются над безграничной равниной; хотя планировка храмов была работой геомантов, ансамбль Эллары сохраняет мистерию изначальных гротов, тайну случайности геологического хаоса, проложившего эти пещеры. Самые темные участки наводили на мысль о Ласко. За галереей, полутьма которой ведет в джунгли к обитателям пустоты, солнце вместе с водопадом опускалось на сцену сражения чудовищ, увенчанных диадемами, и многоруких богов, с тиарами на головах, запутавшихся в развалинах золотых и серебряных рудников. Память о беспорядочности Мадуры позволяла догадываться, до какой степени эти скульптуры были правильными. Образы Священных Вод, Ганга, Джумна кажутся высеченными изготовителями амфор из божественного эпоса. Легкокрылый гений огненного письма. И несмотря на Шиву, несмотря на ужасных Богинь-матерей, это не тот огонь, в котором сгорают трупы. Чудовища и герои Эллары пылают на костре красных гладиолусов...

Самые большие скульптуры этих гротов стремились сохранить нечто неуловимое, сохранить лучше или как-то иначе, чем их предшественники. «О Повелитель, ты принимаешь те формы, в которых представляют тебя твои верующие...» Но верующие не изобретают формы богов, они их признают. Молитва, приходящая здесь на ум, была более тревожной, и ей мы были обязаны скульптору: «О Повелитель всех богов, научи меня во сне, как сделать это наяву!». Не потому, что Элора была фантастичнее многих других храмов, но потому, что здесь господствует — и именно к этому и обращена индийская молитва — незапамятная атмосфера

* Подобие арки.

ра архетипов и великих символов, атмосфера, сопровождающая ночную жизнь спящих от поколения к поколению, подобно тому, как разум тех, кто молится этим богам, сопровождает их жизнь изо дня в день. Храмы, статуи, барельефы являются частью горы, которая словно зацвела по воле божества. Индуизм, буддизм, джайнизм — все они призывают к невидимому, но едва ли здесь есть попытка изобразить это невидимое, поскольку все его последовательные изображения полностью узаконены. Диалог неподвижности нирваны и танца богов подразумевается сам собой; танец Шивы я рассматриваю как танец Сущности в то мгновение, когда смерть освобождает ее от тела, от духа и от души. И этот танец, даже в музее, не относится исключительно к миру искусства; здесь же его совершенство не имеет художественного характера: это загадочное рождение мифа, это танец хищника, танец орхидеи. Это совершенство богов. Нигде я так остро не чувствовал, насколько всякое священное искусство основано на предположении, что те, к кому оно обращено, уверены в существовании тайны мироздания, которую это искусство передает, но не разоблачает, и к которой сами они причастны. Я был в ночном саду великих сновидений Индии.

Наступила настоящая ночь. Мертвый зеленый сумрак скопился в оврагах Кайласы. Я вспомнил о Неру и о его горе в Тибете: «Я никогда не увижу Кайласы...». В просвете, который образует вход в храм, солнце еще бросало красный свет на дикие мимозы и на утопавшую в пыли, словно в морской воде, равнину. Мы добрались до буддийских гротов, до выстроившихся в ряды каменных изваяний аскетов, похожих «на застывшее пламя, укрывшееся от ветра»; затем шли гроты джайнов, напоминавшие своей массивностью Рим. Но Элора — это прежде всего Шива.

Мы шли к храму Махалинги — символу Шивы и одному из восьми священных лингамов Индии. Была уже глубокая ночь. Оказалось, что это не храм, а просторная терраса, на которую нужно было подниматься по

лестницам разрушенного дворца. Лингам находился где-то в темноте. Завывания, приглушенные ритуальной раковиной, стали выше и сопровождались теперь произносимыми шепотом гимнами и отдаленной музыкой. Судя по всему, храм находился немного дальше, а здесь, как и в Мадуре, наступил час союза Шивы и Парвати. Истинным местом поклонения была эта пустота, эти плиты Рамаяны, показавшиеся при свете фонаря, это молчание леса без зверей.

Ночь, часто сопровождавшая царские и божественные космогонии, тем не менее *никогда* не была временем Творения. Для открытых христианством Греха, Искупления, Суда мир был лишь декорацией; для брахманизма человек был не более, чем эпизод. И не только в силу учения о переселении душ: потому что героями баснословных циклов, отделяющих друг от друга последовательные возвращения из мрака небытия, могут быть только боги и стихии. Индия испытывает бесконечность так же, как Иов испытывает величие Иеговы. И Кайласа, и эта пустая терраса, где уже несколько тысячелетий говорили о богах, и эти ночные гимны сообщались с Сущим благодаря Бесконечности. Все это было обожествлением Бесконечности, для которой жизнь человека лишь мимолетное мгновение... В храме Шидамбарамы, там, где должен находиться бог святилища, брахманы показывают лишь пустое пространство вокруг себя: «Вот танцующий Шива...». В центре зажигают камфору, после которой не остается пепла.

Майя сообщает Элморе свой самый ощутимый акцент, потому что там она кажется древнее всех религий, как скала древнее всех вырезанных на ней по очереди фигур. И для Ганди, как и для аскетов, приютивших принца Сиддхартху в лесу, как и для ведических поэтов, подписывавших свои гимны именами богов, привилегированным средством Освобождения было отречение. Препятствие Освобождению не представляет собой тщеславного спектакля вещей, это привя-

занность к ним, которую мы несем в себе. Желание во многих религиях изображается как демон. И для христиан демон, начиная с первородного греха, пребывает в человеке; для Индии человеческие привязанности — это метафизический демон, это не столько вождение, сколько сама жизнь; рабство человека, ослепшего по отношению к трансцендентной сущности и оставшегося в силу своей слепоты в иллюзорной вселенной. Если бы даже все боги умерли, майя продолжала бы существовать, потому что индус носит ее в себе, как христианин — грех. Невидимый агент майи не связан с божественным воздействием, майя — это условие человеческого существования.

Гимны замолкли. Началась музыка ночи.

Столетиями Индия знала различие между музыкой утра и ночи так же, как мы легко отличаем танцевальную музыку от похоронной. Как во времена великих паломничеств, так и тогда, когда храмы Кайласы были уже похоронены в джунглях, в один и тот же назначенный час бранный человек воспевал бранные звезды. Приближался какой-то свет. Это была камфора, зажженная на жертвеннике. Брахманы приподнесли цветы приветствия.

Город, из которого добираются до Элоры, — это Аурангабад, мусульманский город, прославившийся гробницей жены Аурангзеба, узорчатым Тадж-Махалом, возвышающимся над зарослями уже одичавших розовых кустов. Он заставил меня вспомнить об археологическом музее Отэна, об огороде, где кельтские памятники и римские статуи «росли» среди артишоков.

Город, из которого добираются к Элефанте, — это Бомбей.

Как и Калькутта, Бомбей, появившийся в XIX столетии, ни в коей мере не является современным индийским городом: это такой же англо-индийский город, как Агра, Лахор или Аурангабад — города индо-мусульманские. Красная крепость, гигантские ворота ко-

торой позволяли легко пройти печальному верблюду, мраморные купола и кондитерские, окруженные лесными зарослями, где полно белок; здания в лжевикторианском стиле (построенные по образцу соборов?), огромные вывески дантистов, смущающие надписями на санскрите; пыльные кокосовые пальмы, на которых беспорядочно развешаны воздушные шары, — все это смешалось в какую-то забавную декорацию, которая проникла и в священные гроты. Их связь с глубинами земли вызывала представление о подземной Индии, тайно наблюдавшей за Индией деревень, животных, процессий с амфорами, величественных деревьев и готовой в то же время обратить в пыль города, химерические и театральные. Гроты Эллары возвышаются над бескрайней равниной, похожей на шкуру запаршивевшего животного. Гроты Элефанты кажутся спрятавшимися на острове, где залив сверкает с элинской радостью, а над Аравийским морем кружат чайки. Но и те и другие соединяются со священной темнотой. Как толькоходишь в Элефанту, сверкающий океан исчезает, как и все города, как Индия англичан, как Индия Моголов, как Индия Неру, как недолго хранящиеся дары у знаменитого «Тримурти»* — все исчезает перед гигантской тройной головой Шивы.

Ни фотографии, ни даже кино невозможны уже на лестнице. Эти головы, от пяти до шести метров, значительно меньше, чем головы Байона в Ангкоре; но они просто колоссальны в сравнении с фигурами, которые их окружают; они заполняют грот так же, как Пантократор заполняет византийские соборы Сицилии. Как и Пантократор, Шива изображен по плечи, и нигде нет ни одного бюста. Отсюда тревожный вид отрезанной головы и божественного явления. Речь идет не только об «одной из самых прекрасных статуй Ин-

* Единство сущностей трех главных индийских богов — Брахмы, Шивы и Вишну. В данном случае речь идет об его изображении.

дии», в том смысле, какой вкладывают в слово «прекрасный».

Здесь сразу же, с первого взгляда, видишь настоящий шедевр скульптуры. Одна маска и два монументальных профиля — этот замысел (особенно глаза), несмотря на предубеждение, что золото и серебро ценятся выше, чем изображения лица, достоин самого высокого шедевра.

И потом — здесь Шива, пещера, священное. Как и фигуры Муассака, этот образ относится к числу величайших символов, и то, что выражает символ, может быть выражено только им. Эта маска с глазами, закрытыми перед потоком времен, словно при похоронной песне, есть и на танцующем Шиве, который здесь, в Эллоре, склоняет свой ритуальный факел к земле. Такая же маска есть и в «Танцах смерти» на Юге, и даже на баснословных изображениях в Мадуре.

Наконец, как и в случае с некоторыми другими шедеврами из «Воображаемого музея» человечества, здесь происходит встреча художественного воздействия произведения, его религиозного влияния и какой-то иной притягательности, непредусмотренной заранее. Так, например, эта непредусмотренная притягательность «Фараона Джосера» связана с тем, насколько разрушение коснулось его черепа; а притягательность «Ники Самофракийской» исходит из того, что судьба сама изобрела такое совершенное чудовище, какое люди долгое время напрасно искали под внешностью ангелов: ее крылья были лапами птицы, но «Ника» совершенна только без этих лап. Знаменитая линия, идущая от точки в центре груди к краям крыльев, родилась при ампутации. «Совершенством» Шивы (в таком смысле слова) мы называем священную тень, отсутствие тела, которое когда-то танцевало; два профиля, еще соединенных с горой, маску с закрытыми глазами, но, в первую очередь, уникальное творение, благодаря которому Шива Элефанты также является символом *Индии*.

В соседнем гроте пели стихи из «Бхагаватгиты». Она близка всем индусам. Ее декламировали во время погребальных церемоний и все четырнадцать часов кремации Ганди. Тайно связанная с подземным храмом, с колоссом Шивы, она казалось песней самого святилища, которому ничем не была обязана.

Предстали пред Арджуной деда и внуки,
Отцов и сынов увидал сильнорукий,
И братьев, и родичей, близких по крови, —
Каленые стрелы у всех наготове!
Враждой сотоварищей прежних расстроен,
Высокую жалость почувствовал воин...

Две легендарные армии Индии стоят лицом к лицу. Старый король, с которым сражается Арджуна, слеп. Возница его колесницы обладает магической силой и знает все, что происходит на поле сражения. Посреди вражеской армии, в колеснице, запряженной белыми лошадьми, начинается диалог (который он слышит) между принцем Арджуной и его учителем, ачарья, который и есть Кришна, верховное божество. «Гита» — это божественные слова, переданные благодаря магии слепому Приаму, навеки обреченному на тьму.

Арджуна смотрит на тех, кто близок к смерти, и Кришна напоминает ему, что если величие человека в том, чтобы освободиться от судьбы, то величие воина не в том, чтобы освободиться от мужества. Это эпическая братоубийственная бойня, и нам троянская грусть Арджуны представляется эхом горького голоса Антигоны:

Мутится мой разум, и кровь стынет в жилах,
И лук я удерживать больше не в силах,
Зловещие знаменья вижу повсюду.
Зачем убивать я сородичей буду?
Мне царства, победы и счастья не надо:
К чему мне, о Пастырь, сей жизни услада?

Ему отвечал другой поющий голос, так же, как в поэме Кришна отвечает Арджуне:

Мудрец, исходя из законов всеобщих,
Не должен жалеть ни живых, ни усопших.
Мы были всегда — я и ты, и, всем людям
Подобно, вовеки и впредь мы пребудем.
Как в теле, что нам в сей юдоли досталось,
Сменяются детство, и зрелость, и старость, —
Сменяются наши тела, и смущенья
Не ведает мудрый в ином воплощенье.

Этой песней начинается Откровение, которое мои спутники знали наизусть; Откровение, рифмуемое в темноте с далеким грохотом океана и криками чаек; песня Божества, которое выше бесконечного множества миров, которое оживляет и разрушает их; песня духа, который кочует по телам и душам и который в поэме назван лишь Извечным:

Извечный — к извечной стремится он цели,
Пусть тело мертво, он живет в мертвом теле.
Кто понял, что Дух вечно был, вечно будет,
Тот сам не убьет и убить не принудит.
Смотри: обветшавшее платье мы сбросим,
А после — другое наденем и носим.
Так Дух, обветшавшее тело отринув,
В другом воплощается, старое скинув.

Последнюю строфу я уже слышал в Бенаресе. Здесь в ней исчез акцент кремации, и продолжение обнаруживало в этом недоступном взгляду божестве больше торжественности, чем в кострах:

Он — неопалимый, и неуязвимый,
И неувлажняемый, неиссушимый.
Он — всепроникающий и вездесущий,
Недвижный, устойчивый, вечно живущий...

Один из моих спутников ответил на звучащую вдалеке песню одним из самых знаменитых стихов поэмы, и его голос, приглушенный и в то же время усиленный низкими сводами пещеры, пронзил насквозь толстые стены:

Всегда он бессмертен, в любом воплощенье, —
Так может ли смерть принести огорченье?

Был ли этот ответ для тех, кто распевал стихи «Бхагаватгиты», таким же таинственно естественным, как и мое пожелание бедной паре новобрачных в Мадуре? Они молчали. В Бенаресе я перечитал «Гиту». Рядом с подземными призраками, со всем, чем эта книга обязана древнему брахманизму, смутно, как фигуры в этих гротах, приоткрывалось божественное учение о любви, которым брахманизм пренебрегал, а также космический стоицизм, которому поэма обязана своей славой. В неумолимом движении звезд, возвращаясь к истокам, человек соединяется с Богом, когда обнаруживает свое тождество с ним и когда соблюдает Закон, выполняет долг перед кастой. Действие необходимо, так как требуется, чтобы божественные планы были реализованы: «Это не ты собираешься убить своих родственников, — говорит Кришна Арджуне, — это я сам». И действие очищается жизнью, если человек в достаточной мере причастен Богу, чтобы принести ему жертву.

Поэтому, Арджуна, встань и решенье
Прими, и вступи, многомогущий, в сраженье!
Признав, что удача подобна потере,
Что горе и счастье равны в полной мере,
Признав, что победе равно поражение, —
В сраженье вступи, чтоб не впасть в прегрешенье...

Для моих спутников этот знаменитый момент был частичкой вечности. Между тем, скульптуры, окружавшие меня в темноте, и сама «Гита» были выражением не столько священного стоицизма последних стихов, сколько идеи причастия, в которую превращалась метафизическая строгость; мистической идеи, которую брахманизм раскрывал в той же степени, что и буддизм, христианство и ислам. Даже если бы в другом гроте и не декламировали стихи о причастии, метаморфоза веры все равно здесь присутствовала бы,

как присутствует она, например, в соборе Святого Петра в Риме, если вспомнить о наших соборах. Индия одержима образом потока, всегда отличного от других и в то же время похожего на другие, и вереницы душ в ее религии проходят перед Шивой так же, как когда-то армии перед жертвенными кострами. Ветхий Завет «Упанишад» стал Новым Заветом «Гиты». Из глубины веков пришел гимн богине Кали:

Тебя, Мать Благословений,
Тебя, ужасная Ночь, Ночь лжи, Ночь смерти,
Приветствуем мы!

И действительно, после Элефанты молитва приобретает странное завершение:

«„Я напрасно молюсь“, — говорит Учителю дочь ученика. „Что ты любишь больше всего на свете?“ — „Маленького ребенка моего брата“. — „Сосредоточься и думай только о нем, и ты увидишь, что он и есть Кришна. Только любовь ведет слепых к свету"».

Размышления о времени и вечности возле гигантских голов «Тримурти», этих пленников Священного, оказываются также и размышлениями о судьбе всех религий, о поклонении любви, руководящей людьми от рождения до смерти, любви, под которой скрывается непобедимое постоянство. Если о «Бхагаватгите» вспоминают во многих священных местах, то она этого заслуживает; как и «Тримурти», она символизирует саму Индию. Ганди пробовал ее переводить. Самый великий из Отшельников наших дней действовал в духе отказа от своего Бога, чтобы достичь высшей формы отречения. «Моя преданность народу — это один из аспектов дисциплины, которую я навязываю своему телу, чтобы освободить душу. Мне не нужно искать убежище в гроте: свой грот я ношу в себе».

Но если бы даже ты жил с убеждением,
Что Дух подлежит и смертям и рожденьям, —
Тебе и тогда горевать не годится:
Рожденный умрет, а мертвец возродится.

Ночь опускается на убитых в последнем сражении, длившемся семнадцать дней. Немногие выжившие ушли в лес, чтобы умереть там аскетами. Терпеливые хищники поджидают свою добычу, и возле брошенных мечей, отражающих лунный свет, обезьяны, похожие на тех, что сопровождали меня в Мадуре, осторожно прикасаются пальцами к глазам мертвецов.

Снаружи прошли девушки с красными цветками в руках. Чайки Омана парили над водной гладью сверкающего залива. Моторная лодка вернула нас назад. Бомбей (сумасшедший базар, который считается городом) лишь немного возвышался над водой, и мы направились к огромной арке Ворот Востока. Раньше, с английских теплоходов, она рассматривалась как морской храм военного флота. Сегодня к ним приближалась лишь наша лодка, возвращавшаяся из вечной Индии. На одном уровне с океаном сверкали атомные реакторы...

Мы должны были вернуться в Дели к рассвету. На вечер в мое распоряжение предоставили старое бунгало губернатора, расположившегося почти на самом острие мыса полуострова. Сад, который, несмотря на нескольких молчаливых садовников, можно было назвать необитаемым, оказался кладбищем офицеров индийской армии. А армия Индии была так же далеко, как и кавалерия Акбара...

Страсть, которую во мне еще недавно вызывала Азия, исчезнувшие цивилизации, этнография в целом, вытекала из удивления перед формами, которые может принять существование человека. Кроме того, меня притягивал и тот свет, который чуждая цивилизация отбрасывала на мою собственную, та странность или своеобразность, которая открывалась под таким углом зрения. Я только что вновь столкнулся с одним из самых глубоких и самых сложных открытий мой молодости. Открытие Индии и на самом деле сложнее по последствиям, чем открытие испанцами Америки, так как Англия не уничтожила ни жрецов, ни воинов

Индии, и храмы древним богам здесь все еще продолжают строить. Оно сложнее, чем открытие ислама и Японии, потому что Индия не в такой степени оказалась подвержена влиянию Запада, потому что она шире раскрывает «ночные крылья» человека; оно сложнее, чем открытие Африки, потому что происходило постепенно, шаг за шагом. Далекая от нас в мечтах и во времени, Индия — атрибут Древнего Востока нашей души. Последние раджи не были фараонами, но брахманы Бенареса напоминают жрецов Изиды, факиров, о которых мечтал Александр, а павлины в пустынных дворцах Амбера напомнили мне о толпах жителей Халдеи, изумленных послами из индийских царств, «чьи птицы умели делать колесо». И тот иной Египет, народ и верования которого едва ли изменились со времен Рамзеса, был, вероятно, последней религиозной цивилизацией, разумеется, последней великой цивилизацией политеизма. Кем окажется Зевс, если его поставить рядом с Шивой? Единственный античный бог, язык которого был достоин Индии, — это бог без храмов, Судьба.

Что мне на самом деле было известно об этой цивилизации? Ее искусство, ее мысль, ее история. Как и о других великих мертвых цивилизациях (если не считать того, что я слышал ее музыку и встретил нескольких гуру, что имеет большое значение в стране, где именно религиозное мышление выражает Истину, которая должна быть не столько понята, сколько пережита: «Не верь ничему, чего прежде не испытал сам»). Я и не рассчитывал, что «узнаю» (мимоходом...) мышление, которое выдержало семнадцать завоеваний и два тысячелетия; я лишь пытался откликнуться на то волнение, которое оно во мне вызывало.

Человек способен испытать присутствие Универсального Сущего во всех созданиях и присутствие всех созданий в Универсальном Сущем, тогда он открывает тождество всех явлений: будь это удовольствие или страдание, жизнь или смерть — перед самим собой и

Универсальным Сущим; он может в своей собственной природе достичь сущности, поднимающейся над его переселяющимися из тела в тело душами, и испытать тождество с сущностью «мира вечного возвращения», благодаря своему невыразимому единству с ним. Но в индийской мысли есть нечто завораживающее: есть ощущение, что она заставляет нас взбираться на священную гору, вершина которой всегда отступает; появляется ощущение, что эта мысль — факел, позволяющий нам двигаться в темноте. Нам знакомо такое движение в темноте благодаря некоторым нашим святым и философам; но лишь в одной Индии Универсальное Сущее, одержавшее победу над видимостью и вселенской метаморфозой, не отделяется от них, но становится с ними неразделимым, «словно две стороны одной медали», чтобы проложить путь к неисчерпаемому Абсолюту, превосходящему даже Сущее...

Разумеется, слово «Сущее» плохо переводится выражениями «вечно сущий Брахман» или «верховное Божество». К Сущему мудрец приближается глубинами своей души, а не разумом. Боги — это лишь различные средства постижения, и «каждый идет к Богу через своих собственных богов». Именно это Будда и пытается уничтожить в своем первоначальном наставлении, когда в состоянии экстаза ставит перед собой последнюю цель, которую величественно называет «мир бездны».

Суеверия как замороженные мотыльки кружатся вокруг этой возвышенной мысли. Она оживляла все храмы, которые я видел, в том числе и Бенарес. Но какой свет она несла народу, который меня окружал! Я встречал людей из касты брахманов, но не жрецов: интеллектуалов, художников, дипломатов и их жен; несколько великих фигур и множество политиков, представителей народа, еще безграмотного в начале столетия. Ни одного торговца, ни одного крестьянина. Единственное, что я вспоминал в этом печальном саду огромного города, перед лицом самой религиозной и,

вероятно, самой дружественной страны в мире, — это огромная и немая толпа людей, напоминающих ласковых животных. Это была скорее толпа индусов, чем индийцев: поля Индии были похожи на поля во Франции, но мечты Индии не имели ничего общего с мечтами французов. Но то, что я вспоминал (точнее: то, что возникало в моей памяти), было противоположностью христианской толпе: это была толпа в метро, и прежде всего та, которую я знал лучше всего, — толпа в дни войны. Духовность Индии пробудила во мне ненадолго воспоминания о капеллане из Глиера, но массы индусов, для которых смерть сообщает жизни смысл, заставили меня вспомнить о тех из нас, для кого смерть не имела смысла; бесплотные создания, столетиями ставившие фигурку алого ибискуса у подножья черного бога или у дерева, похожего на божественное благословение, были братьями крестьянам, дарившим мне лишь печальную улыбку, которой они, наверное, приветствовали еще сады Семирамиды. Мелкие торговцы были братьями тем нашим торговцам без касты, которых я видел перед лицом смерти.

За оградой сада, где не было слышно шума волн, еще сверкал залив; чайки Омана продолжали парить до наступления темноты. Я вернулся в пустынное бунгало последнего губернатора Бомбея, чтобы перечитать, что же писал я в 1940 году о своих товарищах, сражавшихся и погибших напрасно...

2

1940

Все та же дорога, с теми же деревьями по краям, с теми же камнями Фландрии под гусеницами наших танков. Скучные переходы по дорогам равнины. Наша последняя скучная дорога; после нее нас будут ожидать либо восторг, либо страх: мы направлялись к пе-

редовой. Наша внимательность сторала в тупом однообразии пути, в жаре, в грохоте двигателей и стуке гусениц, которые, казалось, вдавливали наши головы в землю. Я знал, с каким видом мы выскакивали из танков после долгого перехода: лица перекошены, глаза слезятся и мигают, под касками ландскнехтов физиономии цирковых клоунов...

Бесконечная фламандская ночь. Позади девять месяцев казарм и частных квартир — срок, необходимый для того, чтобы новый человек появился на свет.

Девять месяцев назад я был в отеле в Керси. Горничные не отходили от радиоприемников. Это были уже старые женщины. Однажды утром я столкнулся на лестнице с двумя из них: мелкими торопливыми шагами они поднимались к себе в комнаты, по щекам текли слезы. Так я узнал, что немецкая армия вступила в Польшу.

После полудня я увидел в Болье объявления о мобилизации. Церковь в Болье обладает одним из самых красивых фронтонов в романском стиле, единственным, где скульптор за руками Христа, обращенными к миру, изобразил, словно пророческую тень, его руки, пригвожденные к кресту. Деревню затопил тропический ливень. Перед церковью — статуя Девы Марии; уже пятьсот лет каждый год в праздник урожая виноградари привязывают к руке Младенца самую красивую гроздь. На пустынной площади со стен свисали отклеившиеся объявления; капли воды стекали с виноградной грозди и в тишине падали одна за одной в самую середину лужи.

Наши танки двигались в сторону немецких позиций. Нас в танке было четверо. Нужно было лишь следить за ночной дорогой и приближаться к войне. Не суждено ли нам было умереть той же ночью?

Я видел, как они тысячами отправлялись на фронт в начале сентября, мои безымянные товарищи, такие

же, как и те трое, что сидели со мной в танке: пять миллионов человек без возражений явились в казармы.

Громкоговоритель на площади Мулена сообщил о первых боях. Наступал вечер. Две или три тысячи мобилизованных слушали в полном молчании: неуклюжие и в новой форме, потому что она была новой, и в старой, потому что та была грязной. На всех дорогах к мобилизованным присоединялись новые мужчины, а огорченные женщины приводили подлежащих реквизиции лошадей. Приводили с крестьянской решимостью противостоять бедствию. Народ поднимался.

И трое таких новобранцев ехали этой ночью вместе со мной навстречу немецким танкам и артиллерии.

Бонно, механик, разумеется, выглядывал из люка. (Во всех этих танках, которые следовали друг за другом по ночной дороге, ни один механик не оставался внутри: к черту правила!) Никто из нас не мог слышать, что он говорил, и его монолог тонул в грохоте и лязге гусениц.

Когда он, в кожаной куртке, небритый, в сопровождении жандармов прибыл в эскадрон, у него была такая свирепая физиономия, что капитан сразу же отдал его под начало профессионального боксера. При виде такого подарка тот явно сдрейфил. У приверженцев кулачного боя я редко встречал настоящее мужество.

Впрочем, кулачного боя не было. Для начала были лишь натянутые отношения. Бонно предстал перед нами в форме сутенера, привыкшего внушать окружающим презрение или страх, и чем сильнее было их презрение, тем сильнее он желал внушать им страх. Но солдаты редко к кому относятся с презрением, и когда Бонно, выпятив вперед челюсть, спрашивал: «Что ты на меня уставился?», то в ответ слышал рассеянное: «Я? Да я на тебя вообще не смотрю...».

Он утверждал, что убил человека в драке, что, скорее всего, было ложью, иначе его отправили бы в дис-

циплинарный батальон. Но через некоторое время солдатам, жившим с ним в одной комнате, сообщили, что в его личном деле было три судимости за побои. Простые люди гораздо менее, чем буржуазия, чувствительны к романтическому характеру убийства: для них убийца — это особая порода людей, что-то вроде волка. Дело было лишь в том, чтобы наверняка знать, принадлежит ли Бонно к этой породе и было ли все это «правдой или притворством».

Единственным, кто во всю эту романтику верил, был он сам. Тюремные истории, рассказы о сутенерах, утверждение, что он «хотел бородку отпустить», чтобы иметь право не бриться и сохранить физиономию убийцы; блатной жаргон, песни Монтегюса, которые он распевал, когда получал наряд вне очереди (а происходило это постоянно). Несчастный ребенок... Когда весь эскадрон, столпившись у лестницы, ожидал выдачи обуви, вдруг послышались куплеты «Легионера», а затем начался монолог: «Эх, была у меня одна малышка! Как я ее любил! А эти суки убили ее...». Далее шла больничная история, в которой «они» были врачами и теми, кто в ладу с законом; и его недоверчивые товарищи по комнате хотя и слушали его, подталкивая друг друга, словно школьники, локтями, но в то же время готовили сложнейшие комбинации, чтобы не оставлять его дневальным. Они познакомились с кабацким фольклором: жертва общества, который из-за пьянства или разврата стал изгоем; не поддающийся исправлению в дисциплинарных батальонах; человек вне закона, один на один сражающийся со всей полицией в каком-нибудь Фор-Шаброле; некий Бонно (здесь наш герой не забывал отметить, что это его однофамилец), своей рукой застреливший префекта; но прежде всего сентиментальный и отважный сутенер, хоть и сволочь, но надежный друг; убийца из ревности, сбежавший с каторги и закончивший свою отчаянную жизнь в пасти каймана на реке Марони. В аду Бонно был лишь один круг, и кто бы его не населял,

будь то персонажи эпические или отверженные, все они были жертвами.

Когда он принес в казарму раненого зяблика и стал его выхаживать, страх только возрос: для моих товарищей любой убийца был прежде всего сумасшедшим.

В каждой комнате была своя система светомаскировки, и чем более строгим был отбой, тем более изощренной она была. Младшие офицеры выкручивали лампочки, но спустя некоторое время из-под подушек появлялись другие. Как-то вечером две розетки перестали работать, и Бонно, заявив, что «раньше работал с электричеством», пробрался тайно к электрическому щиту всего здания, что-то там сделал, после чего вечером света не было не только у нас, но и в четырех соседних комнатах. В темноте раздавалась ругань: «Все эти парни у меня уже в печенках сидят!» — «Сапожник несчастный!» — «Я — электрик, но я не стану никуда лезть, пока не позовут!». Хлопнула дверь в первую комнату, и все поняли, что Бонно возвращается. Наступила тишина. Затем началась приглушенная перепалка, и кто-то — очевидно, не капрал-боксер — произнес четким, спокойным и твердым голосом: «Послушай, Бонно, ты начинаешь нам всем надоедать. Мне плевать, что ты из себя корчишь. Но если моя лампочка не будет работать, для тебя это плохо кончится. Если ты чем-то недоволен, то посмотри на меня и запомни хорошенько. (В темноте появилось лицо, освещенное электрическим фонарем.) Утром, если захочешь, мы можем с тобой поговорить».

Так я впервые услышал Праде.

И впервые услышал, как Бонно оправдывался в темноте: «Это ошибка... напряжение... пробки...». Я ждал, что все теперь будут говорить, что он испугался, но общее впечатление было иным: «Он не сдрейфил, он парень что надо; он увидел, что не прав, и признал свою вину». Выходило, что не такой уж он и псих. Эскадрон был готов его простить, но комната осталась без света.

Один механик-водитель, бывший раньше шофером автобуса, запел «Солдатика». Здесь было много солдат из Фландрии, но необычную выразительность мелодии сообщали не воспоминания, а неторопливый заунывный напев. Эту песню он превратил в похоронную: он пел ее так, как в народе поют эти знаменитые скорбные причитания; пел в нос, и в темноте его жалобный голос придавал песне особенно печальное звучание. Солдаты просили его повторить сначала один куплет, потом другой, третий; так в буфете они берут стакан за стаканом, решив надраться до чертиков на этой войне, сделавшей их похожими на заключенных.

Певец, уставший от этой малоизвестной музыки, начал исполнять арию из «Тоски». Вслед за финальными криками наступило неловкое молчание, и шофер, раздраженно пробормотав: «Что ж, если этим господам такое не по вкусу!..», снова лег на койку. К унынию, охватившему всех после первой песни, добавилось тягостное ощущение утраченного единства. Бонно был забыт. Каждый погрузился в свою собственную печаль. Кто тогда первым вытащил из бумажника фотографию своей жены и рассматривал ее при свете карманного фонарика? Через пять минут карточки уже ходили по кругу от группы к группе, четыре или пять пилоток склонялись над ними в тусклом свете, любительские фотографии выskalзывали их толстых пальцев и падали в солому, сопровождаемые руганью. Каждый, впрочем, не особенно задерживался взглядом на женах других и смотрел на них, только чтобы показать свою. Но в этом таинственном свете их лица казались особенно загадочными, а их платья рассказывали о гражданской жизни мужей лучше, чем это сделали бы они сами. Женой Праде была женщина с каменным лицом и гладко причесанными волосами; только у Бонно было целых четыре фотографии, и все это были шлюхи, одна хлеще другой. А у малыша Леонара, радиста нашего танка, с красным как свекла но-

сом, очень застенчивого, после долгих уговоров удалось выпросить открытку с очень красивой девушкой в ослепительном наряде с перьями. Внизу была надпись в несколько строк. И ребята, сдвинув головы под носом Леонара, причудливо освещенным снизу, разобрали по слогам, приблизив вплотную фонарик: «Моему малышу Луи», а рядом — подпись одной из знаменитостей мюзик-холла.

Леонар был пожарным в парижском казино. Каждый день он с одним и тем же восхищением смотрел на звезду, раздуряившуюся от аплодисментов. Он ни разу не заговорил с ней. Несмотря на огромный нос, его лицо могло кому-нибудь понравиться: его глаза спаниеля смотрели на вас с каким-то щемящим душу выражением, без малейшей капельки гордости. Может быть, и танцовщицу тронуло это неустанное восхищение? Или это была ее прихоть? Однажды вечером, после оглушительного успеха, когда «даже поднимаясь по лестнице, можно было слышать крики „браво“», она завела его к себе в уборную и отдалась ему. «Самое удивительное в том, что когда... мы легли, она посмотрела на мою форму на стуле — и вдруг говорит так, словно собралась сбежать: „Ах, говорит, ты случаем не из полиции?“ — „Нет, я пожарник...“ — „Потому что иначе...“. Вот ведь как: она видела меня каждый вечер, а что я пожарный, не знала... Мы ведь солдаты... У нас и оружие есть... Правда, нужно сказать, что в то время я был помоложе...»

У всех была своя мечта — Марлен Дитрих, или Мистингет, или герцогиня Виндзорская, но мечта оставалась мечтой. И на своего товарища, самого неотесанного в комнате, с которым вдруг заговорила фея, солдаты начали смотреть не просто как на счастливого, а как на избранника судьбы: его физиономия с немного вьющимися волосами и красным носом стала для них таинственным доказательством существования настоящей любви; прихоть звезды очаровала их, словно зелье Изольды.

— Расскажи, что же было потом? — хором просили его, и его пальцы дрожали, снова и снова прикасаясь к карточке.

— Больше она не подавала мне знаков, и тогда я понял...

Он отвечал без всякого злопамятства, даже без сожаления: он смирился. Его ответ вызвал всеобщее одобрение. Наследственность не позволяла моим товарищам бесцеремонно обращаться со счастьем.

Разумеется, самый большой успех, после фотографии Леонара, выпал на долю четырех карточек Бонно. Он прочно занял свое место в эскадроне. Постепенно, глядя, как он во время марша наклоняется, чтобы поднять кем-то потерянный нож, и кладет его в сумку для патронов, приговаривая: «Такие вещи на дороге не валяются, он мне еще пригодится!», — они поняли, что в нем жил ужасный тряпичник; а что такое тряпичник, известно было каждому. Затем время выявило в нем и другого персонажа, почтительного священника: «Моя мамаша ничему меня не научила, но уважать этих людей она меня заставила! Почему государство отобрало у них все, что они имели? Говорю вам, это грабеж! А все ротшильды, банкиры, это они во всем виноваты: у бедняков всегда все отнимают!». Щеголявший медалью за взятие Рура, преклонявшийся перед капитаном Мортемаром, «у которого я служил гусаром, в Страсбурге; вот это был командир, не то что здешние тюфяки: он умел командовать, он мог сорвать с себя галуны и сказать кому-нибудь из ребят: „Выходи, если ты мужчина!“»; вполне готовый, если бы его назначили капралом, стать примерным солдатом, но при этом по-прежнему готовый негодовать по любому поводу. Записавшийся в профсоюз и уважающий респектабельность. «Вот видите, Бонно, — говорил ему лейтенант, — Вы не такой безнадежный, каким хотите казаться!» — «Я, господин лейтенант, совсем не злой человек, это другие меня таким сделали...» И его толстые губы выпячивались вперед, черные брови поднима-

лись вверх, и казалось, что его маска громилы скрывает неисправимо детскую душу.

Он не сердился на Праде за его слова. Мы были членами экипажа одного и того же танка и часто вместе ходили в столовую; как только Бонно начинал фантазировать, Праде пожимал плечами, смотрел на него и молчал. Бонно быстро смущался и чувствовал себя в окружении людей другой породы — таких, которые никогда не фантазируют.

Однажды мы сидели перед литром красного вина, вернувшись с беседы, на которую нас вызывали всем экипажем, вчетвером. Там симпатичный лейтенант доказывал необходимость расчленения Германии. Праде, замкнутый, как азиат, похожий на азиата своим плоским лицом и раскосыми глазами, не глядя в мою сторону сказал, растягивая слова, как это делают на востоке Франции:

— По поводу того, о чем Вы спрашивали у ребят: что они думают о словах этого сосунка в погонах. Праде думает, что если с тобой говорят как с солдатом, это одно, а если как с французом, то это совсем другое. Как солдат, я готов слушать все, что угодно; я услышу не больше, чем услышал! Но если ко мне обращаются как к гражданину, то это совсем другое. Это совсем другое!

Казалось, он не просто говорит, а яростно возражает какому-то невидимому лжецу.

— В таком случае, мне совсем не нравится, что меня заставляют думать о силе. И что мне говорят всю эту чепуху. И знаю их; этих фрицев; я их хорошо знаю! Когда они пришли к нам в 1915-м, все попрятались по подвалам. Они стучали в двери прикладами; я был мальчишкой, меня послали открыть. Я так дрожал... Одни из них раздавали нам подзатыльники, другие — хлеб. Как и везде.

Выдвинув вперед беззубую челюсть, продолжая возмущаться невидимым лжецом, он повторил:

— Как и везде!

И тем же тоном:

— Но они не заботятся о том, чтобы разговаривать с нами как с гражданами! Все эти красивые слова нужны лишь для того, чтобы заставить нас делать гадости.

— Какие?

— Неизвестно; но потом узнаем, потом узнаем...

Часто казалось, что солдаты, с которыми я жил, были людьми другой эпохи. Слушая Праде, я был убежден, что слушаю старую республиканскую Францию, голос которой едва ли изменился за минувшее столетие. Праде чувствовал ко мне дружеское расположение и доверчиво сообщил, что один из его братьев, парень весьма восторженный, вернулся из Испании, из Интернациональных бригад.

— Когда кто-то возвращается оттуда, это Вам Праде говорит, пусть и не надеется найти здесь работу!..

Но однажды он разыскал меня и все тем же медлительным голосом, все с тем же акцентом, подчеркивая каждое слово взмахом руки, сказал:

— Денщик капитана сбежал. Служить в армии денщиком — это еще не самое плохое...

Я ждал. Когда Праде разыскивал меня и начинал с какого-нибудь отвлеченного утверждения, это означало, что он будет просить у меня помощи или совета. Он продолжал:

— Нет ничего хуже, когда офицер...

— Тогда почему ты идешь к нему, почему соглашаешься быть лакеем?

— Лакеем, а кто из нас здесь не лакей? Я Вам так скажу: если ты денщик, то больше имеешь дело с его женой, чем с ним самим. Я Вам так скажу: если человек серьезный и свою работу делает, то все кончится миром. Но с этим офицером и со всеми, что у нас здесь есть, мира не видать никогда. Жена — это жена: по крайней мере, погон у нее нет!

Мне не хотелось говорить о достоинстве, я говорил обиняками, но он сам об этом сразу же заговорил:

— Достоинство, если у человека оно есть, то оно есть везде; а если нет, то его нигде и не будет!

Его сын был единственной частицей абсолютного в той унижительной и мрачной авантюре, которая называется «жизнью». Когда он спрашивал, считаю ли я, что война будет долгой, то делал это вовсе не для того, чтобы узнать, сколько времени ему еще предстоит провести в армии:

— Ему одиннадцать лет, моему парню; немного побольше, чем мне было в ту войну. Война-то мне и помешала получить образование. Закон Божий изучать меня отправили, а в школу отправить так и не смогли... Он очень толковый, мой мальчик, очень толковый... Он мог бы и стипендию получать... Куда пошла эта стипендия во время войны? Чтобы он продолжал учиться, мне надо работать, а я вместо этого валяю дурака здесь, с ружьем. Потеряет он два года — и потом уже ничего не сделаешь, будет слишком поздно... Он бы первым в нашей семье получил образование!.. Что ни говори, но в этом возрасте с мальчишкой нужно заниматься... Я-то еще мог бы. Если бы он дошел до старших классов, тогда бы я уже не смог; но теперь я еще мог бы, за исключением орфографии. Арифметику я хорошо знаю... Я мог бы с ним заниматься. Жена? Да разве она может? В ее семье было слишком много детей...

И своим обычным, решительным тоном, на этот раз с меланхоличным оттенком, он добавил:

— Она не слишком толковая...

Он и вел танк. И поскольку на наших танках, недавно полученных, сигнализация между командиром и механиком-водителем не работала, мы были соединены двумя веревочками: одним концом они были привязаны к его рукам, а другие я держал в кулаке.

Несмотря на грохот гусениц, внезапно нам показалось, что наступила тишина: танки сошли с дороги. Как лодка, спущенная с песчаного берега, как самолет,

оторвавшийся от земли, мы погрузились в свою стихию; наши мышцы, судорожно сжавшиеся от вибрации брони и бесконечных ударов гусениц по дороге, сразу расслабились, успокоились в безмятежности лунного света...

Освободившись, мы примерно минуту катились между цветущими садами и клубами тумана. В чаде касторового масла и жженой резины я нервно схватился за свои веревочки, готовый остановить танк, если необходимо будет стрелять; даже на этих, казалось бы, ровных полях танк раскачивался слишком сильно, чтобы можно было стрелять на ходу. С тех пор как мы покинули дорогу и любой редкий предмет, едва угадываемый в темноте, мог оказаться целью, мы еще сильнее почувствовали, как раскачиваются наши угловатые галеры. Облака закрыли луну. Мы входили в хлебные поля.

С этой минуты для нас и началась война.

В языке нет такого слова, каким можно назвать чувства человека, движущегося навстречу врагу, но эти чувства так же сильны и так же ни на что не похожи, как сексуальное желание или страх. Мир кажется наполненным безликой угрозой. Мы шли по компасу и различали лишь то, что проступало на фоне неба: телеграфные столбы, крыши, верхушки деревьев; фруктовые сады (они были немного светлее тумана) исчезли, казалось, что сумрак стелился по полям, которые нас укачивали и трясли; если бы хоть одна гусеница лопнула, мы бы погибли или попали в плен. Я знал, с каким напряжением раскосые глаза Праде всматриваются в щиток приборов; я чувствовал, как веревочка то и дело щекочет мне руки, словно собираясь предупредить меня об очередной встряске... А в бой с противником мы еще не вступали. Война поджидала нас немного дальше, может быть, за телеграфными столбами, на дороге, светившейся под вновь появившейся лунной.

Огромные запутанные линии ночной равнины, клубы яркого белого тумана поднимались и опускались в

такт движению танка. От сухой и очень резкой качки, от неистовой вибрации, повторявшейся всякий раз, когда мы оказывались на твердой земле, все тело судорожно сжималось, словно в автомобиле в момент аварии; я вцепился в башню не столько руками, сколько мышцами своей спины. Если бы эта бешеная вибрация оборвала один из бензопроводов, то танк в ожидании снаряда закружился бы на одном месте, словно кошка в припадке бешенства. Но гусеницы продолжали молотить по полю и по камням, и в смотровые щели своей башни я видел, как за едва различимым пятном хлебов, за садами, за туманом поднимается и опускается линия горизонта, которую пока еще не перечеркнула ни одна орудийная вспышка.

Немецкие позиции были перед нами; спереди наши танки были неуязвимы, разве что снаряд попадет в оптический прицел или в орудийный щит. Мы доверяли нашей броне. Нашим врагом были не немцы, а разрыв гусеницы, мина или яма-ловушка.

Яма в первую очередь. О минах мы говорили не больше, чем о смерти: либо подорвешься, либо нет — тут не о чем разговаривать. Другое дело — яма: мы слышали рассказы о ямах первой войны, а во время учений видели, как их делают в наши дни, с наклонным дном, чтобы танк не мог поднять нос, с четырьмя противотанковыми орудиями, срабатывающими сразу же после падения танка. Среди нас не было никого, кто бы не думал о нацеленных на него четырех противотанковых орудиях, готовых к расстрелу. И мир ловушек был разнообразен, начиная с этого адского устройства до торопливо замаскированной рытвины, падение в которую было простым сигналом для дальнобойного орудия.

От древнего союза человека и земли ничего не осталось: хлеба, среди которых мы тряслись, были не хлебами, а маскировкой; не было больше земли для жатвы, была лишь земля для мин, и казалось, что танк сам ползет к какой-то ловушке, поставленной самой

землей, и неведомые существа из грядущего вступают этой ночью в свою собственную битву, не связанную с судьбой человека...

Наконец на невысоком холме появились частые сиреневые вспышки: тяжелая немецкая артиллерия. Смешалось ли их короткое полыхание с лунным светом или стрельба действительно началась? Они перемещались справа налево от нас и уходили так далеко, насколько наши раскачивающиеся башни позволяли нам видеть; словно кто-то чиркал спичкой о линию горизонта. Но возле нас не было ни одного разрыва. Наши двигатели заглушали любой шум, мы, очевидно, уже покинули хлеба, так как гусеницы возобновили свою неистовую молотьбу. Я приказал на секунду остановиться.

Из окружившей меня тишины донеслась канонада, ее толчки гасил ветер. И в мои уши, где продолжал глухо звучать наш собственный грохот, тот же самый ветер, сквозь разрывы нескольких снарядов позади нас и сквозь поспешный стук гусениц, доносил глубокий шум леса, трепет гигантских тополей (движение невидимых французских танков в глубине ночи)...

Обстрел прекратился. За нами, а потом и впереди разорвалось еще несколько снарядов, и когда растаял в темноте гранатовый отблеск разрывов, вновь восстановилась тишина ожидания, наполненная шумом движения наших танков.

Мы снова тронулись в путь, наращивая скорость, чтобы присоединиться к нашей невидимой группе. Грохот гусениц возобновился, и мы с Праде вновь оглохли, вновь оказались приклеенными к броне и к рычагам; вновь воспаленными глазами начали всматриваться в темноту, стараясь не пропустить фонтана из земли и камней над багровым взрывом, звука которого мы не услышали бы. Ветер гнал к немецким позициям дрожь звездных луж между огромными облаками.

Нет ничего медленнее, чем продвижение к полю боя. Слева от нас в майском тумане двигались еще два

танка из нашего отряда; дальше — другие отряды; еще дальше и позади под луной растянулись все наши отделения. Леонар и Бонно, уткнувшиеся в броню, как и Праде, прильнувший к своему перископу, как и я у своих смотровых щелей, знали об этом; всем своим телом я ощущал — так же ясно, как и шлепки гусениц по жирной грязной земле — параллельное движение наших танков сквозь ночь. Другие танки, наоборот, в том же самом ночном свете двигались нам навстречу; в них так же скрючившись сидели такие же растерянные люди. Слева от меня вздымались носы наших танков и снова ныряли в темноту хлебов. За ними двигались легкие танки и густые массы французской пехоты... Крестьяне, в первые дни войны в начале сентября молча тянувшиеся по дорогам Франции к своим казармам, теперь сходились к зловещему спуску нашего эскадрона по фламандской равнине. Да будет победа за теми, кто вступил в войну, не испытывая к ней любви!

Внезапно все ближайшие предметы, за исключением верхушек деревьев, исчезли: вровень с землей ничего уже не было видно, темнота опустилась на танки, шедшие рядом. Должно быть, туча закрыла луну, поднявшуюся теперь так высоко, что я мог ее видеть через смотровые щели. И мы вновь стали думать о минах, к которым нас в упругих хлебах увлекало движение хорошо смазанных шестерен, и братские тени, окружавшие нас, бесследно исчезли. Отрезанный от всего на свете, наш экипаж — Праде, Бонно, Леонар и я — остался в полном одиночестве.

Рука радиста Леонара скользнула между моим бедром и башней, положила записку рядом с компасом. Я включил свет, и мои ослепленные глаза с трудом, буква за буквой, разобрали: «Танк Б-21 наткнулся на яму».

Праде погасил освещение. Сквозь дыры в облаках лунный свет лился на равнину... Наши танки появились немного позади нас: мы их обогнали. Затем впереди, метрах в ста, словно в кино, разорвался снаряд, и

броня нашего танка отозвалась новой вибрацией. Дым, в первую секунду показавшийся красным, наклонился под ветром и стал матово-черным при свете луны...

Другие разрывы. Немногочисленные. Это был даже не заградительный огонь. Наша эскадра начала продвигаться быстрее, но пока еще не на самой большой скорости. Какую пользу мог принести такой рассеянный обстрел? У немцев было мало артиллерии? Мой взгляд вернулся к слабо мерцавшему в темноте компасу. Я потянул за одну из веревочек, чтобы подправить направление движения для Праде: на ставшей неровной и твердой земле танк отклонился в сторону. Внезапно мы в панике заскользили вниз: нас засасывала земля.

Это неправда, что за мгновение до смерти видишь всю свою жизнь!

Подо мной кто-то закричал: «Бонно?». Леонар, вцепившись в мои ноги, вопил: «Праде! Праде!».

Эти вопли, пронзительные, как птичьи крики, раздавались откуда-то из-под ног, в тишине, которая сразу же наступила после того, как Праде, чувствуя, что мы падаем, заблокировал тормоза.

Яма!

Вновь заработавший мотор заглушил голоса.

Праде направил накренившийся танк вперед.

— Назад! Назад!

Я дернул изо всех сил за правую веревочку, и она порвалась. Снаряды, которые я видел, продолжавшие время от времени падать, подрывали запеленгованные ямы-ловушки. Земля дрожала от гула свободных танков, которые мчались вперед, мимо нашей гибели...

Праде попробовал взять разгон и вернулся назад. Сколько секунд осталось до взрыва? Наши головы были втянуты в плечи, силы на пределе. Танк яростно ткнулся носом в преграду, поднял в воздух хвост, как

японская рыбка, попятился, уткнулся боком в стену ловушки и весь задрожал, как топор, воткнутый в ствол дерева. Он заскользил оседая. Что-то потекло возле моего носа — кровь или пот? Мы завалились набок. Бонно, не переставая выть, попытался открыть боковой люк, подобрался к нему и тут же закрыл опять: он оказался теперь почти под танком. Одна гусеница работала вхолостую; Праде рванул на второй — танк снова свалился вниз, отвесно, словно упал еще в одну яму. Моя каска звякнула, стукнувшись о башню, и мне показалось, что моя голова все раздувается и раздувается, хотя ожидание снаряда вбивало ее в плечи, словно гвоздь. Если дно ямы мягкое, то мы завязнем, и снаряд может не торопиться... Нет, танк продвинулся вперед, попятился, снова продвинулся вперед. Дно современных ям-ловушек застопоривает танк, и противотанковые пушки с их перекрестным огнем уже должны были бы сработать; следовательно, мы попали в яму, которая была уже запеленгована раньше. Если ее стенка прежде была вертикальной или наклонной, мы, возможно, и выберемся (если не снаряд...); если мы оказались в воронке, то мы никогда не выберемся, никогда не выберемся, никогда не выберемся... Невидимая стенка была, разумеется, совсем рядом. Обезумевший Бонно без конца открывал и закрывал люк, и броня, несмотря на грохот двигателя, особенно оглушительный в этой яме, звенела, как колокол. Почему не падал снаряд? Леонар отпустил мои ноги и стал молотить по ним башмаками. Он хотел открыть люк моей башни. Снаряд взорвется в яме, из ямы не выскочишь, бежать из ямы еще глупее, чем оставаться в бездействии внутри, между одним безумцем, который пытается переломать мне ноги, и другим, который боится и остаться и выйти, который лихорадочными ударами люка выбивает в бреду зловещую дробь. Я оставил башню и наклонился к Праде, который вдруг включил освещение. Снаряда не будет; при свете не убивают, убивают только ночью...

Пока я пробирался вниз, Леонар проскользнул к башне на мое место; он толкнул башенный люк и остановился с открытым ртом: он не стал выпрыгивать, вдруг сел на корточки и повернулся ко мне, не говоря ни слова; лицо его стало неподвижным от ужаса, но плечи тряслись на черном фоне распахнутого люка. Гусеницы работали вхолостую. Мы были в воронке. На четвереньках я кинулся к Праде, оттолкнув Бонно, который, не переставая вопить, тряс боковой люк. Мимоходом я крикнул:

— Заткнись!

— Я? Я ничего не говорю!.. — ответил он вдруг совершенно обычным голосом, который я сразу же узнал, несмотря на рев мотора.

Он смотрел на меня бегающими глазами, лицо дергалось, как у ребенка в ожидании пощечины; потом он выпрямился, ударился каской о потолок и снова упал на колени. Его физиономия, словно в фильме ужасов, приобрела в предчувствии смерти выражение какой-то жутковатой невинности.

— Я ничего не говорю... — повторил он (в то же самое время он, как и я, как и все мы, продолжал вслушиваться, ожидая снаряда).

Оставив в покое дверь, он встретился, наконец, со мной взглядом, развел руки в стороны, и, надвинув на брови каску так, как поправляют шляпу, вздрагивая от вибрирующих гусениц, работающих вхолостую, он снова начал выть, не сводя с меня глаз.

Я добрался до Праде и немного передохнул. Мы находились в передней части танка, нос которого медленно поднимался, и мое тело постепенно возвышалось, словно этот застрявший в яме танк протягивал его в руки смерти как жертву. Неужели мы опять свалимся на дно? Я окончательно сник. Гусеницы продолжали буксовать; промасленными и окровавленными руками я, словно зверь, попавший в ловушку, скреб воздух; мне казалось, что я сам и был танком...

Гусеницы перестали буксовать!

Замаскированная рытвина? В яме-ловушке гусеницы так не вгрызались бы в землю. Выберемся ли мы до того, как упадет снаряд? Трое моих товарищей стали моими самыми старыми друзьями. Люк опять хлопнул так, словно раздался взрыв. Могло же быть так, что немецкие артиллеристы из-за смены дежурств не увидели сигнала о том, что наш танк попал в яму, что наблюдатель заснул, что... Идиот! Но еще бóльший идиот тот, кто надеется, что существуют ловушки без наведенных на них орудий! Гусеницы продолжали вгрызаться в землю.

Праде выключил свет.

— Что ты делаешь?

Несмотря на неистовое желание выбраться, я воспринимал тишину вокруг нас как еще одну броню: пока мы не услышим, как что-то свистит, мы еще несколько секунд будем живы. Перестанет ли эта дверь хлопать? Я продолжал вслушиваться, с той же тупостью, с какой до сих пор всматривался в темноту, но за гонгом люка слышал лишь рокот волн наших танков, отраженный стенами ямы и броней, накатывавший и затихавший... Прижавшись каской к каске Праде, я прокричал в отверстие его наушников: «Вперед!». Праде, вверх ногами прикованный на своем сидении к неподвижному, вставшему на дыбы танку, обернулся ко мне: как и лицо Бонно, его лицо, несмотря на каску, казалось постаревшим и даже каким-то наивным; его раскосые глаза и все три зуба изобразили снисходительную улыбку умирающего:

— Вот теперь моему парню придется плохо... Гусеницы, они снова начинают буксовать...

За его словами я пытался расслышать недоступное чувствам зарождение свиста снаряда:

— Если настаиваете, можно попробовать вылезти на животе...

Свист... Мы все втянули головы в плечи. Праде, как лягушка, убрал ноги с педалей, чтобы защитить живот. Снаряд разорвался перед нами, совсем рядом.

Стало светлее. Съжившись, мы ждали еще одного снаряда: не свиста, не взрыва, а далекого выстрела — это был бы голос самой смерти. И китайское лицо Праде неуловимо проступало в темноте оно обрело благородство и свинцовую торжественность, свойственные лицам убитых; таинственное свечение, тревожное и слабое, заполнило танк. Как будто смерть делала нам знак. Неподвижное лицо Праде, поразительно нездешнее, отвлеченное ото всех тягостей жизни, все больше и больше выступало из темноты... Я уже больше не прислушивался: смерть была в самом танке. Праде повернул голову ко мне, увидел меня и откинулся назад, с размаху ударившись головой о броню. Сверхъестественный ужас смерти избавил его от мыслей о снаряде. И колокольный звон каски, развеивающий пугающий призрак, заставил меня наконец открыть стекло перископа: вставший на дыбы танк смотрел носом в небо, где луна только что выбралась из-за облаков. То, что так странно озаряло наши лица, оказалось зеркалом перископа, отражавшим огромное лунное небо, полное звезд...

Еще раз хлопнул люк. Чья-то рука уцепилась мне за спину. Я хотел отбросить ее, но не успел.

— Можно выбраться, ребята! Можно выбраться! — завопил своим детским голосом Леонар.

Это он тряс меня за спину. Он выбрался из танка во время нашего маневра. Он вскарабкался по проходу, теперь вертикальному, словно по строительным лесам.

— Там есть обвалы! Это что-то вроде траншеи! Там двадцать или тридцать метров, не меньше! Вместе с обвалами!

Праде тотчас же дал задний ход. Леонар и я покатались кубарем. Танк снова принял горизонтальное положение. Я поднялся и выпрыгнул через боковой люк, который Леонар оставил открытым, а танк еще продолжал пятиться, затем остановился слева от меня, и в ночной темноте было не разобрать, где танк, а где яма.

Светился лишь прямоугольник его распахнутого люка: Праде снова умудрился включить свет.

Наверху, на поверхности земли наше танковое соединение продолжало двигаться, издавая уже не такой густой гул, какой мы слышали под броней... Казалось, что снаряды медленно вылетают из орудийных стволов и затем устремляются к нам; казалось, что любой свист направляется к нашей яме. Один снаряд взорвался впереди, совсем рядом, почти в том же месте, что и первый. В его вспышке я успел разглядеть, что стенка ямы, которую мы только что атаковали, имела наклон... Только бы нас не убили прежде, чем мы выберемся! Я не осмеливался зажечь свой электрический фонарь. Впрочем, я его оставил в танке.

— Можно попробовать... — сказал Праде совсем рядом со мной в темноте.

Он тоже прислонился к стене: без защиты брони мы чувствовали себя голыми. От глиняных стен исходил запах грибов, напоминающий детство... Праде зажег спичку: она осветила пространство вокруг метра на два, не больше. Опять послышался свист, приближавшийся на острой и пронзительной ноте; зарывшись по плечи в глину, замороженные клочком неба, где только что растаял красный отблеск взрыва, мы снова ждали. Нельзя привыкнуть к смерти. Спичка была поразительно неподвижной, ее пламя прерывисто колыхалось. Как уязвимо и хрупко человеческое тело! Мы прижались к стене нашей братской могилы: я, Леонар, Бонно, Праде — один крест на всех. Наш клочок неба исчез, погас, комья земли посыпались нам на каски и на плечи.

Рокочущие танки все еще проносились над нами, сверху, но в противоположном направлении. Отступление? И если мы выберемся, то наткнемся на немецкие колонны?

Я уже был уверен, что мы выберемся...

Показался электрический фонарик Бонно. Он уже не вопил. Прижимаясь к глине, мы вчетвером пополз-

ли вверх. В каком-то уголке сердца сидела мысль о снаряде, и ничто, ничто на свете не могло ее оттуда прогнать. Маскировка охватывала большую площадь возле дыры, в которую провалился танк; обрушившаяся стенка поднималась вверх почти полого. Мы взбирались по ней, пока не уперлись в стволы деревьев, прикрывавшие яму.

До дыры нам было не добраться; заключенные не убегают из тюрьмы по потолку. Нужно было раздвинуть два ближайших бревна. Сидя под ними на корточках, мы пытались плечами сдвинуть их с места, при каждом взрыве застывая, как перуанские мумии. Но с тех пор, как мы получили возможность действовать, страх стал самым действием. Если мы сами ничего не сможем сделать с бревнами, то, может быть, танк способен их своротить. Он был позади, молчаливый и черный, как яма; из приоткрытого люка шел луч света, в котором кружилось ночное насекомое...

Мы поспешили в танк: в нем мы чувствовали себя как в крепости. Праде, маневрируя, поставил машину носом к обвалившейся стене. Посыпалась земля. Наверху рокочущие танки продолжали идти к французским позициям... А мы — мы начинали вязнуть. Праде подsunул под гусеницу бревно; танк встал на дыбы и нерешительно замер, упершись гусеницами, словно руками, в землю. Танк поднялся еще, застыл, опять забуксовал, зажатый бревнами потолка. Если потолок не поддастся, наши усилия будут погружать танк в землю все глубже и глубже; не пройдет и двух минут, как корпус танка прижмется к земле, а гусеницы завертятся вхолостую.

Теперь бревно под гусеницами было бесполезным.

— Пошли за камнями!

Праде не отвечал.

На полных оборотах стальная масса врззалась в деревянный настил; словно разъяренный умирающий бык, танк отшвырнул меня к башне, а грохочущие бревна зазвенели дождем по броне; сзади кто-то за-

кричал, звякнула каска, и мы заскользили, как на лодке... Поднявшись на ноги, я головой оттолкнул Праде, прилипшего к перископу, и выключил освещение; в зеркале была лишь бесконечная, свободная равнина...

На полной скорости мы двигались между разрыва-ми снарядов, и каждый из нас, скорчившись на своем месте, думал лишь о будущих ямах. И все же ночь, которая уже не была тьмой гробницы, живая ночь представлялась мне необычайным даром, обещавшим что-то огромное и величественное...

Когда мы прибыли в деревню, немцы из нее уже эвакуировались. Мы вылезли из танка. Кругом был беспорядок. Мы шли, как-то странно покачиваясь; я уже начинал привыкать к этому состоянию крайней усталости, когда солдат бредет с опущенной головой, не видя перед собой ничего. Едва замаскировав свой танк (как и другие), мы рухнули на солому под каким-то навесом. На мгновение включив фонарик, я увидел Праде: он лежал, обняв пучок соломы так, словно в нем хранилась его жизнь.

— Значит, не в этот раз... — сказал я.

Наверняка он думал о том, что теперь будет с его парнем.

— Война-то еще не кончилась, — ответил он с доброй улыбкой.

Он отпустил солому и закрыл глаза.

Утро было такое ясное, что казалось, будто войны вообще не было. Рассвет уже заканчивался. Поднявшись, Праде разбудил и меня; из всех нас он всегда вставал первым:

— Когда умру, у меня будет время поваляться!

Я отправился на поиски колонки с водой. Холодная вода пробудила меня не только от ночного сна, но и от кошмара вчерашней ямы. В нескольких шагах от меня Праде что-то разглядывал. Он покачал головой:

— Если бы мне сказали, что я буду разглядывать кур и удивляться, я бы не поверил...

Еще не украденные куры медленно бродили по двору, по-видимому, и не подозревая о войне, но на нас своими маленькими круглыми глазами они смотрели с опаской. Именно их и разглядывал Праде; я тоже стал смотреть на их механические движения, с какими они клевали корм, на резкий пружинистый удар головой, и мне показалось, что я ощущаю тепло их тел, словно держу их в руках; ощущаю тепло только что снесенных яиц — тепло самой жизни: эти существа были живыми на этой странной земле... Мы шагали по утренней деревне, по улицам, где еще не было крестьян. Утки, сороки, комары... Я увидел перед собой две лейки, с набалдашниками в форме гриба, с которыми я так любил играть в детстве; мне показалось вдруг, что человек пришел из глубины времен, только чтобы изобрести лейку. Посреди выпущенных на свободу кур, расхаживавших то спокойно, то воровато, сидел, словно обычный кролик в огороде, заяц со слишком грузным задом; на утреннем солнце сверкали стога сена, искрилась каплями росы паутина; слегка оторопев, я долго разглядывал метлу, нелепый цветок, рожденный человечеством, и на растоптанные цветы рядом, рожденные землей... Увидев, как стремительно и гибко пробежала мимо кошка, я поразился, что этот конвульсивный комок шерсти вообще существует. (Впрочем, убежали все кошки, а собаки, наоборот, оставались на месте, там же, где и были в момент прибытия наших танков.) Что же такое было во мне, что заставляло меня удивляться, что на этой земле, прекрасно устроенной, собаки ведут себя так, как собаки, а кошки — как кошки? Взлетели сизые голуби, оставив под собой выгнувшегося дугой кота, замершего перед уже бесполезным прыжком; они описали в светящемся, словно море, небе бесшумную дугу, сломали ее и продолжили, став вдруг белыми, свой полет в другом направлении. Я не удивился бы сильнее, если бы вдруг увидел, как они возвращаются, охотятся за котом, а тот, убегая от них, взлетает. Время, когда звери могли говорить,

время темной поэзии древнейших сказок приходит вместе с нами, побывавшими на другой стороне жизни...

Так же, как тогда, когда я впервые встретился с Азией, я слышал рокот минувших столетий, уходивший в те же глубины, что и сумрак прошлой ночи: эти сараи, набитые зерном и соломой, заваленные стручками гороха, боронами, камышом, дышлами, деревянными телегами; сараи, где все сплошь было из дерева, соломы или кожи (металл подлежал реквизиции); сараи, окруженные кострами беженцев и солдат, — эти сараи были готическими замками; наши танки, запавшиеся в конце улицы водой, были чудовищами, стоявшими по колени в воде и прильнувшими к источникам, о которых упоминалось еще в Библии... О жизнь, такая невысказанно древняя!

И такая же упрямая! В каждом крестьянском дворе лежал запас дров на зиму. Солдаты разжигали из них первые костры. Повсюду аккуратные гряды с овощами... На всем здесь лежала печать руки человека. Деревянные прищепки на проволоке танцевали на ветру словно ласточки. Развешенное белье еще не высохло: жалкие чулки, рабочие рукавицы, куртки земледельцев; в этом запустении, в этой катастрофе полотенца сохранили инициалы владельцев...

Мы и стоявшие где-то впереди немцы были способны лишь манипулировать нашими смертоносными машинами; но древнее племя людей, которых мы прогнали, которое оставило здесь свои инструменты, свое белье и свои инициалы на полотенцах, — оно, казалось мне, прошло сквозь тысячелетия, явилось из мрака, с которым мы столкнулись этой ночью, и оставило здесь весь этот скарб: телеги и бороны, библейские плуги, собачьи будки и кроличьи клетки, пустые кухонные печи...

Мои ноги помнили, как сжимал их своими руками Леонар. Неужели теперь мне всегда придется помнить детскую физиономию Праде, изумленное лицо Бонно, оборвавшего свои вопли, чтобы сказать: «Я? Я ничего

не говорю!..»? Эти призраки скользили возле сараев, перед солнцем, которое дрожало на концах молодых ветвей, скользили и становились еще ярче.

Может быть, страх всегда сильнее других чувств; может быть, радость всегда им отравлена, радость, данная единственному животному, которое знает, что оно не вечно. Но в это утро я словно заново родился. Я все еще нес в себе то поразительное вторжение земной ночи, происшедшее в тот миг, когда мы выбрались из ямы; то обещание чего-то огромного и величественного, которое давали созвездия, мерцавшие в разрывах мчавшихся по небу туч; и когда я увидел, как эта гулкая, раскатистая ночь поднимается над ямой, предо мною и предстало чудесное откровение дня.

Мир мог бы быть простым, как небо или как море. И глядя на эту деревню, покинутую, обреченную; глядя на эти райские сараи и бельевые прищепки, на эти потухшие костры и колодцы, на торчавшие повсюду кусты шиповника, на его прожорливые колючки, которые, дай им волю, через какой-нибудь год покрыли бы всю округу; глядя на этих животных, на деревья, дома, я чувствовал, что стою перед необъяснимым даром — перед видением. Все это могло быть иным. Как все эти единственные в своем роде формы подходили земле! Были и другие миры: мир кристаллов, мир морских глубин... Со всеми своими деревьями, ветвящимися, словно кровеносные сосуды, вселенная была таинственной и совершенной, как юное тело. Я проходил мимо крестьянского дома; хозяева, убегая, оставили дверь открытой, и мне была видна часть разграбленной комнаты. О! Израильские пастухи не принесли Младенцу даров, они только сказали ему, что в ночи, куда он пришел, хлопают створки дверей, приоткрытые в жизнь, которая была дана мне в откровении в это утро, такая же сильная, как мрак, и такая же сильная, как смерть...

На скамейке сидела чета престарелых крестьян, куртка старика была вся в паутине (видно, он только

что вылез из подвала). Праде подошел, улыбнулся всеми своими тремя зубами:

— Что, дед, на солнце греемся?

Поговору старик признал в нем крестьянина; он посмотрел на Праде доброжелательно, но с отсутствующим видом, словно одновременно глядел куда-то вдаль. Седые волосы женщины были заплетены в тонкие тугие косицы. Она и ответила Праде:

— А что же нам еще делать? Вы-то молодые, а когда человек стар, у него только и есть, что немощь...

Она была такой же частицей вселенной, как и камень... Она все же улыбнулась, медленной, запоздалой, задумчивой улыбкой; казалось, где-то вдали, за башнями танков, сверкавших, как и маскировавшие их ветки, росой, она видит смерть и смотрит на нее снисходительно — и даже (о таинственное движение век, острая тень в уголках глаз!) с иронией...

Приоткрытые двери, белье, сараи, печать человеческих рук на вещах, библейская заря, в которой теснились столетия, — как глубоко проникала ослепительная тайна утра в сердце того, кто мог посмотреть на эти увядшие губы! Стбило вместе со смутной улыбкой снова возникнуть тайне человеческого бытия — и возрождение земли становилось лишь зыбкой декорацией.

Теперь я знал, что означают древние мифы о существах, вырванных из обители мертвых. Я почти что не помнил о смерти; то, что я нес в себе, было открытием тайны, очень простой, невыразимой и священной.

Так, быть может, Бог смотрел на первого человека...

Почему мне вспомнилось это утро 1940 года и георгины, раздавленные танками?

Это было возвращение на землю, подобное тому, какое я пережил после единоборства самолета с ураганом в Сабе (но в ту ночь я об этом ни разу не вспомнил). Необычный вид городов, их скорняжные лавочки, где на шкарах лежала собака, и огромная красная вывеска перчаточника, поднятая над Боной, словно

рука неведомого божества, — все это не достигало первозданных глубин крестьянской жизни, которая так же естественно переходила в смерть, как день переходит в ночь.

И моя память: она была привязана к утру или к ночи? Почему именно этот бой среди стольких других? Потому что он был единственным, где рядом со мной сражались не добровольцы. Бой, в который идут добровольцы, словно бы выражает саму суть их жизни: ожидание снаряда в яме-ловушке для танков, кажется, убеждает в том, что жизнь лишена всякого смысла. Кроме тех случаев, когда роковая неизбежность войны становится братством.

Назавтра мы узнали, как нам удалось спастись. Наши танки попали на полосу запеленгованных ям-ловушек, на которые немецкие орудия, расположенные довольно далеко, были наведены недостаточно точно; снаряды, предназначенные нам, взорвались за пределами ямы, обвалив одну из ее стен.

Мощный гул, который с наступлением вечера поднимается к небу от расположенных в тропиках городов, шел из Бомбея, с другой стороны залива. То, что я знал — или интуитивно чувствовал — о жизни Праде, Бонно, Леонара, я не мог знать о людях, окружавших меня в Индии. Чужеземный визирь, повстречавшийся молодоженам из Мадур, не сыграл ли он в их жизни такую же роль, что и звезда мюзик-холла в судьбе Леонара? Последовательное чередование этой зловещей ночи и этого искрящегося росой утра (я мог бы умереть на фламандской земле, откуда родом мои предки...), а вскоре и пылающего Дюнкерка (чередование крови, воскрешения и смерти) было чередованием Вишну и Шивы. Кто же тогда был индусским Праде? Но если даже его не существовало вообще, если романтическому приключению Леонара, и всеобщему изумлению, и фотографиям женщин, переходившим из рук в руки в круглых маленьких пятнах света элект-

рических фонарей, соответствовали бы только виденья «Рамаяны», подлинный диалог мог бы состояться не между «Бхагаватгитой» и «Евангелием», и не между Элефантой и Шартром, а между «Тримурти» в полумраке пещеры и лицом Праде, синеватым, фосфоресцирующим, преображенным луной, которую перископ отражал словно свет самой смерти, — между цивилизациями, для которых смерть имеет смысл, и людьми, для которых не имеет смысла жизнь.

Несмотря на самые простые чувства... «Он у меня парень толковый, мог бы каким-нибудь стоящим делом заняться», — говорил Праде; и сразу же после боя: «На этот раз моему мальчишке повезло...». А аскет Нарада кричал: «Мои дети!» — вслед улетающему ветру, перед тем как Вишну сказал ему: «Я ждал больше получаса...».

Но как же мелочны были эти чувства пред ликом единства мира, когда я вернулся из ада; перед уверенностью, что мир — в гораздо большей мере, чем люди, — не мог быть иным. Перед убежденностью, которую внушала здесь эта опьяненная ирреальностью религия, убежденностью, с которой пленительная майя приводила на землю всегда одних и тех же людей, одни и те же сны и одних и тех же богов.

Как поют в Мадуре, храбрый бог-слон Ганеша «снова прискачет верхом на крысе, и из-за туч будет сиять смеющаяся луна», как сияла она над моим самолетом в Испании, над моим танком в сороковом году, над снегами Эльзаса в сорок четвертом и над тысячами безмятежных пейзажей на протяжении вечности... «Вот священные воды Ганга, что освящают разверстые уста мертвецов...»; вот луна над нашим полем Фландрии, над Сталинградом, Верденом, над жалкими полями безымянных сражений, с их бесчисленными Праде, изглоданными и почерневшими, как головешки, скелетами; луна над голодными нищенскими полями или над вырванными с корнем деревьями, которые плывут по необъятному течению вышедших из берегов рек. И

еще долгие века индийская молитва будет гласить: «Веди нас от нереального к реальному, от ночи к дню, от смерти к бессмертию», в то время как Запад, где прощение давно обернулось злопамятностью или забвением, будет гнусавить: «Простите нам обиды, причиненные нами, как и мы прощаем обидевших нас». Индийская молитва также гласит:

«Если Шива любит костры,
Я сделаю костром свое сердце.
— Да исполнит он там свой вечный танец...».

Но ни одно божество не танцевало в сердце моих товарищей по танку.

Я думал о других сражениях и о других солдатах, об испанском монахе-республиканце, про которого я рассказывал в «Надежде». Я услышал его однажды ночью: с диковатым красноречием народных импровизаторов рассказывал он ополченцам и бойцам Интернациональных бригад о последнем воплощении Христа в одном из самых пустынных регионов Испании, в Хурдах: Ангел нашел самую лучшую в округе женщину и предстал перед ней. Она отвечала: «О, со мной ничего не получится: не доносить мне ребенка, так как мне нечего есть. На нашей улице только один крестьянин за четыре последних месяца ел мясо: он убил своего кота». Тогда ангел пошел к другой женщине. Когда Христос родился, у его колыбели были одни только крысы. Чтобы согреть Младенца, этого было мало, а для ласки — слишком уныло. Потомки волхвов не явились сюда, так как все они стали чиновниками. И тогда впервые с начала времен люди из всех стран, и ближних, и дальних, из краев, где жара, из краев, где мороз, все, кто был отважен и кто жил в нищете, двинулись в путь с ружьями в руках. И поняли они тогда всем сердцем, что Христос живет среди бедняков и униженных нашей страны. И из всех стран мира, с ружьями в руках, если у них были ружья, и с руками, готовыми взять ружье, если ружей у них не было, пришли они и легли друг

подле друга на землю Испании... Они говорили на всех языках, и были среди них даже торговцы китайской тесьмой. И когда они истребили много врагов, и когда последняя вереница бедняков отправилась в путь... звезда, которой никто прежде не видел, взошла над ними в небе.

Вспомнился мне и рассвет в Коррезе, который разгорелся над кладбищем, окруженным белыми от инея лесами. Немцы расстреляли партизан, и жители должны были утром их похоронить. Кладбище занимала рота солдат с автоматами на изготовку. В тех краях жены не идут за катафалком, а ожидают на кладбище, у своих семейных могил. Когда рассвело, у всех могил, раскиданных по склону холма, точно камни в античных амфитеатрах стояли женщины в черном, стояли и не молились.

Малыш Леонар — пошел бы он на это кладбище? Да. Присоединился бы он к партизанам? Возможно. А Праде? Что, кроме сына, считал он стоящим в жизни? Собственные желания? Вряд ли, да у него их почти и не было. Что знал я об этих Праде, попрятавшихся по своим нишам небытия! Неверящих ни в какого бога, да, вероятно, и в себя тоже. И это была та каменная толпа, чье молчание отвечало колоссу «Тримурти». Что произошло с загадочной метаморфозой священного в объект почитания и любви; что это за *ничто*, которое я так глубоко почувствовал в пещере и которое можно сравнить лишь с превращением священного в ничто? Эта толпа, грубая и суровая, для которой жизнь не имела никакого смысла, — какое ей было дело до знания, до истины и остального вздора: этот хлеб она никогда не вкушала; эта толпа исчезла с земли еще во времена Римской империи... Россия, воскресшая в своей первобытной ночи, стихийный и беспощадный коммунизм, который с медлительностью зубра поднимался по другую сторону Тибета, были наследниками тысячелетнего братства и не имели ничего общего с этим злове-

щим одиночеством. «Все существа пребывают во мне, словно в воздухе, заполняющем пространство. Я Бытие и Небытие, я бессмертие и смерть...» — шептал исполинский профиль, погруженный в гранит; и фламандская крестьянка с седыми косичками отвечала: «Когда человек стар, у него только и есть, что немощь...»; и под луной, которая как похоронный фонарь освещала наш танк, китайская маска Праде с тремя зубами ничего не ответила (под тем же слабым мерцанием, которое привело к телу старого слепого раджи обезьян, обступивших его в «Бхагаватгите»).

3

1948—1965

Неру не жил в Капитолии. Его дом, похожий на одну из больших вилл на Лазурном берегу, был предоставлен ему в распоряжение, как я полагаю, недавно. Из подарков там было только два очень больших и обточенных слоновых бивня, а также скульптура Девы Марии в романском стиле, преподнесенная ему Францией. Но его дочь и он сам сообщали этому дому уют и очарование. Он ходил по своему временному прибежищу словно сиамская кошка. А также словно История по страницам газет, так как он слишком сильно был связан с Историей, чтобы чувствовать себя как дома в Капитолии или на этой вилле.

До обеда я разговаривал с ним о той речи, которую он произнес накануне, перед четырех- или пяти тысячной аудиторией. Он отвечал мне, ссылаясь на Ганди. Но в Европе, после ораторов тоталитарных режимов, мало кто понял, что Ганди мог убеждать огромные массы людей, не повышая голоса. Его воздействие на слушателей казалось мне более близким к воздействию великих проповедников, чем политических ораторов; на террасе в Везелее он продемонстрировал, что боль-

шинство из тех, кто слушал святого Бернара, не могли его понять. Тем не менее они приняли Крест.

— Здесь, — отвечал мне Неру, — люди толпами идут, чтобы посмотреть на гуру, даже если он ничего и не скажет: они ждут от него какого-то благословения. Они приходили, чтобы увидеть Ганди. В какой-то мере им было известно, что он им намерен сказать: люди часто знают, что им намерены сказать. Но он открывал им то, что они уже имели. И главным образом то, что они могли *сделать*. Вы говорили о крестовом походе. Борьба за освобождение, та, которую он задумал и которой руководил, была в какой-то мере похожа на крестовый поход; Поход к Океану во времена борьбы против налога на соль был абсолютно в его духе. Чтобы построить будущее, Ганди обращался к весьма древним чувствам. И потом, у него было особое чутье к символам: прялка, соль. То, что он провозглашал, поражало своей очевидностью.

— Обнаруживать очевидное — это один из знаков пророческого дара.

— Задолго до того, как он стал знаменит, Гокхал говорил: «Из этих несчастных созданий он может сделать героев». Он давал каждому веру в самого себя и говорил: «Вы станете теми, кем сейчас восхищаетесь...». Его слушатели становились добровольцами в борьбе за независимость, а также... было и что-то другое... У движения гражданского неповиновения и у борьбы за права неприкасаемых был тот же исток. Он называл эту борьбу «религиозной». Поэтому его политическая деятельность озадачивала... Не забывайте, что для него парламентская работа была последней в ряду национальных задач. И потом, если он открывал людям то, что они носили в себе, то он говорил им только то, что они ожидали услышать. Он не был непослушным подданным, но он был не более послушным, чем любой индуст, любой националист, любой пацифист или любой революционер...

— У него были враги, один из них убил его; но оплакивала его вся Индия?

— Еще во многих домах можно найти фотографию его убийцы. Мы еще не покончили с реакционерами.

В парламенте Неру говорил мне:

— Танки и самолеты — у кшатриев, законодательство и управление — у брахманов. И потом, — добавил он, — все остальные...

Он взял книгу с полки у себя за спиной и протянул ее мне: «Ганди», книга племянника Тагора, коммуниста.

— Посмотрите посвящение.

Мне оно было и так известно: «Массам индийского народа, чтобы они уничтожили гандизм, подчинивший их интригам жрецов, феодальной самодержавию, местному капитализму и хитростью удерживающий их под ярмом английского империализма».

Он с грустью процитировал фразу Вивекананды о своем наставнике:

— Он довольствовался тем, что прожил великую жизнь — и оставил другим заботу найти ей объяснение...

Некоторые речи Неру, главным образом, речи о войне, были речами оратора в традиционном смысле этого слова, с характерным построением, с красноречием и убежденностью. Но некоторые из его выступлений перед массами были похожи на длинные монологи, и он произносил эти речи почти в тональности беседы.

— Когда мой взгляд, — говорил он, — натывается на эти тысячи глаз, мне кажется, что мы исповедуемся друг другу... Иногда я нападаю на чувства, которыми эти люди очень дорожат. Они соглашаются со мной. Но кто тот человек, с которым они соглашаются, человек, который носит мое имя, у которого мое лицо, мой силуэт? И тем не менее действительно необходимо, чтобы я смог увлечь за собой этих людей...

Последнюю фразу он произнес с усталой улыбкой. Я подумал, что не забуду — и я на самом деле по-

мню — эту самую обычную комнату и статуэтку Девы Марии на невысоком столе.

— Как быстро уходит в прошлое борьба за независимость!.. — сказал он.

В то время как он был в тюрьме, пятнадцатилетний мальчик по имени Азад был приговорен к ударам плети — и после каждого кровавого удара кричал: «Да здравствует Ганди!», пока не потерял сознание. (Я не понял, присутствовал ли сам Неру на казни или ему сообщили о ней.) Через несколько лет Азад, ставший одним из руководителей боевых отрядов в северных провинциях, встретился с ним и спросил, отказался ли бы конгресс от боевых отрядов, если бы было достигнуто соглашение с англичанами. Он больше не верил в эффективность терроризма, но война казалась ему неизбежной. Две недели спустя, преследуемый полицией в парке Аллахабада — города Неру — во время переговоров между Ганди и царским наместником, он сражался до тех пор, пока не был убит.

— Разрушения, волнения, отказ от сотрудничества не являются чем-то нормальным, не говоря уже о терроризме... Прежде я считал, что только наши сыновья могли бы стать строителями. Может быть, наши внуки...

Казалось, он позабыл, что террористы сменили свою цель и что после смерти Ганди он сам стал для них целью.

— Сопrotивление также не было нормой, — сказал я, — и многие из той молодежи, что выжила, начинают за все это дорого расплачиваться.

Он задумчиво ответил:

— Всегда непросто переходить от войны к миру. Но людям моего поколения пришлось особенно плохо. Мы выступали против насилия. Но рано или поздно мы окажемся лицом к лицу с Китаем, и народ больше уже не примет идею ненасилия...

Одна из фотографий, стоявших на невысоком столике рядом с Девой Марией, была изображением цей-

лонского Будды; наверное, того самого, о котором Неру писал, что тот поддерживал его в камере. Я вспомнил о той речи, где он назвал Будду «самым великим сыном Индии». Мы подошли к столу.

— Мне кажется, что речь, которую Вы произнесли по поводу великих буддийских праздников, сильно отличается от того, что Вы писали о религии, не так ли?

— Личность Будды меня всегда поражала. Как и личность Христа. Но главным образом Будды. Изменилось ли мое религиозное чувство? Я стал более восприимчив к той смутной потребности человеческой природы, которой оно отвечает...

В своей «Автобиографии» он заявил, что религиозный спектакль почти всегда наполнял его ужасом; слово «религия» для него было связано со слепой верой, с суевериями, с защитой установленных интересов. Христианство не боролось с рабством. Неру добавил, что религия почти утратила свое духовное измерение как в Индии, так и на Западе; и даже в протестантизме, который был, по-видимому, единственной еще живой религией. Такое утверждение меня озадачило.

Но он опять его повторил:

— Посмотрите на наше отношение к животным. Вы знаете, что нет священных коров: все коровы священны. И Вы видите, как с ними обращаются! А обезьяны!.. О, если бы они все однажды ночью смогли убежать в Китай! Они тяготят Индию больше, чем Англию нищета. Вы видели Храм Обезьян в Бенаресе!

Я и раньше видел его и не мог позабыть. Живые обезьяны сидели там на обезьянах керамических, окружая одинокого брахмана, который, казалось, им прислуживал. Никогда их жизнь рядом с человеком не казалось мне такой беспокойной, как в этом храме, где они были изображены на всех стенах (словно сами себя и рисовали), и, казалось, они были уже готовы соединиться с Абсолютом при помощи своего обезьяньего бога, если бы мое присутствие не нарушило их благочестивые планы.

— Их стало слишком много, — вновь вернулся к обезьянам Неру. — Брахманы решили избавиться от них. Им стало известно, что наши обезьяны боятся черных обезьян из Египта. Посетите этот храм еще раз. Там, под галереями, Вы найдете лишь с десяток черных обезьян, остальные опять ушли в лес...

Его рассказ напоминал сказку, но в голосе не слышалось иронии. Я думал о черных обезьянах, о хозяевах опустевшего храма, похожих на обезьян-демонов среди обезьян-богов из керамики. Я напомнил ему о легенде, которую историки рассказывают об Александре:

«Македонская армия, завоевавшая Восток, завоевавшая весь мир, подходит к космогоническому Хайберскому перевалу, укутанному миртами и смоковницами. Четыре вождя в белых мантиях и Александр в красной. Еще нет ни римских знамен, поднятых в честь богов, ни бронзовых кабанов варваров, ни штандартов ислама, обращавших в бегство тушканчиков и оставлявших равнодушными орлов; армия, из воинов которой я знаю лишь четырех всадников в белом, одного в красном и поверженного ниц проводника. Солдаты зажаты между вздымающимися ввысь горами, одна из которых трясется и грозит обрушиться на них. Александр знаком велит проводнику подняться и указывает на вздрагивающую гору: „О, это пустыки, — отвечает туземец, — это обезьяны“. Александр смотрит наверх, на грозный гребень, по которому проходят скрытые содрогания. И армия возобновляет движение».

— В джунглях, — сказал Неру, — я слышал, как они ломают ветви деревьев, а иногда видел, как они цепляются за них хвостом. На рассвете их крики переходят, усиливаясь, от долины к долине и заполняют лес, словно армия обезьян в отчаянии оплакивает смерть своего царя Аномана. Буддисты объясняют: «Будда обещал им, что если они будут вести себя достойно, то однажды утром станут людьми. С тех пор каждый вечер они надеются и каждое утро плачут...».

В той речи, которую Неру недавно посвятил Будде, было место, где он намекнул на одну из наших прежних бесед: «Восемь или девять лет назад, когда я был в Париже, Андре Мальро задал мне странный вопрос: „Что позволило индуизму без каких-либо серьезных конфликтов изгнать из Индии буддизм, прекрасно организованный и существовавший там уже более тысячи лет? Как индуизм сумел, образно выражаясь, поглотить великую народную религию, широко распространенную, и обойтись без обычных в таких случаях религиозных войн?..“. Для Мальро, по всей видимости, вопрос не был чисто формальным. Он сам собой возник во время нашей встречи. Это был понятный моему сердцу вопрос, я и сам не раз ставил его перед собой. Но я не мог дать ни ему, ни себе удовлетворительного ответа. Существует множество ответов и объяснений, но говорят, что они никогда не касаются сути проблемы».

Его речь и была ответом, косвенным, на все тот же вопрос.

Это была речь-беседа, в самых простых тонах, и начиналась она так: «Как вам известно, я немного занимаюсь политикой...», но после этого он сразу же сказал, что наилучшая политика пытается бороться с теми разрушениями, которые несет с собой наука, и с тем насилием, которое несет в себе человечество. И «мы сидим на мели, уже много лет, несколько поколений! Должен быть и иной путь, отличный от того, каким идут люди моего рода и моей профессии».

— ...Люди доброй воли встречаются друг с другом, обсуждают этот прекрасный новый мир, единый прекрасный мир, в котором из всех наций создают одну; мир сотрудничества и дружеских отношений. Эта добрая воля напрасна, потому что она оторвана от реального действия, которое должно решать реальные проблемы. Мы не можем мечтать о ветряных мельницах. С другой стороны, если важно, чтобы мы крепко стояли на земле, то тогда необходимо, чтобы и наши головы не оставались склоненными вниз.

Это заслуживало внимания, так как исходило из уст вождя политического идеализма, самого влиятельного из всех, какие только были известны миру.

— Человечеству недостает неких очень важных вещей. Недостает духовного начала, которое могло бы обуздать власть науки над современным человеком. Теперь ясно, что наука не способна обустроить человеческую жизнь. Жизнь управляется ценностями. Наша жизнь, но также и жизнь наций (а может быть, и человечества). Вы, я думаю, помните речь генерала Брэдли в 1948 году: «Мы вырвали у атома его тайну и отказались от Нагорной проповеди: нам знакомо искусство убивать, но неведомо искусство жить...». Во всем этом я снова становлюсь индусом; в годы своей юности я уже говорил о необходимости одухотворить политику... Какова сегодня, по вашему мнению, высшая ценность Запада?

— Мне кажется, что слово «ценности» следовало оставить во множественном числе. Личные ценности все больше и больше сохраняют жизнь, а управляют ею все меньше и меньше. Я не знаю, как обстоит дело в коммунистических республиках. В капиталистических государствах, или в свободном мире, как угодно, в роли высшей ценности выступает индивидуальная свобода.

— Но если бы вы на одной из парижских улиц спросили прохожего, способного сказать вам, чего он желает больше всего, что бы он вам ответил?

— Власти? — спросил посланец.

— Счастья? — предложил я. — Но это объекты желания, а не высшие ценности. Я считаю, что цивилизация машин — это первая цивилизация без высших для большинства людей ценностей. Она оставит после себя следы — и немало... Но свойство цивилизации действия заключается, без сомнения, в том, что каждый здесь действует. Действие против созерцания; человеческая жизнь, иногда мгновенная, против вечности... Остается лишь узнать, может ли какая-либо цивили-

лизация быть цивилизацией вопроса или мгновения, может ли она длительное время основывать свои ценности на чем-то другом, нежели на религии...

— Я никогда не знал, как умер буддизм, — сказал Неру, — но я считаю, что догадываюсь, почему он умер. Гениальность Будды связана с тем, что он человек. Это один из самых глубоких мыслителей человечества, несгибаемый, благородный и сострадательный разум; обвинитель, лицом к лицу с сонмом богов. Когда его обожествили, он затерялся среди них: толпа богов поглотила его.

Но все это не фигурировало в его речи. Неру больше не обращался к легендарной жизни Будды, которая, как он считал, и так была известна его аудитории. Я имею в виду его страстную борьбу с царем (почти всегда опускаемую в западных жизнеописаниях Сиддхартхи), который стремился сделать своего сына счастливым. Каждая из четырех «встреч» все больше и больше погружала принца в отчаяние. «Желая сохранить принца в неведении относительно страдания и зла, царь приказал построить вокруг дворца стену с одной единственной дверью из тяжелых брусьев...» Когда в первый раз принц Сиддхартха захочет пройти через город и посмотреть сады, царь «прикажет разлить по земле благовония: „Украйте дороги цветными фонарями, поставьте урны с чистой водой на перекрестках!..“». Однако принц встречается со старостью, а затем, когда выходит во второй раз, — с болезнью. Король превращает дворец в место для песнопений, «и поток наслаждений не иссякает ни днем ни ночью, и самая лучшая певица поет ему Песнь Леса...». Тогда Сиддхартха выходит в третий раз, натывается на неподвижное тело, и его опекун отвечает ему: «Мой принц, это тот, кого называют мертвецом».

Я процитировал эту фразу, и Неру ответил мне фразой царя, который только что узнал, что Сиддхартха хочет оставить мир после встречи с аскетом:

— «Откажись от такого решения, сын мой, ибо вскоре я должен буду оставить свое царство и уединиться в лесу, а ты должен будешь занять мое место».

Я помнил продолжение, и Неру, разумеется, также не забыл его. Облачившись в платье землистого цвета, принц отправляется в лес, а на послание своего отца отвечает: «Золотой дворец, объятый пламенем, — вот что такое твое царство...».

Он процитировал: «...ты должен будешь занять мое место».

Однажды он уже говорил Остророгу, вероятно, тем же самым голосом: «У Ганди был наследник...».

— Мы восхищаемся и тем и другим Буддой, — сказал я, — но мы не молимся ему. Мы не верим в его божественность. В целом все происходит так, словно нашей высшей ценностью является Истина. И тем не менее...

Я рассказал ему о Виллефранш-де-Рерге, о том, как я напрасно перечитывал святого Иоанна.

— Может быть, Истина и будет моей высшей ценностью, — ответил мне он. — Я не знаю, но я не смогу без нее обойтись...

— Вам известна противоположная по смыслу фраза Достоевского, весьма загадочная: «если я должен выбирать между истиной и Христом, я выберу Христа».

— Мне известны также и слова Ганди: «Я говорил, что Бог был Истиной, а теперь я утверждаю, что Истина *есть* Бог».

— Что он имел в виду под Богом, в данном случае? Ведическое *рта**?

— Он говорил примерно так: «Бог — это не личность, Бог — это закон». Он говорил: «неизменный закон».

— То же самое утверждал и Эйнштейн: «Самое необычное заключается в том, что у мироздания есть

* Ведический принцип, универсальный космический порядок, который властвует над течением человеческой жизни (рождение и смерть, счастье и несчастье); ему подчиняются даже боги.

определенный смысл». Остается узнать, почему этот смысл заботится о людях...

— Конечно. Ганди также утверждал: «Я могу найти Бога лишь в сердце человечества». И еще: «Я — исследователь Истины». У нас тождество между значением мира и значением человека (между тем, что вы называете «душой мира», и душой человека) переживается как нечто очевидное. Мне кажется, что христианство таким же образом переживает существование души и ее загробную жизнь... Но знаете ли Вы, что Нараяна, который умер лишь в 1925-м, приказал заменить изображения богов на священных досках в храмах зеркалами?

Я не знал, что этот символ равносителен Танцу Смерти или Походу Ганди к Океану. Эти размещавшиеся в глубине стен священные доски, вместе с их изображениями, едва различимыми под туберозами, еще хранились в моей памяти. Религиозный характер скульптур Мадуры, как и скульптур наших соборов, связан, очевидно, с их включением в ансамбль храма, в котором совершалась переплавка бранных людей. Я представил, как перед алтарем Шивы, в священном полумраке повстречавшиеся мне молодожены изумленно взирают на свои отражения, вместе с россыпью цветов украшающие танец богов. «Я преклоняюсь перед тобой, мой Повелитель, потому что ты и есть я сам...»

Хотя этот печально улыбающийся глава государства, скорее джентльмен, чем англичанин, и не пользовался таким доверием в Индии, как Ганди, он тем не менее был самой Индией; хотя между ним и ею и возникла загадочная дистанция, хотя он и не верил в божественность Ганга, он хранил Ганг в своем сердце. Он имел репутацию интеллектуала и на самом деле был им, потому что довольно много написал. Но его речи были речами человека действия; его воспоминания, за исключением воспоминаний о своей семье, вызвали образ упорного деятельного человека. Он любил оригинальность мысли и встречал ее мимолетной

улыбкой, как любитель живописи встречает хорошую картину. Но интеллектуалы любят саму эту оригинальность, какой бы она ни была; я думаю, что Неру любил эту оригинальность лишь в том случае, если она побуждала к действию.

— Мне кажется, что религией, ее сущностью я не интересуюсь. Скорее, мне интересна ее связь с этикой.

— Одна только Индия, — сказал я, цитируя знаменитый тогда тезис, — сделала из своей религиозной философии интеллектуальную основу своей народной культуры и своего национального правительства.

— Индия Ганди действительно основана на этике; может быть, даже в большей мере, чем Запад основан на христианской морали. Но вспомните о странной фразе махатмы: «Нужно, чтобы у Индии наконец появилась истинная религия...».

Запад — это был индивидуализм; индивидуализм, который был одновременно и распятием и атомным реактором. Когда-то я узнал о недоумении буддистов перед распятием: «Почему они поклоняются казненному?» — и о двойственном отношении Индии к машинам и технике вообще (в ее домах прялки Ганди вращались рядом с атомными реакторами, казавшимися последним воплощением Шивы). Индия приспосабливается к Христу так же, как и к другим богам, и с легкостью видит в нем аватару («аватара» означает нисхождение, воплощение...). Но не только образ Христа приобрел здесь поразительный акцент. Можно увидеть в первородном грехе источник вселенской майи, а в законе наследственности — действие кармы, в силу которого человек Запада перенимает болезни своих родителей, а индус подвержен последствиям своих предшествующих жизней; но переселение душ — это всегда лишь условное наказание, тогда как христианин избирает свою судьбу раз и навсегда. Как и атеист. В Европе переселение душ индусов представляют как воплощение, которое делает христианина или изб-

ранником, или осужденным, но дело в том, что осужденный может даже и не знать, что когда-то он был человеком. Несмотря на свои представления о грехе, о демонах, об абсурде, о бессознательном, европеец мыслит себя как существо деятельное, существо, действующее в мире, где изменение представляет собой ценность, где прогресс является завоеванием, где судьба — это история. Индус чувствует, что он действует в мире предзнаменований. Человек Запада принимает за истину то, что индус считает видимостью (поскольку если за столетия существования христианства человеческая жизнь, безусловно, была испытанием, то она, разумеется, была истинным испытанием, а не иллюзией). Человек Запада может считать высшей ценностью знание законов мироздания, тогда как для индуса такой ценностью является доступность божественного Абсолюта. Но самая глубокая противоположность заключается в том, что фундаментальной самоочевидностью Запада, христианского или атеистического, является смерть, тогда как для Индии — это бесконечность жизни в бесконечности времен: «Кто может убить бессмертие?».

Здесь, над шкафами с книгами, висел большой рисунок Ле Корбюзье: дворец Шандигарха, возвышающийся над огромной Рукой Мира, с эмблемой и гигантским флюгером; а также модель этой руки, бронзовая, около пятидесяти сантиметров. Ле Корбюзье очень высоко ценил эту свою работу. Неру не очень. Ле Корбюзье прохаживался по улицам Шандигарха, перед недостроенными зданиями, сооружением которых он руководил вплоть до оклейки комнат обоями. На площади цепочки мужчин и женщин поднимались по наклонной плоскости, словно лучники Персеполя, с корзинами цемента на голове. «Здесь будет Ассамблея, — говорил он мне уверенно, делая знак в сторону далеких гор Памира, туда, где прогуливалась лишь одинокая коза. — А здесь (его рука указывала на крыши Дворца правосудия) — Рука Мира!»

Я вспомнил о вывеске перчаточника из Боны, об огромной красной руке, которая, как я видел, надзирала над городом, выискивая там признаки жизни; теперь я смотрел на бронзовую руку, на линии ее ладони, которые были, может быть, линиями судьбы Индии.

По случаю моего отъезда Неру пришел на обед в наше посольство. Франция собиралась учредить министерство культуры; его интересовало, как создаются подобного рода учреждения и что у нас уже сделано в первую очередь; он желал знать, как мы представляем себе решение проблем, объединенных таким туманным словом, как «культура», поскольку ему они казались совершенно разными, «в зависимости от того, что он думал о Шекспире или Рамаяне». Остророг был единственным послом, способным дать изысканный обед в Дели. Я вспоминаю пирог, украшенный ибискусами, беседу о Японии и Неру, который сказал: «У Японии много оснований для грусти, и они, неизвестно почему, почти не знают слонов. Чтобы вернуть им их прежние улыбки, я хотел привезти с собой слона. Но мне помешали... Да и кто вообще делает то, чего ему хочется? Однажды Тагор с удрученным видом сказал мне: „Одному тигру надоело быть полосатым, он пришел к моему слуге, трясущемуся от страха, и попросил кусочек мыла...“».

После обеда Неру, посол и я устроились поудобнее под исфаханским ковром, висевшим на стене. Мы обменялись несколькими банальностями. Я сказал, что добился небольшого успеха в совете министров, утверждая, что был единственным министром, который не знал, что такое культура. Я говорил о том, что Акбар и даже какой-нибудь из фараонов могли бы обсуждать государственные проблемы с Наполеоном, но с Эйзенхауэром уже нет: короли наполеоновской эпохи были властителями еще великой аграрной цивилизации.

— В каком-то отношении, — сказал Неру, — колониализм появился тогда, когда современное оружие

позволило небольшим европейским экспедиционным корпусам справляться с армиями самых густонаселенных империй мира, и он умер тогда, когда эти империи получили свое собственное оружие, включавшее в себя не только пушки.

— В течение этого времени (на которое пришлась наша жизнь...) Запад перешел от omnibusов моего детства к реактивным самолетам. В течение этого времени политика, настоящая, играла такую роль, какой никогда не играла раньше, только предчувствовала ее во времена Французской революции: коммунизм важнее, чем смена династий. Слово мечты о справедливости закончилось тем, что люди оказались в подчинении у машин, а мечты о власти привели на смену коммунизму фашизм...

— Я боюсь, что прялка не будет сильнее машины, — с грустью сказал Неру.

— Но не проявится ли противоположность цивилизации машин и аграрных цивилизаций в противоположности между материализмом и спиритуализмом или между действием и трансцендентностью? То, что Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты называют «действием», — это одновременно и то, что они создают, и разрушение жизни, которое, безусловно, никогда не доходило до такой степени; стимул-рефлекс американцев, мобилизация человека в созидании.

— Это все равно, что мобилизовать осла морковью, которую он не ест, — сказал посол.

— Человек ест морковь, но она оставляет его голодным, — ответил я.

— Осел или Сизиф... Любопытно, что Соединенные Штаты и Россия вместе вошли в Историю в XVIII столетии... В Вашей речи о Будде, господин премьер-министр, Вы, между прочим, поставили проблему в такой же перспективе.

— Я?

Соответствующая улыбка. Посол распорядился принести речь.

— Верно, — сказал Неру.

И он вернул текст речи, отметив в ней следующий отрывок: «На самом деле, у нас две разные жизни: первая — та, которую называют „практической“, та, что имеет отношение к практическим делам; другая — та, к которой мы обращаемся в минуты интимного одиночества. Следовательно, как личности, мы развиваемся двояко — и в качестве индивидов, и как сообщества или нации».

— Жизнь, чуждая всякой религии, — ответил я, — кажется, появилась почти в то же самое время, что и машины... В XVII веке старость была лишь подготовкой к вечной жизни. Каждый год Сен-Симон отправлялся в Трап. Что стало действительно новым, так это конечное оправдание жизни действием, или, точнее, та интоксикация, которая позволяет действию не считаться с любым оправданием жизни. Изменился не ответ, исчез сам вопрос...

— Надолго ли? — сказал Неру.

— Существует и другой элемент, о котором на Западе не говорят, потому что там его утратили: это причастность миру. Христианин был связан с временами года, с животными, так как он был связан со всем, что сотворил Бог. В городской цивилизации человек изолирован от природы, и, возможно, именно поэтому вопрос: «Что ты делаешь на этой земле?» — приобретает для него такое значение.

— Этот вопрос имел большое значение и в раннем буддизме, — сказал Неру.

— Хотя он много раз менял свой вид, он такой же старый, как и само сознание... Но это не такой рациональный вопрос, как кажется, потому что особый акцент ему сообщают смерть, старость, судьба... А также страдание, Зло в самом широком смысле слова. Речь в таком случае идет о том, способна ли эта интоксикация действием заглушить вопросы, которые перед человеком ставит смерть.

— И Вы верите, что то, чего нельзя достичь действием, можно достичь искусством?

— Увы, нет! Но чтобы искусство играло ту роль, которую мы в нем сегодня усматриваем, необходимо, чтобы этот вопрос оставался без ответа. Не забывайте, что культура — это в первую очередь воскрешение в самом широком смысле. Можно научить знаниям, например, о том, какое место занимает Бетховен в истории музыки, но нельзя научить любить его музыку, нельзя научить ее воскрешать. Любить шедевр — значит дать ему голос, сделать его достоянием настоящего. Иногда через интерпретацию, иногда другими средствами.

— Мне хорошо известны интерпретации Моцарта или представления Мольера, — сказал посол. — Но не является ли интерпретация Эллары в то же время и обучением?

— Я считаю, что интерпретация Эллары заключается в том, чтобы понять, что ее скульптуры не подражают чему-либо сотворенному, что они обращаются не к миру творений, а к иному миру: для нас — это мир скульптуры, а для Индии — это, безусловно, божественный мир, а может быть, и тот и другой одновременно. Это можно почувствовать, лишь сопоставив скульптуры и фотографии Эллары со скульптурами и фотографиями других священных искусств: римского, шумерского, египетского (любого из тех, что я знаю...). Оживить скульптуры Эллары — это не значит оживить их словно марионеток, это значит освободить их от мира подражания, от царства видимости, и ввести их в мир искусства или вернуть в мир священного.

Я имел в виду и Египет, который, в сравнении с Эллой, казался геометрически более строгим, чем Индия. Я продолжал:

— В глаза бросается тот факт, что в Европе искусство длительное время смешивалось с красотой. Все кажется простым, может быть, потому, что одно и то же слово выражает и красоту статуй и красоту женщин. Мир искусства появился на свет вместе с нами, во всех тех цивилизациях, которые мы обнаружили. Это

делает искусство довольно загадочным явлением. Кроме того, кажется, что красота несет вместе с собой свою нетленную власть. В конечном счете, она оправдывает бессмертие. Но и такая красота исчезает в ходе тысячелетий.

— Сюда она всегда приходила вместе с завозимыми товарами, — ответил Неру. — Может быть, за исключением литературы, но разве это не одно и то же?..

— Говорить о красоте по поводу Шекспира не менее оправданно, чем по поводу творений Фидия, хотя это и не так очевидно. Так что не таким уж большим парадоксом звучало бы утверждение, что сегодня красота — это то, что сохранилось в веках. Индию всегда окутывала глубокая древность, ей была дана беспредельность леса; но почти все древние объекты, сохранившиеся на Западе, сохраняются лишь в области познания. Обработанный камень дает нам знания, он нас не волнует, разве что как свидетельство человеческого интеллекта. Но наши римские статуи, как и скульптуры ваших священных гротов, имеют отношение не только к познанию. Они пришли к нам, разумеется, из своего времени: мы можем определить их дату; но они же существуют и в наши дни, они пережили свое время. Так святой, к которому мы обращаемся с молитвой, принадлежит одновременно и ко времени своей жизни, и ко времени того, кто молится. Поэтому я и писал, «что область культуры — это жизнь того, что должно было бы принадлежать смерти».

Я не знал, в какой мере сам Неру был причастен к миру искусства. Он хорошо знал литературу Индии и Англии, но редко на эти знания ссылался. Я не имею в виду его ссылки на Ганди и на некоторые священные тексты. Любил ли он изобразительное искусство? Окружавшие нас дорогие работы мастеров (Остророг был коллекционером) напомнили мне, что на вилле премьер-министра я ничего подобного не видел. Что восхищало его в Эллоре — скульптура или выражение духа Индии? Музыка была ему близка, так как в ин-

дийской культуре она играет такую же роль, как в нашей — литература. Любил он и танцы. Я напомнил ему о вечере в Капитолии и добавил, что Сталин сказал мне: «В искусстве я люблю лишь Шекспира и танцы».

Он улыбнулся:

— Может быть, это не одни и те же танцы... Видите ли, в Европе старые танцы кажутся историческими; меня же всегда интриговал балет. Что касается нашего, то он немного не успевает идти в ногу со временем. В каком-то отношении здесь ничто не принадлежит полностью смерти... Но то, что Вы говорите о проблемах изобразительных искусств, справедливо также и для нас. Проблемы Азии стали проблемами благодаря проблемам Европы; тем не менее мы никогда не воспринимали их так остро. После конца колониальной эпохи изобразительное искусство становится таким же видом искусства, как и другие. Но Европа изобрела музеи, и музеи завоевали Азию...

Кошка посла, осторожно ступая, прошла через комнату, и Неру сделал ей дружеский знак, словно издали погладил по спине.

— В Египте, — сказал он задумчиво, — я интересовался, почему в греческом искусстве не встречаются изображения кошек... Как Вы считаете, какое животное олицетворяет Грецию?

— Великодушный конь, — ответил я, процитировав Гомера.

— А Индию?

— Слон, — сказал посол.

Я подумал: обезьяна или корова. Но Неру вернулся к искусству.

— Когда я приехал в Англию, меня очень интересовало западное представление о красоте. Мне казалось, что это представление стремится к завоеванию вещей, а наше — к освобождению от них. Позже я познакомился с изобразительным искусством, которое так же, как наша музыка, стремится к примирению с миром, — с китайской живописью. Но скажите мне, если вос-

крещение, о котором Вы всегда говорите, больше не обращается к красоте, то к чему же оно обращается?

— Я считаю, что оно ни к чему не обращается. Оно просто есть. Искусство — это воскрешенные произведения; одна из целей культуры — это ансамбль воскрешенных произведений. Тем не менее позвольте мне сделать очень важную оговорку: воскрешенное — это не совсем то, чем было живое. Оно похоже на него. Оно — его собрат. Скульптуры ваших гротов или наших соборов не являются тем же, чем они были для тех, кто их изваял. Для нас Греция — это, очевидно, не то же самое, чем она была для себя самой. То, что не так очевидно, так это тот факт, что метаморфоза, которой мы подвержены благодаря духу мертвых цивилизаций и их произведениям, не является случайной. Она закономерна для той цивилизации, которая возникает вместе с нами. Мир в прошлом — это культуры, отличные от нашей и, между прочим, разнородные. Они впервые объединяются в нашей культуре, благодаря своей метаморфозе.

— В Советском Союзе я видел, как создают для себя коммунистическое прошлое, затем национальное... В какой мере Запад принимает свое капиталистическое прошлое?

— Скорее религиозное прошлое. Почти все наши воскрешения были религиозными, но появившись как художественные произведения, они уже не служат религии... Мы участвуем в самом грандиозном воскрешении, какое только известно миру. И оно сопровождается кино, телевидением, всеми формами распространения образов. Усвоив рационализм и машину, Запад противопоставил их тому, что он называет «мечтой». Тогда как и в Москве, и в Чикаго, и в Рио-де-Жанейро, и в Париже наша эпоха как раз и является индустриализацией мечты.

— Столетие тому назад, — сказал посол, — публика на всех вместе взятых спектаклях в Париже не превышала трех тысяч человек за вечер. Телевизионная пуб-

лика в районе Парижа насчитывает, возможно, более трех миллионов.

— Наша цивилизация каждую неделю порождает столько грез, сколько производит машин за год. Она создала некоторые из самых сложнейших произведений искусства, известных человечеству; но это также и та цивилизация, где Чаплин и Гарбо обнаружили, что могут заставить смеяться или плакать весь мир.

— И Вы верите, — спросил Неру, — что этот воображаемый мир Запада будет распространен больше, чем распространен здесь мир Рамаяны?

— Я хотел бы это узнать... В конце концов, сидение перед телевизором приходит на смену бодрствованию... Но мне кажется, что воображаемый мир Рамаяны, как и воображаемый мир нашего жития святых, идет с Востока: его ценности и есть наивысшие ценности Индии. Это в меньшей степени справедливо для «Тысячи и одной ночи», несмотря на постоянные ссылки на Аллаха. Не в большей степени это справедливо и для воображаемого мира европейцев наших дней. Давайте условимся, что речь не идет о каком-то характере из романа, который противопоставляется другому характеру, как жития святых могут противопоставляться Басне. Кажется, циклы крови, секса, сентиментальности, политики или смерти идут на смену циклам Круглого стола или «Тысячи и одной ночи». (Границы мечты всегда довольно узки.) Но воображаемый мир западного человека, о котором мы говорим, — это не мир циклов, это мир инстинктов. Хозяева «фабрик грез» не знают этого. Они находятся на земле не для того, чтобы помогать людям, а чтобы зарабатывать деньги.

— Дьявол на пенсии становится генеральным директором, — сказал Остророг. — Его продукция всегда хорошо расходуется...

— И тем не менее все мы — директора самой крупной «фабрики грез» в мире, — сказал Неру вполголоса, как о чем-то второстепенном.

Я подумал, что его роль гуру для целого народа была на самом деле неотделима от радио. Но он посмотрел на меня так, словно хотел, чтобы я продолжал говорить, не обращая внимания на то, что он только что сказал.

— Если эта цивилизация, — начал я вновь, — дает инстинктам такое удовлетворение, какого они никогда не знали, то она же является и цивилизацией воскрешений — и это, безусловно, не случайно. Поскольку воскрешенные произведения, которые когда-то называли «бессмертными образами», кажутся достаточно сильными, чтобы противостоять могуществу секса и смерти. Если бы народы не обращались к этим произведениям, и не только в познании, но и в чувствах, то что бы произошло? За пятьдесят лет наша цивилизация, которая желает быть, которая верит, что она является цивилизацией науки, и которая ею и является, оказалась бы цивилизацией, настолько подчиненной элементарным инстинктам и грезам, насколько это вообще возможно. Именно поэтому, считаю я, проблема культуры — одна из важнейших для нас.

— Но мне кажется... — сказал Неру, — по меньшей мере... неужели западные правительства так уж сильно зависят от развлечений?

— Первое министерство спорта и развлечений было создано у нас Народным фронтом лет двадцать назад. Но если нет культуры без развлечений, то развлечения без культуры, разумеется, есть. Начинать нужно, конечно же, со спорта. Тем не менее, за исключением спорта и игры, чем еще можно занять досуг, если не жизнью в воображаемом мире? Там наши боги уже умерли, а наши демоны еще живы. Культура, очевидно, не может заменить собой богов, но она может оставить в наследство благородство мира...

Я вновь увидел философа Алена и его крепкую седую голову: около тридцати лет назад, в машине, выйти из которой ему мешала болезнь, он сказал мне нечто неожиданное: «В конце концов, самый чистый и самый

лучший человек — это тот, в ком преобладает благоговение и восхищение. Такого человека никогда не было».

— Что Вы об этом думаете, господин премьер-министр? — спросил посол.

Неру скрестил руки. Через открытые стеклянные двери в комнату из прекрасного сада проникала ночь, и лишь несколько больших цветов мутными пятнами проступали из темноты. Это была ночь пустой террасы, откуда доносилась музыка в честь ночных богов, — ночь дворцов, нищеты и богов.

— Я немного озадачен. Мы эти проблемы ставим по-другому... Есть безграмотность, и, в конце концов, когда я проезжаю по Индии, мне очень радостно видеть везде новые школы, наполненные детьми...

Я вспомнил о генерале де Голле: «Если бы у меня, прежде чем я умру, была возможность еще раз увидеть французскую молодежь...». На обратном пути в Дели я смотрел, как шла маршем неорганизованная молодежь партии Конгресса; смотрел с той же тревогой, как когда-то на молодежь Народного фронта, когда ехал через всю Францию, чтобы встретиться с Троцким в Ройо. Я спросил Неру, что он думает о своей; и он, к моему изумлению, ответил: «Бесспорно, молодежь может быть политически организованной только в тоталитарных государствах...». Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не смогли организовать свою молодежь.

— И потом, — добавил он с некоторым презрением, — западный миф о молодости нам чужд... Индия не является какой-то слаборазвитой страной, потому что она строит атомные реакторы... Что из нашего прошлого мы должны воскресить или сохранить ради лучшего будущего? Наши завоевания были скорее завоеваниями разума, нежели меча; образованный человек у нас всегда был более уважаем, чем богатый. Много написано о конфликте между нашей культурой и христианством. Однако подлинный конфликт с момента обретения независимости начинается между индуиз-

мом и культом машин. Запад окажется сильнее, потому что там наука победит в конце концов голод. Европейец не знает голода (по крайней мере, не знает его так хорошо, как мы...). Запад поставил также социализм, кооперацию на службу обществу. Это не очень далеко от древнего идеала «служения» у брахманов... Таким образом, мы приближаемся к чему-то вроде «брачного союза» с Западом. Независимость делает его более легко достижимым, чем английское господство. Наука может не противопоставляться религиозной метафизике, а ученые часто оказываются аскетами. Но как примирить цивилизацию машин с тем, что было когда-то цивилизацией души? Что толкает Европу к этому механическому неистовству? В бесконечном времени, которое остается временем европейских стран, что заставляет ее спешить? И потом, слушая Вас, я все время думал: все это человек. Даже демоны и боги, о которых Вы говорите: интенсивность западной цивилизации ведет ее к гибели. В той космической авантюре, которой является здесь вселенная, смерть не сообщает жизни никакой интенсивности. Поэтому нам трудно помешать людям позволить себе умереть... Для Индии — а иногда это является истиной и для меня — божественное может присутствовать в человеке, но человек для этого должен пребывать в божественном... Один из наших гуру сказал: «Бог пребывает во всех людях, но не все люди пребывают в Боге» — и поэтому они страдают...

— А Рамакришна, — спросил посол, — разве он не говорил: «Поскольку вы ищете Бога, то ищите его в человеке»?

— Всякий раз, когда я что-то искал в человеке, — сказал я, — я обнаруживал там несчастье...

Неру положил руки на колени и внимательно посмотрел на меня.

— Был у Рамакришны один ученик, — сказал он, — который заявил, что половина людей рождена, чтобы искать страданий...

Вместе с ночью пришли и ароматы Индии. Мы молчали. Он возобновил разговор, словно хотел вернуться к началу нашей беседы:

— Здесь трудно говорить об искусстве вообще. Наш народ в глубине души остался художником, сам не подозревая об этом. Но не наша буржуазия, не наши города. Вы их видели. «Настоящая Индия — в деревнях, говорил Ганди, Индия, для которой я живу...».

— Господин премьер-министр, — сказал посол, — ваши города не хуже пригородов Токио и Парижа. Однако японцы и мои соотечественники слынут за художественно одаренных людей...

— Когда я был в тюрьме, я дал себе клятву, что однажды освобожденная Индия уничтожит лубочные картинки и механические пианино. Но вот Индия свободна, а механические пианино я не уничтожил... Связывать культурную работу государства с тем, что Вы называете «фабриками грез», кажется мне вполне справедливым. Не забывая, что здесь сосуществуют ваш XII и ваш XX века. В целом Вы предлагаете сделать прошлое Индии ее настоящим, сделать его более благородным и доступным для большинства индусов. Это нелегко сделать, но все препятствия можно преодолеть. Я, может быть, и хотел бы идти вместе с Индией к прошедшим столетиям мировой истории, но я должен быть уверен, что не потеряю ее по дороге. И наши города меня не воодушевляют.

— Советский Союз создал свое собственное прошлое. Не без фанатизма. Чтобы стать христианской, всей Европе пришлось изменить свое прошлое.

— Несомненно. И моя страна обладает великой силой притяжения. Вы помните фразу Тагора: «Индия — увы! — это только название, название-идол: ее не существует». Для меня она все еще существует. Но мы говорим о ней всегда как о царице из Рамаяны, тогда как на самом деле это нищенка, как и все эти матери, которых Вы видели на обочине дорог...

Почему его агностицизм не отделял его от Шанкары так, как мой отделял меня от святого Августина? Но женщины на обочине дорог — это была Индия, или вечная «Пьета», то были сестры моих женщин в черном на рассвете у могил в Коррезе; крестьянки, не ходившие в церковь, но осенявшие крестным знаменем мою кровь, капавшую на дорогу... С той же улыбкой, с какой он говорил во время ужина о слоне, которого хотел привезти с собой в Японию, Неру добавил:

— Может быть, все министры должны действовать как европейцы, а умирать как индусы... И потом, между религией и искусством я нахожу определенную гармонию... Ее трудно понять, но в памяти она меня преследует уже длительное время. Вы знаете, что Ганди принимал всех, кто приходил к нему с просьбой о помощи. Среди этих людей было немало чудаков. Однажды приходит человек с гор и говорит нам (но обращается к Ганди): «Боги скоро умрут». — «Почему?» — «Они живут лишь пока сохраняют свою красоту. А для того, чтобы ее сохранить, требуется перо красного попугая». Он вытаскивает из-под набедренной повязки статуэтку божка, убогую и грубо вырезанную, с ореолом маленьких перьев на голове, одно из которых было красным. «Этих птиц уже давно нет в наших лесах. Их покупали в Бразилии. Бразилия запретила продавать их за границу... Боги скоро умрут». Мы ждали. «Но нам сказали, что если Вы попросите нашего посла, он вышлет Вам перья красного цвета...»

— Выгоды дипломатической почты, — сказал Остророг. — И что сделал Ганди?

— Он выслал ему перья...

Неру уехал поздно. Пока я возвращался в Капитолий центральными, уже опустевшими улицами, на которых фары автомобиля не будили спящих коров, я снова думал о генерале де Голле: «Всю свою жизнь я постоянно думал, что такое Франция...». Сколько на-

циональных призваний, от Гитлера до Мао Цзэдуна, в век, который должен был быть веком Интернационала! Посол ехал вместе со мной. Он собирался посетить двух антикваров, так как Дели — это город, где некоторые статуэтки можно посмотреть только после полуночи и в конфиденциальной обстановке.

— Неру сильно изменился? — спросил он меня.

— Изрядно.

— Возраст?

— Нет, снисходительность.

— Когда я приехал сюда, он был еще революционером, освободителем. Вы где-то писали, что всякое действие — это манихейство. Став арбитром, пытавшимся примирить враждующие силы, он обнаружил то, что в нашем департаменте давно известно профессионалам: легитимность противоположных точек зрения. Сегодня он был бы восхитительным дипломатом... Тем не менее пусть ножны не скроют от Вас лезвия: он не пойдет ни на какие уступки по Кашмиру. Уже несколько лет я задаю себе вопрос о своем отношении к индуизму. Ганди действительно был индуистом. Но не таким джентльменом, как Неру. Отшельники раньше должны были иметь такие седые, благообразные головы, которые хотелось погладить, положить их себе на плечо... Однажды он сказал мне: «Результат неинтересен, главное — это сражение, в котором...». Ни его соратники, ни он сам не отдавали себе отчета, что это была преобразованная фраза из «Гиты».

— Тем не менее он ее переводил.

— Ему были известны чувства простых людей, потому что он их разделял. Он сказал мне: «Без жертв мир рухнул бы». Он защищал неприкасаемых, но высокая традиция их не признавала.

Машина выехала к просторным дорогам возле квартала посольств. Остророг продолжил:

— Глубина Ганди и Тагора связана, с одной стороны, с чем-то детским, с каким-то смутным самовнуше-

нием. Вы читали, что писал Ганди после смерти своей жены: «Она утасла у меня на коленях. Я безмерно счастлив». Это была ложь! Нужно было прочитать все до конца, чтобы убедиться в этом! Он был в отчаянии! Он казался неуязвимым, потому что скрывал свою слабость, словно животное перед смертью, и потому что слабости никогда не отвлекали его от публичной деятельности. Эйнштейн говорил мне раньше: «Он своим неотразимым примером, своим возвышенным нравственным образом жизни собирал за собой могущественные массы людей». Этот пример не всегда будет неотразимым — Ганди знал об этом, и Неру тоже знает. Надо принять во внимание их упорство, равносильное британской стойкости, несмотря на вечную неразбериху в этих странах. Когда Ганди оперировали во время приступа аппендицита, то операция была настолько срочной, что врач-англичанин не желал дожидаться следующего дня. Он делал ее в полночь. Это происходило в тюрьме в Поона. Ураган оборвал электричество. Операцию продолжали с карманным фонариком медсестры. Батарейка села и лампочка погасла. Продолжали при штормовом фонаре. Неру говорил Вам, что все, о чем было сказано в его речи, висит на волоске, — это правда. Он говорил Вам, что государства уже не существует, — это почти правда. Неру так принял Вас, потому что он знает, что Вы восхищаетесь Индией, а также потому, что он не очень уверен в своей победе. Он хочет направить на развитие этой несчастной и голодной страны силы, порожденные независимостью. В целом, у него получается. Но если Ганди и Неру приняли разделение, то только потому, что это было платой за независимость. Они знали, что это была раковая опухоль. Ганди сообщил Неру: «Даже во время убийств в Шоури я никогда не впадал в настоящее отчаяние. Теперь я знаю, что не смог переубедить Индию. Насилие царит повсюду вокруг нас. И меня ждет шальная пуля...». Сегодня Индия живет вместе со своими пятьюдесятью миллионами мусуль-

ман, в то время как единая Индия жила бы вместе со всеми своими мусульманами; в этом можно сомневаться, но они верят в это. И Неру отважится на самую справедливую войну только с нечистой совестью. Сила ненасилия была основана на том, что противником была колониальная империя. Остается узнать, что произойдет, если она натолкнется на азиатского противника. И такой азиатский противник уже ожидает столкновения.

Я вспомнил фотографии того, что стыдливо называлось «обменом населения», в то время, когда трупы собирали на тележки для багажа. Беременные женщины, которых несли мужчины, маленькие дети на руках у больших, матрасы на головах — и эти ряды тянулись на восемьдесят километров, начиная с коров и телег с огромными колесами и кончая маленькими тележками на горизонте. Бродячий кортеж смерти, гонимый голодом, малярией и усталостью. Лагеря, застигнутые врасплох наводнением, госпитали для больных холерой, усталые мертвецами словно руины городов после бомбардировок; неприкасаемые, сражавшиеся с грифами за то, чтобы подобрать оставшуюся после мертвецов ветошь; огромный хвост огромной колонны, могилы детей и лица людей, которые, как и все голодные, уже ни о чем не мечтают, людей, умирающих или слишком молодыми, или слишком старыми; бесконечный кортеж под баньяновыми деревьями и безоблачным небом.

— Вы знаете, — вновь заговорил Остророг, — это чувство, которое испытываешь в Японии, в восстановленных после землетрясения поселках, в поселках, которые, как кажется, уже ожидают следующего. Так вот: все, что Вы видите здесь, все, о чем говорил Вам Неру в первый день, как и в тот вечер, когда он был в отпуске, — все здесь замерло в ожидании. Ждут первых признаков катаклизма.

— Войны?

— Поставленное под сомнение ненасилие может оказаться безмолвным катаклизмом... Неру более уяз-

вим, чем Ганди, потому что этот пандит* — агностик**...

— Его отношение к индуизму кажется Вам более сложным, чем отношение такого человека, как Ренан, к христианству?

— Если я думаю о нем как об индузе, я поражаюсь его английской душе, начиная с его социализма, который не сводится к набору показных знаний, к красивому костюму. Есть и Неру-англичанин, но есть и другой.

— Не стоит ли та же самая проблема и перед большинством глав государств Французского содружества?

Один из них сказал мне: «Не забывайте, что многие из моих коллег не только протестанты, масоны или католики, но еще и Великие Знахари; и ничего не изменится, если их отстранить от власти...».

— И перед большинством мусульманских правителей. Мир элинизма, вероятно, был знаком с подобными ситуациями.

— Возьмите Клеопатру, — сказал я, — гречанку и Изиду, с ее любовниками-римлянами... Но я считаю, что до нас никогда еще вожди, владеющие половиной мира, не были двуязычными..

— Деколонизация многое изменила в представлениях о Европе и даже об Америке, которой никто не верит: Запад принес цветным расам цивилизацию, он дал им демократию, машины и медикаменты; они оставили средневековье, в котором уже ничего не было, и стали похожими на нас, хотя и менее благополучными. Стали второй территорией Запада. Существует лишь одна цивилизация. И все остальные приближаются к ней, сами того не подозревая. Читайте американские газеты.

* От санскр. *pandita* — ученый, мудрый, учитель; в Индии — старинное почетное звание ученого брахмана, хорошо знающего санскрит и индусскую каноническую литературу.

** Философ, неверящий в возможность познания.

— Об этом так же думают и русские, только в других терминах. Но даже если Неру двуязычный, по своему духу, правитель, может ли и Индия стать двуязычной?

— Я задаю себе этот вопрос с тех пор, как я здесь на службе. Мой советник, который только что принял посольство в Кабуле, тоже его задавал. Правда, и ислам ставил его передо мной с самого детства.

Я вспомнил, что семья Остророга владела дворцом на Босфоре.

— Клодель, — начал он опять, — ненавидевший индийскую мысль, сказал мне, когда я был назначен: «Ничего интересного! Люди всегда и везде одни и те же!».

— Мне он говорил то же самое.

— Но он все же был чувствителен к Древней Японии и даже к Древнему Китаю.

— Он увлекался сочинением хокку на французском. Но он также дарил своим друзьям яйца, написав на их скорлупе: «С почтением, от автора» — и подписавшись: «Кокотка».

— Это маленькие радости дипломатического корпуса, мой дорогой министр! Я все же считаю, что такое его утверждение было связано, по меньшей мере частично, с тем, что я называю «точкой зрения набережной». Наши чиновники прогуливаются от одного конца света до другого. И мы можем почувствовать глубокое различие между акварелями дзэн и Сезанном, но не между нашими коллегами. Дипломатический корпус интернационален; Вы знаете, какой это коктейль. За исключением некоторых условностей, дипломатия повсюду одна и та же. И я должен принять в расчет больше условностей при Сталине и, вероятно, при Гитлере, чем здесь. Так вот, наш опыт, бесспорно, применим к любой форме деятельности. Англичане без труда организовали в Индии армию. Когда европейские торговцы сидели в конторах Китая, они говорили о китайцах как о загадочных и странных людях, хотя евро-

пейские банки Гонконга работают так же нормально, как и банки Касабланки.

Однако на большом проспекте, куда только что свернула машина, на газонах расположилась миграция неприкасаемых: некоторые лежали, некоторые сидели на корточках вокруг робко мерцавших костров.

— Клодель, — сказал я, — несмотря на свое «утверждение молотом», как писал Андре Жид, не верил, что всякий человек «такой же», как язычник. И именно об этом и думали христиане, еще во времена христианства: святой Людовик не считал себя «таким же», как Саладин. Это в эпоху Ренессанса было решено, что великие умы Греции и Рима были собратями великих умов христианства. На Западе не верили, что люди всегда были одинаковы; там верят, что они будут одинаковыми в будущем. Потому что там смешивают свою цивилизацию со своими средствами деятельности, на которые раньше ничего похожего не было. Что общего было у людей, по крайней мере, в исторические времена? Инстинкты, психология... Любовь? Нет. Смертные грехи...

— Может быть, цивилизации похожи друг на друга своими пороками и отличаются своими достоинствами?..

— Они близки друг другу своими знаниями и отличаются своими верованиями. Верованиями не только религиозными... Но есть и нечто другое, названия чему я еще не знаю. Завоеватели были величайшими деятелями Истории, а также могущественными фигурами в мире воображаемого. Этот мир существовал везде, средства его воздействия были приблизительно одинаковыми, и они мало способствовали вере в постоянство человеческой природы. Наряду с «Жизнеописаниями» Плутарха было бы интересно написать историю того, что человечество утратило, если бы то, что оно утратило, оставило следы.

— Вы начали бы с истории богов...

— Я мало знаком с теориями, которые усматривают в нашей цивилизации лишь конец одной из культур.

Эйнштейн и, как я считаю, Оппенгеймер говорили: «Сейчас существует больше исследователей, чем было известно человечеству за всю его историю в целом». Даже если мы переживаем конец римско-христианской, или, как говорит Шпенглер, «фаустовской культуры», то мы все равно являемся участниками самой грандиозной авантюры человечества с начала истории. Вся история в целом длится лишь шесть тысячелетий, — довольно короткое время, если сравнить его с предысторией человека. Все цивилизации были религиозными, если мы называем религией не только связь с богами, но и связь с мертвыми; за исключением нашей, которой нет еще и трех веков, и в довольно смутные времена истории Рима. (Язычество Цезаря должно быть похожим на христианство Наполеона.) Речь идет не об атеистических цивилизациях. Президент Эйзенхауэр был, разумеется, протестантом; Цезарь, возможно, верил ауспициям* и, несомненно, поклонялся предкам. Но наша цивилизация не основана на религии, она не упорядочена трансцендентным миром. Главы двух самых больших держав мира не являются ни избранниками Бога, ни Великими Понтификами, ни Сыновьями Неба.

Купола и минареты Великой Мечети проплывали по ночному небу.

— Ислам — это город вокруг мечети; христианство — это город вокруг собора; Бенарес — это город на берегах очищающей реки. Но Бомбей построен вокруг порта, а не вокруг церкви; церкви Нью-Йорка нужно искать между небоскребами, как ищут крабов среди скал. Здесь же я особенно сильно чувствую, что то, что называли душой, теперь на всей земле приближается к гибели. Даже душа того, кто еще сохранил веру. За исключением тех, кто живет в монастырях или в лесах — в местах, которых не коснулась современная цивилизация. Я был бы обязан сказать Неру, что слово

* Гадания по птицам.

«материализм» с конца XIX века означает лишь то, что душа будет заменена, но не материей, а разумом. На этот раз уже не просвещение противостоит храму, а атомные реакторы.

— Он согласился с этим. Может быть, нехотя. Однако у Индии была бы своя атомная бомба, если бы он пожелал, а он этого не желает.

— Мао будет стремиться ее получить. Каждая из великих азиатских и африканских культур, затронутых духом Запада, рано или поздно придаст ему новую форму; и этот дух, очевидно, не будет таким, каким мы видим его сейчас. Мао так же далек от Сталина, как Сталин — от Маркса.

— Мне что-то подобное приходило в голову, когда я служил в посольстве в Москве. Здесь, идет ли речь о мусульманах или об индусах, у мысли только один высший объект — Бог. Посмотрите на самых злейших врагов мусульман, сикхов. Они очень хорошо понимают ислам. Но Запад им непонятен. Они смотрят на нас так же, как крестьяне из центральных провинций нашей страны смотрят на американцев из гангстерских фильмов: они видят в нас лишь жадность и ажиотаж. Тот же Неру говорил мне, что когда он приехал в Англию, то был страшно удивлен, что Индию упрекают в том, что там приносят животных в жертву богам. Ведь те, от кого эта критика исходила, сами каждый день убивали животных, чтобы съесть их. Мои индийские друзья говорили мне, что мы, сами того не зная, ищем Бога на дорогах, которые нас никуда не ведут. Брахманы из Санскритского университета в Бенаресе думают, как я предполагаю, то же самое...

— Наши исследования законов мира кажутся им напрасными, — ответил я поразмыслив. — Для них настоящий Закон имеет иную природу. Эпопея западных исследований, эпопея борьбы человека против земли, которая движет как Советским Союзом, так и Соединенными Штатами, обходит их стороной. Больше того, она им враждебна. Они говорят, что никакие достиже-

ния разума не дадут ответа на вопросы, которые задает душа.

— Запад пытается не столько ответить на эти вопросы, сколько их упразднить...

— Но он не упразднит ни страдание, ни старость, ни агонию. Вы помните буддийские тексты: «Принц, это то, что называют смертью».

— Мне кажется, что цивилизация определяется одновременно и теми фундаментальными вопросами, которые она ставит, и теми, которых не ставит...

— Индия уже давно обручилась со смертью, это правда. Она всегда была цивилизацией души. Но когда исчезает душа, то что появляется: стремление к действию или стремление поставить жизнь под сомнение, подчинить ее смерти?

Автомобиль замедлил ход под кронами пышных деревьев.

— Может быть, сначала действие, а потом смерть...

Я оставил Остророга перед прямоугольником света, в глубине которого, казалось, его ожидал тибетский бог размером с человека. Антиквар спал где-то поблизости. Я снова отправился к Капитолию. Священных коров на улицах было уже не так много, и шофер выключил фары. Машина двигалась в тишине, и мне казалось, что она погружается в глубь столетий, словно мы ехали не по монгольским улицам Дели, а по улицам Капилавасту еще за две сотни лет до того, как пришел Александр. Ночь Великого Отречения окутывает буддизм так же, как ночь Рождества окутывает христианство: отречение от дворца, отречение от женщин, «расстроенных музыкальных инструментов, высохших тубероз», отречение от любви (поцелуй, оставленный на ступне принцессы, был так легок, что она даже не проснулась), отречение от ребенка. Духи, спустившиеся с небес, чтобы заковать копыта коня, на которого принц взбирается в последний раз, и никто не слышит, как он отправляется в великое безмолвие. Нищий возвращается, изможденный, в какое-то свое логово;

под высокими стенами без окон, перед изображением божества тускло мерцает огарок свечи, окруженный цветами. Мимо спящих коров лошадь идет через город. «Дух города подждал его и волшебным ключом открыл восточную дверь. Принц поднял глаза к звездному небу: то был час, когда звезда Квей вступала в соединение с Луной; чтобы проводить его, все духи спускались вниз и устилали дорогу невидимыми цветами...»

Так же, как он, я молча прошел у подножия стен между тощими дремлющими коровами, перед красными и черными богами, освещенными ночниками; тени подкрадывались и исчезали в ночи. Сторожевые посты Капитолия, вырезанные в скале, были похожи на священные гроты, а солдаты в тюрбанах, которые брали «на караул», когда мы проходили мимо, в этих мутно освещенных нишах, казалось, ждали, что дух города откроет дверь в земляной стене, с которой наблюдали за звездами... Когда я вошел в свои апартаменты, то обнаружил окна открытыми. Вдалеке, за садами, узкая линия света, похожая на линии на взлетной полосе, окаймляла город. Здесь не было ни бликов, ни шума, которые пробуждают европейские города; спящий Дели заполнял комнату безмерным покоем. Казалось, что эта ночь простирается за горные снега вплоть до дворцовых садов Вавилона, похожих на те, что раскинулись передо мной; окутывает обсидиановый храм, где солдаты Кортеса слышали крики своих товарищей, которым под звуки гонга ацтеки вырывали сердца; и стертые в ходе тысячелетий с лица земли китайские столицы: лотос Ханчжоу еще синел в лунном свете, когда последние императоры разукрашивали своих последних охотничьих ястребов; и всадников, улегшихся возле своих лошадей накануне Арбели или накануне Аустерлица; и даже двери в преисподнюю, темно-красный отблеск от которых угасал словно пожар. Такими же были ночи без сна в дни Французской революции или полярные ночи революции в России. Бодрствующее человечество уже пятьдесят веков по-

трясали бури революций и войн, но четырехугольный Пекин дремал у подножий Башни Барабана, возвещавшей наступление ночи, и Башни Колокола, объявлявшей приход нового дня, так же, как дремал передо мной Дели; костры Бенареса так же отражались в реке, как в покрытом льдом Гудзоне отражались светящиеся прямоугольные громады Нью-Йорка, вытянувшегося под шквалами снегопада. Над африканскими лесами гигантские королевские деревья поднимались к звездам. Уже пятьдесят веков одна и та же тишина, в которую проваливаются исчезнувшие звуки и возвращаются люди, примирившиеся во сне с ночной землей, люди, лежащие словно мертвецы.

На линии горизонта начал распространяться длинный серый отблеск: рассвет и отражение лунного света в облаках, поднявшихся к зениту. Словно луна еще собиралась появиться посреди неба. Свой первый рассвет я увидел 4 августа 1914 года: в полях Арденн показались стада дремлющих стоя животных, которые внезапно были рассеяны вихрем уланов. Затем засверкали циферблаты вокзалов, огромные дольки лимонов на сером небе; стали видны поля аэродромов, уложенные ветром раннего утра; во времена моей службы в испанской авиации, после тревожных ночных полетов, на полях, усеянных голубыми сигнальными огнями, так желтели огоньки высохших апельсинов. Мы видели их в бинокли, когда вглядывались в линию горизонта, где на рассвете могли появиться вражеские позиции... Даже здесь день противостоял своим многообразием обволакивающему единству ночи. И тем не менее это был новый день Индии, день, встающий вместе с рассветом так же, как он вставал когда-то и для меня, как он вставал над нашими танками в деревушке Фландрии... Скоро в глубинах храмов зажгутся факелы, жрецы соберут ночные цветы для жертвоприношений, зазвонят первые колокольчики. Я размышлял о нашем разговоре с Неру, о том, что судьба — это движение жизни к смерти; еле осязаемая свежесть

тропического рассвета смешалась на моем лице с вечным индийским воскрешением, соединяющим жизнь и смерть так же, как соединяются день и ночь: «Все, о чем Вы говорите, это и есть человек...». Но смерть для человека — это не рассвет.

Отношения между Индией и Францией менялись. Госпожа Панди, сестра Неру, посол в Лондоне, возвращалась в Индию через Париж. Она прибыла в Елисейский дворец в сопровождении посла Индии во Франции, сердара Панникара, индийца с бородкой и лорнетом, антиевропейски настроенного, с огромным количеством коварных и химерических идей, заставляющих вспомнить о Ленине и Тартарене. После слов приветствия генерал де Голь спросил свою собеседницу, как она представляет себе внешнюю политику Китая. Панникар был представителем Индии в Пекине; госпожа Панди, сама вежливость (и, возможно, не рассерженная тем, что ей пришлось наблюдать в эти несколько минут), повернулась к нему. Он начал читать доклад о Китае, который был совершенно бессодержательным. Шло время. Китай вывел его к параллели между синфейнерами* и феллахами.** Доклад продолжался. Пока адъютант не объявил о визите посла США, ни госпожа Панди, ни генерал де Голь не смогли вставить ни слова.

Я спустился вместе с ней, Панникар задержался в комнате адъютантов.

«Вот так...» — сказала она мне с очаровательной улыбкой.

Панникар вскоре снова отправился в Индию. Говорят, Неру без каких-либо сожалений избавился от него. Но, став более внимательным к должности посла в Париже, он назначил на нее человека, дружественно настроенного к Франции. Новый посол был вынужден

* Ирландская партия.

** Оседлое население в арабских странах, занимающееся сельским хозяйством.

через несколько лет оставить дипломатическую карьеру и мужественно принять ректорский пост в одном из самых опасных университетов Индии. Там он был тяжело ранен, но, даже не вылечившись до конца, опять приступил к своим обязанностям. Жена посла своими светло-серыми глазами была похожа на героинь индийских сказок, и эта ее черта кашмирской газели вызывала в воображении воспоминание о вдохновительнице Тадж-Махала. Неру приехал в Париж в 1960 году; в Малом Дворце мы вместе с ним торжественно открыли выставку «Сокровища Индии». Толпа аплодировала ему, чем он был весьма удивлен. Он был также официальным гостем Франции в 1962 году. Мы завтракали с ним в аэропорту Орли, когда он отправлялся в Лондон на заседание Британского содружества. «Чем больше я старею, тем больше я сужу о людях по их характеру, а не по их идеям...» Но после начала конфликта с Китаем он уже не приезжал.

И вот, семь лет спустя, я снова в Дели. Нападение китайцев уже произошло, и пакистанская угроза стала более острой. В то же утро я отправился, согласно обычаю, возложить цветы к надгробной плите Ганди. Для народов Индии он уже стал аватаром Вишну. Другой венок я хотел принести к плите Неру. Но она еще не была установлена: ее место было лишь отмечено квадратом в траве. Плиты имеют символическое значение, потому что за ними не скрываются тела. Человек, который в то время, когда я был здесь в последний раз, удерживал Индию в своих руках, был теперь лишь квадратом на траве, где ветер, уже теплый, трепал короткие злаки, проросшие среди постриженных чьей-то заботливой рукой цветов.

Чтобы позавтракать с Радакришнаном, который теперь являлся президентом республики, я прошел через большой зал с изображениями сцен из персидской сказки на потолке. Он был пуст, как и все приемные Капитолия в этот час. Как и вся Индия.

Дом Неру, ставший Домом Памяти, зависел от Главного Музея, который был мне еще не знаком и в котором я сразу же нашел хранительницу, пожилую англичанку, рассказывавшую о своих коллекциях со знанием дела, а о Неру — с любовью. Мы отправились в Дом Памяти ближе к часу его закрытия, когда там уже не было посетителей.

Посещение музея начиналось с осмотра коллекций народного искусства. Я вспомнил об аквариуме в Сингапуре, где скрещиваются друг с другом любые виды кишасщих там рыб, серых, как металл, или разноцветных. Большинство народных изображений были похожи на рыб-каштанов и на морских ежей: божественные музыканты в раковинах и все виды сирен с гребнями морских коньков. В тяжелой жаре индийского полдня я постоянно думаю о фламандском тумане, в котором звучат сирены проходящих кораблей. Само слово «сирена», а не звук горна в тумане пробудило во мне одно воспоминание. Я — в конторе Джеймса Энсора в Остенде. Над пианино пронзительный гений «Вступления Христа в Брюссель» заполняет стену гримасничающими вокруг Иисуса хоровыми капеллами. На пианино, довольно неуклюжем, — сирена. Взгляд Энсора следует за моим.

— Я видел таких в Китае, — говорю я.

— Живых? — спрашивает он с характерным для его гравюр юмором.

— Их делают из тел маленьких обезьян и рыб.

— И все же сирены существуют...

И, с глубокомысленной печалью, подняв вверх указательный палец:

— ...но они не такие...

Через тридцать лет я снова увидел эту картину, уже потускневшую, на выставке, посвященной истокам живописи XX столетия; краски необратимо отставали и приходившие утром уборщицы подметали пылинки шедевра.

Чем стали потом боги с перьями, которым Ганди даровал жизнь с помощью дипломатической почты?

Мохнатые сирены Дели также утратили свои яркие цвета, как и вся простодушная и неуместная суэта театра Рамаяны, который имеет такое же отношение к искусству Индии, как суеверия — к вере.

А вот и вера: на нижнем этаже — ряды каменных скульптур, среди которых несколько подлинных шедевров. После Элефанты я впервые вижу индийский музей. Статуя, которая была живой, не умерла, она перевоплотилась. Я думаю о Каире, но «Шива» Элефанты отличается от любого колосса Фив только тем, что к нему обращаются с молитвой. Я спрашиваю, приходят ли сюда люди, как в Камбодже или Мексике, чтобы положить цветы своим богам. Нет. Но в храмах, начиная с экстравагантных скульптур Мадуры, окружающих ее богиню с глазами рыбы, и до «Матерей», до «Поцелуя» или «Танца Смерти» Эллары, до «Тримурти» Элефанты, я не видел ни одного образа, который не направлял бы человека к божественному неведомому.

Я еще раз нахожу в этом чисто западное чувство, которое возникает перед изображениями богов, ставших произведениями искусства. Переселение, обратное перевоплощению людей: словно в муравейнике, кишачем маленькими народными божками, эти статуи не меняют тела, но меняют душу.

Пришел час отъезда. Еще не вечер, но уже конец дня. Машина движется в ароматах современной Индии: индийские благовония, верблюды и пыль ислама, бензин Запада. Я думаю о похоронах Неру. Я вспоминаю тот выпуск «Новостей». Деревья, переполненные людьми, бескрайняя, как сама Индия, толпа, усеянная раскрытыми от солнца зонтиками, — толпа, которой он сказал в Красной крепости: «Мы уже давно назначили встречу с судьбой...». Кортёж слонов и уланов под мостом с гигантской рекламой «Кока-колы», затем небольшой вздымающийся вверх костер, черный и прозрачный дым которого смешивался с густыми разноцветными клубами пыли, висевшими в полуденном пекле Дели, и рыдающие крестьянки на первом плане.

«Индия — это не царица из Рамаяны, это нищенка, как и все эти матери, которых Вы видели на обочине дорог...»

Вот его дом. Я предполагал, что это не та вилла, куда он меня пригласил, но он был похож на нее, тем более что я узнал ее мебель, большие бивни слона, которые он получил в подарок; статуэтку Девы Марии, присланную из Франции... Я не видел ни рисунка Шандигарха, ни бронзовой Руки Мира.

Сегодня выставляется множество его фотографий. Это семейный альбом, все так же пустой, за исключением нескольких карточек: ребенок (он похож на своего внука); фотография после первой атаки (отсутствующий взгляд человека, сраженного молнией); загородная фотография смерти: странное белое лицо, которое напомнило мне о смерти Рамакришны («Мы все думали, что он в транс... И его ученики кричали: „Победа!“»). Этот дом и не жилой, и не заброшенный: это декорация для фильма, фильма самой Истории. Однако в сад, который я, без всякого сомнения, никогда не видел, часто приходят люди. Он не внушает никаких привычных чувств: это действительно сад смерти; но деревья в нем были самыми обычными, как и цветы, как и птицы, которые пели так же, как и всегда, когда наступает вечер. Я вспомнил о Шахьямаре и о его неожиданных огромных просветах в бескрайних чащах. А также об одном из самых древних символов Индии — всегда изменчивом и всегда похожем на себя самого потоке Ганга, символе, к которому он обращался в некоторых своих речах и в завещании:

«Если я хочу, чтобы горсть моего праха была брошена в Ганг в Аллахабаде, то не следует видеть в этом ничего религиозного. Еще с детства я полюбил Ганг и Джумну, которые пересекают Аллахабад, и эта любовь только выросла с годами.

Ганг — это любимая река индийского народа, который связал с ней свою историю, свои надежды и стра-

хи, свои песни триумфа, свои победы и поражения. Это символ тысячелетней культуры и цивилизации Индии, изменчивый и постоянно движущийся поток, но в то же время вечно один и тот же. Он заставляет меня думать о снежных вершинах и глубоких ущельях Гималаев, которые я так любил, и о богатых и просторных равнинах, раскинувшихся у подножий гор, где прошла моя жизнь и моя работа.

Я не хочу полностью порвать с прошлым. Я горжусь этим благородным наследием, которое всегда было и будет нашим, и я понимаю, что я, так же, как и вы, лишь звено этой непрерывной цепи, уходящей к началу Истории, к нашему незапамятному прошлому. Эту цепь я не желаю разорвать, так как нежно ее люблю и нахожу в ней источник своего вдохновения. Как свидетельство своей последней воли и в знак уважения к нашему наследию я прошу бросить горсть моего праха в Ганг, в Аллахабаде, чтобы его унесло к просторному океану, сражающемуся с берегами Индии.

Что касается остального праха, то пусть самолет развеет его над полями, где трудятся наши крестьяне, чтобы он незаметно смешался с нашей землей...».

Вот и вечерний дождь, такой же, как тот, что заливал равнину, когда мы выходили из гротов Элоры. Птицы умолкли и раскрылись ночные цветы, похожие на цветы в саду возле Капитолия. Но если там одиноко раскачивался фонарь, дремал сторож и умолкали все крики, то здесь возле небольшой памятной таблички вытянулся внимательный охранник. Под этим баньяном работал Неру, в этом памятном саду, без покойника и без гробницы; из всей его частной биографии осталась лишь любовь к близким, которая смешивается с любовью к Индии. Наступил вечер. Я размышляю о том, что он мне говорил о животных и растениях: в маленьком тюремном дворике он нашел муравьев, в своей камере в «атмосфере взаимного уважения» он уживался с сотнями ос и шершней; были там и ящерицы, которые вечером выползали из-под балок и гоня-

лись друг за другом, виляя хвостами, а иногда, уже в стгутившихся сумерках, приходили юркие лисы; изредка над тюрьмой проносился хриплый, воспаленный крик птицы, да еще несколько змей разрушали монотонность похожих друг на друга дней. К заключенным поднимались мангусты, а большая обезьяна принесла своего малыша в тюремный двор и вручила пятнадцати вооруженным охранникам, которые приняли его с восхищением. Вспомнил я и о черных обезьянах, прогнавших серых обезьян из храма в Бенаресе, а также о слоне, которого он хотел привезти с собой в Японию. Вспомнил о его голосе, твердом, когда он говорил: «Сделать государство справедливым справедливыми средствами», и немного ироничном, когда он произнес: «Я думаю, что больше уже не увижу Кайласы...». Летние сумерки из красных стали зелеными, как над Акрополем, и начали смешиваться с зеленью листвы. В тюрьме в Гималаях весна распустила почки на голых ветвях... «Именно там я обнаружил, что цвет молодых листьев мангового дерева — это цвет кашмирских гор осенью...» Осы спали. В глубине сада пролетела летучая мышь. Здесь уже не будет ни мангустов, ни белок, которые скатывают своих малышей в пушистый шар, ни обезьян, ни юрких лисиц. Ночь похоронной музыкой опускается на уже почти исчезнувшую в темноте надпись: «Всем свои разумом и всем своим сердцем этот человек любил Индию и ее народ. И народ Индии отвечал ему взаимностью и безмерной любовью».

Клаксоны Дели молчали. Когда я выходил из дома, то видел лишь голые ноги нищих детей, безмолвно стоявших кругом. Крик воронов доносится из глубин Индии. От одного океана до другого вокруг священных деревьев, уже не защищающих от солнца, собрались в кружки неподвижные люди — так же, как сидели они вокруг пылающих костров Бенареса, так же, как когда-то над Страсбургом молодые кусты окружали погибший зимой орешник...

IV

1

Сингапур

Неужели я верил, что больше не будет кораблекрушений?.. На рассвете резкий горизонтальный удар заставил всю «Камбоджу» затрепетать как бильярдный шар в лузе. Все стало проваливаться куда-то вниз. Корабль не мог остановиться. Я подбежал к окну каюты: танкер с раздавленным носом медленно проходил у борта нашего корабля. Ничего опасного, даже если мы шли ко дну: мы находились в проливе и я видел берег. Корпус был продырявлен на тридцать метров, но пассажиры на палубе, уже проснувшиеся, видели, как подходит танкер, и перебежали на корму.

Благодаря людям в аквалангах и насосам мы добрались до первой попавшейся набережной. Мне принесли телеграмму от нашего посла во Вьетнаме, предлагавшего не сходить на берег в Сайгоне. (Это уже не имело значения, так как корабль не сможет продолжить свой путь.) И телеграмму из Парижа, в которой меня отстраняли от поездки в Японию и обязывали вернуться к миссии, которую я должен был выполнять при Мао Цзэдуне.

Пока же я должен был находиться в нашем генеральном консульстве.

Несмотря на свои два миллиона жителей, Сингапур уже не является тем китайским городом, которым был

совсем недавно. Но агония того, что было Китаем, здесь еще заметна. Скоро трущобы, завешенные бельем, сохнувшим на натянутых шестах, а не на балконах, окончательно заменят улицы, построенные еще во времена губернатора Рэймса, во времена, когда флотилии джонок заполняли порты, сегодня заросшие илом; когда Макао звенел золотыми монетами своих игорных домов, а далекий Китай стучал костяшками домино с изображениями цветов и зверей... Было 14 июля, традиционный день приемов. Французы, наши друзья: малайцы и китайцы, бельгийцы, швейцарцы — все, кто говорит на французском. Индийцы из Пондишери. Пришел жестикулирующий малыш, которого я узнал еще до того, как о нем сообщили, хотя не видел его уже тридцать лет: это был один из прототипов персонажа, которого в «Уделе человеческого»* я назвал бароном Клаппиком; остальные уже умерли. У него уже нет повязки на глазу, вместо нее черный монокль. Несмотря на плешь, его профиль симпатичного хорька совсем не изменился. Когда-то он вечно спешил, размахивая руками как крыльями ветряной мельницы: «Вы здесь! Ни слова больше! Черт бы Вас побрал!».

После обмена приветствиями он мне сказал:

— Я пришел, потому что газеты сообщили о том, что Вы здесь. Я счастлив, что беседую с Вами, как и раньше, но прежде всего потому, что я собираюсь снимать неб-б-большой фильм об одном типе, которым Вы интересовались во времена «Королевской дороги», — о Мейрене, короле седангов.** Я нашел некоторые документы, они Вас заинтересуют!

— Этого было достаточно, чтобы меня заинтересовать.

— Получили ли Вы марки королевства седангов? — спросил он. — Да, это я позаботился о Вас.

* Роман А. Мальро, написанный в 1933 году.

** Племя, живущее в Индокитае

Я часто задавал себе вопрос, кто же мог, еще несколько лет тому назад, послать мне эти очень редкие марки. Он жил в отеле «Раффле», в котором я тоже жил когда-то. Он опять работал в Голливуде и принимал большую часть бойцов кинематографа, которые приезжали снимать фильмы о пейзажах Малайзии. У консула и его жены он пользовался симпатией, которой когда-то пользовался у всех. Когда с церемониями было покончено, он, как и тридцать лет назад, уселся со стаканом виски с содовой в левой руке; и хотя выпил он уже немало, ум его оставался таким же ясным, как и тридцать лет назад.

— Теперь уже не осталось авантюристов!

Слева — Индия, на севере — Сиам,* справа — Китай и Индонезия...

— Все настоящие *фарфелю* теперь в Гонконге, но эта раса исчезает...

— Их европейская раса... — сказал консул. — Хотя рядом с Вашей комнатой в «Раффле» живут несколько журналистов, которые получили серьезные ранения на гражданской войне на Борнео. Но *фарфелю*, как Вы их называете, должно быть в избытке и у коммунистов, которые хотят завоевать Бали, и у антикоммунистов, которые хотят их перестрелять. Сингапур сегодня или завтра объявит о своей независимости. Президент Сукарно еще не покончил со своими врагами, как и Таиланд с Китаем. Во Вьетнаме очень неспокойно, идет гражданская война на Суматре... Что еще надо?

— Черт бы Вас побрал! На Бали чаровницы с голой грудью — члены коммунистической партии! Bravo! Ни слова больше! Если Сукарно чем-то недоволен, то это, между прочим, никому не интересно! Независимостью не разбрасываются. Таиланд и Вьетнам — пренебрежительно! Тем не менее это уже не авантюра, это то, что эти ничтожества называют Исто-

* Сейчас — Таиланд.

рией. Танки, самолеты, что дальше? Это авантюрист, а не главнокомандующий! Тогда уж почему не посол?

— Действительно, — отвечает наш посол в Малайзии, пришедший ради 14 июля. — Но Брук стал раджей от имени Великобритании. Он не смог бы уничтожить пиратов на кораблях своего султана, для этого был необходим английский флот. В Сараваке от его дворца остался лишь розовый павильон, окруженный бунгало, в которых из животных живут лишь маленькие орангутанги и говорящие попугаи. Может быть, авантюристы преуспели...

— В чем? В ходьбе по канату?

— В том, что не были убиты! Может быть, — сказал я, — преуспел тот, кто отказался от власти и уехал. Авантюрист, которого Вы имеете в виду, — авантюрист Конрада, Киплинга, он рожден в грезах Азии.

— Вы знали Джозефа Конрада? — спросил меня посол.

Кому из моих друзей не пошли бы его пышные усы, к тому же еще и светлые? Но он не был моим другом, просто типичный полковник индийской армии последних лет.

— Нет. Валери спрашивал его, как он объясняет почти постоянное превосходство английского флота над французским, так как островное положение казалось ему недостаточным. Но ничего особенного не услышал. Однако у меня был один любопытный разговор по этому поводу с Жидом. В беседке Понтини он меня спросил: «Что Вы думаете о Прусте? Во времена „Содома и Гоморры“, или немного раньше...». «Если книга закончится так, как мы и предполагали, — сказал я, — то я считаю, что Пруст станет одним из самых великих романистов столетия; в противном случае, он будет лишь интересен — и не больше. То, что Клодель пренебрежительно называет „сборищем бездельников и лакеев“, может преобразиться благодаря его „най-

денному времени". Можете Вы представить лорда Джима в салоне Германтов*?».

Конрад был тогда единственным иностранным писателем, смерть которого «Нувель Ревю Франсуа» почтил специальным номером.

— Тем не менее, — ответил Жид, — Ваши аргументы не играют абсолютно никакой роли... Конрад — великий романист, несмотря на его подражание Флоберу; но мое восхищение им идет о того, что Вы перевели как «наваждение». Его источник я плохо различаю в его жизни, это наваждение необратимого.

— Это очень и очень любопытно... Что касается источника, то я его, возможно, вижу...

Мы прогуливались по беседке, откуда виднелось бургундское аббатство, и я обратил к нему вопросительный взгляд. Он взял меня под руку и спросил своим дьявольским тоном:

— Вы знакомы с госпожой Конрад?

Ужин. Генеральный консул и его жена, посол, инспектор консульств (прежняя должность Жироду), Клаппик и я. Инспектор меня заинтриговал. Чертами лица он был похож на американских сиу, вернувшихся на земли Америки. Но даже у них не было такой темной кожи, таких гладких и разделенных пробором на две половины волос, какие были у этого Крыла Ворона, этого «черного краснокожего», чьего имени я не слышал. Его неподвижность контрастировала с неистовством Клаппика — и вместе с тем таила в себе некоторый юмор. Морской ветер неслышно распахнул окно и в комнате пахнуло экваториальным теплом.

— Теперь нет лорда Джима, — ответил посол, — потому что весь мир уже имеет ружья. Если бы «Человек, который хотел стать королем» был торговцем оружием, роман Киплинга был бы другим. Мы имеем — все еще! — лишь пройдоху, а не авантюриста.

* Аристократическая семья, герои семитомной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

— Лорд Джим и Альмайер — это одно и то же! — закричал Клаппик. — Оба считаются отклонениями, но это ничего не значит! Потому что они здесь, а не в Европе, вот в чем дело!

— О, дьявол! — сказал я. — Вы повторяете восклицание госпожи Помпадур?

— Она так говорила? Меня это не удивляет. Очаровательная женщина, она все предвидела.

— Мы не испытываем нехватки в авантюристах в Европе, — сказал консул. — Но великий авантюрный роман, с его экзотическими декорациями, ранее не существовал. Марко Поло был удивлен Китаем так же, как европеец может быть удивлен Соединенными Штатами, не более того. Азия становится фантастической лишь в то время, когда мы становимся ее хозяевами.

— И когда наши орудия завоевателей отделяют нас от нее, — сказал я, — огнестрельное оружие и машины. Двести лет назад опиумные войны были невысказанными. Это правда, что испанцы называли «маврами» мексиканцев, когда открыли Мексику.

— Экзотика играет, конечно же, свою роль, — ответил посол. — Но только в одном направлении: король-проходимец, авантюрист — это европеец в Азии, но не азиат в Европе.

— Черт бы Вас побрал! «Тысяча и одна ночь» переполнена авантюристами!

— Есть одна черта, общая для всех проходимцев, — сказал я, — это их блуждания. Короли-авантюристы были оседлыми; остальные — очень редко. Альмайер — исключение.

— В XVIII веке, — ответил посол, — авантюрист в Европе — это узурпатор сверхъестественного, это — как Вы считаете? — Калиостро.

— Авантюра играет свою роль, но я считаю, что и Азия тоже. Открытие «Тысячи и одной ночи» пришло на смену модели волшебных сказок; это были уже западные сказки «Тысячи и одной ночи». Каж-

дая эпоха имеет свои привилегии в мире фантазии...

— И все же, господин министр, авантюристы существовали и гораздо раньше. Маленькая проститутка из Понт-Шанга, повстречавшаяся посланникам Папы, которые отправились в Каракум, чтобы изучить обстоятельства смерти Чингисхана...

— И не была ли мать Саладина принцессой-христианкой, захваченной в плен в Австрии? — сказал я. — Маленькая потаскушка спаслась, потому что несторианские принцессы не желали иметь горничных-буддисток. А француз-ювелир, которого посланники встретили вместе с нею? Он выжил, потому что чеканил монеты, которые источали мед...

— Не говоря уже о самом Марко Поло, который тоже был министром. Но я утверждаю, что авантюрист в английской литературе XIX столетия был связан с грезами Азии. Чем обернулись эти грезы для аборигенов Океании, которые присутствовали при сражениях американцев и австралийцев против японцев?

Посол был верховным комиссаром Франции на Новых Гебридах. Английский верховный комиссариат был представлен там самим британским министром иностранных дел... Он был безупречен и мог бы сниматься в кино.

— Да здравствует пробуждение Океании! — сказал Клаппик. — Дело за тем, чтобы создать воображаемые радиостанции и — трах-тарарах! — нашлепать этих поющих самолетов! Жизнь должна быть прекрасной и там! Я хочу этого!

— Ситуация в Новой Гвинее действительно любопытна, — сказал мне консул. — Американские корабли свободы принесли туда изобилие. Контролируемое транспортными самолетами. Они приземлялись на военных аэродромах, связываясь с ними по телеграфу. Аборигены вырубали все леса, стучат в бидоны и вызывают американские самолеты с подарками, которые

могут теперь приземляться где угодно. А их предки, они белее, чем сами белые. Или Иисус. Он сделал все, что мог, но евреи распяли его на небе над Сиднеем, — в это верят уже три поколения. Первый корабль — ковчег, его командиром был Ной, белый капитан, но не австралиец. Между прочим, трансформации христианства очень интересны. Один пророк из папуасов был послан в Брисбен. Ему рассказывали об эволюции. Он с изумлением обнаруживает, что все белые не верят в одного и того же бога. Сегодня в деревнях рассказывают, что существует две расы белых: одна верит в тотем Иисуса, другая — в тотем Манки-Манки, то есть обезьяны...

— Если бы один из апостолов, — ответил посол, — вернулся в европейскую деревню, был бы он в меньшей степени удивлен? Все это действительно очень интересно. Но, господин министр, не будет ли таким же безумием и моя вера в администратора, который обо всем этом пишет диссертацию? Я не верю, что культ карго* родился от кораблей свободы, господин Клаппик. Возможно, от корабля первого белого, причалившего к берегам Новой Гвинеи. Это был один русский, которого аборигены обожествили. Мой администратор думает, что миф уже существовал. Это Предки посылают им священные корабли. Они никого не удивляют в стране, куда нож и колесо прибыли вместе с этим кораблем. Легенды переплетаются друг с другом. Бог отбирает карго у Адама и Евы, а затем отдает его Ною и двум его сыновьям, Симу и Иафету, отказывая в карго третьему сыну, Хаму, которого изгоняет в Новую Гвинею. И на самом деле, подумайте, ведь священные корабли с карго *не приходят*, за исключением военной поры. А потом опять не приходят. Кто им мешает? Сначала это духи, враждебные Предкам. Но миссионеры учили, что Предки тоже останавливали корабли, потому что те были посланы Сатаной. Абори-

* Культ богов-пришельцев, буквально — «грузовой корабль».

гены оставили Сатану миссионерам и молились Богу и Иисусу. Распятие над Сиднеем создано, чтобы нас удержать. Вождь папуасов отправляется в Австралию, как и ваш пророк, мой друг; ему показывают этнографический музей. Он в ужасе: боги и Предки находятся там в заключении. Лживые миссионеры не сожгли их. Вот почему корабли с карго не приходят! В Сиднее Иисус учил Сатану делать корабли с карго, но он был распят, а Сатана в тюрьме!.. Миссии не были полностью заброшены, вновь начали молиться Предкам. И так далее. Администратор настаивает: миф не был туманным воспоминанием о первом корабле, он существовал уже долгое время, а прибывавшие корабли только подпитывали его... Можно, наверное, писать романы о карго-культурах и поющих самолетах; но если новый Брук появится в Новой Гвинее, ему понадобятся передатчики, а не бидоны, настоящие самолеты и настоящие грузовые суда. Следовательно, он должен будет иметь настоящую власть. Миф Рембо исчезает.

— Но, мой дорогой Пьер, — сказал инспектор, — Новые Гебриды на самом деле были прибежищем для некоторых мечтателей?

Инспектор, необычайно напоминавший в эту минуту сахема, медленно поднесшего ко рту невидимую трубку, ничего не добавил к сказанному.

— Жак Вио, антиквар-фарфелю, — сказал Клаппик, — вернулся с грузом фетишей, тапасов* и других приспособлений, потому что его приняли за колдуна! Кое-какие приготовления — и один трюк заставил всех поверить, что он на полдюйма оторвался от земли! Пройдите по канату!

И он с поднятыми руками совершил полный оборот.

— Легко ли будет определить, — ответил инспектор, — что же мы называем авантюрой? Жироду учредил мою должность, чтобы иметь возможность путе-

* Магическая сила, а также предмет, который ее передает.

шествовать. И мне приходится разбираться с его наследством, с какой стати? Ради путешествий? Нет. Ради чего-то вроде поэзии? Экстравагантности? Ради тех чувств, которые вызывают у меня места под названием «проспект Мелочей» или «улиц Пустяков»?

— Гаити?

— Да. Я ездил на остров Черепахи, где, согласно традиции, спрятаны сокровища великих пиратов. Неважно, живописное это место или нет, хотя я не испытываю ненависти к детям, которые на вопрос «Что ты будешь делать, когда станешь большим?» отвечают: «Буду бездельником». Но я все же видел пещеры пиратов.

Он рассказывал истории о пиратах не только медленно, но и с достойной Клаппика точностью. Тюремщики выпустили на свободу целую толпу опасных воровок и проституток. «Вы отправляетесь на острова, где выйдете замуж за дворян, у которых там нет белых женщин». Они верили в это с трудом. Когда они прибыли, глава флибустьеров выступил перед ними с традиционной речью: «Мы не требуем от вас никакого отчета о прошлом. Что касается будущего, то вот мой карабин, и если женщина, которую я выберу, бросит меня, то мой карабин ее везде достанет». Эти галантные джентльмены, одетые, как Робинзон, в парусину и в овечьи шкуры, выбрали себе жен и увезли их с собой. Первая пещера. Вторая пещера, погреб и пауки. Они уже с ностальгией вспоминали о своей тюрьме. Третья пещера: костюмы придворных, золотая посуда. Каменные столы, заваленные золотыми подсвечниками; над великолепными гобеленами, продырявленными огромными лианами, висели, словно груши, лапами вверх летучие мыши. Пираты никогда не могли продать ничего ценного из своей добычи: кому? Сокровища складывались в пещеры, и шитые золотом гобелены, по которым ползали пауки, дожидались девушек из Сен-Лазара.

— Ах, как бы я хотел получить мемуары одной из этих дам! — сказал Клаппик. — Как бы я хотел! Это лучше, чем «Манон Леско»!

— У Вас нет никаких шансов, дорогой друг! Существует немало текстов о пиратстве, начиная с храбреца Эксмелена, но от этих женщин не осталось ничего. Они от рождения не умели писать и...

— Но они могли бы рассказать!

— ...и никто из них не вернулся во Францию. Я, разумеется, уже мечтаю о фильме, где нам показали бы Робинзона и кокотку посреди сокровищ! А также еще банальнее: у них не было необходимости жить только с мужчинами... Хорошей находкой была бы связь девушки из Сен-Лазара с рабом с острова Черепахи?

Он тщательно разложил по местам свои столовые приборы и повторил свой жест сахема; но теперь трубка мира была иронично заменена указательным пальцем, движение которого словно подчеркивало сказанное:

— Одна из моих инспекций на Суматре мне очень понравилась. Тамошний чиновник ухаживал за местной молоденькой девушкой. Он разговаривал на ее языке, но ее это ничуть не трогало! Тогда, друг мой, однажды он вспомнил о «Сказках» Перро, и ему в голову пришла гениальная идея. Фольклор Суматры был хорошо знаком этой девушке, как и многие легенды Индии. Однако магия была связана с экзотикой, то есть для нее — с Европой. Она начала рассказывать «Кота в сапогах» детишкам. Вы помните, что мельник оставил трем своим детям мельницу, осла и кота. Так вот, мельниц на Суматре нет: мельница становится «хижиной мертвых», с треугольными крыльями орла, расположенными возле гребня крыши; слово «крылья» может обозначать лишь крылья птицы.

Между прочим, мельница — это очень странный зверь. Я увижу их еще раз в пустыне Лут, в Персии: виселицы в лучах заходящего солнца.

— Осел? Друг мой, это волосатая лошадь с гигантскими ушами, которая им почти неизвестна.

— Поклонитесь ослам! — сказал Клаппик. — Когда-то я мечтал о диковинных животных, вроде мор-

ских свинок, Вы видели их? Я им сказал: «Что вы там делаете?». А они мне отвечают: «Мы все были кроликами, но уши у нас не выросли».

Инспектор Крыло Ворона вновь взял в руки свои столовые приборы, положил их на место и поднял вместо трубки свой указательный палец.

— Зачем коту сапоги? Потому что они волшебные и позволяют коту стоять на своих задних лапах и разглаживать усы?

История продолжается. Короля заменили Нефтяным Магнатом; позолоченную одежду — голландской военной формой. Крестьяне, как и у Перро, говорят, что они принадлежат великому вождю Каабаху (маркизу Карабасу), потому что боятся кота, который умеет разговаривать. Людоед — это европеец, он живет в лифте. Почему он хорошо принимает кота? Потому что тот лучше, чем люди, приветствует его, поднося свою лапу к уху. Пospоривший людоед, как и в сказке, превращается в мышшь; кот съедает ее, выходит из лифта и оказывается в большом зале, где уже накрыт стол, лежат ломтики мяса кабана и стоят кувшины с рисовой водкой. Все эти яства окружены «коробками с портретами» и «говорящими камнями», то есть фотоаппаратами и фонографами. Нефтяной Магнат отдает свою дочь великому вождю, который владеет (как говорит кот, подняв хвост трубой) таким же великолепным лифтом и таким же небоскребом, где столы всегда ломятся от яств. Конец такой же, как у Перро: кот становится собственником большого числа «нефтяных растений» вместе с маленькими «летающими зверьками» (то есть буровых вышек и вертолетов), он покупает позолоченный дом, украшенный портретами кошек из своей семьи, и «ловит теперь мышшей только ради развлечения».

— Удивительно, мой дорогой консул, что нашему другу так и не удалось выяснить, что в представлении этой девушки имело отношение к сказке, а что она приписывала Западу. Она считала, что мы поливаем

буровые вышки, чтобы их выращивать. Но Кот в сапогах, разве он достоин большего удивления, чем самолет? Она спрашивала: «Кот говорил так же, как попугай? Ты должен меня увезти в свою страну. Я боюсь... Но я бы привыкла... Здесь все лишь едят без перерыва, спят и умирают...».

— Снимаю шляпу! Он поцеловал ее? В моем фильме Мейрена рассказывает что-то подобное.

— А ты видел кошек на Суматре? — спросил посол инспектора.

— Я нигде никогда не видел кошек, даже в Венеции, под мостом Галаты, где находится рыбный рынок. «Тем не менее, как сказал бы господин Клаппик, позволь мне мудро заметить, что даже если бы кошек на Суматре вообще не было, моя история только выиграла бы: ты стал законченным буржуа».

— Почему бы ей не выиграть? — сказал консул. — На Борнео есть замечательные зеленые кошки, кошки с шерстью, как у зайца, такие же, как в Абиссинии... Знаете, что меня там больше всего поразило? Игрушки, которые приносят богам. Вообразите: куклы перед алтарем Девы Марии, игрушечные животные перед Младенцем Иисусом, а что перед Распятием?

— Положим игрушечных кроликов к ногам Младенца, — сказал Клаппик. — И чтобы они подпрыгивали!

— Но Ваши кролики, господин Клаппик, так симпатичны, потому что обречены; игрушки джунглей, всего лишь эпизод... Тогда как Джакарта, Бангкок сегодня — могущественные столицы.

Бангкок к 1925 году был еще одним из самых призрачных городов в мире, собратом Исфахана и Пекина. Никаких небоскребов, никаких мостов. На левом берегу — храмы, покрытые осколками тарелок Индийской компании, сверкающими по утрам и звенящими как колокольчики от ветра. Двери дворцов, украшенные фарфоровыми цветами, сплетенными так же, как цветы в свадебных букетах, и ширмы, усеянные в Азии завитушками. С тех пор я больше не был в Банг-

коке. Мое последнее воспоминание о Таиланде — это визит ее правителей во Францию. Король в автомобиле, который привез нас в Версаль, сказал мне: «Я заметил Бодуэну,* что только мы, короли, еще способны быть демократами...». После обеда — посещение замка. Королева Сирикит была приглашена, потому что этого пожелал генерал де Голль. Ее красота была неразрывна связана с тем милосердием, которое буддизм дает женщинам: кажется, что они всегда составляют букеты цветов. В комнате Марии-Антуанетты, на мольберте — ужасный портрет, начатый тогда, когда ее слава была в зените, а законченный в Темпле и обнаруженный позже, порванный во многих местах революционными пиками. Королева Сикирит спросила меня, откуда эти дыры; я объяснил ей. Забыв, что я немного знаком с ее религией, в тот момент, когда уже нужно было уходить, она протянула к ним свои пальцы — жест благословения у буддистов...

Инспектор положил руки ладонями на скатерть и со своим невозмутимым, как у краснокожего, лицом начал вновь:

— Борнео все еще удивителен: Сериа — это город нефти, окруженный деревнями, которые живут в каменном веке. Триста буровых вышек в море, мой друг, платформа для вертолетов и, разумеется, несколько бунгало — все нефтяные города похожи друг на друга.

Я вспомнил об Абадане в глубине Персидского залива: над бунгало, словно колонны египетских храмов, возвышались корпуса заводов; я вспомнил также о процессии, движущейся за солью от буровых вышек через пустыню Месопотамии.

— В деревнях, мой дорогой Пьер, собаки, которые только воют и не умеют лаять; всю ночь слышны крики боевых петухов, а дети ходят с колокольчиками, чтобы матери могли их найти в тени церемониальных хижин. Полно ярких животных: белки, обезьяны и

* Король Бельгии.

даже ящерицы. Каждый дикарь — с остановившимися часами на руках. Японцы привозили их целыми грузовиками, но ни одни часы не могут выдержать такой климат. Ты знаешь, мой друг, это очень тревожно: место, где у всех есть часы и никто не знает, который час... Прокаженные на четырех лапах выползают из своих лачуг, освещенные красными факелами нефти, которые горят в двадцати километрах. В длинных хижинах старых охотников можно найти черепа японцев, погибших в джунглях во время войны, с очками над зияющими глазницами.

Клаппик вскочил, воодушевленный, и снова сел, столкнувшись с взглядом невозмутимого и улыбающегося Крыла Ворона и уронив при этом одну из масок со стены, к которой он прислонялся спиной.

На всех стенах кремового цвета висели предметы народного творчества: марионетки, маски хорошо подобранные — из Сиама, с Явы, с Суматры, с островов, из Новой Гвинеи. В музее, после полудня, среди всех этих масок слуг или хозяев грезы длиной в три тысячи километров, я чувствовал себя так же, как когда-то в порту, среди джонок, наших теплоходов и малайских прос*: город, где все встречаются друг с другом, где Сиам соседствует в тумане с Сулавеси, где китайское население имеет дело и с Австралией и с Индией. Я только что открыл для себя Индию и собираюсь открыть Китай: целые континенты, могущественные и неразделимые в своем единстве. Но о каком единстве может идти речь здесь, начиная с Рангуна и кончая Новой Гвинеей? Тем не менее все это разнообразие образует единый мир, мир, который является не только английским, с ним смешиваются и завоеванные Британией океаны. Сингапур — это морская звезда.

Но даже он — это уже не Империя, джеты** и маленькие самолеты уже заменяют собой теплоходы и

* Старинная лодка.

** Современная лодка-трейлер.

просы. Он соединяет интернационал небольших небоскребов с интернационалом добродушных дикарей и охотников за черепами, еще недавно завоеванных Рамаяной; и до меня доносится снова и снова: «Слушай шум Исы, которая исчезает, шум Византии, которая бесшумно распадается; слушай, как погаснет то, что было Сингапуром в 1965 году христианской эры...».

Мне уже давно знакомо это торжественное и злоеющее чувство. Речь идет не о времени, которое нас уносит в своем потоке и которое наши мысль и искусство вновь отвоевывают; речь идет о геральдическом орле, тень которого проходит надо мной, словно теплый ветер с океана; речь идет о Времени-убийце, отправляющем в небытие всю Историю. Но может ли преображенное воспоминание вернуть утраченную молодость? Сможет ли мысль вернуть время? До меня доносится усталый шум: «слушай меня, слушай мои молитвы об агонии того, что ты называешь Европой; скоро будут помнить лишь о моем шепоте...».

Посол мимоходом спрашивает инспектора:

— Что ты думаешь о коммунизме на Борнео? Американским журналистам, которые живут в «Раффле», было не до шуток.

— Яд для стрел сарбакана* не рекомендуется к употреблению. Это касается и коммунизма. Ты приезжаешь в Бруней. В магазинах ничего нет, но на тротуарах то здесь то там пишущие машинки, бюстгальтеры, шляпы, ракеты для фейерверка и так далее. Проходят аборигены, в ужасе отшатывающиеся от машины, с зубными щетками на ушах вместо клыков тигра, что означает, что тот, кто их носит, уже принес один череп в свою деревню. Они хотят взять предметы, которые видят на тротуаре, и считают, что белые мешают им завладеть этими предметами. Коммунизм позволит им, наконец, унести шляпы и ракеты.

— А что происходит вокруг буровых вышек?

* Стрелометательная трубка индейцев Южной Америки.

— В Серие рабочие не считают себя пролетариями, они скорее относятся к крупной буржуазии. Коммунизма не существует ни там, ни в джунглях, где аборигены весьма гостеприимны. Нужно лишь быть осторожными с фотографиями: если ты фотографируешь кого-то, кто на следующий день умирает, это значит, что ты забрал его душу в «коробку с глазом». Тебя убьют. С досады. Девушка с Суматры понравилась мне не только своим «Котом в сапогах», она добилась моего доверия и тем, что ее отец не потребовал у него объяснений. На Борнео быть влюбленным — это преступление. Там каждый спит с каждой, но брачные союзы зависят от вождя, а не от самих влюбленных.

— Ваши люди, окруженные юркими ящерицами, — сказал я, — представляют себе брак так же, как Сен-Симон: «Господин герцог, я желаю сочетаться браком с Вашей старшей дочерью». — «Увы! Господин граф, она помолвлена». — «А нет ли у Вас еще одной?».

— Почти так оно и есть. Странный мир. Я разговаривал с одним вождем, который говорил, размышляя: «Если бы мы были христианами, это было бы скучно, но мы не должны были бы тогда дожидаться предзнаменований от орлов-рыболовов, чтобы начать сев. И мы могли бы перерезать горло своим гостям. Я знаю, что такое город: я был в тюрьме. Там я научился шить на машинке. Тюрьма не так глупа, как город. Там, как в джунглях: там не нужно платить за еду. У нас во время войны еда падала с неба на больших белых зонтиках».

Разноцветные парашюты ночью над Коррезом, огни позиции, похожие, наверное, на огни в деревне Дайяк; легкие грибы, спускавшиеся двадцать лет назад повсюду, от Бретани до Новой Гвинеи и Японии...

— Я сделал набедренные повязки для всего племени, — говорил вождь. — Нас хотели научить стрелять, но мы предпочитаем духовые ружья. Японцы давали пятьсот рупий за голову австралийца, но потенциальной «добычи» было немного. Потом было много голов

японцев, но австралийцы ничего не платили. В конце концов охота была запрещена. Белые не знают, чего они хотят.

Посол сказал:

— Знаете, кто был послом в Швеции, когда Рембо бросил свой цирк и покинул родину? Гобино.

Клаппик протягивает ему — и напрасно — свой черный монокль, который послу подходит, бесспорно, больше, чем ему самому:

— Гобино! Это очень важно! Это большая удача! Цирк — это замечательно! Рембо должен был бы остаться там. Жалкий тип! Буржуа! Черт побери! О времена, когда флот опиумного короля стоял перед Шанхаем!.. А что сегодня? Паяц? Милая страна! Должно быть, самое невероятное приключение — это приключение с дочкой Тимура: в моем фильме его будет рассказывать Мейрена. Он на корабле, который следует вдоль берега Аннама (1988 год, одним словом!), ночь в окружении идиотов в белых одеждах и идиотов того времени. «Называйте меня Альфонсиной, господин барон... Расскажите нам: эти истории интересны и дамам...»

Клаппик кривлялся. Как только он распаляется, его прерывистый голос превращается в серьезный и немного безумный голос великого комедийного актера, Фредерика Леметра в окружении Рюи Блаза и Сезара де Базана. Он снова берет в руки и закрепляет монокль.

— Внучка Тимура была такой же прелестной путешницей, как Лавалье при Генрихе IV, господа! Но она, по крайней мере, была замужем — и притом за мусульманином! Она была взята в плен войсками эмира вместе с караваном из Персии, продана в рабство и стала рабыней внука императора. Тот был, как обычно, тщедушным малым и занимался поэзией, когда императорские лошади таранили железные двери!

Он положил свой монокль в карман, благородно повернул голову и медленно разглядел свою олимпий-

скую бородку. Его внешнее подобие хорьку исчезло (как и все великие мимы, он умел выдавать себя за другого человека):

— ...Но наследный принц, командовавший в сражении при Ангоре кавалерийской гвардией, был убит людьми из Баязета. Наш принц стал — увы! — наследником Империи. Старый Тимур с большой печалью смотрел на эти не способные удержать копые плечи, на которые он собирался взвалить самую великую империю мира! И он успел только приказать арестовать девушку, рассудив, вероятно, господу, что империя выживала иногда при глупом мужчине, но при женщине, да еще и низкого происхождения, никогда! Вы знаете, что агония Тимура началась, когда он достиг Китая. Он умер через несколько дней; военачальники подали в отставку. И ужас, который он внушал, был таким сильным, что никто не осмелился объявить о его смерти: уланы вернулись с хвостом лисы на копьях, и гвардия сопровождала закрытые носилки, на которых разлагался внушавший ужас труп, как если бы, несмотря на смрад, эмир еще мог проснуться и приказать отрубить еще несколько непокорных голов!

Может быть, этот номер и был отработан, но сейчас Клаппик импровизировал, будучи сам захвачен подражанием красноречию восточного рассказчика, вдохновленного алкоголем, хотя барон, очевидно, и не был пьян. Бесспорно, он и сам обладал тем бредовым тоном, каким разговаривал его персонаж, начавший бесконечный монолог.

— Уверенная, что она обречена на смерть, женщина бросилась в ноги императрице и заявила, что беременна. Нашей прекрасной половине, к тому же более опытной, чем мы, везет, господу! Какое еще средство может найти человек, чтобы выиграть семь месяцев! Тимур умер, ребенка не было и в помине, а принц стал императором, совершенно неспособным удержать в своих изнеженных руках бразды правления Империи! Во все провинции императорские курьеры разослали

приказ отправлять сокровища в Самарканд. Он собрал их и пригласил музыкантов с виолами и инструментами с длинным грифом. Каждую ночь прежняя рабыня восседала на одном из тронов перед бассейном, выложенным мозаикой из бирюзы, в котором плавали священные карпы Тимура. Музыканты играли под теми же звездами Азии, что и у нас над головой, господи! Слуги подносили невозмутимой принцессе сокровища Империи. И она пригоршнями бросала их рыбам! Армия срочно вернулась. Военачальники захватили власть. Принц был свергнут, его величественная распутница была прикована на два дня к позорному столбу, и люди приходили плюнуть в ее дьявольские глаза, которые пренебрегли сокровищами!..

Клаппик опустил голову, разгладил на груди свою воображаемую бороду и жестом изобразил разочарование:

— Она умерла лишь двадцать один год спустя, в пригородном доме, где служила прачкой...

Затем он вытащил платок, вытер им лоб, по которому струился пот, и продолжил рассказ уже фальцетом:

— Вот это было серьезно! Куда там вашему ужасному Рембо! Сорок тысяч золотых в поясе! Хватило бы, чтобы жениться! Авантюрист — и холостяк!

— Ваш русский коллега, — сказал я послу, — рассказывал мне, что когда Тимура извлекли из его гробницы в Самарканде, не знаю, в честь чего, то обнаружилось, что он был рыжим. Надпись на надгробии гласила: «Да будет проклят тот, кто вскроет эту гробницу». Через два дня Гитлер вторгся в Советский Союз...

— А Ява? — спросил посол сахема.

— Я хотел бы найти документы о завоевании ее Французской республикой в 1795 году. Ничего нет, друг мой! Этот остров остается очень необычным, если учесть, что так близко расположен. А вечером над Джакартой — бумажные змеи...

Я вспомнил о сражениях бумажных змеев над Бангкоком, таранящих друг друга, словно корабли; вспомнил о дуэлях бойцовых рыбок в аквариумах, когда вода краснела от крови, а мертвая маленькая рыбка, всплывшая на поверхность, оказывалась разноцветной...

Инспектор рассказывал об огромном обелиске и о своем музее Гревэн, о парусниках Сурабаи, о голых деревьях, на которых вместо листьев висят белки-летяги, время от времени раскрывающие свои прозрачные крылья; о салонах для элиты в автобусах, которые отделены от водителя шкурой тигра; о президенте, которого сопровождает колдун, о политической пропаганде в исполнении театра теней...

— Вот вам образец жанра, — сказал Клаппик, — герой, отразивший атаку целой армии обезьян, начинает гражданскую войну: «Да здравствует Коммунистическая партия Индонезии!».

— О, это уже намного лучше, господин Клаппик, ведь кукольник произносит фразу столетия: «Теперь деревья превращаются в привидения, а мир предков будет одушевлять этот несчастный мир живых». И Индонезия начинает разговаривать голосом предков. Именно это и происходит с Сукарно: поскольку для всех он является Отцом Независимости, он также и Посланник Предков. Вы его знаете, господин министр?

— Немного. Он единственный жизнерадостный глава государства из всех, кого я встречал: в Орли он бегом преодолел расстояние от самолета до зала аэропорта, чтобы поговорить со мной о моих книгах, пожал руки официальным лицам французской стороны, подергал за бороды некоторых индонезийских чиновников и исчез, сопровождаемый взрывами смеха...

— В Малайзии, — сказал посол, — утверждают, что коммунистическое восстание продлится до конца года.

— А потом, мой дорогой Пьер, сразу же гражданская война...

— Коммунистов пять миллионов. И их партия старше Коммунистической партии Вьетнама.

— А их противников — двадцать пять миллионов, дорогой мой. Коммунисты возьмут власть, но ее не удержат. Их ненавидят, а смесь национализма, религий и обычаев очень сильна.

— Китайцы?

— Это не китайцы Мао или Чан Кайши. Они осторожно вывешивают портреты Сунь Ятсена и говорят о китайской Яве.

— Мне тоже так кажется, — сказал посол, поглаживая свои английские усы. — Что касается твоих религий и обычаев, то православие не было таким уж мощным в России, когда Ленин взял власть.

— Но если бы не война, — сказал я, — был бы коммунизм сильнее, чем православие?

— Вы еще увидите, — сказал посол, — как убьют несколько тысяч китайцев здесь, несколько тысяч там, но главная игра будет идти между индонезийцами. И в области религии в том числе. Последняя Конституция Сукарно провозгласила единого бога. Она должна сыграть свою роль. Если, дорогой мой, коммунистическое восстание не добьется немедленной победы, то оно будет объявлено богохульством. Тогда, в соответствии с самыми лучшими традициями, однажды ночью все начнут резать друг друга. Цена *крисса** уже удвоилась. Резня начнется у тебя, Пьер, на берегу Макассара. Снова.

А я, когда я был в Макассаре? Тридцать лет тому назад? Джонки на широкой реке, каменные ворота, такие же черные, как наши ворота в Оверни, воздвигнутые, как я считаю, в честь похорон Альбукерка. Португальцы, голландцы, французы-фарфелю 1795 года, королевство Шривиджайя на Суматре, с которым желает соперничества Сукарно, такое же огромное и такое же непрочное. Сукарно говорил мне в Елисей-

* Малайский кинжал.

ском дворце: «Нас сто миллионов жителей», а я хотел ему ответить: «Надолго ли?». Я не хотел сказать: «Вас много, но надолго ли?» — ни Сталину, ни Неру. Я верю в реальность Инсулинды,* но, с моей точки зрения, это не политическая реальность: эта страна породнилась с мистикой так же, как другие примирились с догмами. Выражение «время великих открытий» все время пробуждало мои мечты: а что если бы наши убогие порты, основанные в эпоху Меровингов, были «открыты» в свое время кораблями Шривиджайи, хозяевами морей Азии?

На десерт была гула малакка, рис в карамели и кокосовом молоке. Я уже пробовал ее в отеле «Раффле», в 1925 году... Самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел, вышла из обеденного зала; между Индийским океаном и Китайским морем ночь опускалась на Британскую империю...

Когда ужин закончился, я вместе с Клаппиком уехал в отель. Он хотел прочитать мне сценарий фильма и заодно показать улицу Смерти, которой я никогда не видел.

Наша машина свернула с бульвара; и, словно темнота вернула его к разговору за ужином, он меня спросил:

— Кто из авантюристов интересен Вам больше всех?

— Смотря в какой день... В это вечер, допустим, Рено де Шатильон.

— Король Сирии?

— Повелитель Трансиордании. Я подумал о нем, потому что только что проследовал вдоль берегов Аравии на этой несчастной «Камбодже». Рено — это антипод рыцаря: Жофре Рудель отправляется в Триполи, чтобы встретить королеву Мелиссинту, в которую влюб-

* Имеются в виду события на группе островов в Яванском море во время войны 1942 года в Голландии.

лен, хотя и никогда не видел ее, а Рено — потому что знает, что она вдова, и хочет на ней жениться. Более того, он туда добирается, тогда как несчастный принц и поэт умирает еще до того, как сумел достичь Триполи. Рено добивается, что его назначают главой гвардейцев...

— Местных головорезов?

— Да. Он женится на королеве. Она умирает — и вот он король. Он заключает с Саладином договор о том, что караваны из Мекки могут проходить через его королевство. Но он приказывает перебросить флот христиан от Триполи к своим землям возле Красного моря и, как я считаю, захватывает Медину. Город был священным, но не богатым. Затем он нападает на самый богатый караван мусульман, рискнувший пройти мимо...

Клаппик поднял вверх незабываемый палец и процитировал:

«Видели ли Вы, — спросила она, — ребенка красивее меня?».

А людоед говорит ей: «Я съел его».

Мне было так неудобно...

— Виктор Гюго прав: было неудобно.

— Саладин завоевал Трансиорданию, привез Рено в Каир привязанным к верблюду (пленник был повернут лицом к хвосту верблюда — знак высшего презрения), поднял ему голову, схватив за седые волосы, обвинил в измене и перерезал горло. Вы удовлетворены?

— Эта макрель за ужином была просто превосходной, друг мой!

Машина повернула к углу рынка, освещенного неонам и оглушенного китайскими грампластинками, пересекла темный бульвар и остановилась возле начала какой-то улицы. Дальше проезд на автомобилях был запрещен, и ларьки стояли прямо на шоссе. Тени сходились к кругу света, отрезанному от улиц, где туск-

лые лампочки мерцали в глубинах вечного Китая. Последний торговец с бамбуковой циновкой на плече уходил прочь, унося вместе с собой затихающий шелест трещотки. На соседнем рынке орали сразу несколько пластинок, но здешняя музыка исполнялась настоящими голосами и настоящими инструментами: это была мелодия смерти. Букеты белых цветов, которые напоминали бы в Индии цветы на приемах, туберозы и плюмерии, если бы не были такими огромными; семьи, начинавшие свой поминальный ужин перед кривыми гробами, похожими на лодки, а рядом скрипач, смычок которого, казалось, движется по кругу, чтобы начертить в темноте какие-то загадочные кольца. Улица Смерти начинала свое сомнамбулическое существование.

— Кроме прочих своих профессий, — сказал Клаппик, — я еще и корреспондент Французского агентства печати. Торговец с ярмарки рассказал прекрасную историю одному из тех зиготов, которые у меня на побегушках. Дело было так: в один снежный день он отправился к Нине де Калья, «Женщине с веером» Мане.

— Того, чьи ковры оказались изглоданными, потому что его кенгуру съел всю зелень изображенного там Парижа?

— Снимаю шляпу, Вы знаете ваших авторов! Без пальто, руки в карманах, помятые цилиндры, поднятые воротники (Вам знаком этот тип: нищие дворяне Домье под газовыми фонарями), два возмущенных субъекта: «Лестница была девяносто футов, господа!» — «Восемьдесят четыре, мсье!» — «Мой предок был там, мсье!» — «При взятии Византии крестonosцами? О! Мой тоже, мсье!» — «Кто же Вы?» — «Огюст де Шатильон». — «Вилье де Лиль-Адам». И, обнявшись под снежными хлопьями, в стельку пьяные, они, пошатываясь, отправились к Нине.

— Огюст де Шатильон, — сказал я, — был автором «Левретки»...

— Да. И любовником Аделии Гюго, которую называли в то время «Привязанной уткой». Гимн седанга Мейрены был составлен на слова Мак-Наба, шансонье из «Черной Кошки», на музыку Шарля де Сиври, шурина Верлена! Если Вам он не нравится, не мешайте слушать другим!

Он напевал гимн, заглушаемый шумом улицы. Нина де Калья, Вилье де Лиль-Адам, Верлен, Мане, кенгуру, экстравагантность и гениальность Батиньоль*... Мы ехали вдоль китайских отелей, похожих на курильни опиума и на двухпалубные корабли Жюля Верна; с поставленных друг на друга кушеток, как в концентрационных лагерях, свисало сразу несколько пар рук. Возле круглых столиков китайских кафе сидели в ожидании голодные; рядом с уличными квадратными столами старики расставляли свои зловещие кушетки; население ночлежки, привыкшее к ее свету, было связано между собой тысячами умирающих и похоронной музыкой, пришедшей из погребенных в земле столиц, из Синьян-фу, из Лояна, где император открывал сев...

Пробежала собака, и Клаппик позвал ее:

— Клебс! Дай мне лапу!

Собака скрылась, и Клаппик начал вновь:

— Однажды американцы послали ко мне одного странного субъекта, немца, давнего помощника великой Лени Рифеншталь. Черт побери! Он снимал фильм о Гитлере! Никто этот фильм так никогда и не увидел. Но тот усатый субъект извлек все, что мог, из своей памяти, из воспоминаний своей покровительницы, из воспоминаний других, в том числе и о Нюрнберге. Он рассказывал истории журналиста, а также — ни слова! — истории из Шекспира. Шекспира, Вы понимаете? Вильяма, Вильгельма, Гильома! Гильома Аполлинера, который умер, когда на улице под его окном крича-

* Батиньоль — район Парижа, где возникла «батиньольская» группа, объединившая художников, писателей, критиков и любителей искусства импрессионизма.

ли: «Долой Вильгельма!». Мир тесен. Этот мой тип вначале рассказал об одном трюке в кинематографе: после отъезда Гитлера группа киношников из «Новостей» прибывает в канцелярию. А там — ковры свернуты в цилиндры и шляпа, позабытая на стуле, шляпа с красивым маленьким тирольским пером, которое дрожит во время русской бомбардировки. Операторы не смеют навести на нее камеру. Жаль! Затем, одно воспоминание, которое касается Шпеера. Гитлер и Шперер были вдвоем на неизвестно какой ферме во Франции. Без пяти полночь. Гитлер приказал погасить свет на ферме и в деревне и свернулся в своем деревянном кресле, желая услышать горн перемирия. Этот усатый субъект очень хорошо рассказывал о тишине, о запахе полей, о шуме зверей и о Гитлере, который замер в ожидании. Затем совершенно безумная надежда последних дней, будто взволнованный, в своем старом салоне Бисмарка в Берлине он кричал Герингу: «Лучи смерти, мы наконец открыли лучи смерти!», в то время как Геринг знал, что никто ничего не открыл.

Я вспомнил о визите Виндзоров к Герингу перед войной. Герцог привез в Каринхолл электрический поезд для детей. После обеда он поднялся к Герингу, чтобы посмотреть на игрушку. Четверть часа отсутствия, полчаса, три четверти часа. Жена маршала, обеспокоенная, поднимается вверх вместе с герцогиней, и они находят там бывшего короля Англии и Геринга ползающими на четвереньках — оба они заморожены игрушкой, на которую дети, уже уставшие, смотрят равнодушно.

Так китайцы, окружающие нас, смотрят равнодушно на смерть.

Я вспомнил также об англичанке, возлюбленной Гитлера, которой Гастон Палевский говорил: «Как ты могла спать с этой гориллой?» — «О! Из всех моих любовников этот был самый странный! Я никогда еще так не развлекалась, как играя с ним в прятки в Берхтесгадене!».

Клаппик продолжал:

— «Гитлер, — кричал мой субъект, возмущенный, — Гитлер хотел превратить Германию в выжженную землю, и почти все ему подчинялись! Он хотел уничтожить Париж, но ваш Париж не уничтожен! Wunderbar,* но я не нахожу его изображений!» Какое несчастье! Он не мог найти его изображений! «Ужас, один только ужас», как говорил Шекспир (Вильям). Гитлер-рогоносец — и ни слова больше! Я так хочу! Иногда он, тот субъект, все же находил эти свои изображения. Ева Браун, хилая, тщедушная машинистка — это я Вам говорю! — появляется в бункере, и самые стойкие из стойких начинают вокруг нее вертеться, а она посылает их к черту! Мой усатый субъект говорил: «Они не осмеливались ничего сказать, потому что казалось, что она несет с собой смерть». Как Вам это нравится? И она ее, между прочим, на самом деле приносила! Гитлер еще намного раньше говорил: «Однажды у меня останутся лишь два друга: госпожа Браун и собака». Чем хуже все для него оборачивалось, тем больше он любил собаку. Немецкая овчарка, светлая, как я думаю. Никаких кошек. У него были причины любить зверей. В последние дни немецкие самолеты сбрасывали продукты, предназначенные для бункера, — и для этого были причины! Тип, который должен был их подбирать, был охранником в зоопарке. Мне это нравится.

Не было ничего низменного в этом образе Гитлера, которого кормил охранник зверей, то есть хищников... Я вспомнил о последней зиме войны: бригада «Эльзас-Лотарингия» была почти одна в Страсбурге против танков Рундштета. Генерал Делаттр сказал мне: «Если американцы не вернуться, необходимо, чтобы Вы были там и чтобы не попали в плен». — «Ясно». Американцы вернулись. Но не сразу. В конце концов немецкое наступление было отбито. Однажды ночью мы отстоя-

* Чудесно (нем.).

ли мессу на снегу, сверкавшем под полной луной. Один из нас сказал: «Вот последняя луна III рейха». Сегодня ночная жара Сингапура обволакивает грустный хриловатый голос Клаппика:

— Этот мой субъект был увлечен предпоследней сценой своего фильма: Гитлер, во время приступа ревматических болей прислонившийся к стене бункера, ласково подзывает собаку и протягивает мяч к ее голове. Это могла бы быть и последняя сцена. Почему я таскал за собой здесь этого типа? Вопросы, размышления! Первый вывод: потому что он меня, наверное, просил об этом. Нет? Усатый, но мрачный, он надеялся, что эта улица предоставит ему мрачные сюжеты, а почему бы и нет?

Клаппик обвел улицу Смерти неопределенным и немного тревожным жестом. Тысячелетний дракон, улегшийся умирать посреди своего невежественного народа, потерявший всю чешую в битвах за славу своих империй, засыпает под панцирем из конопли, мешков и ветоши. Скоро здесь будет электричество, как и в любом европейском городе.

«Раффле» сильно изменился; но, как и раньше, рикши играют в китайские карты на тротуаре. И тем не менее свои носилки они заменили на велосипеды. Когда я приезжал сюда в первый раз, мне не было еще и двадцати пяти. Передо мной была Азия — и моя судьба. Чего я ждал от нее? Я этого уже и не помню. Моя судьба теперь уже позади. Я снова замечаю, до какой степени я отвергаю свое прошлое, до какой степени от меня ускользает вся эта жизнь, которая на одном и том же тротуаре Сингапура отделяет этих китайских велосипедистов от рикш 1923 года. (Неужели 1923-го?..)

Маленький дворик, окруженный комнатами с наполовину спущенными жалюзи вместо дверей, все еще существует; такими же, как в отеле Грама, где я лежал на плитах перед немцами. В центре маленького сада —

столики бара. Клаппик устроил меня под прямой пальмой, заказал виски с содовой, исчез и вернулся с рукописью под мышкой. За соседним столом — американский журналист, раненый на Борнео (рука его перевязана шарфом), тоже сидел со стаканом.

— Мери, — сказал Клаппик, только что взявший свой стакан, — живет здесь.

— Почему он не пришел на прием? Генеральный консул — симпатичный человек, да и его жена тоже.

— Ужасные приемы. Теперь ему больше семидесяти пяти. Консул не желает его видеть: он думает, что тот не проживет и месяца. Трубка врача? Может быть...

В Индокитае он играл роль министра национального образования.

— Что он делает в Сингапуре?

— Он ждет смерти. Ну его к черту...

— Он знает диагноз?

— Говорят, что счет идет на дни. Продавец бабочек. Поговорите с ним о бабочках. Он пишет об Индокитае Вашего времени и очень хочет с Вами встретиться. Он жил с одной вьетнамкой, бактериологом.

— Коммунисткой?

— Вы о ней? Не сомневайтесь в этом. Но он — нет. Он это бросил. Она недавно умерла. После этого он жил лишь с мальчишкой-камбоджийцем, которого они усыновили и которого он обожает. Я полагаю, что он не думает о смерти только из-за него. Он сказал, если Вы желаете его увидеть, то он спустится.

— Нет.

— Прекрасно! Иди сюда, Черныш! Здесь каждый кот — в сапогах!

Спокойный черный кот спрыгнул с плетеного кресла и улегся на коленях у Клаппика.

— Когда-то здесь танцевали... Комаров было так много, что когда я надевал свои туфли, то они оставались раздавленными на моих ступнях, фиолетовых от укусов.

— Комары, мертвые! Ничего, кроме них.

— Так вот, мы, Черныш и я, украдкой написали один маленький шедевр, и я хочу узнать Ваше мнение. Он называется «Царство Злых духов». Он немного зачужден, как и все в литературе. Тем не менее Вы когда-то интересовались королем седангов, не так ли?

Конечно, я не забыл Давида де Мейрену, легенда о котором, весьма распространенная в Индокитае 1920-х, легла частично в основу моей «Королевской дороги». Она была там всего лишь декорацией. Старики Индокитай добавили в эту легенду свои фантазии, но она от этого стала еще более точной. По меньшей мере мне были известны его фотографии: настоящий Юпитер, слишком красивые зубы, одет в венгерскую военную форму.

— К счастью, мы почти ничего не знаем о его победе. Однако, восхищаюсь ли я королем? Нет! Я восхищаюсь эпохой; тем, что за обедом мы называли «дремлющей Азией».

Я знаю: зелень террасы «Континенталья», вечерние цератонии, каска сержанта Бобилота, костяшки маджонга,* кошачьи мелодии Шолона, коляски с колокольчиками на улице Катина, маленький бильярдный стол с китайскими шарами, отбой в казармах сенегальских стрелков...

— Я доволен своей первой сценой. Мейрена и его друг Меркьюроль (перно,** ящерицы на потолке, ночные мотыльки вокруг керосиновой лампы) слышат звонок в дверь, видят какого-то человека в форме и решают, что он пришел их арестовать. Ни слова! Но он пришел пригласить Мейрену от имени губернатора, поручившего ему миссию в стране седангов, связанную с торговлей. Сначала у Мейрены еще не было идеи создать Конфедерацию седангов. Он верил лишь в золото.

* Игра в кости.

** Спиртной напиток.

— Это хорошее начало.

— Другая сцена, она восхищает меня своим замыслом! Мейрена обедает у резидента последнего французского округа, перед тем как вступить в страну седангов. Его дама «пишет». Вы знаете этот тип: рыжие волосы, подкрашенные глаза, загримированная, как клоун. Мейрена, склонный к фантазиям, говорит, что он знал Виктора Гюго и цитирует две строфы из «Олимпио»:

Клад памяти, что приумножен тьмой!
То давних дум ночные кругозоры!
То отсветы вещей померкших! Взоры
Минувшего в их прелести былой!
Как бы извне, с порога, те святыни
Задумчиво я созерцаю ныне.
Беда ль придет к нам после ясных дней, —
Отныне нам забыть о счастье надо;
Надежды ли исчерпана отрада, —
Уроним чашу в глубину морей.
Забвение — волна, что все схоронит,
И кубок в ней, что брошен нами, тонет.

Аннамский канал. Ящерицы вокруг лампы, крики лягушек — одним словом, наша Азия. Затем камера надвигается на поэтессу: безумная Шайо крупным планом, она в ответ цитирует «Воспоминание» — ответ Гюго, а не Данте, как утверждал Мюссе, мерзкий лгун:

Пускай сейчас гроза и небо в тучах скрыто —
Былого у меня не вырвать никому!
Как тонущий пловец, обнявший челн разбитый,
Так я приник к нему.

И знать я не хочу, цветет ли май в долине,
И что еще с собой грядущее несет,
И завтра солнечный увидит ли восход
Схороненное ныне?

— Спор с туземцем в глубине ночи...

— Нужна актриса, которая очень хорошо декламирует. Я слышал, как Морено, у которой был вид сводни, погрязшей в нужде, читает «Балкон», заложив руки за спину. Необыкновенно! Изумительно! Оператор должен здесь как-то ухитриться и выйти из затруднения! Величественно! Это должны быть лица паяцев, но текст не обязан быть карикатурным, наоборот! У него та же роль, что и у музыки (Вы понимаете, о чем речь)! И паяцы не должны быть такими же трудными для понимания, как ночь. Я хотел бы передать наш старый Индокитай: каким он был, какой он есть, каким он будет... Азия! Огромные деревья, лианы, лягушки...

— Крик гигантской жабы может передать то, что Вы ищете: они молчат, когда человек подходит близко, и, кажется, всегда кричат вдалеке...

Он повторил вполголоса: «И что еще с собой грядущее несет...» — и положил руки на рукопись. Теплая ночь, замороженные мотыльки не переставали кружиться. Клиенты «Раффле» возвращались из кинотеатра.

— Следует как-то выйти из затруднения с лесом. Это проблема! Гнетущая атмосфера, захолустье, непроходимый Аннам. И все это кишит, размножается! Деревни — словно древесные клопы! Пиявки, прозрачные лягушки! Скелет буйвола, абсолютно изглоданный, но усеянный муравьями. Понимаете?

— Без труда: для меня большой лес — это насекомые и паутина.

— Деревья, которые, когда опускается вечер, начинают разговаривать... Кули исчезают; караван все больше и больше редет... Вместе с ним в страну седангов прибывает и мертвец со стрелой в глазу. Дикари со своими длинными копьями. В их ожерельях между зубами тигра — золотые самородки. Мейрена в бледно-голубом долмане, весьма скромном! Прием у старейшин (а, может быть, и нет, еще не знаю). Черные свиньи. Домашние птицы. Места, заполненные скелетами (животные для жертвоприношений). Оборонительные заграждения из растений на некоторых тро-

пах. Женщина, которая плачет, потому что только что умер ее ребенок. На хижинах вождей черепа животных. Грифы. Меркюроль приказывает держать винтовки наготове. Раздача хинина; после этого какие-то люди приходят просить Мейрену вылечить им руку, глаз, ногу... Я хотел бы снять и сцену колдовства. Она была бы совершенно невероятной: слепые колдуны, которые заставляют мертвых разговаривать. У меня есть переводы.

Он, наконец, посмотрел в свою рукопись:

— «О, юноши, отправляйтесь к лиловому дереву и выкопайте у его подножия бальзам, который сделает вас непобедимыми!..» «Поэтому я брошу тебя, когда ты уже ранен (когда бедро твое пробито копьем и твоя кровь заливает деревню!); я выставлю твою челюсть наружу, и к ней приползут большие и маленькие муравьи». — «Ты — жестокий вождь, похитивший мою жену, ты вырвал сердце из ее груди». — «Дети мои, повесьте его голову над дверью». — «Тысячи птиц, муаровые горлицы, слуги мои, прилетайте ко мне!» Людоед! Тем не менее на языке фильма, на французском или английском, он — ничтожество! Ничтожество, говорю я Вам! И если есть переводчик — кто-то из монахов или что-то вроде того, эффект исчезает! Поразмыслим, Черныш, подумаем, друг мой! Кое-что я вижу: например, пласты тумана, через которые я шел там, внизу; полет бабочек, огромных, словно облака. Живописно, да: выдолбленные из дерева кружки, наполненные кровью; кровь, струящаяся по дереву, об которое только разбилась такая кружка. Вы этим пользовались, Вы меня немного опередили!

— Это был прием, использованный Робертом Гудином против марабутов*; Мейрена мог его знать. Но как Вы собираетесь трактовать более серьезные вещи? Если Вы не сделаете из Мейрены простого французского агента (кем он и был!), то придется как-то объяснить эту хитроумную победу. Старейшины всего не объясняют, как и дуэль с Огненным Саде-

том. Сражаться на дуэли очень важно, но это уже было в «Трех мушкетерах»...

— Идите Вы к черту! В армии Мейрена был офицером, и он, вероятно, носил палаш кирасира, гораздо более длинный, чем азиатская сабля... К несчастью, я — из сумасшедших! Ах, серьезность! Серьезность! Удручающая! Унылая!

Он обхватил голову обеими руками, как будто зарыдал:

— Все же это не может быть похожим на «Тинтина»! Ты напрасно стараешься что-то сказать, Черныш! Ты говоришь несерьезные вещи! Ты не размышляешь! Размышляй, размышляй!

— А если Вы добавите к дуэли птиц и несколько обезьян? Что касается борьбы между племенами, то Вы могли бы использовать мой метод из «Королевской дороги»: ночь, вражеские огни, уходящие вдаль, словно пламя, пожирающее край листа бумаги...

— Невероятная идея! Тем не менее Вы правы: следует разобраться, почему правительство решило отказаться от Мейрены. Чем сильнее правительство, тем сильнее старейшины; а чем сильнее старейшины, тем сильнее Мейрена. Он не знал их диалекта. Я хотел бы сделать что-то вроде странного репортажа. Дурацкий пейзаж, вроде пикардийского: кругом пустота, из которой вылезают разные кошмарные трюки, такие же естественные, как ниши кладбища; на заднем плане — крестьяне, почти голые, корчующие лес, руки, скрещенные на рогатине, как и наши на рукоятке лопаты. Надо дать понять, что за люди эти крестьяне. Но я сумасшедший: я думаю о том, как Мейрена вернется во Францию, уже как король дикарей. Вы понимаете?

— Я не думаю, что можно снять фильм из одних намеков. И зачем Мейрена вернется во Францию?

* Мусульманские монахи-отшельники в Северной Африке, члены мусульманского военно-религиозного братства.

— Может быть, вести переговоры и вернуться обратно с поддержкой властей? Полное безумие, но и такое возможно. Может быть, вести переговоры о чем-то ином... О золотых рудниках? Биржа приняла бы его без промедления! Может быть, чтобы воспользоваться легендой о себе, такой, как он ее представлял? Почему бы и нет? Какой-нибудь маленький хитрый врач сказал бы нам, что он был параноиком. Журналисты восхищались им как чудотворцем! Любовник знаменитой актрисы! Он верил, что это получится, потому что в палате он заставил сопровождать себя до входа на трибуну дипломатического корпуса, до самой двери! К черту! Наконец я дошел до сцены в «Мертвой крысе». Я писал все это ради двух сцен: этой и сцены смерти. Самое трудное — ее снять, потому что это разновидность монолога, как и жизнь внучки Тимура. Все основано на игре актера. Итак, террасы, полуночники, крылья «Мулен Руж», слабо освещенные и вращающиеся; зал, где танцуют, цыгане. Вокруг Мейрены, облаченного в мундир, с лентой для Королевского ордена Мужества, элегантно одетые люди и бродяги, оставившие в гардеробе свои помятые цилиндры. Они не садятся в кресла, а остаются стоять с фужерами в руках. Чудь дальше, в велюровых креслах, — женщины с подкрашенными глазами и в длинных перчатках. Еще я хотел бы ввести до этого кадра канкан «Мулен Руж»: он останавливается, стоп! У входа Мейрена, и танцовщицы с пышными бедрами спешат поднести ему цветы. Такое, между прочим, бывает. Тем не менее, когда эта сцена, такая, как я ее написал, начинается, Мейрена намерен произнести речь. Близится конец ночи. Он достает часы: «В этот час, там, в моем королевстве, начинается день. Мой друг, полковник Меркьюроль, герцог Конг Тум, награжден за то, что захватил в плен самого кровавого злодея войны, Де Тама. Французы вошли в его лагерь мимо распятых на стволах огромных деревьев (на самом солнцепеке) солдат, господа! Те несчастные, что считают меня чужим на дипломати-

ческой трибуне, вообразили, что имеют право вручать герцогу Конг Туму свои награды! Этот вождь наших Черных банд,* кондотьер, несмотря на свой потрепанный вид, поразил меня тем, как пересказывал на современный лад „Сказки“ Перро для своего маленького сына в Тулузе!».

Клаппик вернулся к своему настоящему голосу:

— Это история, на которую я намекнул, когда инспектор рассказывал о своем «Коте в сапогах». У психоаналитиков тоже есть теории. И все же я люблю сказки, которые вызывали восхищение у крошки Меркюроля, у девушки с Суматры, у всех, кто уже давно умер (ну их к черту!), и у нас с Вами. Хотя Вы... Вас я подозреваю в восхищении прежде всего котом. Тем хуже, тем хуже! Долой котов-капиталистов! Наконец, продолжение: девчонку только что съел волк. В это время твой папа, возвращавшийся с колониальной войны, проходил мимо. В кавалерии тебе скажут, что командир эскадрона старше, чем командующий, но ты им не верь, запомни это. Когда он увидел, что у бабушки горит свет, он пробрался туда, догадываясь, в чем дело...

Этот ловкий актер не подражал персонажу, о котором рассказывал, а продолжал имитировать рассказ Мейрены. Делал он это так же, как и за ужином, но уже не используя мимику: я его почти не видел в темноте. Его мимика — имперский монокль, поглаживание воображаемой бороды — могла показаться весьма странной, да и на самом деле была таковой. В то время как его голос, казалось, заставит говорить и мертвых.

— Волк ему говорит: «Так это Вы тот сержант, я хотел сказать, капитан, который захватил в плен Де Тама?...». Де Там — это огромный волк, гораздо более злой, чем все остальные. Тогда твой папа отвечает ему скромно: «Да, это я». Волк заскулил и свернулся клубком, а твой папа перевернул его кверху лапами и распорол живот своей большой саблей, которую он нес из

* Предводитель наемников в Италии XIV—XVI веков.

Тонкина, после чего вытащил оттуда бабушку и Красную Шапочку; он сказал им: «Вы в порядке?» — и повез обеих на площадь перед Капитолием, купил фруктового сахара для малышки и жареных каштанов для бабушки, потому что она сказала: «Я замерзла в животе у волка».

И все же, когда он перешел к Мейрене, тембр его голоса стал серьезнее, а ритм немного медленнее:

— «Вы спрашивали меня, господа, что самое удивительное в джунглях? Мяукающий корнет тигра. Его самого мы никогда не видим. Не видим также и острых шипов на кустах роз, которые перерезают нам горло. Видны лишь пятна крови на земле, там, где тигр встретился со слоном. И наши маленькие волосатые лошади! Негодные упрямыцы! Вах! У нас, в королевстве Мейрены, дети садятся на лошадь сразу после крещения! Быть дворянином — это значит пройти крещение, причем в седле! И паутина высотой в два этажа! Носильщик убит, его, со стрелой арбалета в животе, увозят в ближайшую деревню, чтобы похоронить. Десять носильщиков убегают, а ночью — караван со слонами старейшин, который движется нам навстречу, господа, в галдеж сельской свадьбы!» Пока Мейрена говорил, богему переполняли дружеские чувства. Каждый раз, когда входил новый гость, Мейрена одним и тем же жестом указывал: «Вот Ваше место» — и продолжал дальше. Метрдотели и гарсоны с перекошенными нагрудниками старались подойти ближе. «Это — слоны, черт подери! Диких слонов подгоняют двое мужчин, вооруженные копьем и большим луком. Чтобы наградить этих охотников, я учредил у седангов закон, обязывающий представить след ноги убитого слона, тот самый след, который за несколько мгновений до своей смерти видит побежденный охотник! И нет такого закона, начиная с законов Наполеона, который вознаграждал бы мужество такими исключительными почестями!» Он достает из кармана жилета и бросает на стол рыцарский медальон, который перехо-

дит из рук в руки. «Хватит с меня шампанского! Эй, кто-нибудь! Приготовьте мне абсент!»

Клаппик не переворачивал страницы: следовательно, он не читал. Может, он знал свой текст наизусть? Я скорее поверил бы, что он импровизирует, как он это делал за ужином, вдохновленный алкоголем и опьянением, которое несет с собой имитация. Импровизирует в рамках сюжета, который смутно проявляется в его памяти. Его импровизация, несомненно, была родственна импровизации актеров *комедии дель-арте*. Скоморох. Я слышал когда-то персидских сказочников, но Клаппик пересказывал что-либо с большим трудом. Такое неистовство, такую изобретательность в словах я встречал лишь однажды, ослепительную и сросшуюся с усмешкой парижского шофера: у Луи Фердинанда Селина, в 1935 году. Этот голос — это не голос актера, он принадлежит исчезнувшему персонажу. Этот голос можно даже назвать мрачным:

— «Королевская власть — что она значит? Это повседневная жизнь, когда все переговоры закончены. Воины, ожидающие, что король откроет магическую посеvную. И животные. Прирученные дрозды на веревках, где сушатся набедренные повязки. Смерч мошек над зверем, валяющимся в иле. И нужно защитить урожай риса от попугаев, от теснящихся, как рыбы в косяках, павлинов, от обезьян. Лесные обезьяны скрываются в деревнях, когда их преследуют леопарды, в тот час, когда, как говорили старейшины, „дикие горлицы воркуют свою вечернюю молитву“. Я видел аздов, обернутых покрывалом, протягивающих руки слепцов и призывающих мертвых! Я слышал звон маленького гонга войны, который они называют криком водяной лягушки; ночью я слышал, как бормочут — это фантастика, господа! — плененные слоны! Я узнал кровавые жертвоприношения, после которых жрецы снова забирают головы у невозмутимых крестьян; узнал, что значат факелы над Хижинами Мертвых. Работа старейшин была сначала приостановлена на год, по-

тому что один чудак утверждал, что бородатые люди приносят несчастье. Хижины Мертвых! Цыпленок в клетке, вытянутый труп, колени которых связаны хлопковой ниткой и медным ожерельем. Цыпленок — это душа короля дикарей! Я узнал колдунов, прикрытых лишь повязками, и их заклинания! И всех этих проклятых вождей деревень! Я слышал, как они разговаривают с деревьями, с тиграми, с мертвецами! Я слышал, как жрецы, присутствовавшие на казни буйвола или раба, декламировали свою „Песнь Роланда“: „Отправляйтесь к лиловому дереву и выкопайте у его подножия бальзам, который сделает вас непобедимыми!“. Почему надо помогать Браззе? Потому что он приведет четыреста или пятьсот тысяч человек? Я приведу больше. Воины макоко* ничего не стоят; у меня же десять тысяч воинов, смелых, как сикхи, и будет сто тысяч лет через пять, если я захочу. Не следует ли одинаково бережно обращаться со всей границей с Германией, как вдоль Конго, так и вдоль Меконга? Саворьян добился таких же договоров о поставках или о союзах, как и я. Если мои армии шли за своим собственным флагом, то это потому, что мне запретили развернуть триколор! Я был обязан собственноручно арестовать джараев, самых опасных воинов индокитайского полуострова: я намерен отменить рабство. Вместо того, чтобы оставить все золото русским или господину Эйфелю для строительства его забавной башни, мы могли бы сэкономить немного луидоров для Империи! Империи, которая в день реванша могла бы весить гораздо больше, чем генерал Буланже. Это — столетие Революции; я смотрел вчера, как из ангаров Жавеля появляется Свобода, эта величественная проститутка, собирающаяся уехать в Америку, и я сказал ей: „Прежде чем поднять свой факел над Новым Светом, посмотри, во что тебя превратили!“. Еще абсента!» Голос Мейрены стал немного выше. Старая про-

* Макоко — племя.

давщица фиалок подошла и протянула ему свои цветы. Он взял букет и дал ей монету: «Спасибо, мадам». — «Вы назвали меня „мадам“? Тогда... дай Вам Бог стать принцем. Или артистом?» «Я король, мадам», — отвечает он рассеянно. И, положив локти на стол, продолжает: — «Я не являюсь ни несчастным Рауссе-Бульбоном, которого они так вовремя позволили расстрелять; ни Аврелием I, королем Араукании, который был бы лучше, чем они, черт подери! Я могу бросить целый экспедиционный корпус, целое войско из Сиам в Аннам. Кто еще может это сделать? Меня просили остановить одну сиамскую экспедицию (назовем ее «сиамской»...), а у меня почти не было средств! Я сделал это? Мне дали эскорт или нет? Явился ли я к Ки Нхону с генерал-губернатором Констансом? Явился ли я к миссионерам с наставлениями епископа? Отдавали ли мы честь тому флагу, который я не имел право развертывать? Дюпле умер, всеми брошенный, лежа на подушке, набитой ценными бумагами Индийского общества, а государство пустило их в дело! Перед Стэнли они бросят Браззу, как они бросили меня! Я добываю каучук, кофе; мои деревья хорошо идут, от пальм до сосен! Золото! Почему верят, что я трачу его на свои медальоны? В Трансваале, когда пять лет тому назад началась лихорадка, нашли в десять раз меньше золота, чем у меня! И вот нахальный председатель их палаты осмеливается утверждать, что я не имею права на дипломатическую трибуну! Я был на той выставке! Эти паяцы с повисшими головами пропустили меня, и я горю желанием дать им яркий урок! Что они делали, спрашиваю я вас, когда в тумане, на горных вершинах рокотал военный барабан? Он верили, что могут безнаказанно игнорировать судьбу, когда я ходил по лезвию бритвы!». Артисты подошли ближе, но никто не садился. Пришли и последние танцоры. Все скопились вокруг его стола, за исключением музыкантов, которые не осмелились оставить оркестр, но слушали внимательно. Он говорил, совершенно не жестикулируя.

«А была там королева?» — невинно спросил один из артистов. «Да, мой мальчик, там была королева, и не делайте вид, что смеетесь: Вы серьезны настолько, что могли бы себя высечь. Я много раз дрался на дуэли, как и весь мир; но я сразился в поединке с Огненным Садетом, чтобы освободить угнетенные народы. Я слышал, как копыта стучат о щиты в тумане! Я принял командование перед вражескими рядами — и победил! Мое королевство, они готовы передать его Пруссии, которая будет желать лишь одного: чтобы оно не принадлежало мне! Но кто изгонит меня из мечты людей? Буржуа могут смеяться, когда граф Вилье де Лиль-Адам напоминает о своих правах на трон Греции, но не мы! Да, там была королева! Ужасная, с коралловой диадемой, она была последним потомком королей шамов, а седанги были вассалами шамов. Она пришла вместе со мной и никогда не испытывала страха. Однако некоторые дни были очень суровы. Она хотела лечиться у колдунов; и мы, вероятно, не смогли бы ее вылечить. Я собрал воинов, и слоны несли ее через горы, прямо к руинам большого города. Облака белых бабочек облепили нас, словно кусты боярышника, и когда мы их миновали, мои спутники были похожи на Пьеро, а наши слоны стали белыми! Королеву похоронили под развалинами храмов ее народа. Жрица спела похоронную песню, воины склонили свои факелы к земле. Уже пятьсот лет ни одна принцесса шамов не была похоронена под башнями Ми Сон. Это все». Пока он говорит, на экране — одинокие похороны, крест из веток. Затем пустые бутылки из-под шампанского и блюда с зеленым абсентом на столе «Мертвой крысы». «Эй, кто-нибудь, счет!» Там было больше, чем у него оставалось. Он оторвал золотую планку ордена Мужества, которая висела на орденской ленте, и посмотрел на оттиск ноги слона. Это было изображение боевого слона, с поднятой ногой, бивнями и хоботом на фоне неба. Мейрена положил золотую планку на счет, сказал метрдотелю: «Обменяйте по весу!» — и

поднялся. Артисты расходились, гости облачались в пальто. Принесли деньги. Он дает чаевые груму в красной тюбетейке, который робко говорит: «Я хотел бы поехать с Вами...». Наконец, — говорит Клаппик, — последняя сцена. Правитель Сингапура — он должен часто здесь появляться — приходит к Мейрене, скрывающемуся в Малайзии. У него в руках телеграмма: «ВИЛЬГЕЛЬМ ИМПЕРАТОР БЕРЛИН ТЧК ПОСЛЕДНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ТЧК ВЫ ПЕРЕДАЕТЕ ПРОТЕКТОРАТ КОРОЛЕВСТВО СЕДАНГ ТЧК ВАШ КУЗЕН ТЧК МАРИ». Мейрена лежит, укушенный змеей, он умрет через час. «У Вас нет собаки? Я хотел бы погладить какое-нибудь ласковое животное... Я намерен предложить Вам одну вещь, поэтому не сочтите за труд со мной увидеться. Такое редко бывает, но об этом позже. Вот — лист, в коробке — марки, выпущенные моим королевством. Я надеюсь, что Вы филателист. Еще раз благодарю. До свиданья».

Сердитые клаксоны перед отелем заполняют ночь. Клаппик останавливается, затем начинает опять. Другим голосом: теперь он вернул свой монокль на место и читает:

— Мейрена подплывает к берегу бухты; море сражается с дрожащими в воде растениями. Он падает на песок и тяжело дышит. Пена волн на уровне его глаз. Насекомые. После шума от падения его тела — молчание, затем — удары волн. Пение птицы, всего из трех нот. Они повторяются, сначала отдельно друг от друга, затем смешиваются, затем идет пение: «Твое королевство...». Волны начинают шептать: «Твое королевство...» — вместе с голосами маленьких девочек. Травы и кусты. «Когда в тумане рокочет барабан войны...» Маленькая пальма. «Я хотел бы поехать с Вами...» Стволы деревьев, лианы. «Твое королевство...» Уходящий вдаль голос мужчин. Одно только небо. Тишина. Голос женщин, приглушенный: «...отправляйтесь к лиловому дереву и выкопайте у его подножия бальзам, который сделает вас непобедимыми!». Мейрена при-

поднимается на локтях. Волна с грохотом разбивается о скалы: «Твое королевство!». Отлив. «Я хотел бы погладить какое-нибудь ласковое животное...» Садет. Воины с орденами в тумане. Череп буйвола, усеянный насекомыми. Слушатели Мейрены в «Мертовой крысе». Волна возвращается. Неподвижная обезьяна на дереве. Грохот волны: «Твое королевство!» — и новая волна. Лицо Мейрены увеличивается до тех пор, пока не остаются лишь одни глаза. Камера следит за движением век (человеческий глаз закрывается снизу вверх) и останавливается на неподвижных облаках экватора». Конец «Царства Злых духов». Что Вы скажете об этом? А ты, Черныш?

Как будто электрик только и ждал тишины: большинство лампочек сразу погасло, и на небо вернулась звездная пыль. Клаппик вытащил платок и еще раз вытер свое потное лицо. Жара все еще была тяжелой, несмотря на морской ветер. В темноте я видел, как белый платок, словно огромный ночной мотылек, летает вокруг его блестящего черепа. «...неподвижные облака экватора...» Я вспомнил о ясности белых кучевых облаков над свинцовой тучей пылающей Варшавы, об огромных клубках дыма, которые, во время отступления 1940 года, медленно поднимались над горящими резервуарами, и о таких же уклончивых шлейфах над нашими деревьями, сожженными немецкой бронетанковой дивизией, которая меня перевозила.

— Монолог и образы кажутся мне замечательными, но фильм еще необходимо снять.

— Разумеется. Даун! Лифт, спустись! Я мечтатель? Почему бы и нет? Все или ничего!

— Вы никогда не думали о театре?

— Как автор? Нет. Как актер? Штернберг обещал мне блестящую карьеру: «Шарло!» У меня нет таланта. Я могу импровизировать, но не умею интерпретировать. Жаль!

После ужина я обнаружил, что приключения и авантюристы, которые меня всегда интересовали, теперь

значат для меня не больше, чем заброшенная квартира. Некоторые из моих друзей порвали таким образом с коммунизмом: не из-за московских процессов, не из-за германо-советского пакта и не из-за неразрешимого конфликта. Ушла волна. Нет, теперь уже не Мейрена меня увлекает, теперь меня развлекает Клаппик.

— Все ужасающе ясно! Даже для меня приключение — это награда, небольшой замок, старый привратник, снимающий шляпу! «Снимающий шляпу» — скажу я Вам! Подумай только, Черныш, я чуть было не назвал тебя Барсыком! Тогда мой вопрос к этому министру: если авантюристы больше его не интересуют, то что же тогда? Не политики же, я надеюсь?

— Люди Истории. Была также, во время войны, и встреча с человеческим зверством...

— Не говоря уже о наших дорогих лагерях для беженцев, для наших испанских друзей и о нескольких робких допросах в Алжире!

— Но люди, разрушившие во мне поэтическое могущество приключения, такое сильное в моей юности, — это люди Истории. Оставим политиков. Черчилль не является даже депутатом в Англии. Генерал де Голь не является коллегой Эррио; он именно потому и остается генералом де Голлем, что не стал «коллегой Эррио».

— Ни слова больше: согласен! Но почему Вас интересуют те, кого Вы называете «людьми Истории»? Разве История не является всего лишь невероятным приключением? Александр Дюма это очень хорошо понимал: перечитайте «Трех мушкетеров»!

— Почему я вспоминаю о Цезаре, почему меня интересуют Неру, Мао? Но, в конце концов, одно из самых возвышенных качеств человека, который не является животным, заключается в том, чтобы быть способным восхищаться. Если Вы предпочитаете восхищаться скорее Ганди, чем Неру, то у меня нет возражений. Но я не собираюсь тратить Ваше время, чтобы объяснять Вам свое отношение к людям Истории. Ска-

жем просто, что для меня эти люди, как и великие артисты, как когда-то и авантюристы, только на другом уровне, — это люди антисудьбы. Судя по тому, что Вы мне только что прочитали, Вы меня понимаете.

Какой-то велорикша высадил женщину у входа в отель.

— Вы не могли бы дать мне сцену в «Мертвой крысе»? Я хотел бы ее прочесть.

— Вы сомневаетесь в моем шутовстве? Я тоже, увы! А ну ее к черту!

Он вытащил из рукописи две последние сцены и поднял голову:

— Вот и Мери.

2

— Я вам не помешаю?

— Мне очень приятно Вас видеть. Вы снова пишете, как сказал мне наш друг?

Несмотря на слабое освещение, я мог различить его высокий сутулый силуэт.

Но наш друг, как я обнаружил, стал почти невидимым. Неужели он опять сменил свой облик? Я должен был нарисовать в своем воображении его лицо старого пирата, которое я еще не забыл; Мери держал за руку ребенка пяти-шести лет, с черной челкой, закрывающей лоб, очень на него не похожего, что можно было разглядеть даже при этом направленном отвесно вниз освещении. Я посмотрел на высокую изогнутую фигуру Мери и подумал: он слишком стар для своего роста. Он ответил мне:

— Пишу? В конечном счете, да, я делаю вид, Вам же это известно... Теперь, как Вы знаете, я оказался в доме престарелых...

Думаю, он использовал бретонское слово (для того, чтобы назвать то место, где умирают); но Мери не был бретонцем. «Он умрет в течение месяца», — сказал мне Клаппик. В его утомленном голосе не было и на-

мека на опасность; странный тон, не похожий ни на что известное мне до сих пор: в чем его странность? Погрузившись в ночной сумрак, он медленно сел и заказал себе виски. Отраженный свет лампочки дрожал на его зачесанных назад волосах, таких же белых, как плоский пробковый шлем, который он когда-то носил.

— Очевидно, я прожил достаточно долго среди буддистов, чтобы приспособиться к смерти. Я окунулся в две азиатские цивилизации...

Он был единственным французским высокопоставленным чиновником, который, благодаря жителям Индокитая, хорошо разговаривал и на аннамитском и на камбоджийском.

— ...и они исходят из этого, понимаете? Пномпень, такой, каким Вы его знаете: французы в белых холщовых костюмах и женщины в набивном муслине... камбоджийский оркестр играет Верди в саду Пномпеня... То, что я пишу, не имеет большого значения, Вы же знаете...

— Наши малюсенькие бумажки! — меланхолично сказал Клаппик, голос которого, казалось, шел из-под земли.

Даже сидя он не доставал до плеча Мери.

— Иногда я нуждаюсь в том, чтобы обнаружить *то, что я сам вижу*, представьте себе. Ты, Клаппик, ты любишь Мейрену, пробковые шлемы, бульвар Шарнэ, опустевший в полдень...

— Неужели его построили? Дворец правительства? Это меня удивляет! Идите к черту!

— Если бы это была «колония», так нет: власть — у французов, торговля — у китайцев, администрация — у индусов из Пондишери или у антильцев, ростовщики — из хеттов, пехотинцы — черные. Потом — война 1940 года. После этого — война в Индокитае. Теперь — американцы...

— Иллюзии, химеры! Дьявольщина! И я в свою очередь тоже иду к черту, то есть собираюсь лечь в по-

стель. Я оставлю вам Черныша. Я чувствую, что он считает вас слабаками. И он прав.

Клаппик исчез в темноте дворика.

— Видите ли, — сказал Мери, — я немного изучаю ту эпоху, когда Вы надеялись связать Индокитай с Францией. Зачем? Я любил и Францию и Индокитай и желал бы их обручить, образно говоря. Мы могли бы добиться успеха, как в Сенегале...

— Вам хорошо известно, — сказал я, — что Вы задаете одновременно и шуточный и завораживающий своей серьезностью вопрос: как люди, имея в своем распоряжении идею личности, идею, за которую умерли многие из их друзей, за которую и сами они были готовы умереть, — как эти люди эту идею позабыли (слово «забыть» здесь вполне законно), когда оказались лицом к лицу с другой цивилизацией? Французы Индокитая, наследники Революции; англичане Индии, наследники индивидуализма, ожидающие от французов и американцев прав человека; здешние голландцы, наследники морских гезов в квадратных ботинках. Став Хозяевами, они принимают идеологию Хозяев? Кажется, это исчерпывает Ваш вопрос?

— Я много размышлял над этими вещами, хотя размышлять в моем возрасте... это слишком... Романтика моей юности... да, я считаю, что она мертва. Но ее противоположность от этого не выиграла. Если я перестал желать брака между Индокитаем и Францией, то не потому, что поклоняюсь господину Дьему или Вашему, если я могу так выразиться, «другу», президенту Кеннеди... Вы писали: «Я обручен с Францией». Я понимаю, что враг для Вас упростил многие вещи... Тем лучше. Ваш генерал, конечно, не знает общей меры для своих противников... Но для меня, теперь, это пророческие речи... Вы достаточно умны, чтобы понять, что бывают проигранные партии. Так вот: я не верю больше ни во что из того, что сообщало смысл моей молодости, я не верю и в нечто противоположное. Я —

проигранная партия, вообразите. Не будем больше об этом говорить. Впрочем, кто знает?

Он сказал «Был!», и «Ваш друг, президент Кеннеди!», и «Ваш генерал...», но его голос как будто извинялся за это. Несмотря на ночной полумрак, я знал, что когда он говорил о проигранных партиях, он грустно улыбался. Этот причудливо хрупкий голос, казалось, изгибался, как и его тело. Он продолжал:

— Что хотят сказать этим словом: «прошлое»? Я был молодым — и с этим покончено. Был... Передо мной был неизвестный, непредсказуемый мир... События? Женщины, вещи, которые я сделал? Но я не сделал ничего выдающегося... Вещи, которые я видел? Да, когда они исчезали или когда сильно изменялись (этот отель, например)... Есть ли у Вас желание, перед лицом смерти, повторить все заново? У меня нет... Видите ли, когда я говорю сам себе, словно кому-то другому: «Я был там-то, со мной случилось то-то», то я отвечаю себе: «Ты веришь в это...». Что касается событий, то были ли это события Истории или только моей несчастной жизни? То, что высохло во мне, — это и не осуждение жизни и ни какое-то особое к ней отношение. Мне трудно это объяснить, и все же... Я потерял что-то неуловимое, то, что я ожидал от жизни с таким доверием. Вы понимаете? Вы писали: «люди умирают лишь ради того, чего не существует». Но они и живут лишь ради того, чего не существует, — Вы это знаете. Жить — это, может быть, даже немного смешно. Но не больше, чем умирать... И потом, человек не создан для того, чтобы жить в одиночестве...

— Тем не менее Ваши друзья буддисты отвергают брак. И не только они. И Святая Тереза не была замужем, и Святой Августин не был женат...

— Вам хорошо известно, что созерцательная жизнь — это совсем другая жизнь. Она не для меня. Есть многие вещи, которые не для меня...

Когда он размышлял, он зажимал свою нижнюю губу между пальцами так, что она отвисала, и какая-то

детская гримаса появлялась на его лице. Этот жест был характерен для Дрие, и он наделил им Жилия, персонажа из своей автобиографии. На самом деле он сообщал лицу Дрие удивленное выражение, как у актера Ватто; этот жест превращал маску центуриона Мери в маску недоумения.

— Я хотел бы Вам объяснить. Насчет политики: я полагаю, что мысли могут совпадать только у людей действия и у дураков. Я испытываю довольно противоречивые переживания. Я — с Вьетнамом. Я — против колониализма. Но я также и с Леклерком, с храбрцами, которые его окружали: неколонистами и ненаемниками. Для настоящих колониалистов я, как и Вы, продался красным. На самом деле я — либерал. Как и три четверти европейских интеллектуалов, даже на Западе. Как две трети европейцев и американцев, представьте себе! Но с тех пор, как либерализм является самой распространенной позицией нашей эпохи, он стал постыдным. Либеральные партии повсюду умирают. Я, разумеется, имею в виду политические партии, я не имею в виду символ. Верите ли Вы, что хотя бы один историк через двести лет будет способен обнаружить правду? Мои коллеги обратятся за справкой к горе дошедших до них текстов, написанных очковтирателями, как правыми, так и левыми. Он сделает вывод, что я не существовал. Он будет ошибаться. Возможно, и мы так же плохо понимаем прошлое. Очевидно, это и не важно... Таким образом, люди Юга меня устраивали, но семья Дьема меня не интересовала. Жаль. Вы знали генерала Жако, не так ли?

— Он был начальником штаба бригады «Эльзас-Лотарингия».

Голос Мери сначала полностью изменился, а затем снова стал прежним. Он мечтал, он рассказывал:

— В Сайгоне он сменил генерала Делаттра. С целью эвакуации... У него был очень красивый адъютант. Одна из самых знатных дам режима вызывает генера-

ла, весьма удивленного этим. Он приходит один. «Ваш адъютант болен, генерал»? — «Нет, мадам». — «Тогда Вы можете идти!» Та же самая крыса после самоубийства бонзы, после его самосожжения, сказала: «Я не люблю этих историй с барбекю», а генералу Делаттру, который говорил ей о врагах семьи Дьем: «Генерал, Вы должны передать нашим врагам, что умереть можно в любом возрасте». Это были времена «безумного бонзы», создателя Хоа Хао...

Опять голос воспоминаний:

— Но я на самом деле не могу увлекаться политической. Люди убивают друг друга ради того, о чем они думают, — это так. В четырнадцатом я дрался в штыковой — одного раза достаточно. Эти идиотские страсти, тогда как мы можем просто смотреть на пальмы над головой в этом маленьком саду...

Я догадался, что он пожимает плечами и что на меня он не смотрит.

— Все же мне жаль, что я не пошел за Вами, за Вами и за Мони... Очевидно, нужно было отправить меня в отставку...

— Это правда, что Поль Мони умер в Сайгоне?

Поль Мони, основатель «Молодого Аннама» и первый адвокат Хо Шин Шина, ушел в отставку из коллегии адвокатов, потому что «в его время судейская мантия была белой».

— Я знаю, — сказал Мери, — что он вернулся из Кантона, чтобы умереть в госпитале в Сайгоне, совершенно нищий и... несговорчивый... Так получилось... Главный врач его очень любил.

Вот в чем была одна из главных задач «Молодого Аннама». Я думал о другом:

— Что делал Хо Ши Мин?

— Мне кажется, что война уже начиналась... Что я сам делал в это время? Я уже не помню... Отношения Мони с коммунистами не были безоблачными; думаю, они не стали лучше и тогда, когда он покинул Кантон. Встречался ли он там с Хо Ши Мином? Хо стал совет-

ником Бородина в начале 1925 года. Вы же его хорошо знали раньше, не так ли?

— Я имел дело с Нгуен Ай Коком* только эпизодически; до такой степени, что я даже не уверен, встречался ли с ним. Депутатом от коммунистической партии был Фам Ван Труонг. Маленький веселый мандарин пятидесяти лет, ретушер фотографа (он был компаньоном Нгуен Ай Кока в Париже), который размахивал веером и излагал мне основы марксизма. Мы требовали для Индокитая статус доминиона. Тогда нелегальная газета Нгуен Ай Кока была *более умеренной*, чем мы; марксисты называли Труонга «протокоммунистом»... Я был весьма заинтригован тем упорством, с каким он мне доказывал, что мы должны «покончить с авантюрными методами индивидуального героизма». Так он называл терроризм. Вы помните, что тогда терроризма почти не было... Я не понимаю, почему либеральная программа, даже если она должна была позже измениться, даже если Труонг должен был принимать меня за будущего Керенского, не могла быть согласована с нашей. Пролетариат в стране без промышленности? Тридцать или сорок тысяч рабочих в целом, согласно статистике 1928 года. Крестьяне? В то время это было лишь слово! Хотя Нгуен Ай Кок предчувствовал их значение, как он предчувствовал и значимость нации... Кроме того, Ай Кок говорил: «патриот...». Имя Мао было еще неизвестно. У меня было впечатление, что я теряю время в пустой болтовне. Что нас поразило, Мони и меня, так это «теория двух присосок»,** которую Нгуен Ай Кок провозгласил, как Вы помните, в 1924 году. Мы считали, что если это лозунг, то он

* Нгуен Ай Кок — имя Хо Ши Мина в то время.

** «Капитализм — это пиявка, у которой одна присоска впиалась в пролетариат метрополии, а другая — в пролетариат колоний. Если мы хотим убить этого гада, то должны отрезать эти две присоски одновременно. Если мы отрежем только одну, другая будет продолжать сосать кровь пролетариата, гад будет продолжать жить и отрезанная присоска восстановится» (Хо Ши Мин, 1924).

окажется химерой. В то время существовали лишь два лозунга: «Верховный суд в Париже» и «Доминион». Но в конце концов именно теория казалась нам самым главным, безотносительно к тому, что нам говорил Труонг. В 1925 году еще не было Коммунистической партии Индокитая. Но я отстаивал — так же, как и в Алжире во время возвращения генерала де Голля — принцип разделения земель: Труонг был готов отдать все, что угодно, лишь бы быть несогласным с Францией.

— Чем рисковал Труонг? Генерала де Голля тогда еще никто не знал; в 1925-м какое французское правительство согласилось бы с разделом территорий?

Это был не столько вопрос, сколько продолжение его фантазий.

Он зажег сигарету. Огонек выхватил из ночной тьмы его лицо центуриона, отбросил тень на шапку седых волос и исчез возле ласковой и разочарованной улыбки.

— Какой шанс был тогда у Неру? — спросил я. — Мы все полагались на будущее. Даже если Индокитай и обрел свою независимость в то же самое время, что и Индия, и даже благодаря Французскому содружеству, то последняя получила ее все же с меньшими жертвами. Я говорил Труонгу то же самое, что говорил уже во Франции в 1930-м, на встрече в зале Научных обществ, которые, напомним, возглавлял Леон Верт: «То, что мы делаем, — только начало». Русскую революцию совершил не Маркс. Азиатская независимость родится в ближайшей европейской войне.

— Вы писали об этом в «Королевской дороге»...

Собеседники, которые напоминают мне о моих книгах, всегда вызывали у меня недоумение.

— Я не хочу прикидываться пророком: я верил, что новые государства возникнут, когда разразится всеобщая война, например в Индии, а не в результате поражения, о котором я даже и не думал.

Время, о котором мы говорили этой ночью рядом с журналистом, раненым на Борнео, и несколькими ту-

ристами, было для меня связано не с тем, о чем я тогда думал, а с мириадами мерцающих над рисовыми полями Хо Шин Шина светляков, с непрерывным мычанием гигантских жаб, глубоким, словно звук тибетских рожков; с бледно-голубым утром над лотосами и пальмами Камбоджи; с депутатами Гоминьдана* из Шолона (уверенными, что «Молодой Аннам» возьмет однажды власть), выстроившимися в ряд, чтобы пригласить нас на какой-то китайский банкет; с улицей Катинá после затяжного дождя, сопровождавшего ужин от начала до конца, когда я мимоходом наблюдал, уменьшаются ли кипы «Индокитая», газеты «Молодого Аннама», в лавках индийских торговцев; с китайцами, которые ближе к полуночи шлифовали свои глыбы льда в кокосовых орехах, разрубленных тесаком, и предлагали всем розовые бананы; с нхо** (с их маленькими черными челками), которые праздновали приход муссона, стуча в кастрюли, словно в священные гонги; с пиявкой на голых ногах, ступающих по плитам веранды во время сезона дождей; с дымящейся равниной, над которой пролетали длинноногие птицы; с запахом перезревших плодов; с бонзами, разбрасывавшими на ветер рис для бродяг; с ванными комнатами, по которым разгуливали тараканы крупнее майских жуков; с грохотом, который доносился с театральной площади Сайгона до моей комнаты и означал, что представление закончилось и началась толчея, в которой однажды губернатор был избит террористами...

— В начале, — сказал я, — наша деятельность не была только политической. Ни у «Молодого Аннама», ни у Коммунистической партии Индокитая не было кадров. Нгуен Ай Кок писал: «Франция — это великая либеральная страна, которая не экспортирует свой либерализм». И к чему мы стремились тогда, и те и дру-

* Политическое движение в Китае.

** Племя в Индокитае.

гие, если не к тому, чтобы дать жителям Индокитая такие же права, как и у французов? Поначалу мы вполне серьезно хотели сделать революцию 1789 года в стране, которая сама ее не сделала. Как Сунь Ятсен.

— Поэтому я и был с Вами... Я предпочел бы договор Вьетнама с моей страной, но и независимость меня, представьте себе, не смущала. Были очень простые вещи: например, директор тюрьмы в Сайгоне, который простодушно назвал «грязнулей» маленького аннамита, приговоренного к смерти. Он потрепал его по щеке... Видите ли, этого оказалось тогда достаточно... Меня не очень интересуют мнения. Скорее, вещи. Есть вещи, которых не должно быть. И если я наивен, то тем хуже...

Тональность его голоса понизилась — и не потому, что он драматизировал ситуацию; если бы он драматизировал, то возникло бы, как я думаю, ощущение, что он извиняется. Его же голос был лишь чуть-чуть разочарованным. Ребенок, до сих пор неподвижно сидевший на кресле рядом с Мери, взял Черныша к себе на колени. Я ответил:

— Чувство справедливости, лежат ли его истоки в христианстве или нет, вероятно, является более глубоким и более иррациональным, чем принято верить. Чем был бы марксизм, для которого не существовало бы социальной справедливости? Я плохо понимаю, что такое свобода, но я хорошо знаю, что такое освобождение.

— Я не был с Вами знаком, но Вы написали две вещи, которые меня поразили. Первая была примерно такой: «Индокитай находится далеко; это позволяет нам не слышать крики, которые там раздаются». Другая, где Вы противопоставляли те службы, которые мы создали в Индокитае, и политическую власть.

Я писал: «Тот, кто намерен найти для колонизации справедливое основание, забывает, что мера восхищения миссионером в лепрозории прямо пропорциональна тому, насколько его присутствие не является

оправданием для появления спекулянта. И что аннамит очень легко может ответить: „Когда французы строят в Индокитае дороги и мосты, то им платят так же, как и тогда, когда они руководили работами в Сиаме“».

Я думал о «Молодом Аннаме», как о высохшем дереве. Меня тревожило не рождение или возрождение наций, которые окружали меня здесь, ночью — от Индии до Китая, на более или менее колонизированной земле (кто только не объявлял себя нацией?). Меня тревожила мысль о страстях, которые властвовали над моей жизнью и которые хоронила История, хоронила даже тогда, когда все верили, что она их хранит: хоронила в «Молодом Аннаме» так же, как и в Крестовых походах или в революции Эхнатона; меня тревожило чувство, что моя молодость исчезает в глубине веков...

— Колонии, — начал опять Мери, — были тогда самым простым решением. Я принял эту простоту и потерял свою жизнь... Мне было суждено занимать высокие посты в Персии, в Абиссинии, в других подобных странах. Опиум, работа, никаких проблем. Однако в Индокитае я чувствовал, что могу, представьте себе, быть полезным. Увы!

Невидимая горькая усмешка исчезла из его голоса:

— А что если нам взять еще по стаканчику?

Он позвал слугу и спросил меня:

— Не пожалели ли Вы о том, что не остались?

— Я вернулся во Францию, чтобы помогать «Молодому Аннаму». Я помог ему. Но бессилие социалистов предало мой химерический доминион. Я пытался добиться того, что было нашей первой целью — создания в Париже Верховного суда, независимого от Министерства по делам колоний. Чем больше наш провал становился очевидным, тем более сильным становился аннамитский национализм. Следовательно, урегулировать отношения с Францией было все труднее и труднее. Вы знаете, что в этих вопросах я всегда склонялся к Ницше, а не к Марксу: «XX век будет веком национа-

льных войн». Что должен был делать француз в национальном движении Индокитая?

— Но в Кантоне было много иностранцев, или мне кажется?..

— Но врагом Кантона была не Франция. Я мог верить в Индокитай в составе Французского содружества, но я мог верить и в независимый Вьетнам. Только не в интернациональный Индокитай. Позже я оказался в Москве, тогда, когда в «Правде» появилась статья, приписываемая Сталину: «Наше социалистическое отечество». Это слово появилось тогда в советской печати в первый раз. В «Национале» кто-то читал фразу за фразой вместе с разгневанным Радеком и озадаченным Эренбургом. Я знал, что это судьба. Было одиннадцать часов и стояла очень хорошая погода. В 1946 году я мог бы вернуться, если бы генерал де Голль остался.

— Ваш генерал не очень благосклонен к независимости...

Это было не возражение. Что-то вроде «увы!».

— Но разве не был он, с самого начала, за независимость Алжира? Он считал, что Франция делала все, что могла... Удалось бы мне вовлечь Хо Ши Мина в диалог между Монбаттенном и Неру? Идея доминиона была не более абсурдной. И, в конце концов, именно «мой», как Вы говорите, генерал и создал Содружество. Во Вьетнаме ненависть к Франции зародилась именно по этой причине...

— Да... Но что касается меня, то я считаю, что не был разочарован, оставшись с дядюшкой Хо, даже под бомбами... После нашего ухода. Воевать довольно глупо, если не считать того, что воевать пришлось бы с французами. Чего ж Вы хотите? В Дьен Бьен Фу я был несчастен из-за поражения Зиапа, но я был несчастен и из-за нашего. Вы знаете, быть всегда правым — меня это больше не интересует... Жаль только, что мне нельзя было остаться на Севере. У меня были изъяны: я не был коммунистом, не был вьетнамцем. И если бы

я не был таким большим! И на Севере всех подозревают в наркомании. И потом, они считали, что я постарел... Повсюду идиоты.

Слуга принес виски, ощупал стол, чтобы поставить стаканы, зажег маленькую электрическую лампу: Мери, склонившийся над столом, обхвативший голову руками, потерял свой высокий рост, но вместе с ним и ту слабость, которую придавала его внешнему виду сутулая фигура. Насколько его голос, всегда обескураженный, плохо подходил к его же лицу римского легионера! К лицу, которое через мгновение снова скроется в ночной мгле. Он медленно продолжал:

— Теперь сотрудники дядюшки Хо называют его «стариком». Уважительно...

— Когда я знал Троцкого, его окружение называло его так же. Они подразумевали: «Старец с Горы».

— Постарел? И, возможно, они думали, что я с ними боролся. Я некоторое время сопровождал наши войска на Юге, как советник, если угодно; в конце концов, одной только формы недостаточно, чтобы стрелять в других, но достаточно, чтобы стреляли в вас.

В его голосе слышались ласковые нотки извинения. За что? Я знал, что он отличается незаурядной храбростью. Можно было бы сказать, что он извиняется за свою жизнь — перед жизнью. Его маска снова исчезла в ночной темноте. Осталось дружелюбие, общее восхищение, в котором гении, избранные (от Мишле до Стендаля, от «Нувель Ревю Франсуа» до поэтов Людовика XIII) смешивались в созвездие, объединяющее в тайный союз интеллектуалов каждого поколения. В данном случае это было созвездие Рембо-Ницше-Достоевский-Аполлинер. То есть воспоминания о беседах на эту тему в той среде, где такие беседы были редкостью. Это немного, если сравнивать с боевой дружбой. И потом, трудно поверить человеку, когда ждешь от него в течение нескольких ночных часов, на жаре, которая, кажется, превращается в туман, только свободы разума. Он сказал:

— Это было время сторожевых вышек, грузовиков, оцетинившихся штыками...

Так же, как и в фильмах об Октябрьской революции, как и во время войны в Испании и в конце Сопротивления. Не будет ли и для XXI века наш век столетием «грузовиков, оцетинившихся ружьями»?

— ...а также решеток, защищавших окна бистро от гранат...

Я знаю почти все офицеры бригады «Эльзас-Лотарингия», оставшиеся в армии, сражались в Индокитае... Голые деревья, женщины, обводившие вокруг пальца своих любовников; цветы, по которым водители грузовиков гадали, вернутся они или не вернутся; кривая трассирующих пуль в ночном небе над пальмами, ряды броневиков, движущиеся через поля, где убирала хлеб; мертвые дети в корзинах, цыплята вокруг трупов, вокруг разорванных на части тел; люди, в страхе прижавшиеся к земле; еще зеленая листва на вражеских укрытиях, танец самолетов, сбросивших парашютистов; ночные атаки вьетнамцев, их возвращающиеся факелы, сводившие с ума...

— Какие воспоминания Вы сохранили об экспедиционном корпусе, Мери?

— О, это магма: там встречались и очень порядочные люди и настоящие шимпанзе...

Громкоговоритель у нас за спиной прервал свою болтовню ради танцевальной мелодии, пробуждавшей мысль о виски и о белых сигаретах...

— «Радио Сингапур», — сказал Мери. — У них мощный передатчик. В броневиках, выбравшись из засады, мы слышали: «Алло, Пантера, или Подснежник, или Бог знает что, вы слышите меня? Командир убит. Как поняли?». Ответа не было. Кто-нибудь поворачивал ручку приемника, и мы слышали то, что слышим сейчас. Это значило, что где-то далеко люди танцевали... да, танцевали, как на палубе корабля... Затем мы слышали скрип пилы; оттуда раздавалось: «Вас понял. Я — Пантера» и так далее. Когда все ребята погибли,

мы хотели забрать с собой один броневик, совершенно пустой, в котором из приемника продолжала литься музыка... Боевое товарищество могло бы многое значить. Не прошло и трех месяцев, как сердцем я был с теми, с другой стороны, представьте себе. И этого для меня было достаточно! Достаточно этого кляцанья ружейных затворов! В войне есть что-то захватывающее, если хотите, но есть также и нечто идиотское. Это чувствуешь, главным образом, уже после. Да, главным образом, после.

Клаппик рассказывал мне, что Мери жил с одной вьетнамкой, но он не сказал мне с каких пор. Я спросил:

— Давно ли Вы видели Хо Ши Мина?

— В прошлом году. Он даже помолодел. Это почитаемый всеми мудрец, в блузе цвета хаки, в сандалиях на босу ногу... Фотографии не передают ни его розовых щек, ни звонкого смеха. Он одновременно и хрупок и неуязвим, понимаете? Я думаю, что он в конце концов стал похож на своего отца. Это был мелкий мандарин; французы его прогнали, он стал костоправом и странствующим сказочником. Дядюшка Хо появляется из-за едва прикрытой двери кабинета премьер-министра. Он обнимает вас и уводит с собой. Он говорит всегда с тягучим акцентом, сильно отличающимся от азиатского лая; во вьетнамском — это акцент человека из Центра, почти крестьянский. Мне нравится его изобретательная манера говорить «Хо-Вьетский» вместо «советский»: она внушает веру, что Ленин был чуть ли не вьетнамцем, представьте себе... Всегда добродушный. Он ничего особенно важного мне не сказал. Китайские пословицы, которые он цитировал теперь против французов: «Сегодня мы, кузнечики, меряемся силами со слоном; завтра слон лишится брюха». И тихий смех. Непослушный хохолок на голове, раздуваемый вентилятором. Визит в домик садовника за дворцом, чтобы показать вам помидоры, которые он выращивает. Он говорит об американцах:

«Женевское соглашение запрещало любую новую иностранную интервенцию. Почему же они потеряли свое лицо? Для того, чтобы их прогнать, мы готовы встретить их с почестями, на красном ковре...». Добавьте к этому выжидающую улыбку. Он также говорит: «Они утверждают, что я никогда не приду в Хо Шин Шин. Я пожилой человек. Если я и не увижу воссоединения, то мои друзья его увидят, как и многое другое. Разве мог я поверить, когда мне было тридцать, в то, что французы уйдут? Разве Вьет-Конг не переживет Хо Ши Мина? Разумеется, переживет: Советский Союз пережил Ленина! Мы терпеливы, мы все терпеливы. Массированные бомбардировки начались в феврале: благодаря борьбе наш народ приобрел привычку жить под бомбами, вот и все».

И действительно, этот Тонкин с тележками рикш, с торговцами картинками, на которых белые и черные тигры похожи на кошек, с пробковыми шлемами, уже двадцать пять лет переходил от одной войны к другой и уже несколько месяцев жил под бомбами. Но Хо Ши Мин знал, что каждая разорвавшаяся бомба понемногу возвращает ему былую славу, уже начавшую оставлять его.

— К моему удивлению, — вновь сказал Мери, — он не использует, образно выражаясь, никакой марксистской тарабарщины. Это мне нравится, представьте себе.

— Сталинская тарабарщина не существовала в те времена, когда он получал образование.

Я часто думаю о Ханое. В моих воспоминаниях, довольно точных, чаще появляется озеро, а не бомбы; и еще гадалка на картах, к которой я отправился вместе с Аруссо, в то время директором французской Эколь Нормаль. «То, что я должна Вам предсказать, — сказала она ему, — совершенно неинтересно: Вы сам себя убьете». И он убил себя. Морская черепаха, вырванная из своего панциря, белая и мягкая, колыхалась в аквариуме, словно скат.

— В юности, — ответил Мери, — дядюшка Хо восхищался, представьте себе, Мишле. Как и я. И даже как Вы. Сегодня он цитирует и Жореса: «Нации — это хранители культуры человечества». Имеющий уши да услышит... Но Вы правы: он формировался в среде, где коммунистический романтизм, с длинной бородой, такой, если угодно, как у его друга Вайяна-Кутюрье, еще существовал. Дядюшка Хо изучал Маркса, но позже, главным образом, Ленина. Ленина до Маркса. Его словарь стал... национал-конфуцианским. Ключевое слово — борьба. Оно связано с удивительными вещами. Его называют «дядюшкой Хо»? Этот добрый, сентиментальный человек, рассыпающийся в извинениях, сильнее, чем Зиап, сильнее, чем все остальные. Он был способен противостоять в 1946-м огромной толпе Ханоя. Действительно ли он в такой степени рассчитывает на возраст? Его первая речь как главы государства, в 1945-м, была адресована детям: «Это праздник середины осени. Ваши родители купили вам бумажные фонарики, петарды, цветы, игрушки. Ваш дядюшка Хо разделяет с вами эту радость. В прошлом году, во время такого же праздника, вы были маленькими рабами; в этом году вы стали маленькими хозяевами свободного народа. Веселитесь! Завтра, надеюсь, вы приступите к учебе». Я цитирую более-менее точно, Вы понимаете. Но он не использует эту, так сказать... чувствительность, когда говорит с французами.

— Следует вспомнить, что когда он сказал Тьерри Арженлье, главе ордена кармелитов и в то же время верховному комиссару Франции: «Вы, христиане...», адмирал ответил: «Давайте разговаривать серьезно».

— Он называл его: «Великий Инквизитор».

Антипатия обычно бывает взаимной, и адмирал его также ненавидел. После первой встречи: «Я не позволю себя обманывать этому лицемеру. Как можно принимать эту комедию добродушия?». Когда так долго являешься врагом Франции, когда становишься таким, каким он стал; когда пришлось убить большую часть

своих врагов, когда тебя презирают так, как это делали христиане Севера, нельзя оставаться старым слезливым школьным учителем! Я предпочитаю считать его патриотом. Но его карьера — это карьера коммуниста; она была долгой; я знаю коммунистов, и слезливость не является их сильной стороной. Почему мы оставили ему Индокитай? Он не был коммунистическим! Он и не желал становиться таким! Мне докладывали, что говорил обо мне Леклерк: «Этот монах Вас обманывает, мой генерал!». Признание Хо Ши Мина было бы опасным заблуждением и очень быстро привело бы к нашему изгнанию беспощадным противником. Он довольно долго играл в прятки Ганди: Ганди был Ганди, а Сталин — это Сталин. Сегодня церковный елей перенесли в ГПУ. И этот наивный сельский священник говорил мне: «Всякий раз, когда я убивал бы вашего человека, вы убивали бы десять моих; да, да, но в конце концов я все равно выиграл бы...». Давайте разговаривать серьезно! Мы не позволим здесь установить коммунизм. И для меня не так важно, представлен ли коммунизм добродушным весельчаком патриарха или агрессивностью его друга Зиапа.

— Дядюшка Хо, — ответил Мери, — говорил, что любил Леклерка. Такое вполне могло быть...

— В глазах Леклерка он был националистом, в глазах адмирала — коммунистом. Он знал его. И все же он должен был любить прежде всего побежденных генералов... Но, в конце концов, Леклерк был привлекательным человеком, и у него были дружеские отношения с Зиапом.

Кристиан Пуше, принимавший Хо в Калькутте, с полным спокойствием заявил: «Ему следовало бы вручить наши телеграммы из Индокитая, но я не сделаю этого, так как его обманывают». Это правда, что его брат служил младшим офицером у Леклерка. Но в глубине души он не выносил генерала Зиапа.

Зиап — это сражение в Дьен Бьен Фу. «Наши люди были действительно вынуждены остерегаться его», —

сказал мне Делаттр. Уже будучи близок к смерти и в глубоком трауре по своему сыну, он сообщил мне, вернувшись из Ханоя, еще французского: «Я умолял это правительство воспользоваться моими победами, любой ценой и сразу же. Это последний шанс: война проиграна. Они ни с чем не считаются». Еще раз я увидел церемонию возле Триумфальной арки после Дьен Бьен Фу: огромная толпа, гнетущее молчание. Прошло уже десять лет.

Мери закурил новую сигарету. Вдалеке трещали петарды китайской свадьбы. В этой части света разрывы петард слабо отличались от разрывов гранат...

— В 1930 году, — сказал он, — Нгуен Ай Кок руководил коммунистами этого английского города. Как делегат III Интернационала от «южных морей». Бывший. Он должен был иметь в руках ниточки, за которые снова приходилось дергать...

— У англичан была серьезная служба безопасности. Когда я вернулся в Индокитай, они меня основательно обчистили, забрали все, что нашли в моем портфеле, — это был жестокий удар.

— А чем кончилось?

— Сегодня я думаю, что мое дело возникло из-за того, что французская служба безопасности приняла меня за какого-то политического деятеля. Недавно я нашел письмо судьи, которому одновременно передали и досье и приказ вынести осуждающий приговор. Он вернул досье. Но без труда удалось найти более покладистого судью.

— А на самом деле, Вы занимались политикой в то время?

Казалось, его голос просит прощения за такой вопрос.

— Нисколько. Я был тем, кого Вы только что называли «либералом». Марксизм для меня был философией, и, несмотря на Ленина, немного утопичной. Это связь аннамитов со мной породила мою связь с ними. Я занялся революционной деятельностью благодаря их признанию.

— Кстати, сегодня утром Вы видели здесь премьер-министра?

— Я полагаю, что он по горло увяз в предвыборных драмах. Но министр, которого я видел, разговаривал со мной не о предвыборных делах, а о том, какой была — и какой будет — политика независимого Сингапура.

Вчерашний Сингапур, усеянный, как Венеция, львами, британскими крейсерами, властителями океанов Азии, и пораженный в самое сердце неподалеку отсюда японскими пилотами-смертниками... Звездная пыль сверкала над ним, как и над Ханоем, как и над Данангом, который раньше был Тураном и где уже шесть недель высаживались морские пехотинцы. Какое-то время назад там, на самой границе с джунглями, появился первый в мире музей искусства шамов, без охранника, с вмурованными в стену скульптурами.

— Хо Ши Мин, естественно, знает, — сказал я, — что происходит в Дананге?

— Он воспринимает это иначе. Много раз передавали одну его речь на похоронах. В тюрьме один осужденный, прикованный к нему цепью, умер рядом с его телом. Он восемь лет был в партизанах. В 1944-м в первой бригаде под командованием Зиапа было тридцать пять бойцов. Да, тридцать пять... Что касается тактики, то дядюшка Хо верит только в обстоятельства. В 1945-м он вышел ненадолго из комы, сказал: «Обстоятельства наконец благоприятны!» — и снова потерял сознание. Он утверждал, что перед тем, как он создал правительство, от голода умерло два миллиона человек; мы говорим о пятистах тысячах, что, конечно же, не облегчает нашей вины. До Фонтенбло он провел несколько дней в Биаррице, ожидая формирования правительства Бидо. Позже его послание Леону Блюму было задержано в Сайгоне и отправлено только тогда, когда непоправимое уже произошло. Вьетнам родился в сарае, а его основатели сидели на бревнах. Дядюшка,

как и мы, знает, что Север, лишенный риса с Юга, не сможет избежать нищеты; он принимает нищету, понимаете. Когда он провел вашу дорогую аграрную реформу (если можно так выразиться), в 1955-м, его родная провинция восстала против него. Это была провинция, прославившаяся в истории восстанием книжников; отсюда король восставших Ле Лой отправился на освободительную войну с китайцами. Ему было известно о враждебном отношении Роя, отвечавшего в Москве за Азию, который держал его, представьте себе, за идиота. С 1961-го и до прошлого года он и Зиап были отстранены, подозреваемые в хрущевизме. Я думаю, что они прекрасно договорились с Хрущевым: у них был одинаково невинный вид и общее пристрастие к военным пословицам. Никита тоже был похож на храброго солдата Швейка...

Мне вспомнилась горячая перепалка Хрущева с генералом де Голлем: «После возвращения из Сталинграда маршал фон Паулюс вручил мне свой револьвер». «Тебе? — ответил генерал ангельским голосом. — А позже он не потребовал его назад?».

— Только в начале этого года, — продолжил Мери, — Вьетнам понял, что нуждается в дядюшке Хо. Не забывайте, что он отдал приказ подавить мятеж в Нге Ане: десятки и десятки тысяч убитых. Хотелось бы знать, сколько всего людей потеряли американцы за всю войну? Но после Дананга дядюшка сильнее, чем когда бы то ни было... И все же сражение самой мощной авиации в мире против страны без самолетов — это не шутка. В конце концов, как он говорит, мы терпеливы... Вы знаете его стихи...

Достаточно аромата одной розы,
Сохранившегося в тюрьме,
Чтобы сердце узника
Восстало против всей несправедливости мира...

Некоторые из них переполнены высокой гордостью этого скромного человека:

Мои стражники сменяют друг друга.
Это мой эскорт...

Мне это очень нравится.

— Речь идет о китайских тюрьмах?

— Мне кажется, что он никогда не был заключенным у французов. Что касается англичан, то они, по той или иной причине, с ним не церемонились. Он делает вид, что позабыл о тюрьмах. Бывает. Такое случается со всеми, хотя и не каждый день. В конце концов, часто... Вы увидите с ним?

— Думаю, что нет. А жаль!

— Да. Он — это смесь правды и комедии, или, точнее, той роли, которую он выбрал в пятьдесят лет, и... того, кем он, в конце концов, является на самом деле... Он делал вид, что сердится на Сентени, когда тот запутался, пытаясь оправдать бегство венгерских дипломатов в бочках для бензина во время событий в Будапеште. Комедия! Зиап проводил занятия с партизанами. И Хо, представьте себе, пришел его послушать. Один из командиров партизан спросил Зиапа: «Вы знаете этого странного маленького старичка, который все еще интересуется политикой?». Когда начинали падать бомбы, он заканчивал: «А теперь давайте весело завершим наш доклад!». После того, как он пришел к власти, он сделал одно очень благородное заявление, которое закончил мудрым советом: «Следует уважать алтарь предков и никогда не играть на музыкальных инструментах в их домах...». Добродетельный и опытный Старец... Но он осмелился распустить Коммунистическую партию Индокитая. Хитрость? Она, знаете ли, требует такой красивой, возвышенной твердости... После двух попыток на всех улицах Ханоя его расценивали, как предателя. Если бы Вы были намерены его увидеть и заговорили бы с ним о Дананге так, словно Вы говорите о бомбах, которые наверняка упадут на землю за время вашей беседы, он рассказал бы Вам, со своим тихим кисловатым смешком, об одном воспоминании,

вызывающем его восхищение: «Наша провинция была такой бедной, что очень часто нам приходилось есть один только рис, без рыбы. В каждой семье была маленькая деревянная рыбка; когда мы обедали все вместе, то клали ее в рис. Очень важно, чтобы было похоже». И весело добавил бы: «Когда в отеле дворца Биаррица я дожидался новой Конституции французского правительства, „Юманите" написала, что со мной обращались весьма недостойно. Пришли журналисты. Тогда я сказал им: „О, знаете, мне были известны и более тяжкие испытания..."». Тихий смех.

— Высадка в Дананге — это, может быть, не отель дворца...

— При необходимости он рассказывает другим и не такие веселые истории. Американцы берут деревню, которую их авиация превратила в пыль. На груди мертвых детей булавкой приколото что-то вроде поэмы: «Если вы прислали нам игрушки самолетом в первую бомбардировку, нам нужно было хотя бы две недели, чтобы в них поиграть...». Он не в первый раз сталкивается с американцами: он заявил, что после поражения Японии Соединенные Штаты решили отдать Тонкин Чан Кайши. За продуманной комедией скрывается болезненный тон, а его жизненный опыт очень горький. Это хорошо видно в его тюремных поэмах: «Мы сражаемся, чтобы оказаться в окопах, так как у тех, кто в окопах, есть хотя бы угол, чтобы вздремнуть» и «Чтобы стать человеком, нужно быть в чешуе несчастий». Если бы у нас переводили меньше политических текстов и больше поэм, то, представьте себе, дядюшка Хо был бы нам больше понятен. Когда адмирал Арженлье говорил, что был убежден его внешностью Ганди с прялкой, он, если угодно, не ошибался. Но в большинстве случаев обвинение в двуличии основано на том простом факте, что «этот странный маленький человек», образно выражаясь, есть «вертикальная скала в заливе Алонг».

Преображение Азии потрясает меня так же, как изменение любимого лица; страна, которую я некогда

лучше всего знал и которой желал в первую очередь обрести независимость, — Индокитай, этой страны я не увижу уже никогда. Колониальный романтизм, Мейрена, персонажи Клаппика, пиастр, автомобили вместо колясок, цератонии на улице Катина, бульвар Шарнэ, безлюдный в полдень под неподвижным солнцем; каски сержанта Бобиллота, война... Как и красные скалы, на которых Индия высекает свои поколения богов, страны великих грез в самую темную ночь мечтают о свободе.

Мери продолжал:

— Он говорит тем же тоном, но ему уже неизвестно добродушие; когда император Аннама, ставший его советником, дурачился в Гонконге, он написал ему замечательные слова: «Пожалуйста, не забывайте, что значат для нас страдания народа, который мы представляем».

В Кран-сюр-Сьерре, еще до возвращения генерала де Голя, я встретил меланхоличную императрицу в черном аннамитском узком платье, которая говорила о церемониях императорского дворца, о мандаринах, похожих на скарабеев, так же, как о придворных Версаля... Ее утонченный призрак сопровождал слова Мери:

— Раньше мы говорили, что вьетнамцы никогда не смогут создать армию, что мужество в Индокитае свойственно только людям с гор... Потом они выдержали напалм... По Вашему мнению, какие силы у них имеются в наличии, учитывая шесть недель высадки американцев?

— В прошлом году в строю было три тысячи северян, воюющих против Юга, и сто двадцать тысяч партизан; с другой стороны — полмиллиона солдат и двадцать пять тысяч американских советников.

— И дядюшка Хо все же выпутался из этого положения... Впрочем, ему не привыкать. С 1961-го по 1964-й его дела были плохи даже среди своих. Он выжидал. Он будет ждать, представьте себе. Когда-то он

писал: «На задворках тюрьмы еще держится ночь...». Во Вьетнаме всегда праздновали годовщину смерти, а не рождения. Для дядюшки все изменилось, когда Мао приезжал в Юн нань фу. Вьетнам нашел союзника и надежду, которые МЛН* нашла в Марокко и в Тунисе. Не без опасений? Разумеется. Десять процентов опасений, девяносто — надежды.

— Если отбросить красноречие, то каким будет результат для истории?

— Победа, если угодно, и свобода Севера. Он не идеолог, нет. Мне даже кажется, что он сомневается в теории. Его доктрина разрабатывалась в реальных событиях, понимаете? Я обязан думать о Мао Цзэдуне, но Хо сопровождает этого колосса с удивленным видом...

— И с бородкой, которую треплет ветер Дьен Бьен Фу. Так Польша сопровождает Россию. Мне кажется, что общим для них является то, что в свое время и на своем месте они оба решили поверить в революцию рабочих. Ту, которую у Мао совершило сражающееся крестьянство, а у Хо — Народный фронт, задолго до того, как Дмитров изобрел народные фронты. В 1925 году Сталин хотел заключить союз с Гоминьданом (Вам известен результат), а Троцкий не хотел этого. Но то, что Мао и дядюшка изобрели против всей русской идеологии, сводилось к тому, чтобы доверить судьбу революции сражающемуся крестьянству.

— Кстати, известно ли Вам, что случилось с Бородиным?

— Ликвидирован, как мне сказали. Последний раз, когда мне о нем говорили, он руководил англоязычной газетой в Москве. Следовательно, оказался в немилости. Кольцов, главный редактор «Правды», потом, разумеется, расстрелянный, говорил мне: «Он симпатичен, этот старик. Как-то он спросил меня, не могли бы мы похлопотать, чтобы он получил теплую квартиру».

* Национальная освободительная партия в Алжире.

Внучка Тимура, рассказывал Клаппик, умерла прачкой... Я видел, как Троцкому (правда, под чужим именем) объяснял идею выборов мэра—радикал в том городе неподалеку от Ройе, откуда он был изгнан: «Видите ли, господин Седов, это французская политика, иностранцам ее не понять!». По краю лужайки тащился маленький поезд, выбрасывавший из-под колес снопы искр. Может быть, Троцкий думал о доисторической ночи сражения за Казань. Мэр уехал, на столе осталась пустая бутылка красного вина, и мы гуляли по пригородной лужайке, говорили о сыне Чан Кайши, который только что произнес в Москве речь, заявив, что его отец был собакой. «Мы заслуживаем таких детей!» — сказал Троцкий. Его собственные или покончили с собой, или были убиты.

— Кем был Бородин, — спросил Мери, — «в гражданском», я хочу сказать: вне Партии?

— Журналистом, я думаю. Генерал Блюхер (Галлен в Кантоне), который и создал китайскую армию, взял Шанхай и так далее, пока Сталин не приказал его уничтожить, был водопроводчиком. Партия возвысила многих людей, как и Церковь. Это пробуждает мечты. Еще до Революции Робеспьер написал в Аррасе поэму «О чихании». Может быть, ему стоило продолжать...

— Но Вы же не считаете, что Галлен был таким же водопроводчиком, как Бонапарт в Аррасе младшим лейтенантом или как Мао в Аррасе библиотекарем?

— Бородин побежден, китайская компартия истреблена Чан Кайши, и для Хо, как и для Мао, оставался лишь один вопрос: кто совершит революцию? Крестьянский фронт или Народный фронт? И нация, разумеется. От Москвы до Ханоя путь неблизкий, много дров наломано.

— И Вьетнам — это точка, в которой, я считаю, все сходится...

— Нет, это еще не все. Следовало бы сказать многое о национал-коммунизме, дорогой Мери.

— И о том странном американском звере, который, под именем демократии, оказался лицом к лицу с ним...

— Вы видели американцев Хо Шин Шина?

— О, да!

В ночной темноте исчез его широкий и неопределенный жест.

— Тогда?

— Наши их ненавидят. Почему? Американцам нечего здесь делать? Это так. А нам... что мы здесь делали? Они верят, что защищают демократию от коммунизма? А что защищали мы? Империю, от имени МРП,* — и это было все же не очень убедительно... Решение, что антикоммунизм состоит в том, чтобы поддерживать семью Дьем, вызывает лишь недоумение. Но, в конце концов, так и было! Антикоммунистический крестовый поход американцев — это грезы наяву. А наш колониальный экспедиционный корпус — разве мы делали что-то иное? Американцы Сайгона были техасцами, если угодно: цветными, крикливыми, смелыми; но, в конце концов, разве наши пьеро, в белой одежде, прекрасно выглаженной их слугами, оправдывали оккупацию Индокитая? С тех пор, как прибыли американцы, слуги-вьетнамцы, которые были известны нам своим лаем, стали немыми. Американцы серьезно ввязались в войну, в которую сами больше не верят: даже идиот джи-ай** понимает, что нельзя управлять судьбами мира, закрепившись в Тростниковой долине. Они смотрят, как пролетают их бомбардировщики; они изумлены, что военная мощь, сокрушившая гитлеровскую Германию, не может одержать верх над армией босяков, с которой они никогда раньше не встречались. Но самое любопытное — это, представьте себе, то, что происходит с нами. Наша война (не такая уж и старая!) стала чем-то вроде гражданской. Если вы

* Народное республиканское движение голлистов с 1944 года.

** Джи-ай (G. I.) — американский солдат.

показываете французские документы, вьетнамцы вас пропускают. Впрочем, враждебность наших людей к американцам слабеет, потому что они уже не думают, что американцы выиграют ту войну, которую они проиграли...

— А Вам известна позиция Франции? — спросил я.

— Ваш генерал не всегда был прав в том, что касается Индокитая, но в данный момент он прав. Хо соперничает с Великим Походом тем, что никуда не движется, покуривая, так сказать, американские сигареты и прогуливаясь по Северу со своим шарфом и своей портативной пишущей машинкой. Может, он надеется на еще один Дьен Бьен Фу? Если угодно, он верит в окончательную победу коммунизма. Но главным образом он верит в то, что отныне его люди вцепятся в свою страну и никто не будет над ними господствовать, даже китайцы. Если американцам суждено взять Ханой, пусть они возьмут его! Чан Кайши взял Пекин, было такое. И все же он его потерял. Дядюшка Хо должен увидиться с Мао Цзэдуном в конце года, и он рассчитывает на Индию.

— Но что может Индия?..

Неру говорил мне: «Между колониальной державой и нацией, которая сражается за свою независимость, я всегда выберу последнюю». Тем не менее я не оговорился, спрашивая, что она может. Я продолжил:

— Вы помните о беседе Хо Ши Мина с Кийоши Комацу сорок лет назад?

— Нет. Комацу это японское имя. Японцы их ненавидят!

Разве Мери были известны японские лагеря? На улице Смерти я вспомнил о наших бретонских кладбищах с колокольнями, за день зарастающих голубыми цветами. Для Мери японцы были, наверняка, охранниками (а кем были французы в лагерях для интернированных, для наших испанских друзей?). Для меня — это Нара, несомненно, самая изысканная цивилизация

в мире; живопись Таканобу, песчаный Сад Пятнадцати Камней; единственный цветок, распутившийся на стебле бамбука в келье дзэнского монаха. Для Мери Комацу — это «японское имя»; для меня — мой переводчик и мой друг, самурай, умерший в своем сельском домике за холмами, у входа в который он написал две пары китайских иероглифов: «Очистите ваши сердца». Для адмирала Арженлье Хо Ши Мин был «шутком и патриархом»; для Леклерка — «человеком, с которым Франция должна договориться». И адмирал и генерал уже мертвы.

В Фонтенбло я принимал президента Любке. Никогда еще немецкий президент не приезжал во Францию после войны. Он слыл за любителя музыки; во время обеда Рампаль и его музыканты играли на королевской трибуне, и я попросил, чтобы последняя часть состояла из немецкой музыки. Когда дошли до этой части, президент произнес дружеский тост. Какая муха меня укусила? Я должен был сказать в ответ что-нибудь о демократии и тому подобное. «Господин президент Немецкой республики (беспокойство среди помощников: почему «Немецкой»?), мне довелось лечиться в больнице, где оказалось много ваших солдат. Однажды молчание захлестнуло весь наш обычный шум, даже стоны раненых: по радио начали передавать „IX симфонию“... Поэтому в этом зале наших королей, где только что прозвучала музыка Баха и где Франсуа I принимал императора Карла V, я поднимаю свой бокал за немецкий гений...». Все были в восхищении («аплодисменты и звон бокалов», сказал бы Клаппик) и на несколько минут тень Вердена исчезла в одобрительном удивлении...

Ночные запахи Сингапура, принесенные мягким ветром, захватили наш дворик: автомобили, перец и китайский опиум, а также, может быть, аромат леса. Госпожа Любке рассказала мне, пока Рампаль играл Баха, о том времени, когда она, молодая активистка партии социалистов, оказалась в Буринаже вместе с женой

Вандервельде. Та спросила несовершеннолетнюю девушку: «Что Вы думаете о королеве Астрид?» — «Она очень симпатичная, но слишком много думает о карьере». Я полагаю, что она хотела сказать: «слишком любит» или «слишком очарована королевской властью».

Я вспомнил о Вандервельде.

Он был похож на Мазарини и после смерти Жореса являлся самым выдающимся оратором из социалистов. «Вы знаете, люди — это любопытные животные. Я был председателем Палаты. Ярость нарастает, хлопают пюпитры, я умоляю депутатов — и все совершенно напрасно. Я добиваюсь перерыва заседания. Когда оно возобновляется, я заявляю, что прежде чем продолжить дискуссию, Палата должна обсудить закон о почтовых голубях. Депутаты почти все были голубятниками. Когда закон был принят, они больше уже не сражались...» Я рассказал Мери историю о голубях в ответ на его восклицание по поводу Японии.

— В Фонтенбло, — сказал он, — дядюшка Хо жаловался журналистам, что не имел случая с Вами встретиться...

— Бидо не осуждал эту неотложную встречу. Это подразумевалось само собой.

— Знаете ли Вы, что там, в замке, ныне азиатский музей императрицы Евгении?

— Это в каком-то смысле моя профессия.

— Черный охранник дремлет среди сокровищ, украденных в Летнем Дворце, паланкин короля Камбоджи; вход — два су, ни одного посетителя... Музей еще существует?

— Да. Всегда пустой. Мне жаль, что среди экспонатов Летнего Дворца нет автоматов, украденных зуавами. Им их, видимо, так и оставили...

— В детстве он меня ослепил, и он, представьте себе, не был бесплатным, когда я уезжал в Азию. Клаппик говорил об историческом романтизме; мне был знаком когда-то романтизм... географический, если угодно. Нужно было плыть на корабле двадцать

семь дней, чтобы добраться до Сайгона, и пятьдесят два дня, чтобы пройти от Сайгона до Луанг Пробанга, Вы знаете...

Запахавшееся суденышко поднималось по Меконгу. Его капитан, младший лейтенант с усами Мервингов, во время обеда вставал, начиная рассказывать очередную историю, и повторно погружался в свою тарелку в конце. Мери связывал этот Индокитай с Вьетнамом благодаря Хо Ши Мину. Игривый дядюшка Хо и победитель, задувающий свечи авантюристов, папуасы, превратившиеся в призрачные карго; проститутки с острова Черепахи, Кот в сапогах с Суматры («Он ловит мышей лишь ради развлечения...»), королева Сирикит из Таиланда, красота которой соблазняла генерала де Голля; остановившиеся часы на Борнео, коммунизм, обещающий шляпы и фейерверк; Тимур и его внучка, улица Смерти, Рено де Шатильон, Мейрена и фильм Клаппика. Мери рассказывал о Хо Ши Мине, как Клаппик рассказывал о Мейрене, и тем не менее, если бы я поехал в Ханой, я встретился бы с ним, как только что встречался с Неру. В глубине ночи дышала огромная Азия, и все ее медленно исчезающее прошлое революция выметала как легенду. Когда-то я слышал, как жители Хо Шин Шина, в час абсента, говорят о Мейрене; на следующей неделе я услышу Мао Цзэдуна. Одна-единственная жизнь.

— Когда я первый раз увидел Валери, — сказал я, — он спросил меня: «Какого черта Вас интересует этот Китай?».

— Он писал, что пейзажи везде одинаковы, как и дома (что мне кажется ложью), и что люди тоже повсюду одни и те же.

— Согласимся один раз с Клоделем, — сказал я, — у которого было хотя бы то преимущество, что он знал несколько континентов...

Теперь мы были уже одни во дворике.

— Мне кажется, — сказал Мери, — что в этих случаях «везде» значит «всегда»: история соединяется с географией, образно выражаясь... Всегда материнская любовь? Всегда измена? Да. Но не всегда одна и та же. Всегда смерть? Да. Но всегда ли и повсюду одна и та же? Всегда? Вы приехали с улицы Смерти? Мне об этом сказал Клаппик. Она ничуть не похожа на наши кладбища. Я, очевидно, не считаю, что все формы жизни должны быть похожи друг на друга. Но различие между аннамитом, камбоджийцем и французом, между мужчиной и женщиной и, прежде всего, между мной сегодняшним и мной же вчерашним тревожит меня так же, как и сама жизнь...

— Я и сам испытываю то же чувство, о котором Вы говорите, и довольно сильное, — сказал я. — Возможно, именно оно сначала и толкнуло меня в Азию, в другой мир. За сорок лет я никогда и не пытался создать образ реальной женщины или ребенка... Я достиг возраста, в котором появляются мемуары у всех известных людей. И я, как и Вы, озадачен, когда вижу все эти жизни, движущей силой которых были столь разные вещи: действие, искусство, женщины, амбиции, вера...

— К счастью или нет, я, как и Вы, испытал все это. У жизни действительно есть движущие силы. Но есть и нечто иное. Жизнь во времени? Гете все еще кажется мне значительной фигурой, а «Вильгельм Мейстер» кажется теперь лишь эпизодом: я не могу воспринимать свою жизнь как единое целое, образно выражаясь, как целое, в котором... Мне не подобрать выражения...

— Случайность становится опытом?

Манера Мери зажимать между пальцами нижнюю губу, когда он предавался размышлениям, заставляла его наклоняться вперед, к свету; наклоняться так, что тень разочарования, которая, казалось, принесла в эту

ночь столько воспоминаний, вырывала из темноты лишь его встревоженное лицо.

— Вот именно. Обычная, традиционная жизнь, взятая в целом, жизнь, которая заканчивается в семейной постели! Но, в конце концов, я провел свою жизнь не хуже и не лучше, чем кто-нибудь другой; так вот, всякий раз, когда я сталкиваюсь с более глубокими вещами, я понимаю, что над ними совершенно не властен. Я понимаю, как Гете воспринимал нашу жизнь. Я прекрасно его понимаю, потому что, в сущности, он был натуралистом: согласно его концепции, мы воздействуем на вещи, а вещи, в свою очередь, воздействуют на нас. Но все же я прекрасно помню, что был тщеславным юношей с непомерными амбициями, обращался, как идиот, с девушками, которых знал. Я стал относительно щедрым (я все еще получаю письма от своих наследников в Тонкине), безразличным к амбициям, деньгам, ко всему подобному; и мне не кажется, что все это было восхождением по какой-то лестнице, игрой в теннис между событиями и мной, Вы понимаете? Психоаналитические теории ставят более драматичную задачу...

— Потому что они выражают судьбы людей. Эдип здесь ни при чем...

— ...но они для меня больше не убедительны. Мне не кажется, что, в сущности, я был в руках того, что Вы называете судьбой, представьте себе. (В некоторых случаях — да, но не в целом.) И я не был «сформирован» своей жизнью... Нет. Возможно, что некоторые... данные, очень мало изученные, будут воздействовать на наш разум так же, как и на наше тело: старость, например, которая является не упадком, как в это все уже давно верят, а равнодушием, вместе со всем, что это равнодушие предполагает...

— Мой дорогой Мери, я спросил Алена, прикованного артритом к своей коляске, что значит возраст с его точки зрения. Это привело его в гнев. Тем не менее я считаю, что Вы правы; хотя говорить здесь о ста-

рости мне кажется рациональным, все же это мне не нравится. Вопрос в том, как мы становимся тем, что мы есть? Это, несомненно, главная психологическая проблема нашего времени. Соперник проблемы любви. Но половина мировой литературы имеет отношение к любви, тогда как то, о чем Вы говорите, едва изучено, Вы сами это сказали. Любовь помогает жить, тогда как понимание нашего становления, несомненно, не помогает даже умереть...

— Но не считаете ли Вы, что поставили только что два вопроса, которые совершенно нельзя смешивать друг с другом? Первый был бы таким: как юность постепенно скатывается до представлений о жизни, свойственных охотнику? На языке технического, мой дорогой профессор: как человек подчиняется высшим ценностям? И второй, более близкий к истине, звучал бы, наверное, так: что такое наша жизнь?

— Какой там профессор... Это не имеет значения: мне теперь кажется, что, несмотря на наши претензии, наша жизнь устроена так, что ее смысл всегда от нас ускользает, так же, как он ускользает и от животных...

— Но мы изобрели гробницы. Мы, а не львы.

— Это так. Я хотел бы написать такую книгу мемуаров, какую должны были бы написать буддисты, но так никогда и не написали: десяток глав, в которых я всегда был бы чужд персонажу предыдущей главы, понимаете? Осознание нашего единства — не является ли оно просто осознанием нашего тела?

Я собирался сказать: «Может быть, осознание смерти нашего тела, так как всякий человек чувствует себя одновременно и смертным и бессмертным», — но Клаппик сказал мне, что Мери долго не проживет, и я ушел в сторону:

— Буддизм, вероятно, сильнее всего ставит под сомнение существование индивида. Вопрос, который Вы задаете, — это, по существу, западный вопрос; Будда ответил бы, что такой вопрос вообще не стоит. И он на

него, между прочим, ответил. Религия без бога — это не пустяки.

Я вспомнил Неру и статуэтку Будды на его невысоком столике, а также речь, которую он посвятил «самому великому из сынов Индии»: «Чтобы помочь людям выжить, должен быть и иной путь, отличный от того, каким идут люди моего рода и моей профессии...». Я вспомнил его цитату: «Нам известно искусство убивать, а не искусство жить». А также Будду и его опекуна перед неподвижным телом: «Мой принц, это тот, кого называют мертвецом».

— Я не буддист, — ответил Мери, — но я пропитан буддизмом. Это вполне обычная вещь: в моей Нормандии многие люди, не придерживающиеся обрядов, даже не верующие, пропитаны христианством.

— У Жида, другого нормандца, Ваша книга вызвала бурные чувства и, наверняка, гнев! Но Вы не ошибаетесь, утверждая, что всякий индивидуализм предполагает постоянство какой-то существенной особенности... В это отношении буддизм еще не дошел до Европы...

— Я никогда не напишу эту книгу, Вы прекрасно это понимаете... В конце концов, вот что я думаю сам о себе: ребенок, юноша в капюшоне, человек из Индокитая, а сегодня — человек из Сингапура, на пороге смерти; я понимаю себя так глубоко, так фундаментально (и все это так бесполезно!), что, видите ли, если даже я умру, как собака под забором, то и это меня не страшит. Здесь христианская концепция становления человеческого существа почти непонятна. Азия переходит от буддизма к марксизму, не принимая ее в расчет... Впрочем, существует ли она? Христианство придает больше значения не тому, чем мы все становимся, но тому, чем мы были.

— Это не так. В эпоху веры христианин сказал бы: «Человеческое существо формируется в борьбе против Греха, при помощи Благодати и посредством молитвы».

— Но это было давно, Вы же знаете!

— Да, частично Ваше представление о юности — это юность в какой-то засаде. Я не оспариваю его, но наши величайшие святые его никогда не принимали... Для них поезд уже стоял на рельсах... Однако Ваша проблема остается нерешенной. За пять лет драма юности, которую мы наблюдаем в Голландии, в Калифорнии, в Японии, коснется большинства университетов; очевидно, это обратная сторона той же медали. В целом, Вы желаете одного: представить, как человек становится Человеком, которого он носит в себе, а не агрессивным длинным головастиком, которого он также носит в себе, не так ли?

Нас окружал шум и скрежет города. Я верил, что понимаю буддизм. Но я не забыл ни своего разговора с Неру, ни его мечтательного утверждения: «Может быть, Истина и будет моей высшей ценностью, но совершенно точно, что без нее я не смогу обойтись...». Мери наконец ответил:

— Была ли моя жизнь напрасной или нет, но я хотел бы понять перед смертью, чем же она была... Последовательностью событий? Нет. Каким-то постоянством? Для кого-то другого, если хотите. Но для меня? Для кого я был юношей в капюшоне, если я не выбираю своего существования? И каково мое отношение к нему? Вы писали, что не были солидарны со своей юностью. А я, с чем солидарен я? Со своими прогулками по улице Смерти перед тем, как она исчезнет или исчезну я сам? Вы также писали: «Природу людей определяет природа памяти: те, кому она несет счастливые воспоминания, и те, кому она навязывает воспоминания тягостные, отличаются друг от друга так же, как мужчины и женщины». Ведь так?

— Так оно и есть, дорогой Мери.

— Те из нас, у кого есть ангелы, и те, у кого есть демоны, если угодно. У меня, скорее всего, демоны. Вы знаете, я не люблю задавать вопросы. Я считаю, что настоящие вопросы задают самому себе. Но пятьдесят лет здесь не прошли безнаказанно. Мои друзья или те,

кто мне их заменял, говорят, что чувствовали себя всегда подобными себе самим. Они говорят, что жизнь других проходит перед нами как сон. Это так. Но моя жизнь — она также проходит передо мной словно сон. Оригинальные буддийские тексты не говорят, как греческий: «нельзя войти дважды в одну и ту же реку». Речь идет не о том, чтобы искупаться, и не о том, чтобы смотреть, как течет вода; мы, представьте себе, вечно находимся уже в потоке.

— Я никогда не распространял это на самого себя, на свое «я». С одной стороны, буддизм действительно заставляет вас принять что-то вроде... прерывности. С другой стороны, всякая религия перевоплощения предполагает вечность земного мира, или, если мы понимаем ее не столько метафизически, сколько в более обычном смысле, вечность человеческого существа. В эту вечность Будда и желает ускользнуть, дорогой Мери. Самый глубокий конфликт мышления — это противоположность перевоплощений настоящей смерти: перевоплощения предполагают вечность условий творения, совершенно отличную от Неба и Ада, Елисейских полей или загробного мира... Каким удивительным был тот день, когда человек начал верить, что он вечен! Шедевр великого художника, безусловно, ставит перед нами схожую задачу, как только мы поймем, что искусство никогда не подражает жизни. Рембрандт в двадцать лет еще не знает о картинах, которые он напишет в шестьдесят, как и молодой человек не знает того человека, которым он станет... Но произведение искусства, в крайнем случае, можно подправить, а жизнь уже не исправишь...

— Теперь мне кажется, что то, что Вы называли «уделом человеческим», вызывает у меня, представьте себе... ужас.

— Да. Хорошо сказано... Но этого недостаточно.

— Я жил на одном опиуме, а когда опиума не было, на одном виски, — странная компенсация, потому что

алкоголь, как Вы знаете, оказывает обратное действие. В конце концов дела и у меня и у других пошли так, что опиум стало трудно доставать. Я не мог больше поддерживать свою жизнь; но я, конечно же, и себя не убил. Вы понимаете, Мальро? Мой буддизм, моя Азия вращается вокруг этого весьма простого факта, как эти священные насекомые роятся вокруг лампочек. Вот так.

Он стал говорить медленнее, будто произносимые слова вызывали боль. С самого начала нашей беседы я хотел определить его интонацию. Внезапно я понял: это был голос жертвы. Я спросил, с некоторым сожалением:

— Может, Вы предпочитаете, чтобы мы говорили о другом?

— Нет-нет, я очень люблю такие отвлеченные диалоги. Я не прав. Мне нравится наша беседа; может быть, у меня уже не будет такой возможности. Хотя...

Он сделал непонятный жест по направлению к волнам теплого ветерка, к маленькому бассейну дворика:

-- Вы помните индуизм: как каждая волна отражает луну в соответствии с формой волны, так и каждый человек отражает Сущее...

Мое отношение к миру было противоположным. Я не воспринимал человека как отражение Сущего; для меня он даже не был связан с Богом в том смысле, в каком человек связан с Христом. Меня сильно привлекал диалог человека с тем, что к нему не имеет отношения: со звездами, которые следят сверху за его судьбой в лагерях смерти и скорби...

— То, что я думаю о Сущем, ускользает от меня, — сказал он. — Иногда я хотел бы умереть, лишь бы узнать, что же я думаю о жизни. А иногда — умереть, лишь бы освободиться от всякой мысли. Но как можно вообще не думать?

— И все же, Вы пишете?

Я вспомнил о его превосходной книге об Индокитае в связи с одной болезнью, которую я так часто встречал, но только у писателей: с болезнью художников, у которых достаточно таланта, чтобы вполне легитимно заразиться своим искусством, и недостаточно, чтобы найти в нем удовлетворение.

— Писательство чередуется с опиумом немного лучше, чем алкоголь. (Об этом виски вообще не стоит говорить!) Все это позволяет мне терпеливо продвигаться к смерти: от строчки к абзацу, от трубки к трубке, от беседы к беседе (присутствие друга тоже наркотик), от бабочки к бабочке... Я вижу, как уходит Азия; я вижу, как ухожу и я сам: я вынужден сопровождать Азию... Вы знаете, я и не заметил, как достиг своего возраста. Есть только одна проблема: как не думать о жизни. Жидкая смесь глупости и тщеславия решает эту проблему. Почему тщеславие имеет такую же силу, как и смерть, Мальро?

Эта манера называть по фамилии своих собеседников была свойственна ему и раньше. Я уже позабыл о ней. Он обнаружил ее, когда наш разговор стал интимным. Это выражение не было механическим, как «господин» Пруста, как «друг мой» у многих других; это было что-то вроде вызова. Он продолжал:

— Исключая, разумеется, то время, когда оказываешься лицом к лицу перед гробом; разумеется, фундаментальные вопросы вновь встают перед смертью, прежде всего, перед страданием... В своей юности, представьте себе, я думал, что у меня позже еще будет время поразмышлять о существенном. Я был глуп, Вы меня понимаете. Теперь я знаю, что ни за что не хотел бы размышлять о существенном. Я просто болтаю перед лицом смерти. Каждый день она задает мне вопросы, понимаете? Я полагал, что мог бы ответить ей... или мог бы сам задавать ей вопросы... Я полагал, что мог бы подумать над ответом. Теперь я надеюсь умереть до всяких размышлений: о существенном думают в полном одиночестве; я стараюсь прогнать эти мысли... Настоящий раз-

говор — это очень важная вещь, но позже Вы увидите: мы думаем, что мы вдвоем, а разговоре всегда участвуют трое... Я провел столько лет среди людей, с которыми не мог ни о чем говорить! Мои обязанности были в какой-то степени важными, если угодно. Но разговаривать с главой бонз Камбоджи — в этом еще был смысл, Вы же понимаете; тогда как с нашими чиновниками разговор был или бесполезным, или чисто техническим...

Он пожал плечами, но не презрительно и не утомленно, и я догадался, что он улыбается:

— Я хочу поговорить с Вами о смерти, которая для меня уже не за горами. Какое счастье для человечества ничего ни в чем не понимать!..

Смерть, которая уже не за горами... Знал ли он, что она уже рядом, или произнес эту фразу так же, как произносил ее я сам? Я вслушивался в слова этого ночного призрака... Кот проявил признаки беспокойства. «Иди, поиграй», — сказал Мери ребенку, который углубился в тень вместе с Чернышом.

— К чему я стремился столько лет? К женщинам. И вот, если я думаю о женщинах, которых любил (многие еще живы), я думаю о кладбище, Мальро. Половину из них я позабыл. Когда я это обнаружил, у меня волосы встали дыбом... Как Стендаль, я чертил на песке инициалы моих бывших любовниц, представьте себе. Что с ними случилось? Одни сошли с ума от ненависти. Другие сошли с ума из-за денег. Бог свершил бы свой Страшный суд, если бы отдал меня в руки тех женщин, которых я любил, в час моей и их смерти. Напротив инициалов тех, которые плохо кончили, я ставил крест. Были одни лишь кресты. Остальные умерли.

Этот виноватый голос выпустил в ночь тысячелетний кортеж насмешек. Слово одна из этих женщин отвечала: «Я назначаю Вам встречу в час Воскрешения, когда мы тоже увидим, кем стали мужчины, которых мы любили...». «Бог свершил бы свой Страшный суд, если бы...» — сказал Мери. О какой беспомощности напоминало это проклятие! Беспомощности, веками

скрывавшейся под звездами, под рассыпанной в космическом мраке пылью... «Любовь не является страстью, достойной уважения», — говорила мне когда-то Колеетт. Любовь или то, что приходит ей на смену?

Если Мери доверял мне до такой степени, то не в память о нашем товариществе, а потому что он меня не очень хорошо знал; не только пьяницы доверяются незнакомцу. Мне с давних пор приходилось встречаться с людьми, которые, казалось, смущаются своей должности. Иногда, между прочим, это были незаурядные люди. Но Мери, похоже, говорил о чем-то другом. О человеке. Один раз я уже слышал подобное, в совершенно иных обстоятельствах. В России мой служебный самолет был вынужден сделать посадку. Мы провели ночь в колхозе пососедству и до полуночи болтали со старыми коммунистами, ответственными работниками, приехавшими не знаю откуда. Мы говорили лишь о том, что Мери называл «существованием». Один крестьянин, словно сошедший с иконы, сообщил мне так же доверительно, как и один из моих соратников позже, в 1940-м: «Женщина, она в конце концов всегда поладит и с животными». Мы больше никогда не встречались. Диалоги мертвых. Может быть, и Мери я больше уже не встречу. Но он останется для меня незаменимым. Хо Ши Мин — это История, даже если она погружена в ночной мрак. Хотя Мери и не был Историей, он был связан с ней. Своей дружбой с вьетнамцами и дядюшкой Хо, войной. А также всей своей судьбой, невысказанной в XIX веке, чуждой XXI веку; чуждой и горну в сенегальских казармах, и ближайшему поколению небоскребов. Человеческая жизнь во времени похожа на исторические биографии: одновременно и неповторимая и анонимная, такая же, как у многих других. Необычная теплота братства, интимность Жизни. Его женщины, да, его привязанность к ребенку, его ласковые игры с котом, его диалоги со старостью... Сколько пожилых друзей говорили мне то же самое, слово в слово. Сейчас я слышал

то, что говорил его отец, хотя не видел даже его фотографии; и я знаю, что сказал бы его сын, если бы у Мери он был. Тонкая линия судьбы, уходящая вдаль, в ночной сумрак, в котором раскачивается в своем невидимом кресле Британская империя.

— Там могла бы быть и другая свита, — сказал я, — женщины, с которыми мы порвали, если они умерли, когда мы их еще любили...

Несмотря на ночную темноту, я почувствовал, что он на меня посмотрел. Он сделал жест, смысла которого я не понял. Несколько мужчин вместе с женщинами в вечерних платьях, возвращаясь с приема, пересекли полосу света, расстилавшуюся перед нами, и исчезли в холле, словно в горниле метаморфозы, измены или забвения.

— И родились вновь, — сказал он, — после тридцати лет, прожитых вместе... Но когда я думаю... о течении своей жизни, я никогда не думаю о них... Женщины не являются вехами моей жизни. Ничто не является вехой в моей жизни, Мальро. Однако мне случалось, вместе с нею, вместе с другими, думать: может быть, она умрет на следующий год... Такие примеры, если хотите, бесполезны...

Казалось, его жалобный голос становился нейтральным: без всякого акцента или, скорее, с единственным акцентом — акцентом воспоминания.

— И Бинх? — спросил я.

Это была та вьетнамка, о которой рассказывал мне Клаппик и которую Мери любил намного сильнее, чем свою жену.

— Когда она умерла, я хотел покончить с собой. Но не сразу. Через два или три месяца. Я не сделал этого. Опиум и буддизм? Если угодно. Я ошибался. Сократ принял смерть с ясным рассудком; не более того. Мне кажется странным, что никто из великих римлян не узаконил самоубийства: очевидно, потому, что все они покончили с собой. Как и никто из великих людей других цивилизаций.

— Есть Достоевский. «Если я убью себя, то стану царем», — говорит его Кириллов.

— Я хотел бы услышать: довольно! Самый простой мир (такой, какой был у римлян) — и самоубийство, вместе с этими историями о царе, понимаете меня? Уже само слово «самоубийство» меня смущает. Я удивлен, что ни один человек не убьет себя, чтобы это решить; что никогда не существовало цивилизации, где человек сам решал бы, когда и как ему умирать. Мы ничего не решаем в своей жизни, и этого, мне кажется, уже достаточно. Я легко представляю ответ: если жизнь идиотская, то почему смерть должна быть разумной? Восклицание «Не все ли равно?» выражает, возможно, не менее глубокое чувство, чем надежда — и даже чем тщеславие, одно из самых поверхностных, но в то же время жестоких чувств... Вы знаете, что Ваш друг, Лоуренс Аравийский, приказал вырезать на воротах своего коттеджа в Клаудз Хилл слова: «Все-равно» (на греческом)?

Сказав это, он повернулся ко мне.

— Лоуренс не был моим другом, — ответил я, — и видел его я всего лишь раз.

— В конце концов он, кажется, так и не узнал о смерти своей возлюбленной... Это... великий человек, Мальро. Был. Но мы говорим о жизни. Наша эпоха желает верить нас, что она не знает смерти. По правде говоря, она играет в прятки.

— Кажется, Рим действительно пренебрегал смертью, хотя, как Вы говорили, он никогда ее не выбирал.

— Был один серьезный вопрос (Вы знаете, мне не было еще и пятидесяти): «В чем смысл нашей жизни?». И я сейчас пытаюсь извернуться так, чтобы этот вопрос не вставал. Когда-то я еще мог играть в соблазнителя... Сегодня я лишь говорю и говорю... У меня, представьте себе, много воспоминаний об исчезнувшем мире. А я мечтаю, с помощью виски и снотворного, вздремнуть хоть ненадолго. Часто единственная

важная вещь — научиться не думать: постель, чтение... Поэзия помогает заснуть, Вы не замечали? Стихи сами приходят в голову:

Раскрой, словно гробницу, свою одинокую постель
И засни сном побежденных и мертвых.

Если бы я был победителем, то что бы изменилось? Обнаружил бы я это «Все равно», как сова, привязанная у входа в сарай? Я ошибаюсь, если хотите, но в отношении кого? Вы знаете, «Все равно» — это болезнь, которая еще неизлечима... Иногда я думаю, что смерть — это пули на войне, которые были ко мне безразличны. Иногда это стихи Виктора Гюго:

Я чувствую, как мой вечер одевается в звезды...

Иногда смерть совсем коротка. Пусть она придет в хороший день! Вам не кажется странным, что она так часто сторонилась физической смелости?

— Такая смелость почти всегда противопоставляет нас другим людям, а смерть — нет. Но почему смелость (и смелость ли это?) весит так же тяжело, как и абсурд? Почему жертва имеет такое значение, дорогой Мери? Почему мы можем сказать (а я твержу об этом уже давно), что в мире, где ничто не может компенсировать страдание невинного ребенка (Вы знаете, я цитирую Достоевского), любой акт трагического героизма или любви является загадочным соперником этих страданий? Я собираюсь написать воспоминания или что-то вроде них. После того как я был взят в плен немецкими танками, я лежал на полу в отеле, пока меня допрашивали; хозяйка, седоволосая женщина, стояла между двумя немцами, оравшими во все горло: «Есть у Вас это, есть у Вас то?» — и отвечала так же громко: «Нет». Затем она принесла поднос с дымящимся шоколадом, встала на одно колено в луже моей крови (не так-то легко стоять на колене, держа поднос в руках), спокойно сказала тем, кто меня допрашивал: «Это для пленного французского офицера» — и ушла

прочь. Я подумал тогда, что если меня через несколько часов расстреляют (уже рассветало), то это не имело бы уже никакого значения.

— Может быть, дело здесь в простом волнении?

— Частично. Когда мы освобождали женщин из лагерей смерти (в каком состоянии!), рядом с бойцами мы часто находили старух, которые оказались там потому, что племянник или сын попросил их забрать передатчик. Начиная с сорок четвертого они знали, чем рисковали. Но они и не помышляли о том, чтобы отказаться. Они не знали даже этой спокойной агрессивности хозяйки с шоколадом на подносе. Ничего. Вот так. И мы поняли, что сражались ради того, чтобы освободить этих женщин, по крайней мере, тех, кто выжил... В этом было немного смысла, если сравнить со спиралевидными туманностями, и тем не менее...

— Это так, — ответил он. — Я Вас понимаю. С точки зрения разума, без эмоций, мне сказать нечего. Вам тоже, но я Вас понимаю. И мне кажется, что речь идет о чувстве более глубоком, чем христианские. Хотя... Не испытывал ли его один римлянин?

— «Скажите в Лакедемоне: „те, что лежат здесь, умерли согласно закону"». В Фермопилах тоже была женщина с подносом, а мы, несомненно, ведем речь о том же неписаном законе, о котором говорила Антигона.

— Да... С одной стороны, все подвластно времени, иными словами: наше чувство, что мы лишь творения, если хотите. С другой, добрая женщина, которая знает, что ее шоколад может привести ее в Равенсбрюк. Вы правы. Но я все больше и больше восприимчив к тому, что исчезло, к тому, что исчезает. Я все больше и больше воспринимаю великие коллективные страсти как изменчивые облака. Старая хозяйка отеля? Нет, я не верю в нее, а вот в коммунизм — да. Из всего, что я любил, исчезли только женщины... Когда я писал эту несчастную книжку, которую Вы когда-то помогли из-

дать у Галлимара (я был переведен!), я писал, чтобы быть опубликованным, представьте себе. Я не перечитывал ее. Азия прежних дней?..

— В ожидании войны, — сказал я.

— В ожидании войны. Бои шли в храмах Бали, сражались возле Боробудура и Ангкор Вата. Но что думали о жизни подданные Джайяварнама VII, когда они наблюдали шествие короля, разукрашенного золотом, и что думают ополченцы Сиханука? Нет ощущения, что одни думали о буддизме, а вторые — о коммунизме: они заразились буддизмом, коммунизмом, национализмом так же, как заразились бы малярией.

— Для великих религий и даже для русского или китайского коммунизма здесь были рождены миллионы людей. Они ничем не должны были заразиться.

— Должны были: есть наследственные болезни, Вы же понимаете. Человечество — это жертва эпидемий, образно выражаясь. Через сто лет другие друзья будут говорить здесь, держа в руках другие бокалы, о коммунизме и о национализме, как мы можем сейчас говорить о Будде, когда тот оставил дворец своего отца...

— Я видел площадь Согласия, покрытую знаменами со свастикой. Теперь их там нет и площадь снова стала такой, какой и была. Но мы больше никогда не увидим порта Джонок, мы никогда не услышим, как ночь в открытом море заполняют звуки сирен, потому что Сингапур никогда не станет таким, каким он был, когда мы увидели его в первый раз. Также и Азия. Как дорогие Клаппику и консулу авантюристы, она принадлежала миру, в котором Наполеон мог разговаривать с Сезострисом; миру улицы Смерти. Вы использовали слово «метаморфоза»; бабочка не станет снова гусеницей.

Улица Смерти напомнила мне рассказы Клаппика о Гитлере. Ферма Айсне или Ойзе, темнота, вечные звери, почти такие же вечные поля и Гитлер, съездившийся в своем деревянном кресле, прислушивающийся к горну Истории перед тем, как ему придется вслушиваться в лязг гусениц русских танков над бункером в

Берлине. Бункером, где он подозвал к себе свою преданную собаку, чтобы убить ее...

Как только Мери начал говорить о времени, во мне проснулось то же самое чувство, какое я испытал у консула, перед масками тайных братств. Мери скрестил на столе руки, и ночью этот жест был похож на молитву:

— Чувство, что некоторые вещи уже никогда не вернуться? Да. Я пришел в этот отель в первый раз пятьдесят лет тому назад с одной шведкой, представьте себе, чемпионкой я уж не помню в каком виде спорта. Нам дали комнату на первом этаже. Вместо дверей тогда были жалюзи, вроде тех, что сейчас вокруг нас. Я прохожу перед комнатой и слышу звук пощечины. Другая комната, опять пощечина. «Раффле» притягивал гнев всех семейных пар Сингапура. Как только мы легли спать, я это понял.

— Не были ли эти пощечины предназначены москитам, о чем мы говорили с Клаппиком?

— Верно! Сегодня, как Вы установили, москитов нет. Что касается бабочек, то давайте об этом поговорим... Я коллекционировал их, затем продал коллекцию, чтобы закруглиться со своей отставкой. Не из-за того, что у меня вкусы продавца цветов, как многие думают. Впрочем, о моей отставке... теперь меня отправила в отставку сама жизнь, Мальро...

Он рассеянно посмотрел на одну из больших электрических ламп, освещавших галереи двора: их плафоны были словно зернами забиты мертвыми мотыльками, а рядом жужжали те, которым еще предстояло погибнуть. Он продолжал:

— Когда меня освободили, я начал интересоваться... природой, если хотите. Мне кажется, что мы начинаем разговаривать с нею, когда начинаем говорить со смертью. Возможно, я обобщаю... Впрочем, даже с моей точки зрения, природа, образно выражаясь, иногда игнорирует наше волнение, но иногда отвечает на него. Огромные коллекции генерала Дежена были со-

браны солдатами во времена наполеоновских войн... Часто из-за бабочек я пересекаю пролив и отправляюсь в лес. Животные, знаете, их почти не видно... Я один, лицом к лицу с растениями, Вы понимаете. Это я и называю природой: не жизнь животных, не жизнь камней, которые вызывают во мне ощущение смерти, и не переполненное звездами небо, на которое я вообще не обращаю внимания. У растений одна жизнь, как и у меня. Более медленная? Платан тем не менее живет лишь триста или четыреста лет... Знаете ли Вы, что на половине территории Азии, несмотря на такие различия в климате и почве, есть года, благоприятные для бамбука, и года неблагоприятные? Гармония природы раскрывается перед нами прежде всего во временах года. Но она принадлежит своему особому миру, миру, который окружает меня, но для которого я не существую. Я плохо передаю то, что хочу сказать, но Вы меня понимаете. Есть растения, которые сами себя оплодотворяют, а есть такие, представьте себе, которые могут размножаться только если пыльца, летящая из Си-ама или с Явы, доберется до них. Почему я не стал ботаником? Растения интересуют меня больше, чем собаки и кошки. Насекомые могли бы меня увлечь: их фантастические формы, их жизнь в земле, под корой, во мху...

Я вспомнил о бабочке, которую я представлял сидящей на носу царицы Савской.

— И потом, многие насекомые внушают мне отвращение. Бабочки же почти все красивы. И страсть коллекционера тоже сыграла свою роль, если хотите. Вы знаете историю о придворном советнике, который украл редкое насекомое у скромного коллекционера. Последний сначала заметил, что его посетитель уходит, и побежал за ним на лестницу. Тот же нагло ответил, что должен следить за своей внешностью. Придворный советник неосторожно приколол насекомое к своей шляпе, представьте себе! Что касается меня, то я вначале не был маньяком. Я полностью изучил чешуе-

крылых ради них самих: понимаете, сегодня нельзя изучать природу в целом, необходимо избрать свою лазейку, чтобы войти в ее мир. Предки бабочек появились на земле двести шестьдесят миллионов лет тому назад; средняя жизнь бабочки не превышает двух месяцев. На земле они наследники растений и цветов. Большинство из них можно назвать оседлыми. Но существуют и мигрирующие виды (мы предпочитаем говорить о путешественницах, так как они не возвращаются туда, откуда пришли), стаи которых внезапно покрывают корабли или садятся на волны океана. Наполеон жаловался на сфинксов со Святой Елены. Есть бабочки, добирающиеся с экватора до мыса Норд...

Я видел, как на фоне огромного айсберга из почти разрушенного ангара, в котором Нобель на Шпицбергене укрывал свой дирижабль, вылетают маленькие бабочки.

— Их находят даже на горных вершинах в Гималаях. Они видят только на метр перед собой: своих самок они обнаруживают, потому что те испускают запах. У них есть только оборонительное оружие, прежде всего, это, очевидно, мимикрия. Здесь каллима более удивительна, чем хамелеон; гусеницы *Nypsa mopicha*, чтобы образовать мясистые ложные ягоды, собираются в комки, похожие, представьте себе, на маленькие дыни. Ядовитые бабочки становятся яркими, как только приближается птица. Их оборона заключается в том, чтобы сказать ей: «Тебя не обманывают, идиотка!». Они, если хотите, зажигают свои маяки. Есть фантастические бабочки: атланта (это бабочка шелкопряда), которая прилетает, чтобы погибнуть возле витрин Елисейских полей, всегда напротив электрической лампы; здесь некоторые бабочки обожают табак и кружатся возле вашей сигары, если вы прогуливаетесь ночью (они не знают электричества). И, вероятно, огромная проблема: инстинкт. Вы знаете, что гусеницы следуют друг за другом, одна за одной,

затем две за двумя, затем три за тремя и так далее. Вы убираете предводителя: другая гусеница занимает ее место и процессия снова отправляется в путь. Есть что-то гипнотизирующее, неисчерпаемое в терпеливом изучении любой жизни, непохожей на нашу. Почему бабочки так себя ведут; как насекомые, имеющие здесь золотую окраску, становятся белыми в пустыне Гоби; почему богомолы, коричневые в Африке, становятся зелеными возле Средиземного моря? Здесь калао, птица-носорог, питается плодами стрихноса, дерева стрихнина. Их ядрышки содержат один из самых сильных ядов, которые только существуют. Птица питается мякотью, никогда не ест ядра. Адаптация — это гораздо более загадочное явление, чем выживание самых приспособленных; чему в таком случае подчиняется эта природа, похожая на гигантского хамелеона? Вы знаете джунгли: эмпирически невозможно, чтобы люди здесь выжили, если учитывать, что они здесь могут есть и что они умирают, если съедают это. Они окружены ядами, понимаете. Требуется, чтобы работал инстинкт, Мальро...

— На симпозиуме 1958 года, — сказал я, — один из самых известных специалистов, Алдан или кто-то другой, прервал диалог вопросом: «О чем мы говорим? Если это Бог, то давайте так его и назовем!». Разумеется, эта проблема является главной лишь для агностика.

— Почти все биологи — агностики. Я — тоже, если угодно...

Я почувствовал, что он смотрит на меня и ответил:

— Алдан был прав. Но слово «Бог», как и почти все важнейшие слова, предполагает много значений: Творец, Судья, Любовь... Сказать, что «мир имеет смысл», как утверждает Эйнштейн, значит сказать, что «существует мировой порядок». То есть ничего не значит. Но почему необратимая смерть индивида, смерть животных и растений не может быть частью этого порядка? Почему бы вере в гармонию космоса не быть судьей человеческих добродетелей? Предположим...

Когда мы находимся в джунглях, проблема инстинкта становится главной, потому что для агностиков она на самом деле является одной из форм проблемы Бога. Перед его лицом что весит сама История, на весах которой взвешиваются судьбы людей? Кто такой Александр Македонский перед лицом того простого факта, что люди едят то, что они должны есть, чтобы выжить? Или того факта, что некоторые семена обладают маленькими парашютами, которые их переносят в нужное место? Природа семени несет в себе знание об устройстве парашюта? Перед лицом всего этого мы просто бабочки, более высокомерные, чем перед лицом божества...

— За свои труды, если я осмелюсь так сказать, я и не жду никакого ответа. Я не ждал бы его, даже если бы был молод, представьте себе. Его нет. Я пытаюсь, если угодно, вникнуть в один вопрос. Это не вопрос, который я сам поставил; это вопрос, который ставят передо мной, понимаете?

— В области метафизики, дорогой Мери, вполне допускается, что наша мысль будет в своих основах вопрошающей. Можно построить лестницы для того, чтобы взбираться на вершины пирамид, а другие — чтобы спускаться в глубины земли. Само собой разумеется, что существуют степени этого вопрошания. И всякое мышление, принимающее Бога за объект (существующий уже немало тысячелетий), является частично вопрошающим, знает оно об этом или нет. Но в области религии и, может быть, в Вашей, это вопрошание, как я считаю, является чем-то вроде причастия.

— Наблюдение над природой соединяет нас с нею, мысли о Боге соединяют монахов с Богом...

— Разве этот диалог не изменил Вашего отношения к искусству?

— Я не настолько много думаю об искусстве. Я пробовал размышлять над тем, о чем мы говорили: я не добрался ни до вопрошания, ни до причастия, ни до искусства; я добрался до какого-то диалога, который мне

показался важным, но его смысла я на самом деле не понял. Мне говорили, что я был на волосок от смерти; я спрашивал себя, что же это изменило. Ничего.

Непреодолимая усталость овладела его голосом:

— В конце концов, когда я буду ложиться, будет уже три часа... Вскоре наступит еще один день. Еще один день...

Хотя я слушал его очень внимательно, мой собеседник был увлечен чем-то более сильным и более заразительным, чем слово. Он вновь начал говорить другим тоном, так, словно вдруг обнаружил свою потерянную мысль:

— Каждый день я читаю газету. Вы ее знаете. Городская газета и даже старые «Страйтс Сеттлментс» не играют здесь большой роли; это новости из Бирмы, из Таиланда, с Суматры, с Борнео, с Явы и даже из далеких стран, потому что здесь много китайцев и индийцев. Эти новости часто оказываются военными. Пока я читаю заголовки, в памяти встает моя коллекция чешуекрылых. Это были, прежде всего, бабочки из той же самой Малайзии, из Бирмы, из Таиланда, с Суматры, с Борнео, с Явы — из тех же мест, что и новости газеты. Другой мир, если хотите; точнее, другой смысл мира. Такое же чувство я испытываю, когда думаю о женщинах во время войны. Обо всех мужчинах, которые уже так давно на войне, и обо всех женщинах, которые так же давно продолжают свою женскую жизнь. Но бабочки, очевидно, производят на меня гораздо более сильное впечатление. Иногда они к нам присоединяются: кровавые дожди средних веков — это были мириады красных капелек, сброшенных бабочками нимфалиды-ванессы. Мои бабочки имеют свои острова, такие же, как наши нации. Жизнь, которая не похожа на нашу, но которая также является жизнью, которая превращает нашу жизнь в чистую случайность. Здесь, в Азии, я странно себя чувствую: рядом с бабочками человечество кажется мне каким-то необычным. («Ну его к черту!» — как сказал бы

Клаппик.) Какая-то авантюра, Мальро. Вы понимаете меня?

Я думал о другой фразе Клаппика: «Он умрет в этом месяце». Вернулся Черныш, вслед за ребенком прыгнувший в круг света над столом. Я ответил:

— Такое чувство я когда-то испытывал, но не рядом с животными; перед лицом смерти, точнее, когда угроза смерти уже миновала. После того, как мой самолет прошел через циклон, и иногда во время войны. Не после моих ранений. И не после симуляции казни в Грама́ (немцы поставили меня там к стенке). Тем не менее я считаю, что мое чувство все же отличается от Вашего. Самым важным я все же считаю следующее: каков смысл мира? Следовательно, это чувство в глубине связано с сознанием. В определенных границах, так как любая метафизика стремится достичь целостности. Скажем, что моя проблема — это проблема мира, проблема познанного Бытия, а Ваша — это проблема жизни, согласны? Есть один священный текст в Индии, в котором огромные бабочки после битвы садятся на погибших воинов и на дремлющих победителей...

Где-то неподалеку залаяла собака. Я не слышал лая собак с тех пор, как уехал из Индии. На улице я не видел ни одного животного. Другие собаки ответили ей. Ночной воздух, насыщенный влагой и каким-то непонятным ароматом, казался осязаемым, словно туман.

— «На погибших воинов и на дремлющих победителей», — эхом повторил Мери. — Восхитительный текст! Дядюшка Хо, разумеется, не знал этого текста, но он написал в ответ: «Если бы узники не просыпались, кто сумел бы отделить добрых от злых?». Сон — это не жизнь, но — прислушайтесь, собаки умолкли? — мне кажется, что здесь я обращаюсь к природе жизни, которая продолжалась бы, даже если бы все люди исчезли.

Я не ответил. Я опять думал о Клаппике, о немецком кинематографисте, о Гитлере и его собаке, которые

сжимались под рокотом русских танков, — и о тысячетлетних бабочках. На поверхности маленького бассейна еще сохранялись отблески луны. «Как каждая волна отражает луну в соответствии с формой волны, так и каждый человек отражает Сущее...»

— Тем не менее, — сказал он, — я хотел бы, представьте себе, снова увидеть снег прежде, чем умру...

Возвращаясь в консульство, я вспомнил о туземцах Океании, которые били в пустые бидоны, вызывая божественные самолеты: бабочки наверняка садились на эти сверкавшие на солнце бидоны, как садятся и сейчас, хотя они уже давно брошены на полянах...

Прежде чем лечь в постель, я пробежался глазами по обеим сценам Клаппика. Последнюю он читал громким голосом. Не во дворике ли этого отеля и сидел Мейрена за плетеным столом, не здесь ли следовали друг за другом заявления и бедствия этого призрачного короля? Губернатор Рэймс был его предшественником... Но монолог в «Мертвой крысе» был написан банальным языком: там ничего не осталось от колдуна, которого король седангов призывает в часы ночного недомогания. Клаппик, говоривший голосом Мейрены, не переставал импровизировать. В конце концов, разве сама эта комедия дель арте менее удивительна, чем его красноречие?

Как когда-то в порту собирались грузовые суда, так теперь на аэродроме стояли небольшие самолеты для полетов на острова. Больше не будет капитана Конрада. Но все острова еще, кажется, вращались вокруг Сингапура, от Таиланда до Сулавеси, и даже, может быть, от Индии до Китая...

Наш авиалайнер отправлялся в Гонконг. Тихий океан. Там есть остров под названием Бале Камбанг, подаренный мне Эдди дю Перроном, которому я посвятил «Удел человеческий». Он умер, когда немцы входили в Голландию. Он считал всю политику фальшивой, недействительной, как, думаю, и Историю. Это был мой

лучший друг. Мне говорили, что теперь голландцы считают его одним из своих великих писателей. Что теперь стало с плантациями его семьи? И с его «Письмом Освободителю», адресованным Шариару? Он не верил в политику, но он верил в справедливость... Что стало с моим островом? Увижу ли я его прежде, чем умру, благодаря доброй воле Сукарно? Там, кажется, много кокосовых пальм. Мне нужно было спросить Мери, не знает ли он этот остров. Нужно было также спросить у Сукарно, принадлежит ли он мне до сих пор.

Эдди дю Перрон говорил мне, что «Королевская дорога» ничего не стбила и была бы беззащитна перед критикой, если бы не стала фантастическим прологом к появившимся вслед за ней книгам. (Одной из этих книг был «Удел человеческий».) В самолете я перечитал одну сцену из моего романа. Клаппик был вправе думать, что во многих отношениях мой персонаж Перкен был порожден Мейреной. Точнее, тем, что объединяет Мейрену с исчезнувшим типом авантюриста. В 1929 году еще не было известно, что он был *фарфелю*. Его черты смешались с чертами Брука, ставшего раджей Суматры, и с чертами тех, кто осмеливался, как Меркьюроль, оставаться без оружия в непокоренных племенах.

Книга и персонаж родились в размышлениях о том, что может человек противопоставить смерти. Отсюда тип бездеятельного героя, идущего на риск пытки ради единственной идеи, которая у него была, а еще, может быть, ради того, чтобы остановить свою судьбу, потому что риск пытки казался ему единственной победой над смертью.

Потом пытка перестала быть романтической. Нам остались лишь бездеятельные герои. В 1965 году над Тихим океаном я думал о молодом человеке из 1928 года, который мерил шагами палубу грузового судна в проливе Мессины, в одном из самых красивых мест в мире, и сияющим итальянским утром размышлял о

том, каким будет этот персонаж, или, скорее, этот холост.

Стюардесса принесла нам газету. Это были «Страйтс», о которых говорил Мери. Подо мной повсюду кружились бабочки и наверняка те ширококрылые белые стрекозы, которых я когда-то видел на камбоджийских холмах. Еще ниже — убитые солдаты, с открытым ртом лежавшие поперек улиц во вьетнамских деревнях. За нашим самолетом шли тяжелые бомбардировщики, летевшие с острова Гуам. Я летел над лесом, таким же непроходимым, как и в прошлом веке. Правитель, дававший клятву жрецам муа, был изгнан, и никто из вьетнамцев его не заменил. Французские войска заняли (для чего?) «дикие высокогорные плато». Затем они ушли оттуда. Мы переключились на аннамитский канал. Вот эти плато, на которых еще лежит тень Мейрены.

А вот, немного дальше, и Дананг, который раньше был Тураном; вокруг порта — неподвижный американский военный флот.

V

1

Гонконг

В зале генерального консульства я был один. Все окна выходили на залив. Теплый влажный туман шел на штурм небоскребов, врезавшихся в имперский «фронт воды» времен «Завоевателей»,* небоскребов, окружавших и осаждавших мыс; от кораблей и джонков этот туман оставлял лишь серые силуэты под растрепанном небом. В 1958-м я проезжал через Гонконг, отправляясь из Индии Неру в Японию. Обильная растительность, как и прежде, водопадом обрушивалась с ажурных балконов китайских отелей на тысячи лавочек с фарфоровыми безделушками и антиквариатом, расположившихся на Квинз Роуд. Я вспомнил один день 1925 или 1926 года. На берегу залива стояла прекрасная погода, воздух дрожал синевой. Колониальная администрация сумела помешать всем типографиям Сайгона напечатать газету «Молодого Аннама» «Индокитай» во времена хищений в провинции Бакльеу. Активисты подняли старые газеты, а я отправился к единственному от Цейлона до Шанхая литейщику покупать печатный шрифт в миссию в Гонконге. Я вернулся в Сайгон с буквами английского языка, без диакритиков. Печатать было нельзя. Однажды пришел один рабочий-аннамит и вытащил из своего кармана завязанный узлом платок, углы которого торчали слов-

* Роман А. Мальро, написанный в 1928 году.

но уши кролика: «Это только „е". Есть еще диакритики заостренные, волнистые, а также полукруглые. Что касается трем, то это будет труднее. Может быть, вы сумеете без них обойтись. Завтра рабочие принесут все диакритики, какие смогут найти». Он высыпал на мрамор спутавшиеся как булавки буквы, выровнял их края умелыми пальцами печатника и ушел. Вслед за ним пришли и его товарищи. Все знали, что если бы их поймали, то осудили бы не как революционеров, а за воровство.

Прошло сорок лет. Вот подо мной крыша здания той миссии...

Еще ниже, возле самого моря, в спешке разбираются гигантские строительные леса из бамбука, так как их уносят тайфуны, а один тайфун как раз бродит вокруг острова. Я снова увидел китайнок в узких вышитых платьях времен Нанкина и старых торговок с култьями вместо ног. Вот и авантюристы, которых Клаппик уже не мог найти в Сингапуре: они были китайцами. И я только что слушал истории, подобные тем, что я слышал в Шанхае еще до 1930 года. Корабль слепых, прибывших к монахиням после того, как им удалось сбежать из Кантона. Этот побег, наверняка, был организован полицией, желавшей от них избавиться. Молодые китайцы с Борнео, приехавшие участвовать в строительстве нового Китая: отвратительный вид, без единого су в кармане; они нашли прибежище у миссионеров, заставлявших их работать на фабриках по изготовлению петард, а те воровали эти петарды ради забавы. И джонки, переполненные затаившимися пассажирами, которых капитан заставляет прыгать в воду (дно джонки открывается), если его судно осматривает народная милиция или полиция англичан...

Передо мной, на той стороне залива простираются «новые территории», вплоть до черной гряды скал, закрывающей горизонт: коммунистический Китай. Он дает о себе знать даже в городе — строгим контролем

над всеми профсоюзами и красочным показушным магазином, который он только что здесь открыл. Вообразите в роскошном Монте-Карло «Самаритянку» коммунистической Европы. Красный Китай продает то, что он делает. Вещей немного, но каждая будто говорит о себе: это завоевано. На заднем плане — атомная бомба; на переднем — спартанские улыбки продавщиц. Даже игрушки здесь отличаются строгостью, а арсенал самой лучшей коммунистической домохозяйки выглядит как жертвенник перед портретами Мао и изображениями Великого Похода.

Над этой свалкой матерчатых чемоданов и термосов, над всем этим Базаром Городской гостиницы, которым народные демократии всегда гордятся, возвышаются мифологические изображения. Чемоданы и мебель у капиталистов не такие грубые, как у тех; но кто сумеет переправиться через огромные реки, преодолеть тибетские снега? Через четверть часа то, что здесь продается, исчезает перед масштабом их грез. Если милиционеры (преданный партии юноша и героическая девушка) представляют социалистический реализм, то почти все изображения Великого Похода выполнены в традиционном китайском стиле. Для миллионов людей, скопившихся на скалистом побережье Гонконга, необъятные пространства за черной линией горизонта — это не страна народных коммун, высоких доменных печей и гигантских заводов, и даже не страна атомной бомбы, а страна Великого Похода и его вождя. Так и Россия по ту сторону Триумфальной арки была не страной колхозов, а страной Ленина и Октябрьской революции.

Прощай, Сингапур и его щупальца, его острова, его Таиланд. Прощай, Вьетнам и его вероломная война; прощай, Хо Ши Мин. Здесь начинается большая игра, из пыли создается самая великая империя мира. То, что выражают эти изображения, — больше, чем Индия, больше, чем Советский Союз и Америка: это Рим.

Великий Поход насчитывает не больше двадцати тысяч выживших: восемьсот, как говорят, «ответственных работников». Другая сторона залива переполнена грезами так же, как Рамаяна — грезами Индии, как Олимп — грезами Греции.

Все начиналось с побед.

Осенью 1928-го VI Конгресс в Москве определил, наконец, место и роль крестьянского движения.

Это был конец первого раскола. Родились красные армии: мятежи в армиях Гоминьдана следовали один за другим, и мятежники присоединялись к Мао в горах Цзин Ган. Но его продовольственных запасов не хватило бы и на одну армию.

В январе 1929-го главный генерал Мао Чжу Дэ прорвал блокаду и присоединился к другим красным войскам. В декабре весь юг Цзянси был завоеван, и в одной из провинций было образовано первое советское правительство.

Гоминьдан, создавший правительство в Нанкине, выставил против сорока тысяч Мао сто тысяч человек Первой карательной кампании. Посредством маневренной войны, в результате которой главным силам красной армии всегда противостояли изолированные колонны противника, пропущенные Мао в глубь своих территорий, а также благодаря поддержке населения, армия Нанкина была рассеяна за два месяца.

Через четыре месяца во Второй карательной кампании участвовало уже двести тысяч человек, разбитые на семь ударных групп. Та же тактика, те же результаты.

Через месяц Чан Кайши сам принял командование над армией в триста тысяч человек. Армии Мао в течение пяти дней атакуют пять колонн, захватывают значительное количество техники и оружия, и в октябре Чан Кайши возвращает войска Третьей карательной кампании.

Создается советское правительство Китая под председательством Мао.

В декабре 1931-го двести тысяч солдат Нанкина переходят на его сторону. Красная армия начинает свое собственное наступление. В 1935-м Нанкин бросает в бой Четвертую карательную кампанию, теряет тринадцать тысяч человек в одном только сражении и наблюдает за гибелью своей лучшей дивизии.

Однако советники Чан Кайши (среди которых были фон Фалькенхаузен и фон Сект, бывший ранее начальником Генерального штаба немецкой армии) приняли участие в кампании и извлекли из нее уроки. Для Пятой карательной кампании. Нанкин собрал почти миллион человек, танки, четыреста самолетов. Мао выставил сто восемьдесят солдат, приблизительно двести тысяч народных ополченцев (вооруженных пиками!) и четыре самолета, захваченные в Нанкине. Ни бензина, ни бомб, ни артиллерии и совсем немного боеприпасов. Чан Кайши больше не продвигался в глубь советской территории: он окружил ее дотами, Китайской стеной, которая стягивалась к центру. Красная армия осознала, что она попала в ловушку.

Не тогда ли Мао и подумал о Яньане? Япония объявила Китаю войну, и Мао тогда пожелал стать символом защиты китайского народа, так как Нанкин гораздо меньше сражался с японцами, чем с коммунистами. Для этого следовало завоевать Север, территорию, где шла война; однако вначале красная армия отходит на тысячи километров в глубь Тибета. Несмотря на множество препятствий, несмотря на вражду кланов, несмотря на то, что некоторые деревни целиком переходили на сторону противника, Мао утверждал, что все крестьянство Китая на его стороне, при условии, что оно это осознает. Где-то все равно найдется район, подходящий для учреждения коммунистического правительства, как ранее нашелся он в Цзянси. Несомненно, в Великом Походе было что-то авантюрное, что-то близкое походу Александра Македонского, который по характеру был похож на Мао. Но прежде всего, следовало *выбраться*. В этих пустынных местах

красная армия, постоянно подвергавшаяся бомбардировкам, уже потеряла шестьдесят тысяч солдат.

Девяносто тысяч мужчин, женщин и детей пытались прорвать блокаду, как это сделал Чжу Дэ в горах Цзин Ган. Постепенно передовые части армии становились партизанскими соединениями. 16 октября, сконцентрировавшись на юге, она приступом взяла вражеские укрепления и повернула на запад. Великий Поход начался.

Мулы были нагружены пулеметами и швейными машинками. Армию сопровождали тысячи людей без оружия. Сколько их осталось в деревнях — или на кладбищах? Арсенал был пуст, разобранные машинки бросали на обочине (затем на протяжении десяти тысяч километров их будут находить засыпанными землей вдоль дорог). Партизаны с пиками с красной кисточкой на конце, в шапках с зелеными ветками, раскачивающимися словно перья, выдержали еще какое-то время, некоторые даже три года. Войска Нанкина их уничтожили, а армия Мао бежала.

Через месяц, преследуемая авиацией, она прошла через девять сражений, пересекла четыре линии дотов и сто десять полков. Она потеряла треть своих людей, сохранила только свою военную технику и несколько передвижных типографий и прекратила продвигаться на северо-запад (это сбило с толку противника, но сильно замедлило движение). Чан Кайши соединил свои войска за Янцзы и разрушил мосты. Однако сто тысяч человек вместе с артиллерией поджидали Мао у реки Гэцзю. Красные разгромили пять дивизий, провели собрание своего Центрального комитета во дворце губернатора, завербовали пятнадцать тысяч дезертиров и организовали молодежные отряды. Но известную по стихам «реку с золотым песком» они так и не преодолели. Мао повернул на юг, прошел за четыре дня двадцать километров от Юн нань фу и встретил

там Чан Кайши, который двигался в Индокитай. Это был отвлекающий маневр, так как основная часть армии двигалась на север, чтобы переправиться там через реку.

Это была река Дадухэ, через которую переправиться было не легче, чем через Янцзы, и возле которой когда-то была разбита последняя армия тайпинов.* Чтобы добраться до нее, нужно было еще войти в огромный лаотянский лес, в который китайская армия еще никогда не вступала. Однако несколько красных офицеров, служивших в Сычуане, только что освободили вождей племени лоло,** и Мао вступал в переговоры с этими мятежными племенами так же, как с жителями деревень, в которые входили его солдаты. «Армия правительства — это наш общий враг». На что племена ответили просьбой об оружии, которое Мао и Чжу Дэ отважились им дать. После этого лоло провели красных через свои леса, в которых авиация Нанкина потеряла их след, вплоть до паромов на Дадухэ, которые они вместе с лоло внезапно захватили.

Переправа армий этими паромами потребовала бы нескольких недель. Авиация Чан Кайши, следившая за рекой, обнаружила их колонны. Его армии обогнули леса и вскоре были готовы вступить в бой. В это время в Нанкине уже говорили о похоронах красной армии.

Существовал только один мост, дальше по реке, между крутыми обрывами, над быстрым потоком. Форсированным маршем, под бомбами, в бурю армия выдвинулась вдоль реки, на поверхности которой ночью отражались тысячи факелов, привязанных за спинами солдат. Когда авангард войск добрался до моста, он обнаружил, что половина настила была сожжена.

Напротив стояли вражеские пулеметы.

* Участники крестьянского восстания в Китае (1850—1864).

** Племя, занимавшее почти неприступные горы Юньнаня и других провинций Юго-Западного Китая.

Всему Китаю известны фантастические устья его великих рек, крики хищных птиц, такие же яростные, как и вода, зажатая между острыми скалами, протыкающими насквозь низкие тяжелые облака. Его воображение не перестает поражать эта ночная армия факелов, огни мертвецов, принесенных в жертву богам реки; и эти колоссальные цепи, протянутые через бездну, словно к вратам ада. Как и на мосту Ляодуна, на этом было девять цепей, которые поддерживали настил, а также по две опорные цепи с каждой стороны. Когда настил сгорел, осталось лишь тринадцать кошмарных цепей: моста больше не было, только его скелет, растянувшийся над дико грохочущим потоком. Поэтому, как устроен его двойник, можно догадаться, что небольшая часть настила осталась нетронутой, как и один рогатый павильон, за которым начали трещать пулеметы.

Пулеметы красных приступили к работе. Под сеткой свистящих пуль добровольцы, повиснув на скользких цепях, звено за звеном, раскачивая свои тела для броска вперед, стали продвигаться по мосту. В тумане виднелись только белые фуражки и портупеи. Один за другим они падали в грохочущую воду, но ряды бойцов, висящих над пропастью, раскачивающихся своим усилием и благодаря порывам ветра, неумолимо продвигались к участку, где сохранился настил. Пулеметы без труда добирались до тех из них, кто держался за опорные цепи; но кривая из девяти цепей, с гранатами за поясом, защищала тех, кто висел под ней. Самая большая опасность поджидала их в тот момент, когда они, добравшись до фрагмента моста с настилом, попытались подняться, подтянувшись на руках, и не смогли этого сделать иначе, как вдевтером сразу. Пленники потом будут рассказывать, что оборона была парализована внезапным появлением людей на цепях на середине моста; может быть, большинство наемников, привыкших сражаться с тибетскими «разбойниками», вооруженными каменными ружьями, не

захотело вступать в рукопашный бой с воинами, которые на их глазах совершили легендарный подвиг. У первых добровольцев, выбравшихся на мост, было время забросать своими гранатами стрелявшие наугад пулеметы. Вражеские офицеры приказали разлить бочки с парафином на последние доски настила и поджечь их. Слишком поздно: нападавшие уже пересекли огненную завесу. Пулеметы с обеих сторон реки замолчали; враг отступал в лес. Армия прошла, а бомбардировка с самолетов оказалась неэффективной...

Это самое знаменитое полотно красного Китая. В Коммунистическом универмаге я сначала увидел картину переселения, местами потрепанную: крестьянская армия шла впереди безоружных людей, косо, как бурлаки, наклонившихся к земле; масса таких же, как в разделенной Индии, сторбленных людей, но исполненных решимости вступить в какой-то неизвестный бой. Пять тысяч километров и освобожденные по пути деревни: некоторые — на несколько дней, другие — на несколько лет; эти наклонившиеся к земле тела, казалось, встают из могил Китая, а висящие над горловиной реки цепи протянулись через саму Историю. Цепи везде связаны с ночной стороной воображения. Они были также и тюремными цепями: в Китае они использовались в тюрьмах еще совсем недавно, и их изображение выглядит как идеограмма рабства. Эти несчастные, сраженные пулей, падали, разжав руки, и вся китайская нищета до сих пор смотрит, как их руки раскрываются над вечно грохочущей пропастью. За ними следуют другие, но их руки еще не раскрыты. Во всех китайских воспоминаниях ряды бойцов, висевших над пропастью, медленно продвигавшихся вперед, к своему освобождению, казалось, раскачивали те цепи, к которым веками были прикованы...

В этом знаменитом эпизоде погибло все же меньше людей, чем выжило. Армия добралась до района, где дотов Нанкина было еще не так много, и перехватила

инициативу в сражениях. Но предстояло еще восхождение на заснеженные Великие Горы. В низинах Китая в июне было тепло, но на высоте пять тысяч метров стоял мороз, и люди с Юга, одетые в хлопок, стали умирать. Горных троп не было; армия должна была сама проложить себе дорогу. Две трети животных армейского корпуса погибло. Бесконечные горы, а вскоре и бесконечные мертвецы: маршрут Великого Похода можно проследить по скелетам, похороненным под пустыми сумками: и тех, кто навсегда остался лежать перед пиком Пера Грез, и тех, кто обогнул вершину Большого Барабана (у китайцев барабан всегда бронзовый) по вертикальным отвесам над бездонной горной пропастью. Смертоносные тучи скрывали богов в тибетских снегах. Наконец, армия, покрытая с ног до головы инеем, добралась до полей Нао-юэня. Внизу все еще было лето...

Оставалось сорок пять тысяч человек.

IV Армия и колеблющиеся советские власти Сунбэня дожидались Мао. Красные собрали под свои знамена сто тысяч солдат; но после разногласий, благодаря которым наступление Нанкина оказалось удачным, Мао отправился в Великую Степь с пятьюдесятью тысячами. Чжу Дэ остался в Сычуане.

Великая Степь — это был также и лес, и источники девяти великих рек, но, прежде всего, обширные болота, занятые независимыми племенами. Королева манцзы* приказала сжечь живым любого, кто вступит в контакт с китайцами, красными или нет. Мао не сумел с ними договориться. Пустые хижины, исчезнувший скот, ущелья, где обрушивались скалы. «Одна овца за человеческую жизнь». Оставались поля с незрелыми хлебами и гигантские репы, каждая из которых, как говорил Мао, могла накормить пятнадцать человек. И сплошные болота.

* Так китайцы и европейцы называли племена низкорослых китайцев и на Севере и на Юге.

Армия шла вперед, проводниками были местные жители, взятые в плен. Некоторые из них бежали, бесследно растворяясь по пути. Бесконечный дождь на бескрайних лугах и неподвижная вода под белым туманом или под мертвенно-бледным небом. Чтобы защититься от дождя, белые фуражки заменили на большие солнечные шляпы. Облака плыли над самым болотом, и лошади проваливались в бездонный ил. Ночью солдаты дремали стоя, связанные вместе как охапка хвороста. Через десять дней добрались до Ганьсу. Войска Нанкина перестали их преследовать или просто заблудились в болотах. Под командованием Мао было не больше двадцати пяти тысяч человек. Еще один военный парад: солдаты в вывернутых наизнанку звериных шкурах. Ряды оборванцев прошли между камнями под потрепанными знаменами, похожими на знамена наших маки.

В Нанкине были собраны новые войска, при поддержке кавалерии китайских мусульман, которые должны были «покончить с красными». Но никакое войско наемников не могло сразиться с этими добровольцами, несмотря на их истощение, несмотря на то, что последний противник отрезал их от баз красных в Шэньси. Лошади, захваченные у татар из степей Китая, позже станут кавалерией Юннаня. 20 октября 1935-го у подножья Великой Стены всадники в шляпах из листьев, верхом на маленьких волосатых лошадях, похожие на доисторических воинов, присоединились к трем советским армиям Шэньси под командованием Мао. У него осталось двадцать тысяч человек, из числа которых семь тысяч шли за ним еще с юга. Они прошли десять тысяч километров. Почти все женщины умерли, дети были брошены на произвол судьбы.

Великий Поход закончился.

Когда мы заходим в Коммунистический универмаг, когда смотрим на горы за «новыми территориями», на народный Китай, то все это — его последствия. И Мао

был бы немыслим без него. От нации оставался один лишь позор, от земли — один лишь голод. Но если десятки тысяч погибших или дезертиров были заменены другими, то десятки тысяч отсутствовавших соратников не были ни погибшими, ни дезертирами. Они остались позади потому лишь, что принадлежали к третьему сословию крестьянского Освобождения. Во многих провинциях гражданская война, вспыхнувшая после Великого Похода, должна была продолжаться еще два года и останавливать вражеские дивизии, иногда целые армии. Репрессии в Цзянси (миллион жертв) оставили крестьянство провинции без права голоса, но с ненавистью. Великий Поход принес надежду двумстам миллионам китайцев, и эта надежда не исчезла вместе с последним бойцом. Эта фаланга оборванцев, за которой шли следом последние нищие, сыграла роль кавалерии Аллаха: подойдя к Великой Стене, она объявила войну Японии. Военное поражение закончилось политической победой. Везде, где проходила красная армия, она становилась «защитницей китайских крестьян». И Китая.

В одиннадцать часов вечера, в порту, который я пересекаю на сампане,* электричество в небоскребах погашено, словно во времена первой забастовки. В заливе остались лишь «цветочные корабли», украшенные лампочками, несколько огоньков на китайских улочках и световой пунктир дороги к мысу. На воде, в городе джонок продолжается своя тоскливая жизнь. Кажется, что здесь и не знают, что происходит на земле, и путешественники много раз описывали здешний беспорядок. Этим вечером лишь несколько теней скользят от одной джонки к другой. Резные носы кораблей следуют друг за другом, пересекая улицы сампанов. Зажигаются тусклые лампы и снова гаснут.

* Дощатая плоскодонная лодка для грузо-пассажирских перевозок в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Лодки, везущие торговцев, идут с прожектором, как некогда плавали торговцы по озерам императора. И кажется, что высокие корабли с разукрашенными носами, которые уже никогда не увидят моря, ведут друг с другом тайную переключку; ночь скрывает ветхость их парусов в виде крыльев дракона, бывших когда-то парусами самого большого флота в мире. На рассвете, когда медленно начнет пробуждаться огромный Китай, небоскребы снова с грохотом отправятся в атаку на мыс; антиквары, как и в любой другой день, снова повесят над своими обесценившимися сокровищами фотографию Чан Кайши с фотографией Мао на обратной стороне, которую они, когда потребуется, перевернут. Вокруг меня остаются лишь пунктир дрожащих огоньков на дороге, исчезающий, как и раньше, в звездах, крики торговцев, ночь и безмолвие.

Кантон

«В Кантоне объявлена всеобщая забастовка».

1925-ый... Это была первая всеобщая забастовка и первая фраза моего первого романа.

Больше нет китайцев из Индийской компании, нет квартала менял, трезвонивших вдоль реки, стучавших по монетам своими маленькими молоточками; как нет и стихийного базара, который еще накануне революции заполнял центр города. Больше нет и самой революции — только ее музеи... Школа Кадетов разрушена, как мне сказали, так же, как и дом Бородина и... Асфальтированные улицы с одинаковыми низкими домами, просторные парки культуры. Несмотря на банановые деревья, несмотря на жару, я узнаю здесь мир бескрайних русских просторов. Отель с бесконечными лестницами, с бесконечными коридорами; русский из-за своих размеров, из-за своего малинового ковра, из-за своего бредового одиночества, непохожего на одиночество, испытываемое в отеле на Западе. Рус-

ский, хотя такого отеля я не видел и в России. Шамин, остров прежнего консульства, не тронут, словно труп убитого. Его дома, обшарпанные, уже не похожие на городские, громоздятся над маленьким сквериком, заполненным цветами; джонки без мотора, под парусами, залатанными розовыми и серыми лоскутами, делают косу острова в два раза длиннее (химеры в одежде арлекинов). Здесь на реке Жемчужной, где рядом со старыми доками выросли новые здания, однажды вечером флот Марко Поло снялся с якоря и отправился через сибирскую пустыню. А вот мост, с которого стреляли пулеметы полковника Чан Кайши...

Музей Революции устроен в ротонде памятника Сунь Ятсену. Рядом мавзолей политических мучеников, похожий на мавзолей императоров Древнего Китая (весь парк кажется его священным лесом), к которому коммунистические пионеры приходят давать клятву.

В музее — фотографии руководителей забастовки 1925 года, первой забастовки против Гонконга; все они умерли. Под лентой с датой «4 мая 1919» тюремная решетка, похожая на сетку черных крестов на расплывшихся рисунках. На земле — средневековые кандалы, которые носили осужденные после подавления коммуны Кантона. Время здесь остановилось: деревня мятежников, сопротивлявшаяся войскам Гоминьдана десять месяцев; женские отряды, объединявшие свирепых мегер и простых машинисток; казни в Шанхае, о которых рассказано в «Уделе человеческого»: осужденные на коленях, глаза завязаны черной тканью, которая свисает словно разорванная монашеская ряса с капюшоном; макет завоевания Хайнаня армией джонок (что тогда делали военные корабли Гоминьдана?); фотографии крестьянского движения; о котором никто еще не говорил в 1925-м. Вот пики с короткими красными кисточками, вот длинные пики из Яньбана, а также шляпы тонкинцев. (Один из моих дедушек говорил о такой шляпе, называя ее шляпой Черного Павильона...)

Здесь, как и в Советском Союзе, эти фотографии и экспонаты перемешаны с революционным фольклором. Этот народ, у которого не было министерства юстиции, но зато было министерство наказаний, собрал здесь такие же фотографии, что и в Москве, такие же, какими обычно дорожат верующие. Этот народ верит, что музей рассказывает всем о революции, а на самом деле он рассказывает о мучениках. Тайпины правили здесь в течение десяти лет и были уничтожены перед той же самой рекой, через которую переправился Мао. Политический гений Мао, очевидно, и отличает его от них; но этот музей почти каждым предметом указывает на связь его с ними.

Как и в Москве, изображения здесь призваны не столько объяснить ход революции, сколько создать картину прошлого, которая отвечала бы интересам победителей. Насколько более эффективным, чем эта пропаганда, был бы музей, который ясно объяснял бы сложные действия Мао тем молодым людям, которые меня здесь окружают, которые охвачены смутным благоговением!

Я вижу лишь тех, кого здесь скрывают. Ленина всегда сопровождал только Сталин, словно никогда и не было Троцкого. Как, между прочим, и Бородина. Как и Чан Кайши. На фотографиях Школы Кадетов изображен только политический комиссар, Чжоу Эньлай. На фотографии пятидесяти офицеров я узнаю Галена, будущего маршала Блюхера, и показываю его послу Франции, который меня сопровождает. Подходит, как будто подъезжает на роликовых коньках, переводчик, который, казалось, уже утратил было к нам интерес. «Который из них?» — спрашивает он, вытаращив глаза. Но ни на одной другой фотографии Гален уже не появляется. В 1925 году русских в Кантоне не было...

На следующий день

Вчера вечером, в мавзолее Сунь Ятсена, в зале на пять тысяч мест давали спектакль «Красный Восток». Все ждали, что представление будет отложено на четверть часа, потому что шел дождь (сезон дождей)... Как и в России, в Китае удивительным образом смешивается время, которое никто не считает (театры, самолеты), и пунктуальность (железные дороги, армия). Тем временем хор в триста голосов уже находился на своих местах по обе стороны сцены (синие брюки, белые рубашки), и поскольку они располагались в несколько ярусов, то можно было различить лишь огромное белое полотно и ряды голов.

Наконец, вышел конферансье. Он был одет в гимнастерку «ответственных работников», но жемчужно-серого цвета и приталенную. Его слова сопровождалось пением всего хора, и они все вместе прокричали первую фразу пьесы:

— «В эпоху Мао Цзэдуна...»

Картины следовали друг за другом, весьма удачные, когда они стремились остаться только картинами. Сюжетом была легенда об Освобождении, трактуемая одновременно и как балет и как пекинская опера. Лозунги были похожи на титры в немом кино. Слово не играло никакой роли в этой навязчивой стилизации, и оно оборачивалось пением. Порт Шанхая был форштевнем для одного теплохода («Президента Вильсона»), прикованного к набережной огромными цепями, такими же подвижными, как и цепи Дадухэ. По набережной прохаживался европеец в бледно-голубом костюме и мягких сапогах. Русский из Петрограда или английский полковник 1820-го изображал империалиста. Он проходил перед группой китайских солдат, каски которых были украшены короной из листьев для маскировки, а сами солдаты походили на коронованных шутов, которых Лорка называл «Виноградной лозой».

— Какую армию символизируют эти солдаты?

— Университет... — ответил мой переводчик.

Чем больше актеров задействовано, тем сильнее стилизация. Эта революционная образность, бывшая творением китайской коммунистической партии, не показывала тех препятствий, которые ей пришлось преодолеть. Любой балет наивен; и эта наивность вчера вечером была на службе у тысячелетнего Китая. Это проявилось и в сцене с веерами, когда толпа актеров была охвачена одной единой дрожью, и в танцах, когда их рукава вытянулись трубами волнистой ткани, как у танцовщиц на похоронах в эпоху Тан; и даже в судороге толпы, внезапно окаменевшей... Все это сопровождалось музыкой, которая была мне неизвестна, музыкой, смешивавшей нашу гамму с мяуканьем и криками древней китайской оперы. Но этот хор и эти восхитительные голоса играли в китайской музыке такую же роль, как джаз — в африканской. От революции остаются музеи — и оперы...

Через час самолет отправился в Пекин.

Из своего окна я разглядывал заводы и фабрики «тропической Сибири», трубы вплоть до линии горизонта, где раньше всегда возвышалась старая пагода. Банановые деревья сверкали влагой, хотя дождя еще не было. Мокрые крыши подо мной — киноварь, заржавевшая под солнцем и позеленевшая от дождей, — пересекала липкая улица, по которой медленно бежали почти голые дети: последний островок прежнего Кантона, где под травой еще лежали куски насыпи? Жаркий влажный ветер стучал по стене рейками длинного полотна, на котором была изображена военная сцена, а висевший на вешалке купальный халат с рыбками развевался такими же волнами, как и в китайском театре. Столько смертей, столько надежд и крови, все, что я знал о Кантоне, все, что я видел здесь, — все заканчивалось этим ничтожным розовым призраком, который колыхался за окном перед мертво-бледным облаком бури...

Раньше город располагался на перекрестке двух дорог без тротуаров, и из-за адской пыли земляные стены крепости и рогатые бастиины ворот появлялись перед путником словно через пелену дождя. Проходили, один за одним, презрительные верблюды из пустыни Гоби, а за ними медленно следовали тележки. Теперь пыль, караваны и стена насыпи исчезли. Но ворота в бледно-голубом утреннем свете видны очень хорошо. Бесконечные дороги вокруг города, густо усеянные зданиями, вызывали во мне, как и главные улицы Кантона, мысль о сибирской бескрайности; однако влажный жаркий ветер исчез. Машина шла вдоль огромных строительных лесов из бамбука, возвышавшихся над совсем крохотными ивами, а затем над розовыми акациями, которые были всего лишь нарисованы, как и летающие над ними стрижи. Когда мотор заглох, громкое пение сверчков заполнило тишину.

Коридоры дворца министерства иностранных дел были такими же тоскливыми и бескрайними, как и в отеле Кантона. Пройдя через несколько комнат, вероятно, пустых, мы оказались в кабинете маршала и министра Чэнь И: кресла из ивовых прутьев, китайские акварели, заместители министра, переводчики. Маршал молодежав, гладкое, без морщин, лицо (китайцы часто стареют за несколько месяцев) и раскатистый пронзительный смех. Он носит чуть ли не сталинский костюм «ответственных работников» и, кажется, как и когда-то советские маршалы, не сохранил никаких следов своего происхождения (он — сын судьбы): у него не было происхождения. Он начал свою карьеру как адъютант военачальника в Сычуане. Он закончил Военную школу, присоединился к Чжу Дэ в несчастливое для того времена, затем командовал тылом Великого Похода, который все время подвергался атакам неприятеля. Победитель японцев, глава IV Армии, за-

тем Народной армии освобождения Восточного Китая, именно он взял Нанкин и Шанхай в 1949-м.

— Как дела у генерала де Голля?

— Все в порядке, благодарю Вас. А как у председателя Мао?

— Очень хорошо.

Поклоны закончились, и я позабыл спросить о здоровье председателя Республики Лю Шаоци. Кажется, это не встревожило маршала, который уже излагал важнейшие принципы деятельности правительства. Его переводчик, к которому наш иногда приходил на помощь, переводил:

— Что касается внутренней политики, народное правительство желает освободить население от нищеты и безграмотности, старается, чтобы материальная жизнь каждого была благополучной, чтобы наступило всеобщее процветание на основе социалистической системы. У капитализма есть интересные аспекты, особенно в техническом плане, но он должен быть отброшен как система, так как руководитель не имеет права один решать судьбу миллионов людей. Г-н Мальро, который лично изучал марксизм, поймет, что даже если капитализм сумел достичь здесь некоторых незначительных результатов, только коммунизм может приступить к строительству страны в целом.

Совершенно верно. Что касается марксизма, то пока мы разыгрывали сцену с низкими поклонами, мы заодно обменялись и несколькими взаимными комплиментами по поводу наших творений. Как и Мао, маршал был поэтом — и мужем знаменитой актрисы, которая в настоящее время работала (как пропагандист?) в народной коммуне.

— Короче, — подчеркнул он, — китайское правительство хочет построить Китай на основе собственных ресурсов за несколько десятилетий.

Когда знакомишься с Китаем последних лет, то такая фраза, даже жизнерадостно произнесенная, приобретает историческое величие.

— Что касается внешних отношений, то китайское правительство придерживается политики мира. Оно желает, чтобы мир обходился без войн, чтобы народы сами выбирали свой политический строй. Китай, который достаточно натерпелся от колониальной и империалистической эксплуатации, несет ответственность за то, чтобы везде помогать освободительному движению. С 1840-го по 1911-й он подвергался притеснениям со стороны британского империализма, затем со стороны империализма японского, а теперь — американского. Сато* — это сателлит Соединенных Штатов, он не может и пальцем пошевелить без разрешения из Вашингтона. Франция ушла из Китая после Второй мировой войны; она придерживается реалистичной политики. В Европе, как и в других частях света, она следует оборонительной политике в отношении с Соединенными Штатами.

— Политике независимости, господин маршал...

Он принимал участие, вместе с Чжоу Эньлаем, в движении рабочих-студентов, которые основали в Вилланкуре одну из первых секций Коммунистической партии Китая. Он был исключен из нее в 1921-м. Через сорок лет он представлял Китай в Женеве. Видел ли он Париж?

Наверняка то же самое он говорил сотне левых журналистов, всем послам, которых он принимал. Я достаточно хорошо знал Советский Союз, чтобы не удивляться дискам фонографов; но когда маршал собирался заговорить, я всегда ждал, что заговорит он сам, от своего имени. Я чувствовал себя немного ближе к нему, когда мы обменивались любезностями по поводу наших успехов в литературе. Его теплота сообщает жизнь тому, о чем он говорит, однако...

Вот что его воодушевило:

* Эйсаку Сато — японский политический и государственный деятель.

— Информация, касающаяся Вьетнама, — сказал он, — весьма противоречива. В Москве г-н Гарриман совсем запутался в своих суждениях о Вьетнаме! Американским газетам пришлось искать общую точку зрения!

— Вы считаете, что речь идет о чем-то большем, чем обычные разногласия между газетами? То же самое и у нас: когда говорят о политике Соединенных Штатов, то говорят так, как будто есть лишь одна политика; но американские силы, влияющие на войну во Вьетнаме, без сомнения, сильно отличаются друг от друга...

Он развернул маленький веер, вздохнул улыбнувшись и сделал рукой едва заметный жест, который, кажется, означал: «Может быть, и так», — и с угрюмым добродушием начал снова:

— Вы приветствуете нейтральную позицию нашей страны?

— Это хорошее начинание.

— Наши вьетнамские друзья опасаются, что она приведет к окончательному разделу их страны. С тех пор как американцы прямо вступили в игру, нейтралитет стал пустым словом. Есть лишь одно решение: вывод американских войск.

Здесь Вьетнам казался дружеской абстракцией. Маршалу хотелось не обращать внимания на все, что отделяет Ханой от Пекина. «Бывает», как сказал бы Мери; я вспомнил о портрете Хо Ши Мина, обо всем, что он говорил мне о Вьетнаме: и там, в Сингапуре, Вьетнам — это была война. Она бродила вокруг нас, но под маской мира. Она была серьезной и эпизодичной, «колониальной», как когда-то говорили. В этом Китае, занятом своим восстановлением, где скоро будет миллиард жителей, гнали гораздо больше, чем под американскими самолетами, которые превращали Ханой в пыль; но то, что стояло на карте, было судьбой самого мира.

— Условия становятся все более и более благоприятными. Эта война назревает. Вместе с эскалацией

препятствия только умножаются; тяга вьетнамского народа к самоопределению усиливается и в конце концов дойдет до того, что американцы будут вынуждены покинуть страну.

— Вы полагаете, что большое государство не может в течение десяти лет сохранять сто пятьдесят тысяч человек на театре военных действий?

— О! Их теперь сто пятьдесят тысяч!

Он знал об этом так же, как и я. Наверняка, даже лучше.

— Скоро их будет больше, — сказал я.

— Американцы навязали войну вьетнамскому народу. Мы выступим в его защиту. Если они уйдут, то сохранят власть над миром. Если они не выведут свои войска, они потеряют и свое лицо. Для вьетнамской нации речь идет не о том, чтобы сохранить лицо, для них — это вопрос жизни или смерти. Американцы с легким сердцем сбрасывают свои бомбы.

— С их точки зрения, вся их политика в Азии весьма удачна...

— Потеря одной костяшки домино при игре в маджонг еще не значит, что партия проиграна. И Соединенные Штаты не смогут до бесконечности держать войска за границей; сегодня или завтра они будут вынуждены уйти из Тайваня и Западного Берлина.

— Не означает ли для вас их отказ от Тайваня то же самое, что и отказ русских от Сибири?

— На севере больше свободных земель, чем на юго-востоке Азии.

Маршал рассмеялся. Выражение «горло разрывается» чудесным образом подходило его смеху.

— Тем не менее Тайвань не является частью США; Сибирь — это часть Советского Союза, и она никогда не была китайской!

Предположим... По поводу Бандунга я уже использовал выражение «глобальная политика Китая».

— В любой области, — вновь заговорил он, — Китаю необходимо преодолеть значительное отставание,

и ему еще придется приложить немало усилий, чтобы заниматься глобальной политикой. За это время он узнает, с кем он вместе, а с кем — нет. То, что я говорил 14 июля вашему послу, — это абсолютная правда. У вьетнамцев нет другой возможности, нежели продолжать борьбу. Если Штаты искренни в своем желании вести переговоры, почему они говорят о том, чтобы отправить во Вьетнам двести тысяч человек или даже миллион? Они уже привыкли всем угрожать. Хо Ши Мин и Фам Ван Донг подтвердили, и в мае и в июне, что в 1960-м они не были уверены в исходе войны, но теперь у них нет сомнений. Наш опыт предоставляет такую же уверенность. Американские войска разбросаны по всему миру... Взгляните на карту: они на Тайване, где поддерживают диктатора Чан Кайши, во Вьетнаме — вместе с диктатором Ки после диктатора Дьема, в Корее — вместе с диктатором Ри и другими, в Пакистане — вместе с диктатором Аюб Ханом, в Лаосе — вместе с Пхуми, в Таиланде — вместе с королем. А мы как-то даем о себе знать на Гавайях, в Мексике или в Канаде?

Но я думал не об «американских войсках»: что касается могущества Соединенных Штатов, то я никогда так остро не ощущал его (даже тогда, когда в 1944-м впервые столкнулся лицом к лицу с американскими танками), как однажды зимним вечером, когда увидел их бездействующий флот, стоявший на якоре в Гудзоне, в сотне километров от Нью-Йорка. Президент Кеннеди сказал мне: «Давайте посмотрим на эти развалины». Прекрасная дорога проходила прямо над рекой, и автомобили скрещивали свои фары на этом некрополе военных кораблей. Раскачивающийся прожектор бросал рассеянный свет на все эти броненосцы, и в поднимавшемся над рекой вечернем тумане были видны лишь их смутные силуэты. Что стало с флотом Нельсона? Древние историки рассказывали, что наемники понимали, насколько могущественен Карфаген, когда они обнаруживали, что там распинали львов; я в пол-

ной мере почувствовал могущество США, когда увидел, что они выбросили на свалку самый сильный флот мира.

— Опыт нашей войны с Чан Кайши, — продолжал маршал, — научил нас, что надо чередовать период битв и период переговоров. В Корее сражения и переговоры велись одновременно, до такой степени, что иногда шум голосов заглушала канонада... Вьетнамцы были осторожными и сознательными, они были марксистами еще до нас, — мы доверяем им. Председатель Хо Ши Мин объявил о своем решении продолжать борьбу пять, десять, двадцать лет, до тех пор, пока последний американец не уйдет из Вьетнама, пока не произойдет воссоединение.

Для китайских руководителей эскалация конфликта — это Великий Поход Вьетнама.

— Это всегда происходит одинаково, — сказал маршал, — посмотрите на войну в Корее, на вторжение VII Флота в пролив на Тайване, оккупацию Тайваня и на ООН, которое устремляется на помощь капиталистической агрессии против Конго! Целью американской атаки на Северную Корею была угроза нашей безопасности: мы были вынуждены вмешаться, чтобы защитить себя. Потом мы освободили американских пленных. В одностороннем порядке. После войны в Корее Соединенные Штаты усилили свою подрывную деятельность во Вьетнаме, где была похожая ситуация.

— Но более благоприятная для вас.

— Если Соединенные Штаты не станут распространять свою агрессию, не возникнет необходимости и Китаю принимать участие в военных действиях, но если они сделают это, он будет участвовать.

— На китайской территории?

— Может быть, и на вьетнамской территории.

Пауза.

Я сомневаюсь в этом. Мао всегда приписывал себе фразу Ленина о тактике *защиты* революционных армий от иностранного агрессора, и он всегда подчерки-

вал, что Сталин воевал лишь для того, чтобы обеспечить оборону России. Ленин говорил: «Тот, кто считает, что революция может быть сделана на заказ в другой стране, или сумасшедший, или провокатор». Но во Вьетнаме уже не нужно начинать революцию: маршал рассуждает так, как если бы он считал себя ответственным за войну во Вьетнаме. «Эта ответственность делает ему славу», как сказали бы в XVII веке. Но причем здесь он? Франция уже приписывала Дьен Бьен Фу китайскую артиллерию, которой там не было. Может быть, партизан Вьетконга вооружает Китай? Частично это, несомненно, так. Но в значительной мере это делает СССР, и есть также оружие, захваченное у Франции и у США, да и сама китайская красная армия пользуется оружием, захваченным у Чан Кайши. Их идеология, их стратегия, их тактика — все это идет от Мао; как и некоторое количество организаторов и офицеров связи. Но здесь меня никто не спрашивал: «Не думаете ли Вы, что партизанские отряды Юга будут сформированы или, по меньшей мере, будут управляться войсками Севера, сателлитами китайских войск?». Маршал не был бы раздосадован, позволив мне поверить в это. И тем не менее? Вьетнам не смог сформировать национальное правительство, американцы были вынуждены вступить в войну, среди пленников не было китайцев. «У людей на Западе есть одна навязчивая идея, — говорил мне Неру, — они считают, что войнами за национальное освобождение управляют из-за границы». Я из своего опыта знаю, насколько ограниченной является та помощь, которую партизаны могут получить, как и «советы», которые они могут принять. Поэтому я не верю, что эскалация конфликта, даже вплоть до участия Пекина (исключая атомную войну), может спасти правительство Сайгона, которое своими худшими качествами похоже на правительство Чан Кайши.

— Американцы, — вновь начал маршал, — не прекращают нарушать наше воздушное пространство.

Разве китайские самолеты-шпионы пролетают над США? Они заявили, что здесь нет *запретного пространства*, как когда-то, в годы войны в Корее. Очень хорошо. Под предлогом поддержки Южного Вьетнама они бомбят Северный. Кто скажет, что завтра они, под тем предлогом, что Китай поддерживает Северный Вьетнам, не начнут бомбить нас? Они верят, что могут делать все, что им захочется. Следует предвидеть последствия будущих событий. И в конце концов мы выиграем, как выиграли у японцев или у Чан Кайши. Вы видите, что они вытворяют в Доминиканской республике, в Конго: везде они провоцируют беспорядки, не считаясь с мнением Великобритании и Франции. Им нужно сопротивляться. Когда европейский колониализм ушел из Азии, ему на смену явился американский империализм. Вьетнамцы сражаются и за Китай и за весь мир в целом, за что заслуживают уважения.

Когда я увидел Андре Жида в первый раз, это был автор «Земной пищи», а не человек, ожидавший меня возле Вье-Коломбье, похожий на гриб с булочкой во рту; когда я увидел Эйнштейна, это был математик, а не мохнатый доброжелательный скрипач, встречавший меня в Принстоне. Более того, я знаю, что маршал — это не Мао. Но он, министр иностранных дел народного Китая, один из людей, вокруг которых движется История; он командовал тылом Великого Похода, постоянно преследуемого. Автор романов быстро проявил себя в Андре Жиде, а ученый — в Эйнштейне. Где же в Чэнь И вновь проявится завоеватель Шанхая? Диски фонографа так же подходят Китаю, как и древние церемонии; и несмотря на то, что маршал увлекся рассказом, он, очевидно, разыгрывал передо мной театральное представление. Валери говорил о генерале де Голле: «Нужно знать, что в нем от человека, от политика или от воина». В маршале все было условностью — и перевод эту условность только усиливал. Настоящего диалога я здесь не находил. Очевидно, я не мог ему сказать: «Господин маршал, Соединенные

Штаты имеют во вьетнамской войне превосходство лишь в авиации, и не китайцы сражаются с этой авиацией, а русские». Мне запомнилась лишь свойственная ему смесь твердости, осторожности, обмолвок с ложными намеками; любопытны были границы конфликта между Китаем и США, которые он, осознанно или нет, зафиксировал. На самом деле я услышал его собственный голос лишь тогда, когда он мне сказал: «И на вьетнамской территории». Этот человек, сильно отличающийся от всех, кого я знал, не является ли он типичным представителем новых китайских властей? Посол Китая в Париже, который так же был генералом во время Великого Похода (и посвятил ему книгу почти юмористических рисунков), тоже демонстрировал эту неуязвимую жизнерадостность. Мне знаком интернационал министерств иностранных дел; он ни к кому не принадлежал, потому что заменял осторожность военным радушием.

— У генерала де Голля были причины сопротивляться влиянию Соединенных Штатов в Европе. Они не всемогущи, но они воспользовались двумя войнами: во время Первой мировой войны они потеряли сто тысяч человек, во время Второй — четыреста тысяч. В Корее они потеряли триста тысяч человек без особой выгоды, следовательно, они плохо рассчитали последствия. Теперь они рассчитывают, во что им обойдется Вьетнам...

— Неру думал, что колониализм умрет, когда один западный экспедиционный корпус не сможет одержать верх над какой-нибудь из азиатских армий. Я тоже так думаю.

Но почему маршал, как казалось, не учитывает использование американцами атомных бомб, если они вступят в конфликт с Китаем?

— Мы надеемся, что Франция использует свое влияние для того, чтобы американцы ушли. Нужно оказать давление на американцев, чтобы заставить их покинуть страну. Американский народ — это хороший

народ, за два столетия он добился значительных достижений, но политика его последних правителей направлена против его же самых глубоких устремлений. Китай не стремится к настоящей войне, он желает сотрудничать с теми силами, которые обяжут США отказаться от их агрессивной политики, и это принесет лишь пользу всему миру, в том числе и самим США.

Удивительная забота о Соединенных Штатах. Наш посол ожидал моей реакции. Все это было для меня привычным. Манихейский монолог, который, казалось, всегда обращен к «массам», продолжался. Этот умный человек, чемпион по шахматам, находившийся на вершине своей яркой карьеры, говорил не для того, чтобы меня убедить. Он исполнял ритуал.

Я ответил ему, что Соединенные Штаты, как я об этом говорил Неру, кажутся мне единственной нацией, которая стала самой могущественной державой в мире, не стремясь к этому; тогда как могущество Александра, Цезаря, Наполеона, великих китайских императоров было продуманным следствием военных побед. И что в настоящее время я не замечаю у американцев никакой глобальной политики, похожей на ту, что была у имперской Великобритании, или на план Маршала, или на ту, к которой стремился президент Кеннеди. Что мне кажется, будто Соединенные Штаты повторяют те ошибки, которые нам слишком хорошо знакомы, так как наша IV Республика совершила их раньше. Я добавил:

— Что касается влияния, которое мы способны оказать на Соединенные Штаты, то я считаю, что оно ничем не отличается от того, как вы можете повлиять на Советский Союз...

— Китай основывает свои чувства на фактах. После Октябрьской революции, под властью Ленина и Сталина, Советский Союз испытывал симпатию к китайскому народу, а мы испытывали симпатию к нему. После поражения Японии мы привыкли к мысли, что Со-

ветский Союз, изнуренный войнами, не желает вмешиваться в дела на Дальнем Востоке, и мы не возлагали надежд на помощь с его стороны. Социалистическое строительство в Китае не могло быть основано на помощи СССР, под каким бы названием она не осуществлялась. Надо было полагаться прежде всего на свои силы. Русские свернули свои дела, но мы можем продолжать и без них. И к 1964-му мы за все расплатились. Когда Хрущев попытался задушить нас...

Он остановился, а затем продолжил:

— Начиная с Хрущева советские руководители стремятся разделить власть над миром между двумя державами, а это невысказано, так как все страны как большие, так и маленькие, равны между собой!

Я был удивлен, но не этими утверждениями, а языком беседы. Я был в Советском Союзе и слышал, как марксисты, суровые или изысканные в частной жизни, на публике переходили на язык «Юманите». Верили ли сам маршал в то манихейство, которое исповедовал? В конце концов, манихейство питает слабость к разговорам, а не к действиям. И Соединенные Штаты для него были не нацией, которая дважды спасала свободу Европы, а нацией, поддерживавшей Чан Кайши...

— Генерал де Голь никогда не относился положительно к гегемонии двух сверхдержав...

Он засмеялся:

— Но мы все также не сторонники и гегемонии пяти...

(Наверняка он имел в виду: Соединенные Штаты, Советский Союз, Англия, Франция, Китай.)

— ...вместе с Индией, которая стучалась бы в дверь!

— Домашнее хозяйство ведут вдвоем, это еще понятно. Втроем — это уже слишком...

— В конце концов, сторонников мира не может быть слишком много...

— Если бы нам пришлось соединить наши усилия для восстановления мира, то вы вступите в переговоры

после взятых обязательств о выводе войск или после действительного ухода американцев?

Маршал задумался.

— Этот вопрос следует изучить; может быть, я буду в состоянии дать ответ через несколько дней. Право решать принадлежит Хо Ши Мину и Фам Ван Донгу. Насколько я знаю, они придерживаются предварительного условия о выводе войск. У Вас нет никаких предложений, господин министр?

— Никаких, господин маршал.

Не ждал ли он лишь одного предложения, чтобы отклонить его? Но, безусловно, речь шла и о том, чтобы узнать предмет беседы, которую мне предстояло провести с Чжоу Энлаем, с президентом Республики и, в случае необходимости, с Мао; а также о том, чтобы иметь время подготовиться...

Дверь, в которую мы, посол Франции и я, выходим, открывается в древний Запретный Город. Дворцы сибирских пустынь (Дворец Народа, музей Революции) остались позади, и я обнаруживаю, что императорский город остался таким же, как прежде. Его окружает беспорядочное нагромождение низких домов с рогатыми крышами из шифера, так как ни один взгляд не должен был проникнуть в его дворы. Накренившийся небоскреб, из которого я выхожу, теперь возвышается над ним. Но сейчас его восхитительные внутренние дворики были пусты: стоял полдень. Перед священными бронзовыми вазами росла трава. В комнатах — музей, археологические находки и несколько уникальных монет; в глубине — квартира последней императрицы. Маленькие замаскированные комнаты, которые желательно осматривать, когда идет снег; фонарики с блошиного рынка и вульгарность, которую викторианский стиль и стиль Второй империи распространили по всей Азии. Я вспомнил о Китайском музее императрицы Евгении, о котором мне рассказывал Мери в Сингапуре, о его диковинках,

привезенных из сокровищницы Летнего Дворца, и о завоевании Камбоджи, король которой владел несколькими слитками серебра... Кто сейчас знает Китайский музей Фонтенбло? Запретный Город не был заброшен. Именно здесь, в большом зале, Лоти нашел рельефы с изображением накрытых яствами столов для душ умерших (все это было съедено европейскими солдатами в первый же день завоевания) и музыкальные инструменты, разложенные императрицей для призраков. Когда она спасалась бегством, то поставила перед своим любимым Куанинем* букет и повесила ему на шею одно из своих жемчужных ожерелий. Куанинь был здесь. Статуи богов были сложены друг на друга во дворах, чтобы солдаты могли спать на алтарях; натянутая в храме Конфуция лента гласила: «Литература будущего будет литературой сострадания». Это были времена, когда мятежных варваров стали называть иностранными державами, но когда еще верили, что христиане убивают детей и съедают их ради кровавой жертвы, которая называется «мессой».

Я видел когда-то, как умирал Древний Китай, и призраки лисиц разбегались по кустам фиолетовых астр на земляной насыпи, над процессией верблюдов из пустыни Гоби, покрытых белым инеем. Я вспоминаю свиные пузыри с горящими свечами внутри, украшенные китайскими иероглифами, обозначающими названия отелей на набережных возле вокзала Калган. Их хозяевами были русские, но увидеть их можно было только ночью, да и то лишь бороду, освещенную снизу; казалось, что одни лишь эти фонари наблюдают в снежной темноте за агонией белой России, дожидаясь, когда накроют небольшой общий стол, и граммофон с трубой, украшенной садовым выюнком, сыграет «На сопках Маньчжурии». Я видел, как бревенчатые огра-

* Имеется в виду статуя Чжао Куаниня (927—976), императора Китая (960—976), основателя династии Сун.

ды монгольских деревень открываются словно коралловые ворота, и всадники Чингисхана скачут во весь опор, прижимаясь к своим низкорослым мохнатым лошадям. Передняя часть их черепа выбрита от одного уха до другого, а шевелюра сзади, такая же длинная, как у женщин, топорщится горизонтально от степного ветра под мертвым бледным небом. Я видел старых белоснежных принцесс, которые, как и королевы Африки, были уже отмечены поступью смерти (Монголия, тибетские перевалы, прически вестготов), и над гниющими деревнями монастыри, пахнувшие воском, в полу которых отражались желтые одежды лам и голубые Гималаи. И великий мавзолей Сунь Ятсена, солдат, властителей войны с их зонтиками. Наконец, я видел возрождение китайской армии. Там, где когда-то передо мной во время наводнения мимо плывущих трупов проходила лодка палача, одетого в красное, с короткой саблей, отражавшей чистое небо, — там я приземлился возле высоких доменных печей Ганьяна...

Когда, оставив величие этих дворов, мы обернемся назад, то увидим оранжевые крыши, немного выгнутые над стенами цвета бычьей крови, и такую архитектурную мощь, что гигантские буквы, прославляющие народную республику, кажутся прикрепленными здесь навечно, а терраса — специально построенной для речей Мао.

Пока мы ждали возвращения Чжоу Эньлая в Пекин, нам предложили посетить Лунь мань, что позволило бы нам проехать через Лоян и Сизнь, обычно запрещенные для посещения иностранцев.

Лоян был городом черепичных дворцов, выкрашенных в фиолетовый цвет и скрывавших величайшую изысканность в мире в эпоху наших каролингов. Фантазии о нем распространялись вплоть до Византии. Его мечтал увидеть и весь Китай, так как это был город поэзии, китайский Исфахан. Здесь нашли скелеты фаворитов императрицы, пригвожденные к стене стрелами

с лисьими хвостами на концах. От всего этого осталась лишь дремлющая за круглыми воротами деревня.

Чистенькая народная коммуна, не знающая голода. Они хотели, чтобы я порадовался их трактору, и не догадывались, что я восхищаюсь ими...

Отсюда отправляются к буддийским гротам Лунь маня. Они теперь закрыты стеклом и статуи стоят как в витрине магазина. Над статуями, которые остались без голов («Это американцы», — сказал гид), в амфитеатре, который ни от чего не защищал, толпа внизу прижималась к Великому Будде, на удивление индо-эллинистическому, тогда как скульптуры гротов Вэй имеют лишь немного элементов этого стиля. Со всех сторон его защищают гиганты, символизирующие стороны света: один из них душит своей средневековой косою несчастного заплаканного карлика. Какой-то посетитель оставил с этой стороны ботинок и кажется, что каменный карлик потерял свою обувь. Скульптуры высечены даже в скале, как и в Индии; но я никогда до такой степени остро не чувствовал, сколько божественных фигур утратили здесь свою душу над безразличной толпой. Огромный Будда был высечен по приказу императрицы ее любовниками, позже пригвожденными стрелами. Кудахтанье кур соперничает с трещоткой сверчков, и радио в гостинице переносит атмосферу Пекина к священной скале.

Мы уезжаем в Сиэнь.

На старой площади глиняного цвета открыт музей, с соседствующими друг с другом настоящими и ложными экспонатами; восхитительный ансамбль классических павильонов, покрытых оранжевой и бирюзовой черепицей, с круглой дверью, открывающейся или на деревню или на грубые неухоженные сады, где цветут ирисы, гладиолусы и огромная, но ничем не пахнущая сирень. Переводчик бросил мимоходом, указывая на наполовину дикие парки: «Здесь стоял киоск императора Тай Цзуна...». В первом павильоне музея скрывается целый лес памятников, и внезапно я

понимаю, что из себя представляет этот город с миллионом жителей, с административными небоскребами, с колокольной башней и с музеем, еще более фантастическим, чем Летний Дворец: Сиэнь — это Синьян-фу, который одиннадцать раз был столицей Китая...

Здесь каменные звери, ведущие к гробнице Тай Цзуна, китайского Карла Великого. Вот носорог. На его спину сажают детей, родители поглаживают его рог, а кто-нибудь из друзей фотографирует всю семью. В главном зале четыре барельефа с гробницы императора, которые, как говорят, изображают его четырех любимых лошадей. Гробница был несколько столетий заброшена. Два барельефа, принадлежащие Соединенным Штатам, были замены здесь фотографиями в натуральную величину с надписью внизу: «Украдено американцами».

Антиамериканская пропаганда тщательно продумана и безгранична. Изображения, которыми покрыты стены городов, ориентируются на нее, даже тогда, когда милиционеры (преданный партии юноша и героическая девушка), пришедшие скорее из американского кино, нежели из произведений социалистического реализма, нарисованы без окружающих их обычно врагов. В самых маленьких народных коммунах (невсокие дома, курицы, разгуливающие по чисто подметенной земле, и мужчины с косами далеко в поле) можно увидеть нарисованного цветным мелом на большом куске шифера, специально для неграмотных, маленького пионера, который пронзает копьем огромного бумажного тигра.

Завтра Чжоу Эньлай возвращается в Пекин.

Пекин

Те же бесконечные коридоры на пути к кабинету маршала (это то же самое здание, та же самая вереница пустых комнат, и в кабинете премьер-министра те

же самые плетеные кресла с теми же салфетками, такие же акварели и те же самые фотографии, когда мы пожимаем друг другу руки). Переводчик — на этот раз женщина — говорит на французском без акцента (наверняка китаянка из Тонкина), и политическая терминология ей знакома; она здесь своя, судя по враждебности.

Чжоу Эньлай мало изменился, а постарел так, как и должен был постареть: морщины на его лице стали глубокими. Он одет, как маршал, но он худощав: происхождение большинства китайских руководителей невозможно угадать, но он, очевидно, интеллектурал. Внук мандарина. Он был политическим комиссаром Школы Кадетов в Кантоне, когда Чан Кайши ею командовал. Из всех ступенек своего последовательного восхождения, включая должность премьер-министра, он отдавал предпочтение посту министра иностранных дел. Я вспомнил дипломата, который принимал меня в Москве в 1929-м: он носил монокль — и это в городе, где жена Ленина носила фуражку! Мне уже давно известно, что министерство иностранных дел является сектой, к которой маршал Чэнь И не принадлежал, но к которой зато принадлежит Чжоу Эньлай, помощник Мао во время Великого Похода.

Ни грубости, ни жизнерадостности, «прекрасная воспитанность».

И кошачья осторожность.

— Я был весьма поражен критикой, направленной генералом де Голлем на последней пресс-конференции в адрес СССР и США, которых он обвинил в намерениях установить мировую гегемонию. А также его фразой: «Тихий океан, где решается судьба мира».

Обе войны во Вьетнаме были каким-то образом связаны с Великим Походом. Однако, как далеко отсюда Дананг! Моряки высаживаются, и, с точки зрения Чжоу Эньлая, их высадка, конечно, имеет значение.

Но не очень большое. Судьба Азии в Пекине — и нигде больше. А Индия?

Пауза. Я ответил:

— Ленин говорил: «Можно всегда рассматривать возможность общего действия, при условии, что не будут перепутаны ни лозунги, ни знамена».

Он рассеянно сказал:

— Мы не забыли, что Вы на самом деле знаете и марксизм, и Китай... Мы не забыли также, что Вас преследовали в то же самое время, что и Нгуен Ай Кока*... Вы стремились создать индокитайский доминион: французам было бы лучше согласиться с Вами...

— Я благодарен Вам за то, что Вы помните об этом. Тем более что другой основатель «Молодого Аннама», Поль Моне, умер в Кантоне.

— Виделись ли Вы снова с Чан Кайши?

— Никогда. А жаль.

— О!..

Неопределенный жест. Мне хотелось ответить ему: «А Вы?». Так как никто не знает, чем был «инцидент в Синьян-фу». И не было ни малейшей причины для тех сложных чувств, которые внушал мне мой собеседник.

В декабре 1936-го Чан Кайши, приехавший с инспекцией антикоммунистического фронта Севера, был арестован начальником маньчжурских войск, молодым маршалом Чжан Сыляном. Все думали, что он будет казнен; но посланник (русские?) провел переговоры, и генералиссимус был освобожден после того, как дал обещание бороться, наконец, с японцами, а не с войсками Мао. Вернувшись в Нанкин, он сдержал свое обещание, что у всех (и в первую очередь у американцев) вызвало удивление. Какое обязательство могло связать его до такой степени?

Так вот, посланником и был Чжоу Эньлай.

* Хо Ши Мин.

В Сиэне я видел «Ванную комнату фаворитки», в которой Чан Кай-ши жил, когда его пришли арестовать. Он, словно в священный лес, убежал в рощу, возвышавшуюся над павильонами и джонкой из мрамора, где и был схвачен.

— Я уже был там, — сказал мне его охранник. — Вот его постель. (Это была европейская походная кровать.) Когда мы вошли, вместе с капитаном и солдатами, там никого не было, но на дощечке в ванной он оставил протез своей челюсти... Я был на большом мосту через реку, когда студентка бросилась под машину Чжан Сыляна с криком: «Не позволяйте японцам еще раз задушить Китай! Здесь прольется кровь! Пусть прольется наша кровь, лишь бы нас перестали унижать!». Она плакала, и все, кто ее слушал, тоже заплакали, и молодой маршал тоже плакал...

Этот дворец, копия дворца фаворитки великого императора, напоминает, как и все, что было скопировано в XIX веке (и прежде всего Летний Дворец), красивую безделушку. Но на маленьких террасах, над плакучими ивами летние розовые мимозы делали его похожим на дворец VIII столетия... Здесь была пагода, в которой начальника театра провозгласили Богом орошения. А вдалеке погребальный холм императора, основателя династии...

Взятый в плен генералиссимус начал с того, что ответил на вопрос Чжан Сыляна, который называл его «мой генерал»: «Если я Ваш генерал, то прежде всего Вы должны мне подчиняться!». Затем приехал Чжоу Эньлай...

— Одно из выражений председателя Мао, — сказал я, — имело большой успех во Франции и заинтриговало многих французов: «Соединенные Штаты — это бумажный тигр».

— Соединенные Штаты — это настоящий тигр, что отлично известно уже всем. Но если этот тигр явится сюда, он превратится в тигра бумажного. Потому что самая мощная армия ничего не сможет сделать во все-

общей гражданской войне. Наши ружья, наши танки, наши самолеты почти все американские. Мы захватили их у Чан Кайши. Чем больше американцы ему их давали, тем больше их становилось у нас. У Чана не было плохих солдат, уж Вы знаете! Будут ли лучше американцы? Это не так важно. Каждый китаец знает, что одна только народная армия может гарантировать неприкосновенность его земли. И война будет здесь.

Эта война будет продолжением войн против Японии, против Чан Кайши, против американцев в Корее, на Тайване, во Вьетнаме. Хотя министр считает, что вопрос о переговорах, касающихся Вьетнама, не стбит даже обсуждать, он уточняет, что Хо Ши Мин мог бы представлять на них только бойцов Севера.

— Следует вести переговоры с теми, кто сражается, то есть с Народным фронтом освобождения и с Ханом, но прежде всего с Фронтом.

Я видел, как французская коммунистическая партия пыталась это сделать в 1944-м: общий контроль над партизанами был невозможен, главы партизанских отрядов, контролировавшие Хо Ши Мина, зависели от китайцев...

Он говорил также об ООН, куда, как он считал, Китай не должен вступать, пока оттуда не выйдет Тайвань; казалось, он колеблется между афро-азиатской организацией, в той или иной мере контролируемой Китаем, и переносом ООН из Нью-Йорка в Женеву.

Я спросил его:

— Неужели Вы считаете, что сегодняшняя политика Японии может остаться неизменной, если вы владеете атомной бомбой?

Он внимательно на меня посмотрел:

— Я так не считаю...

Он, как и я, знает, что в Соединенных Штатах его принимают за прототипа одного из персонажей «Удела человеческого». Я вспомнил о фотографии в музее Кантона, где он остался один среди кадетов, в окруже-

нии людей со стертymi лицами, словно среди теней Гадеса, — это были Бородин, Гален и Чан Кайши...

— Генерал де Голь, — сказал я, — считает, что контакты, установленные при помощи наших послов, находятся в мертвой точке...

Его густые, заостренные к вискам брови, словно у персонажа из китайского театра, только подчеркивают общее кошачье выражение лица. Он задумался и устремил свой странный взгляд куда-то вдаль.

— Мы все соглашаемся, — ответил он, — с текстами, которые позволяют нам мирно сосуществовать... Мы хотим независимости и мы не хотим двойной гегемонии. Вы спрашивали министра иностранных дел, согласились бы мы вести переговоры по поводу Вьетнама до вывода войск. Мы не будем вести переговоры ни о Вьетнаме, ни о чем-либо еще, пока американцы не вернутся домой. Речь не идет лишь о том, чтобы покинуть Сайгон, но и о том, чтобы уничтожить базы в Сан-Доминго, на Кубе, в Конго, в Лаосе, в Таиланде, уничтожить пусковые ракетные установки в Пакистане и в других местах. Планета могла бы жить мирно; если она не может, то из-за преступлений американцев, которые везде суют свой нос и везде создают конфликты. В Таиланде, на Тайване, во Вьетнаме, в Пакистане (я еще не все страны упомянул) они дают деньги или вооружают против нас миллион семьсот тысяч человек. Они становятся «мировыми жандармами». Для чего? Если они вернутся домой, на планете наступит мир. И для начала пусть они соблюдают Женевские соглашения!

Он раздвинул руки и раскрыл ладони — символ невинности, которая свидетельствует о доброй воле вселенной:

— Как вести переговоры с людьми, которые не соблюдают соглашения?

Огорченный таким вероломством, он чудесным образом перевоплотился в конфуцианского мудреца, раздосадованного варварами, которые не соблюдают

ритуалы. Неожиданная маска на лице самурая. Как и недавно рядом с Неру, я заметил, что когда откровенно циничный политик обращается к добродетели, он отправляется за маской к своим предкам: коммунисты, постоянно лгущие, рядятся православными, французы — отшельниками, англо-саксы — пуританами.

Он предлагал, чтобы Франция посоветовалась со своим союзником Великобританией, а Китай — со своим союзником СССР, и все заняли бы общую позицию против политики агрессии и существования военных баз Соединенных Штатов за рубежом.

И все же он — один из первых дипломатов нашей эпохи. Как и тогда, когда я слушал маршала, я спрашивал себя, зачем он мне все это говорит. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не спрашивают наших советов, и позиция Франции известна всем. Он с воодушевлением говорил о китайской помощи слаборазвитым странам, и я заметил ему, что процент нашей помощи Африке самый высокий в мире. Но его интересовала только китайская помощь. Чем могла заинтересовать его наша помощь Алжиру?

— Нефтью, — ответил он.

В том, что он говорил, было какое-то странное равнодушие, полное безразличие к тому, что предлагал генерал де Голль. Я подумал об отчужденности человека, сраженного несчастьем. Его жена, один из лучших ораторов партии, была тяжело больна. Когда то, что он говорил, было чистой условностью, казалось, он «заводит пластинку», чтобы не думать. Несмотря на всю его вежливость. Видимо, эта беседа его утомляла и вместе с тем притягивала, словно он опасался вновь остаться наедине с собой.

— Вы долгое время были министром иностранных дел, — сказал я, — и Вы лучше, чем я, знаете, что некоторые положения принимаются для того, чтобы их обсуждать, а другие — только для того, чтобы их подтвердить. Я не верю, что Соединенные Штаты полагают, что Вашу позицию можно обсуждать...

Он сделал жест, который означал: «Это не имеет значения», — и ответил:

— Вы верите в атомную угрозу? Самостоятельность народных коммун обеспечена. Китай выживет в случае гибели ста миллионов человек. И рано или поздно он добьется, что американцы снова сядут на свои корабли... Китай никогда не согласится с возвращением Чан Кайши. Он обрел свою свободу. Это не свобода Америки, вот в чем дело.

Я вспомнил о конференции Сунь Ятсена за год до его смерти: «Если бы мы говорили о свободе первому встречному... он, разумеется, нас не понял бы... Причина, в силу которой китайцы не придают на самом деле какого-то особого значения свободе, заключается в том, что само слово, которое ее обозначает, пришло в Китай совсем недавно». Революция освободила жену от ее мужа, сына — от отца, крестьянина — от хозяина. Но в пользу коллектива. Западный индивидуализм не имеет корней в китайских массах. Надежда на преобразования, напротив, очень сильное чувство. Муж должен перестать драться со своей женой, чтобы стать другим человеком, который будет членом партии, или просто членом народной коммуны, или тем, кого освободит армия: «Боги — это хорошо для богатых, у бедных же есть VIII Армия».

Чжоу Эньлай вновь заговорил:

— Один из ваших генералов времен войны 1914 года сказал: «Ошибаются, когда забывают, что огонь убивает». Председатель Мао об этом не забыл. Но этот огонь не убивает того, чего не видит. Мы выставим наши армии против армии агрессора лишь в свое время и в нужном месте.

— Как Кугузов?

— Прежде всего мы не забываем, что любая армия агрессора становится менее сильной, чем захваченный народ, если последний отважится сражаться. Европейцы уже не являются хозяевами в Азии, и с американцами будет то же самое.

Верил ли он в войну или нет? Что меня заинтриговало, так это то, что он, как и маршал, кажется, даже не рассматривал возможности войны, в которой США, даже без атомной бомбы, довольствовались бы тем, что разрушили бы десять важнейших китайских индустриальных центров, задержав тем самым лет на пятьдесят строительство нового Китая, и вернулись бы к себе, не навязывая им никакого Чан Кайши.

Его мышление было основано на теории Мао, которую, к моему удивлению, он еще не удосужился изложить. Империализм объединяет шестьсот миллионов людей; слаборазвитые, социалистические и коммунистические страны — два миллиарда. Их победа неизбежна. Они окружают последний оплот империализма, то есть Соединенные Штаты, так же, как пролетариат окружает капитализм, так же, как Китай окружал армии Чан Кайши.

— Побеждает всегда человек... — говорит Мао.

Яньан

Прием военачальников из Бирмы и президента Сомали взбудоражил кабинеты министерства иностранных дел. Никто не знал, отправится ли председатель Мао, выздоровевший, в Пекин или прием будет проходить на его вилле в Ханчжоу. Когда? Скоро. Но когда именно? Три дня, четыре, может быть, меньше...

Я хотел бы посмотреть на женский монастырь, но монахини не желали видеть никаких европейцев. Из чувства страха? «Я так не думаю», — сказал посол. Один из наших собеседников видел епископа из Шанхая, яростного маоиста. «Марионетка в руках властей». Тем не менее он с благородным видом выполняет свой долг милосердия, он уже многих обратил в христианство, о чем говорят лишь шепотом. Я вспомнил о своем друге, священнике из Парижа: «Когда нас распределяли по округам, мы были счастливы, тогда как

наши китайские товарищи оставались холодны. Мы завидовали их апостольству. Проповедовать в Китае! В конце концов мы спросили, почему у них такой похоронный вид? „Все ваши церкви были построены под защитой ваших канонеров, и Христос в эти церкви там не приходит. Вначале нужно разрушить их все. Тогда появится христианский Китай, который будет действительно похож на Китай. Так же, как сцены Рождества на китайских религиозных картинах. И когда голос Господа зазвучит у нас, они заметят, что он не похож на болтовню Греции и Рима". Мы смотрели на них, изумленные идеей разрушения миссий, с таким трудом созданных; восхищенные этой гигантской задачей, удивительной и тайной. „Вы не увидите этого за всю вашу короткую жизнь", — тихо сказал один из нас. „Знаем. Мы будем ждать..."».

Я пожелал съездить в Яньан; в мое распоряжение был выделен самолет.

И вот эта Спарта. Истина, легенда и темная сила, продолжающая в эпосе сражения прошлого, — все соединилось в этих изломанных горах. У их подножья находился музей Революции.

Почти все, что в нем представлено или упоминается, произошло здесь, тридцать лет тому назад. Это время уже ушло в прошлое. Вот переход черной кавалерии через ущелье, шествие солдат по Великой Стене, пушки, сделанные из стволов деревьев, обмотанных колючей проволокой, шапки, замаскированные, как каски, листвою; рядом со средневековыми пиками партизан с красной кисточкой на конце, что побольше, чем кисточка народного ополчения Юга, деревянные ружья, предназначенные для обучения, вручную изготовленные гранаты. Вот березовая кора, заменявшая бумагу, прялки, на каждой из которых изготавливались нити для военной формы. Но Ганди был отсюда далеко. Вот машинка, печатавшая банковские билеты,

очень скромные билеты, очень скромная машинка, посланная по частям рабочими из провинций, занятых врагом. До Мао все это было вековым инвентарем победенных. Я встречал в Сибири воспоминания о такой примитивной гражданской войне, но сибирские партизаны не сражались один против ста и не вдохновлялись тем, что провозглашалось здесь (крестьянская война становилась революцией). Китайские музеи выставляли железные короны, которые носили вожди тайпинов до своего поражения: это были короны варваров, которые носили также и вожди Жаке-рии и которые войска короля, когда они их захватывали, меняли на короны из раскаленного железа. Тысячелетнее китайское крестьянство (крестьянство всех наций в те времена, когда крестьян было большинство) зафиксировано здесь в тот момент, когда оно поднялось, чтобы завоевать Китай, и встало под знаменем единственного человека, который мог привести его к победе: на витринах, рядом с пиками стояли винтовки и пулеметы, захваченные у японцев и у солдат Чан Кайши. Экскурсовод, улыбнувшийся возле двух традиционных циновок, проникновенным голосом рассказывает об этой эпопее, не смолкая вплоть до последнего зала, где стоит чучело той храброй лошади, которая возила Мао во времена Великого Похода.

Это Наполеон, о котором рассказывает старый вояка, Анри Моннье, из «Сельского врача» Бальзака; это «Неистовый Роланд» в интерпретации сицилийских кукольников. Но за педантичным фетишизмом, который касается не только лошади и чернильницы Мао, начинаются эмоции, пробуждаемые самим Освобождением. Эти деревянные ружья, эти пики не являются свидетелями Истории, наподобие мушкетов и алебард в наших музеях: это оружие революции, а пещера — это пещера Мао. Могли бы мы смотреть на штыки Флеруса или Аустерлица как на «образцы вооружения»? В музее Сопrotивления в Париже изрешеченный пулями столб, к которому привязывали пригово-

ренных к расстрелу, говорит нам так же много, как краснокожим их огромные тотемы на вершине, исчезающей в низко плывущих облаках. Этот Китай, лишь немного религиозный, но так сильно связанный со своей землей, своими реками, со своими горами и мертвецами, воскресает благодаря другому культу — культу предков, для которого история освобождения — это Евангелие, а Мао — его сын, в том смысле, в каком Император был Сыном Неба. Здесь, как и в других городах, можно увидеть плакат, на котором преданный партии юноша с белоснежной улыбкой радостно размахивает ружьем, а левой рукой прижимает к себе девушку-милиционера с автоматом. Они не смотрят друг на друга, они смотрят, разумеется, в будущее. И стиль этого рисунка — советский реализм, следовательно, идеализация выражает мечты китайцев. Далеко ли мы ушли от Марса и Венеры? Речь уже не идет о диске фонографа, шуршащем как мышь под циновкой; это пара новобрачных, это древний бог и его богиня.

Ни в каком другом месте мифологическая сила китайского коммунизма не проявляется так ярко. Яньан — это маленький город, и его заводы, его мост, его электрическое освещение не могут закрыть собой тех горных ущелий, в которых свершалась судьба Китая (Мао управлял уже сотней миллионов людей, когда его покинул), ту пагоду, которая приветствовала криком тех, кто присоединил Яньан, подобно тому, как наши паломники приветствовали башни Иерусалима. Везде желтая земля, степная пыль, атакующая прижавшиеся к реке поля злаков, и древние штаб-квартиры из утоптанной земли, твердые как камень, площадки для школы или для тюрьмы. Они заброшены. «Массы приходят в другое время года». Все это пострадало от бомб, но затем было восстановлено. Зал префектуры, в котором Мао прочитал свою речь о литературе, зал Главного штаба красной армии с деревянными скамьями и

бревенчатым потолком, кабинеты руководителей отрядов в пещерах, защищенных от зимы перегородками из стекла и дерева, словно чистенькие домики. Слово «пещеры» плохо передает представление об этих доисторических жилищах, высеченных в скале, как жилища наших виноградарей Луары. Если укрытие Мао, рядом с музеем, похоже на погребальную комнату Египта, то большинство других были местом для работы и удивляют лишь своей строгостью. Остановившаяся здесь армия только что прошла десять тысяч километров. Мао оставил Яньан, вновь завоеванный. И в этом месте проходил диалог между армией и партией, оно передает военный характер всей этой политической победы, наследство завоевателей степей — минимум ковров и мехов. Здесь, на убогой красной войлочной скатерти потрескивали свечи Центрального комитета... Армия шла дальше: здесь она остановилась лишь ненадолго. Вплоть до взятия Пекина верховный руководитель крестьянской армии был вождем кочевников.

Мне показывают несколько старых фильмов с хроникой событий. К опустевшему Яньану подходит армия Чан Кайши. Переселение, вероятно, в пещеры поблизости, так как крестьяне перевозят столы на спинах ослов. Затем возвращение армии Освобождения, ее триумфальное шествие по всем городам Китая, начиная с набережной Шанхая и кончая шатающимися деревянными воротами Юн нань фу, тибетский танец с лентами, который исполняют юные девушки, повторяя позы статуй эпохи Тан; парад солдат в Лхасе, проходящих, как на советских парадах, со штыками вперед перед дворцом далай-ламы.

Один из моих спутников, какой-то ответственный работник партии, рассказывает мне, что видел, как входили в Яньан выжившие после Великого Похода.

— Когда Вы в первый раз увидели Мао?

— Когда он призвал нас выступить против Японии. Я был удивлен, так как у него был очень простой вид.

Он был одет в голубое, как и все мы, но у него были носки каштанового цвета. Я стоял сзади: пусть я пришел один из первых, но мне было всего семнадцать лет. Он хорошо говорил, мы сразу же решили, что он прав...

Над нами нависает гора, ущелье уходит в бесконечность. Я вспомнил о Лунь мане.

— Тогда еще не было электричества. В городе уже никто не жил, потому что его все время бомбили с самолетов. Ночью во всех пещерах зажигались огни...

Пекин, август 1965-го

Возвращение. Вчера вечером мне позвонили и сообщили, чтобы я не покидал посольства. В тринадцать часов новый телефонный звонок: меня ждут в пятнадцать часов. В принципе, это была аудиенция у президента Республики Лю Шаоци; но это «ждут» заставило посла предположить, что Мао будет присутствовать на встрече.

Пятнадцать часов. Фронтон Дворца Народа покоится на крупных египетских колоннах, увенчанных лотосами красного цвета. Коридор длиной более чем сто метров. В глубине, против солнца (в зале, я думаю) около двадцати человек. Две симметричные группы. Нет, это только одна группа, которая кажется разделенной на две части, потому что те, что стоят напротив меня, держатся на расстоянии за спиной человека в центре, вероятно, Мао Цзэдуна. Войдя в зал, я различаю лица. Я направляюсь к Лю Шаоци, поскольку мое письмо адресовано президенту Республики. Никто из них не шевелится.

— Господин президент, я имею честь вручить Вам это письмо от президента Французской республики, в котором генерал де Голль обязывает меня быть своим представителем при председателе Мао Цзэдуне и при Вас.

Я цитирую фразу, которая касается Мао, и обращаюсь к нему. Затем я оказываюсь перед ним и вручаю письмо в тот момент, когда перевод закончен. Его обращение одновременно отличается и радушием и курьезной фамильярностью, словно ему хочется сказать: «К черту политику!». Но он говорит:

— Вы приехали из Яньана, не так ли? Каковы Ваши впечатления?

— Очень сильные. Это музей невидимого...

Переводчица (та, что обслуживала Чжоу Эньлая) переводит без промедления, но, очевидно, дожидается пояснений.

— В музее Яньана ждешь фотографий Великого Похода, лаотян, гор, болот... Однако сам поход отходит на второй план. На первом — пики, пушки, изготовленные из стволов деревьев и телеграфной проволоки. Музей революционной нищеты. Когда идешь от него к пещерам, где вы жили со своими соратниками, возникает такое же впечатление, главным образом, тогда, когда вспоминаешь о роскоши ваших противников. Я вспомнил там о комнате Робеспьера у столяра Дюпле. Но гора впечатляет сильнее, чем мастерская, и Ваше укрытие над действующим музеем вызывает мысль об египетских гробницах...

— Но не партийные залы.

— Нет. Прежде всего, они защищены стеклами. Но они вызывают впечатление добровольной, монашеской нищеты. Именно эта нищета и вызывает мысль о невидимой силе, как и нищета наших больших монастырей.

Мы все сидим в плетеных креслах, маленькие подлокотники которых обтянуты белой тканью. Зал ожидания на вокзале в тропиках... Снаружи, сквозь шторы, пробивается огромное августовское солнце. У всех на лицах доброжелательное и серьезное выражение; а также выражение внимательной вежливости, которая, кажется, не принимает в расчет того, кто является ее объектом. Это ритуальная вежливость. Император

объединяет людей в космосе. Все эти города построены по законам геомантии, во всех этих жестах есть строгий порядок. Император умер, но Китай еще следует тому порядку, который он олицетворял. Отсюда активное послушание, равного которому я не встречал нигде, даже в России. Теперь я могу разглядеть Мао, сидящего против света. Такое же круглое, гладкое, моложавое лицо, как и у маршала. Спокойное лицо, что довольно неожиданно, так как о нем идет слава жестокого человека. Рядом с ним — лошадиное лицо президента Республики. Позади обоих — медицинская сестра в белом.

— Когда бедняки отваживаются сражаться, — сказал он, — они всегда победят богатых. Возьмите вашу Революцию.

Во всех наших военных школах я слышал одну и ту же фразу: никогда народное ополчение не могло долго сражаться с регулярной армией. И это справедливо и для крестьянских войн и для революций! Но, может быть, он хотел сказать, что такие страны, как Китай, где армии похожи на наши большие средневековые отряды, достаточно сильны, чтобы создать войска добровольцев и обеспечить им победу. Здесь сражаются не столько для того, чтобы обеспечить мир, сколько для того, чтобы выжить.

После того как Чан Кайши уничтожил коммунистов в Шанхае и в Ханчжоу в 1927-м, он организовал крестьянскую милицию. Тогда все русские, ссылавшиеся на марксизм-ленинизм, все китайцы, которые от них прямо зависели, основывались на принципе, что крестьянство никогда не сможет победить в одиночку. Как троцкисты, так и сталинисты. Уверенность, что крестьяне могли бы взять власть в свои руки, все изменила. Как возникла эта идея? Когда он противопоставил толпу крестьян, вооруженную копьями, всем марксистам, зависящим от русских, а следовательно, от Коминтерна?

— Мои убеждения не формировались: я всегда их придерживался.

Я вспомнил слова генерала де Голля: «Когда Вы впервые подумали, что еще вернете себе власть?» — «Я всегда об этом думал...».

— Но тем не менее у меня есть ответ. После удара Чан Кайши в Шанхае мы рассеялись. Как Вы знаете, я решил вернуться в мою деревню. Когда-то я видел великий голод в Чжан-шэ и отрезанные головы мятежников, надетые на колья, но я позабыл об этом. В трех километрах от моей деревни не осталось коры на деревьях в четыре метра высотой: голодные съели ее. Из людей, которым приходилось есть кору, мы могли сделать бойцов лучше, чем из шоферов Шанхая или из носильщиков. Но Бородин ничего не понимал в крестьянах.

— Горький однажды сказал мне, при Сталине: «Крестьяне везде одинаковы».

— Ни Горький, великий поэт-бродяга, ни Сталин... не знали ничего о крестьянах. Нет ничего разумного в том, чтобы смешивать ваших кулаков с бедняками слаборазвитых стран. И нет абстрактного марксизма, есть конкретный марксизм, примененный к конкретному Китаю, к голым, как люди, деревьям, потому что люди намерены их съесть.

Назвав имя Сталина... он замаялся. Что он хотел сказать? Семинарист? Что он думает о нем сегодня? Вплоть до взятия Пекина Сталин верил Чан Кайши, который должен был задушить эту случайно появившуюся, даже не сталинскую партию, как он задушил ее в Шанхае в 1927-м. Хрущев во время тайного заседания XX съезда Партии в 1956-м утверждал, что Сталин был готов порвать с китайскими коммунистами. В Северной Корее он оставил заводы нетронутыми; в регионах, которые собирался занять Мао, он их разрушил. Он послал Мао работу о партизанской войне, и Мао дал ее Лю Шаоци: «Читай это; если хочешь узнать, что надо сделать, чтобы все мы погибли». Рискую поставить на коммуниста, Сталин предпочитал верить Ли Лисану, получившему образование в Москве. Чистки наверняка не касались Мао, так же, как и критика,

как и презрение крестьянских масс. И он наверняка пользовался огромным уважением в коммунистическом движении за заслуги в раскулачивании, в борьбе против вражеского окружения, в ведении войны. Надо мной, как и во всех официальных залах, висели четыре портрета: Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.

Хотя Мао и принадлежал к той группе молодых китайцев, которые все, как правило, выучив несколько французских слов, отправлялись во Францию и работали там на заводах столько, сколько нужно было, чтоб стать революционером (Чжоу Эньлай основал Коммунистическую партию Китая в Вилланкуре), он никогда не покидал Китай и никогда не отказывался от своего недоверия по отношению к большей части вернувшихся из-за границы революционеров, так же, как и к посланцам Коминтерна.

— В 1919-м я отвечал за студентов Гунаня. Мы хотели, прежде всего, самостоятельности провинций. Мы боролись вместе с военачальником Чжао Хэнцзи. На следующий год он повернул свои войска против нас. Он раздавил нас. И я понял, что только массы могли бы уничтожить военачальников. В то время я читал «Коммунистический манифест» и участвовал в рабочей организации. Но я знал и армию, я был солдатом несколько месяцев в 1911-м. Я знал, что одних рабочих недостаточно.

— Наши солдаты Революции (а их было немало) — это бывшие сыновья крестьян, ставшие солдатами Наполеона. И нам почти известно, как это произошло. Но как была создана Народная армия? И как она была реформирована, потому что из двадцати тысяч бойцов, прибывших в Яньан, только семь тысяч пришли с Юга. Говорят о пропаганде, но пропаганда создает единомышленников, она не создает солдат...

— Вначале были ячейки. В революционной армии было больше рабочих, чем говорят. У нас было много людей в Цзянси, мы отобрали самых лучших. И для Великого Похода они отбирали уже сами... Те, кто остал-

ся, совершили ошибку: Чан Кайши приказал уничтожить более миллиона. Наш народ ненавидел, презирал и боялся солдат. Он очень быстро понял, что красная армия была своей. Почти повсюду он приветствовал ее. Она помогала крестьянам, главным образом, с уборкой урожая. Они видели, что у нас не было привилегированного класса. Они видели, что мы ели то же самое, что и они, носили ту же одежду. У солдат была свобода собраний и свобода слова. Они могли требовать отчет о действиях своего отряда. Офицеры не имели права бить людей, не имели права их оскорблять. Мы изучали классовые отношения. Когда армия была там, было нетрудно показать, что мы защищаем: у крестьян были глаза. Вражеские войска были более многочисленны, чем наши, и им помогали американцы; однако мы часто были победителями, и крестьяне знали, что мы одерживали эти победы для них. Надо научиться вести войну, но война намного проще, чем политика: дело в том, чтобы иметь больше людей или больше мужества в том месте, где вступаешь в бой. Время от времени неизбежны потери; нужно иметь лишь больше побед, чем поражений...

— Вы извлекли пользу из ваших поражений.

— Даже больше пользы, чем мы думали. В каком-то отношении Великий Поход был поражением. Однако его результат — это победа, потому что везде, где мы проходили...

(«Десять тысяч километров», — вставила переводчица.)

— ...крестьяне понимали, что мы с ними, и когда они в этом сомневались, поведение солдат Гоминьдана могло их убедить. Не говоря уже о репрессиях.

Репрессиях Чан Кайши. Но он мог бы рассказать и о репрессиях своей армии: Армия Освобождения конфисковала не только много имущества, она уничтожила крупных собственников и аннулировала долги. Военные максимы Мао стали народной песней: «Враг наступает, мы уходим. Он встает лагерем, мы его

преследуем. Он уклоняется от боя, мы атакуем. Он уходит, мы его преследуем». Я знаю, что его «мы» включает в себя одновременно и партию, и армию, и сегодняшних тружеников, и тружеников вечного Китая. Для смерти здесь нет места. Китайская цивилизация всех китайцев сделала дисциплинированными от рождения индивидами. И для любого крестьянина жизнь в Народной армии, где его учили читать, где были развиты товарищеские отношения, была более почетной и менее тягостной, чем жизнь в деревне. Поход красной армии через Китай был сам по себе более мощной пропагандой, чем все, что могла придумать партия: повсюду его след был усеян трупами, все крестьянство восстало, час настал.

— А каким было направление вашей пропаганды?

— Представьте себе жизнь крестьянина. Она всегда была плохой, но хуже всего, когда армия жила в деревнях. Она никогда не была хуже, чем в конце правления Гоминьдана. За малейший проступок там закапывали живьем, крестьянки надеялись вновь родиться собаками, чтобы быть не такими несчастными; колдуньи вызывали своих богов песней смерти: «Чан Кайши идет!». Крестьяне совсем не знали капитализма: перед ними было феодальное государство, укрепленное пулеметами Гоминьдана. Первая часть нашей борьбы была крестьянской войной. Дело было в том, чтобы освободить работника от хозяина; завоевать не свободу слова, голоса или собраний, а свободу выжить. Восстановить братство гораздо важнее, чем завоевать свободу! Крестьяне сделали бы это и без нас, они были уже готовы сделать это. Но часто они впадали в отчаяние. Мы принесли им надежду. В освобожденных регионах жизнь была не такой ужасной. Войска Чан Кайши знали об этом и поэтому распространяли слухи, что пленников и крестьян, которые к нам приходили, мы хоронили заживо. Посему войну приходилось организовывать при помощи криков, провозглашать правду людям, которые понимали то, что им

говорили. Но только тем, кто не оставил родственников на другой стороне. Чтобы поддерживать надежду, что мы развернули гражданскую войну настолько, насколько смогли. Намного больше, чем необходимо для карательных экспедиций. *Все возникало в особой ситуации*: мы организовали крестьянскую войну, но не мы ее вызвали. Революция — это драма страстей; мы завоевали народ не потому, что обращались к его разуму; мы пробуждали в нем надежду, доверие и братство. Перед лицом голода желание равенства приобретает силу религиозного чувства. Затем, в борьбе за рис, за землю и за права, данные аграрной реформой, крестьяне понимали, что необходимо бороться за свою жизнь и за жизнь своих детей. Чтобы росло дерево, нужно семя, нужна также земля: если вы бросите зерно в пустыне, дерево не вырастет. Зерном было во многих местах воспоминание об Армии Освобождения; во многих других — воспоминание о пленниках. Но земля была везде особой ситуацией, невыносимой жизнью сельских жителей под игом последнего режима Гоминьдана. Во время Великого Похода мы взяли в плен свыше ста пятидесяти тысяч человек, небольшими группами; еще больше во время похода на Пекин. Они оставались с нами четыре или пять дней. Они хорошо чувствовали разницу между собой и нашими солдатами. Даже если они и не ели так, как мы, они все же чувствовали себя свободными. Через несколько дней после пленения мы собирали тех, кто хотел отправиться с нами дальше. И они отправлялись с нами после прощальной церемонии, словно они становились для нас своими. Многие после этой церемонии отказывались уезжать. И вместе с нами они становились храбрыми. Потому что они знали, что защищали.

— И потому что вы их направляли в опытные отряды?

— Конечно. Отношение солдата к своей деревне так же важно, как отношение армии к населению.

Именно это я называл «рыбой в воде». Армия Освобождения — это суп, в котором варились пленники. Кроме того, новобранцев нужно привлекать лишь к тем сражениям, которые можно выиграть. Позже все изменится. Но мы всегда лечили раненых солдат врага. Мы не смогли бы тащить на себе всех этих пленников, но это не очень важно. Когда мы шли на Пекин, сражавшиеся против нас солдаты знали, что они ничем не рискуют, когда сдаются, и они сдавались массами. Генералы тоже, между прочим.

Внушить армии ощущение неизбежной победы — это, конечно, имеет огромное значение. Я вспомнил о Наполеоне во время его поражения в России: «Сир, наши люди уничтожены двумя русскими батареями». — «Прикажите эскадрону взять их штурмом!».

Я рассказал об этом Мао, он рассмеялся и добавил:

— Вы должны отдавать себе отчет, что до нас никто, обращаясь к массам, не обращался ни к женщинам, ни к молодежи. Ни, конечно же, к крестьянам. И те и другие впервые почувствовали, что все это их *касается*. Когда на Западе говорят о революционных чувствах, то почти всегда представляют себе пропаганду, похожую на ту, что есть у русских. Но если у нас и есть пропаганда, она похожа, скорее, на ту, что была у вашей Революции, потому что, как и вы, мы сражались за крестьянство. Если цель пропаганды — обучить милицию и партизан, то мы достаточно ею занимались. Но если речь идет о проповеди... Вы знаете, что я уже давно заявляю: мы должны дать массам точные и ясные знания о том, что сами получили от них в виде туманных представлений. Что нас связывало с большинством деревень? Горестные доклады.

Такой доклад — это публичная исповедь, в которой говорящий рассказывает лишь о своих страданиях, но перед всей деревней. Большинство слушающих замечает, что испытывало такие же страдания, и рассказывает о них в свою очередь. Обычно многие из таких исповедей трогают душу, вечная жалоба о вечном не-

счастье. Некоторые просто ужасны. (Мне рассказывали об исповеди одной крестьянки, которая спросила военачальника, где ее муж, брошенный в тюрьму: «Он в саду». Она нашла там его обезглавленное тело, голова лежала на животе. Она взяла его голову, которую солдаты попытались у нее отнять, начала ее укачивать. Она защищала ее так, что солдаты расступились, словно женщина владела каким-то сверхъестественным предметом. Эта история хорошо известна, потому что та женщина повторяла свой горестный доклад — и потому что на публичном суде над этим военачальником она вырвала ему глаза).

— Мы заставляли делать такие доклады во всех деревнях, — сказал Мао, — но не мы их придумали.

— Какую дисциплину вы должны были установить с самого начала?

— Нам не пришлось вводить какую-то особую дисциплину для того, чтобы навести порядок. В армии существовало три принципа: запрет на любую индивидуальную реквизицию, немедленный доклад в политический комиссариат о всех конфискациях и изъятиях имущества, непосредственное подчинение приказам. Мы никогда ничего не брали у бедных крестьян. Все зависит от кадров: солдат, включенный в дисциплинированный отряд, и сам подчиняется дисциплине. Но любой ополченец подчиняется дисциплине, а наша армия была армией ополченцев. Через знаменитую «промывку мозгов» у нас прошла большая часть пленников; но что это было такое? Им говорили: «Почему вы сражаетесь против нас?» — и говорили крестьянам: «Коммунизм — это прежде всего сплоченность против фашизма».

Я вспомнил о коре, съеденной голодными, и о том, что говорил мне Неру о голоде. Но я знал, что промывка мозгов не ограничивалась такими безобидными демонстрациями. Собрания самокритики часто заканчивались обвинениями, затем исключениями, арестами и казнями. «Иди в решительный бой на врага, спрятавшегося внутри твоего черепа!». В 1942-м в Яньане Мао

приказал ополченцам стать такими же, как рабочие и крестьяне. (Мне показывали в долине поле, которое он обрабатывал.) Позже ему пришлось отдать приказ о «перевоспитании» всех китайцев. Когда он призвал их «отдать свои сердца», начались ритуальные клятвы толп людей, «чьи сердца бились лишь ради Партии», и демонстрации с огромными красными сердцами, которые взлетали в воздух как бумажные змеи.

— Мы потеряли Юг, — вновь заговорил он, — и мы даже оставили Яньан. Но потом мы снова взяли Яньан и вернули себе Юг. На Севере мы нашли возможность контактировать с Россией, и это дало нам уверенность, что мы не окажемся в окружении. В распоряжении у Чан Кайши было еще несколько миллионов человек. Мы смогли заложить прочный фундамент, увеличить Партию, организовать массы. До самого Цзинаня, до самого Пекина.

— В Советском Союзе именно Партия создала Красную Армию; здесь, кажется, часто именно Армия Освобождения создавала Партию.

— Мы никогда не позволим винтовке командовать Партией. Но это верно, что VIII Армия во время военной кампании построила мощную партийную организацию Северного Китая, включая кадры, школы, массовые движения. Яньан был построен винтовкой. В ствол ружья можно поместить все... Но в Яньане мы встретили такой класс людей, какого никогда не встречали на Юге, в том числе и за все время Великого Похода: национальная буржуазия, интеллигенция,* все те, кто с искренним сердцем вступил в единый фронт борьбы против Японии. В Яньане перед нами встали проблемы управления. То, что я Вам собираюсь ска-

* Под этим словом Мао понимает, помимо либеральных профессий, еще студентов и преподавателей; ту массу людей, которые не являются ни рабочими, ни крестьянами, ни бывшими компрадорами (от исп. *comprador* — покупатель) или капиталистами.

зять, удивит Вас: если бы нас к этому не вынудило наступление противника, мы не пошли бы в атаку.

— Вы считали, что вас уничтожат?

— Да. Генералы Чан Кайши часто ему лгали, а он часто лгал американцам. Он верил, что мы будем сражаться по традиционным правилам. Но Чжу Дэ и Чэнь И приняли бой лишь тогда, когда наши силы начали превосходить их собственные. Он мобилизовал много людей на защиту городов, но мы не атаковали города...

— Поэтому русские так долго и... недооценивали вас.

— Если революцию можно делать только с рабочими, то мы, очевидно, не могли бы совершить революцию. Русские хорошо относились к Чан Кайши. Когда он сбежал из Китая, советский посол был последним, кто с ним попрощался. Города упали нам в руки, словно спелые плоды...

— Россия ошибалась, но и мы могли бы совершить ошибку. Азия XIX века кажется пораженной недугом, который нельзя объяснить одним только колониализмом. Япония первая вступила на западный путь развития, и предсказывали, что она очень быстро и американизировалась бы. Истина в том, что, несмотря на видимость, в глубине она осталась той же самой Японией. Вы собираетесь перестраивать Великий Китай, господин председатель; об этом говорят картины и пропагандистские афиши, ваши поэмы, сам Китай, вместе с его военным развитием, за которое его упрекают туристы...

Его министры, сидевшие кружком, навострили уши.

— Да, это так, — честно ответил он.

— Вы надеетесь, что ваше... древнее сельское хозяйство, в котором еще до такой степени распространен ручной труд, сможет догнать машины?

— На это понадобится время... Несколько десятков лет... Потребуется и помощь друзей. Прежде всего нужны контакты. Есть разные виды друзей. Вы — это

одно. Индонезия — это другое. Айдит* здесь, я его еще не видел. Между ним и нами одни общие пункты, между вами и нами — другие. Вы говорили... (Переводчица подыскивала французское слово.) ...уместные вещи министру иностранных дел, что вы не желаете жить в мире, подчиняющемся двойной гегемонии СССР и США, которые, как я говорил еще два года назад, в конце концов заключат друг с другом свой «Священный Союз». Вы продемонстрировали вашу независимость от американцев.

— Мы независимы, но мы союзники.

С самого начала беседы он не сделал ни одного жеста, только подносил сигарету ко рту и клал ее на пепельницу. При общей неподвижности он не казался большим, скорее он был похож на бронзового императора. Внезапно он поднял обе руки к небу и сразу же уронил их обратно.

— На-а-а-а-аши союзники! И ваши и наши!

В его голосе звучало: «хороши же они!».

— Соединенные Штаты — это не что иное, как американский империализм; Великобритания ведет двойную игру...

Впервые маршал взял слово:

— Великобритания поддерживает американских империалистов.

В то же самое время, как я ответил ему: «Не забывайте о Малайзии...», Мао сказал: «Они поменялись местами», но таким глухим голосом, словно говорил это самому себе:

— Мы сделали все возможное, но кто знает, что произойдет за несколько десятков лет?

Я думал не о том, что случится завтра, а о том, что произошло вчера, когда русские, в то же самое время, когда они строили гигантские сталелитейные заводы, напоив до смерти всех китайских пограничников, перемещали пограничные столбы в степях Туркестана,

* Глава Коммунистической партии Индонезии.

чтобы стать владельцами урановых шахт, столбы, возвращенные на свое место немного позже в результате взвешенного ответного действия, совершенного во время сна русских пограничников...

Я спросил:

— Оппозиция еще имеет силу?

— Всегда есть национальная буржуазия, интеллигенция и так далее. И у тех и других появляются дети...

— А почему интеллигенция?

— Ее мышление антимарксистское. В Движение освобождения мы принимали их даже тогда, когда они были связаны с Гоминьданом, потому что у нас было слишком мало интеллигентов-марксистов. Их влияние исчезнет еще не скоро. Главным образом, на молодежь...

Я вдруг заметил, что картины на стене, традиционные полотна в маньчжурском стиле, такие же, как и в кабинете маршала, и в кабинете Чжоу Эньлая. Ни одного рисунка в стиле социалистического реализма, которыми завешаны стены города.

— Молодежь, которую я видел во время своих поездок, — сказал наш посол, — глубоко Вам предана, господин председатель.

Мао знал, что Люсьен Пайе был министром национального образования и ректором в Дакаре; он знал также, что при любой возможности тот вступает в контакт с преподавателями и студентами. Посол говорил так же важно и с такой же значительностью, как обычно разговаривают многие работники нашего посольства, родившиеся в Китае.

— Можно посмотреть на это и таким образом...

То была не обычная любезная фраза, сказанная с целью отодвинуть дискуссию. Мао придавал молодежи такое же важное значение, как и генерал де Голь, как и Неру. Казалось, он думал, что можно дать много оценок китайской молодежи, и желал, чтобы они были даны — и не такие, как его собственная. Он знал, что наш посол изучал новую китайскую педагогику: систему «наполовину труд, наполовину учеба», разрешав-

шую студентам пользоваться на экзаменах конспектами и учебниками... Он внимательно посмотрел на него и задал вопрос:

— Сколько времени Вы уже в Пекине?

— Уже четырнадцать месяцев. Но я ездил в Кантон по железной дороге; я посетил Центральный Южный район, что мне позволило увидеть — не без волнения, господин председатель — дом, в котором вы родились, в Гунане; я видел Сычуань, Северо-Восток. И мы посмотрели Лоян и Сизнь, еще до Яньана. Везде я вступал в контакт с народом. Конечно, поверхностный контакт; но тот, что я установил с преподавателями и студентами, это был настоящий контакт, в Пекине, довольно длительный. Студенты ориентированы на то будущее, о котором Вы им говорите, господин председатель.

— Вы видели лишь одну сторону... Другая могла от вас ускользнуть... Общество — это сложная система... Знаете ли Вы, как называли хризантемы на последней выставке в Ханчжоу? «Пьяная танцовщица», «старый храм в лучах заходящего солнца», «любовник, припудривающий свое лицо»... Возможно, что эти две тенденции существуют рядом друг с другом, но конфликт зреет...

В этой стране, где говорят лишь о будущем и о братстве, каким одиноким кажется его голос перед лицом грядущего! Я подумал о ребяческом образе из моей первой книги об Истории: Карл Великий, который смотрит, как вдали норманны поднимаются по Рейну...

— Ни сельскохозяйственная, ни промышленная проблемы не решены. Проблема молодежи еще меньше. Революция и дети, если мы хотим поставить их на ноги, надо способствовать их развитию...

Его детей, оставленных у крестьян во время Великого Похода, так никогда и не нашли. Может быть, в какой-то из народных коммун, двое юношей тридцати лет, оставленные, как и многие другие, когда-то вместе

с трупами, и были безымянными сыновьями Мао Цзэ-дуна.

— Молодежь должна доказать...

Напряжение в воздухе делает наших собеседников еще более неподвижными. Напряжение, отличное от той любопытной тревоги, которая возникла, когда они ждали, что же он скажет о возрождении Китая. Казалось, что мы говорили о тайной подготовке атомного взрыва. «Доказать...» Я вспомнил Неру: «Молодежь, я от нее ничего не жду». Здесь двадцать пять миллионов молодых коммунистов, из которых почти четыре миллиона из интеллигенции; то, что Мао был намерен сказать, наверняка предполагало новую революционную акцию, сравнимую с тем, как он призвал к «расцвету Ста цветов», а затем с их преследованием. Чего он хотел? Бросить молодежь и армию против Партии?

«Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ!» — Мао бросил этот лозунг, казавшийся провозглашением либерализма, в то время, когда верил в «преобразованный» Китай. Критика, которую он призывал быть «конструктивной», — дорога коммунистическим партиям: он был намерен основать на ней необходимые реформы. Но он столкнулся с массивной атакой негативной критики, которая посягала даже на Партию. Возвращения к Спарте не произошло: интеллигентов отправили на перевоспитание в народные коммуны. Противники режима увидели в «Ста цветах» наживку, цель которой — выманить из леса обманутых противников. Но Мао так же искренне желал изменить линию Партии, как искренне и твердо затем решил ее восстановить, как только понял, что критика, которую он вызвал, совсем не была самокритикой. Во многих отношениях ситуация была бы такой же и сегодня, если бы был принят лозунг: «Пусть процветает молодежь!». Верил ли он, что коммунистическая молодежь способна вовлечь юношей и девушек страны в акцию, сопоставимую с «Великим Скачком

вперед»? С другой стороны, следовало, несомненно, снова испытать Партию. Репрессии, которые последовали за «Ста цветами», ударили по протестовавшей молодежи, они ударили также и по членам Партии, которые позволили им протестовать: один камень — два удара. Нужно было воздействовать на всю молодежь в целом и испытать Партию в этой акции. Окружение Запада народами слаборазвитых стран, на что намекал Чжоу Энлай, а следовательно, как говорил Мао, и «судьба мира» неразрывно связана с китайской молодежью. Верил ли он на самом деле в освобождение мира под руководством Китая? Революция, которую делают проповедники великой нации, — это более широкая и более сильная политика, чем политика Соединенных Штатов, которая определяется лишь стремлением остановить эту экспансию. Бородин, делегированный от СССР к Сунь Ятсену, отвечал в интервью «Гонконг таймс»: «Вам понятна деятельность протестантских миссионеров, не так ли? Тогда вы поймете и то, что делаю я...». Но это было в 1925-м. Собрали две тысячи танцоров и триста тысяч зрителей для президента Сомали — а что потом? Сталин верил в Красную Армию, а не в Коминтерн; может быть, и Мао верит, что слаборазвитые страны возьмут власть в мире в свои руки, так же, как Сталин верил в то, что эту власть возьмет пролетариат. Революция победит, но до этой победы президенты Сомали, война во Вьетнаме, военная пропаганда в деревнях — все это служило оправданию Спарты. Мао благословляет Ханой, Сомали, Сан-Доминго и «ликвидацию» его тибетских противников. Защита Вьетнама и коммунизация Тибета соединяются через символическую помощь Сомали или Конго, словно близнецы на груди у старой Империи. Каждый вьетнамский партизан, павший в джунглях возле Дананга, оправдывает изнурительный труд китайских крестьян. Китай будет приходить на помощь (до каких пор?) всем угнетенным народам, которые будут бороться за свое освобождение, и борьба

этих народов его укрепляет. «Стратегически, — говорит Мао, — империализм обречен, а вместе с ним, несомненно, и капитализм; тактически с ним нужно сражаться так же, как войска Армии Освобождения сражались с войсками Чан Кайши». И тактически решающие сражения произойдут в Китае, потому что Мао не сможет выиграть эти сражения за рубежом. Но Великий Поход уже изображается как легенда, а выживших в конце войны против Чан Кайши называют ветеранами.

Мао говорил, что промышленная проблема не была решена, но я не верю, что это его беспокоит: с его точки зрения, Китай совершил свои революционные преобразования. Он говорил, что и сельскохозяйственная проблема не решена; некоторые (и в первую очередь он сам) утверждают, что почти вся пахотная земля Китая обрабатывается и что урожайность можно увеличить лишь незначительно; другие заявляют о скорой обработке степей и об удвоении урожайности. Атомная бомба и ручная тележка не всегда будут сосуществовать. Но Мао представляет модернизацию сельского хозяйства и индустриализацию только при участии китайских властных структур, только при участии Партии, которая руководит массами и отдает им приказы, как когда-то Император отдавал приказы силам земли. Сельское хозяйство и промышленность связаны друг с другом и должны сохранить эту связь и впредь; политика идет впереди технического прогресса. Может быть, советское государство было достаточно сильным, чтобы русская молодежь стала в какой-то мере равнодушной к политике, которой она тем не менее гордится; но китайское государство — это все еще победа, которую Китай каждый день одерживает в бою, победа, которая его воодушевляет. Как и русское государство перед войной, китайское государство нуждается во врагах. Его суровость и строгость, которые приносят пиалу риса, можно сравнить с нищетой, которая приносила лишь голод. Но нищета уходит,

собственники времен Империи и Гоминьдана умерли, японцы и Чан Кайши уехали. Что общего между неграмотными из Цзянси, еще похожими на революционных тайпинов, тибетскими рабами, освобожденными красной армией и получившими образование в Школе национальных меньшинств, и студентами, с которыми разговаривал Люсьен Пайе? Несомненно, угроза ревизионизма, о которой говорил Мао, здесь есть, и ее гораздо больше, чем в ностальгии по прошлому, о котором известно лишь то, что оно было гораздо хуже. У двухсот восьмидесяти миллионов китайцев в возрасте менее семнадцати лет нет никаких воспоминаний о временах до взятия Пекина.

После последней фразы переводчицы никто не произнес ни слова. Те чувства, которые Мао внушал своим соратникам, заинтриговали меня. Прежде всего, это какая-то почти дружеская почтительность: Центральный комитет вокруг Ленина, но не вокруг Сталина. Но то, о чем он мне говорил, казалось, было адресовано также и какому-то воображаемому оппоненту, которому они могли бы передать его ответ. Казалось, он говорил: «Он тоже среди вас, нравится вам это или нет». Что касается его соратников, то их внимательное молчание на какое-то время делало их похожими на судей трибунала.

— Кстати, — говорит Мао, и, очевидно, совсем некстати, — несколько месяцев назад я принимал парламентскую делегацию от вас. Ваши социалистические и коммунистические партии действительно верят в то, о чем говорят?

— Это зависит от того, о чем они говорят... Социалистическая партия — это прежде всего партия чиновников, ее деятельность определяется профсоюзами рабочих, играющими большую роль во французской администрации. Это либеральная партия, если пользоваться марксистским словарем. На Юге Франции многие владельцы виноградников голосуют за социалистов.

После этих слов мои собеседники, кажется, свалились с облака.

— Что касается коммунистической партии, она сохраняет за собой четверть, точнее одну пятую всех голосов. Храбрые и преданные активисты находятся в подчинении у аппарата, который Вы знаете так же, как и я... Партия слишком революционная для того, чтобы родилась другая партия, пригодная для битв, — и слишком слабая, чтобы совершить революцию.

— Ревизионизм Советского Союза, может быть, и не лишит ее голоса, но лишит ее кулаков. Как партия, она против нас. Как и все другие, за исключением Албании. Они стали социал-демократическими партиями нового типа...

— Она была последней великой сталинской партией. Сами по себе большинство коммунистов хотели бы одной щекой прижаться к вам, а другой — к русским.

Он решил, что неправильно понял мои слова. Переводчица разъяснила. Он повернулся к маршалу, к президенту и к другим министрам. Говорят, что у Мао приветливый смех. Это правда: все захохотали вслед за ним. Вернув серьезное выражение лица, он сказал:

— А что думает генерал де Голль?

— Он не придает этому большого значения. Это всего лишь избирательная проблема. На самом деле судьбу Франции решают французы и он.

Мао задумался.

— Меншевики, Плеханов были марксистами, даже ленинцами. Они оторвались от масс и закончили вооруженной борьбой против большевиков. Кончилось тем, что их пришлось либо изгнать, либо расстрелять... Для всех коммунистов теперь существуют два пути: путь социалистического строительства и путь ревизионизма. Мы больше не едим кору, но у нас у всех только одна пиала риса в день. Принять ревизионизм — значит отобрать у нас и эту пиалу риса. Я уже говорил Вам, революцию мы делали вместе с крестьянскими

войнами; затем мы повели крестьян на города, управляемые Гоминьданом. Но коммунистическая партия, каким бы ни было ее значение, не являлась наследником Гоминьдана: этим наследником была «Новая Демократия». Сама история революции, как и слабость пролетариата в больших городах, заставила коммунистов пойти на союз с мелкой буржуазией. В конце концов, наша революция не будет похожа на русскую революцию, так же, как русская революция не была похожа на вашу... Широкие слои нашего общества еще и сегодня находятся в таких условиях, что их деятельность неизбежно ориентируется на ревизионизм. Они могут получить то, что желают, только слившись с массами.

Я вспомнил Сталина: «Мы делали Октябрьскую революцию не для того, чтобы отдать власть кулакам...».

— Коррупция, неравенство, — вновь заговорил Мао, — высокомерие лавочников, желание прославить свою семью, стремление стать служащим и не пачкать больше руки — все эти глупости суть только симптомы. Как в Партии, так и за ее пределами. Причина — это сами исторические условия. А также политические условия.

Я знал его теорию: начинается все с того, что некоторые коммунисты терпят критику, затем отвергают самокритику, затем отрываются от масс, и, поскольку только в массах Партия может обрести революционную силу, ей приходится смириться с образованием нового класса; наконец, провозглашают, как Хрущев, длительное мирное сосуществование с США — и американцы входят во Вьетнам. Я не забыл прежде сказанной им фразы: «У нас семьдесят процентов бедных крестьян, и революционное чувство не обманывало их никогда». Он только что сказал, как он его понимает: нужно изучать массы, чтобы суметь их обучить.

— Поэтому, — сказал он, — советский ревизионизм — это... отступничество.

Переводчица нашла слово «отступничество» почти сразу же. Услышала у монахинь?

— Он движется к восстановлению капитализма, и спрашивается, почему Европа еще чем-то недовольна.

— Я не верю, что он ставит перед собой цель восстановить частную собственность на средства производства.

— Вы в этом так уверены? Взгляните на Югославию!

Я не хотел говорить о Югославии, но мне пришло на ум, что два великих мятежника, Мао и Тито, оба были чужими кадрами в Сером доме в Москве: оба были руководителями гражданской войны.

— Я считаю, что Россия желает выйти из сталинского режима, не возвращаясь в настоящий капитализм. Отсюда некоторый либерализм. Но он вызывает определенную метаморфозу власти: не существует либерального сталинизма. Если то, что мы называем русским коммунизмом, — это сталинский режим, то перед нами — изменение этого режима. Выход из враждебного окружения и приоритет тяжелой индустрии, отказ от политической полиции в качестве четвертой власти, победа 1945-го привели в Советском Союзе к метаморфозе не менее радикальной, чем переход от Ленина к Сталину. Брежнев — преемник Хрущева, и все Брежневы будут такими. Я знал времена, когда нельзя было разговаривать о политике со своей женой; когда я узнал, что теперь в метро можно позволить себе шутку о правительстве, я подумал, что это было не «смягчение» того режима, который я знал, а его радикальное преобразование.

— В конечном счете, Вы думаете, что они не ревизионисты, потому что они уже даже и не коммунисты. Возможно, Вы и правы, если подумать о...

Переводчица не могла подобрать слова.

— Если подумать о беспорядке, который там царит и у которого, между прочим, лишь одна цель — обма-

нуть весь мир. Тем не менее правящая клика допускает формирование таких слоев населения, которые еще не являются классами, но активно воздействуют на коммунистическую политику...

Рим становится предателем, как только отвергает Спарту. Потому что Риму поддерживать китайскую Спарту было нелегко, Риму, который, между прочим, захватил Капую. Мне известен раздраженный ответ русских: «Мао — это догматик и фантазер. Как поддерживать революционную страсть пятьдесят лет после революции! Чтобы вновь вернуться в Октябрь, России нужно было бы восстановить и царизм, и капиталистов, и помещиков. Китаю знакомы те испытания, которые мы узнали тридцать лет назад. У него ничего нет, мы кое-что имеем, но мы, как и они, не можем вернуться в прошлое. Одно новое обстоятельство господствует над всеми идеологиями: атомная война уничтожит нации, которые в ней будут участвовать. Хрущев остановил террор и концентрационные лагеря, поверил в возможность заключить соглашение о разоружении. У него были ошибки, он был легкомысленный правитель, но мы, как и он, хотим установить коммунизм в мире, отвергая войну». Мне известен и ответ Мао. Он цитирует Ленина на смертном одре: «В конечном счете, успех нашей борьбы будет определяться тем обстоятельством, что Россия, Китай, Индия составляют подавляющее большинство населения земного шара». Он напомнил, что китайская партия накопила более значительный опыт, чем все остальные. Он имел в виду фразу своего соседа Лю Шаоци: «Гениальность Мао заключается в том, что он сообщил европейскому по своему характеру марксизму-ленинизму азиатскую форму». Он повторил, что отказ Хрущева передать Китаю острова Кемой и Матзу был одним предательством, а поддержка Советами действий ООН в Конго — другим. Что условия возвращения русских специалистов были сформулированы так, чтобы вынудить отказаться от всех начатых работ. Что любое вме-

шательство Соединенных Штатов делает их объектом ненависти со стороны бедного и революционного большинства и что распад колониальной системы требует теперь быстрых и решительных действий. Что Хрущев был мелким буржуа и не ленинцем, перешедшим от страха перед атомной войной к страху перед революцией; и что советское правительство отныне не способно обращаться напрямую к массам, потому что оно их боится.

Отправка инженеров и директоров китайских заводов, жителей городов в народные коммуны обычно проводится так же строго, как и призыв на военную службу в Европе. Лозунги Партии нельзя обсуждать, в том числе и ту экстравагантность, которая сопровождает всю эту эпопею, кампанию «против буржуазных чувств, таких, как любовь родителей и детей, любовь между людьми противоположного пола, когда она доходит до излишне теплых проявлений». Но лозунги выполняются только в том случае, если массы мобилизованы. Мао может построить новый Китай только вместе с добровольцами. Он скорее пытается построить новый Китай, чем развязать войну, и он утверждает, что США не будут больше использовать атомную бомбу ни во Вьетнаме, ни в Корее. Он верит в непрерывную революцию, и то, что больше всего этой вере препятствует, — это Россия.

Я вспомнил о Троцком, но я не слышал, чтобы идею перманентной революции отстаивал кто-то кроме побежденного Троцкого. И в Мао не было никакой восторженности. Он знал, на что надеялся Хрущев, он знал также, что думал Ленин о Французской революции. Любая глава государства верил, что революция завершается построением нового государства. Мао, сила которого была в миллионах его приверженцев, в том уважении, которое они испытывали к его прошлому, верил, что государство может быть постоянным орудием революции. И делал это с тем же самым эпическим спокойствием, с той же улыбкой, с какой он

верил в победу коммунизма в Китае в худшие дни Великого Похода.

В третий раз секретарь подошел к Лю Шаоци, чтобы о чем-то ему сообщить, и в третий раз президент Республики что-то прошептал Мао. Тот сделал усталый жест и, сцепившись обеими руками в подлокотники кресла, поднялся. Он самый прямой из всех нас, монолит. Всегда с сигаретой в руках. Я подошел проститься с ним, и он протянул мне свою почти женскую руку, с розовой, словно ошпаренной кипятком, ладонью. К моему удивлению, он меня проводил. Переводчица шла между нами, путь позади; медицинская сестра следовала за ним. Наши собеседники шли впереди, посол Франции рядом с президентом Республики, который не сказал ни слова. Еще дальше у нас за спиной двигалась группа из людей помоложе (высшие чиновники, как я думаю).

Он идет не торопясь, вытягиваясь, словно у него не сгибаются ноги, больше, чем когда-либо, похожий на бронзового императора. Он одет в темную униформу, тогда как у его окружения светлая или белая одежда. Я вспомнил о Черчилле, когда тот получал крест «За освобождение». Он должен был осмотреть стражу, которая только что отдавала ему честь. Он также мог двигаться только шаг за шагом, останавливаясь перед каждым солдатом, чтобы осмотреть его наряд, прежде чем перейти к следующему. Казалось, он был уже близок к смерти. Солдаты смотрели, как перед ними медленно проходит поверженный Старый Лев. Мао не повержен: он удерживает равновесие статуи командора и движется словно легендарный герой, вернувшийся из какой-то императорской гробницы. Я цитирую ему слова Чжоу Эньлая, сказанные несколько лет назад:

— В 1949-м мы начали новый Великий Поход и находимся лишь «на первом его этапе».

— Ленин писал: «Диктатура пролетариата — это упорная борьба против всех сил и традиций древнего

общества». Упорная. Если Хрущев действительно считал, что в России исчезли противоречия, то, может быть, потому, что он верил, что управляет возрожденной Россией...

— Какой?

— Россией, одержавшей победу. Этого может быть достаточно. Победа — мать великих иллюзий. Когда он последний раз был здесь, возвращаясь из Кэмп-Дэвида, он верил в соглашение с американским империализмом. Он считал, что советское правительство было правительством всей России. Он думал, что противоречия почти исчезли. Правда в том, что противоречия, которыми мы обязаны победе, менее тягостны для народа, чем старые, но, к счастью, они почти так же глубоки. Человечество, предоставленное само себе, не восстановит из необходимости капитализм (потому Вы вправе, возможно, сказать, что они не восстанавливают частную собственность на средства производства), но оно восстановит неравенство. Силы, подталкивающие к созданию классов нового типа, очень могущественны. Мы только что отменили нашивки и обращения по званию в армии; любой «начальник» снова станет рабочим по меньшей мере на один день в неделю; горожане целыми поездами отправляются работать в народные коммуны. Хрущев делал вид, что верит, будто революция совершается, когда коммунистическая партия берет власть в свои руки, словно речь идет о национальном освобождении!

Он не повышал голоса, но его враждебность, когда он говорит о коммунистической партии русских, так же очевидна, как и ненависть Чжоу Эньлая, когда тот говорит о Соединенных Штатах. Однако в Лояне или на улицах Пекина мальчишки, принимавшие нас за русских, нам улыбались.

— Ленин хорошо знал, что именно в этот момент революция лишь начинается. Силы и традиции, о которых он говорил, были не только наследием буржуазии. Они были также и нашей судьбой. Ли Цзунзнь,

который был вице-президентом Гоминьдана, только что вернулся из Тайваня. Еще один! Я говорил ему: «Нам надо по меньшей мере еще двадцать или тридцать лет упорной борьбы, чтобы сделать Китай могущественной страной». Но значит ли это, что Китай будет похож на Тайвань? Ревизионисты смешивают причины и следствия. Равенство не имеет значения само по себе, его значение в том, что оно естественно свойственно тем, кто не утратил контакта с массами. Единственный способ узнать, является ли какой-нибудь молодой работник на самом деле революционером, — посмотреть, действительно ли он связан с рабочими и крестьянскими массами. Молодежь не является красной от рождения, ей неизвестна революция. Вы помните речь Косыгина на XXIII съезде: «Коммунизм — это повышение уровня жизни». Конечно! А купание — это способ надевать плавки! Сталин уничтожил кулаков. Но дело не в том, чтобы замечать царя Хрущевым, одних буржуа другими, даже если их и называют коммунистами. Здесь как и с женщинами: разумеется, им необходимо было дать вначале юридическое равенство! Но это лишь начало, все остальное еще нужно сделать! Необходимо, чтобы исчезло мышление, культура и обычаи, которые привели Китай туда, где мы его нашли; необходимо, чтобы возникло мышление, культура и обычаи пролетарского Китая, которого еще не существует. Китайская женщина, в массах, также еще не существует; но у нее появляется желание существовать... И потом освободить женщину — это не стиральные машины изготавливать! Освободить их мужей — это не велосипеды делать. Это сложнее, чем построить метро в Москве.

Я думал о его собственных женах, или, скорее, о том, что об этом рассказывали. Первая была выбрана его родителями. Это было еще во времена Империи (Мао мог бы однажды увидеть и последнюю императрицу)... Он откинул вуаль с ее лица, увидел, что она некрасива, и убежал. Вторая была дочерью его хозяина. Он полюбил ее и в поэме, играя с ее именем, называет

ее «мой гордый тополь»; она была взята в заложники Гоминьданом и обезглавлена. Я вспоминаю фотографию, где видно, как он поднимает бокал в честь Чан Кайши, в Чжун-цзин; у него гораздо более слащавый вид, чем у Сталина перед Риббентропом. Третья была героиней Великого Похода: четырнадцать ран. Он развелся (в китайской Партии почти не было разводов); сегодня она — губернатор провинции. Наконец, он сочетался браком с Цзян Цзин, со звездой Шанхая, которая пробралась в Яньан через линию фронта, чтобы служить Партии. Она руководила армейским театром; она жила только для Мао и никогда больше не появлялась на публике.*

— Пролетарский Китай, — заговорил он вновь, — это скорее носильщик, чем мандарин; народная армия — это скорее партизанский отряд, чем армия Чан Кайши. Мышление, культура, обычаи должны родиться в борьбе, а борьба должна продолжаться так долго, пока есть риск вернуться назад. Пятьдесят лет — это недолго, всего одна жизнь... Наши обычаи должны отличаться от традиционных так же, как ваши отличаются от феодальных. Основа, на которой мы все строим, — это реальная работа масс, реальное сражение солдат. Кто не понимает этого, ставит себя вне революции. Революция — это не победа, это брожение масс и людей в течение нескольких поколений...

Так же, наверное, он говорил о Китае и в пещере Яньана. Я вспоминаю по поэме, где, собираясь вести речь о Великих Основателях** и о Чингисхане, он добавляет: «Смотрите, это время вернулось...».

— И все же, — сказал я, — это будет Китай великих империй...

* Потом она сыграла важную роль в пролетарской культурной революции.

** Основатели правящих династий Древнего Китая, пользовавшиеся особым почитанием.

— Я не знаю; но я знаю, что наши методы верны и если мы не допустим никакого отклонения, Китай снова станет самим собой.

Я еще раз собрался проститься с ним: машины были уже внизу, у подъезда.

— Но здесь, в этом сражении, — добавил он, — мы одиноки.

— Не в первый раз...

— Я один на один с массами. В ожидании.

Удивительный акцент, в котором есть горечь, может быть, ирония, но, прежде всего, гордость. Можно было бы сказать, что он произнес эту фразу для наших спутников, но он заговорил со страстью в голосе лишь тогда, когда они удалились. Он шел гораздо медленнее, чем его вынуждала болезнь.

— То, что мы выражаем через банальный термин «ревизионизм», — это смерть революции. Надо везде сделать то, что мы только что сделали в армии. Я говорил Вам, что революция была также и чувством. Если мы хотим из революции сделать то же самое, что сделали русские, тогда это чувство прошло и все рушится. Наша революция не может быть лишь стабилизацией победы.

— Кажется, Великий Скачок — это нечто большее, чем стабилизация?

Везде, куда можно бросить взгляд, нас окружают здания.

— Да. Но потом... Существуют вещи видимые, но существуют и невидимые... Людям не нравится нести революцию всю жизнь. Когда я говорил: «Китайский марксизм — это народная религия», я хотел сказать (но знаете ли Вы, сколько коммунистов в деревне? Один процент!), я хотел сказать, что коммунисты действительно выражают интересы китайского народа, если остаются верны той работе, в которую погружен весь Китай. Можно сказать, что он отправился в другой Великий Поход. Когда мы говорим: «Мы — сыновья Народа», Китай понимает это так же, как когда-то

понимал: «Сын Неба». Народ соединяется с предками. Народ, но не победившая коммунистическая партия.

— Маршалы всегда любили стабилизацию, но Вы только что отменили звания.

— Не только маршалы! Между прочим, те, кто остались от старой гвардии, сформировались, как и наше государство, в революционной деятельности. Многие были революционерами-эмпириками, как решительными, так и осторожными. И наоборот, есть догматически настроенная молодежь, а догма полезна еще меньше, чем коровий навоз. Из них можно сделать все, что угодно, даже ревизионистов! Чтобы ни думал ваш посол, эта молодежь имеет опасные тенденции... Пора показать, что есть и другие...

Казалось, он борется одновременно и против Соединенных Штатов, и против России, и против Китая: «Если мы не допустим никакого отклонения...».

Шаг за шагом мы приближались к выходу из подъезда. Я смотрел на него (он смотрел вперед). Необычайно сильная аллюзия! Я знал, что он вновь собирался заговорить. О молодежи? Об армии? Ни один человек после Ленина не вызывал таких мощных потрясений в истории. Великий Поход украшал его лучше, чем любая черта характера, а его решительность была внезапной и жестокой. Он все еще колебался, и в этом колебании, причины которого я не знал, было что-то эпическое. Он желал переделать Китай, и он его переделывал; но он стремился также и к перманентной революции, с тем же упрямством, и для него необходимо, чтобы молодежь тоже к ней стремилась... Я подумал о Троцком, но перманентная революция предполагала другой контекст, а я узнал Троцкого только после его поражения (первый раз, в Риене, взрыв его седых непослушных волос, его улыбка и маленькие зубы в ярком свете автомобильных фар...). Человека, который медленно двигался рядом со мной, преследовало нечто большее, чем непрерывная революция; это была гигантская мысль, о которой ни он, ни

я не говорили: слаборазвитых стран было намного больше, чем стран Запада, и борьба между ними началась, как только колонии стали нациями. Он знал, что не увидит планетарной революции. Отсталые нации находятся в том же состоянии, что и пролетариат в 1848-м. И появятся новый Маркс (в первую очередь, он), новый Ленин. В этом столетии сделано немало!.. Дело не в союзе внешнего пролетариата с внутренним, не в союзе Индии с лейбористами, Алжира с французскими коммунистами; дело в огромных пространствах горя и несчастья, противостоящих маленькому европейскому мысу и ненавистной Америке. Пролетариат присоединится к капитализму, как в России, как в Соединенных Штатах. Но есть страна, посвятившая себя мести и справедливости, страна, которая не сложит оружия, которая не успокоит свой разум вплоть до планетарного столкновения. Три столетия европейской энергии уходят в прошлое; наступает китайская эра. Он заставил меня вспомнить об императорах, а теперь, когда мы стоим, мне приходит в голову мысль о доспехах военачальников, покрытых ржавчиной, доспехах, украшающих аллеи кладбищ, доспехах, которые находят в заросших сорняками полях. За всем нашим разговором настороженно следила надежда темной стороны мира. В огромном коридоре застыли как вкопанные важные чиновники, которые не осмеливались даже повернуться.

— Я один, — повторил он.

Вдруг он засмеялся:

— В конец концов, у меня есть друзья вдалеке: передайте, пожалуйста, привет генералу де Голлю! Что касается их (он имеет в виду русских) революции, Вы знаете, в сущности, она им не интересна...

Машина завелась. Я раздвинул маленькие шторы на заднем окне. Он, как и тогда, когда я вошел, стоял один в темном костюме в центре круга, но на этот раз на свету, немного в стороне от светлых костюмов.

Я думал о том, какое значение имеет и будет иметь эта жизнь эпического героя, окруженного абсурдным культом, мало понятным и для нас, что бы мы о нем не говорили: поклонение его мыслям похоже больше на поклонение Откровению Пророка, чем на чувство, которое внушают нам великие фигуры нашей Истории. Одна английская экспедиция в Гималаях только что потерпела неудачу, о чем китайские газеты сообщали с ликованием. «Председатель Мао, великий руководитель, заявляет, что загнившая капиталистическая система и порочность империалистических исследователей объясняют тот факт, что их экспедиции уже столетие заканчиваются неудачно...» Можно сказать, что никто из его почитателей не понимает, что его гениальность связана с тем, что он и есть Китай. Что он хочет делать теперь?

Пока машина уходила прочь, дистанция, отделявшая его от спутников, увеличивалась. Я был далеко от «старого кота» Хо Ши Мина, который на цыпочках выходил из-за приоткрытой двери. Церемонии вечно-го Китая окружали меня повсюду. Тем не менее Мао носил куртку, которая всем была известна; голос его был простым, даже сердечным, и он сидел лицом ко мне. Но его окружала пустота, словно он был испуган. Сталин? В Мао не было ничего от сонного хищника. Я больше не видел его лица, только массивный силуэт бронзового императора, неподвижно застывший перед белым костюмом медсестры. Шелковые хохолки мимоз закружились в водовороте, словно хлопья снега; наверху по прямой линии прошел блестящий самолет. Защищая свои глаза от солнца рукой, Старец с Горы смотрел, как тот удаляется.

Уже несколько часов наш переводчик пытался на чисто выправить свою стенограмму. Я предложил послу вернуться и посмотреть гробницы императоров эпохи Мин. Я не видел их уже более двадцати лет. Насколько они изменились? Я вспомнил о своем диалоге

с Индией, когда я простился с Неру. Тот хотел быть наследником Эллары, а Мао хочет стать наследником Великих Основателей. Но гробницы Мин находились в мавзолеях Версаля, а не в мавзолее Тайчжуна, оставленном в степях под охраной высеченных из камня лошадей.

Вначале мы добрались до Великой Стены. Как и раньше, этот свернувшийся клубками дракон растянулся на холмах. Те же самые розовые кусты, те же самые ивовые аллеи, но каменистые дорожки, способные выдержать танковую колонну, сегодня сверкают голландской чистотой. Эти бумажные ящики, поставленные как пограничные будки, может быть, они стоят по всей длине Великой Стены? Вот, как и раньше, стада маленьких маньчжурских лошадей, стрекозы, рыжие хищники Монголии, и большие ярко-коричневые бабочки, похожие на ту, что я видел сидящей на колоколе в Везели, когда объявили о войне 1939-го...

До гробниц мы добираемся по аллее кладбища, которое начинается с мраморных ворот и роstralных колонн. По всей длине аллеи знаменитые статуи: боевые скакуны, верблюды, знатные вельможи. В этих статуях нет ни грации статуэток Великой эпохи, ни грозного величия химер, заброшенных в ячменных полях Сизня. Это игрушки вечности, Пер-Лашез, доверившийся почтовой лошади. Мы спускаемся перед черепахой-долгожителем, которую оседлали дети, и пересекаем древние пристройки, усеянные цикадами, стрижами и воробьями. Но от главного входа виден большой сад, тщательно ухоженный, тогда как я помню его запущенным: оранжевые и красные цветники, канны* и гладиолусы сообщают матовый оттенок черепичным крышам, покрытым лаком бледно-розового цвета, и темно-пурпурным стенам. Поднятая на высокий мраморный постамент (такой же, как в Ангкоре

* Единственный род растений семейства канновых.

и Боробудуре), гробница, кажется, поймала в ловушку горный пейзаж, окружавший ее одиночество. Перед ней — темная зелень сосен и сверкающая зелень дубов, скрученных словно декоративные истуканы; позади — темная масса священного леса. Это не храм, это дверь во владения смерти; гробница похожа на пирамиды, но она отбирает свою вечность у форм самой жизни. Две совсем маленькие девочки словно голубые кошки карабкаются вверх вслед за своей матерью с двойной косой. За аркой — вечные поля, вечные кресты в своих вечных шляпах, собранные в снопы травы, которые сохраняются при любой власти и при любой революции. (Однако внизу у холмов уже тянется высокий забор...)

Солнце садится. Нужно посмотреть и другие гробницы. Вот одна из них, ее варварский цоколь в форме трапеции заставляет вспомнить о воротах Пекина. Красные гладиолусы пробиваются сквозь туи священного леса. Похоронные комнаты свободны, и мы входим туда не сгибаясь, тогда как чтобы войти в гробницу Хана в Лояне, нужно чуть ли не ползти по земле, а в коридорах пирамид можно идти лишь низко наклонившись. Впрочем, там остались лишь плиты: в лесу маленький домик скрывает тиару императрицы с перьями зимородка.

Крыши едва изогнуты, ровно настолько, чтобы хватило освободить их от земли. Вот одна из глубин души Китая. Это уже не Эреб Основателей с их военными колесницами, стелами и бронзовыми рогатинами. Иногда лишь на раскрашенных балках попадутся переплетенные изображения зверей в белой кайме. Но эти гробницы, как и Храм Неба, провозглашают высшую гармонию. Любая земля — это земля мертвых, любая гармония соединяет мертвых с живыми. Каждая гробница открывает созвучие неба и земли. Гармония — это присутствие вечности, в которую видимо отправляется тело императора (и невидимо все другие тела).

Немного дальше — одна разрушенная гробница. Китайские руины принадлежат царству мертвых, потому что с обрушившейся крышей здание, лишенное своих рогов, — это всего лишь остатки стены. Священный лес окружает гробницу, но не поглощает ее, как джунгли поглощают храмы Индии. Над каменным постаментом и высокими гранатовыми стенами заканчивается день, задерживаясь последними лучами на стене из розового фаянса.

Пора возвращаться. Дороги, перпендикулярные главной, запрещены для иностранцев. Много георгинов, которые цветут так же, как в июне 1940-го. Я думаю, что георгин пришел в Европу из Мексики... В сгущающихся сумерках две длинные упряжки: перед лошадьми медленно бредут два печальных осла. Их обгоняют грузовики с солдатами, возвращающимися в Пекин после работ в народных коммунах по соседству.

Я прохожу перед первыми храмами города. Я снова осмотрел почти все из них, заинтригованный, как и раньше, украшениями на ширмах. За исключением Храма Неба и Запретного Города, построенных по законам геомантии и воспроизводящих устройство космоса; пагоды последних династий, несмотря на зверинец на гребнях своих крыш, сохранили (правда, плохо) свой причудливый пантеон, добавив к нему тибетских монстров и гигантскую черную статую из храма лам, которая никому не посвящена. Для француза легче перейти от веры крестовых походов к вере в Республику, чем от искусства Людовика IX к рококо Людовика XV; Китай, который вновь становится Китаем, со всем своим искусством фарфора, аграрных богов и божков-увальней образует необычную интермедию начиная с первого маньчжурского императора и кончая императрицей Ци Си, включая великих (но безликих) императоров и Мао. Кажется, что антракт закончился не кровавыми беспорядками 1900-го, но взятием Летнего Дворца. Наверняка я где-нибудь рассказывал о той ночи, когда английские солдаты разыскивали жемчу-

жины бывших наложниц, в то время как зуавы выбрасывали в лес коллекцию ружей, столетиями собиравшуюся императорами... Под крики вояк механический кролик скакал по газону, сверкая маленькими золотыми колокольчиками, отражавшими отблеск пожара...

Над Запретным Городом я увидел увешанное цепями дерево, на котором повесился во время вторжения маньчжуров последний император династии Мин. Я нашел также и фотографию (в Музее революции?) двух монахинь, которые со смелостью прорицательниц возглавили восстание боксеров и попали в руки европейцев. Лоти видел их в Тянь-цзинь*: они сидели, вжавшись в угол камеры, так же, как, наверное, и Жанна д'Арк сидела в своем последнем carcere. Они были предшественницами Мао. Хотя ему больше подходит затерянная в степях гробница Тайчжуна, чем гробницы Мин, ему, несомненно, уготована необыкновенная могила. Ему не созвучна гармония, ему не подходят жертвенные возлияния императоров ради соединения Земли и людей; еще меньше ему подходит Китай марионеток и утонченной изысканности. Многие из его соратников хотели бы полностью уничтожить прошлое, как хотят этого все зарождающиеся революции. То, что он сам хочет разрушить и сохранить, иногда представляется связанным с оппозицией двух фундаментальных движений пульсации мира. «Если мы сделаем то, что должны сделать, Китай снова станет Китаем...»

Когда машина вновь проезжала огромную площадь Небесного мира, была уже глубокая ночь. Последний отблеск света отделил Запретный Город от фасада Дворца Народа, бесформенная масса которого исчезла в темноте. Я думал о беспокойстве Мао, о грусти Карла Великого перед кораблями норманнов; а за ним был огромный нищий народ, замерший в ожидании первой слабости белых. В то время как в сумерках растворя-

* Тюрьма.

лось то, что было Азией, я думал о Старце с Горы, о его темных руках, тяжело поднятых над совершенно неподвижными плечами: «Наши союзники!».

— Наши союзники...

Я вспомнил также руки капеллана из Глиера, простертые к звездам Дьелефи: «Нет взрослых людей...».

2

Я возвращался во Францию «через Северный полюс».

Под нами была Япония. Справа — Киото. Я вспомнил о Храме Лисиц. Уже несколько столетий самые знаменитые проститутки и даже гейши приносили здесь в дар богам статуэтки лисиц: самые большие стояли в центре, те, что поменьше, — с краю. Настоящие лисицы, прирученные, похожие на лисиц с гравюр, сопровождали своего хозяина, когда тот шел в кафе. Мне говорили, что храм был разрушен бомбардировками, но статуэтки, всегда стоявшие в раковине, остались целы. Была деревня, где продавали только чай, круглый и зеленый, а также связки конфет к чаю.

Я вернулся сюда через тридцать лет, после своей беседы с Неру. Еще ни один французский министр не был в Японии после войны. Другой мир. Я спросил миссионера, который знал старую Японию, что он думает о новой: «О! — сказал он, улыбаясь. — Кимоно было гораздо более милосердным...».

Затем, в 1963-м, было открытие Общества франко-японской дружбы, расположившегося в доме Клодея.

Музеи, коллекции, шедевры, дружеские контакты. У меня, как мне сказали, больше читателей в Японии, чем во Франции. Я уже позабыл обо всем этом; я вспомнил об одном диалоге, в 1960-м, в том саду, над которым я должен был скоро пролететь: Сад Семи Камней (которых на самом деле пятнадцать), замеча-

тельный сад Реандзи в Киото (небольшие менгиры,* каббалистически разбросанные по песку).

С одной стороны, я встречал японцев, фанатиков вестернизации: «Мы всегда могли воспроизвести все что угодно!». «Догнать и перегнать Америку!» русских у них стало лозунгом: «Стать второй Америкой». Враждебные любому спиритуализму, они, словно морфинисты, со своим «создавать-и-производить», были одержимы идеей японского роста. Один из них сообщил мне, что его соотечественники изобрели кимоно, тогда как наши средневековые рыцари проводили всю жизнь при дворе не снимая доспехов; он же, предлагая мне жареных омаров, утверждал, что с духовной стороны ислам в Азию не проник. Я видел их студентов — это самая опустошенная молодежь в мире. Их художники самым ужасным образом путали наших величайших современных живописцев и последние модные тенденции Нью-Йорка.

С другой стороны, более спокойных: я встречал некоторых монахов, которые могли резюмировать свое учение следующим образом:

«У Японии нет своей философии. Здесь рассуждают так же, как и буддисты: думай о своем „я“, когда смотришься в зеркало. После Мэйдзи она потеряла свою душу. Пусть она вернет себе сердце ребенка! Нет больше ни меня, ни другого: вот она, любовь. Сердце ребенка похоже на зеркало, оно так же первозданно, как и небытие. Оно несет в себе душу Японии, и мы вернем и то и другое вместе».

Но они не так убедительны перед новыми небо-скребами Токио, как перед дзэнским садом Реандзи.

Для специалистов это один из самых знаменитых садов в мире, для меня — один из самых удивительных. Песчаная плоскость окружена тремя низкими стенами и монастырем. Замечательные черные камни,

* Простейшие мегалитические сооружения в виде каменных блоков, вертикально вкопанных в землю.

на первый взгляд беспорядочно разбросанные, высотой меньше маленького ребенка. Сад — это место для растений и деревьев; только один Шаламар в Индии, благодаря своим огромным просекам во фруктовых садах, вызывает мысль о руинах в растительном мире. С другой стороны монастыря перед кельями лежат небольшие полянки, заросшие мхом, по которому струится вода. Какое значение имел этот сад? «Это символ вечности», — говорит настоятель монастыря, которому этот сад принадлежит. Камни и песок — противоположность жизни, воде, струящейся по мху перед кельями на другой стороне. Тем не менее параллельные следы зубцов граблей на песке напоминают волны; сам песок навеивает мысли о море. Разъединенные камни, лежащие так, что их нельзя увидеть все сразу, предполагают скорее идею геологического времени, чем вечности.

Здесь я должен был встретиться с отцом одного моего погибшего японского друга, очень близкого, Такио Мацуи, который разбился над американским кораблем в конце войны. От японца в нем почти ничего не было, за исключением того, что он говорил по-японски. Этот маленький коренастый самурай, добродушный сумасброд, высланный или сбежавший во время гонений на социалистов, вернулся в Японию, хотя и осуждал эту абсурдную войну, воевал в Тихом океане, выбрав в конце концов корпус пилотов-самоубийц. (В 1918-м я был пацифистом, но с нетерпением дожидаясь возраста, который позволил бы мне пойти на службу...) Мой сумасброд занимался живописью, преклонялся перед Матиссом, проводил все воскресенья в лесу Фонтенбло, собирая там молодые ростки папоротника: «Я не понимаю французов! Это блюдо великолепно и совершенно бесплатно!». Его отец хотел увидеться со мной, «чтобы поговорить об искусстве», историю которого он преподавал в университете; на самом деле, может быть, из-за сына? Я знал лишь, насколько отец страдал от «демократизации и америка-

низации»: многие из его учеников верили лишь в войну «тяжеловесов» и отвергали бусидо и камикадзе как «отсталых реакционеров». Он отрицал любую политическую деятельность, преследуемый идеей смерти Японии, практиковал дзэн — наверняка именно поэтому он и выбрал Реандзи местом нашей встречи.

Он дожидался меня сидя на деревянных ступенях храма, над причесанным граблями садом. Насколько я помнил, его звали «Бонзой», может быть, потому, что он носил черное кимоно. Чисто выбритая голова скрывала его возраст, но в то же время создавалось впечатление, что обладатель ее по-детски беззащитен, подобно бонзам или нашим монахам, сохраняющим это качество до глубокой старости. Но он не был монахом. Плохо подходившее к его аскетическому телу совершенно круглое лицо было похоже на шары из Хоккайдо, с нарисованными на них чертами человеческого лица, включая даже такие тонкости, как ресницы. Как и большинство его коллег, он читал на французском и итальянском. Между прочим, он перевел некоторые из моих текстов. Мы сидели (он по-японски, а я свесив ноги) перед песком, на гладких ступенях, оставив монастырь за спиной. Тени начинали вытягиваться.

После некоторых любезностей он сказал:

— Этот сад неотделим от маленьких садиков с другой стороны. Дзэн обожествляет одну важнейшую ноту, только один цветок в вазе. Сад противопоставлен всему городу, всей местности. Я хочу сказать: противопоставлен бесформенной местности. Наши традиционные сады отличаются друг от друга.

— Я знаю некоторые.

— Они имеют важное значение. Искусство дзэн — это одна нота, один мазок. Стрела, которая дрожит, когда летит к цели. Традиционный японский сад — это средство... э-э-э... причастности...

Несмотря на церемонную, чуть ли не церковную осторожность его французского, наше «э-э-э» не замечало «э-э-э» японское. Я спросил:

— Причастности к смыслу жизни?

— Да. Многие люди, которые не являются художниками, рисуют акварели, многие люди, не будучи поэтами, создают хокку. Например, Ваш скромный слуга. Акварель почти всегда сопровождает стихотворение.

— Тех, кто занимается живописью на досуге, хватает и у нас. Во время войны я жил в некоторых знатных домах; почти у всех были картины их дедушки, их дяди или кузена. Они не считали, что эти картины могут соперничать с Рембрандтом. Я думаю, так же обстоят дела и у вас: вы по-разному относитесь к акварелям Сэсью и к акварелям, написанным неизвестно кем.

— Нет, я недостойн знать, как существует искусство. И о его причастности другим вещам. Так же и в музыке. Мы немного знаем вашу старую музыку. Произведения не равны между собой; тем не менее нам кажется, что у них та же роль, что и у наших простых акварелей. Вам легче их понять, чем нам вашу живопись. Мы немного понимаем скульптуру ваших соборов из-за скульптур в буддизме. Мы понимаем ваш импрессионизм: течение воды, туман, одно мгновение...

— Тем не менее в ваших великих акварелях нет мгновения?

— В большинстве наших гравюр есть попытка его передать. Вы восхищаетесь ими больше, чем мы. В нашем великом искусстве нет мгновения. Как и в вашей скульптуре, если позволите. Как и в искусстве, которое нам очень нравится: в вашей доисторической живописи. Я думаю, что хорошо понимаю вашу живопись без тени: как примитивную, так и современную. Я не очень хорошо понимаю ваш рисунок. Он ничего не дает. Важна лишь одна вещь: чему служит искусство. Вы это знаете, уж Вам-то это известно. Ваш скромный слуга тоже об этом писал. Искусство — это более обязательная вещь, она связана с духом. Человек не может жить в полном одиночестве. Вопрос в том, чему служит *ваше* искусство? Его задают везде, даже у нас, я знаю. Почему?

Выражение его лица не было вопросительным, скорее это было изумление (засчет своей идеально круглой формы, лицо его выглядело как шарик с нарисованной удивленной рожцей). Я ответил:

— Я считаю, что наше самое глубокое отношение к искусству вращается вокруг отношения к смерти. Но это тайное отношение, отношение, которое еще нужно обнаружить. У вас — нет. Япония творит гармонию как соперницу смерти. Ваши акварели — это гармония между человеком и вселенной. Борьба против смерти для наших художников заключается не в завоевании этой гармонии; она выражается в заботе о потомстве или в метаморфозе, связанной с сохранением произведений. Вы говорите о христианском искусстве, но наше искусство уже не является христианским; с тех пор, как оно им не является, оно воскрешает все мировое искусство... Наши художники плохо знают ваши акварели; они плохо знают ваше искусство, за исключением, между прочим, ваших гравюр.

— Вы великодушно познакомили их с Таканобу и с нашей скульптурой. Вы говорили, что Япония с лицом японок так же смешна, как и Франция... Монматра. Мы — это не страна японок, мы — страна «Песни мертвых», «Песни глициний» и этого сада. Вы говорили очень благородные вещи. Мы все Вам признательны. Не только за наших художников.

— Я заставил наших художников обнаружить, что японское искусство не было китайским. Это было нетрудно, потому что ваши гравюры, которые им известны, не похожи на китайские. Но они восхищаются «Портретом Сигемори» так же, как и «Госпожой Сезанн». Они восхищаются вашими великими буддийскими статуями так же, как восхищаются скульптурами Шартра. И все же есть большая разница между вашими средневековыми шедеврами и вашими акварелями, она больше, чем между ними и нашей современной живописью. Даже если бы ваше восхищение импрес-

сионизмом было основано на одном недоразумении (что такое недоразумение в искусстве?), а мое восхищение вашими шедеврами — на другом! Единство со вселенной выражается, видимо, в гармоничном оформлении ваших садов. А у нас дзэн — это мода. Далее... Это правда, что самые проникновенные произведения дзэн меня не трогают. Но для меня связь со вселенной — это не ваш туман, где все смешивается, ни эти пейзажи, которые вы, как и китайцы, называете «вода и гора», ни даже то, что я считаю у вас самым глубоким: умение создать из пейзажа, а иногда из портрета идеограмму. Некоторые акварели Сэссу играют ту же роль, что и китайские иероглифы; их детали — еще в большей мере. Они дают имя пейзажу. В Египте я обнаружил сообщество цивилизаций, которые выражали себя через буквы или через иероглифы; но я обнаружил также и то, что для Египта, для Шумера средством причастности к миру были звезды. У вас они отсутствуют.

— Мне кажется, что и сами вы долгое время игнорировали ночь. Я не был в Месопотамии. Я был в Египте. Египет — это ночь, Япония — это легкомысленный день. Существует ли ночной туман в живописи? Нет. Нет днем и звезд. Есть луна. Но она — это не созвездие и не солнце. Я Вас понимаю. Вы думаете, что египетские звезды... э-э-э... обозначают мир, не так ли?

— Да. Они были идеограммами. Так и этот сад внушает представление о том, что в мире есть вещи, которые ускользают от всякой судьбы. Ваша причастность ко вселенной рождается в эфемерном, причастность звезд рождается в вечности.

— Ваш скромный слуга считает, что судьбы не существует. Наша идея перевоплощения очень наивна. Будда никогда не говорил таких... детских выдумок. Я не знаю, понимаю ли я на самом деле скульптуру Египта. Может быть. Мне больше понятна скульптура ваших соборов. Я грубо улавливаю, что романтическая

Дева Мария... (Он хотел сказать: романская.) ...похожа на буддийскую статую, но она — как Вы говорите? — драматична. Я, может быть, понимаю, что Христос в соборе — это драматичный Будда; но все еще не понимаю распятия. Внутренняя жизнь — это поиск ясности, потому что она соответствует внутренней жизни вещей. Но на Западе Бог — это Бог драмы. Я догадываюсь, что ваш Рембрандт — великий художник. Но я не понимаю, чего он хочет.

Бонза был буддистом, но сочетался браком по ритуалам синто,* как и большинство японцев. Он говорил о дзэн с уважением, но не как адепт; он обращался не столько к духовному погружению, которое освобождает от мира, сколько к единству с миром, к единению с ним. Чем, думал я, мы можем заменить ту причастность, которую символизирует этот сад? Упорядоченностью Версаля? А в соборах?

Я спросил:

— Разве Шартр не взволновал Вас?

— Очень. Высотой своего зала: у нас ничего подобного нет. Впечатляющая пустота.

В начале лета 1940-го я возвращался из собора, на который уже опускался вечер. Тень покрывала узкую улочку. Единственная лампочка в витрине рыбного магазина освещала кошку, внимательным взглядом следившую за рыбками. На следующее утро шмели кружились вокруг индийских гвоздик, растущих на небольшой паперти, таких же желтых и черных, как они сами; их жужжание смешивалось с оглушительным звуком органа или с торопливым грохотом эскадрилий, возвращавшихся в школу авиации.

Бонза продолжал:

— Мне он очень понравился. Мне пришлось по сердцу его витражи. Я не понимаю, почему Вы выбрали живопись, а не витражи. Картины, которые по часам зажигаются и гаснут, — это в каком-то отношении

* В переводе с японского буквально — путь (учение) богов.

противоположно тому, чего мы ждем от искусства. Тем не менее нам известно мгновение.

— Почему мы выбрали картины, а не витражи? Я думаю, что они умерли вместе с христианской связью с космосом. Потому что христианская связь с космосом существовала, хотя христианство не было связано с миром. Мы заменили его тем, что назвали «природой» и что, конечно, совсем не то, что Вы так называете.

— Об этом Ваш скромный слуга и подумал. Я знаю итальянские теории. Когда первые итальянцы говорили: «природа», они хотели сказать... э-э-э... то, что признано... нашими чувствами. Те вещи, которые не созданы людьми. Противоположное витражам, мозаике. Иллюзия. Да, иллюзия. Для нас природа не противоположна фрескам Нары, или работам Таканобу, или буддийской скульптуре: природа — это тайна растений, деревьев, воды и гор.

— Может быть, — сказал я, — это диалог с тем, что не есть человек: со звездами, с травами или со сверчками; это могучее средство не считаться со смертью...

Его улыбка исчезла, он стал похож на одну из японских масок, выражающих удивление:

— Будьте любезны, скажите, почему смерть имеет значение? Нас смерть не интересует. Император не сделал харакири, я знаю. Но многие офицеры сделали. Вы видели Его Величество?

— Да, когда я вернулся в Японию.

Прошло сорок восемь часов после моего прибытия, согласно обычаю. Раньше не было необходимости встречаться с министрами. Мы решили, наш посол и я, отправиться в Нару. Я обнаружил почти нетронутый город; фрески были сожжены (несчастный случай, не война). Когда я вернулся, в аэропорту меня уже поджидала вся японская пресса, изумленная и воодушевленная тем, что посланник генерала де Голля отправился вновь посмотреть на Священный город. Когда интерес к археологии был утрачен, журналисты начали задавать самые разные вопросы:

— Что Вы думаете о связи нашей цивилизации с цивилизацией Китая?

— Письменность, — ответил я, — но у вас нет ни общей музыкальной гаммы, ни общего отношения к смерти или к любви; нет, на самом деле, даже общей геомантии.

— Что такого Вы увидели в Японии, что, с Вашей точки зрения, отличает ее от остальной Азии?

— Улыбки.

Никакой политики, как будто и не было никакой войны. Итогом интервью стали шесть колонок на главной странице газет: «Япония берет уроки у своего прошлого».

На следующий день — встреча с императором. Послы, переводчики, жакеты, цилиндры. Старый дом с прислугой, потому что дворец был разрушен бомбардировками. Правитель, меланхоличный Чаплин, сидевший на диване из Галереи Лафайет,* похожем на диван негуса (то есть на очень уродливом диване), опустил глаза вниз, на ковер:

— Вы вернулись из Нары, не так ли?

Он выражался не на японском, а на древнем языке императоров (на котором он объявил и о поражении: отсюда ужасная ошибка народа, который, не поняв его, решил, что он объявил о победе, и кричал: «Банзай!»).

— Это так, Ваше Величество.

— Я Вас поздравляю. Почему Вас интересует старая Япония?

— Как народ, который изобрел бусидо, может быть неинтересен народу, который изобрел рыцарство?

Пауза. Император снова посмотрел на ковер:

— Да... Вы уже давно здесь не были, это правда; но с тех пор, как Вы здесь, скажите мне, видели ли Вы хоть что-нибудь, что заставило вас вспомнить о бусидо?

* Один из престижных магазинов в центре Парижа.

Вопрос был задан в салоне нотариуса, а по водной глади старых прудов от камней безнадежно расходились круги (так же медленно, как уходили в даль тени на обработанном граблями песке Сада Пятнадцати Камней).

Именно этот вопрос императора пришел мне на ум после слов Бонзы. Он повторил:

— Многие японцы не убили себя, это правда, но я не хотел бы о них говорить. У Японии много мужества, с Вашего позволения, как и у других, разумеется. Я говорил о значении смерти. Любой конец не имеет значения, как и смерть. Акт, который Вы называете харакіри (мы используем это народное выражение только при разговоре с людьми Запада), Вы переводите словом «самоубийство». Но это не самоубийство, это наставление. Почему Европе хочется, чтобы смерть имела, как Вы говорите, значение? У нас люди из народа говорят, что благородные умы становятся богами, когда умирают. Как Вы знаете, Ночь Смерти — это ночь первых летних нарядов. Инаугурация, скажете Вы? У вас все по-другому... все совершенно иначе! Смерть... в вашем христианском искусстве она представляется мне, если позволите... некой благородной болезнью. Я говорил Вам, что внутренняя жизнь — это поиск ясности, поэтому мне понятно ваше старое искусство. Мы хорошо знаем его по фотографиям. Это декоративное искусство. Тем не менее мы его понимаем.

— А нагота?

— В эпоху Хэйан (в первом тысячелетии по вашему календарю) японские женщины были знаменитыми писательницами. Они писали, что женская нагота очень уродлива, за исключением волос, тем не менее...

— Я знаю цитату: «Нагая женщина — это омар без панциря».

— Однако в ту эпоху... панцирь был костюмом как в живописи, так и в реальности. Для нас ваш древний стиль — это костюм, абсолютно во всем. Ваши Венеры

не нагие. У них есть... раковина? Вы говорите: панцирь? Несмотря на тревожную феминистскую пропаганду, они чужды тому пороку, который американцы называют «кизу»...

— Кисс? Поцелуй?

— Да, «кизу». Извольте вспомнить, что женская нагота существует здесь только на сексуальных гравюрах. Их немного. Женщина должна быть украшена одеждой. Вспомните о гейшах...

Я видел гейш лишь на официальных обедах, но я вспомнил 1929 год, вспомнил свой визит в последние «зеленые дома» так называемых императорских гейш, хозяйку, распростертую ниц перед художником Кендо, акварели которого украшали вход: «Господин, какая честь для моего скромного дома!». Кендо сказал, что я немного знаю теорию линий на руке, — гейша протянула свои руки. Я посмотрел на них и ничего не сказал, но она поняла, расстегнула рукав и, разразившись смехом, показала мне два глубоких шрама от ударов бритвой. Тогда я показал ей знак самоубийства.

Я думал, что императорские гейши уже перевелись. Обычные же гейши весело смеялись для американских солдат.

Бонза добавил:

— Только Япония изобрела своих женщин. «Японская женщина — это сама вежливость и покорность», — как сказал мне один американец. Я слушал его с радостью, смеясь от гнева...

Я знал самое глубокое выражение духа Японии. Раньше, до катастрофы, мои друзья говорили мне: «Мы много смеялись». И одна из моих лучших японских подруг улыбалась как новорожденная: «Пожалуйста, простите меня, я чуть-чуть опоздала, у меня было много дел, потому что мой отец только что умер...».

Под маленьким, абсолютно круглым лбом Бонзы — его маленькие глазки и маленький рот, чуть заметная улыбка. Я вспомнил о своих друзьях самураях, об их орлиных носах сиамского Будды или о масках чемпионов по борьбе.

— Где еще женщины так покорны? — спросил он. — И так лукавы. Наши женщины — это этот сад или другой. Я предпочел бы говорить о другом: с водой, растениями, — о женственном саде, о причастности вещам. А ваши женщины? Часто я думаю: они как ваше искусство. Я говорил вам: «ваше искусство», я никогда его не понимал. Ваши женщины... э-э-э... я их хорошо понимаю! Теперь в Японии у нас много американок! Усатых! На мотоциклах!

— Это скорее прекрасные валькирии.

— Валь-ки-рии? Женщины композитора Вагнера?

Тени от камней становилась длиннее. Бонза размышлял. Он размышлял с самого начала беседы, но часто казалось, что он притворяется. В первый раз он посмотрел на меня с едва заметной улыбкой.

— Нагой человек вашей античности — очень странный, — сказал он. — Ваши богини не странные, они одетые. На Западе много фантастических персонажей, как и в Индии: бог-слон, бог-обезьяна. В вашем искусстве — Сфинкс, богини победы, ангелы. Венеры Греции похожи на Сфинкса. «Прекрасные» произведения такие же фантастические, как и ваши черти. Извольте заметить, что черти везде изображаются как фантастические существа. Почему?

— Я писал об этом сорок лет тому назад. Красота была фундаментальной идеей. Художественная красота, разумеется, не была единственной.

Длинные тени от маленьких менгиров и тени, разорванные низкими скалами, расползались все дальше и дальше.

Он ответил:

— Я читаю западные работы об искусстве и о музыке. Надеюсь, что я правильно их понимаю. Тем не ме-

нее, на мой взгляд, искусство рассказывает о таинстве жизни. Вы изволили бы сказать: о религиозном таинстве. Мне кажется, что ваше христианское искусство в эпоху соборов было таким же, не так ли? И тем не менее одно важное различие: у него не было врагов. Мы, японцы, мы знаем, о чем мы думаем; Соединенные Штаты не обратят нас в свою веру. Но они здесь. На самом деле мы никогда не были побежденными. Никогда. Мы им сильно подражаем. Мы умели хорошо подражать уже с давних пор. Нас упрекали за это. У нас теперь есть несколько промышленных организаций и несколько миллиардеров. У нас более могущественные газеты, чем у них: шесть миллионов экземпляров. Более могущественное, чем у них, телевидение. Необходимо лишь одно: мы никогда не теряли... э-э-э... никогда не теряли нашу душу, и мы не потеряем ее. Их огромное могущество ни на чем не основано. Быть победителем прекрасно; но имеет ли это значение?

Он рассмеялся, но вдруг осекся.

— Началась эпоха самоубийств. Вы увидите. Наберитесь терпения. Я знаю японцев, которые жили на Западе, которые хотели бы подражать Америке. Теперь они совсем не понимают жизнь. Для них самое главное не причастность, а соперничество. Они живут, чтобы быть более значительными, чем их благородные соседи. Потом они в отчаянии умирают. Различие между нами и американцами вот в чем: у Америки совсем прямые волосы, а у нас волосы, которые можно погладить, как нашу лисицу Инари. Мир не может жить без ласки. Он хочет спать в удобном положении, словно кошка. Американцы думают, что жизнь — это жизнь мужчин и женщин; может быть, так думают и европейцы. Может быть, это также и жизнь некоторых животных; но они не говорят: «господин», обращаясь к животным. Мы, японцы, мы уже давно знаем, что нет обязательного различия между человеком, госпожой лисицей и глицинией. У нас есть праздник грибов...

— У нас был праздник ландыша.

— Это случайность. Вашему скромному слуге кажется, что если бы вы смотрели на растение так же, как вы смотрите на собаку, мы лучше понимали бы друг друга. Вы не смотрите на то, как цветет глициния, так же, как вы смотрите, как бежит собака.

— Прежде всего, потому, что мы не видим, как цветет глициния.

— Я знаю: вы считаете, что видеть — это важно. Мы не верим этому, извините нас. Если бы мы должны были всегда видеть, жизнь была бы очень грубой. Надо видеть (но зачем?), чтобы угадать то, чего мы не можем видеть, — это обязательно. Иначе вы смотрели бы на произведения искусства и долго хохотали.

Так и Неру (хотя и по другой причине) рассказывал мне о своей тюрьме, о своих животных, о своей былинке. Неру верил в метафизику не больше, чем мой собеседник. Но цивилизация, где верят, что мы можем оказаться глициниями в другой жизни, рассматривает цветы иначе, чем человека, и создает восхитительную «Песню глициний». Наследие метемпсихоза сообщает всем формам жизни какое-то коварное братство.

Бонза продолжал:

— В эпоху Хэйан в комнате императора стоял череп носорога, символ плодовитости, и два зеркала, чтобы отгонять злых духов. Под вишневым деревом, когда оно было покрыто цветами, били кнудом до смерти. Я сожалею не о кнуде, мне жаль вишневое дерево. Во время цветения вишни весь мир должен быть счастливым — это обязательно, и дети должны получать красивые игрушки...

Я подумал о крови тех двух несчастных, которых гестапо пытало в Тулузе во время моего допроса, и почему-то вспомнил, как устремляется вверх стайка золотых рыбок, как только им бросят какой-нибудь корм.

Я спросил:

— А Китай?

— Мы чужды этому крупному глупому зверю, который верит только в действие. Китай был прославленной страной, теперь он мертв. Меня не беспокоит его сила: Китай слабее, чем Америка; Мао Цзэдун умрет.

— Но он накормит китайцев.

В то время я возвращался из Индии через Гонконг и еще не был снова в Китае.

Бонза продолжал:

— Война была между нами и Соединенными Штатами. Мир будет заключен между Соединенными Штатами и нами, потому что Америка верит в действие, потому что Япония достойна знать о причастности.

— Как и Индия.

— Я останавливался в Индии лишь один раз, когда ездил во Францию и в Италию. Я видел их музеи. Я видел Элефанту рядом с Бомбеем. У меня много фотографий. Потом...

— И потом конвульсии?

— Конвульсии? Не могли бы вы мне объяснить?

Я объяснил. Он ответил:

— Да, и другие вещи: огромные цветы. Мы это ненавидим. И много шума. Мы ненавидим шум. Зачем его создавать?

— Вы спрашиваете о том, что сопровождает эти шумные оркестры? Это то, что вы отвергаете: кровь и ночь.

— Вся эта пышность вызывает во мне жалость.

Меня поразила не столько его мысль, сколько то, что воспоминание о колоссальных головах Элефанты пришло мне в голову здесь, в этом японском саду, который отвергал их всей силой своего гения. Бонза сказал:

— Как мы, народ, который изобрел хокку, самое короткое стихотворение, можем восхищаться... э-э-э... этой...

Он тихо махнул рукой. Неясный жест, который, как мне казалось, означал: «грудой хлама».

Я мгновенно вспомнил о просторной пустой террасе храма Махалинги, о звуках ночной музыки. И прежде всего вспомнил о том, чего я так никогда и не увидел: о храме Нараяны, о котором мне рассказывал Неру, где невидимые зеркала отражали каждого верующего в окружении пышных скульптур, словно его душа оказалась среди богов. «О боги! Вы и есть я сам...»

— Головы Элефанты оставили Вас равнодушным?

— Еще огромные звери. Я не люблю нашего знаменитого Дайбуцу из Камакуры. Его всегда хотя бы посмотреть туристы. То, что слишком велико... э-э-э... не имеет большого значения. Я не люблю... пещеры, нет, вы называете их гротами. И еще драму. Скульптуры вашего Христа изображают его мертвым. Мы редко представляем Будду мертвым, и тем более в скульптуре. Это вызывает во мне отчаяние.

— Он умер, чтобы спасти людей.

— Пустяки. Но у вас скульптуры изображают распятие, а в буддизме — Просветление.

Он привел цитату из оригинального текста о мире бездны — и добавил:

— Вы говорите: «высшая причастность».

— Однако именно христианство сделало из причастия таинство.

— Не могли бы Вы объяснить, где в христианском искусстве причастность? В почитании нескольких ослов и быков?

— Ослы молились, скрещивая уши, а быки — скрещивая рога. Но я боюсь ошибиться с этой шуткой: христианское искусство долгое время было вспомогательным средством для молитвы.

— Я должен подумать. Об этом я не думал. Вы знаете, что для нас, японцев, молитва не так важна, как медитация. Кроме того, на Западе всегда смешивают богов с религией. Религия гораздо важнее, гораздо более необходима, чем боги.

— Или Бог.

— У японцев нет такого слова. Творение не имеет такого значения. Кроме того, ваша причастность — это всегда мужчины или женщины, святые, Иисус, Дева Мария. В этом саду перед нами нет ни людей, ни зверей, ни одного листочка. Только камни.

— Да тени от камней.

То совершенство, с которым был выровнен граблями песок, делало немислимым следы ног, даже следы птичьих лап. Но к этим камням вполне подошли бы и листва, и животные. Из какой-то кельи доносилось пение сверчка, которого японцы называют: «господин сверчок».

Мой собеседник говорил вполне понятные и ясные вещи, но он говорил с тревогой, которая постепенно становилась все более заразной.

— Я хочу, — ответил он медленно, — я очень хочу, чтобы Вы поняли: этот сад погибает. Возможно, он недолго будет болеть; он умирает. Мне хотелось бы говорить на вашем языке настолько хорошо, чтобы объяснить это. Здесь была, как вы говорите, вечность... и мгновение. Это одно и то же. Все это умрет вместе с садом. Здесь будут машины, а также соперничество между людьми, здесь будет... все что угодно. Здесь ничего не будет. Здесь будет наша молодежь. Повсюду студенты верят, что... э-э-э... что физические состояния дадут им то, что нам дали состояния метафизические: наркотики вместо дзэн. Вы меня понимаете?

— Очень хорошо.

— В таком случае Вы понимаете: это же совершенно смешно. Ваше искусство — это не наркотик. Возможно, о нем я не скажу, что это ничто. Почему оно повсюду? Ваши музеи у нас, японцев. Ваши картины, ваши работы. Выставить их в таком количестве и все вместе — значит убить каждую в отдельности.

Я вспомнил, как часто меняли полотна, выставленные в музее Киото (в том числе и картины из Музея современного искусства Нью-Йорка, между прочим). Но в Киото был один музей, одна из тех скрытых кол-

лекций, из которых японцы каждый день брали только одну работу и выставляли в одной комнате; в одной из тех келий, где над терракотовой ханивой,* такой же наивной и хитрой, как и сама белка, или над буддийским божеством осторожно разворачивался дзэнский какемоно.**

Впервые с начала разговора Бонза поднял руку:

— Ваши музеи вокруг сада — все равно, что самолет с атомной бомбой над Хиросимой. Все эти образы вертятся, мельтешат. Фантазия у людей такая же грубая, как у морских рыб. Я видел некоторые из ваших музеев. Я видел много репродукций. Сад Пятнадцати Камней умирает.

Он медленно опустил свою руку, и пальцы один за другим прикоснулись к кимоно, словно исполняя гамму. Звуки вечернего города были слышны так же хорошо, как и отдаленный шум из приюта для сумасшедших. «Все эти образы вертятся, мельтешат». Музей Каира и его пух, Сфинкс, к которому приближается ночь, коридоры Великой пирамиды, похожие на коридоры стадиона в Нюрнберге; Рамсум, переполненный птицами, и тени ястребов, кружащих вокруг его колоссов; богиня Вечного возвращения, потревоженная в своей гробнице лучами палящего полуденного солнца; греческие Ники с огромными крыльями, мексиканская геометрия площади Луны, к которой мчатся эскадроны пыли; статуи майя под сосновыми иглами, иранские барельефы, охраняемые клетком орлов, безумная архитектура монгольских обсерваторий; Храм Обезьян, который, кажется, они сами и высекали в скале; Дурга Мадур, по которой крадется черная кошка; перепутанные семейства народных богов в Дели, подземные соборы Эллары и Элефанты; эта безумная геомантия от Каира до Китая! Вплоть до огромного Будды Лунь Маня над желтым потоком лениво теку-

* Скульптура из обожженной глины.

** Небольшой свиток с картиной или изречением.

щей реки, до Запретного Города, до аллей кладбища, по которым каменные звери выходили с ячменных полей к гранатовым гробницам, увенчанным оранжевыми крышами. Может быть, мужчины, женщины и даже их сны отличаются друг от друга меньше, чем их произведения искусства. Впечатление от Сада Пятнадцати Камней было более острым, чем от музея в Киото, более острым, чем от всего, что я видел на Дальнем Востоке, даже от императорского города в 1929-м, даже от Нары. Оно пронизывало и тревожило меня с самого начала беседы, так же, как западное искусство тревожило моего собеседника. Он мучительно терялся в поисках слова, стараясь точнее выразить свою мысль:

— Это наше искусство. Оно было определенным способом говорить о вещах. О вселенной. Оно... э-э-э... открывало жизнь вещей. Ваше искусство — другое. Ваш скромный слуга понимает это. Я изучал ваш язык, я думаю, что понял ваше искусство. Даже европейское искусство, может быть. Раньше оно славилось, но не оно уничтожит этот сад. Тем не менее я говорю Вам: этот сад умирает. Ради ваших садов? Нет. Ради американских садов? Каких американских садов? Ради музея, которые вы приносите с собой, музея всех эпох, всех земель — вот в чем дело. Я должен был бы с почтением отвергнуть все эти фотографии. Единственное мгновение, самое дорогое, должно позволить... э-э-э... отвергнуть все ваши музеи. Но нет. Тем не менее я знаю, что во многих странах, где я побывал, я никогда не видел букета, всего лишь пучка цветов. Можно обойти весь земной шар, но это не букеты цветов, с Вашего позволения.

Он стал говорить медленно, словно переводил:

— Я не могу отдать чему-то предпочтение, но мне приходится это делать. И все же искусство — это не совокупность форм, не так ли?

Затем он вернулся к своему обычному для нашего разговора голосу:

— Я понимаю, почему мы, японцы, должны построить мощные машины. Необходимо победить. Я не понимаю, зачем мы должны строить большие музеи. Мы обязаны. Для кого? Для нас. Все вещи должны погибнуть, я знаю. Здесь вместо сада будет музей, огромный музей: Запад, Египет, Мексика, Африка — и даже мы? Но мы уже не будем такими, как сейчас.

— Мы уже все не такие, не те же самые — и мы знаем об этом. Я знаю о вашей причастности, я часто ей завидую. Но не обманывайте себя: самое глубокое, что предлагает вам Запад, — это не обладание миром, это вопрос. Запад — это вопрос, доходящий до безумия, могущество лишь усиливает его, но не излечивает.

Он смотрел, как опускается вечер на высокие деревья, возвышавшиеся над невысокой стеной сада:

— С Вашего позволения, мы очень далеки друг от друга: европейцы и мы...

— Не всегда. Рядом с американцами ваш буддизм, который хотя и исчезает, но тем не менее пропитывает все вокруг, заставляет меня вспомнить о нашем христианстве...

Он искоса взглянул на меня своим острым глазом на совершенно круглом, как у народной статуэтки, лице.

— Разве Вы такой же европеец, как другие?

— В этом отношении — нет. Для европейцев, с Запада, Япония — это просто декорация. Даже если они смогут отличить Мадам Хризантему от Мадам Баттерфляй, даже если смогут оценить вашу восхитительную живопись дворцов, для них это все равно лишь декорация.

— Они уверенно заявляют, что мы всегда всем подражали: буддизм, Мэйдзи.

— Вы подражали индийскому и китайскому буддизму в той же мере, в какой мы подражали римскому и восточному христианству, не больше. Что касается Мэйдзи, то на Западе действительно говорят, что вы

подражали Англии лучше, чем вся остальная Азия. Они забывают, что вы *сами* решили ей подражать. Осознанно или нет, они сравнивают вас с древними колониями, демонстрируя тем самым, что ничего не понимают. То, что я называю декорацией, — это очень важно. Я верю в Японию, потому что я верю, что эта декорация вторична.

— Что же в таком случае... э-э-э... главное?

— Храм Исы, полуостров Кумано, водопад Наши...

Я был обязан им весьма сильными переживаниями. У синтоистского храма нет прошлого, потому что его перестраивают каждые двадцать лет; но это не современный храм, потому что он уже пятнадцать веков копирует своего предшественника. В буддийских храмах Япония любит свое прошлое. Синто — это их победитель, это вечность, завоеванная рукой человека; храм, обреченный на пожары, приходящие из глубины веков, такой же смертный, как и люди, и такой же неуязвимый, как сама Япония. Ее дух не покорится прошлому, и ее архитектура перебегает дорогу самой смерти. Фотографии не дают о нем никакого представления. Если они сделаны вблизи, то храм Исы просто не помещается в кадр. Несмотря на свои контуры, словно вырубленные топором, несмотря на варварские балки на его крыше, он перестает быть храмом, он теряет свою жизнь, когда его отделяют от деревьев: он — это святилище и алтарь своего собора гигантских сосен. Но если наши колонны исчезают в сумраке свода, сосны прославляют алтарь своими безмерными вертикалями, теряющими ветви в лучах света (жертва солнцу, предку Японии). Невидимые духи, Ками,* наблюдают издали, как стареют бессмертные Будды. Это погружение во время, которое, окутывая тебя, ничего с собой не уносит. Забытый архитектор задумал этот алтарь

* Согласно религии синто, весь мир населен духами Ками. В дереве живет Ками дерева, в камне — Ками камня и т. д. И каждый японец после смерти превращается в Ками, в божество.

как бессмертный, потому что японцы никогда не перестанут его сжигать и восстанавливать вновь; забытый садовник посадил эти деревца, чтобы спустя столетия люди услышали неведомую песнь земли. Наши архитекторы мечтали о своих соборах как о камнях вечности, архитекторы Исы мечтали сделать из своего — величественное облако. И эта эфемерность говорит о вечности больше, чем соборы или пирамиды. Это не оркестр, это строгость одной единственной ноты. Кажется, что духи леса охраняют водопад Наши, который низвергается вниз со стометровой высоты и похож на фонтан (рядом с ним струи Ниагары выглядели бы плотиной). Напряженные опоры, напряженный водопад, лезвие сабли, исчезающее на свету, — Япония.

Он смотрел, как вытягивается тень самого высокого камня.

— Вояки убили Японию, — сказал он.

Как такое простодушное, почти вывернутое наизнанку лицо могло выражать эмоции? Но его эмоции были заразительны.

Он продолжал:

— Глупцы презирают наших убитых солдат. Они верят в демократию. Их демократия... Не может быть, чтобы низкие вещи были истинными, не так ли? Они говорят, что презирают бусидо. Они говорят, что бусидо — это реакционный милитаризм. Но наши воины уже не имели отношения к бусидо, Вы же знаете... К несчастью, не имели....

— Слишком много побед — это ведет к безумию; ваши воины долго были победителями. Но они заявляли, что сила на их стороне, а вышло наоборот. Вьетнам не будет побежден. У него нет ничего, кроме слабой армии; но никогда Соединенные Штаты не достигнут единодушия в войне с Вьетнамом. Они никогда не вступили бы в войну с Японией, если бы японские войска не атаковали Перл-Харбор. Они слишком переоценивали свои силы и недооценивали слабость своего противника, точнее общественного мнения. Но Япо-

ния Исы существовала и до Цусимы. Она будет существовать и после того, как уйдут американцы. Ее ближайшее перевоплощение не будет похоже на времена Исы, но не больше оно будет похоже и на Мэйдзи. Вы сказали, что я не такой европеец, как остальные: европейцы верят, что угадывают Японию в каждом из ее небоскребов, я же принимаю такой город, как Токио, за такую же искусственную декорацию, как Мадам Хризантема. Если гейша десять раз меняет свой костюм, а вы не видите ее тела, вы все же знаете, что тело у нее есть. У Японии есть тело.

— Япония потеряна, если ее прошлое обречено.

— Были буддизм, Мэйдзи, то, что мы видим сегодня и что не имеет еще имени. И еще раз появится Япония Исы.

Он долго молчал, неподвижный, словно загипнотизированный бесчувственной жизнью наступавшего вечера, и затем прошептал какую-то фразу на японском; наконец, его тревожный взгляд снова остановился на мне, и пока он говорил, его голос приобретал нотки уверенности:

— Многие вещи исчезают... Многие важные вещи, более важные, чем бусидо. Вы видели господина, который был рядом с настоятелем?

— Да, но не обратил внимания.

— Он принадлежит к секте сингон. Он был настоятелем большого монастыря, читал христианские религиозные книги, читал работы о философских доктринах. В переводе, к сожалению. Он говорил мне: «Европейцы всегда ищут причины — причины чувства или действия. Главным образом, действия».

— Стендаль, цитируя своего учителя Траси, писал: «Узнавать людей, чтобы оказывать на них влияние...».

— Совершенно верно. Так вот, этот господин, другой настоятель, спросил меня: «Вы понимаете, почему европейские мыслители изучают природу вещей? Их науки я понимаю. Мы, японцы, их тоже обязаны изучить. Но что они называют психологией? Верите ли Вы, что это то же самое, что мы называем созерцанием? Что

здесь все дело в этикетке?». Этот настоятель говорил, с Вашего позволения, что они многого не знают.

— Вы знаете Стендаля?

— Я читал два его романа и книгу о любви. Может быть, даже внимательно.

— Если бы эти два настоятеля действительно знали Ницше, какой ответ они могли бы дать на эти буддийские рассуждения?

— Они ответили бы: «Вы должны освободиться от этих... никого не интересующих проблем».

— Ложных?

— Нет, не ложных. Как вы их называете... э-э-э... зоологических.

— Вы знаете Ницше?

— Немного.

— А настоятель знает его?

— Наверное, нет. Но я могу Вам сказать: если бы он знал его, он думал бы абсолютно то же самое.

— Проблемы этикета?

— Наверное... Будда испытывал бы сострадание к Заратустре. Он пожелал бы освободить его от этих проблем. «Если твой друг пронзен стрелой, не занимайся лучником, вырви стрелу».

Мой собеседник приблизил меня к самой сущности буддийской веры. Сам буддист, а также, как и многие его соотечественники, синтоист, он мыслил, наверняка, по-японски: Ницше желает переоценки ценностей — это не заслуживающая внимания цель, так как ценности принадлежат преходящим вещам, майе. Серьезный буддизм ставит под сомнение множество ценностей ради единой высшей ценности, ради высшего объекта веры, достигаемого только путем редкого и невыразимого в словах психического состояния — Просветления. Для человека Запада нирвана — это миф (в смысле гипотезы, призывающей к действию); буддизм, его азиатские предшественники предполагают веру в существование Пробуждения, веру, что нирвана — это и есть *Пробуждение*.

К моему удивлению, именно к этому Бонза и перешел:

— Этот господин настоятель оставил свой монастырь... э-э-э... по вполне очевидным причинам — и совершенно непонятным для европейцев, с их знаменитыми возражениями. Он сказал мне: «Я понял, что сатори* — такая же часть Иллюзии. Я не поклонник Европы и не материалист или что-то подобное. Но необходимо основать новую секту. Буддизм знает, что сатори — это Пробуждение, но истина уже не в том, чтобы это знать. Истина в том, чтобы знать...»

Он молчал целую минуту, чтобы выстроить фразу на французском:

— «...чтобы знать, что сама нирвана — это часть майи... что надо быть причастным тому, что по ту сторону нирваны». Извините, что я не могу все это выразить. Нирвана — это самое высокое желание. Абсолют — это... э-э-э... то, что еще дальше.

Мой собеседник, сосредоточенно закрыв глаза, говорил, как я полагаю, так же, как и средневековые христиане рассказывали о заворожившей их ереси: с восхищением, но не поддаваясь ее заразительности. Его буддизм казался таким же непоколебимым, как и тогда, когда он вступал в брак по обрядам синто. Но если бы он был потрясен, я бы об этом не узнал.

Он раскрыл глаза:

— Тогда этот господин настоятель и покинул свой храм.

Он улыбнулся (той улыбкой, с которой японцы объявляют о катастрофах) и вновь закрыл глаза. Его рот стал похож на диагональную линию на поверхности его сферической головы. Он вытащил из своего черного кимоно продолговатый предмет, сантиметров два-

* Буквально — «внутреннее просветление». Речь идет о теории «внезапного озарения» (и самом состоянии), которая является основой учения дзэн-буддизма в Японии.

дцати в длину, завернутый в шелковую бумагу, и рассеянно раскрыл глаза. То, что подобно хищному самолету Хиросимы вертелось в этот вечер перед его глазами, было не нашим искусством, а искусством тысячелетий. Он развязал белую и красную бечевку, что значило, что в этом маленьком пакете был подарок, однако мне он его не отдавал. Он развернул бумагу, разгладил ее и извлек восхитительную буддийскую статуэтку, как мне показалось, Нары, немного испачканную золотой фольгой жертвоприношений.

Он рассмеялся тем же самым странным смехом, как и тогда, когда говорил: «Начинается эпоха самоубийств...», внезапно остановился и произнес:

— Вы должны знать: сеппуку* — это не самоубийство, сеппуку — это жертва перед алтарем предков. Сад Пятнадцати Камней — это тоже алтарь предков.

Казалось, он готов принять один из тех любезных вызовов Древней Японии, которые завершаются смертью. «Смеясь от гнева», как он говорил.

Я простился с ним. У выхода из сада я обернулся, чтобы помахать ему рукой.

За его спиной стояли несколько юношей (его учеников?). Продолжая стоять, он смотрел, как горит статуэтка, которую он держал за ноги между большим и указательным пальцем.

«Жертва перед алтарем предков...» Я вспомнил, что говорил в Орлеане, в 1961-м, перед толпой, собравшейся на огромной площади Мартруа, чтобы почтить память Жанны д'Арк: «И первый язык пламени костра добрался до нее. Тогда древнее рыцарство, от Броселиандского леса и до кладбищ Святой Земли, приподнялось в своих могилах. В ночном молчании кладбищ, разведя каменные руки своих надгробных изваяний, храбрецы Круглого Стола и соратники Святого Людовика, первые воины, павшие при взятии Иерусалима, и последние приверженцы маленького

* Ритуальное самоубийство самурая.

прокаженного короля — вся ассамблея христианских мечтателей смотрела пустыми глазницами призраков, как поднимается пламя, которому суждено пройти сквозь века, как его языки лижут это неподвижное тело, которое станет сожженным телом рыцарства». Голубой огонь статуэтки, символ непобедимого постоянства Японии, поднимался словно пламя жертвенного костра перед садом, одиноким и уже столько веков свободным даже от растений. Я подошел к невысоким деревьям, словно цветами усеянным красивыми бумажными обертками: единственный способ освободиться от несчастливого гороскопа заключается в том, чтобы сделать из него такую обертку и привязать к священному дереву. Сколько несчастливых гороскопов? Служитель храма синто равнодушно взирал на ритуальную жертву Бонзы: для его религии, периодически воссоздающей как своих богов, так и свои храмы, разрушение является таким же внешним, как и древность! Я думал о торжественной колоннаде деревьев Исы, явившейся из глубины веков вместе со своим бременем света; я думал о своем друге Мацуи, погибшем вместе с камикадзе.

Мои воспоминания сталкиваются друг с другом над широкими снежными островами, контуры которых исчезают во все больше и больше чернеющем океане. «Причастность к земле», — говорил Бонза перед терпеливыми тенями маленьких скал. Когда я был в Японии в первый раз, в кинотеатрах шел «Миллион» Рене Клера, и японские писатели спрашивали меня: «Это правда, что Франция до такой степени похожа на Китай?». В эту ночь Франция — это де Голль, а Китай — это Мао. Прошлое, которое защищал Бонза, сохранилось в моем Китае 1929-го, где лисицы скользили в кустах фиолетовых астр на земляных насыпях Пекина. Что же там осталось? Мао, глаза, защищенные рукой, в которой еще была сигарета, и тонкий дым исчезал в лучах заходящего солнца... Наследник железных импе-

раторов выметал из своей страны самую прочную причастность миру, какая только была известна людям, выметал, чтобы создать свою собственную. Во время моего первого визита в Киото я игнорировал все, что касалось японской политики; во время последнего я видел уличных певцов, солдат с ампутированными конечностями, которые давали одинокий концерт на аллее перед Великим Храмом. Сегодня воспоминание о харакири заставило меня вспомнить о Мери, о его мечте о цивилизации, для которой смерть стала бы стоическим самоубийством. Я вспомнил также и о Сингапуре, об улице Смерти. Китайцы, жившие среди фабрикантов гробов и венков, среди звуков похоронной музыки, были так же созвучны смерти, как вся Древняя Япония была созвучна жизни. В Саду Пятнадцати Камней я отсчитывал удары часов Шартра; в то время, когда самолет поднимался к полярной ночи, который час был на улице гробов и похоронных цветов? Что стало с мальчиком Мери, с их Чернышом? Печаль Мери, который ненавидел Японию, так хорошо сочеталась с ясностью Бонзы! Жизнь — это то, что продолжалось бы, даже если бы все люди исчезли; если бы все сохранившиеся шедевры сожгли в честь того, что должно умереть, или всего, что должно появиться.

Белые пространства. Анкоридж; когда я пролетал там первый раз, то ожидал увидеть рыбацкую гавань и эскимосов. Но я обнаружил военную базу и множество пустых дорог. Гирлянды электрических лампочек, несколько баров с красным отблеском в окнах (было три часа утра) и в центре большой заснеженной площади — высокие столбы тотемов, с которых красноперые орлы взирали на святого Иосифа и коленопреклоненную Деву Марию. Они были прикреплены к перекосившейся избе, в которой размещалось туристическое агентство. Его работники привезли сюда ясли, разобрали их и оставили статуи на пустынной пло-

щади, возле ног магических животных. На дороге — единственная машина. Было 26 декабря.

На этот раз мы не пересаживались на другой самолет. Наш, постояв, продолжил полет над бескрайней белизной. Завтра, добравшись до Европы, я помолодею на один день. Океан рядом с прибрежным льдом темнел большими пятнами. Никакого желания продолжать свои заметки в этом маленьком чемодане кабины у меня не было. Я вспомнил о немце, который жалел мою несчастную семью, об индейцах из Ортиса, о стене, возле которой меня должны были убить, о ванной комнате в Тулузе, о деревьях Мао, с которых крестьяне съели всю кору, об американском флоте перед Данангом... Так же, как Азия, обнаруженная через тридцать лет, вела диалог с прежней, так и все мои сохранившиеся воспоминания вели переключку друг с другом (но, может быть, это я сам оставил в своей жизни только эти диалоги...). И все же в эту полярную ночь, над последними допотопными водами, напоминающими воды Инда, над которыми витал все еще невидимый бог-ребенок, я вспомнил и услышал еще один диалог, показавшийся мне самым горестным. Он не был прямо связан с моей жизнью, хотя... Если этой долгой ночью я начал его как тайный судья своей памяти, то именно потому, что диалог осужденного на казнь человеческого существа с небытием глубже, чем разговор человека со смертью.

3

Декабрьская ночь в Париже, сверкающие звезды над изрезанным силуэтом труб Домье. На мысе острова, там где был мург, Могила Узников, бороны черных мечей, двести тысяч значков, олицетворяющих двести тысяч пропавших, земля лагерей, пепел сожженных, неопознанный труп. В садике, над которым напрасно возвышается туманная масса Нотр-Дама (сегодня но-

чью Смерть спустилась под землю), делегации выживших узников окружили танк, который должен перевезти прах Жана Мулена в Пантеон. Электричество включает лишь тогда, когда танк тронется, сопровождаемый пятью тысячами юношей с факелами, посланниками организаций Сопrotивления. Глаз привыкает к лунному свету — древним это было известно. Прах несут в детском гробу. Танк запускает двигатель, делегации выстраиваются сзади. Зажигаются факелы. У тех, что изготовлены сегодня, голубоватое пламя, трепещущее ацетиленом; ноги передвигаются еще в ночной тьме, а головы — уже при свете. Люди, только что узнававшие друг друга, привыкшие в своих воспоминаниях к лунному свету (это их сыновья несут факелы), с удивлением обнаруживают, что почти у всех из них седые волосы...

Впереди танка идут гвардейские лошади. Он трогается с места. Большинство тех, кто следует за ним, движется медленным шагом. Все замолкают. Факелы, освещающие лишь лица юношей, окружают смущенную и немую толпу. Я вспоминаю о том, как рассказывает Мишле о сражении при Жарнаке и Шатенрэ: Генрих II нашел выживших после Пави и Аньяделя на хромых после Италии лошадях, в костюмах времен Людовика XII и с поседевшими бородами... Факелы отражаются в дремлющей Сене, и танк, двигаясь между погасшими огнями кафе на бульваре Сен-Мишель, тащит за собой свой сумрачный хвост.

Я отправляюсь в Пантеон, чтобы убедиться, что работы закончены. С улицы Суффло доносится шум моего детства — топот лошадей, которых гвардейцы-кавалеристы удерживают шагом. Видны лишь штрихи лунного света на вертикально вытянутых саблях, за ними — пламя факелов, которые с этого расстояния уже не освещают лица.

Рокот танка, только что свернувшего с бульвара, заглушает топот копыт.

На катафалке — маленький гроб. Генерал Кёниг принимает первый караул. Люди расходятся; на углу опустевшей площади догорает костер из факелов, теперь уже бесполезных.

На следующее утро, пока я читаю надгробную речь, морозный ветер с шумом прибоя прижимает мои записи к микрофону.

Справа и слева, но чуть позади — знамена и соратники по движению Сопротивления; впереди, у подножия двух дворцов — официальные лица. Генерал де Голь в длинном пальто, которое я видел только на фотографиях времен высадки, остался стоять, и никто не сел. На улице Суффло толпа. «Похоронный марш» Госсекса спускается с купола вместе с торжественными ударами военных барабанов. Ветер свистит в микрофон, поднимает вихри мерзлой пыли на мостовой. Эта площадь ветра, вместе с заgrabной музыкой, пустотой, людьми в военной форме издали похожа на площади для торжеств из сновидений; позади меня — массивные колонны Пантеона, и повсюду такое же живое внимание, как ночью. Для большинства из тех, кто слушает меня на невидимой улице Суффло, я говорю о погибших родных и близких. И о своих тоже:

— «Это было время, когда глубокой ночью мы внимательно прислушивались к лаю деревенских собак; время, когда разноцветные парашюты, груженные оружием и сигаретами, падали с неба на свет разложенных на полянах и известняковых плато костров; время подвалов и отчаянных, пронзительных, как у детей, криков тех, кого пытали...

Великая борьба во мраке началась.

В тот день, когда в крепости Монлюк в Лионе, после пыток, агент гестапо протянул ему бумагу и карандаш, поскольку он был уже не в состоянии говорить, Жан Мулен нарисовал карикатуру на своего палача. Что касается ужасного продолжения, то прислушаемся к простым словам его сестры: „Его роль была сыграна

на, началась Голгофа. Пройдя через все возможные издевательства, через дикие побои, с окровавленной головой, с раздавленными органами, он достиг пределов человеческого страдания, но не выдал ни одного секрета, хотя все они были ему известны".

И вот, наконец, триумф этого молчания, оплаченного такой чудовищной ценой: судьба изменчива. Глава движения Сопротивления, замученный в гнусных подвалах, взгляни своими исчезнувшими глазами на всех этих женщин в черном: они надели траур в память о всех наших товарищах, в память о Франции, а значит, и о тебе. Смотри, как под карликовым дубами Керси, держа в руках сплетенные из муслина знамена, проходят партизаны, которых гестапо так никогда и не обнаружило, потому что за деревьями не видело леса!

Смотри, как пленника привозят на роскошную виллу, и он удивляется, почему его ведут в ванную комнату, — он еще не слышал о том, для каких пыток служит ванная».

Несмотря на громкоговорители, расстояние между мной и толпой вынуждает перейти на монотонный крик.

— «Бедный замученный король призраков, смотри, как июньской ночью поднимается твой народ, увенчанный пытками... Слушай рев немецких танков, спешащих в Нормандию под жалобный вой разбуженных зверей. Благодаря тебе эти танки не пришли вовремя. И когда началось наступление союзников, посмотри, префект, уже во всех городах Франции были комиссары Республики, если их, конечно, не убили. Ты, как и мы, завидовал эпическим бродягам Леклерка: смотри же, воин, как твои бродяги выползают на четвереньках из дубовых рощ и, зажав в своих крестьянских руках пулеметы, останавливают одну из лучших бронетанковых дивизий гитлеровской империи, дивизию „Рейх“.

Так же, как Леклерк вошел в Дом Инвалидов вместе со своим прославленным, обожженным африканским

солнцем и эльзасскими сражениями кортежем, войди и ты сюда, Жан Мулен! Войди с теми, кто, как и ты, умер в подвалах, не сказав ни слова; и даже с теми, кто — что, может быть, еще страшнее — проговорился; с теми, кто, одетый в полосатое и стриженный наголо, пришел сюда из лагерей смерти; с последним из тех, кто шел в чудовищных колоннах „Ночи и тумана“ и упал под ударом приклада; с восемью тысячами француженок, не вернувшихся из лагерей; с последней женщиной, погибшей в Равенсбрюке за то, что она дала приют одному из наших товарищей! Войди вместе с народом, во мраке рожденным и во мраке исчезнувшим, войди вместе с нашими братьями в орден Ночи...»

Зазвучала «Песня партизан». Сколько раз я слышал, как ее пели с закрытым ртом, такими же холодными, как и сегодня, ночами; и лишь однажды в полный голос, в тумане лесов Эльзаса, где она смешивалась с криками потерявшегося стада овец...

— «Вот он, похоронный марш этой горстки пепла. Пусть он покоится рядом с прахом Карно и его солдат второго года, рядом с прахом Виктора Гюго и его Отверженных, рядом с прахом Жореса, под охраной богини Справедливости...»

Солдаты готовились пройти почетным караулом. Все как будто повисло в воздухе: похоронным речам не аплодируют. «Песня партизан» разливалась жалобными волнами, колыбельная для всех погибших на войне. Тело уносят в неф, где генерал де Голь намерен встретиться с семьей Жана Мулена. За драпировкой театра все еще играли гвардейские музыканты. Внутри Пантеона не было репродукторов, и эта настоящая музыка казалась хрупким и задумчивым эхом громкой жалобы, заполнявшей благодаря громкоговорителям замерзшие улицы. (Я был здесь еще раз в 1953-м: маленькая девочка в полном одиночестве подбрасывала в воздух красный мяч...) Тело опустили в могилу. Я поднялся вместе с Лаурой Мулен. Музыкан-

ты ушли; через монументальную дверь, открытую на площадь, доносился чеканящий шаг последних солдат, проходивших торжественным строем. Я сказал госпоже Мулен:

— Генерал говорил мне: «Относительно документов Вы должны увидеться с его сестрой. Она похожа на него».

Она поняла, так как они не имели какого-либо сходства, и ответила мне:

— Когда он погиб, ему было сорок пять; а мне сейчас семьдесят два... (Ей едва ли можно было дать шестьдесят).

Площадь еще не была открыта для публики: дипломатический корпус разъезжался; оставались те из старых знаменосцев, те из участников Сопротивления, те из партизан, те из выживших узников лагерей (в этот великий морозный день), те, кто узнал друг друга ночью...

Этот день был днем смерти. Не днем пыток или войны: такой день никому не нужен. Десять миллионов французов следили за церемонией по телевизору. Но телевидение не показало, что все эти знаменосцы были стариками; что на площади не осталось ни одного молодого человека. Чтобы они узнали друг друга, нужно было, чтобы день закончился...

Я только что говорил:

— С Жаном Муленом закончилась предыстория Сопротивления.

В начале 1944-го немцы обнаружили одно из мест, где нам сбрасывали на парашютах оружие и провиант, и я впервые осмотрел тайники всех наших партизан. В некоторых хранилось и оружие для добровольцев, которые должны были бы к нам присоединиться после объявления о высадке союзников. В Перигоре много пещер, и по железной лестнице, вновь поставленной недавно для туристов, мы поднимались к соединявшимся между собой, словно ложи доисторического театра, ячейкам, чтобы осмотреть наше спрятанное иму-

щество. Но самая большая пещера Монтиньяка была подземной, а тайник находился далеко от входа. У нас были мощные электрические фонари, так как была уже ночь, а тот, кто здесь заблудился, был обречен на смерть. Траншея стала такой узкой, что мы едва могли пройти. Затем она поворачивала под прямым углом. На скале, которая, казалось, преграждала нам проход, показался размашистый рисунок. Я принял его за метку для наших гидов и направил на него луч своего фонаря. Это было стадо бизонов.

В пещерах Фон-де-Гом доисторические картины были уже стерты временем. Эти бизоны, наоборот, бросались в глаза, словно печать, и четкость линий казалась тем более странной, потому что стена была огромным гладким камнем, иногда выпуклым, а иногда вогнутым, похожим скорее не на скалу, а на окаменевшие внутренности какого-то гигантского животного. Это была не метка, точнее, может быть, и метка, но сделанная на двадцать тысяч лет раньше. Любая подземная пещера вызывает тревогу, потому что обвал здесь способен похоронить заживо. Это еще не смерть, но уже могила; и бизон был загадочной душой этой могилы, казалось, он пришел с какой-то нетронутой ходом тысячелетий земли, чтобы указывать нам дорогу. Над нами, возможно, прохаживались немецкие патрули, мы шли к нашему оружию, а бизоны бежали по камню уже двести веков. Проход расширялся и разветвлялся. Наши фонари не могли осветить всю эту бездну: их лучи вели нас так же, как палка ведет слепых. Мы могли видеть только ясные и поблескивающие в темноте фрагменты стен, которые нас окружали. В каждом пробеле луч света вырывал из тьмы еще один пробел — кровеносные сосуды, ведущие к сердцу земли. Эта темнота не смешивалась с ночным мраком, она всегда лежала в уходящих в бесконечность расщелинах, настолько же закрытых, насколько открыто наше небо. Тревожило и то, что они казались кем-то обтесанными. Мои спутники перестали раз-

говаривать вслух и перешли на шепот. Проход, в который нам нужно было свернуть, сужавшийся по мере того, как наши кружки света его ограничивали, привел нас к трещине в тридцать метров длиной и десять шириной. Проводники остановились, все пучки света сошлись в один: на растянутых красных и голубых парашютах были разложены ящики и коробки. За всем присматривали похожие на животных будущего два пулемета на треножниках. А на своде, теперь уже ярко освещенном, были видны огромные рогатые звери.

Это место, несомненно, было священным, оно таким и оставалось, и не только для духа пещеры, но также и потому, что непонятная связь объединяла этих бизонов, этих быков, этих лошадей (остальные рисунки терялись там, куда не доходил свет) и эти ящики, лежавшие здесь, как казалось, целую вечность, под охраной пулеметов, нацеленных прямо на нас. По своду, покрытому чем-то вроде селитры, бежали великолепные темные животные, они уносились прочь, как только к ним приближались наши кружки света. Мой сосед приподнял крышку ящика, заполненного боеприпасами; факел, который он поставил рядом, отбросил на свод огромную тень. Наверняка, и тени охотников за бизонами были когда-то такими же гигантскими при свете горящей смолы факелов...

По узловатому канату мы спустились в не очень глубокую шахту. На ее стене обычное человеческое тело было увенчано головой птицы. Внезапно пирамида пулеметов обрушилась с оглушительным звоном, который сразу же растворился во мраке, и вернувшаяся тишина стала еще более пустой и угрожающей.

Когда мы возвращались, скала то здесь то там вызвала в воображении фигуры искалеченных животных, подобно тому как трещины на стенах иногда кажутся чертами знакомого лица. Снаружи нас ожидали

низкорослые деревья на белом от инея холме, Везер,* дымка войны на туманном гребне Монтиньяка, звезды и прозрачная темнота земли.

— Вас заинтересовали эти рисунки? — спросил меня проводник. — Их обнаружили мальчишки в сентябре 1940-го у входа пещеры, когда искали там щенка. Они очень, очень древние. Сразу приехали ученые, и это тогда, в сороковом, понимаете?

Это была Ласко.**

Войска, официальные лица, полиция — все уехали.

Я вспомнил о свете электрических фонарей, который исчезал в центре земли, о тысячелетнем беге животных над застывшими, словно собаки, пулеметами и о настоящей собаке, которая выла на берегу Везера. Не у выхода ли из этой пещеры, под таким же небесным сводом какое-то существо вроде гориллы, такой же охотник, как и все хищники, и такой же художник, как и всякий человек, впервые понял, что он должен будет умереть?

На площади перед Пантеоном возобновилась обычная жизнь, с обычной спешкой прохожих, без боев и похорон. «Пройдя через все возможные издевательства, через дикие побои, с окровавленной головой, с раздавленными органами...» Во время этих похорон, которые, безусловно, были бы не такими, если бы Жан Мулен умер не мучеником, а министром или маршалом, над Пантеоном медленно проплыла тень чего-то более могущественного, чем смерть, тень Вечного Зла, с которым в свое время сталкивались все религии, с которым, вместе с невидимой гвардией призраков, столкнулся этой ночью и этот детский гробик; с которым столкнулись и бывшие узники, узнававшие друг друга лишь до тех пор, пока не увидели, какими они

* Река.

** Знаменитая пещера с настенными рисунками.

стали на самом деле, которым, может быть, и не суждено увидаться вновь.

Я вспомнил о тяжело опущенных веках Бернаноса в тот день, когда я ему сказал: «Вместе с лагерями в мир, видимо, вернулся и Сатана...».

Я вспомнил о Бернаносе, потому что проходил перед Святым Северином. Я не приходил сюда после его похорон. Церковь была переполнена, но писателей там не было. Я оказался рядом с делегацией испанских республиканцев. Был мартовский день: низкие разорванные облака, как в самых прекрасных сценах его романов, и внезапные проблески солнца. За несколько дней до этого, в американском госпитале он сказал мне: «Теперь только Он знает, что мне делать...». Он намекал на жизнеописание Христа, он думал, что должен его написать, если выживет; его выздоровление было бы для него знаком. Он также сказал мне: «Вы видите, я улыбаюсь; и тем не менее мне совсем не хочется улыбаться. Но я перестану улыбаться, лишь когда я умру. Я верю, что мы так же хотим своей смерти, как Он хотел Своей. Он вновь и вновь умирает в каждом человеке, обуреваемом агонией. Впрочем, мы ускользаем от греха в детскую наивность лишь для того, чтобы умереть, мы возвращаемся к себе лишь для того, чтобы умереть, — и именно здесь Он ждет нас...». Аббат Пезериль был на его похоронах, где напомнил, что во время своего последнего причастия Бернанос тихо сказал ему, обращаясь, без всякого сомнения, к Богу: «Теперь мы вдвоем...».

Когда солнце вышло из-за туч, прямой, словно перекладина, луч опустился на его гроб.

Я отправился в комитет, созданный для сооружения памятника Жану Мулену. Он состоял из делегатов организаций Сопrotивления, организаций депортированных лиц и узников лагерей смерти.

Мысль о лагерях вот уже двадцать лет не оставляла меня. Террор и пытки присутствовали почти во всех моих книгах, написанных еще в те времена, когда из-

вестна была лишь каторга. Мой личный опыт в этой области был не очень богатым, хотя я и не забыл ни маленького кудрявого гестаповца, ни открытые двери и крики тех, кого пытали в Тулузе; ни женщину с чайной ложечкой. Однако здесь речь идет не о моем опыте, а о диалоге с небытием, более глубоком, чем обычный разговор человека со смертью.

Как и все писатели моего поколения, я был поражен тем отрывком из «Братьев Карамазовых», где Иван говорит: «Если божественная воля допускает, чтобы злодей замучил невинного ребенка, то я возвращаю свой билет». Я дал почитать «Братьев Карамазовых» священнику из Глиера, и он написал мне, возвращая книгу: «Это поразительно, но это вечная проблема Зла; однако для меня Зло — это не проблема, для меня это — тайна...».

Достоевский, Сервантес, Даниэль Дефо, Вийон — все они побывали на каторге, у позорного столба или в тюрьме... Пока я спускался от Пантеона к Сене, так как комитет заседал в склепе узников лагерей смерти, я вспомнил о крымском саду, в котором Горький сказал мне: «Я спросил у одного комсомольца, еще в 1925-м, что он думает о „Преступлении и наказании“, и тот ответил: „Сколько историй из-за какой-то одной-единственной старухи!“».

Не погиб ли он, этот комсомолец, где-нибудь на русской каторге или в немецком концлагере? А главное, понял ли он что-нибудь за это время или нет?

У Достоевского была несокрушимая надежда, которая красной нитью проходит через все, что он написал. Мейерхольд, после описанного в «Преступлении и наказании» старого петербургского квартала (бесконечные железные лестницы, исчезающие в таинственной дымке над каналами), показал мне также тот дом в Москве, где прошла юность писателя, дом его отца, врача Военной школы. На стене кабинета в обтянутой плюшем раме висела сильно увеличенная копия вы-

цветшей фотографии. Мне были знакомы эти согнутые всеми земными скорбями плечи, это мертвенное лицо с чахлой бородкой, но здесь, в этом пустынном полумраке они неотступно преследовали меня, словно наваждение, словно выцветшая фотография могла на самом деле перенести меня в прошлое. Портрет, более убедительный, чем любой костюм, был тем украденным у живого образом, который когда-то вызывал панический страх у жителей Азии: приколотый к стене комнаты портрет, страдание в глазах, серое лицо. Однако была в чертах его лица и жажда воскресения, еще более убедительная от того, что этот портрет в натуральную величину явно принадлежал царству мертвых. Это был тот самый Лазарь, которого когда-то удалось вновь найти Достоевскому, найти не для утешения убийц и проституток, а для того, чтобы расшатать колонны, на которых держится загадка мира, чтобы пройти от проповеди любви через туман необратимого страдания к высшей тайне вопроса: «Что ты делаешь на земле, где царит несчастье?». Самый насущный после шекспировского «быть или не быть» вопрос пропитывал трагический воздух этой каморки привратника. Хранительница вытащила из письменного стола и протянула нам книгу: «Это Библия, которую он привез с каторги». Она была покрыта надписями: повсюду слово «Нет». Чтобы узнать будущее, русские, просыпаясь, раскрывали Библию: первый стих левой страницы предсказывал, что должно произойти. И вот напротив какой-нибудь фразы вроде: «Мария Магдалина видит, что камень взят с гробницы» — каторжанин спустя неделю или несколько дней одним и тем же почерком, с грустью писал: «Нет».

Покидая улицу Сен-Жак, я вспомнил этот портрет, висевший между двумя окнами, которые выходили в неровно вымощенный двор казармы. Вспомнил дремлющего в тумане дворника, вспомнил коммунистку в старинной русской черной шали поверх седых волос, ждавшую, когда Мейерхольд возвратит ей книгу. До-

стоевский, я помнил твоих шутов, пьяных от алкоголя и братской любви к вечернему Санкт-Петербургу, твоих святых и твоих безумцев, твои бредовые политические теории и твою душу пророка. Откровение виселицы освободило тебя от твоих переводов Бальзака и романов «а-ля Диккенс». Тогда я еще не знал, что через десять лет я окажусь в ситуации, когда будут симулировать мою собственную казнь, и что, возможно, в фиктивные виселицы верится не больше, чем в нацеленные на тебя винтовки. И вот ты, православный христианин и защитник царизма, с крестом в руках бросаешь своих героев в грязь публичной исповеди. Но о чем говорит эта ужасная молчаливость твоего бесцветного лица, твоих бледных губ, которым не обязательно даже шевелиться, чтобы весь мир был заполнен фразами твоих героев, чтобы мы услышали единственный со времен Нагорной проповеди ответ на священное варварство Книги Иова: «Если гармония вселенной достигается ценой страданий невинного ребенка...».

Ты не изобрел таинства Зла, хотя ты, несомненно, нашел для его выражения самый пронзительный язык. Однако это не твоя тревога, пророк, наполняет эту убогую комнату, даже если она и стала тревогой нашего времени: любая жизнь становится таинством, когда страдание задает ей вопросы. Это Лазарь, против которого бессильны и несчастье и смерть, это непоколебимый ответ Антигоны или Жанны д'Арк перед земными судьями: «Я пришла в мир не для того, чтобы разделить его ненависть, а для того, чтобы разделить его любовь»; это вечность, которую воспевал псалмопевец, которую спустя два тысячелетия вновь обнаружил Шекспир в волшебных звездах Венеции: «В такую ночь, Джессика...»; это души, которые чувствуют, как во мраке воскресают умершие возлюбленные, и каторга, откуда доносятся крики, поднимающиеся к ассирийским созвездиям. Я вспомнил направленные на меня немецкие винтовки. В такой же день, Достоевский, и ты поднимался по ступеням эшафота к висели-

це, похожей на спортивную трапецию, неумелый рисунок которой мне однажды показали...

Она напомнила мне виселицу в Нюрнберге. Там петлю на шею узников, вытянувшихся на кончиках пальцев, набрасывали с таким расчетом, чтобы изнеможение вынудило их в конце концов убить самих себя. Я видел этот каркас из труб в одном покинутом лагере, где уже не было ни мертвецов, ни веревок; он казался похожим на одно из тех металлических сооружений, по которым карабкаются пожарные во время своих тренировок.

Я читал о лагерях все, что можно было прочесть, и прежде всего воспоминания уцелевших узников тех лагерей, лагерей, в которых погибли мои братья. Я расспрашивал всех своих спасшихся друзей. Устные рассказы были короче записанных на бумаге, но им была присуща та плотность подлинности, которой наша бесконечная хроника бесчеловечности обладает далеко не всегда. Какие воспоминания смешались во мне? Прежде всего, «Песня партизан».

Ты видел, друг,
Как воронье слеталось на поля!
Ты слышал, друг,
Как застонала в кандалах земля...

Может быть, из-за того, что я только что слышал ее мелодию; потом еще «Песня болот», наследство, доставшееся от коммунистов, арестованных в 1933 году:

Над болотистой равниной
Небо кажется мертвей,
И не слышно ни единой
Птицы в шелесте ветвей.
Даль подавлена тоской:
День-деньской маши киркой
Вверх-вниз!..

Раны, снег, голод, вши, жажда; затем опять жажда, голод, вши, снег, болезни и раны. И трупы: «Вы можете выбирать между земляными работами и работой с

прахом в крематории». Галлюцинации, в которых смертоносную дубинку капо* принимаешь за плитку шоколада; бесконечно обсасываемый маленький кусочек дерева; тело, в котором, кроме голода, не осталось уже больше ничего; жажда, которая после четырех дней и ночей в вагонах-гробах вынуждала несчастных склоняться над ведрами в уборных; и главное — продуманная организация унижения. Голод был постоянным спутником заключенных, сопровождавшим их до последней черты, до дня смерти. Навязчивые конкурсы воображаемых пиршеств, которые сначала заставляют соревнующихся смеяться и, преодолевая боль в сердце, говорить: «А впрочем, мне плевать, нет ничего лучше бифштекса с жареной картошкой и добрым красным вином», а в конечном счете заканчиваются ссорой и пинками. Эдмон Мишле рассказывал мне про агонию одного священника, умиравшего от голода в Дахау: «Такому-то ты отдашь мои драже, мои карамельки, а такому-то мое сгущенное молоко...». У него не было ни драже, ни карамелек, ни сгущенного молока. Мишле не знал никого из тех, кому все это богатство предназначалось. Священник, который все-таки выжил, позже рассказал: «Это были имена моих товарищей по выпускному классу лицея...». Сексуальное воображение, желание давным-давно исчезли, чтобы оставить место для двух самых банальных влечений.

Бывает, что само время разрушает, это медленная пытка, но это и есть удел человеческий; тело становится самым коварным врагом; ужасное пробуждение, превращающее в несчастье всякое новшество; подавление всех признаков индивидуальности; деградация и непрерывные удары в мире, где смерть поджидает человека на каждом шагу. И иногда — воспоминание о мире, где женщина была желанна и где мужчина обладал сердцем; где ненависть несла с собой надежду, что

* Добровольный надзиратель.

когда-то она будет утолена (человек, лишенный всякой надежды, находится по ту сторону ненависти).

Декорацией ада в рассказах, которые я вспоминал, была не шахта, не карьер, не лагерь, а безумие. Главная дорога называлась улицей Свободы; так же называлась и полоска, которую машинка для стрижки прочерчивала от лба до затылка. Дома немцев, как говорят вернувшиеся оттуда, были окружены «кокетливыми садиками», и под аккомпанемент криков избиваемых до смерти заключенных там можно было увидеть играющих котят; можно было встретить монастырские цветы в центре барака, где постели кишели вшами. Были нелепые удары, которые немецкие политические заключенные наносили обезумевшим узникам. Мир, где невозможное было всегда возможно, — это был кошмар в точном смысле этого слова; его несвязность была мечтой заключенного. Мир организованного хаоса, где слово «организовать» означало украсть у врага: украденные для умирающих куски сахара были «организованы». Сбор золотых зубов и волос, накапливающихся после стрижки; беспричинные отъезды (однако эсэсовцы знали, что разлука ослабляет заключенных); в женском лагере — помеченная черным треугольником немка-воровка, которая, чтобы не давать французенкам остатки своего кофе, мыла этим кофе пол; вызов добровольцев направиться в Бордо, который эсэсовцы путали с борделем; вопрос: «Умеете ли вы играть на рояле?», обращенный к заключенным женщинам, которых направляли на земляные работы; безжизненные призраки, катящие в семером или в восьмером какой-нибудь каток по месопотамскому барельефу. И у женщин, и у мужчин из громкоговорителя несло «Schön ist das Leben» («Жизнь прекрасна»); кража очков (кому они нужны?) и странным образом фосфоресцирующие кружки колбасы. Те, кто, ложась спать, шнурками привязывали башмаки к шее, порой, когда воры пытались их украсть, чудом оставались в живых. Медицинская справка о том, что заключенного

можно бить. Плата хлебом за предсказание счастливой судьбы. Женщины, которые не плакали от самых жестоких ударов, но плакали, проигрывая тайком организованную партию в белот. «Мучительницы», которые во время бомбардировок просили тех, кого они избивали, помолиться и за них тоже. Было, например, и такое наказание: (черный юмор?) «за смех в строю». Schwester («сестра милосердия»), которую грозилась позвать, чтобы заставить замолчать заключенных-рожениц; страсть заключенных (разделяемая и забавляющимися охранниками) устраивать между собой, порой еще не отойдя от ударов эсэсовцев, соревнования по боксу. Существовал театр («Ромео и Джульетта» в Треблинке!), оркестры в полосатых робах, игравшие в тот самый момент, когда экскаваторы вырывали из ям гроздь полуживых заключенных, чтобы бросить их в полыхающий, как гигантская паяльная лампа, костер.

Есть несколько сцен, которые я записал по рассказам уцелевших. Сейчас я вижу, что три из них — это сцены бесед.

Сначала сцена карантина.

Заключенные, которым еще не дали никакой работы, смотрят, как мимо них в одежде каторжников проходят группы стриженных бедолаг, опирающихся на костыли, или как возвращаются истощенные каторжники, похожие на команду скелетов. Каждый рассказывает какую-нибудь историю (не свою), которые начинают надоедать. На свете существуют диковинные профессии: один укротитель пользуется большим успехом, рассказывая, что маленьких животных можно приручить, только если притвориться, что ты их боишься. Двое начинают разыгрывать такую дрессировку кролика, а в это время по другую сторону колючей проволоки, ограждающей карантинный участок, эсэсовцы, вдохновения ради, избивают лопатой заключенного. Через десять дней устанавливается тишина. В сумерках на соломенном тюфяке лежат трое из тех, кого другие ласково называют «сумасбродными умни-

ками». Причем один из них, беспощадно избитый еще во время допроса на улице Фоша, находится при смерти, и его хрип смешивается с доносящимися снаружи воплями на немецком. Чуть дальше те, кто знает песни, поют. В них рассказывается о доме или о сне. Если петь хором и медленно, то мелодию «Солдатика» можно превратить в нескончаемую колыбельную. Кто-то рассказывает «Макбета». Те, кто знает стихи, декламируют стихи. «Умники» знают их много. Один из них, которого не видно в темноте, пересказывает отрывки из «Пеги».

Густой дым крематория исчезает в облаках, плывущих со стороны баварских лесов и с гор Богемии. Французы восторженно внимают. А люди других национальностей чувствуют, что происходит нечто серьезное, и молчат. Второй «Умник» подхватывает с яростью. Он виден с головы до ног, вплоть до мелочей, стоящий в кальсонах на каком-то возвышении, с пучками волос, торчащими из-за ушей, — лицо страшного клоуна и безумца:

Смотрите, как идут пехотные полки
По двадцати векам, за шагом шаг вбивая,
И слушает король, как стонет мостовая,
Как неподбитые грохочут башмаки.
Под шляпой с перьями косятся воровски
Глаза придворного на гнев рабов бесправных.
Пехота говорит с опасностью на равных:
«Под пули — во весь рост и грудью — на штыки».

Снаружи команды прекратились и слышен крик пехоты. Один заключенный сообщает, что у него есть осколок зеркала, и каждый хочет взглянуть на свое отражение. То, что они называют скукой, возникает не от безделья, а от нависшей угрозы: что-то теперь с нами будет? Слухи (откуда они возникают?) время от времени пробегают по толпе, словно маленькие зверьки.

25 декабря 1944 года в женском лагере наступило Рождество. В мужском госпитале священники, участ-

вовавшие в Сопротивлении, читали проповеди. Дизентерия, тиф, туберкулез, раны, сломанные на работе или дубинками капо конечности. Один-единственный термометр и никаких лекарств. Из-под полосатых лохмотьев просвечивает превратившаяся в пергамент кожа. Почти безмолвный ад. Только странные крики от голода, а когда на дороге за колючей проволокой появляются темные фигуры крестьян, то один раненый со сломанной ногой начинает кричать: «Вы свободны! СВОБОДНЫ!». Захваченные у парашютистов контейнеры используются как утки. Сегодня утром немецкий врач спросил моего соседа, харкающего кровью после побоев:

— В вашей семье были больные туберкулезом?

— Ничего, — говорит священник, облаченный в отрепья, которые ему выдали вместо полосатой лагерной формы. — Ничего. Сегодня вечером во Франции все семьи собрались вокруг столов. Наше место пусто. Но на земле есть огромная семья, семья узников лагерей: тех, кто умер, тех, кто умрет, тех, кто дождется освобождения.

Он рассказал евангельскую историю о рождении Христа, добавляя пастухов Луки к волхвам Матфея, осла и быка — к Священному Писанию. Это Евангелие из детства тех, кто его слушает...

— И вот Он пришел и позволил приговорить себя к смерти, чтобы мы могли умирать не в полном одиночестве. Его заставили нести крест. Из того креста, который несем мы, Он где-нибудь делает, вы уж мне поверьте, один большой-пребольшой крест. Он упал в первый раз, это вы знаете. Человек по имени Симон помог Ему нести Его крест; мы все встречали Симона. Одна благочестивая женщина вытерла Ему лицо. Толпы нет, но на Восточном вокзале в начале мая цветочницы нам принесли ландыши, и люди сразу же купили у них все остальное... Он упал во второй раз, мы знаем и это. Он утешал женщин Иерусалима, которые шли за ним; здесь, во Френе, многие подвергали себя опас-

ности, чтобы сквозь стены подбодрить вновь прибывших. Пусть Господь сделает нам всем милость, пусть даст возможность утешить товарища. Он упал в третий раз. С Него сняли одежду. Его привязали к кресту, и Он там умер. Его тело отдали Его матери; а то, что наших матерей здесь нет, так это великая милость!

Не всегда: часто в лагерях мать и дочь оказываются вместе, в тех случаях, если их вместе арестовали.

— И положили Его в склеп...

Напротив строят второй крематорий.

— Велосипед! Хочу велосипед! — кричит раненый с отрезанной ногой.

Высохший как скелет больной с криком вскакивает: лежавший рядом с ним сосед только что умер, и теперь вши переползали с тела на него.

— Это Крестный путь. Когда мы отправлялись, немецкий священник из Френе (он был хорошим) сказал мне: «Главное — никогда не терять надежды и никогда не сомневаться в Боге...». А там, там будет, наверное, трудно... Да, трудно. Но потом мы пойдем. Вот почему надо принимать смерть так, как если бы мы ее понимали. Принимать ее радушно. Когда я был ребенком, то мы пели про Рождество, которое... Это поет сам милостивый Бог...

Голос его становится тише, а потом выше: он поет почти на тот же мотив, что и «Был такой маленький кораблик»:

Мне предстоит маленькое путешествие...

Маленькое путешествие — это, кажется, Воплощение.

Есть такие, кто считает, что с ними самими обошлись гораздо проще, без историй. И есть те, которые молчат.

— По случаю Рождества, — раздается голос, — крематорий должен был бы объявить забастовку.

Равенсбрюк. Узниц собрали, чтобы они послушали выступление коменданта лагеря: микрофон подсоединен к громкоговорителю; седовласый мужчина похож на актера, выступающего в роли коменданта-эсэсовца. Переводят сами заключенные:

— Оставляя вас в живых, Великий Рейх проявляет беспримерную снисходительность. Вы — асоциальные элементы, вы — проказа на теле Германии. Вы — политические преступники, вы подло убивали немецких солдат. Вам сохранили жизнь. Очень жаль. Но я подчиняюсь. Поступайте и вы так же. Тот, кто попытается нарушить дисциплину, принятую в этом лагере, приползет на коленях, это я вам говорю, приползет, умоляя позволить подчиниться ей. Дисциплина СС — это дорожный каток, и там, где он пройдет, там уже ничего не будет расти. Разойтись!

Узницы тут же окрестили его «Милашкой Аттилой».

Затем эсэсовец без нашивок обращается с речью только к француженкам (наверное, этот второй клоун имеет привычку обращаться к каждой категории узниц отдельно). У него на голове нет фуражки с эмблемой смерти, у него на голове вообще ничего нет; лысый череп и прямой затылок делают его похожим на внимательную датскую овчарку Эриха фон Штрогейма. Переводит его выступление эльзаска, в которой наверняка не больше сорока килограммов веса. Он широко расставил ноги и покачивается взад-вперед.

— Свора шлюх! Вы были принаряжены, покрашены, и вам удавалось создавать впечатление, что вы женщины! Вы высказывались против Германии. Как сказал комендант, вы подло пытались нас убивать. Кто вы такие? Посмотрите на себя: дерьмо. С маскарадом покончено! Отсюда вы выйдете только через трубу. Вы еще у меня попляшете, дождетесь. Все вы — жидовки! В трубу!

Он раскачивается все сильнее и сильнее. Упадет или нет? Он и так в последней стадии опьянения, а эта речь пьянит его еще больше:

— С маскарадом покончено! В трубу! Прежде всего, вы слишком жирные! Нужно, чтобы ваши кости ныли от одного прикосновения к постели! Ешьте клевер — это полезно для здоровья!

Перевод эльзаски; ее монотонный голос не имеет определенных адресатов:

— Он говорит, что мы — грязь и что мы выйдем отсюда, только когда умрем.

Он продвигается вперед, широко расставляя ноги, но в то же время, кажется, не собираясь упасть, и доходит до самого первого ряда узниц. Остальные теперь его не видят, но все равно слышат.

— Ах, вы мои коровы! мои милые француженки, я научу вас всегда быть красивыми!

Перевод. Он уходит в сопровождении двух своих эсэсовских крыс. Со спины его опьянение заметно еще сильнее, но в нем нет ничего от водевильных пьяных: медлительное и угрожающее нордическое опьянение. Это не пьяница, а сумасшедший.

Опираясь на плечи двух своих крыс, он разворачивает их, поворачивается к узницам:

— Первую, кто пошевелится, — в тюрьму, в камеру умалишенных!

Пауза.

— В грязь и в трубу! Я вас научу быть красивыми!

Без перевода. Он уходит, теперь слегка наклоняясь, но вместе с тем оставаясь прямым, словно в корсете; опираясь на два подставленных ему плеча, словно какой-нибудь мерзкий король Лир, повисший на двух ненавидящих его дочерях. Плац, где все это происходит, образцово чист. У одной узницы приступ безумного конвульсивного смеха; остальные вне себя от досады, но сжимаются вокруг нее кружком. Он больше не оборачивается и, тяжело ступая, уходит в клубы дыма из крематория.

Женщина из СС, начальница лагеря, проезжает на велосипеде вдоль колонны заключенных, направляющихся на работу. Она слезает и дает пощечину заклю-

ченной, возможно, нарушившей строй. В ответ та, руководительница подпольной ячейки, полностью понимая, что она делает, изо всех сил возвращает пощечину. Прерывистое дыхание всей колонны. Яростные удары хлыстов женщин и мужчин из СС. На заключенную спускают собак; но по ее ногам течет кровь, и собаки вместо того, чтобы кусать, как в христианских легендах, только лизут кровь. Однако менее сентиментальные эсэсовцы прогоняют собак и забивают ее до смерти. По лицам стоящих по стойке «смирно» в полном безмолвии узниц текут слезы.

Еще недавно, записывая все это, я также писал и о женщинах-заключенных, сидевших в снегу на трупе своей подруги, женщинах, для которых прежняя жизнь закончилась, когда часы Френе показывали половину одиннадцатого; о звуках поцелуев без слов (разговаривать было запрещено), заполнявших огромный зал во время отправления крупных партий; о навязчивом желании танцевать, о ночи прибытия, изрешеченной светящимися точками электрических фонариков в руках эсэсовцев, о дрожащих от лихорадки стенах. Я вспомнил Пастернака, читавшего по-русски свои стихи перед восхищенными студентами в зале Мютюалитэ; вспомнил живших в наших комнатах певцов и лагерь военнопленных 1940 года; вспомнил фрески, созданные каторжниками Гвианы, и того человека, «который так хорошо объявлял» на приеме у префекта; вспомнил Тали, которая отвечала пришедшему к ней Мейрене, рассматривая ласковых ящериц на потолке: «Я ничего не хочу знать: ни того, цветут ли поля, ни того, чем кончит это подобие человека...»; вспомнил Эренбурга, ставшего комиссаром при цирковых животных под верховным началом Мейерхольда и удивлявшегося, почему зрители воруют кружочки нарезанной для его кроликов морковки; вспомнил своего священника в республиканской Испании: «И когда последняя цепочка бедняков тронулась в путь, над ними

взошла неизвестная звезда...». Однако пытка существовала уже многие века, как и те люди, которые пели под пытками. Но вот такой организации унижения раньше не существовало.

Ад — это не ужас, ад — это когда человека унижают еще до смерти, независимо от того, приходит смерть или проходит мимо; это страшная мерзость жертвы, это таинственная мерзость палача. Сатана — это Унижающий. Унижение начиналось с насмешки, оборачивавшейся бессмыслицей, когда, например, на пойманных беглецов вешали картонку с надписью: «Вот я и вернулся». На тех, кто пытался воровать хлеб, тоже вешали картонку, а всех заключенных обязывали плевать в лицо и давать пощечину тем, кто пытался воровать хлеб (после чего капо избивал их палкой до смерти). Но когда после пыток узники вдруг видели, как гестаповцы из охраны играют в чехарду, — это была уже не бессмыслица, это была насмешка над Христом. Обращения в веру были редкими, но почти все оставшиеся атеистами заключенные присутствовали на религиозных церемониях, наполовину тайных, потому что священник, рассказывавший им о Страстях Господних, говорил им о них самих. Совершенство системы концентрационных лагерей было, очевидно, достигнуто в Дахау, когда эсэсовцы обязали немецких священников из числа заключенных прогонять из часовни всех иностранцев-мирян, которые приходили туда молиться. (Перед этой часовней из рифленой жести красовалась надпись, сделанная готическим шрифтом: «Здесь Бог — Адольф Гитлер».)

Тех, кто отказывался это делать, расстреляли, но вокруг часовни постоянно были стоящие на коленях заключенные. Хорошо изучен тот механизм, когда политических заключенных отдавали в подчинение уголовникам, ворами и убийцам, а в женских лагерях — проституткам. А сильно меняющуюся на протяжении войны систему отличительных знаков изучали мало. Пришитые к одежде матерчатые треугольники указы-

вали, к какому типу принадлежит заключенный: участнику Сопротивления следовало знать, что он подчиняется убийце или сутенеру, а каждый немец, будь то эсэсовец или заключенный, должен был видеть, что перед ним «террорист». Однако многие из тех, кто носил красный треугольник политических заключенных, были не бойцами Сопротивления, а простыми крестьянами, отказавшимися сделать донос; молодыми людьми, рисовавшими на стенах лотарингский крест; учителями, распевавшими с учениками «Марсельезу»; заложниками или даже (среди поляков или русских) простыми жителями деревень, полностью отправленных в лагеря. Носившие черный треугольник «асоциальных» иногда были психически нездоровыми людьми, но очень часто в эту категорию зачисляли цыган. И ничто не могло избавить всех этих оказавшихся на краю несчастья людей от чувства изумления, испытываемого ими оттого, что они казались себе совершенно непохожими друг на друга и в то же время совершенно одинаковыми. Во всяком случае, герои не всегда оставались таковыми до конца, как и проститутки (некоторые из них стали участницами Сопротивления). Убить всех этих несчастных, чуть медленнее или чуть быстрее, можно было бы и с помощью иных средств; во всем этом была какая-то туманная цель, которую люди перед собой еще никогда не ставили, так как раньше пытки использовались лишь чтобы добиться признаний, либо наказать за религиозную или политическую ересь. А здесь высшая цель состояла в том, чтобы заключенные утратили человеческое достоинство в своих собственных глазах. Отсюда разлитый суп, который некоторые из самых голодных лакали прямо с земли; отсюда брошенные в собачью блевотину окурки, запертые в одну камеру с сумасшедшими узники и нечто еще более коварное и чудовищное: работа пинцетом и скальпелем, «опыты» и стерилизация. (Девушек, предназначенных для опытов, заключенные женщины с какой-то болезненной нежностью называли

«крольчихами».) В идеале нужно было довести сопротивлявшихся узников до того, чтобы они вешались или бросались на находившуюся под напряжением колючую проволоку. Однако в таком случае эсэсовцы чувствовали себя как бы обкраденными.

Все это теряло свою демоническую эффективность, потому что самые жестокие пытки и самые мерзкие унижения выпадали не участникам Сопротивления, а тем, кто отвечал на удары охранников; нередко, например, жертвами оказывались польские крестьяне или крестьянки, отправленные в лагерь, когда часть их деревни ушла в партизаны. Эта упорная борьба продолжалась годами, и главным победителем была Смерть. Она властвовала над телом, и из труб крематориев постоянно шел дым. И все же неистовое желание выжить, воодушевлявшее большинство участников Сопротивления, было направлено в первую очередь не против нее. Они поняли, что в человеке есть нечто более глубокое. Священник, читавший проповедь на Рождество, сказал бы, очевидно, о «способности к смирению», но это было бы верно лишь по отношению к тем, кто находил смирение в Боге. Однако битва шла не на этой территории. Для заключенных смысл борьбы состоял в том, чтобы перенести все, что им навязывали, как они переносили бы рак, лишь бы никогда ни в чем не участвовать. Постоянной мыслью узников было: «Все равно», в том смысле, что «это меня не касается» и «этого не было». «Пощечина принимает форму того, кто ее получает, а не того, кто ее дает», — рассуждал Ален, имея в виду Христа. Нужно было выжить, жить этим мгновением, никогда и никак не проявлять своих чувств при виде ужасов, при виде мучений, при виде мелькнувшей улыбки капо; саботировать, не лакать пролитый суп. Смерть была всего лишь одним элементом среди ряда других. Бывшие узники говорили, что стремление выжить было, может быть, самой сильной человеческой страстью, но что выживали лишь «те, кто не сдавался». В мире, безумие кото-

рого возникало частично случайно, а частично было специально организовано, одна абсурдность, такая же поразительная, как и абсурдность самого лагеря, защищала жертву: абсурдность палачей. Каждый мерзкий день оказывался аргументом в пользу Сопротивления. Когда тот священник узнал, что существуют лагеря, где эсэсовцы позволяют заключенным женщинам передвигаться лишь на четвереньках, он вступил в подпольную организацию.

Самая глубокая игра велась, несомненно, между двумя формами кощунства. Духу нечего было делать среди трупов и очистков. Гитлер организовал свое варварство по той же схеме, по какой любое государство создавало свою каторгу, но ни одно государство не выдвигало девиз, на котором были основаны лагеря: «Обращайтесь с людьми, как с грязью, и тогда они действительно станут грязью...». Так следовало обращаться с людьми, которые своими действиями или своим существованием отрицали нацистского идола. И вот эсэсовцы-охранники, а вместе с ними и воры или убийцы из числа немцев, непрерывно мстили за своего идола, совершали кощунства, которые ничто не могло искупить.

Между тем даже у умиравших узников сохранялось достаточно человеческого достоинства, чтобы догадаться, что их воля к жизни — это не животная страсть, а нечто священное. Здесь тайна удела человеческого проявлялась гораздо сильнее, чем в той космической зыби, которая рано или поздно должна была увлечь за собой в пучину смерти и палачей, и их жертв; мерзость заключенных, доносивших на других заключенных с улыбками, которые можно было бы назвать животными, если бы животные улыбались, соединялась с мерзостью того мучителя-эсэсовца, которому кто-то из узников сказал, что «Schnell»* переводится на французский: «Полегоньку», и который, таким образом, за-

* Быстро (нем.).

бывал до смерти заключенных, призывая их работать медленно. Жалкие призраки, называвшие сами себя «туловищами с ногами», потому что головы их в ожидании нескончаемых ударов были втянуты в плечи, отнюдь не утратили способности презирать. (Точнее того смутного и глубокого представления о человеке, заставившего их подняться на борьбу, а теперь ставшего более ясным, ибо дара быть человеком их пытались лишить.)

Человеческий удел — это удел твари, которой навязана судьба человека так же, как смертельная болезнь навязана судьбе конкретного индивида. Разрушить этот удел означало разрушить жизнь, убить. Однако лагеря смерти, где пытались превратить человека в животное, позволили почувствовать, что человек — это не только его жизнь.

Когда, пройдя вдоль стен склепа бывших узников, а затем миновав решетки, похожие и на колючую проволоку, и на крюки мясников, я появился в комитете, заседание уже почти закончилось. Там находились председатели ассоциаций-участников Сопротивления и бывшие узники концлагерей: Эдмон Мишле, несколько женщин, несколько военных, один монах-доминиканец. Мне коротко пересказали то, что я уже знал и что пока еще мне было неизвестно.

Памятник Жану Мулену предстояло воздвигнуть вблизи от того места, где он был сброшен на парашюте. Сооружать его будут на средства трех министерств, департамента Буш-дю-Рон и муниципалитета деревни (а где много людей, там много и противоречий). Один капитан, арестованный гестаповцами как участник Сопротивления и скрывший свое звание, чтобы остаться вместе со своими боевыми товарищами, вступил в затяжной конфликт с доминиканцем, тем самым священником, который произносил рождественскую проповедь в Дахау. Чтобы охарактеризовать его внешность, подошло бы слово «изможденный», но обычно его используют, когда речь идет о вытянутых лицах, а

его круглая голова с темными глазами казалась головой мертвеца, на которой сияла улыбка духовности. Остальные пытались его успокоить. А я — увы! — вспомнил про застолье по поводу «Премии викингов», где Фернан Флерэ пророчески заметил двум членам жюри, схватившимся друг с другом в тот самый момент, когда подавали закуски: «Потерпите немного! Зачем ругаться сейчас, если вы и сами знаете, что чуть-чуть больше опьянев, вы начнете обниматься...». В данном случае дело было не в опьянении. Доминиканец предложил, чтобы мы все высказались в пользу одной модели памятника, достаточно абстрактной, но понравившейся дочери Мулена; капитан требовал провести конкурс. Он не знал, что великие художники не тратят времени на конкурсы и что официальное жюри выберет кого-нибудь из своих друзей. Однако священник, поначалу думавший лишь о том, как увековечить память Жана Мулена, начинал сердиться. Он знал, что такое конкурс. Будучи специалистом по романскому искусству, он знал также, какая глубокая пропасть разделяет портрет и современное искусство, особенно в том, что касалось «героических» монументов. Он не хотел никаких оловянных солдатиков. Члены комитета хотели, чтобы был памятник, — вот и все; оба противника ссылались на обязанности государства и на какие-то сокращенные тексты.

Я представил себе капитана в полосатой одежде. В Штутгарте, в тот день, когда генерал Делаттр пригласил пообедать с нами сына Роммеля (фельдмаршал закончил жизнь самоубийством), один освобожденный нами французский генерал в штатском презрительно сказал мне: «Хорошо хоть не посадили рядом с этими полосатыми...». Многие пощечины растворяются в воздухе, а один человек может пожать лишь двумя плечами.

Я представил в полосатой одежде и священника: «Мне предстоит маленькое путешествие...». Он был облачен в белую рясу доминиканцев, на которой вот

уж сколько лет вместо шпаги висели четки, и попыхивал коротенькой трубочкой. Ему хотелось, чтобы сооружение памятника поручили Альберто Джакометти. Я уже встречал его в подобных комитетах и вспомнил, что уже слышал его слова: «Если бы христиане отличались в жизни теми добродетелями, которые Сезанн и другие обнаруживали в своем искусстве, то Богу оставалось бы лишь радоваться...». В моем сознании вновь возник образ Жана Мулена, зачеркивавшего букву «с» на бумажке, которую ему протягивал один из его мучителей и где было написано: «Муленс». Мне было трудно представить памятник узникам концлагерей, потому что я очень хорошо помнил увиденный когда-то на выставке в Доме Инвалидов столб, к которому привязывали приговоренных к расстрелу. Он был весь изрешечен пулями и на уровне живота жертв превратился в какую-то бесформенную скульптуру.

Дискуссия продолжалась. Дахау, Равенсбрюк, Аушвиц... Мне нужно было принять лекарство, а минеральная вода стояла на другом столе. Всегда возникает странное чувство, когда со стороны смотришь на собрание, в котором несколько минут назад участвовал. Я это чувство испытывал еженедельно, когда заседал в совете министров. Сидя на своем стуле, я видел всех своих коллег вокруг стола, на одном уровне со мной; поднявшись и отделившись от них, увидел группу людей, продолжавших дискуссию и существовавших как бы сами по себе, словно они могли продолжать свои споры до бесконечности. «Конкурс — это справедливость, а назначение — это произвол!» Очевидно, вместо того чтобы поручить роспись потолка Парижской оперы Шагалу, я должен был выявить кандидата на эту работу с помощью конкурса. «Поднимись, Лазарь!» Великая зловещая насмешка, спутница смерти, уступила свое место самой обычной ухмылке, спутнице жизни. Ни тот голос, что заставлял умолкать ад Дахау, ни тот, что вызвался сопровождать товарищей в ад,

были не в состоянии смириться с обидой. «Дорогой мой, — говорил капитан, — Вам лучше было бы оставаться в своем монастыре!» Доминиканец печально отвечал: «Несмотря на все то, что нам довелось испытать, я благодарю Бога, заставившего нас, Вас и меня, когда-то расстаться с нашими одеяниями...»

Мы подписали протокол. Капитан выразил «желание всех друзей Жана Мулена увидеть его лицо» на воздвигнутом в его честь памятнике. Будет ли этот памятник оловянным солдатиком или нет? Почему этот абсурд так меня поражал? Совершенно ничтожный повод разделил людей, которых должно было бы объединять братство. Они никогда не претендовали на то, чтобы их считали героями или святыми. Но то, что действительно встревожило меня, — это Лазарь, вернувшийся из царства мертвых ради того, чтобы раздраженно спорить о том, как должна выглядеть его могила.

Верил ли я когда-нибудь, что ужаснейшее испытание может быть свидетельством глубочайшей мудрости? В 1936 году мы вместе с Марселем Арланом встречали Артура Кестлера, освобожденного из тюрьмы Франко, где он несколько месяцев провел в камере смертников. «Всегда одно и то же, — сказал мне Арлан, когда мы расстались с Кестлером, — думаешь, что они несут с собой какое-то откровение, а они рассказывают обо всем так, словно ничего особенного с ними не произошло...» Я вспомнил также одного боевого товарища моего отца, навестившего нас в 1920 году. Вместе с ним пришла его жена, и во время чая мы были свидетелями самой обычной, почти не скрываемой семейной ссоры. «И все-таки, — сказал мне отец, после того как его проводил, — это очень храбрый человек, один из самых храбрых офицеров, каких я только знал...» Между тем храбрость в танковых войсках 1918 года была не редкостью. Я был свидетелем, как мой дядя, унтер-офицер отряда огнеметчиков, женив-

шийся по возвращении с войны на женщине, которая ждала его двадцать лет, превращался по воскресеньям в счастливейшего человека благодаря стаканчику «Бирра»*. Героические бойцы, лишившиеся вместе с военной формой всего, что у них было, командиры ударных отрядов, ставшие вновь бакалейщиками и хозяевами бистро, после Первой мировой войны встречались не так уж редко. Не потому ли, что храбрость приходила к ним словно со стороны? Храбрость стбит того, чего стбит человек, при условии, что не забывают о том, чего она ему стбит; готовность пожертвовать собой никогда не бывает неизменной. Все эти люди оказались лишенными того опыта, который принесла им окружающая их смерть, но также и того опыта, который подарила бы им жизнь...

Комедия с памятником зацепила во мне ниточку, уходящую в неведомые мне самому глубины моей души. Меня настойчиво преследовало не воспоминание о несчастьях или о проявлениях мужества, а мысли о коварном всесии жизни, способной стереть из памяти все, за исключением разве что тех случаев, когда воспоминание о лагере связывалось со Страстями Господними, когда тело переставало быть только инструментом страдания. Герои войны становились буржуа, и мир делал ненужной их физическую отвагу, рассеивал друзей, возвращал их к женам и детям, на смену безответственности солдата приходили обязанности перед обществом. Жизнь укрывала этих выживших людей так же, как земля укрывала покойников. В лагерях умерло восемьдесят процентов политических заключенных; почти все остальные рано или поздно показывали примеры образцового мужества, пусть даже и пассивного. Однако то, что волнует меня, не укладывается в военные категории. Над миром в течение нескольких лет нависала явная, осязаемая тень

* «Бирр» (Birrh) — используемое в качестве аперитива французское вино с легким приятным ароматом апельсина и хинина.

Сатаны, но даже те, на кого она тогда легла, сейчас, кажется, забыли об этом. Может быть, они смогли выжить только в той мере, в какой смогли забыть?.. Когда-то я верил, что опыт лагерей смерти оставлял более глубокий след, чем опыт угрозы смерти. А оказывается, что предельное несчастье не так заметно, как самая простая рана...

Мы остались одни: Брижит, представлявшая свой лагерь и одну из равенсбрюкских групп (это ее охватил тот опасный безумный смех после выступления пьяного эсэсовца), Эдмон Мишле вместе с одним испанским республиканцем, представлявшим Дахау, доминиканец и я.

Как они вновь обретали жизнь? Что они вынесли из ада? По всей Европе многие из тех, кто вернулся из лагерей, записывали свои воспоминания; об их возвращении в человеческий мир там почти не рассказывается. Нырятьщику нелегко извлекать из водных глубин то, что он там находит, не зная, что же это такое...

А рассказывают они об этом еще меньше, чем пишут.

— Для меня, — говорила Брижит, — все сложилось плохо, потому что я вернулась в мае. Я была единственной узницей с моего эшелона. Остальных направляли на принудительные работы или не знаю куда. Офицер в «Лютеции»,* которому я все рассказала, сначала вообще ничему не поверил. А потом, когда я как военнопленная пришла получать свое пособие, выдававший его солдат заявил мне, что я имею право получить лишь часть суммы, поскольку немцы обеспечивали меня жилплощадью, питанием и одеждой. Тут уж я немного вспыхнула. Затем еще один: я стояла в очереди в банк «Креди Лионе» на площади Виктора Гюго,

* В отеле «Лютеция» принимали тех, кто возвращался из лагерей.

чтобы поменять первые тысячефранковые купюры. Почувствовала, что сейчас мне будет плохо. Одна дама из милосердия вовремя меня поддержала. Я объясняю ей, что ничего страшного, просто я только что вернулась из концлагеря. Дама потребовала, чтобы меня пропустили без очереди, подозвала служащего. Меня перевели в первый ряд (окошечки банка должны были вот-вот открыться). Один элегантный господин лет пятидесяти начал протестовать. В честь чего это он должен был пропускать меня вперед? Ему объяснили. «Так пусть бы она там и оставалась, в своем лагере!» От воспоминаний я освободилась раньше, чем от сновидений. Ночью я опять оказывалась в лагере, а по вечерам, когда гуляла под каштанами на улице Анри Мартена, я была уверена, что вскоре проснусь в Равенсбрюке. Я плакала во сне, хотя в лагере никогда не плакала. А потом, вы знаете стихотворение Нелли Закс:

Давай тихо учиться жизни
И не напоминай о клыках овчарок...

Но все это — это было уже в Париже. А на границе я ужасно боялась...

— Чего?

— Того, что мне предстояло увидеть, того, чем я стала... Не знаю...

— Когда прибыла первая партия возвратившихся из лагерей, — сказал Эдмон Мишле, — де Голль встречал узников на перроне вокзала.

— «Пусть бы он там и оставался», как сказал тот мой идиот.

— Когда мы возвращались, то люди приготовили знамена, а мы шли вдоль заграждения из машин.

— Потому что вы вернулись гораздо раньше, чем я. 14 июля 1944 года мы в Равенсбрюке соорудили себе платья из обрывков бумаги, и нам удалось одеться кому в голубое платье, кому в белое, кому в красное. Все женщины пели «Марсельезу». Это было рискован-

но, и сейчас произошедшие тогда кажется мне просто странным: это не похоже на лагерь.

— А что похоже на лагерь?.. — спросил доминиканец.

— Тюрьма, в которой я был, — сказал я. — Я могу представить себе нечто гораздо более худшее; если говорить о пытках, то меня не пытали, но я видел, как пытаются. Впрочем, возвращение из лагеря, очевидно, похоже на возвращение с каторги. Есть и еще кое-что: стремление заставить человека презирать самого себя. Именно это я и называю адом. Нам известно, что происходило в других местах. Я слышал знаменитых международных экспертов, которые и в Нюрнберге, и на процессе Мазюи говорили: «Против оставляемых в кафе бомб замедленного действия и против всего того, что называется терроризмом, столь эффективные методы всегда применялись всеми службами контрразведки». Подобные галантные термины, естественно, обозначают пытку. Однако вы испытали нечто такое, чего не было ни в России, ни в Алжире, ни в Италии; нечто такое, что кажется мне связанным с самой природой нацизма. Речь шла о том, чтобы заставить вас потерять душу, в том смысле, в каком говорят: «потерять рассудок». (Что такое «душа»?) Говорят, что вы вновь обрели землю, так же как и я, в тот момент, когда они инсценировали мой расстрел или когда я выбрался из противотанкового рва. А вот то, что вы имеете в виду, но прямо не говорите (да и можно ли об этом говорить?), — это нечто иное. Когда в Боне мне удалось вернуться с того света (самолет попал в циклон града), я с удивлением смотрел на женщин, которые гладили белье, на маленьких животных и почему-то с особым удивлением разглядывал огромную красную вывеску магазина, где продавались перчатки. Вся земля была необычной. А вы, когда вернулись, встретились не с необычной землей, а с людьми, с человеческими чувствами, от которых вы были так же далеки, как и я был далек от земли, когда мой самолет

вертелся как волчок внутри циклона. Я могу ощутить то, как вы возвращались на землю: в конечном счете так же, как и я, только более мучительно. Но я не чувствую, как вы вновь обретали жизнь...

— Прежде всего, мой дорогой, — сказал Эдмон Мишле, — не забывайте, что все как-то перемешалось. Не остались ли мы одной ногой в аду? Я не забуду тех немецких священников, которым вменялось в обязанность прогнать нас из церкви! Но в момент возвращения то, что мы переживали прежде всего, так это чувство, что нам дали добавочную порцию жизни. Во-первых, мы должны были бы быть уже мертвыми; а потом перепуталось и все остальное... И еще вот что я, например, воспринимаю все как какой-нибудь гурон (гурон из Гуронии, не забывайте этого!); и вот адский или метафизический абсурд, как угодно назовите, постоянно смешивался с обыкновенным идиотизмом, который его разбавлял; что кажется удивительным, так это идиотизм, с которым уничтожали свою собственную рабочую силу! Мы это чувствовали каждый день, а остальное...

Что касается меня, то настойчивый прилив жизни все смешал, подобно Красному морю, стирающему на песчаном берегу рисунок города Сабы... Что осталось во мне сегодня от страны смерти? Застарелое удивление, которое не смогло бы удержать даже меня от страстных дебатов по поводу памятника. Я изучал исчезнувшие цивилизации, смотрел на чуждые мне цивилизации и даже на свою собственную так, словно они были тенью, в молчании спускавшимися по лестнице музея в Каире. Точно так же интеллектуалы, собиравшиеся в Альтенбурге, изучали древние общества варваров как особого рода цивилизации (общества варваров, но не каторги). Истинное варварство — это Дахау; истинная цивилизация — это прежде всего та часть человека, которую пытались уничтожить в лагерях. Христианин способен приносить собственное страдание в дар, аскет может его отрицать, при усло-

вии, что смерть наступит достаточно быстро... А ведь именно вокруг этого пламени кружатся, словно огромные бабочки, любые цивилизации. В этот ясный, холодный день с чудовищными образами Дахау переключаются другие картины, те, которые мне описал Шапский, адъютант Андерса, один из немногих уцелевших после Катыни. В русских концлагерях 1941 года, в глубине лесов, польским офицерам разрешалось иногда встречаться с женами, и их оставляли наедине. Голод полностью разрушает чувственность... Женщины покрывали свое тело широким поясом теста, которое пленные соскабливали, и это спасало их от смерти. Мужчины, поскольку они выше, становились на колени, и я сохранил образ этих неподвижных валькирий в полумраке камер, такой же отчетливый, как и черные силуэты женщин на кладбище в Коррезе. Если бы кто-то донес на этих женщин, то их расстреляли бы или избили. В моем сознании они смешались с народом в полосатых робах, робах из снега и ночи, в одной и той же загадке: если для верующего загадкой является существование лагерей и страдание избиваемого злодеем невинного ребенка, то агностик ту же самую загадку видит в актах сострадания, героизма или любви.

— Для меня, — рассказывала Брижит, — все это тоже смешивается. Прежде всего (я полагаю, что что-то похожее было и у Вас, Мишле?), мы не надеялись выжить. В «Лютении» смелый доктор, сделав мне рентген, сказал: «В любом случае больше десяти лет никто из вас не протянет». Нельзя было его упрекнуть, что он морочит голову своим пациентам. Мы получили ту самую добавочную порцию, о которой Вы только что говорили, и в прямом, и в переносном смысле. Да и потом я не вернулась оттуда окончательно, поскольку всякий раз, когда я чувствовала запах каштанов и мокрой мостовой улицы Анри Мартена, я верила, что сейчас проснусь в лагере, и шлепала себя по щеке, чтобы убедиться, что не сплю. Прохожие умилялись. То, о

чем Вы говорите, приняло какую-то странную форму: все люди стали мне казаться детьми. Не те чиновники, с которыми я столкнулась сразу по возвращении: они мне показались просто идиотами. Поскольку я вернулась гораздо позже, чем другие, то все уже решили, что я погибла. Мой отец уже два месяца не разговаривал... Тем не менее мне стало казаться, что мои родители превратились в малышей. О лагере они меня из деликатности не расспрашивали; отец в первые дни очень мало говорил, но и его молчание тоже казалось мне каким-то детским. Что было реальным? То, что было до войны? в лагере? То, что происходило теперь? Это было недолго. Я очень хорошо помню, когда вновь обнаружила для себя, что существует такая вещь, как заповни... Там у нас было ощущение, что если бы мы были мужчинами, у нас, по крайней мере, была бы надежда на бунт...

— Какой бунт, когда вешишь меньше пятидесяти килограммов, — сказал Мишле.

Я спросил:

— А были другие успешные восстания, кроме восстания евреев в Трeблiнке?

Никто об этом ничего не знал.

— И к тому же еще многие девушки не вернулись, — продолжала Брижит. — В сущности, я даже и не знаю, когда я примирилась с родом человеческим.

Бывшие узники никогда этого не знают. Может быть, сознание не в состоянии вынести этот выпускной экзамен? Я вспоминаю слова Мёлльберга: «Если цивилизации способны выжить лишь с помощью метаморфозы, то, значит, мир соткан из забвения...». А если наши друзья не могут вспомнить, как они вернулись к людям?

— Согласно великой буддийской притче, — заметил я, — те, кто сел в лодку Освобождения, могут увидеть противоположный берег реки лишь тогда, когда земля скроется из виду.

— Один еврей из Варшавы, — вмешался доминиканец, — рассказывал, что после ареста ему пришлось пересечь все опустевшее гетто, с открытыми дверями, с оставленной на столе едой, словно его никто не покидал, словно жизнь лишь на мгновение приостановилась... И когда потом его освободили американцы, он чувствовал нечто похожее, что-то вроде независимости от жизни...

Бежав из плена в 1940 году, я вошел в первый кинотеатр, чтобы разуться и избавиться от мучительной боли по вине слишком тесных ботинок. Показывали бомбардировку Варшавы, снятую немцами. Съемка шла с самолета: черные бензиновые хвосты и дым Апокалипсиса над грядой горящих домов. Самолет пролетал дальше, и это небо Голгофы, небо массовой резни превращалось в море девственно чистых облаков...

— А в Испании? — спросил Мишле.

— Там я не видел узников.

— Как правило, — сказал испанец, — фашисты расстреливали.

— Могли бы быть те, кто попал к нам в плен... Но летчикам не представилось случая...

Испания в моей памяти — это не ад. Я не забыл длинный кортеж крестьян, сопровождавший носилки, на которых в Теруэле несли летчиков. Однако я сохранил в памяти и еще одну картину, совсем иного рода. Рассвет: тот самый час, когда обычно мы подлетаем к линиям противника. Я выхожу из белокаменного замка с черной железной решеткой, где спят пилоты, и иду по необъятному саду, куда я часто по утрам приходил есть припорошенные инеем мандарины. Справа за высокими смоковницами скрывается истребитель, алюминиевая кабина которого сверкает в лучах поднимающегося солнца. Он весь покрыт росой, бесцветной у хвоста, розовой, а потом красной ближе к кабине. Это был самолет убитого вчера товарища, и его кровь залила кабину. Ночь ее очистила, и кровь, пролитая в

бою, выступает каплями вместе с росой, до самых Пиренейских хребтов покрывшей поля Испании.

— Добавьте к этому опыт глубокой нелепости, — сказала Брижит. — В лагере мы жили возмущением. Возмущением твердым, постоянным. То, что таким образом обращались с людьми, было невероятно возмутительно. И вот мы вернулись сюда с нашим возмущением, которое теперь не имело предмета. словно мы привезли с собой лопаты. Что касается суда над военными преступниками, то мы никогда в него особенно не верили. И потом, на определенной глубине месть тоже истощается... Уничтожить палачей еще не значит устранить существование пыток... Обычно говорят о драматических вещах, потому что об этом можно рассказать. Но есть еще вещи, которые приходят в сознание только потом, вещи, которые не имеют даже названия. Например, неведение собственной судьбы, судьбы наших подруг, судьбы тех, кто остался во Франции. Мы не знали, идет ли еще война... Это была постоянная тревога, и одновременно мы достигли предела безответственности. Вернуться к жизни означало вновь обрести постель, ванну, салфетку, столовый прибор — это известно всему миру. И тишину. Тишину! На нас так кричали — об этом говорят все, кто понимает, о чем идет речь. Было очень сложно. В конце концов ад начинает казаться простым. Находясь там, я иногда смотрела на деревья так, словно обнимала их, — это заменяло мне побег; просто смотреть на свободное дерево я научилась не раньше, чем через неделю после возвращения...

Я вспомнил о деревьях и о маленьких животных, окружавших Неру.

— Мне кажется, — сказал доминиканец, — что источник страха был в том, что жизнь не была для нас воспоминанием о времени, когда мы жили. Это было воспоминание о том, что мы видели в лагере. А такое видение порождало картины еще более фантастические, чем тюрьма. Настоящая жизнь не могла с этим совпадать...

— Это касается физической жизни, — сказала Брижит, — но ведь в лагере я и представить не могла духовную жизнь остальных, тех, оставшихся на свободе...

— Когда неожиданно ускользаешь из объятий смерти, — размышляя я вслух, — то потом живешь с удивлением перед фактом самой жизни. Но это не касается духовной сферы, если так можно назвать чувства людей и их отношение к жизни... Длительность времени, проведенного рядом со смертью, тоже, очевидно, имеет значение...

— Не забывайте, что у нас не было мыслей, — ответила Брижит. — Это было испытание, вы понимаете, очень длительное испытание. Четырнадцать месяцев сожительства со смертью, а для некоторых гораздо больше. Смерть находилась внутри нас, потому что над нами постоянно висела угроза, потому что мы ее видели непрестанно. Мы дотронулись до самого ее ядра. Мы ясно осознавали, что боремся. Только в этой борьбе мы на что-то опирались: на веру, патриотизм либо солидарность (назовите это как хотите), часто на дружбу, на ответственность.

— Это правда, — сказал Мишле, — я спрашивал себя, почему выжило столько ответственных людей, хотя у них и не было никаких привилегий: ответственность нас поддерживала.

— А унижение не уничтожает гордость... — сказал доминиканец.

— Зато гордость, если она сохраняется, разрушает унижение, — добавил испанец. — Я говорю не о себе, я был токарем и выкрутился, изготавливая игрушки для детей капо. И все же то, что я говорю, суцья правда.

— Когда мы свалились с луны, — продолжала Брижит, — больше не было никакого лагеря. Да здравствуют простыни и одеколон! Однако самозащита, охранявшая нас, стала беспредметной. Мы возвратились, предполагая, что окажемся в мире, где царит именно

она. Но это было совсем не так! Мы прошли четырнадцать этапов крестного пути, мы были распяты, а закончилось все в постели Марии Магдалины.

Я посмотрел на доминиканца. Ни малейшего раздражения, а еще всего каких-нибудь десять минут назад памятник выводил его из себя. Казалось, его печальная улыбка говорит: «Моя бедная, бедная девочка!».

— Это не было Воскресение! И все это, не будем себя обманывать, происходило с нашего согласия. Вот что было хуже всего. Все, что должно было нас спасти: наши чувства и воспоминания, — ни на что не годилось. Не было больше ада, и не было больше ничего с другой стороны. Мы достигли глубин зла и вдруг оказались в мире, в котором зла не существовало. Люди забавлялись с погремушками, но почему? Чтобы не обнаружить нечто очевидное, касающееся нас и находящееся в нас глубоко-глубоко. Это было возвращение Данте к отверженным. И вот что было странно: мы все вернулись в состоянии трупа. Через довольно короткий промежуток времени, который мы провели в постели, в относительном одиночестве, мы казались... выздоровевшими. И наши близкие поверили, что и в моральном отношении мы выздоровели тоже. Однако мы оставались такими же, как наши подруги, и непохожими на всех остальных. Семья для нас была так же, как постель, теплой и чужой.

— Вы согласны? — спросил я.

Даже доминиканец грустно качает головой в знак согласия.

— Как мы все вернулись, — заговорила она опять, — поначалу я об этом много думала, а потом у меня пропала потребность думать. Подобно тому как были простыни и вилки, у возвратившихся узников была еще и страсть к бродяжничеству, веселье без смеха и ночные заведения. Все это продлилось очень недолго, потому что было не очень интересно и потому что Капуя нас тянула к себе, но в то же время и вызывала отвраще-

ние. И вы знаете, все мы довольно скоро поняли кое-что. Что нужно было, чтобы жить? Нужно быть слепым. И тогда мы опять ослепли. Кто чуть раньше, кто чуть позже.

— Ну, не совсем, — сказал доминиканец.

— Конечно, но в общем и целом... Что касается Вас, то здесь все иначе, потому что вера — эта сама Ваша жизнь, будь то в лагере или где-то еще...

— Тревога всегда находит себе форму... Я часто сталкивался с людьми, боявшимися потерять веру. Мне это совершенно непонятно. Мы, очевидно, больше никогда не встретимся со злом в таком сатанинском виде, а вот что касается веры... Библия заранее ответила книгой Иова...

Я вспомнил глиерского священника, говорившего, что для него зло — это не проблема, а тайна.

— А как наши умирали?

— Дорогой мой, — сказал мне Мишле, — преподобный отец присутствовал только при смерти верующих. А раз так, то они каялись. Когда он говорил им: «Простите ваших врагов» и «Бог все видит!», они отвечали перед Богом.

— А Вы видели хоть одного человека, который умер бы с ненавистью? — спросил его доминиканец.

Мишле задумался, а потом обратился ко мне:

— Дорогой мой, а ведь отец прав, он прав... Как уполномоченному представителю французских узников Дахау мне, должно быть, пришлось увидеть больше смертей, чем ему. Не совсем так, как ему, естественно! Мне не нужно было ни исповедывать их, ни прощать. И все же они могли бы обмолвиться одним-двумя словами по поводу фрицев! Никогда! Это было что-то потустороннее. Последние слова всегда были предназначены кому-то из близких: «Когда ты вернешься, то скажи моей жене, чтобы она выкопала под третьей грушей, слева...» или: «Скажи детишкам, что я сделал все, что смог...».

— Смерть прощает или же пренебрегает?

— Прощает, — сказал доминиканец. — По крайней мере, если говорить о тех, которые хоть немножко верили. Я видел перед собой Благодать.

— И для многих грехов оставалось не слишком много места...

— Только для воровства и убийства!.. — сказала Брижит.

— А что касается остальных?

— Должно быть, то же самое, — ответил доминиканец, — просто они не знали об этом...

— Мне тоже, — начал испанец, — приходилось находиться возле умирающих. Умиравшему трудно что-то сказать. У Вас, падре, есть слова, но те, кто умирал на моих глазах, не захотели бы их слушать.

— Если смерть не открывает... путь к Богу, то, может быть, действительно, слова кажутся лишними. Но я все же думаю, что для милосердия всегда найдется место... Чтобы быть атеистом, одного желания мало!

— У нас, — сказала Брижит, — несмотря на то, что жили мы все вместе, смерть была делом личным, как и в обычной жизни.

— В обычной жизни, — мягко произнес доминиканец, — она не такое уж личное дело... Мне редко случалось видеть, чтобы ненависть устояла при приближении Святой Агонии... В лагере смерть превратилась во что-то обыденное... А здесь нет; и приближение смерти не похоже ни на что другое. Но там Сатана держал в одной руке ужас, а в другой — прощение...

Я опять вспомнил Испанию. Ставшее легендарным высказывание президента Асаньи, умиравшего, кажется, в Андорре: «Как называется эта страна... вы знаете, о чем я говорю, страна, где я был президентом республики?..».

По ту сторону решетки толпа двигалась, как во время паломничества.

— Здесь каждое утро, — говорит Мишле, — одна сумасшедшая бродит целыми часами около реставри-

руемого вами Лувра. Она сошла с ума в лагере. Раньше она всегда прижималась к прутьям решетки, а с тех пор, как вы заменили решетки на балюстрады, она ходит...

Те, кто пришел проститься с прахом Жана Мулена и почтить память своих близких, медленно проходили на фоне неба, отмеченного печатью смерти. Так же шли люди и в городах Египта и Месопотамии в 1965 году до Рождества Христова. Не возвращаются не только из царства смерти, но и из ада тоже.

Я вернулся в Ласко. С тех пор, как люди стали проникать туда свободно, пещера была обречена: здесь росли маленькие грибы, покрывающие панцирем бизонов и лошадей эпохи палеолита. Двадцать тысяч лет она существовала без человека и за каких-то пятнадцать лет была им разрушена. (Требовалось сто пятьдесят миллионов франков, чтобы остановить разрушение.) Ласко будет спасена при условии, что люди перестанут туда ходить по своему желанию. Зрелище почти такое же удивительное, как и во время войны, только по-другому. Странные гладкие пробелы в скалах потеряли свою загадку, потому что их границы стали едва различимы из-за невидимых зеркал, освещающих рисунки так же, как свечи освещают иконы. В шахту спускаются по металлической лестнице. Персонаж в маске птицы больше не охраняет оружие. Медленно вращаются вентиляторы с четырьмя лопастями, работающие от аккумулятора, и кажется, что они предоставляют бизонам какую-то необычную защиту, вроде той, что давали прежде наши пулеметы, наши «сторожевые псы». Я спросил умного и симпатичного гида:

— А что стало с тем мальчишкой, который хотел найти здесь свою собачонку?

— Это я.

Ему было лет сорок.

— Вы знаете, чего только об этом щенке не говорят! На самом деле мы с друзьями просто искали приключений...

— А что с друзьями?

— Один погиб в Сопротивлении, другой — предприниматель.

Мы выходим. Низкорослые деревья на холме стали еще незаметнее, чем прежде, Монтиньяк разросся, и дорога теперь доходила до пещеры.

— Когда случилось это несчастье... (Несчастье — это распространение грибов.) ...в некоторые воскресенья сюда приходило до полутора тысяч человек...

Рядом со входом стояли два барака, похожие на тюремные.

— Это бараки для специалистов?

— Нет, они появляются здесь изредка. Это для верующих, отказывающихся от военной службы. Их заставляют вести защитные работы...

«СВИДЕТЕЛЬ ИСТИННЫЙ И ВЕРНЫЙ...»

Не знаю, как Вам, Читатель, а мне всегда было любопытно узнать: о чем же разговаривают политики, лидеры величайших мировых держав, когда часами остаются наедине? Две версии возможного ответа, противоположные друг другу, нередко приходили мне в голову:

1. Степень взаимного непонимания настолько велика, что содержание этих уединенных бесед едва ли отличается от официальных коммюнике, которые затем появляются в газетах. Такие встречи имеют исключительно символический характер, и значение их исчерпывается грандиозной подготовительной работой, заранее проведенной референтами, помощниками, дипломатами, резидентами разведслужб и т. д. Лидеры государств — это актеры, с архетипической для своей страны внешностью, способные, не дрогнув ни единым мускулом лица, сыграть хоть и кульминационную, но по сути дела эпизодическую роль в разворачивающемся политическом спектакле. Версия более чем правдоподобная, но ответа на вопрос она, по сути дела, не дает. Когда президенты, премьер-министры, генеральные секретари остаются *vis-à-vis*, необходимость в лицедействе отпадает, но поскольку ничего другого они делать не умеют, то и за кулисами, скорее всего, продолжают повторять заученную роль. Иногда они отваживаются на импровизацию, и мы видим, как Гор-

бачев искренне смеется над рассказанным ему Рейганом на ухо (чтобы не расслышал переводчик) анекдотом, а Путин и Буш-младший, прогуливаясь в полном одиночестве по идеально выстриженному газону, о чем-то оживленно беседуют. Но это, скорее, редкие исключения, а в остальных случаях подобный театр вызывает лишь скуку.

2. Согласно второй версии, официальные сообщения должны замаскировать то, что происходит на самом деле. Уединенные беседы ведутся с предельной откровенностью, именно здесь и решаются судьбы мира. Подозрения обывателя о «мировом правительстве», о «геополитических заговорах» не так уж далеки от истины, и именно поэтому занавес тайны всегда опускается вовремя. Мы не знаем и скорее всего никогда не узнаем, что обсуждают, оставшись с глазу на глаз, первые лица государств, ибо это сведения не для широкой публики. И если сами они кое-что рассказывают в своих мемуарах, то не следует забывать, что пока они живы, бремя тайны так тяжело, что они больше стремятся скрыть истину, чем поведать о ней всему миру. Историкам не следует чрезмерно доверять таким мемуарам. Даже у мелкого чиновника есть тайны, о которых он никогда никому не расскажет, а что уж говорить о тех, кто взобрался на вершину мира?

Кажется, в своих «Антимемуарах» Андре Мальро разглашает тайну...

* * *

Сам Мальро следующим образом определяет специфику жанра, к которому обратился незадолго до своей отставки: «В XX веке Мемуары бывают двух типов. С одной стороны, это свидетельство о происшедших событиях: иногда это, как в „Военных мемуарах“ де Голя или в „Семи столпах мудрости“, рассказ об исполнении великого замысла. С другой стороны, это наблю-

дение над самим собой, задуманное как исследование человека, и последним ярким представителем этого жанра является Андре Жид. Однако „Улисс“ и „В поисках утраченного времени“ принимают форму романа. Откровенное наблюдение над самим собой изменило свою природу, так как наиболее провокационные признания самого смелого из мемуаристов выглядят ребяческими перед теми монстрами, которых извлекает на свет психоанализ, даже если кто-то и оспаривает его выводы. Охота за тайнами только способствует развитию невроза, делает его более ярко выраженным. „Исповедь Ставрогина“ удивляет нас меньше,.. несмотря на гениальность Достоевского».¹

На первый взгляд, «Антимемуары» воспринимаются как попытка сочетать оба этих типа, попытка соединить свидетельства величавого шествия Истории и интроспективные исследования тайн человеческой природы. Бесспорно, Мальро, как, может быть, никто другой в XX столетии, имел возможность (и право) стремиться к такого рода синтезу исторического и индивидуального бытия. Чтобы убедиться в этом, достаточно даже бегло познакомиться с его биографией. Она хорошо известна отечественному читателю,² и нет резона воспроизводить здесь основные вехи литературной и политической судьбы Мальро. Его жизнь всегда оставалась открытой ветрам Истории, и вкупе с литературным талантом, точнее, с глубинной потребностью выразить свой опыт в Слове, это обстоятельство делает его фигуру даже уникальной.

Известна также репутация Мальро как «трагического гуманиста», как единомышленника А. Камю и Ж.-П. Сартра, представляющего их богоборческий экзистенциализм в литературе и публицистике. «Бытие относительно смерти», «существование у роковой черты» — эти темы, разумеется, обнаруживают себя и в

¹ С. 12—13 настоящего издания.

² См.: Мальро А. Зеркало лимба. М., 1989.

«Антимемуарах». Исходным умонастроением Мальро часто оказывается острое переживание «удела человеческого»: так называется один из его самых знаменитых романов, хотя само словосочетание принадлежит не ему, а Блезу Паскалю. Последний лучше всего и передал это фундаментальное для «философии существования» переживание: «Вообразите себе множество людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь убивают на глазах у остальных, и те понимают, что им уготована та же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и безнадежности, и ждут своей очереди. Это и есть картина удела человеческого».³

Острое, почти физическое ощущение случайности существования человека в этом мире и его бесследного исчезновения в бездне небытия часто постигает героев Мальро. Скрытое, но постоянное присутствие смерти в человеческом существовании, ее роковое вторжение в жизнь человека оказывается неопровержимым доказательством бессмысленности последней. Смерть — это крайняя степень несвободы человека, а судьба — это «...совокупность всего того, что понуждает человека осознать свой удел...».⁴ Впрочем, пересказывать экзистенциальные мотивы книг Мальро занятие заведомо неблагодарное, лучше обратиться к самим этим книгам. К тому же читатель имеет возможность познакомиться с прекрасной, почти исчерпывающей характеристикой «трагического гуманизма» Мальро,⁵ к которой если что-то и можно добавить, то только второстепенные, не имеющие существенного значения штрихи.

Заметим, что сам Мальро отводит экзистенциальным мотивам явно второстепенную роль: «Чувство,

³ Паскаль Б. Мысли // Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974. С. 150.

⁴ Мальро А. Зеркало лимба. С. 252.

⁵ См.: Великовский С. В поисках утраченного смысла. М., 1979. С. 65—134.

что становишься чуждым этой земле или вновь на нее возвращаешься, чувство, которое здесь читатель встретит не один раз, кажется, связано с диалогом со смертью. Когда становишься жертвой симулированной казни, то такой опыт не проходит бесследно. Но прежде всего я обязан этим чувством странному, почти физическому воздействию, которое оказывает на меня завораживающее осознание ушедших в прошлое столетий. Это чувство... говорит в одно и то же время и о смерти цивилизаций и о воскрешении ими созданного... я одержим темой смерти или темой Истории как открытой разуму книги судеб человеческих... у меня есть пронзительное ощущение, что всех нас, словно облака в небе, куда-то непоправимо уносит ветер событий».⁶ Таким образом, живое чувство истории, переживание своей личной сопричастности безвозвратно ушедшим в прошлое столетиям должно служить у Мальро чем-то вроде фундамента его «трагического гуманизма». Поэтому, вероятно, будет бесполезно в рамках этого послесловия остановиться на более подробной характеристике его историзма.

Между прочим, в «Антимемуарах» можно найти даже теоретическое изложение основных принципов историзма автора. Точнее, их пересказ в форме выдержек из сделанного отцом Мальро конспекта лекции профессора Мёлльберга, участника знаменитых коллоквиумов в Альтенбурге, которые в разное время удаивали своим вниманием такие знаменитости, как Макс Вебер, Стефан Георге, Жорж Сорель, Зигмунд Фрейд. Мёлльберг завершает свой отчет о трехлетней экспедиции в Африку любопытными историко-софскими обобщениями:

«Мы все находимся в царстве космоса, царстве, предшествующем религиям. Идея творения мира, возможно, еще не возникла. Вечность убита. Боги еще не родились».

⁶ С. 14—15 настоящего издания.

И после анализа «важнейших ментальных структур», последовательная смена которых, с его точки зрения, формировала опыт человечества, он сделал вывод: «Говорим ли мы о связях с космосом в этих обществах или о связях с Богом при цивилизованном строе, любая ментальная структура принимается за абсолютную, неоспоримую, за особую очевидность, которая управляет всей жизнью, без которой человек не может ни мыслить, ни действовать. (Очевидность, которая не обязательно обеспечивает человеку лучшую жизнь; которая может, разумеется, даже способствовать его уничтожению!) Она относится к человеку так же, как аквариум к рыбе, которая в нем плавает. Она не исходит из разума. Она не имеет ничего общего с поиском истины. Именно она объемлет человека и властвует над ним; он же ею в целом не владеет никогда. Но, может быть, ментальные структуры исчезают безвозвратно, как динозавры; может быть, цивилизация преуспевает, лишь бросая человека в бездонный сосуд Данаид; может быть, отвага человека поддерживается лишь ценой необратимой метаморфозы; тогда не имеет значения, что человек способен на несколько столетий сохранять и передавать свои понятия и технологии, ибо человек — это чистая случайность, а мир, в сущности, соткан из забвения».⁷

Представление об истории как «забвении» обладает, очевидно, скрытым полемическим характером и не может быть понято изолированно от идей, если можно так выразиться, «классического» историзма, против которых оно направлено. Совершим небольшой экскурс в историю понятия «историзм», которое возникает в европейской культуре в ходе Французской революции и войн Наполеона, а теоретически оформляется, т. е. становится достоянием историков и философов, уже после Первой мировой войны. Сошлемся на авторитетное в этом вопросе мнение Г. Лукача, связывав-

⁷ С. 43 настоящего издания.

шего возникновение исторического сознания и самого историзма с романами В. Скотта и с их читательским успехом: «Нетрудно понять, почему именно в это время исторические романы Скотта были так созвучны мироощущению широких масс. Ведь как раз в эту эпоху закончился тот великий исторический этап — Французская революция, революционные войны, эпоха Наполеона I, — во время которого жизнь народных масс Европы была непосредственно потрясена великими историческими событиями. Прежние революции не оказывали такого прямого влияния на жизнь масс в общеевропейском масштабе. Не имела такого влияния английская революция XVII в. Войны абсолютных монархий опустошали отдельные области, ввергали их в нищету, но не втягивали, да и не могли втянуть в свой водоворот жизнь всего народа, потому что цели их были чужды народу и его стремлениям, потому что народ был лишь пассивным, страдающим объектом этих войн. Совсем иное действие произвели революционные и наполеоновские войны. Во многих странах они принесли с собой ликвидацию пережитков феодализма. Во многих странах они вызвали, в виде противодействия игу Наполеона, пробуждение национального чувства — его первые проблески, неясные, противоречивые, часто носившие реакционный характер. Ни один человек в Европе не вышел из этого кризиса таким же, каким был до него. Поэтому широким массам стали понятны исторические сдвиги, решающее влияние истории на личную жизнь всех людей, на индивидуальное развитие и благополучие каждого отдельного человека. Скотт как поэт этого чувства, как художник, отображающий исторические сдвиги и кризисы в зеркале личной жизни, стал любимейшим писателем своего времени».⁸

⁸ Лукач Г. Пушкин и Вальтер Скотт // Литературный критик. 1937. № 4. С. 106.

Примерно в это же время возникает и новая, имеющая прямое отношение к историческому сознанию, форма автобиографии (Руссо, Вордсворт, «Поэзия и правда» Гете). С другой стороны, хотя термин «историзм» еще не употребляется, но появляются новые философские парадигмы (Гердер, Гегель, Гете и др.), которые затем, уже в XX веке, теоретики «историзма» будут связывать с его становлением. Так, например, Б. Кроче выражает широко распространенную в его время точку зрения, утверждая, что историзм как новая концепция человека был впервые сформулирован в философии Гегеля, в связи с представлением об историческом процессе как диалектическом самораскрытии духа. Центральная роль в рамках этой точки зрения отводилась «Феноменологии духа» Гегеля, которая воспринималась людьми постнаполеоновской эпохи как попытка изобразить «опыт сознания» (или «духа»), проходящего в своем развитии через последовательные формы, то есть через «историю образования сознания». Индивидуальное развитие могло быть лишь повторением развития всеобщего, внеиндивидуального духа, олицетворяемого движением истории. Многие были убеждены, что философская парадигма Гегеля открывала возможность самореализации индивида через полную интеграцию единичного «Я» в историю.

Более того, неоднократно проводилась аналогия между структурой гегелевской «Феноменологии духа» и жанровыми особенностями автобиографии. Впервые такое сопоставление провел в своих лекциях в Йельском университете Дж. Ройс: «Феноменология... — это своего рода „биография духа“, в которой вместо конкретных событий мы находим „события, которые приключаются... с категориями“».⁹ Подобную

⁹ Royce J. Lectures on Modern Idealism. New Haven: Yale University Press, 1919. P. 149. Цит. по: *Панерно И.* Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С. 108.

точку зрения высказывали также и К. Розенкранц, вынашивавший замысел изложить гегелевскую систему в романе, и Ж. Ипполит, называвший «Феноменологию» «романом философского становления». В литературоведении эта идея была реализована М. Х. Абрамсом, который был убежден, что «Феноменология духа» сознательно построена по принципам литературного произведения, как скрытая автобиография.¹⁰

С этой точки зрения весьма любопытно взглянуть на автобиографию Мальро. Сам автор «Антимемуаров», кажется, не один раз объяснял их композицию «капризами памяти», не воскрешающей жизнь в целом, но выхватывающей из остающегося в тумане ее потока отдельные фрагменты, не различая при этом воображаемое и истинное. Тем не менее композиция «Антимемуаров» отличается удивительной симметричностью, и при желании можно было бы показать, что пять ее частей воспроизводят схему «Феноменологии духа». Разумеется, едва ли в таком соответствии присутствует сознательный умысел, скорее всего, сказывается невольное следование канонам автобиографического жанра. Более того, «Антимемуары» не завершаются достижением ступени абсолютного знания, хотя последняя, пятая часть (впрочем, как и все остальные) наглядно воспроизводит знаменитую гегелевскую триаду. Любопытно, что завершающему разделу «Феноменологии», названному «Религия», и его подразделам мы можем найти в «Антимемуарах» довольно строгое соответствие. «Естественной религии» может быть уподоблен Китай вместе с его культом растительной и животной жизни и с Мастером-Мао, а «художественной религии» — Япония с ее радикальным эстетизмом. Тогда «религия откровения» — это

¹⁰ См.: *Abrams M. H. Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature.* N. Y.; L.: W. W. Norton, 1971. Цит. по: *Паперно И.* Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Там же. С. 123.

концлагеря, воспоминаниями о которых завершается первый том автобиографии Мальро. Дух возвращается к «уделу человеческому»...

* * *

«Ад — это не ужас, ад — это когда человека унижают еще до смерти, независимо от того, приходит смерть или проходит мимо; это страшная мерзость жертвы, это таинственная мерзость палача».¹¹ Такое знание можно считать абсолютным, и оно оказывается абсолютным уже потому, что не находит себе применения в обыденной жизни. Мальро завершает «Анти-мемуары» удивлением перед коварным всесилием жизни, способной стереть из памяти самые страшные страницы пережитого. «Однако то, что волнует меня, не укладывается в военные категории. Над миром в течение нескольких лет нависала явная, осязаемая тень Сатаны, но даже те, на кого она тогда легла, сейчас, кажется, забыли об этом. Может быть, они смогли выжить только в той мере, в какой смогли забыть?.. Когда-то я верил, что опыт лагерей смерти оставлял более глубокий след, чем опыт угрозы смерти. А оказывается, что предельное несчастье не так заметно, как самая простая рана...»¹²

Таким образом, если в истории случается иерофания Абсолютного, то неизбежным становится и опыт забвения. Боги должны рождаться из ничего. И этому рождению должно предшествовать одиночество Космоса. «...Лазарь, вернувшийся из царства мертвых ради того, чтобы раздраженно спорить о том, как должна выглядеть его могила».¹³ Почему бы и нет?

Наверное, и в названии этого послесловия не стоит обязательно усматривать ссылку на «Откровение Иоанна Богослова». Истинное свидетельство — это свидетельство Смерти. Кстати, вошедшее в последние

¹¹ С. 587 настоящего издания.

¹² С. 595—596 настоящего издания.

¹³ С. 594 настоящего издания.

годы в газетную лексику слово «шахид» также переводится как «свидетель». Мальро «свидетельствует», находясь у «роковой черты», и это свидетельство является, конечно же, не знаком его личного трагического опыта встречи со смертью, а знамением, указывающим, что к этой «роковой черте» подошел весь мир. Китай Мао Цзэдуна — ядерная держава, ни во что не ставящая ни свою, ни тем более чужую жизнь. Япония после Хиросимы. И лагеря смерти в Европе.

Не представила ли сама История здесь такие формы самотчуждения человека, которые ранее были просто немыслимы? И жертвы и их палачи в одинаковой степени представляют собой человеческое самоотчуждение. Но палач «...чувствует себя в этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, в отчуждении видит свидетельство своего могущества и в нем обладает *видимостью* человеческого существования. Второй же... чувствует себя в этом отчуждении уничтоженным, видит в нем свое бессилие и действительность нечеловеческого существования».¹⁴ Отчуждение в равной мере привносит сущностное противоречие и в позицию палача, и в положение жертвы. Утверждая свое могущество, палач утверждает лишь *видимость* своего человеческого существования, поэтому его движение к подлинному существованию должно проходить через отрицание этой видимости, то есть через утверждение своей *немощи, бессилия*. Жертва же, отвергая бесчеловечность своего положения в действительности, может стремиться к подлинному существованию через утверждение *видимости* человеческого облика.

* * *

Какие же принципы классического историзма подвергаются у Мальро радикальной переоценке? Напом-

¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 50 т. М., 1957. Т. III. «Святое семейство». С. 55.

ним, что впервые законченные формы историзм приобретает тогда, когда возникает исторический роман, то есть в начале XIX столетия, почти одновременно со свержением Наполеона («Узверли» Вальтера Скотта вышел в свет в 1814 году). Согласно общепринятой точке зрения, исторические романы существовали и в XVII и в XVIII веках, а средневековые обработки сюжетов из античной истории или мифов очень часто рассматриваются как «зарождение» исторического романа. Однако легко заметить, что эти произведения историчны только с внешней стороны; психология действующих лиц и даже нравы и обычаи соответствуют в этих романах тому времени, когда они были написаны. История в них используется как внешнее облачение: в них можно обнаружить любопытные детали, но в них отсутствует достоверный образ конкретной исторической эпохи. В этих романах мы не находим именно исторического мышления, то есть понимания, что особенности характера людей вытекают из исторического своеобразия их времени.

Только в результате Французской революции 1789 года, революционных войн, возвышения и падения Наполеона у народов Европы пробудился интерес к истории. В это время они получили небывалый исторический опыт: в течение двух-трех десятилетий (1789—1814) люди пережили больше потрясений и переворотов, чем за предшествующие столетия. Частая смена придает этим переворотам особенную наглядность: они перестают казаться «явлением природы», их исторический характер становится более очевидным, чем прежде. Если на подобные впечатления накладывается знание, что подобные перевороты происходят повсюду, то естественным образом возникает и усиливается убеждение, что история действительно существует, что она представляет собой процесс непрерывных изменений и, наконец, что история вторгается непосредственно в личную жизнь каждого человека, определяет его судьбу.

Этот «бытовой» историзм проявляет себя также в специфическом характере войн того времени. Абсолютистские государства использовали для военных операций небольшие профессиональные армии. Более того, полководцы старались как только возможно отделить армии от гражданского населения (снабжение армии из своих собственных ресурсов, наказания за дезертирство и т. д.), и король Пруссии Фридрих II имел все основания требовать такого ведения войны, чтобы гражданское население вообще ее не замечало. Французская революция переворачивает эти представления, когда, защищаясь от коалиции европейских монархов, Французская республика оказалась перед необходимостью создания массовой армии. Эта необходимость требовала определенной пропаганды, которая убеждала бы население в важном характере целей и причин данной войны. Однако для того чтобы убедить людей в необходимости войны, следовало разъяснить ее исторические предпосылки и современные условия, связать войну со всей жизнью нации, с возможностями национального развития. Следует учесть и тот факт, что создание массовых армий расширяет театр военных действий: французские крестьяне сражаются на территории Египта, Италии и России; русские войска, разбив Наполеона, вступают в Париж. «Географический опыт», доступный ранее только немногим людям, главным образом, авантюристам, теперь становится опытом сотен тысяч и миллионов людей из различных слоев населения почти всех европейских стран. Для них возникает возможность понять, что их существование исторически обусловлено, увидеть в истории нечто такое, что вторгается в повседневность.

С этим чувством истории уже нельзя не считаться, и поэтому многие формы историзма, теоретические и художественные, рассматривающие историю как тихий, незаметный, естественный, «органический» рост, фактически отрицают саму причину исторического

сознания — они вычеркивают из истории одно из крупнейших всемирно-исторических событий, Французскую революцию. На почве отрицания революционного характера истории возникают такие формы псевдоисторизма, которые в качестве идеала утверждают эволюционные, «органические» изменения или возврат к идиллической гармонии средневековья. Вместе с тем все эти (или почти все) формы исторического консерватизма объединяет искренняя тревога за судьбу личности в потоке истории. Смысл бурных исторических преобразований действительно может быть поставлен под сомнение, если они ведут к уничтожению человеческой индивидуальности.

В этих условиях возникает потребность в новом прочтении гегелевской «Феноменологии» с целью найти в ней философское обоснование субъективности через историческое сознание. Одна из самых примечательных попыток, предпринятых в XX веке, — это семинар о «Феноменологии духа» Александра Кожева, проводившийся в 1933—1939 годах в Высшей практической школе.¹⁵ Уже тот факт, что этот семинар посещали такие разные люди, как Р. Арон, Ж. Батай, А. Бретон, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, Р. Кайуа и др., свидетельствует, что предложенное А. Кожевом прочтение «Феноменологии» сквозь призму идей Маркса, Ницше, Хайдеггера было ответом на вопросы, поставленные самой эпохой. Сам А. Кожев, работая над своей антропологией исторического опыта, исходил из осознания невозможности пойти в философии дальше Гегеля и определял свою задачу рамками воспроизведения мысли Гегеля в условиях современности (то есть реконструкцией философии Гегеля, которому, например, были бы известны исторические события второй половины XIX—начала XX века, который был бы знаком с философией Хайдеггера, Маркса и т. д.). В рамках представленной А. Кожевом интерпретации геге-

¹⁵ См.: Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.

левской философии особое место занимает отношение Гегеля к Наполеону, в связи с которым «...речь идет о том, чтобы упразднить последнюю двойственность. Это может произойти, если Наполеон „признает“ Гегеля, как Гегель „признал“ Наполеона. Не надеялся ли Гегель (в 1806 году), что Наполеон призовет его в Париж и сделает Философом (Мудрецом) универсального гомогенного Государства, Философом, обязанным объяснять (оправдывать) — и, может быть, направлять — деятельность Наполеона? Начиная с Платона, это всегда было искушением для великих философов».¹⁶

Известно, что Кожев экстраполировал эту ситуацию на 30-е годы XX столетия, придя к убеждению, что человек, знаменующий собой конец Истории, это не Наполеон, а Сталин. Имеются даже косвенные свидетельства о том, что Кожев обращался к Сталину с пространственным письмом.¹⁷ Метафизика субъективности здесь обращается в «физику» психологического опыта конкретной исторической личности. И поскольку Гегеля, согласно интерпретации Кожева, интересовало «признание» Наполеона (которому Кожев сообщает всемирно-исторический смысл), то в облике великого человека вообще (Сталина или Наполеона) на первый план закономерно выступают черты не Правителя, а Мыслителя.

Согласимся, что все это характерно и для тех страниц «Антимемуаров», где Мальро вступает в диалог с «великими мира сего» — с Джавахарлалом Неру, с Чжоу Эньлаем, с Председателем Мао. И прежде всего — с генералом де Голлем.

¹⁶ Коллеж Социологии. СПб., 2004. С. 55.

¹⁷ См.: Найман А. Сэр. М., 2001. С. 225—228; Рейс Е. Кожевников, кто Вы? М., 2000. С. 69, 77.

«Генерал, конечно же, не сказал мне в Эльзасе той фразы, которую Наполеон сказал Гете...» Мальро не получил «признания», хотя приблизился к де Голлю гораздо ближе, чем Гегель к Наполеону, чем Александр Кожев к Сталину. Тайна Правительства осталась неразгаданной, и заслуга «Антимемуаров» заключается, возможно, также и в том, что их автор, не опасаясь упреков в неясности мысли и в неопределенности своих оценок, не навязывает читателю какие-либо простые решения.

Тайна де Голля остается тайной даже на самом элементарном уровне. Какие цели на самом деле ставил перед собой этот человек? Чему посвятил свою жизнь? Образ генерала де Голля как жесткого защитника ценностей либерализма и демократии может быть сразу же поставлен под сомнение после следующего короткого обмена фразами, состоявшегося после второй отставки:

— «Парламентарии способны парализовать действие, но совершенно неспособны им руководить. Франция возродилась тогда, когда пошла наперекор парламентаризму, а теперь она устремляется к нему, и защищать ее он будет не более умно, чем в те времена, когда я боролся за бронетанковые войска!

— Но ведь Гитлер умер.

— Страна выбрала рак. Что я мог поделать?»¹⁸

Встречающиеся у Мальро сравнения де Голля с главой религиозного ордена, ссылки на тайное наследие Мервингов вызывают ассоциации с определенными сюжетами французской послевоенной конспирологии (Ж. Робен, Ж. Парвулеску), где генералу отводится роль организатора тайного общества «Ордена 45-ти Секретных Компаньонов». Цели этого общества, которые якобы и стремился реализовать де Голь, коренят-

¹⁸ Мальро А. Зеркало лимба. С. 328.

ся в глубоком прошлом европейской истории, в тысячелетней борьбе орденов Кварты и Квинты, Солнце- и Лунопоклонников. Как бы то ни было, сам факт подобных мистификаций говорит о многом, и если автор «Антимемуаров» видит в генерале олицетворение самой Франции, мужскую ипостась ее души (женской, разумеется, является Жанна д'Арк), то энигма де Голля от этого не рассеивается. «...я встретил человека, который только спрашивал, и его сила раскрывалась передо мной прежде всего в его молчании».¹⁹

Иногда, уже не у Мальро, загадка де Голля приобретает чуть ли не зловещие черты. Его имя связывается в определенных кругах (разумеется, также подверженных конспирологическим фобиям) с политикой «диммитьюда» и с разработкой «проекта Еврабии». «Диммитьюд» — это термин, обозначающий рабское, бесправное положение немусульман в странах, где господствует Ислам. «Еврабия» — грандиозный геополитический проект, предполагающей включение арабского мира в ареал европейской цивилизации (или наоборот). Считается, что этот проект (если, конечно же, он вообще существует) возник в рамках антиамериканской политики де Голля, основанной на формировании евро-арабского средиземноморского союза, который был бы изначально враждебен влиянию США с их доктриной *Rex Americana*. С точки зрения де Голля, такой союз, если бы он был создан, позволил бы Европе играть определяющую роль в международных отношениях и стать действительно независимой от Соединенных Штатов. Он предполагал, что Европа, во-первых, сохранит сферы своего влияния в бывших арабских колониях, во-вторых, откроет для себя огромные рынки сбыта в арабском мире, особенно в богатых нефтедобывающих странах, в-третьих, обеспечит себя в условиях энергетического кризиса нефтью и газом. Разумеется, следствием осуществления

¹⁹ С. 123 настоящего издания.

«проекта Еврабии» была бы массовая арабская иммиграция в Европу вместе с распространением ислама и неизбежным ростом враждебных настроений по отношению к Израилю и иудаизму.

Если такой замысел действительно вынашивался кабинетом де Голля, то теперь, более чем через тридцать лет, читатель способен сам оценить, насколько он оказался реализован. В 1973 году нефтяной кризис заставил Францию и Германию сформулировать основные принципы общей политики в отношении арабского мира. Предусматривался доступ арабских стран к западной науке и технологиям, а также меры, способствующие арабской иммиграции и распространению арабской и исламской культуры в Европе. Обязательства партнеров были закреплены в Брюссельской декларации от 6 ноября 1973 года, а с арабской стороны декларацией конференции глав арабских государств в Алжире 28 ноября 1973 года. Следствием реализации «проекта Еврабии» можно считать и активную позицию Франции в принятии и проведении «резолюции ООН № 242», в соответствии с которой границы Израиля устанавливались по линии перемирия 1949 года, а за палестинцами закреплялось право участвовать во всех мирных переговорах по Ближнему Востоку. В 1974 году была создана специальная Европейская парламентская ассоциация по евро-арабскому сотрудничеству. Эта ассоциация неоднократно предъявляла к европейским правительствам требования о проведении экономических и академических бойкотов Израиля. Под ее управлением находились все проблемы евро-арабских отношений: финансовых, политических, экономических, культурных и тех, что касаются иммиграции.

Важно отметить и социокультурный аспект экспансии ислама, который в современной Франции иногда оказывается объектом особого интеллектуального восхищения. Прежние полюса ноосферы — христианство и коммунизм — утратили свой престиж, свое влия-

ние и подчас подвергаются острой критике. Ислам все чаще рассматривается не как предмет для обмена мнениями между интеллектуалами, но скорее как аутентичная религиозная концепция, как «религия» *par excellence*. Нередкими стали рекламно-театральные обращения в ислам. Но даже если до повсеместного соблюдения шариата дело и не доходит, то представление о том, что три религии, основанные на Библии (иудаизм, христианство и ислам), взаимосвязаны друг с другом, приобрело характер культурологической догмы. Если эти три религии имеют общие авраамитические корни, то последняя из них, самая поздняя, имеет все права на сохранение традиции Авраама.

* * *

Читателя могут озадачить некоторые русофобские (это слово в данном случае очень точно подходит) реплики Мальро, встречающиеся на страницах «Антимемуаров». Озадачить — потому что они, в целом, так и остаются немотивированными. Мальро, оказываясь в самых разных точках земного шара, предусмотрительно предполагает присутствие там и русских тоже. Поэтому высказывание: «Возможно, Америка не была бы удручена, увидев русских в Париже» — не должно вызывать удивления: если русские везде, то почему бы им не быть и в Париже. Та же вездесущность приписывается и коммунизму.

Довоенные настроения Мальро были совершенно иными. Его не только увлекали советская литература и кино, но он даже приезжал в Москву и принимал участие в работе I съезда советских писателей. (Ромен Роллан написал в «Московском дневнике»: «Ягода похож на Мальро: у него такие же глаза страдающего идеалиста».) Война в Испании и Соппротивление изменили его позицию, но мотивы перемены остаются непонятными. В «Антимемуарах», например, приводится следующее доказательство повсеместного проникновения

коммунистов (а, следовательно, и русских) в отряды Сопrotивления: «Я шел рядом с делегатом из Парижа, по дождливым улицам возле Провинциального вокзала. Мы какое-то время вместе воевали. Он говорил, не глядя в мою сторону: „Я прочитал Ваши книги. Вы должны знать, что на общенациональном уровне движение Сопrotивления полностью подорвано коммунистической партией... (он положил руку мне на плечо, посмотрел на меня и остановился) ...к которой я принадлежу уже семнадцать лет"». ²⁰ Для Мальро, кажется, этого было достаточно, чтобы навсегда противопоставить друг другу коммунизм и независимую Францию.

Впрочем, одно обстоятельство, не очень часто упоминаемое в наши дни историками, может пролить некоторый свет на выглядящую странной позицию Мальро. Это та роль, которую в предвоенные годы играл Коминтерн, вполне естественным образом связанный в глазах европейского интеллектуала с СССР. Дело в том, что долгое время по объему властных ресурсов (особенно, ресурсов тайной власти) Коминтерн, его Исполнительный Комитете (ИККИ) превосходил и Политбюро, и Совнарком, и ГПУ (а затем НКВД). Такое положение этого института было обусловлено стремлением партии большевиков к «мировой революции», которая достаточно долго рассматривалась как конечный смысл и Октябрьской революции, и самого существования СССР. В годы гражданской войны для этих целей использовалась Красная Армия, механизмы подчинения которой Коминтерну историкам еще предстоит раскрыть. Но именно стремлением перенести театр военных действий в Европу следует объяснять и поход соединений Красной Армии против разрозненных петлюровских частей (на самом деле на помощь революции в Венгрии и в Германии), и польскую кампанию 1920 года, когда большевики надеялись взять не

²⁰ С. 107 настоящего издания.

только Варшаву, но и Берлин. После неудачи этих операций Коминтерн не отказывается от своих целей и переносит центр тяжести на диверсионную и разведывательную деятельность, на тайное инспирирование революций. В это время в самой партии вовсе не пост генерального секретаря рассматривается как самый важный, а пост председателя ИККИ. До середины 20-х годов его занимает Зиновьев, после — Бухарин, которые, соответственно, и рассматривались как первые лица в партийной и государственной иерархии. Они находились во главе всего мирового коммунистического движения, тогда как ВКП(б), как и остальные компартии, были лишь секциями Коминтерна.

Коминтерн представлял собой международную тайную организацию, что-то вроде всемирного государства. Он располагал мощнейшей для своего времени спецслужбой — Отделом международных связей. В его распоряжении находились разветвленная агентурная сеть, солидный бюджет, склады с оружием и фальшивыми документами по всей Европе. ГПУ и Разведупру Генштаба (будущему «Аквариуму») было предписано во всем оказывать содействие агентам Коминтерна. И многие диверсии в странах довоенной Европы, многие политические убийства не без оснований связывались с деятельностью Коминтерна. Вполне вероятно, что вера Мальро во всемогущество Коминтерна и русских было оборотной стороной его пораженческих настроений, его неверия, что сеть организаций Сопротивления могла возникнуть, так сказать, «синергетически», без вмешательства мирового коммунистического движения.

* * *

Напомним Читателю, что «Антимемуары» — это только первый из двух томов воспоминаний, которые Мальро назвал «Зеркало лимба». Во второй том, «Веревка и мыши», с которым, надеюсь, Читатель получит

возможность познакомиться, вошли переиздания «Поверженного дуба», «Лазаря», «Статуэтки из обсидиана», а также беседы с де Голлем, с Пикассо, личные размышления. «Человек — это то, что он делает» — эту неоднократно звучащую в книге фразу Мальро противопоставляет свойственному традиционным мемуарам представлению о человеческой личности как о клубке больших и маленьких тайн. Цель воспоминаний, как ее понимает Мальро, заключается не в том, чтобы оценить прожитую жизнь с вершин достигнутой к ее концу мудрости, но в том, чтобы вновь, вместе с Читателем, пережить рождение этой мудрости, вновь оказаться во власти трагических коллизий судьбы. Поэтому Мальро осознанно идет на нарушение хронологического порядка повествования. «Антимемуары» должны не только воссоздать прошлое, но и осветить его в зеркале настоящего, а значит, может быть, и пересмотреть его, взглянуть на него новыми глазами. Поэтому размышления о пережитом у Мальро оказываются, во-первых, принципиально незавершенными, а во-вторых, принципиально непрекращающимися. Это не монолог, это скорее диалог с самим собой. Диалог, насыщенный подлинной тревогой за судьбу мира.

Литературно-художественное издание

Андре Мальро

АНТИМЕМУАРЫ

Утверждено к печати

Редакцией серии «Дневники XX века»

Редактор издательства *Е. С. Васильева*

ИД № 01286 от 22.03.2000

Подписано в печать 25.04.05 Формат 60×88 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура Балтика. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 38.8. Уч.-изд. л. 28.5. Тип. зак. № 4178

Издательство «Владимир Даль»

193036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 19

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГУП «Типография «Наука»

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Д Н Е В Н И К И Х Х В Е К А

Биография Андре Мальро (1901–1976), известного французского писателя, философа, искусствоведа, государственного деятеля, неразрывно связана с важнейшими событиями истории XX века. Человек действия, соратник де Голля, антифашист, он был свидетелем и непосредственным участником многих драматических коллизий прошлого столетия. Его «Антимемуары» отличаются фрагментарным, импрессионистским стилем, призванным передать не столько хронологическую последовательность происходящего, сколько сам дух времени. На страницах книги читателя ожидают встречи автора с такими личностями, как де Голль, Неру, Мао Цзэдун и др., с которыми Мальро ведет длительные беседы о судьбе мира и человека.